

Поэль Карп

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ ОТЕЧЕСТВА

Книга 1

Одинокий голос либерала.

1988-1999

**Петербург
2019**

Статьи, составившие сборник «Одинокий голос либерала», опубликованные в свое время по преимуществу в еженедельных изданиях вышедшие ранее сборники «Свобода – опора порядка» 2011 и «Почему я не хунвейбин» 2013 вместе с книгами «Отечественный опыт» 2002 и «Двойной реванш» 2017 дают представление о взглядах автора на социальные явления и события, происходивших и не происшедших в СССР и России в конце двадцатого века.

Содержание

Зачем нужна демократия? МН №14 3.4.88	5
Чего мы ждем? КО №26, 24.6.88	5
Снова чьи-то козни, КО № 30, 22.7.88	15
Обязанность государства, Коммунист №1, 89	18
Кого считать патриотом? Родина №11, 89	20
Взаимность, КО	
Истинная русофобия №15, 24.4.89	23
Метрополия или республика №29, 21.7	29
В поисках здравого смысла	39
Где же линия раздела? КО №21, 26.5.89	44
Снова о «линии раздела», КО №33. 18.8.89	50
Черный ход для технократа, НВ №40,89	58
От гласности к свободе, НВ №43,89	62
Не бог, не царь и не герой, НВ №47,89	65
Берлинская стена (интервью)	72
Вопросы культуры (интервью) 1.8.89	73
Жду прояснения ситуации, НВ №1,90	76
Государство и виолончель, НВ №5,90	78
Так что же нам делать? КУРЬЕР №1(8), Тарту, ян.90	79
Несостоявшееся воскресение, НВ №9,90	85
Гарантия надежды, КО №16, 13.4.90	88
Паралич всевластия НВ №18-90	93
Пути на рынок неисповедимы, НВ №23,90	99
Процедуры свободы, КО №26, 29.4.90	101
И это было правильно? КО №36 - 90	109
Второй декрет о мире, НВ №27,90	113
Съезд и победители, НВ №30,90	117
Заговор, который мы не заметили, НВ №32,90	120
Исключение или правило? НВ №35,90	122
Англичанин о России, 20.9.90	124
Слово о городе, (Выступление в Доме писателя)	125
Налоговые нескладушки, НВ №6,91	127
Причины и последствия КО 15.3	129
Мы меняем имена, НВ №21,91	136
У врат демократии, НВ №27,91	138
О том ли болит голова? НВ №31,91	141
Урок истории для тринадцатилетней девочки, НВ №36,91	144
Оскорбление святостью, НВ №41,91	145
И ваш пример негоден, КО №42, 91	148
Большевистский бой с законами природы, НВ №45,91	152
Откуда страсть к разрывам? ВС №2 – 92	154
От науки к утопии и обратно, Синтаксис №30,91	156
Мы не совки, совки не мы, НВ №52,91	176
Окончилась ли история? ВС №1, 91	179
Пронзительный.Федотов, ВС №1,91	191

Соблазн единства. 16.11.91	193
Булат и золото, КО №29, 17.7.92	197
Что за словом? КО №51, 18.12.92	201
Измена родине, ВС №3,92	206
Свобода и еврей, (Антисемитизм XX века) ВС №4/5 -93	219
Воля или произвол? ЛГ №3, 29.1.93	224
Пока есть выбор, КО №16, 16.4.93	225
Что же дальше? КО №46, 19.11.93	232
Чему послужит помощь	236
Третья попытка 19.11.1	241
Личное мнение, ВС №7.94	250
Первый урок, КО №2, 14.1.94	257
Что же это было? КО №24, 14.6.94	262
Стоит ли говорить правду? НВ №18-19,94	266
Первохристианами были евреи, НВ №41,94	267
Три столетия жизни КО №47-94	268
Полигон? КО №8-90	271
Куда плыть? 10.1.95	275
Возврат, Петербургский телеграф №1,95	296
Не довольствуйтесь слухами. 12.5.95	299
Еще недавно 27.8.95	300
Иное дано 31.10.95	301
Проба	305
Обличья реванша КО №2 -96 4.12.95	313
Если не безмолвствовать 18.12.95	318
Двадцатый век перевернул понятия	322
Философия меньших зол, НВ №32,96	324
Меньшинство в обществе	328
Царская Россия и еврейское государство	331
Мир, означающий войну, Вести №2, 23.1.97	335
Неспоротые номера, НВ № 44,97	338
Затянувшийся последний долг, НВ № 46,97	340
Неувядаемая традиция произвола, НВ № 51,97	342
Мифологическое сознание в социальной жизни России	343
К двухсотлетию смерти Бёрка (Выступление на ВВС) 12.11.97	351
Пространство патриотизма, (Патриотизм без границ) НВ №40-97	352
Выбор перед выборами 12.11.97	358
Террор или революция	359
Аполитичность отчаянья, НВ № 2-3,98	362
Зачем убивать кудрявого Ваньку? НВ №8,98	364
Либеральные мечтания, 20.3.98	366
Без стыда 3.4.98	370
Этюды неправового сознания 18.4.98	372
Игра с огнем	375
Опыт, который не проводили 21.9.98	381
Нужен ли России президент?	384
Социал-либеральный манифест 1.2.98	389
Что с Россией? 18.2.99	415
Продолжение истории (2001)	421
Принятые сокращения названий	435

ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕМОКРАТИЯ

Лесковского Левшу отправили в Англию, чтобы там знали, что и мы не лыком шиты. На обратном пути он заболел и был свезен в больницу. Увидев доктора, Левша взмолился: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят; пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог, войны, они стрелять не годятся». Левша помер, доктор доложил, но ему ответили: «Не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть». И автор заключает: «А доведи они левшины слова в свое время до государя – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был».

Впрочем, если все решает государь, до которого не добраться, что-то всегда потеряется - не то, так другое - да и одному ему все не сообразить. Лесков – писатель лукавый и тщетность рвения честного Левши сознавал. Как чистят ружья, зависит не только от того, смекнул ли кто или вызнал, где это делают лучше. Развитие техники уперлось в общественное устройство. Крепостническое николаевское царство, успешно совладав со внутренними врагами, жаждавшими прав и свобод, дрогнуло оттого, что презренная британская демократия, где допускали разные мнения, лучше делала машины. Не кто иной, как лондонский житель Карл Маркс, тогда же и объяснил связь общественного устройства и технологического уровня.

Но многие люди поныне скорбят лишь о том, что трудно «довести до сведения», забывая, что научные истины не являются в готовом виде, а рождаются в спорах. Потому наука и добивается большего там, где есть возможность безнаказанно оспорить любое утверждение.

Понятно, демократия предоставляет трибуну всем, в том числе и невеждам, и фанатикам, и мракобесам. Они предписывают, какие книги всем читать и какую музыку всем слушать. То и дело у них вырывается: «Нечего демократию разводить!» Но и такой откровенности можно радоваться: видно, кто за что ратует.

Наука стала производительной силой, искать истину всякий день вынуждено все больше людей, и тут важно, кто открыл ее раньше, кто подошел к ней ближе, кто схватил ее полнее, кто приложил ее к жизни лучше. Тут необходимо честное состязание умов и талантов, состязание не в послушании, а в знании, находчивости, предприимчивости. И если все мы, снизу доверху, сумеем соблюдать нормы спортивных состязаний, появится надежда, что наш колхоз, наш завод, наш институт, наш театр, наша страна смогут в состязании выстоять, смогут его выиграть.

О демократии говорят, имея в виду права и свободы граждан, словно прок от нее лишь самим гражданам. Реже вспоминают, какой прок от прав и свобод обществу, как целому. А это его страхует от зряшней траты умов и рук. На то и демократия.

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ?

Нет, я не жду, что на следующий день после XIX партконференции можно будет запросто купить свежие овощи и стихи Иосифа Бродского. Я понимаю, что овощи надо вырастить, а книгу напечатать. Понимаю, что не все смогут получить желаемое сразу и придется это делать по труду, за деньги, так что мне, всю жизнь плохо находящему место, чтобы печатать

написанное, а значит и заработок, которого бы хватало, часто придется выбирать — овощи или стихи. Но я с наивным нетерпением жду, что конференция признает мое право по собственному выбору удовлетворять, в меру моего скромного заработка, свои потребности, материальные и духовные. И, разумеется, не только мне, но и каждому советскому гражданину. Я жду, что конференция провозгласит практической целью коммунистической партии и всего нашего народа перестройку общества по принципу "каждому по его потребностям", поначалу, повторяю, в меру труда каждого. Более справедливой общественной нормы человечество не придумало, более благородной и высокой цели общественного переустройства и не может быть. Вот я и мечтаю, вот и жду.

Тут читатель, возможно, подумает: "Он что, с луны упал? Не знает, что еще 140 лет назад Маркс и Энгельс провозгласили такое общество целью коммунистов и что именно эта цель всегда была написана на нашем знамени?" Нет, я не упал с луны, и "Коммунистический манифест" знаю, и все программы партии, сколько их было. Но я ведь и газеты всякий день читаю, и в пору застоя читал, и теперь, в пору перестройки, а там не так про потребности, как про борьбу с потребительством пишут. И, по моему убеждению, в том, что великий призыв "каждому по его потребностям", по-прежнему звучащий по торжественным дням, в обыденной жизни вытеснен борьбой с потребительством, и заключен корень всех наших бед.

Какое все-таки дивное творение человеческое — язык! Вот произносим "потребность", и все понятно, слово старое, в любом словаре есть. По словарю это "надобность, нужда в чем-нибудь, без удовлетворения которой невозможно обойтись". Другое дело "потребительство" — сразу чувствуешь что-то противоестественное. В обычных словарях такого слова нет, оно появилось где-то в самом начале семидесятых или чуть раньше, едва застой наладился, и означает оно, по Словарю новых слов, "стремление к удовлетворению узкособственнических, эгоистических потребностей в ущерб общественным". Как это Маркс с Энгельсом такое важное различие упустили? Должно быть, оттого, что не учились марксизму у наших обществоведов. Но, так или иначе, они выражались ясно: "каждому до его потребностям", то есть каждому по своим, и личным и общественным, ибо они видели общество состоящим из множества личностей и в личном, индивидуальном, различали общественное.

Маркс и Энгельс нередко — вот тоже странность! — избегали писать, как мы полюбили, "все", предпочитая писать "каждый", и очень напирали на то, что именно "каждый". Определяя самое главное в желанном им обществе, они говорили, что там "свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". Это ведь что значит? — Это значит: если не может каждый, если не может хотя бы меньшинство свободно развиваться, то и никто вообще не может в таком обществе свободно развиваться, даже и явное большинство, с которым все вроде в порядке. Такое вот условие свободы большинства! Большинство не будет свободно, если не свободно и меньшинство, если не свободен каждый.

Это обязательное, по Марксу, условие прежде всего нарушается тем, что одни люди берутся решать за других, какие их потребности обоснованы, а какие — "эгоистические", и самое желание удовлетворить "необоснованные" потребности в свежих овощах и стихах, не попавших в утвержденный заранее список, объявляют "потребительством". Борцы

против "потребительства", то есть против права каждого удовлетворять свои собственные потребности, уверяющие, что люди должны работать потому, что труд полезен для здоровья и нравственности, а не потому, что позволяет удовлетворить потребности, на деле борются против коммунизма и социализма, как их понимал Маркс. Привычно стало думать, что социализм — это цель, а человек — лишь средство, но, по Марксу, социализм нужен для людей, а не люди для социализма. И я жду, что XIX партконференция скажет это прямо и восстановит в реальных правах старые истины освободительного движения.

Было бы, конечно, наивно полагать, что этим дело исчерпывается, и что, вообще, мы можем вычитать у Маркса или у Ленина ответы на все вставшие ныне вопросы. После их смерти произошла научно-техническая революция, влияние которой на общественные отношения огромно, и на этот случай никто подходящих цитат не заготовил. Придется раскинуть мозгами самим. Но чтобы понять, почему научно-техническую революцию мы, сочтя себя авангардом всего прогрессивного, сперва проглядели, потом отрицали и, даже осознав, что отстаем, не можем это отставание преодолеть, не изменив свои социально-политические структуры, необходимо уразуметь, что происходило тем временем в реальности — и у нас, и в других социальных системах. А то ведь рецепты оздоровления порой предлагаются без точного диагноза, без истории болезни.

Для вчерашних руководящих товарищей все просто: мы разболтались, надо подтянуться, не либеральничать, надо, пусть даже признавая отдельные ошибки и перегибы товарищей Ягоды, Ежова и Берии, использовать их славный опыт. Людям застоя важно удержаться на местах, а если даже карета катит по старой дороге напрямик к пропасти, они уверены, что успеют выскочить и примкнуть к победителям. В этом у них большой опыт.

Не так, однако, просто выбраться из застоя, даже и признав власть закона стоимости и рынка. Наивно думать, что достаточно отдаться рыночной стихии, чтобы все пошло как по маслу. Сегодня смелые люди открыто говорят о преимуществах капиталистического хозяйства перед нашим. Василий Селюнин в "Московских новостях" №18 справедливо писал, что американская или японская экономика "фактически управляется более централизованно, нежели наша". Это правда, сегодня это так. Но мы ведь все-таки знаем, что и в прошлом веке, и в нынешнем и даже после первой мировой войны свободное предпринимательство испытывало все более страшные кризисы и вот-вот, казалось, должно было рухнуть — так думали отнюдь не одни марксисты, этого предчувствия полна самая разная экономическая, политическая и художественная литература первой трети века. Что же дало после великого кризиса 1929 года (того же, кстати, года, когда мы, совершив "великий перелом", пошли за Сталиным), а главным образом после второй мировой войны, капиталистическому миру новую неожиданную устойчивость? Без понимания того, что позволило западным демократиям уцелеть на не знающем пощады свободном рынке, наши вполне обоснованные рассуждения о рыночной экономике все равно радикальные или оглядывающиеся на привычные структуры — полемика меж ними выплеснулась уже в печать, — не приводят к созданию по-настоящему действенного механизма, который позволил бы сделать прекрасные намерения реальными.

Между тем перемены на Западе состояли в том, что именно внутри капиталистического мира утверждались некоторые существенные, не ценившиеся прежде черты общественного сознания. Я понимаю, что наши поклонники госпожи Тэтчер немедленно возразят, что социалистические правительства на Западе, ссылаясь на общественные интересы, как правило, приводили свои страны к хозяйственному спаду, поддерживая, к примеру, национализацией убыточных предприятий их плохую работу за счет преуспевающих хозяйств, облагаемых душившими инициативу налогами, то есть, в сущности, по нашему образцу. Ну что ж, не только Сталин, но и многие западные социалисты путают социалистическое с государственным. Но мы-то как будто помним, что сделавший нашу страну социалистическим государством Ленин прежде все-таки говорил: "Когда будет социализм, не будет государства".

Социалистические и социал-демократические партии (в США аналогичную работу вела демократическая партия) вместе с профсоюзами Запада одно существенное свойство социализма внесли в капиталистическую экономику. Они создали довольно эффективную, хоть и далекую еще от совершенства систему социальных гарантий. Если в классическом капитализме, описанном Энгельсом в "Положении рабочего класса в Англии", возможности трудящегося были ограничены пределами его скудного заработка и ему воистину нечего было терять кроме своих цепей, то сегодня пестрая система социальной помощи (тут и страхование, и благотворительность, и разнообразные пенсии, и оплата обретения новой профессии, и прямые субсидии государства) позволяет человеку в трудной ситуации не погибнуть, она помогает и учиться, и лечиться и удовлетворять целый ряд других потребностей. Само собой, это отнюдь не означает всеобщего благоденствия или имущественного равенства. Само собой, социальные гарантии часто лишь удерживают людей на официальном уровне бедности, а то и ниже его. Однако не будем забывать, что этот уровень бедности выглядит в других странах уровнем богатства, — югославы в ФРГ знают, что уровень самой скромной тамошней социальной помощи превышает заработки квалифицированных специалистов в их стране. А главное, существование социальной защиты автоматически вынуждает работодателей поднимать заработки трудящихся в соответствии с их квалификацией и работой.

Социальные гарантии для каждого предали западному хозяйству устойчивость, создали почву для социальной активности, для экономического регулирования и преобразований, которые не ведут уже к немедленным роковым последствиям для миллионов. Даже госпожа Тэтчер, легко пуская с молотка национализированные лейбористами предприятия, весьма осмотрительна в наступлении на социальную помощь и упразднить ее, чтобы действительно вернуться к былому "свободному" капитализму, не рискует. Даже вводит такие пособия, как помощь в покупке жилья. Новая система оказалась особенно плодотворной для непрерывного промышленного обновления, начатого научно-технической революцией, которое эффективно могут осуществлять лишь способные к высокому уровню совершенства свободные люди, имеющие возможность, пусть временами и на минимуме, удовлетворять свои потребности.

Есть глубочайшая ирония в том, что советские люди, пораженные уровнем жизни простого труженика на Западе, объясняют это меж собой

преимуществами капитализма. Вот они — плоды нашей мудрой пропаганды, не дерзающей объяснить, что перед нами, напротив, черты социализма проявившиеся в мире, в целом капиталистическом, и что Маркс говорил о мирном переходе от капитализма к социализму в странах, где он наиболее полно развит, как в его время в Англии и США.

Экономисты, понимающие жизненную необходимость признания закона стоимости, могли бы пропагандистам это разъяснить, да и сами не забывать, что такое социализм по Марксу. Вот я и жду, что после XIX партконференции мы перестанем чваниться своей социалистической исключительностью, от чего, кстати, Энгельс предостерегал русских революционеров еще сто лет назад, именно им говоря, что "нет избранных народов социализма". Но разве не мы положили начало бесплатной медицине, бесплатному учению, дешевому жилью, и дешевому хлебу?

Огромные усилия и средства, затрачиваемые на это Советским государством, общеизвестны. Но не случайно сегодня мы обсуждаем тяжелое состояние здравоохранения и просвещения, не случайно жилищная проблема столь остра, а хлеб, продающийся по заниженным ценам, оплачивается валютой. Всему этому возможны отдельные объяснения, но вернее признать, что наша система социальной защиты не эффективна уже в силу того, что ориентировала на всех, но не на каждого с его особенными потребностями.

У нас не нуждающимся оказывается помощь, чтобы в реальном стоимостном мире каждый мог воспользоваться ею по своему усмотрению, а именем такой помощи опрокидывается стоимостный мир, опрокидывается, понятно, лишь в воображении. На деле-то все свою стоимость имеет, и, отвлекаясь от этого, общество само себя обманывает. Мало того, что продажа по ценам ниже себестоимости ведет к снижению качества товаров, мало того, что субсидии зачастую достаются не тем, кто более всего в них нуждается, главное — получающий помощь не вправе распорядиться ею как он хочет: выбрать врача или школу для ребенка, предпочесть более просторное, пусть менее благоустроенное или, наоборот, тесное, но благоустроенное жилье или купить по-настоящему добротный хлеб, отказав себе в чем-то другом. Нет, каждый приписан к назначенному врачу или школе, к доставшемуся жилью или к скверному хлебу, изготовляемому единственным местным хлебозаводом. И нежелание с этим мириться как раз и объявляют "потребительством". К тому же и все перечисленное, как и вообще право на существование, действительно лишь в той мере, в какой сам человек, если он не младенец и не пенсионер, к чему-то приписан и может назвать место работы или учения. Социальная помощь стала у нас лишь способом выравнивания жизненного уровня трудящихся, вне зависимости от их реального труда, но не средством повышения этого уровня.

На Западе социальная защита и заработок в основном независимы друг от друга, за вычетом разве того, что более высокий заработок позволяет приобрести лучшую страховку. У нас они практически срослись, и заработок стал в некотором смысле формой социальной помощи. Там платят лишь за реальную работу по ее реальной стоимости — на рынке капиталист не размякает. А социальная помощь оказывается тем, кому самостоятельно уже или еще не выстоять — действует гуманное социальное начало. У нас положение почти противоположное: гуманности в социальной помощи все меньше, а иные ее виды и вовсе отсутствуют.

Зато у нас гуманно платят за несодеянное или за изготовление никому не нужного. Вот люди, а часто целые учреждения и привыкают быть иждивенцами общества.

Сегодня им справедливо говорят: рост числа иждивенцев сокращает долю каждого, надо жить иначе, считаясь с законом стоимости. Но люди ведь понимают, что на практике это будет означать сокращение заработка или переход на другую, хуже оплачиваемую работу, а то и вовсе ее утрату, при отсутствии какой-либо поддержки. Вот отчего отношение широких масс к перестройке, будем откровенны, все еще двойственно. Ее идеи и очистительный воздух правды манят, и в общей форме правы те, кто говорит, что народ за перестройку. Но на своем рабочем месте человек, как его к этому ни призывай, часто бессилён добиться разумной и прибыльной постановки дела, и мысль о завтрашнем дне без социальной защиты внушает ему беспокойство.

Беспокойство обостряется и тем, что противоположные политические тенденции не столько ведут публичную полемику, сколько добиваются одновременного издания прямо противоречащих друг другу законов. Сперва закона об индивидуальной трудовой деятельности и закона о нетрудовых доходах, каковыми практически объявляли почти все доходы, получаемые вне государственных и колхозных рабочих мест, то есть именно индивидуальные. Недавно — закон о кооперации, а перед этим — указ о непомерных налогах на кооператоров. Это тоже смущает умы.

Но главной почвой неуверенности, охотно эксплуатируемой консерваторами, остается полное молчание о социальной защите для каждого, которая как раз и стала бы залогом справедливой оплаты труда. Социальная защита принесла бы уверенность в том, что и нынешний и предстоящие повороты экономики, — наивно думать, что научно-техническая революция позволит обойтись однократным изменением структуры на неопределенный срок, — не окажутся для людей роковыми. Вот я и жду, что XIX партконференция провозгласит необходимость создания у нас социальной защиты для каждого и вместо гонений на "тунеядцев", не состоящих на службе и ничего у государства не берущих, в центре внимания окажется поощрение работающих, то есть экономическое вытеснение подлинных тунеядцев, состоящих на службе и получающих зарплату. Но ведь и они стали тунеядцами не всегда по своей вине, и долг общества оказать им социальную помощь, чтобы они могли найти себе достойное применение,

Разумеется, социальная защита сама по себе не делает строй социалистическим. Если же мы хотим социализма, то пора конкретно определить, что мы имеем в виду. Самой собой, не советский феодальный социализм. Что же тогда? Что надо перестроить в нынешнем социальном устройстве? Идут жаркие споры, был ли неизбежен культ личности. Но для ответа надо бы сперва понять, что его породило, а от этого спорящие часто уходят. Но ни аморальность Сталина, ни отсталость страны, ни ее монархические традиции не могут объяснить, почему Сталин прочно держится в умах и после смерти, и после его разоблачения на XX съезде.

Анализируя сталинскую эпоху, историки не хотят мазать ее одним черным цветом и говорят о противоречивости. Это правильно. Но противоречивость изображается плоско: строительство социализма — хорошо, нарушения законности — плохо, Магнитка — хорошо, Лубянка — плохо, и меж одним и другим никакой связи не обнаруживается. А стоило

бы поразмыслить, почему как раз руководство Магнитостроя, вплоть до секретаря обкома, оказалось жертвой Лубянки.

Уже это указывает на противоречивость самой по себе Магнитки. С одной стороны, страна нуждалась в металле, который Магнитка дала, и об этом по праву говорят. Но зря умалчивают о том, что Магнитка отнюдь не вступила, скажем, с Криворожским металлургическим комбинатом в реальное экономическое состязание за то, чья продукция будет стране дешевле и выгодней. Напротив, оба металлургических гиганта, вкуче с остальными, образовали единую металлургическую монополию. И такие же точно монополии сложились во всех сферах хозяйства. И все они даже вошли в правительство в качестве министерств, образовав единую сверхмонополию под единым руководством. Эта сверхмонополия, которая, чем обширнее становилась, тем больше утрачивала стоимостные критерии и тем меньше поддавалась рациональному управлению, могла хоть как-то функционировать лишь при беспрекословном подчинении приказам сверху, сколь бы нелепы эти приказы порой ни оказывались. На этой структурной базе и сложился культ личности, он был неизбежным следствием создания единой феодально-промышленной сверхмонополии, подкреплявшей желанный Сталину и его единомышленникам феодальный социализм, то есть неизбежным результатом отступления от новой экономической политики. Но это отступление отнюдь не было неизбежно.

Не зря ведь после революции, хотя страна промышленно была куда более отсталой, отношение к Ленину не назовешь культом личности. Причина тому не расхождение во взглядах. Сталин был верным ленинцем. Но Ленин проводил свои решения, располагая лишь властью, только что взятой его партией, а Сталин мог опираться на уже создавшееся к его возвышению феодально-промышленную базу, нуждавшуюся в культе вождя. Поэтому этот культ сохранился и при Хрущеве, и при Брежневе, людях другого характера, но опиравшихся на ту же хозяйственную систему. Ленину, чтобы провести решение, надо было убедить в его целесообразности большинство руководства, съезд партии, — вспомним борьбу за Брестский мир или за переход к НЭПу, а Сталину довольно было распорядиться.

Конечно, при Сталине дело по видимости шло эффективней, поскольку дирекция не щадила затрат и Сталин без счета кидал в топку сверхмонополии и природные ресурсы, и людские ресурсы, и рожденный революцией великий энтузиазм, великую веру людей в то, что они строят справедливое социалистическое общество.

А ни Хрущев, ни Брежнев так действовать уже могли, поскольку казавшиеся неисчерпаемыми ресурсы были уже хищнически растрачены, а размах хозяйства и, стало быть, нужда в них выросли, что придавало культам их личностей порой опереточный характер: рост производства сокращался, а число золотых звезд на груди первого лица росло. Но не смех, а слезы вызывают подсчеты нерациональных затрат феодально-промышленной сверхмонополии, сопоставление реальной цены достижений, которыми мы гордимся, с аналогичными успехами за рубежом. При Брежневе иррациональность хозяйства стала наглядной для всех, но коренится она в учрежденных при Сталине порядках, отчего и приходится сегодня чаще спорить о Сталине, чем о Брежневе и тем более о Ленине. Вина Брежнева не в том, что он плохо управлял сталинской системой, — уже ввиду истощенности лежавших на поверхности

ресурсов, даже не касаясь революции в технике, ею невозможно было управлять старыми методами хоть сколько-нибудь успешно, и тут ругать Брежнева несправедливо. Его вина в том, что он пресек стремления к переменам, устроил "тихий" сталинизм и помешал переделать хозяйственный механизм.

Сталинскую систему именовали плановым хозяйством, и то, что объявлялось планом, обретало силу закона. Но в этом плане воплощалась воля, а не здравый расчет, отчего его и стремились не так выполнять, как перевыполнять, что, естественно, подрывало всякую сбалансированность хозяйства, в поддержании которой между тем состоит смысл планирования. Сталинские планы были не планами вовсе, а директивами, но эти директивы, хоть и обретали силу закона, хоть на их выполнение не щадили разорительных затрат, далеко не всегда могли выполняться в полной мере, поскольку не все определяется волей, есть еще объективная реальность, даже от Сталина не зависящая, и директивные планы, чем дальше, тем больше, так или иначе, особенно в качественном отношении, нарушались, а это, коль скоро их считали законами, создавало атмосферу общего беззакония, в которой юридические нарушения оказывались лишь частностями среди всеобщего хозяйственного произвола.

Сегодня многие ратуют за юридические гарантии от нового культа личности, от нарушений законности, и действительно реформа правовой системы — одно из важнейших условий перестройки. Не забудем, однако, что принятая в 1936 году сталинская конституция сама по себе носила вполне демократический характер и на словах гарантировала все права и свободы. И все же сразу после ее принятия 1937 и 1938 годы наполнились вопиющими нарушениями законности. Подлинной гарантией демократии может стать лишь демократическое хозяйство, демократически функционирующая экономическая структура, несовместимая с монопольной внеэкономической деятельностью князей нефтедобычи, маркизов машиностроения, графов водного хозяйства и повелевающего всеми ими всеобщего отца, творца и учителя.

Дело вовсе не в том, что в конторах сидят плохие люди. Установив, что у нас чуть не 18 миллионов занято в сфере управления, пресса с жаром их обличает как тормозящую и паразитирующую силу. Что говорить, число управителей непомерно, то есть производительность их труда крайне низка. Но разве в других сферах она выше? Разве в сопоставлении с количеством и качеством продукции у нас не слишком много рабочих, не слишком много людей, занятых в сельском хозяйстве? Беда не в количестве управителей, а в характере управления, определившем это безмерное количество и его роль. Хотя в министерствах и партийных органах сидят не одни бездельники, но и вполне образованные и талантливые работники, система не становится от этого эффективней. Простая замена людей и даже сокращение их числа ничего не изменят, необходима коренная реорганизация управления, его перестройка. Вот я и жду, что XIX партконференция положит конец хозяйственному феодализму, признает необходимым в близкой перспективе упразднить хозяйственные министерства и хозяйственные отделы партийных органов, и правительство, вместо выдачи внеэкономических распоряжений, сможет осуществлять эффективное экономическое руководство хозяйством через такие органы, как министерство финансов, Государственный банк, преобразованный в научного консультанта Госплан и, может быть,

специальное ведомство государственных имуществ, предоставляющее права на использование общественной собственности различным предприятиям, которым будет дана экономическая автономия в рамках закона и взятых ими при этом на себя обязательств.

Здесь мы подходим к ключевой проблеме перестройки. Опыт показывает, что увеличение самостоятельности предприятий не состоит в номинальном увеличении прав директора. Директор, будь он семи пядей во лбу, чтобы не остаться проводником приказов сверху, должен зависеть от трудового коллектива, выражать его интересы как целого и потребности его членов, которые могут быть реализованы лишь трудом этого коллектива для удовлетворения каких-то интересов и потребностей других коллективов и людей, составляющих общество. Это взаимодействие всеобщих интересов, особенных интересов данного коллектива и отдельных интересов его членов должно осуществляться в сугубо экономических формах как их свободная деятельность в рамках закона и обязательств, выполняемых всеми участниками взаимодействия, в равной мере отвечающими перед законом и не обязанными считаться с произвольными указаниями.

Долгое время принято было считать, что высшей формой социалистической собственности является государственная, а низшей — кооперативно-колхозная и, соответственно, высшей формой социалистического трудового коллектива — фабрика, а низшей — колхоз, под этим флагом и осуществлялось преобразование колхозов в совхозы. Но возвращение к пониманию социализма как строя цивилизованных кооператоров побуждает не только признать, что колхоз — не единственная возможная форма кооператива, но и задуматься, впрямь ли на фабрике больше социализма, нежели в подлинном колхозе, живущем демократически, а не по райкомовским или агропромсовским командам, превращающим и колхоз в фабрику. Ведь кооператив, — пусть даже, как говаривал Ленин, "при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией" и, на новом опыте прибавим от себя, без команд феодального социализма, создает больше возможностей для демократического участия коллектива в решении производственных задач, нежели фабрика, сложившаяся как инструмент частной собственности ее индивидуального владельца.

Не входя здесь во множество проблем и перспектив внегосударственного хозяйственного устройства, важно подчеркнуть, что оно открывает обществу путь к реальному экономическому состязанию предприятий и кооперативов, ведущему как к повышению качества товаров, так и, — при нормальном, а не директивном ценообразовании, — к снижению цен на товары массового спроса, производство которых будет вынуждено возрасти, что в свою очередь также расширит возможности удовлетворения каждым трудящимся своих потребностей.

Понятно, процесс этот может требовать тех или иных корректировок, и правительство, располагающее экономическими рычагами, сумеет производить такие корректировки экономическим путем. В том-то и дело, что нежелательные тенденции и упущения стихийного экономического процесса можно уследить и исправить, но невозможно подменить этот стихийный процесс рационалистическими распоряжениями. Парадоксально, но факт: отказ от чрезмерной регламентации и прямых команд именно затем и необходим, чтобы сделать экономику более

управляемой. Вот я и жду, что XIX партконференция проложит дорогу к реальной автономизации трудовых коллективов и наметит выгодные для обеих сторон формы их отношений с центральными органами как представителем совокупного собственника, то есть народа, их избравшего.

Само собой, решения партконференции, даже и самые лучшие, не будут означать, что на следующий день мы окажемся в совершенно новом мире. Они должны стать началом преобразования экономической и всей общественной жизни. Не стоит предсказывать, завершится оно к двухтысячному году или раньше или, может быть, продлится дольше. Важно к нему безотлагательно приступить, узаконить очерченные выше отношения и ликвидировать избыточные регулирующие институты, тормозящие социальную активность. Это, конечно, предполагает и преобразование политической системы, затем и необходимое, чтобы борьба за перестройку перешла в сферу собственно экономическую, где должны свершиться главные ее события. А они в свою очередь окажут оздоровляющее влияние на все другие сферы жизни, пострадавшие от губительного воздействия 1929 года, породившего монопольно-абсолютистский хозяйственный базис.

Иные проповедники, сами живущие вполне благополучно, все твердят, что бедная, трудная жизнь помогает народу сберечь духовную чистоту и идеологическое первородство. Жизнь, однако, показывает иное: под грузом неудовлетворенных потребностей лишь единицы идут на высокие духовные подвиги, большинство же, напротив, от невыносимой повседневности теряет духовные и нравственные ориентиры, вплоть до элементарной добросовестности в труде. Война кончилась сорок три года назад, сегодня у родившихся после войны рождаются внуки, и нельзя требовать еще и от них бесконечной жертвенности. Пора наконец позволить людям создать себе достойную жизнь.

О перестройке часто говорят: другой дороги нет. Это неверно. Другая дорога есть. Это дорога к все более глубокому упадку, к дальнейшей растрате богатств природы и народов. Их ценности уцелеют лишь при решительной перемене жизни и окончательно погибнут, если все останется, как было до апреля 1985 года.

Не все, однако, просто и с переменами. Они сами порой выступают как возрождение вчерашних нравов. Директивная борьба с алкоголизмом обернулась поощрением самогонварения и исчезновением сахара, одеколona, лекарств и многого другого, в чем прежде не было недостатка. Мы все еще не сознаем, что перестройка — это прежде всего перестройка методов, отказ от команд, даже самых, казалось бы, благонамеренных, — ведь противодействовать алкоголизму и в самом деле необходимо, но не унижая всех граждан без разбора. Целям перестройки грозит и привычное своекорыстное торможение, и не в меру ревностная поддержка на старый лад. Вот я и жду, что XIX партконференция возрождая забытый призыв Ленина: "Не смей командовать!", широко откроет двери самостоятельным начинаниям тех, кто хочет что-то делать на свой страх и риск.

Как только станет очевидным, что такое и впрямь теперь возможно, число добровольцев начнет неуклонно расти. Лишь в пробуждении подлинной, а не отчетной добровольности залог того, что на прилавках появятся и овощи и книги. Ощувив, что возникла надежда удовлетворить потребности, едва ли не каждый, кто не пьет без просыпу, захочет в полной мере выложиться, сделать все, на что способен, и общество

получит "от каждого по его способностям". Другой надежды нет. Вот я и надеюсь!

СНОВА «ЧЬИ-ТО КОЗНИ»?..

Не скрою, меня обрадовало, что Авенир Соловьев, говоря о «немногих серьезных попытках разобраться в прошлом без ругани», помянул и мое имя. Я действительно пытаюсь это делать, и признание со стороны человека совсем иных воззрений доставляет, конечно, удовлетворение. Поэтому ужасно жаль, что нет возможности ответить А. Соловьеву тем же, то есть невозможно сказать, что и он обходится «без ругани», — он ведь объявляет мои суждения «абсурдом», да еще «выданным с кондачка». И все-таки не хотелось бы срывать на такой же стиль.

Итак, А. Соловьев не согласен с моим определением установленного Сталиным порядка как феодального социализма, о котором я, кстати, отнюдь не писал, что со смертью Сталина он исчерпался. Какие же контрдоводы А. Соловьев выдвигает? Прежде всего ему кажется невозможным, чтобы общество феодального социализма даже в течение исторически ничтожного отрезка времени могло догонять капиталистическое. Он, видимо, убежден, что феодальное всегда и во всех отношениях должно уступать капиталистическому. Сильнее кошки зверя нет. Но ведь можно, к примеру, вспомнить стремительное развитие металлургии в петровской феодально-абсолютистской России, еще в конце XVII века выплавлявшей ничтожно мало чугуна, а уже в 1718 году выплавившей 26 тысяч тонн, а в 1740-м — 32, то есть обогнав капиталистическую Англию, выплавившую в 1740 году лишь 20 тысяч тонн. Потом, естественно, соотношение радикально переменялось. Тем более временный рывок возможен, когда речь идет не о классическом феодализме, а все же о социализме, хоть и феодального толка.

Подобные короткие «обгоны» совершаются за счет непомерного напряжения народных сил и растраты ресурсов, а в их концентрации феодализм и особенно феодальный социализм могут быть даже сильнее капитализма, поскольку имеют возможность до поры пренебрегать размерами людских и материальных затрат, их стоимостью. Другое дело, что за такие «успехи» в конечном счете приходится платить втридорога. Нынешнее состояние нашего хозяйства и есть расплата за то, как при Сталине и после него расходовались народные богатства и страдал народ. Поэтому нельзя не считаться с чувствами, которые былые беззакония вызывают не только у тех, кто от них прямо пострадал, но и у всякого честного человека, не безразличного к судьбам своей страны и своих сограждан. В отличие от А. Соловьева я не вижу беды в том, что такие чувства находят ныне открытое выражение. Важно лишь понимать, что само по себе изъяснение чувств еще не объясняет происшедшего, а главное, не гарантирует от возвращения к чему-то подобному. Действия Сталина порой даже объясняют тем, что он, якобы, был сумасшедшим, ссылаясь на самого Бехтерева, или агентом царской охраны, тоже ссылаюсь на опубликованные где-то материалы. Но даже если бы все это оказалось правдой, тем более было бы необходимо объяснить, каким же образом сумасшедший агент царской охраны обрел столь непомерную власть, что за общественная система такое допустила. Об этом, кстати, шла речь в том же номере, где напечатано письмо А. Соловьева, — во фрагменте статьи Ю. Афанасьева.

В пришедшем в редакцию одновременно с письмом А. Соловьева письме Е. Соломенного из Челябинска высказывается мысль, что сталинский порядок вернее определять как государственный капитализм. Е. Соломенный ссылается на пример конфискованных во Франции после войны заводов «Рено», ставших государственной собственностью, где рабочие трудились на тех же условиях, что и на обычных капиталистических предприятиях. Ну, что ж, при нэпе, когда на определенных началах у нас был допущен капитализм, можно было и советские государственные заводы относить к государственному капитализму. Однако там, где всякое действие на капиталистических принципах запрещается, на этих принципах не могут действовать уже и государственные заводы, слившиеся в единую монополию, их социальная природа меняется. Если система, сложившаяся после ликвидации нэпа, была все же социалистической, то прямо противоположной той социалистической системе, полагавшей, что государство должно быстро перерасти в нечто, являющееся государством лишь отчасти, а там и вовсе отмереть. Между тем после ликвидации нэпа государство у нас укреплялось и усиливало свое воздействие не только на традиционные области, но и непосредственно на хозяйство. Это возрастание роли государства при социализме, когда открытых капиталистических отношений в нем не существует, может быть, по-моему, истолковано лишь как феодальное влияние на социализм. Это, кстати, подтверждается и тем, что социализм такого типа складывался именно в странах с сильными феодальными традициями и не слишком развитым капитализмом, упраздненным революционными преобразованиями.

Исследователю, хоть и у него есть чувства, не стоит заменять ими, и уж тем более руганью, анализ социально-экономических структур и перемен, в них происходящих, и тут А. Соловьеву как профессиональному экономисту, казалось бы, и книги в руки. Но он, к сожалению, как раз отдается чувству к незабвенному великому вождю, а оно толкает его записывать на счет Сталина все хорошее, чего наша страна достигла до «великого перелома». За исходный пункт сопоставления экономики СССР и Запада А. Соловьев берет самый трудный экономически для страны 1920 год, и, естественно, по отношению к нему рост хозяйства, и производительности труда в частности, к моменту смерти Сталина оказывается огромным. Но добросовестно ли так считать? Ведь феодальный сталинский социализм начался лишь с «великого перелома», лишь с 1929 года, а уже до того, как раз после 1920 года, хозяйство страны, пошедшей по экономическому пути, росло фантастически. Вступив на этот путь в 1921 году, страна, перед тем вынесшая восемь лет мировой и гражданской войн и немыслимую разруху, за четыре года, к 1925 году, достигла довоенного уровня, а кое в чем его и превзошла и успешно двигалась дальше без сталинского форсирования. Хорошо ли умалчивать о реальной стоимости индустриальных достижений последующих лет и о том, что целые отрасли хозяйства были тогда, напротив, разорены: после «великого перелома» поголовье скота у нас разительно сократилось — вот еще куда восходят нынешние трудности с мясом. На страницах «Книжного обозрения» нет, к сожалению, возможности продемонстрировать во всей полноте плоды внеэкономического хозяйствования, всегда, кстати, сопряженного с огромными злоупотреблениями отдельных хозяйственников и чиновников. Делать вид, что рашидовы и целоковы,

люди типично феодальные, появились только в наши дни, — все равно, что делать вид, будто лишь в наши дни в СССР появились проститутки, поскольку о том и о другом заговорили только сейчас.

А. Соловьев уверяет, что даже и те, чью серьезность попыток разобраться в прошлом он сам признает, говорят о былом лишь потому, что «кому-то очень нужно отвлечься от сегодняшних — крайне острых проблем, переключив внимание на прошлое нашего строя». Кому-то нужно! Как все-таки удобно все происходящее в своем доме списывать на кого-то, на злые силы, сатанинские исчадия, агентов гестапо, ЦРУ и чьи-то еще! Но на самом деле нынешний обостренный, поистине всенародный, интерес к истории, как бы однобоко он порой ни проявлялся, вызван тем, что вне истории, не зная прошлого, просто невозможно что-нибудь понять в сегодняшнем дне и его, действительно, крайне острых — в этом я вполне согласен с А. Соловьевым — проблемах. Кстати, и марксизм, в отличие от многих иных современных течений, довольствующимся синхронным анализом, изучением текущего момента, одного среза, весь держится на историзме, на идее развития, и перестает быть собой, когда исчезает понимание того, что прошлое сказывается на настоящем и будущем, а наши нынешние действия скажутся на завтрашнем и послезавтрашнем дне нашей страны и наших детей. Вот и приходится вглядываться в прошлое, различать, что в нем было плодотворным, а что пагубным, что следует сегодня воскрешать, поддерживать, а что, если вернуться к нему, повлечет в гибельные бездны. Здесь есть вещи, лежащие на поверхности: надеюсь, большинство советских людей согласится, что культурное наследие всех народов, книги, песни, танцы, картины, архитектурные памятники надлежит в меру наших возрастающих возможностей беречь, помня, конечно, что «хранить наследие — не значит еще ограничиваться наследием», а вот с насилием, с казнями и лагерями надо кончать. Но не все, к сожалению, так наглядно, и даже не всем докторам экономических наук, увы, ясно, что на нынешнем уровне технической вооруженности производства внеэкономические действия, всегда игравшие в нашей стране непомерную роль, стали для нее губительны, самоубийственны. Потому-то и оказалась жизненно необходимой перестройка, переход от внеэкономических к экономическим методам хозяйствования. Важно добраться до корней тех отрицательных явлений, с которыми мы сталкиваемся, а не списывать их на сатану.

А. Соловьев пишет: «"Рыночники" идут открыто в наступление под флагом перестройки, а "советские" дельцы гордо шествуют впереди». «Рыночники» — это, видимо, по А. Соловьеву, сторонники — экономических методов хозяйствования, а как пример «советского» дельца А. Соловьев называет бывшего генерального прокурора СССР А. М. Рекункова. Я не располагаю собственной информацией о А. М. Рекункове, но, если все, что рассказывает о нем А. Соловьев, правда, в моральной оценке таких деяний у нас, видимо, разногласий не возникнет. Но об их социальной природе придется поспорить. В действиях прокурора, вошедшего в негласный сговор с бандой, под легальной маской старательской артели, нарушавшей законы, нет ровно ничего «рыночного», экономического. Напротив, это типичный пример внеэкономической деятельности, возможной лишь благодаря занимаемой должности. Бровин тоже не прибавочную стоимость, произведенную рабочим, удерживал в свою пользу, а извлекал выгоду из своей близости к

Брежневу, что не только по социалистическим, но и по буржуазным понятиям — преступление. Все это типичные примеры феодального могущества, когда должность, социальная позиция, а не капитал и не труд приносят доход, и человек получает возможности, никак не вытекающие ни из его способности их оплатить, ни из его общественно-полезной деятельности. Экономическое ведение хозяйства, за которое ратуют обличаемые А. Соловьевым «рыночники», как раз противостоит внеэкономической деятельности должностных лиц и стремлениям кого-то из них даже запускать руку в общественный карман, потому-то «рыночники» и выступают за всеобщую гласность и строжайшую законность. Экономисту стоит различать прибыль, которую приносит труд социалистического предприятия, и незаконные доходы, которые вороватый чиновник извлекает из доставшегося ему поста. Путая то и другое, А. Соловьев, при всех его обличениях Рекункова и прочих, невольно способствует дальнейшей деятельности им подобных. Ведь закрыть социалистический рынок, загнать его в подполье, извратив его природу, как мы видели, вполне возможно, но от этого лишь возрастает власть и число чиновников, они уходят от общественного экономического контроля. А это дает им ощущение свободы от нравственных требований — ведь зависят они не от мнения общества, а исключительно от мнения вышестоящего лица, «сеньора».

Нет нужды здесь повторять общеизвестные истины о частной собственности на средства производства. Но очень важно, чтобы под покровом борьбы против нее, борьбы против буржуазности не возрождались феодальные нравы. Наш трагический опыт доказал, что вести хозяйство внеэкономически, надеясь, что администрация все устроит мудро и честно, невозможно. Если мы, не связав администраторов обратной связью с экономической реальностью, даже назначим их исключительно из святых, они либо сами развратятся, либо будут вытеснены грешниками. И право же, именно ради сегодняшнего дня пора — уже без большого риска для себя, лишь приняв всерьез решения XXVII съезда партии, — это признать, не поддаваясь гипнозу привычных словосочетаний, от повторения которых, как мы могли за долгие годы убедиться, не становятся лучше ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни культура, ни, самое главное, повседневная жизнь обыкновенных людей, ради которых совершалась революция.

ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Детальное обсуждение проекта нового Закона о пенсиях станет возможно лишь после его опубликования. Но концепцию, -- какой ее видят те, кто работает над этим документом, -- надо бы обсудить не откладывая. Она неотделима от общего понимания отношений гражданина и государства. В конечном счете именно расплывчатость правового сознания обусловила все изъяны нашего общественного устройства, которое мы теперь хотим и должны устранить.

Говоря о природе пенсии, А.Г.Соловьев отмечает: «Это, как известно, часть фондов общественного потребления, расходуемая на содержание нетрудоспособных. Исходя из такого определения, пенсия должна, пенсия должна выплачиваться тому, кто не в состоянии работать и не имеет других источников средств для существования». Но если так,

почему же пенсия назначается по возрасту, а не по медицинскому заключению о нетрудоспособности? Ведь уже то, что действующий Закон с полным основанием дает право на пенсию в зависимости лишь от возраста, трудового стажа и заработка, свидетельствует: человек, проработав определенный срок и выплачивая в течение этого срока налоги (не говоря о страховых суммах, отчисляемых за него предприятием или учреждением) заработал себе на старость. То есть, доверил определенную часть своего заработка государству, чтобы оно по достижении положенного возраста выплачивало ему накопленное по частям в качестве пенсии.

Фонд общественного потребления отнюдь не весь обезличен, и нельзя его перераспределять, как заблагорассудится. У каждого труженика в этом фонде есть и свой индивидуальный вклад, который становится общим достоянием лишь после его смерти. Если бы средства, как я это понимаю, не удерживались во имя будущей пенсии, да и зарплата не была бы занижена ради формирования общественных фондов, а все это выдавалось людям на руки и тут же вносилось ими в Сбербанк под срочные проценты, то за 25 лет для мужчин и 20 -- для женщин (да еще при том, что не все, увы, до пенсии доживают), образовались бы суммы, позволяющие старикам получать больше, чем сегодня. Но еще важнее, чем размеры пенсии, признание того, что она – не благодеяние, а заработок с отложенной выплатой. Не акт благотворительности, а непреложный долг государства.

Фактическая точка зрения, которую представляет в данном случае А.Г.Соловьев, основана на том, что никакой обязанности возратить труженику внесенные им в казну деньги у государства нет, и разрешая части пенсионеров работать, оно «идет на определенные жертвы», поскольку выплачивает пенсию трудоспособному населению. Выходит, Госкомтруд и без медицинского освидетельствования разделяет стариков на трудоспособных и нетрудоспособных, не вникая в то, что часто обстоятельства и нетрудоспособного вынуждают работать через силу. Большая часть ветеранов продолжает трудиться потому, что пенсия у них намного ниже заработной платы и прожить на нее невозможно. Без признания за государством непреложной обязанности возвращать старикам заработанное, то есть долг в самом буквальном смысле, новый Закон о пенсиях не может быть справедливым.

В прежние времена долг, как известно, вообще существовал лишь у гражданина перед государством. Оно его благодетельствовало, кормило, поило, одевало, учило, лечило и т.п. За все, что человеку перепадало, надлежало благодарить государство, словно средства на все это добывали не сами люди или их близкие, а чудодейственная мудрость «вождя» и его верных соратников. Пенсия по старости при Сталине составляла в нынешнем масштабе 15 рублей, а после очередного повышения цен на хлеб – 21 рубль. Закон о государственных пенсиях, принятый после XX съезда, при всех его несовершенствах, был событием, поскольку служил признанием того, что у государства все же есть обязанности перед гражданами. Сегодня открыто говорится, что отношения государства и гражданина могут быть плодотворны лишь при взаимности обязательств, тем более, что все граждане считаются у нас коллективными собственниками государственного имущества. И все-таки

продолжается манипуляция государственными обязательствами во имя государственной же пользы.

Между тем, государство, желающее богатеть за счет того, что беднеют его граждане, в конечном счете всегда терпит убыток. При этом рождается недоверие, постоянное ожидание обмана, подвоха, люди поддаются слухам, часто самым нелепым, уничтожаются стимулы к творческой инициативе и добросовестной работе. Если старые идеи прилаживать к лозунгам перестройки, появится недоверие и к перестройке, закрепится общественная пассивность.

Менее всего, разумеется, хочу я сказать, что пенсия призвана стать простой надбавкой к заработку стариков, наградой за выслугу лет. По моему, ее важнейшая социальная функция, напротив, в том, чтобы способствовать своевременной смене поколений трудящихся, возможно более раннему приходу на рабочие места молодых и активных людей, чтобы полноценно заменить старших. Я готов даже допустить, что для определенных должностей может быть установлен возрастной предел. Однако несправедливо наказывать старика лишением пенсии за то, что труд его покамест еще нужен, что равноценной замены ему нет.

Сейчас, кажется, все признают, что нельзя рассматривать государство и его богатство в отрыве от Граждан, отводя им роль безгласных, послушных и не думающих о своих интересах исполнителей, которым надо лишь выдать что-то на «прокорм». Ведь на этом как раз и стояла административно-командная система, которую мы хотим преодолеть. Без восстановления взаимности в отношениях гражданина и государства вряд ли можно говорить о подлинной перестройке.

КОГО СЧИТАТЬ ПАТРИОТОМ

Слово «патриот» пришло к нам при Петре. Оно восходит к греческому «патриотес», означавшему «земляк». Но прекрасное русское слово «земляк» не обрело того же значения. Даль предлагал говорить «отчизнолюб», «отечественник», «отчизник», но и это не привилось. Для обозначения человека, любящего родину, радеющего о ее благе и чести, у нас нет родного слова, и мы пользуемся иностранным, инородным.

Нам все еще трудно уяснить, что такое любовь к родине и что составляет ее благо и честь. Об этом беспрестанно спорят. Между тем эти понятия у нас оговорены юридически, и если, упаси господь,любишь родину не как положено и честь ее видишь не там, где велено, можно дорого поплатиться. Особенная часть уголовного кодекса открывается статьей 64 «Измена Родине». Там перечислены, конечно, и кое-какие бесспорные преступления, но уголовными деяниями объявлены также «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР». Даже ничем более не отягченные, сами по себе, они караются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или смертной казнью. Можно ли при этом считать патриотизм любовью? Ведь любовь тем и прекрасна, что живет и умирает, не считаясь ни с чьей, даже и нашей собственной волей. Если за то, что разлюбишь жену или родину, предусмотрена суровая кара, в любовь трудно верить. А у нас ведь не только бежавших за границу объявляли не любящими родину, но и никуда не собиравшихся, но любивших «неправильно», выставляли за рубеж и лишали гражданства.

Противоестественность такой практики проясняет, что патриотом мы зовем не того, кто любит родину, а того, кто любит государство, то есть ту власть, которая в данный момент родиной правит. Двадцать лет назад мне выпала удача не только перевести, но и тогда же опубликовать по-русски замечательную комедию Ф. Дюрренматта «Ромул Великий», где сказано: «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной». И все становится на свои места: Аракчеев был патриот, а Рылеев — нет, Уваров — патриот, а Герцен — нет, полицмейстер Трепов — патриот, а Плеханов — нет, Ежов — патриот, а Раскольников — нет, Брежнев, Сулов, Романов, конечно, — патриоты, а Сахаров, Солженицын, Бродский, разумеется, — нет. Все просто: смотри программу «Время», читай газеты и будешь знать, кто нынче патриот.

Одно мешает: у нас все же немалыми тиражами изданы сочинения Ленина, а в его устах слово «патриот» — чаще бранное, чем похвальное. В «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс писали: «Рабочие не имеют отечества» и отсюда делали прямой вывод: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И мы по их примеру говорим: сторонники мира, соединяйтесь! Защитники природы, соединяйтесь! Борцы за права людей, соединяйтесь! А нам отвечают: нельзя вмешиваться в чужие внутренние дела. И мир не вмешивается, когда в одной стране убивают нежелательных инородцев, в другой — опять надевают на женщин чадру, в третьей — на главной площади расстреливают студентов.

Важно, однако, разобраться, кого в этих странах считать патриотами — тех ли, кто перечисленное делает, или тех, кто против этого там протестует. Конечно, неприятно, когда твою страну называют «жандармом Европы» или «тюрьмой народов», когда твердят, что она способна дать человечеству «только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство». Но патриот, любящий государство, спешит заткнуть рты говорящим подобное, а патриот, любящий родину, сам об этом говорит, чтобы изменить жизнь.

Увы, не сразу бывает понятно, что родине на пользу, что во вред. Лишь позднее становится ясно, кому страна обязана больше других. Но многие, ничего доброго для родины не сделав, сами провозглашают себя патриотами. Однажды в троллейбусе я попросил женщину, сидевшую около компостера, пробить мой талон, и она ответила: «Убирайтесь на Запад, пока на Восток не погнажи!» Оторопев, я спросил: «Вы что, фашистка?» и услышал гордое: «Я — патриотка!» Нынче таких «патриотов» немало, и удивляет не так уродливость их понятий о благе и достоинстве родины, как самая эта уверенность, что уж они-то несут родине благо и делают ей честь.

Виктор Астафьев недоволен, что не сдали голодающий Ленинград. Это, по мнению писателя-патриота, от недостатка у нас человеколюбия. Отстраняя другие соображения, я все недоумеваю: с чего Астафьев взял, что фашисты оказались бы человеколюбивее и стали бы кормить ленинградцев? Стойкость в те немыслимые дни поддерживалась чувством достоинства, не в последнюю очередь внушенным стоящими окрест великими сооружениями, которые для Астафьева просто «коробки». А в Ленинграде не столько люди защищали «коробки», сколько эти «коробки» побуждали людей не сдаваться желавшему их унижить врагу.

Детям у нас положено военно-патриотическое воспитание. Но патриотизм приходит не от военных тренировок, а из мирной жизни. Если

на войне его недостает, значит, что-то было неладно в мирные годы. Патриотизм, строго говоря, противоположен войне, ибо тот, кто любит свою родину, понимает, что другой любит свою. Настоящий патриот не лезет в чужую страну с оружием, ему там нечего делать, а оказавшись там по частным обстоятельствам, он с уважением отнесется к ее обычаям и языку и не станет навязывать свои. Если сегодня мы наблюдаем кровавые столкновения на национальной почве, не последнюю роль в них играет установка на военное понимание патриотизма и то, что проявлением патриотизма и воинского долга объявлялось введение войск в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан. А нам-то всего бы нужней мирно-патриотическое воспитание подрастающих поколений!

Пушкин назвал два чувства, особо питающие сердце: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Мой отец похоронен в Москве, неподалеку от кольцевой дороги; там же могила его отца, моего деда, перенесенная после войны с кладбища, оказавшегося в центре города. И хоть я уже сорок лет живу в Ленинграде, я твердо помню, где мое Отечество, и знаю, что оно мое ничуть не в меньшей степени, чем той «патриотки» из троллейбуса. И что бы она и ее дружки, чувствуя себя все уверенней, со мной еще ни проделали, даже если придется спасаться бегством от все возрастающей угрозы, чувства мои не смогут измениться.

Слово «патриотизм» означает «любовь к родине», но у нас в патриотизме слишком много ненависти к отличному от нашего в иных краях и еще больше к тому, что внутри страны перечит желанию «патриотов» держать ее многочисленные народы в единообразной покорности. А нам бы поскорее перейти к мирному сосуществованию не только с иными странами, но и внутри своей, принять за норму наличие инакомыслящих и инакочувствующих, навсегда вычеркнуть ни с каким марксизмом ничего общего не имеющий ярлык «идеологическая диверсия» и заменить лагеря и казни дискуссиями и состязаниями. Бурно реагируя на вводимый в Эстонии ценз оседлости, не позволяющий едва вселившимся в республику избирать местные органы власти, «патриоты» считают себя вправе туда вселяться навсегда, и за долгие годы не осваивают местного языка, лишь требуя от эстонцев, чтобы они знали по-русски. Это называется равенством. Любопытно, что бы они сказали, если бы двести миллионов из соседней социалистической страны точно так же перебрались в Россию и потребовали перевести делопроизводство на китайский язык, поскольку русский трудно выучить?

Патриотизм принесет пользу родине лишь тогда, когда избавится от чувства превосходства, от ненависти, и в нем останется одна любовь! До этого еще далеко, но когда Сахаров сквозь вопли генералов и истеричек, сквозь топот большинства и понурое молчание меньшинства говорил с трибуны съезда горькую правду об Афганистане, я был счастлив, что миллионы людей у нас и в мире могли видеть, что и у нас есть настоящий, бесстрашно любящий родину патриот.

И я надеюсь на силу положительного примера.

ВЗАИМНОСТЬ

1. Истинная русофобия

Говорят, растет русофобство, то есть неприязнь к русским и ко всему русскому. Распространись оно широко, это было бы ужасно. И не только потому, что сведение человека к его этнической принадлежности вообще ужасно, поскольку исходит из убеждения в ничтожности отдельного человека, в отсутствии у него личных свойств, не сводимых к тому, что он — немец, татарин, армянин или китаец. И не только потому, что ненависть к той или иной культуре всегда есть ненависть к культуре вообще, готовность пренебречь тем, что в непредуказанном месте вдруг объявится гений. Русофобство было бы ужасно прежде всего потому, что каждый второй житель нашей страны — русский, а в стране, где одна половина ненавидит другую, жизнь стала бы невозможна в самом обыденном смысле, замаячил бы сплошной Сумгаит.

Более двадцати лет назад я побывал с большой группой писателей в Бурятии. Собрались мы для обсуждения проблем перевода литератур Российской Федерации. После заседаний повезли к Байкалу. Выделили нам автобус, открытый газик и несколько черных "Волг". Москвичи, люди уже на возрасте, разместились в "Волгах", звали туда и меня, но, сочтя это неловким, я, тогда еще относительно молодой человек, сел в автобус с остальными. Люди там, не считая московского фотографа, все были известные, многие с депутатскими значками своих республик. Дорога шла по красивым местам, и фотограф попросил: "Остановите, я сяду в газик, буду снимать". Дверца за ним захлопнулась, и кто-то за моей спиной громко крикнул: "Русский ушел, можно разговаривать!" Ответом был общий смех, а после печальные речи о положении национальных литератур не только при переводе, о чем говорили с трибуны, но и в оригинале. Я впервые узнал, что первоклассников во всех автономиях РСФСР начинают учить не на родном языке, а на русском, из-за чего в итоге перевод часто оказывается писателю необходим, чтобы дойти не только до другого народа, но и до своего.

Я сидел у окна и слушал. И вдруг вспомнил, что года за два перед тем впервые побывал в Вильнюсе. Предполагалось посещение Ленинграда литовскими поэтами, и меня командировали за подстрочниками стихов, чтобы их заблаговременно перевести и напечатать в Ленинграде. Жил я в гостинице "Неринга", тогда новенькой, завтракал внизу в кафе, куда был вход и с улицы. Столики заполнялись рано, за большинством их люди сидели по одному, читали, писали. Однажды вошла девушка лет двадцати, настоящая русская красавица. Она оглядела зал и решительно направилась в мою сторону. Я даже почувствовал себя польщенным, но быстро выяснилось, что причина тому была вовсе не в моем мужском обаянии, — просто я был явно не литовец. Выяснилось также, что отец ее — полковник, уже в отставке, долго служил в Вильнюсе, и она живет здесь с двух лет. И поскольку все мысли мои были о переводах, которыми я занимался большую часть дня, — ко мне приходил тамошний переводчик Капланас, читал мне вслух по-литовски, я старался вникнуть в звучание, сопоставляя его со смыслом подстрочника, — я сразу, конечно, выпалил: "Так вы, наверное, по-литовски хорошо знаете?" И тут моя красавица усмехнулась: "Ну, вот еще, стану я этот собачий язык учить!"

Это было давно. А недавно я прочел в "Дне поэзии" стихи Станислава Куняева

О том, что предки шли не торопясь,
Осваивая реки и наречья.

И далее о благодарности былым землепроходцам за то,

Что нефть, и лес, и хлопок есть
И есть простор, где оборону ставить.

Смысл этих стихов, лестно для Куняева сопоставив его с Кипплингом, наглядно продемонстрировал в "Юности" №1 за 1989 год Б. Сарнов. Одну деталь он, однако, не счел достойной внимания. А жаль! Куняев ведь признает, что первопроходцы российских окраин осваивали не только реки, но и наречья. Их-то и перестали осваивать нынче. Землепроходцы в этом отношении радикально переменялись. И произошло это как раз перед тем, как в обиход вошло слово "руссофобство". Совпадение не случайное. Чтобы понять корни руссофобства, надо понять суть и смысл начавшейся при Сталине, но к счастью, еще не вполне возобладавшей и, стало быть, допускающей обратный поворот перемены.

Тысячелетие крещения Руси отмечалось как национальный праздник, как важнейшая веха культурной жизни русского народа. Так оно, конечно, и есть, но в речах и статьях тех дней почти совсем обойден был тот факт, что крещение Руси означало разрыв с узко-племенным сознанием и переход к космополитическому, для которого "несть ни эллина, ни иудея". Не сразу утвердившееся, не сразу одолевшее "двоеверие" христианское сознание стало мостом если не к всеобщей, то к общеевропейской культуре, по которому русский народ прошел до высочайших ее вершин. Русское национальное искусство не было потом для иностранцев экзотическим, не замыкалось на деревянных ложках, заполняющих ныне "Березки", — национальное жило в нем как дополнительная окраска общечеловеческого. Ученичество у Феофана Грека лишь обогатило гений Андрея Рублева. При Петре на Русь пришла европейская живопись, и вскоре расцвели великие таланты Рокотова и Александра Иванова, не говоря о позднейших. Русская музыкальная культура прославилась в русле европейской не только Чайковским, но и Мусоргским. Новая русская поэзия, приобщенная Ломоносовым к европейской, менее чем через сто лет пришла к золотому цветению. Русский балет создали французы, итальянцы, датчане, но именно он более всех прославился и преобразил самую жизнь этого искусства.

Не обходилось, понятно, без порывов к изоляционизму, к нему вело и разделение церквей, и другие явления русской жизни, и все же космополитическое преобладало над узко-национальным. Так бывало и в других европейских культурах, начиная с самой близкой к нашей — немецкой, и все же в России космополитический дух был особенно стоек. Тому способствовала и жажда правящего класса усвоить зарубежную культуру, и многонациональность Российского государства. Оно, конечно, скреплялось и захватами, и насилием, но не зря его подданные Пушкин и Мицкевич мечтали о временах, "когда народы, распри позабыв, в великую

семью соединятся", а поздней русские и польские революционеры сражались "за нашу и вашу свободу".

Конечно, проповедь "единой и неделимой" России противостояла космополитическому духу. В конце прошлого — начале нынешнего века, по мере развития капитализма и национально-освободительных движений, не сдававшаяся феодальная империя искала опору в великодержавном шовинизме, и создавались праворадикальные организации, открыто враждебные "армяшкам" и "полячишкам", не говоря уже о "жидах". Царская Россия была тюрьмой народов, их покорение и дискриминация вошли в историю, но не надо забывать, что русские демократы сочувствовали и помогали бесправным "инородцам", что порядочные люди стыдились шовинизма, а желавшие воистину улучшить жизнь обездоленного большинства русского народа сознавали, что его социальное освобождение невозможно без национального освобождения других народов империи.

В ответных чувствах покоренных народов социальное тоже преобладало над национальным. Хоть в Польше, трижды разделенной и утратившей государственность, неприязнь к русским была особенно остра, Мицкевич писал "Русским друзьям": "Пускай язвит мой стих, Пусть, разъедая, жжет — не вас, но цепи ваши". Среди друзей, о которых он пишет с особой любовью, не номинально почетные фигуры, которых положено хвалить, а Рылеев и Бестужев. Мицкевич пишет горькую правду о русском владычестве в Польше, но русские для него не все на одно лицо. Вот его и не сочтешь русофобом.

Русская революция, начавшаяся как мировая и стремившаяся к союзу равноправных народов, тоже сперва мыслившемся всемирным, возрождала космополитический дух, пусть и под иными знаменами. Вот никакого русофобства и быть не могло, и слова такого не было. Объявляя ныне революцию антирусской, ссылаются на сочинения, обличающие старые порядки, умалчивая, что те же сочинения полны страстной любви к России, ждущей свободы и новой жизни. Но, вспоминая, что только после революции русский народ стал в своем подавляющем большинстве грамотным, мы поймем, что для русской культуры она сыграла, при всех происшедших в ходе ее горьких утратах, не меньшую, чем для других культур в России, роль.

Однако, совершив "великий перелом", Сталин повернул национальные отношения от союза равноправных народов к собственному плану "автономизации", по которому народы союзных и автономных республик уже не были вполне равноправны. Русский народ он провозгласил первым среди равных, а остальным осталась все ужимавшаяся автономия. Впрочем, внушить русскому народу мысль о его превосходстве над другими оказалось не так-то просто и удалось далеко не сразу и все еще не полностью. Мешал и сам по себе космополитический характер русской культуры, и память о том, что во имя империи, держащей под пятой иные народы, русский крестьянин был закрепощен, и людей продавали с торгов как раз единоплеменники и единоверцы, чего все же в новое время нигде больше не бывало. Чтобы внушить русскому народу чувство превосходства над другими, какого он, настрадавшись за последние двенадцать лет перед войной от сталинского господства не менее других, отнюдь не испытывал, требовалось разрушить представление о равенстве

людей, независимо от этнической принадлежности, и накрепко привязать каждого к тому или иному народу.

Отдельный человек стоял уже не сам по себе перед всем миром или хотя бы всей своей многонациональной страной, — ему были определены этнические рамки и предписываемая ими судьба: чеченец, даже если родился и вырос в Москве и чеченского языка не знал, должен был отправляться туда же, куда незаслуженно отправляли живших в Чечне. Так преодолевалось представление о равноправии людей, об их личной, а не национальной или какой другой, ответственности за собственные поступки. А без понятия о равноправии людей не могло существовать и понятие о равноправии народов, их языков и культур. В сознание внедрялись границы между народами, противопоставляемыми друг другу по старому принципу "разделяй и властвуй", что укрепляло положение арбитра между разделенными, забывавшими в междоусобных распрях об общих интересах.

Самым ярким примером разобщавшей народы пропаганды стала в 1949 году так называемая "борьба с космополитизмом". Нынче вспоминают, что с ней открыто зацвел антисемитизм, и при объявлении о "деле врачей" в 1953 году евреи уже в страхе ожидали участи чеченцев. Помнить об этом, конечно, необходимо. Поскольку евреи и до революции лишены были права владеть землей, и практически не существовало еврейского крестьянства, они легко ассимилировались. Объявляя космополитизм, естественный при ассимиляции, вредоносным для русской национальной культуры, евреев тоже оттесняли в национальную обособленность. Однако для нее, в отличие от других народов (кроме, опять же, цыган), у них не было территориального очага.

Любопытно, что идея сосредоточить их в таком очаге жила в голове Сталина задолго до "космополитической" кампании. Первое в мире сионистское государственное образование пытались ведь создать именно у нас, провозгласив 7 мая 1934 года Еврейскую автономную область на дальневосточных землях, где жили другие народы, а евреи не жили никогда и поселяться оснований не имели и не желали. За полвека там добровольно поселилось чуть более половины процента (0,56%) всего еврейского населения СССР, да из этой половины процента к тому же лишь одна седьмая владеет национальным языком. Ясно, что это никакая не национальная область (среди ее населения евреи составляют лишь 5,3%), да и исторических оснований ей там быть нет никаких. Затея эта провалилась, что, кстати, давно бы пора признать и это искусственное сталинское творение официально упразднить, если мы против сионизма.

В ходе "космополитической" кампании впервые в советской истории обнаружилось, что народ, не имеющий особой территории, не может ни ассимилироваться среди большинства, ни развивать свою культуру рядом с ним. (Еврейская литература, театр и т.п. были тогда же уничтожены Сталиным.) Не имеющим территории — в буквальном смысле не стало на родине места. Однако, даже вынужденные ее покинуть, они, вопреки Сталину, по преимуществу устремлялись не к национальному очагу в Израиле, а в космополитическую Америку, подтверждая этим приверженность не только старой традиции, породившей некогда в многонациональной Римской империи христианство, но и давнему русскому космополитическому духу, в который они несколькими поколениями вращались.

Наивно, однако, видеть в "борьбе с космополитизмом" лишь гонение на евреев. Пора вспомнить и о том, что она в не меньшей мере была направлена на искоренение все еще живого тогда космополитического сознания русского народа, на обособление русской культуры от других. В театральном репертуаре тех лет даже Шекспир, который, во всяком случае, евреем не был, подвергся ограничениям, его ставили редко. Почти совсем исчезла для русского читателя современная западная литература, за вычетом, понятно, отдельных прогрессивных писателей, восхвалявших нашу страну с закрытыми глазами. «Французскую» булку стали именовать "городской", а паровоз был объявлен изобретением отнюдь не англичанина Стефенсона, а, конечно, наших соотечественников отца и сына Черепановых, принявших за такое дело чуть не двадцатью годами поздней. И возникло крылатое выражение: "Россия — родина слонов".

Но шутки шутками, а проповедь культурного (в том числе и научного, и технического) изоляционизма, истребление космополитического духа русской культуры нанесли вполне конкретный ущерб стране. Это одна из важнейших причин застоя, нашей отсталости, нашей бедности и развала хозяйства. Не прошло это бесследно и для народного сознания, очень уж могучий был напор. А ведь именно тогда миллионы людей переселялись из России в другие республики. Ныне один из переселенцев, признавая, что литовцам кроме Литвы жить и развивать свою культуру негде, сетует в газете, что его при переезде не предупредили, что придется изучать литовский язык. Он не только не осваивает чужое "наречье", но даже не желает замечать, что вокруг живет другой народ, не желает считаться с ним. Кто-то, оказывается, должен напомнить!

Между тем, в Москве напоминать литовцу или туркмену, что ему, чтобы там жить и работать, надо как следует знать русский язык, не приходится, они это вполне понимают. Очевидное при движении в одну сторону вырастает в проблему при движении в обратную. Почему же? Да потому, что извращена великая роль русского языка как языка межнационального общения, средства общения между вдали друг от друга живущими народами нашей и, может быть, не только нашей страны. Забыто, что внутри каждой республики, союзной или автономной, для ее постоянных жителей роль средства общения должен выполнять прежде всего язык самой республики. Переехавший в Москву литовец или туркмен говорит там по-русски не потому, что это язык межнационального общения, а потому, что Москва — это Россия. И точно так же навсегда поселившемуся в Литве надо выучиться по-литовски, а в Туркмении по-туркменски. То, что это стало непонятно, что это приходится объяснять, свидетельствует, прежде всего, о деформации русской культуры, об утрате ею прежнего космополитического духа.

Парадоксально, но факт: даже христианство, первым в нее этот дух принесшее, с течением лет, еще до революции, стало клониться к обособленному избранничеству, и вот в наши дни митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим прямо утверждает, что "Запад ждет возрождения нравственности, духовности именно от России, от Русской православной церкви". Но будь так, на Западе, видимо, резко росло бы число новообращенных в православие, а ведь ничего подобного не наблюдается. В то же время у нас с середины прошлого века все шире распространяется пришедшая из Европы секта баптистов, тоже ратующая за нравственность. Неужто святой отец Питирим пребывает о том и другом

в неведении? И не лучше ли нам не о спасении Запада от его грехов, а о собственных грехах подумать?

Но если мысль о своем избранничестве, своем праве учить других, не учаь у них, выплескивается даже в религии, сложившейся на космополитической почве, надо ли удивляться, что в деидеологизированном сознании она распространяется на сугубо национальных, даже расовых началах? Не в том вовсе источник нынешних распрей, что двадцать четыре миллиона русских живут за пределами Российской Федерации, а в том, что значительная часть этих переселенцев отступилась от давней русской космополитической традиции, предполагающей уважение, а не пренебрежение, к другому народу, его языку и культуре. Эти люди, называя себя интернационалистами, не желают оказать минимальное уважение народу, среди которого поселились. Этим их особый интернационализм и отличается от космополитизма, предполагающего всеобщность и взаимность влияний. Дружба народов и исключительность одного из них — несовместимы, долгие уверения, что русский народ лучше знает, как другим народам жить, как раз и насаждали русофобство. Виновны в нем те, кто выступал с подобными утверждениями от имени русского народа. Да и ныне русофобство насаждают, вытравляя из русской культуры именно тот дух всечеловечности, с которым она и стала великой.

Дело дошло до деления отечественной литературы на русскую и русскоязычную. Покамест оно практикуется на современниках по анкетным данным, хоть и тут не вполне ясно как быть с писателем "Ильф и Петров". А ведь придется быть последовательными и перегонять из русской в русскоязычную литературу Кантемира и Фонвизина, Жуковского и Гоголя, Фета и Короленко и других, да и у самого Пушкина при установлении паспортного режима на входе в русскую литературу возникнут сложности.

Иным из своих красноречивых радетелей великая русская культура — от Андрея Рублева до Андрея Платонова — на деле чужда и ненавистна. Оттого они и норовят ее переиначить, переправить, обескровить, наивно полагая, что их отношение к ней не сочтут русофобством, поскольку в большинстве своем они "по крови" и впрямь русские. Но, не говоря уже, что "кровь" к религии и культуре не причастна, после великих смешений всех племен и народов никто не может с достоверностью сказать, какой он крови. Во всяком случае, ни русские, ни евреи, ни немцы, ни китайцы, ни итальянцы, ни англичане, не говоря уже об американцах, в строгом смысле "чистокровными" не бывают, поскольку каждый из этих, как и из большинства других современных народов, не из одного племени вырос.

Враг русской культуры вполне может быть русским по паспорту и даже истошно вопить об этом и о своей любви к России. Все дело в том, какой культура у него выступает, что из нее он помнит и ценит, а что истребляет, и даже в одном том, что нечто истребляет. И когда он истребляет могучий космополитический дух, который позволил России стать некоей моделью мира, дерзко соединяющей в своем, оттого и широком и разнообразном охвате, славянское и финское, иудео-христианское и греко-византийское, татарское и немецкое, литовское и французское наследство, поднявшей над средневековой Москвой сооруженные итальянцами православные храмы, расставившей в Петербурге ни с чем иным не сопоставимое собрание шедевров, по которым не сразу и разберешь, какой ставил русский, а какой иностранец, — истребителей, разъединителей всего этого

редкого соединения, едва ли где так тесно соединившегося, мы вправе назвать истинными русофобами и сеятелями русофобства.

Чтобы не поддаваться зловещей пропаганде, надо не забывать, что их убогие писания, укоренившиеся из-за длительного изничтожения и оттеснения всего талантливого и правдивого, не имеют ничего общего с Пушкиным и Толстым, с той воистину великой культурой, которая уже сама, как целое, вошла в число неотъемлемых достояний всего человечества, что бы дальше ни случилось.

2. Метрополия или республика?

В дни Съезда народных депутатов, ненадолго отлипая от телевизора, я искал ответы на вопросы, которые съезд поминутно задавал. Когда предложенная председателем Совета Союза на пост его заместителя кандидатура Н.М.Мгалоблишвили была, под вопль одной из депутаток "Он только за Грузию и Прибалтику!", забаллотирована агрессивным, по верному слову Ю.Н.Афанасьева, но, вопреки ему, отнюдь не во всем послушным большинством, я сыскал ленинскую записку "К вопросу о национальностях или об автономизации", и меня вдруг поразила первая же, многократно читанная фраза: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик». Дальше речь идет о Грузии, о русском великодержавном шовинизме, об уважении прав малочисленных народов, — но не перед ними чувствует Ленин себя "сильно виноватым", тем более что за них-то и вступается, а перед рабочими России, явно имея в виду русских рабочих, которым, по неоднократно высказывавшейся Лениным мысли, великодержавный шовинизм тоже грозит бедой.

Великодержавный шовинизм издавна служил образцовым социальным громоотводом империи. Ленин там же писал: «Стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не назовут иначе, как полячишка, как татарина не высмеивают иначе как князь, украинца иначе, как хохол, грузина и других кавказских инородцев, — как капказский человек». Возвышение над инородцем компенсировало унижение перед собственными господами. А польскому рабочему или узбекскому дехканину виновником его бед нередко казался не только русский завоеватель, но и всякий вообще русский. Федерация советских республик призвана была покончить и с великодержавным шовинизмом, и с национальной ущемленностью. Народы должны были стать свободными и уже этим равными.

А нынче говорят, что и самый большой, составляющий половину населения страны, — русский народ не обрел ни свободы, ни равенства. Говорят, к примеру, что нет русского телевидения — есть лишь всесоюзное, хотя на деле нет как раз всесоюзного, а есть только русское. В Москве можно принимать пять программ —четыре московские (две из них идут на всю страну) и одну ленинградскую, и все пять — по-русски, все пять говорят преимущественно о происходящем в Москве, в Ленинграде, в России. Конечно, порой сообщают и о Литве, Грузии или Узбекистане, но не больше, чем об Испании, Индонезии или Канаде, и, главное, — характер передач всюду московский. А будь телевидение всесоюзным, все

республики имели бы свои регулярные ежедневные программы, пусть даже на русском языке, но информирующие всесоюзного зрителя о Литве, Грузии и Узбекистане с точки зрения литовцев, грузин и узбеков, а не только московских корреспондентов в Вильнюсе, Тбилиси и Ташкенте. Этого нет, и наше телевидение не вправе было покамест называться всесоюзным. К тому же такого могучего пятипрограммного вещания, как русское, ни в одной республике нет. А ведь всерьез говорят, что нет как раз русского телевидения.

Говорят еще, что нет русской академии, хотя важные учреждения Академии наук СССР расположены почти исключительно в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске и т.д. Говорят даже, что надо бы иметь побольше русских партработников, хоть уж они-то занимает посты даже там, где не знают языка местных жителей.

И в ряду подобных надуманных сетований не всегда в полной мере доходит, что жизнь русского рабочего, русского крестьянина, русского интеллигента, за вычетом небольшой кучки, вцепившейся в государственную кормушку, жизнь рядового человека на русской земле и в самом деле мучительно трудна, нередко не менее, а кое-где и более, чем жизнь рядового человека в иных республиках, считающих себя порой, — и тоже ведь не вовсе без основания, страдающими от русской власти.

Чтобы в этом парадоксе разобраться, приходится возвращаться к времени, когда Ленин сражался претив сталинского проекта "автономизации", тогда отвергнутого, но потом на практике составившего почву для неравенства советских народов, расставленных ныне на пяти уровнях зависимости: народы союзных республик, зависящие непосредственно от всемогущего центра; народы автономных республик, автономных областей, национальных округов и народы рассеяния, диаспоры. Национальные округа и автономные области подчинены областным и краевым советам, автономные республики — союзным, никто из них не входит в Союз непосредственно. По тому же принципу Сталин объединил и союзные республики, и самый большой народ страны оказался у него не столько обладателем собственных интересов, выражаемых подобной другим автономией, сколько носителем интересов якобы всеобщих, воплощением самого объединения, самого Союза.

Наш государственный гимн открывается словами: "Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь..." И сразу охватывает недоумение: если республики свободны, если они вступила в добровольный союз, отчего же они не просто сами сплотились, а сплотила их все-таки одна, и к тому же не равная остальным, а великая? Этим наперед снято доверие к равенству республик, сколько бы о нем потом ни пели. Русская держава, пришедшая из прежних времен, стала при Сталине синонимом нового Союза. Историки с тех пор уверяют, что предки Сигизмунда Сераковского или Салавата Юлаева вовсе и не были покорены, а добровольно влились в Русскую державу, словно она с незапамятных времен уже была Советским Союзом, словно Пушкин не писал: "Смирись, Кавказ, идет Ермолов!", словно Шевченко не "купав в калюжі" Богдана, а Суриков не изображал покорение Сибири Ермаком. Понятия "всесоюзное" и "русское" как бы отождествились. "Антирусский" звучало как "антисоветский", хотя "антигрузинский", "антиузбекский", "антитатарский», не говорю уже "антисемитский", так отнюдь не звучат, а должны бы звучать, если народы равны. Напоминание, что был все же

русский царь, русские помещики, русские колонизаторы, русские капиталисты, русские жандармы, стало крамолой. Как воплощение целого, русский народ призывался решать за других, как им жить, и одновременно жертвовать собой ради них. Русские, по Сталину, — народ метрополии, остальные — народы больших или меньших ступенчатых автономий. И за это свое особое положение, за право воплощать государство в его целостности русский народ сплошь и рядом вынужден был платить отказом от благополучия в собственном доме.

Скажут: да ведь есть же отдельная Российская республика! Но это республика тоже не национальная, тоже федеративная, в ней опять же объединены десятки народов и русский здесь опять олицетворяет единство федерации, как там — единство Союза, и снова оказывается народом незримой метрополии, — даже внутри РСФСР нет автономной Русской республики, а единый народ раздроблен по мелким областям и краям. Великодержавное начало дважды берет в его судьбе и положении верх над национальной самостоятельностью. И это худо не только для других народов, которым положено знать свое место в присутствии "старшего брата", но и для самого русского народа.

Латыши страдают от того, что стали в своей республике меньшинством, и недовольных латышей именуют националистами, а многие русские, желая жить в Латвии "без России, без Латвий", провозгласили себя интернационалистами. Споры о национальных проблемах оборачиваются у нас выяснением отношений малочисленного народа с Союзом как целым, то есть, фактически, нерусских с русскими. Но, еще разбирая старое грузинское дело, Ленин заметил: "Тут встает уже важный принципиальный вопрос: как понимать интернационализм". Поймем же, наконец, что интернационализм состоит не, как мы привыкли, в подчинении малого большому и части целому, и не в том, что интернационально объединившееся целое вольно потом обходиться с любой своей составляющей, с меньшинством, как сочтет нужным, — и выживать с исконной земли, и хоть газами травить.

Но за бурной защитой прав русских в Латвии забыта другая сторона той же, в сущности, проблемы, — нехватка людей в России, пустующие земли, безысходная бедность, — забыто, что нынче на Смоленщину едут работать дагестанцы, отнюдь не считающие, в отличие от русских в Латвии, жизнь вдали от родных мест большой удачей, опять же в Россию перебрасывает турок-месхетинцев, жаждущих вернуться на родину.

Эта сторона русской жизни не заинтересовала тех, кто страстно боролся против русофобства в Грузии, где его отродясь не бывало, или в Афганистане, где его тоже прежде не было и могло не быть поныне, кабы не миллион погубленных афганцев. Вот бы патристичному генералу Родионову не о Грузии, не об Афганистане рассуждать, а подумать о Смоленщине и о тех, кто оттуда уходит. Вот бы сперва поразмыслить, почему недостает любви к России у ее коренных жителей, а после уж спрашивать, почему порой нет любви к ней у других. Русские уходят из России, уходили с немецкими армиями, уходят, женясь, порой фиктивно, на еврейках, чтобы получить израильскую визу, уходят в Латвию и другие республики. Нет, я вовсе не к тому, чтобы кого-то насильственно удерживать или переселять обратно, — человек волен жить, где хочет, и не только в пределах своей страны. Я лишь про то, что пора уразуметь: не оттого ли они уходят, что груз дважды особой роли русского народа — и в

составе СССР, и в составе РСФСР — оказался ему непомерно тяжек и отяготил непримиримыми противоречиями национальное самосознание.

Еще Энгельс сказал когда-то о русском народе: "Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы", и это, конечно, верно. Но только и тогда ведь не весь народ, а лишь определенные его сословия угнетали другие народа, крепостные мужики, покамест их не обряжали в мундиры, были не угнетателями, а угнетенными. Но они, и впрямь по Энгельсу, не могли обрести свободу, покуда покоряемые народы склонялись перед силой державного оружия, и лишь поражение в Крыму привело к давно необходимому стране освобождению крестьян, а прежние великие победы, укреплявшие державу, укрепляли тем самым и крепостное рабство, а значит, обрекали на отставание и ослабляли родину, как доказала жизнь, даже в сугубо военном отношении. И это ведь значит, что царские генералы, насмерть стоявшие за нерушимость крепостного строя, по сути дела, нарушали свои воинский долг, хоть и чванились тем, что его якобы исполняют.

Прекрасное понятие "родина" у нас обезличилось до песенки "Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!" Общее опять оказывается всем, а отдельное — ничем, свой дом, своя улица, своя республика, выходит, не нужны ни туркам-месхетинцам, ни русским. С турками — дело понятное: им надо вернуть дом, хоть это, конечно, сегодня требует и затрат и жертв. Но ведь и русским, чтобы обрести равенство вместо нынешней смеси превосходства с униженностью, тоже надо создать свой дом, Русскую республику, отдельную от Татарской, Якутской, Чувашской и прочих, входящих ныне в РСФСР, которым тоже пора обрести равные с Белоруссией или Киргизией права. Русская республика, наравне с другими входящая в единый Союз, окажется, понятно, сильно меньше, чем нынешняя РСФСР, но она все равно будет самой большой по территории и населению, а, главное, станет, наконец, не выше других официально и не беднее фактически. За чем дело стало?

Да за тем, что за особое положение, за этот источник всех бед русского народа, некоторые упорно держатся. На Съезде народных депутатов В.Г.Распутин даже пригрозил народам, ратующим за свои национальные права, что и русские могут выйти из Союза, высокомерно давая понять, что без них остальные пропадут. Легко доказать, что не пропадут, но и это ведь не повод, чтобы разводиться. Любопытен, однако, сам ход мысли писателя. Он обратил к "смутьянам", жаждущим экономических реформ, афоризм не названного им отечественного государственного деятеля: "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая страна". Но не говорил Петр Аркадьевич Столыпин: "Нам нужна великая страна"! Он четко сказал: "Нам нужна великая Россия", и все понимали, что нужна ему Российская империя, в которой равенство народов не предполагалось. Эту империю он, действительно, старался спасти, и не только столь любезными нашему современнику запретами или "столыпинскими галстуками", но и буржуазными экономическими реформам, которые не по сердцу были двору, и положение в стране изменили преимущественно лишь там, куда крестьян переселяли, дав землю. "Великие потрясения", так им и не предотвращенные, настали вовсе не из-за радикальных экономических реформ, а как раз наоборот — из-за их замедленности и запоздалости, и, право, не стоит пренебрегать этой наукой.

Ныне величию любой империи всюду в мире противостоит любовь к собственной родине и забота о ней, в XX веке понятия "родина" и "держава" противоположны друг другу. Ленин изначально понял, что идет к этому, почему всеми силами и боролся против сталинского имперского проекта "автономизации". После революции Ленин хотел видеть на месте Российской империи не перекрашенную метрополию с показными автономиями, а истинный союз родин, союз народов, в котором каждый, сохраняя право на самоопределение, объединялся бы с другими ради разрешения общих забот, отнюдь не отдавая общему в полное распоряжение все свои дела и права, чтобы потом выпрашивать разрешение на каждый шаг в отдаленном центре.

Но разве нужды экономического развития не толкают сегодня народы к слиянию, к объединению? Разве Европа, прежде разорванная на несшиваемые клочья, не объединилась ныне в экономическое сообщество, внутри которого теряют значение государственные границы, создается общая валюта, глубоко интегрируется хозяйство? Стоит ли нам идти в обратную сторону? Не лучше ли оставить все как есть, и даже полней унифицировать державу?

Чтобы получить ответ, вспомним, что объединенное хозяйство складывалось в Европе еще в 1943 году, и тогда в него входили не только западные страны (кроме Англии), не только запад Германии, но и ее восток, и Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия и советские земли до Волги и Кавказа. Но это "интегрированное" гитлеровским насилием единое хозяйство вызывало у народов Соппротивление, и не устояло в войне. Интеграция не достигается насилием, вот оно в чем дело! В основу нынешнего европейского сообщества положен принцип взаимности, согласия, консенсуса, а не механического затаптывания и "захлопывания" меньшинства большинством. Именно взаимность привела Европейское сообщество к успехам, каких было не достичь силой!

Именно ради и нам необходимой интеграции надо вернуть народам право на самоопределение. Тогда они вступят в экономические отношения ради взаимной выгоды, а не просто подчиняясь абстракциям общей цели, во имя которой некто их некогда сплотил. Если бы от Русской республики зависело, посылать ли людей подымать целину в Казахстане или приложить эту силу к орловским и воронежским землям и самой дать стране хлеб, если бы Русская республика решала: затягивать ли людям пояса, чтобы строить новый завод в Латвии, где нет рабочей силы, или лучше поставить новые станки на старый завод в Ленинграде с его высококвалифицированным рабочим классом, польза была бы, думается, не только русским, но и всей стране. Тем более, что и Казахстан, и Латвия тоже сами нашли бы лучшее применение своим землям и рабочим рукам.

От того, что из Азербайджана выкачали нефть, лучше стали жить не азербайджанцы, но ведь и не армяне, не русские, не украинцы. От того, что Узбекистан замордован хлопком, выиграли, опять же, не узбеки, но ведь и не турки-месхетинцы, не таджики, не киргизы. И так можно долго продолжать, ибо в бесхозном, ничьем хозяйстве богатства страны не идут на пользу ее жителям.

Вот и пора кончать с пятиступенчатым неравенством, с неравенством татар с туркменами, бурятов с молдаванами, и так далее и так далее. Признай мы за всеми народами хотя бы право на место их обитания,

народы Крайнего Севера не дошли бы до нынешнего трагического положения. С ними невозможно было бы не считаться, вступая на их земли. Они контролировали бы выделение конкретных участков тайги для добычи полезных ископаемых или промышленности, с этими участками пришьельцы обходились бы куда тщательнее, а за ущерб платили бы местной, национальной власти, так что северяне не только терпели бы меньший ущерб, но выигрывали бы от развития своих земель, получая средства на улучшение традиционной жизни и развитие культуры. К этому, а не к созданию резерваций, надо бы стремиться и ныне.

Для восстановления равенства народов придется, конечно, учесть сложившиеся меж ними отношения, выяснить, хотят ли, скажем, чеченцы и ингуши жить и дальше вместе, или лучше им разойтись; хотят ли кабардинцы, черкесы и адыгейцы жить врозь, в разных республиках, да еще объединяясь там совсем с другими народами? Об этом придется спросить у них, не решая за них, не пугаясь уточнения национальных границ в спорных случаях на референдумах, где решающий голос должен принадлежать не сезонным рабочим-лимитчикам, а независимо от национальности тем, чьи семьи живут в этих местах достаточно долго.

Живучие государственные образования складываются не только в силу общности национальной культуры, при всей важности последней, но и по историко-экономическим обстоятельствам. В условиях демократии люди могут мирно жить вперемешку: в одном здании могут работать равные национальные школы, в одном издательстве — выходить книги на разных языках. Вот и у нас ничто все же не побудило русских жителей Крыма оттуда выезжать, когда он был передан из РСФСР в УССР, — как видим, вопреки нынешним разговорам о неприкосновенности внутренних границ между республиками, когда хотели, их меняли с легкостью. В демократическом обществе люди спокойно живут в инонациональной среде, вступают в смешанные браки, ассимилируются или сохраняют родительскую культуру, — и это естественно, никого никуда не следует силой пересаживать. Но всегда следует считаться с самобытными обстоятельствами жизни компактных масс каждого народа и его навыками. Многие нынешние национальные конфликты выросли из пренебрежения этой элементарной истиной.

Причина их не сводится к личным качествам того, кто "мог на целые народы обрушить свой державный гнев". Сама возможность так поступать возникла оттого, что взаимоотношения народов свелись у нас к отношениям каждого из них с центром, а друг с друга — тоже через центр. Рассматривая национальные отношения как вертикальные, в них различали лишь центростремительные и центробежные тенденции. Русский народ, вознесенный таким подходом к национальным проблемам наверх, попадал в заведомо ложное положение, поскольку никто его не спрашивал, хочет ли он быть воплощением державы, всеобщим опекуном и благодетелем, или, может быть, предпочел бы не столь громогласную, но более плодотворную для себя, своих детей и отцов, своего хозяйства и культуры самостоятельную жизнь. А между тем для истинного союза важны вовсе не вертикальные, а, наоборот, горизонтальные связи.

Наладь Русская республика взаимовыгодные горизонтальные связи с Узбекской и Татарской, с Армянской и Якутской и так далее, и так далее, а они, в свою очередь, между собой, опираясь эти их связи не на директивы сверху, а на эквивалентный стоимостный обмен, быстро бы выяснилось,

что Союз наш крепче, чем самим нам кажется, и наши республики на деле нуждаются друг в друге не меньше, чем страны европейского сообщества. Вот и нам требуется завести свой общий рынок вместо несправедливой и неэффективной системы вертикального распределения сверху. Абсурдность этой постройки лишь подчеркивается тем, что народ, вознесенный наверх, в массе своей не только не получает от нее прибыли, но зачастую еще и терпит убытки.

Для реальной перемены национальных отношений мало, однако, под флагом регионального хозрасчета раздробить громоздкое всесоюзное командное хозяйство на пятнадцать или даже двести национальных командных хозяйств. Хоть порядка кое-где и прибавится, большого проку не будет. Для существования межреспубликанского рынка необходимо прежде всего существование внутриреспубликанского рынка, состязание меж заводами в качестве машин и меж крестьянами в дешевизне масла.

Формирование подлинно экономических отношений на современном уровне предполагает прежде всего отделение хозяйства от государства. Иначе командная система никуда не денется, как ее ни переименовывай. Государственный завод подтверждает свою экономическую эффективность, лишь отказавшись от монополии, вступив в равноправное соревнование с негосударственными, — при одном социальном строе они будут частными, при другом — общественными, но это уже иная сторона дела. Лишь отделившись, как церковь, от государства, хозяйство вынуждено будет стать экономическим и ориентироваться на реальный общественный (в том числе и государственный, и личный) платежеспособный спрос. Тогда отпадет нужда вымеривать, кто у кого на иждивении, какая республика больше вкладывает в общее хозяйство и какая больше из него получает, — стоимостные отношения сами будут поддерживать необходимое равновесие, а помощь для преодоления отсталости или катастроф в тех или иных регионах будет идти за счет пропорциональных отчислений всех республик в общесоюзную кассу, то есть на равных для всех началах. Лишь установление равных правовых норм для свободной экономической деятельности всех народов станет опорой их политического равенства.

У М.С.Горбачева на съезде то и дело требовали средств на какие-то, возможно, и впрямь важные вещи, словно дело лишь за его доброй волей. Почти никто, однако, не требовал создать условия, чтобы на свои нужды можно было заработать, не обременяя верховную власть. Кругом говорят: "надо воспитывать в людях чувство хозяина!" Но ведь это чувство не обрести иначе, как став хозяином. Кастрату недоступны радости любви, и, занимаясь регулярной кастрацией умов и душ, не стоит приговаривать, что любовь прекрасна, и ждать увеличения числа семей и роста народонаселения. Уклоняясь от возвращения людям права строить свою жизнь, как они хотят, права быть хозяевами своей судьбы, мы освобождаем их от чувства ответственности за себя и страну, зато все громче требуем такой ответственности. Нам трудно преодолеть социальные язвы не столько потому, что они глубоки и запущены, сколько потому, что для этого нужно социальное мышление, а оно у нас вытеснено технологическим, — социальной ныне называют сферу потребления, именуемого из стыдливости удовлетворением человеческих нужд.

Обострение национальных проблем — как раз и есть наглядное проявление бессилия технологического сознания, пагубности

представления об обществе как о механизме, шестеренки которого должны лишь точно передавать по инстанциям руководящую волю. Кругом спорят, кому должна принадлежать власть. Но кому бы она ни принадлежала, общество состоит из людей, а не из шестеренок и винтиков. Как людей ни стараются дисциплинировать, дисциплинировать удается лишь исполнение, да и то без личного интереса — весьма относительно, но не инициативу, не предприимчивость, не озарения разума. Поэтому власти, пусть даже всемогущей в деле разрушения, созидать удается, лишь обретая хоть какое-то согласие с конкретными стремлениями рядовых граждан и интересами их сегодняшней, а не одной только послезавтрашней жизни.

Едва ли не важнее вопроса о власти вопрос о структуре общества, о наличии у людей возможности стать во имя своих интересов созидателями, производителями того, что нужно другим людям и обществу в целом, и, в этой связи, об их традициях и навыках созидательной деятельности, или, иначе говоря, о национальном характере хозяйствования, обусловленном, понятно, отнюдь не биологически, но конкретно- исторически. Мы же переоцениваем значение власти и недооцениваем значение общественной структуры, отчего и перестаем понимать, какие силы на самом деле формируют нашу жизнь, какие силы ведут ее к застою и катастрофам. Из этого непонимания и растет и социальная неуверенность, и жажда сыскать наглядных виновников зла, — неважно, кажутся ли таковыми "коррупцированные члены политбюро" или "масоны", — эта жажда замешана на уверенности, что любая общественная структура в решении любых задач может быть одинаково эффективной, лишь бы в ней действовали безупречные люди, а это, как показывает история человечества, вовсе не так. Мы слепо веруем во власть постановлений, пленумов, конференций, съездов, а потом торопимся разочароваться, уповая опять на новые постановления. А меня, откровенно сказать, более всего пугает ни на йоту не ослабевшая невидимая власть хода вещей в монополярной хозяйственной структуре, слившейся с государственным аппаратом, меня пугает определяемый ею характер производственных отношений, препятствующий качественному развитию производительных сил, хотя все вокруг именно к такому развитию призывают. И будь у председателя Верховного Совета еще в три раза больше власти — покуда монополярная структура не разъята, не перестала быть монополярной, ее реальную власть ему не то что не одолеть, а даже не углядеть, до того мгновения, когда ее факелы вдруг озаряют то Уфу, то Фергану, то атомные подлодки в Северном море.

Наша, все еще сталинская общественная структура, пронизанная верой во всемогущество власти, всемогущей по преимуществу растратой общественных ресурсов, природных и человеческих, покуда они не иссякают, десятилетиями не считалась не только с непосредственно экономическими, но и с другими традиционно сложившимися факторами общественной жизни, ни с личностью, ни с семьей, ни с народом. Кратковременные мобилизационные эффекты до поры позволяли рассматривать людей как винтики, песчинки, лагерную пыль. Важна была лишь указующая рука власти и сила державы. Старые Марксовы мысли о производственных отношениях, тормозящих развитие производительных сил, и в частности науки и техники, померкли перед роскошным шитьем мундира генералиссимуса и блеском его алмазных и золотых звезд.

Ленинские суждения о равноправном союзе народов стали словесами для торжественных случаев, никем не принимаемыми всерьез. Нынче мы поминутно платимся за пренебрежение ими.

И все равно, так поныне и не желаем признавать, что национальные проблемы — прежде всего проблемы социальные. При коренном отличии моих взглядов от взглядов В.Г.Распутина, я высоко ценю, что, выступая на Съезде народных депутатов в защиту своих взглядов, он счел для себя обязательным защитить от нападков не только Е.К.Лигачева, но и последнюю русскую царицу. В.Г.Распутин честно доводит дорогую ему мысль о великой державе до логического завершения, до царского трона, и у меня, убежденного республиканца, эта безоглядная искренность вызывает уважение. Обычно искренностью и не пахнет, и консерватизм выдается за исконное свойство русского народа, якобы с готовностью взявшегося за навязанное ему назначение олицетворять державный союз народов, крепко эти народы держа.

Но разве русские только писатель Распутин и генерал Родионов? Разве академик Сахаров не русский? И не жизни русских мальчишек прежде всего защищал он, выступая против Афганской войны, когда демонстративные певцы русского народа как-то не находили слов? И разве не в русском городе Ленинграде, известном активностью своей "Памяти", близкий единомышленник В.Г.Распутина, баллотировавшись в народные депутаты, набрал всего-навсего треть процента голосов? Я не к тому, чтобы пренебречь зловещей деятельностью "Памяти" и ее бурно плодящихся дочерних организаций, но народное голосование все же явно предостерегает от отождествления "Памяти" и русского народа.

Создание своей республики как раз и позволило бы народу самому до конца разобраться, в чем состоят его подлинные интересы, и я не думаю, что большинство увидит в Русской республике лишь опору для прежнего "особого назначения", что верх возьмут распространяемые ныне бредовые идеи "очищения" русской национальной территории, то есть выселения нерусских, или "русификации" русской литературы, то есть изъятия из нее всяких там инородцев, мертвых и живых. Я, напротив, думаю, что шовинистическая пена уляжется, как явная помеха развитию, и воскреснет старый космополитический русский дух, от которого народ всегда выигрывал. Более того, я думаю, что Русская республика, обернувшись вовнутрь себя, налаживающая свое хозяйство, начнет привлекать к себе свою обширную диаспору и в нашем Союзе, и за его границами, — русские люди станут не уходить, а добровольно возвращаться.

А как же наш Союз? Ему, тем более, придется создать новые, воистину союзные органы и, образовавшись на основе союзного договора, эти федеральные органы будут куда демократичнее нынешних. Если уже сегодня заседания нового Совета Национальностей проходят явно демократичнее, чем заседания Совета Союза, то вызвано это, конечно, не только личными качествами председателей, но и тем, что в Совете Национальностей меньше надежд на поддержку сплоченного большинства, и приходится искать согласия.

Координация экономических отношений между республиками, укрепление их горизонтальных связей и взаимной помощи, имеющей, в отличие от нынешней, неопременное стоимостное выражение, создадут благоприятные условия для успокоения межнациональных отношений. Их подорвали внеэкономические директивы, и возродить дружбу надо,

устанавливая экономические связи, в которых всякий товар оплачивается сообразно его общественной необходимости и вложенному в него труду. Мы прожили эпоху, когда сильный центр лишал республики силы и самостоятельности, что обернулось не только экономическим застоєм, но и межнациональными распрями. Опираясь на силу и самостоятельность республик и сделав центр лишь координатором их общих дел — и международных, и военных, и финансовых, — сделаем его по существу более сильным, увеличим его влияние, но сила центра будет идти уже не во вред, а на пользу создавшим его республикам.

Важно, конечно, обеспечить центру подлинно союзный, многонациональный характер, не допуская даже и чисто внешнего его отождествления с какой-либо из республик. Для этого придется не только изменить государственный гимн, но, видимо, как уже кто-то предлагал, завести новую союзную столицу в особом округе, не входящем ни в одну из республик. Из этой новой столицы на всю страну сможет вещать воистину всесоюзное телевидение, там откроются и театры дружбы народов, и киноцентры, и музеи, и культурные представительства, и много еще другого, не говоря уже о коммерческих учреждениях, способствующих товарному и техническому обмену. Можно будет даже открыть там воистину всесоюзную Академию наук, если, впрочем, в ней возникнет нужда, — я отнюдь не уверен, что науке нашей пойдет на пользу открытие еще одного бюрократического заведения; по-моему, академиков у нас хватает, и заботиться бы тут надо не о количестве, а о качестве. Но, так иди иначе, важно понять, что "союзное" — это значит прежде всего "межреспубликанское", или, еще точнее, в масштабах нашей многонациональной страны, — "международное".

Роль русского народа и Русской республики в советской федерации в любом случае будет весьма значительной, но важно и тут определить не столько количественные, сколько качественные параметры роли. История привела русский народ к нелегкому выбору — равняться ли на генерал-полковника Родионова, выполнявшего приказ в Тбилиси, или на генерал-лейтенанта танковых войск Шапошников, в 1962 году, в еще более сложной ситуации, на аналогичный приказ ответившего: "Я не вижу веред собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Хоть он и тяжело поплатился за эту бессмертную фразу, но спас честь русского офицерства, как подобает герою Отечественной войны.

Два генерала олицетворяют два представления о патриотизме. Один — державный, приведший русский народ к его сегодняшнему состоянию, другой — запечатленный еще в древних, но поныне волнующих словах: "О, русская земля, ты уже за холмом!" Успешно создать Русскую республику — не только Российскую федеративную, а именно русскую, — можно лишь отрекшись от авантюрных побуждений наставлять половцев или афганцев, и всецело отдавшись заботе о своей земле, на которой жили отцы, деды и прадеды, которая здесь, под ногами, самое дальнее — за холмом. С возникновением вместо нынешней потайной метрополии такой республики упрочится и равенство между всеми народами страны, и на деле, а не на словах, силой взаимной необходимости, а не силой саперных лопаток, упрочится наш Союз.

3. В поисках здравого смысла

Почему национальные распри в Советском Союзе обретают погромный характер, как в Сумгаите или Фергане? Почему неприязнь к инородцам доходит до изнасилований, расчленения тел, убийств детей и стариков? Нужно быть слепым, чтобы не угледеть корень этого в издавна господствующем у нас культе силы и безоглядного ее применения веками, и совсем недавно в Афганистане. Не случайно самые страшные насилия совершались в Сумгаите и Фергане, не только географически близких к Афганистану. Это бумеранг, бьющий сегодня по России.

Государство в неоплатном долгу перед солдатами-"афганцами". Оно обязано обеспечить инвалидов протезами и пенсиями, помочь им, равно как и уцелевшим, устроиться в мирной жизни, овладеть профессией, получить жилье. Особой заботе подлежат родители, вдовы и дети погибших. Единственное, чего государство делать не должно, это по-прежнему лгать, что их дело в Афганистане было правым. Продолжающееся повторение этой лжи, особенно устами тех, кто виноват, что наши солдаты отдавали жизни отнюдь не за родину, внушает, что можно и дальше убивать желающих жить иначе нежели мы. А когда опыт "афганцев" под водительством генерала Родионова используется против нежелательных настроений внутри СССР, насилие, как опора межнациональных отношений, напрямую освящается авторитетом государства. Вот граждане и учатся у своего государства, следуют его примеру. Государству бы призывать к ненасилию и карать насильников, а оно мирволит сумгайтским погромщикам и разжигает неприязнь к мирным национальным движениям Эстонии или Литвы. Как тут с ужасом не вспомнить: кто сеет ветер, пожнет бурю.

Совсем еще недавно никто и пикнуть не смел о том, что малолеток учат в школе писать и читать не на родном языке, а на русском, наперед отчуждая от отеческой культуры. По слову великого поэта: все молчали, ибо благоденствовали. Да и как было не молчать, если не в меру разговорчивых ждали места не столь отдаленные. Спектакли показательной дружбы народов наглядно подтверждали, что мы — страна великих режиссеров, в списке которых не только Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов и прочие общепризнанные. Генерал Родионов может восстановить атмосферу, в которой такие спектакли шли. Но сперва признаемся, что в этом многолетнем театре для себя как раз и кроется главная причина нынешнего кризиса, нашей нынешней нищеты и самих межнациональных распрей.

Задолго до революции главными проблемами России были аграрная и национальная. Большевики победили в Октябре и гражданской войне потому, что лучше других это поняли. Лишь предубежденный человек станет отрицать, что тогда совершился долгожданный черный передел и рухнула тюрьма народов. При этом пролились реки невинной крови, — увы, она всегда льется там, где власть, уклоняясь от насущных реформ, вызывает мятежи, и беспощадным их усмирением умножает народную ярость, не разбирающую правых и виноватых. Так или иначе, колесо истории совершило поворот. Когда Ленин умирал, страну еще населяли крестьяне, обретшие землю, и народы, обретшие права.

Однако непредвзятому наблюдателю придется признать, что вскоре и в аграрном и в национальном вопросе колесо истории вновь повернулось,

но уже в обратную сторону. Крестьянин был отчужден от земли, а народы расставлены на лестнице неравенства. Русский народ призвали сплачивать остальные твердой рукой, но и ему надлежало приносить свои интересы в жертву монопольной командной системе, за всеобщее бесправие сулившей всеобщее благоденствие. Поскольку выяснять причины своих бед при безгласности было невозможно, народы винили в них друг друга. Но мы все еще не спешим взглянуть в связь межнациональных распрей с подпитывавшей их системой хозяйствования.

Злодеяния Сталина нынче осуждают, и это, конечно, отрадно, — знать правду должны все. Но мы поныне не входим в причины "культ личности", в его социальные корни. Твердят, что это — досадная случайность, промашка, чуждая марксизму. Какая, однако, случайность, если культ Сталина сменился культом разоблачившего его "нашего Никиты Сергеевича", а вскоре и звенящим орденами культом Брежнева? Взглянем правде в лицо: если наше хозяйство внеэкономически объединено в монополию, единство которой определяется не взаимной экономической нуждой, не подвижным рыночным равновесием, а руководящей волей, эту единую волю и может воплотить лишь единый полновластный хозяин. Пока не будет разъята хозяйственная монополия, куда страна не отойдет от директивных методов взаимодействия и не заменит их экономическими отношениями, культ личности неизбежен.

Точно так же не обмолвкой, а производным от государственной хозяйственной монополии, явилось провозглашение советского народа "новой исторической общностью людей". Монопольному хозяйству мешает людское многообразие, ему мешает, что узбек привык выращивать овощи и фрукты и мог бы завалить ими Советский Союз, — узбеку дали команду выращивать хлопок, и узбекский народ из самобытной общности людей обратили в службу хлопчатника. Ничем другим он монополии неинтересен. Но функциональный взгляд на народ и на отдельного человека не совмещается с реальным правом народов на самоопределение и с правами человека.

Нынешняя борьба народов нашей страны за самоопределение это еще не борьба за выход из Советского Союза, хотя отчаявшиеся в возможности самоопределиваться в его пределах об этом и заговаривают. Но возможности Союза еще не исчерпаны. Борясь за самоопределение, народы хотят выйти из-под власти тотальной внеэкономической монополии, неспособной видеть даже ближние последствия собственных произвольных действий. К тому же монополия ответственности не несет и с усложнением производства становится все более опасной для людей и народов. Она всегда беременна Чернобылем. И поскольку радикальные реформы, способные разъять монополию, перевести хозяйство от команд к взаимному интересу, не осуществляются, слабеет надежда спастись всем вместе, и народы, живущие относительно обособленно, на давней территории, пытаются спастись по-отдельности, и в этом главный смысл национальных движений.

Такое стремление шельмуется как "национальный эгоизм", хотя сие сомнительное определение можно бы приложить к любому национальному движению, с Джорджа Вашингтона и даже Жанны д'Арк, поскольку их занимали не все проблемы Британской империи или Английского королевства, но лишь проблемы собственных общностей, национальных или территориальных. В наших условиях подобное

обвинение особенно нелепо. Циклопическому многоукладному государству явно не под силу преодолеть пропасть внеэкономического хозяйствования одним прыжком, а прыгать через пропасть поэтапно, увы, невозможно. А "национальный эгоизм" как раз позволяет перепрыгнуть ее частями, по очереди, и даже до завершения всего процесса переход отдельных национальных регионов к продуктивному экономическому хозяйствованию, увеличивающему товарную массу, позволял бы Союзу в целом преодолевать дефициты внутренними ресурсами, а не валютными пособиями. За обвинением в "национальном эгоизме" различимо стремление предотвратить такую возможность.

У национальных движений есть, впрочем, и другой стимул. М.С.Горбачев однажды заметил: "Равенство наций и народов неразрывно связано с равенством людей, независимо от национальности". Однако, в тотальной внеэкономической монополии, произвольно посылающей целые народы и отдельных людей на разные работы, этот основополагающий принцип не может осуществиться. Не напрасно в анкете, заполняемой при приеме на работу, в паспорте и других мало-мальски важных документах есть "пятый пункт", графа "национальность". Не будь она существенна для отдела кадров, ее давно бы упразднили, как упразднили графу "вероисповедание", обязательную до революции. Для ущемления верующего нужен все же донос, а о своей национальности люди доносят сами. Влияние "пятого пункта" остается негласным, кроме, конечно, случаев массового выселения целых народов, и, чтобы это влияние камуфлировать, часто демонстрируется, что кто-то из каждой нации оказался полноправным и даже преуспевающим, — такие исключения бывают. Но куда чаще люди оказываются неравными лишь оттого, что принадлежат к неравным нациям.

С трибуны Верховного Совета зачитывали письма проживающих в Литве русских, сетующих, что местная власть своей заботой о сохранении национального языка и культуры якобы ущемляет русских жителей Литвы, "мешает им быть русскими". А речь-то идет даже не о том, чтобы уравнивать права русских в Литве с правами литовцев в России, но лишь о снятии наиболее вопиющих проявлений неравенства. От тех русских, которые в Литве хотят работать в учреждениях, предполагающих общение с населением, теперь начинают требовать знания литовского языка! Вот и все. Без этого литовцы, живя на родине, вынуждены либо не пользоваться соответствующими учреждениями, либо поголовно учить русский язык и в быту пользоваться им, поскольку многие русские, постоянно живя в Литве, учить литовский не желают. Между тем, в России самая мысль, что литовец, не зная русского языка, может претендовать на работу, даже и не предполагающую контактов с населением, покажется нелепой, а предположение, что русские в России будут учить литовский язык, поскольку литовцы не знают русского, вызовет смех. Казалось бы, независимо от национальности, права людей должны быть равными: литовцам в России подобает с уважением относиться русским, к их языку, а русским в Литве — к литовцам и их языку. Но некоторые депутаты не только не хотят это признать, но требуют для тамошних русских особых прав и среди них права не считаться с тем, что они живут в Литве. Подобные речи, да еще с трибуны Верховного Совета, как раз и ведут к разжиганию национальной вражды.

Пора отказаться от уверений, что эти распри — работа отдельных злоумышленников. Недавно в Ленинграде, на показывавшемся по телевидению митинге, успевший завоевать известность А.З.Романенко объявил, что его антисемитская книжка, выпущенная огромным тиражом, одобрена Ленинградским обкомом партии. Никаких опровержений со стороны обкома не последовало, и приходится думать, что А.З.Романенко на сей раз не солгал. А ведь на том же и на других митингах раздавались уже открытые угрозы доделать то, что не доделал Гитлер, возгласы "Смерть жидам!" и т.п. Да такие речи нередко приходится слышать на улице и без всяких митингов. Нужно ли удивляться, что люди, помнящие о Бабьем Яре и Треблинке, не чувствуют себя в Ленинграде в безопасности, и сотни и тысячи их навсегда покидают родину? Но вину за это несправедливо валить лишь на Романенко и его подголосков. Пора открыто сказать, что еще больше тут виноваты их отталчивающиеся покровители, поддерживающие атмосферу, в которой за то, чтобы жить там, где жили отцы и деды, надо платить готовностью в любой день быть убитым покамест еще только митингующими погромщиками. Они, кстати, пользуются особыми льготами, — им позволено митинговать в центре города, на Манежной площади, тогда как прочие "неформалы", зовущие убивать, а установить демократический порядок, если и получают право провести митинг, то в менее удобных и менее людных местах.

Шовинизм начался у нас не с Романенко, он только откровеннее других его выплеснул. А в "пристойных" формах шовинизм поощрялся давно. Чтобы не далеко ходить за примерами, вспомним обсуждение новой программы КПСС уже при Горбачеве. В ее проекте особо подчеркивалась роль русского языка как средства межнационального общения, хотя, скажем, тюркские народы СССР и так неплохо понимают друг друга. Но и этого некоторым показалось мало, и газета "Правда" (2.1.86) опубликовала статью зав. сектором культуры русской речи Института русского языка АН СССР Л.Скворцова, утверждающего, что "русский язык фактически становится вторым родным языком всех братских народов СССР". Там прямо сказано: "объективные данные переписей населения показывают неуклонный рост числа жителей нерусской национальности (хотя бы ради культуры речи лучше бы все-таки сказать "нерусских национальностей", — П. К.), называющих русский язык в качестве родного или второго языка, которым они свободно владеют".

Действительно, в качестве второго языка, которым они свободно владеют, русский язык называет немалое число нерусских граждан нашей страны. Но в качестве родного языка, кроме русских, его все же по преимуществу называют лишь те люди нерусских национальностей, которые выросли в областях с преобладанием русского населения, и говоря, что его готовы считать родным люди нерусских национальностей, Л.Скворцов, мягко выражаясь, сильно преувеличивал.

Редакция газеты могла бы в этом убедиться, обратившись к доступным справочникам. Согласно Демографическому энциклопедическому словарю 99,5% живущих в Грузии грузин считают родным языком грузинский, хотя 26% из них свободно владеют русским. 99,4% живущих в Армении армян считают родным языком армянский, при том, что 34,8% владеют русским. 99,7% живущих в Литве литовцев считают родным языком литовский, при том, что 52,2% владеют русским. 99% живущих в Эстонии эстонцев считают родным языком эстонский, при том, что 24,1% владеют русским.

99,3% живущих в Таджикистане таджиков считают родным языком таджикский, при том, что 27,8 владеют русским. 99% живущих в Туркмении туркменов считают родным языком туркменский, при том, что 24% владеют русским. И так далее. Как видим, данные переписи категорически опровергают утверждение Л.Скворцова будто русский язык "фактически становится вторым родным языком всех братских народов СССР".

А ложные утверждения такого рода сеют ложные чувства как среди нерусских, так и, особенно, среди русских жителей нашего Союза. Навязывание русского языка в качестве "родного", даже "второго родного", вызывает лишь обратную реакцию и может даже отвратить от изучения русского языка. А русских провозглашение их языка "родным языком всех народов" способно подтолкнуть лишь к великодержавному шовинизму.

Как-то в Вильнюсе я оказался за одним столом с очаровательной русской девушкой, которая, как выяснилось, жила там с двух лет с отцом, полковником, а было ей теперь двадцать. "Так вы, наверное, совсем хорошо говорите по-литовски?" — наивно предположил я. И она вымолвила: "Ну, вот еще, стану я этот собачий язык учить!" С тех пор прошло больше двадцати лет, а я все не могу забыть ее интонацию, и никогда, наверное, не забуду, хоть я и не литовец, а мой родной язык — русский. Но газета "Правда" с Л.Скворцовым в полемику не вступила. А что бы ей предложить пополнить текст партийной программы, например, так: "Изучение языков союзных и автономных республик и автономных областей всеми постоянно проживающими там гражданами, независимо от их национальности, служит укреплению равенства и дружбы и должно поощряться". Увы, никто подобного предложения не опубликовал.

Корень национальных распрей — в неограниченной и безответственной власти внеэкономической монополии, и преодолеть эти распри способно лишь самоопределение наций, переход от имперского автономизма к реальному федерализму, отвечающему и нуждам подлинной экономической реформы. Лишь самоопределение создает добровольные связи, взаимовыгодные контакты, товарищество и дружбу, а монополии их подрывают нелепыми командами и запретами. Ощущая перед лицом монополии свое бессилие и несправие и видя, что правовые органы не могут и не хотят его защитить, человек ищет поддержки в своей семье и точно так же в своем народе, если ущемляется весь народ. Увы, далеко не всегда при этом хватает понимания коренных социальных причин, обусловивших ущемление, и национальные обиды порой пытаются компенсировать, ущемляя и унижая еще более незащищенный и более униженный народ, как в Сумгаите армян, за полвека почти полностью вытесненных из Нахичевани, или в Фергане турков-месхетинцев, однажды уже согнанных с обжитой земли.

Международные договора крепят равенство договаривающихся сторон подписанием двух текстов на двух языках, имеющих одинаковую силу. Делается это не ради лингвистики, но ради права, экономики и нравственности. Многонациональному государству равенство необходимо не только во внешней, но и во внутренней политике. С ним многонациональность нашей страны стала бы источником не раздоров, а взаимообогащения. Но мы все не хотим внять здравому смыслу, а ведь саперные лопатки, примененные в Тбилиси, добра не сулят.

ГДЕ ЖЕ ЛИНИЯ РАЗДЕЛА?

Виктор Арсланов в статье "Две перестройки" ("Век XX и мир", № 1 за 1989 год) говорит о различии либерального и демократического ее вариантов, словно консервативного вовсе и нет. Справедливо причислив Николая Шмелева к либералам, Арсланов его обличает, словно события свершаются по указаниям Шмелева, словно тот не выступает, напротив, решительным — другое дело, во всем ли последовательным — критиком происходящего. И хоть Арсланов сам перед тем вроде бы сомневался, следует ли вину за фашизм взваливать на Гомера и Аристотеля, он тут же уверяет, что "фашизм пришел к власти на почве хаоса, порожденного, в немалой степени, либерализмом".

Вот мы и вернулись к традиционному источнику всякого российского зла: "Во всем виноваты либералы!" Некоторые, правда, добавляют: "И масоны!" Арсланов, бичующий "народное черносотенство", видимо, искренне убежден, что с этими некоторыми не имеет ничего общего. Это и толкает меня, как приверженца демократической перестройки, возразить.

Дело не только в том, что "хаосом" свободу и демократию именуют сторонники тоталитарного "порядка". Куда существенней, что тоталитарный порядок всегда прокладывает себе путь, развенчивая либерализм. Между тем от демократа либерал отличается непоследовательностью, уступчивостью, соглашательством, которые, разумеется, всякий раз необходимо обнажать, как это делал Щедрин, но не забывая, что либеральные ценности есть одновременно ценности демократические, хоть последние первыми и не исчерпываются. Когда же, справедливо критикуя ограничения буржуазной либеральной демократии, разрушают представительные институты или "выбирают из одного", когда права человека урезают, отменяют или не соблюдают и т.д., быстро выясняется, что новую демократию олицетворяет кровавый диктатор.

В. Арсланов объявляет нынешнюю критику сталинизма (как он выражается, "критиканство") "одним из средств сохранения бюрократии, средств духовного подчинения людей запугиванием и развращением их сознания" и даже "недостойной игрой". Между тем хотя часть бюрократии, в том числе консервативной, и впрямь готова пожертвовать Сталиным ради собственного спасения, без критики сталинизма как общественного явления никакая перестройка вообще невозможна, поскольку спор идет о сталинском структурном наследстве, которым страна и ее народы повязаны и без духовного освобождения от него ничего в себе изменить не смогут. Вот и без Сталина тридцать лет шли по сталинскому пути.

Я отнюдь не сомневаюсь в искреннем стремлении Арсланова к обществу на принципах "социалистической демократии". Но во имя этого он считает нужным преодолеть "экономический фетишизм"! Он ссылается даже на Маркса и уверяет, что "экономика — это отношения людей, а не вещей", отвлекаясь от того, что это все же отношения по поводу вещей, а не какие-нибудь другие. Именно поэтому для установления демократии "объединения всех честных людей" недостаточно. Никто не спорит, "нельзя произвести революционные изменения в обществе и экономике посредством одних экономических реформ, как бы радикальны они ни были". Но такие изменения тем более нельзя произвести без глубоких экономических преобразований, а в нашем случае — без восстановления

собственно экономических отношений, которые сталинизм подменил внеэкономическими.

Маркс, не обольщаясь утопией всеобщего братства, думал, что справедливое общество возникнет на пределе буржуазного прогресса как способ дальнейшего развития. Социализм Маркса — прежде всего социализм постбуржуазный! Всякий другой социализм уже и для него либо утопия, либо нечто отличное от демократического общества, от реального гуманизма, за который он ратовал и к которому полтора столетия стремились честные люди.

"Ну а Ленин? — спросит Арсланов. — Он-то ведь явно брал власть в стране, до предела буржуазного прогресса не достававшей!" Но ведь Ленин до революции и даже в первые дни после нее, уже взяв власть, все же не сразу звал к немедленному установлению социализма. Не забудем, что лишь Ленин довел в России до конца буржуазную революцию, да и прежде он долгое время полагал, что коммунистическая власть будет не навязывать немедленный социализм, а эффективно способствовать общественно-экономическому развитию народного хозяйства и государственной системы, по существу еще буржуазной, и тем самым, по мере отмирания государства, приближать наступление социализма. И хоть социализм, в который верили Маркс и Ленин, был утопией, это, еще и для Ленина, была утопия развития, а не просто самоуправства.

Нет нужды умалчивать, что в ходе гражданской войны Ленин тоже поддался иллюзии, о которой сам потом писал: "Мы рассчитывали или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета — непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку". И Ленин вернулся к прежнему своему, дореволюционному пониманию вещей, а переход к нэпу стал как бы движением к Марксову постбуржуазному социализму.

Такая ситуация была тогда уникальной и казалась невероятной, но пора все же признать, что вскоре во многих европейских странах, при всех особенностях, начиная с мирного пути к власти, при всей ограниченности совершаемых преобразований, имел место, — к примеру, в Швеции в годы "социал-демократической эры", когда правительство возглавляли сперва Ханссон, а затем Эрландер, — процесс, по существу аналогичный нашему нэпу: буржуазное развитие, направляемое социалистической властью в сторону социализма с попутным внедрением в жизнь некоторых его начал.

Сталин и силы, его поднявшие, не просто остановили у нас этот процесс, — радикально отвергнув Марксову концепцию постбуржуазного социализма, которой (за вычетом периода военного коммунизма) хоть и не так твердо держался и Ленин. Арсланов именуется его "государственным социализмом". Но ведь и Марксу, и Ленину словосочетание "государственный социализм" показалось бы оксюморонным, как "сухая вода" или "живой труп". Ленин все же говорил: когда будет социализм, не будет государства, хоть и строил союз социалистических республик. Опять же, ни с Марксом, ни с Лениным мы не обязаны соглашаться, но, говоря о них, стоит все же считаться с тем, что они сами говорили о своих воззрениях, и четко различать их идеалы, пусть утопические, и реальность, позднее выдававшуюся за осуществление их идеалов.

Феодальный социализм, построенный Сталиным, противостоял отнюдь не хаосу, а относительно сбалансированному, хоть и не без кризисов, экономическому развитию послереволюционной России, демонстрировавшей в условиях нэпа явный рост производства и производительности труда. Параллели между Сталиным и Бонапартом можно себе позволить лишь воистину освободившись от "экономического фетишизма", лишь отвлекаясь от того, что Бонапарт опирался на освобожденного и относительно зажиточного крестьянина, а Сталин этого освобожденного крестьянина раскулачивал. После Октября в русской деревне наконец-то возобладал крестьянин, за вычетом времен продразверстки, вдохновенно работавший на своем личном поле, — его-то Сталин и раскрестьянивал. А если для согнанного с земли не было уже другой надежды, кроме верховной твердой руки, дающей хоть какую-то работу и еду, то это был уже деклассированный, депрофессионализированный крестьянин, и нечего удивляться, что предрассудки, сложившиеся еще при крепостном праве и общине, начинали "работать" на сталинский феодальный социализм. Поймем наконец, что классовая принадлежность — не пожизненное или родовое свойство, а позиция человека в общественном производстве. Неправомерно поэтому говорить о черносотенстве крестьянства вообще, как это делает Арсланов. Крестьянин, обретающий свободу на своей земле, преодолевает черносотенство вместе с наследием крепостничества; крестьянин, согнанный с земли, обращенный в городского люмпена, это черносотенство в себе усугубляет, опираясь на феодально-крепостнические идеалы.

Еще более странно объявлять, что либеральная интеллигенция является "идеологическим ядром административной системы". Ведь сколько-нибудь либеральную интеллигенцию, не говоря уже о демократической, эта система унижала и душила. Считать же Жданова, Сулова, Пospelова, Митина, Александрова и прочих наших идеологов либеральными интеллигентами до В.Арсланова никто еще не догадывался.

Конечно, столкнувшись с катастрофическим кризисом, подтвердившим старое Марксово положение о результатах несоответствия производительных сил и производственных отношений, административная система ныне допустила к власти более разумные, более дальновидные свои элементы, пытающиеся ее спасти путем перестройки. Эти элементы можно в каком-то смысле назвать либеральными, поскольку само стремление на деле соотноситься с объективной реальностью (говорил-то об этом и сам Сталин) можно назвать либерализмом. Но эти элементы в системе далеко еще не преобладают, и в целом она поворачивается к либерализму еще очень туго. Если разом одни говорят об аренде и подряде, а другие — о спасении убыточных колхозов и совхозов за счет помощи города, ясно, что выбор между экономическим, либеральным, и внеэкономическим, консервативным, путями развития системой как целым еще не сделан.

Разумеется, Арсланов прав, утверждая, что "перестройка на либеральный лад — это единственная оставшаяся для административной системы возможность самосохранения". Но из этого вовсе не следует, что все в ней жаждут этой возможностью воспользоваться и не предпочтут медленное увядание системы, которого, как им кажется, на их век хватит. Ведь и для самодержавия глубокие буржуазные реформы были

единственной возможностью самосохранения. Однако крестьянская реформа 1861 года не стала радикальной, аграрные законы первой Думы царь не утвердил, а Думу разогнал, и даже Столыпин, "свой в доску", пришелся двору не ко двору, поскольку, хоть и не лучшим образом, все же форсировал буржуазные отношения. Чем это царское упрямство кончилось — известно.

Большинство правящего слоя не всегда готово чем-то жертвовать ради хотя бы частичного спасения системы, которой оно кормится, и слишком многие предпочитают сегодняшние личные выгоды отдаленным классовым или сословным. В.Арсланов размышлял о либерализме административной системы, а тем временем делегатов на XIX партконференцию избирали не рядовые коммунисты, не делегаты областной конференции и даже не члены избранного ею областного комитета. Этим последним предлагалось лишь "выбрать" положенное число делегатов из того же — ни одним больше — числа кандидатов, отобранных бюро обкома. Можно ли считать такое недоверие не то что к рядовым гражданам, но даже к членам обкома партии за признак либерализма?

В.Арсланов опять же справедливо называет Карабах испытанием перестройки. Но ведь требования армян носят как раз сугубо либеральный характер, и речи не было (по крайней мере, пока не уперлись в каменную стену) об отделении Армении и Карабаха от СССР по давнему примеру Финляндии. Требовали лишь перемен внутри нашей единой страны. Требовали покончить с ущемлением Карабаха со стороны Баку и прекратить фактическую экспроприацию — по образцу ранее экспроприированной Нахичеванской — и этой земли у армян. Землетрясение напомнило, как мало у армян земли, как она скудна и ненадежна, как чудовищно выживать их с немногих плодородных клочков, вытесняя в диаспору. Кто бывал в Армении, понимал это и до землетрясения. Ничего большего, чем сохранение уцелевшего, даже без возвращения ранее отобранного, армяне не требовали, ничего, кроме либерализма, чтобы их удовлетворить, не требовалось. Но либерализма-то и не оказалось.

Шмелев наглядно доказал аналогичный недостаток либерализма в экономической сфере, где реформы на практике тоже не осуществляются. Экономические методы, вроде бы декретированные одними распоряжениями, сводятся на нет другими. И происходит это отнюдь не по вине Шмелева или других либеральных экономистов и вовсе не потому, что либералы сочли, что "от идей социальной справедливости следует отказаться в пользу индивидуальной свободы", как уверяет В.Арсланов.

Разделение этих понятий и стоящий за ними взгляд на народ как на быдло, которому свобода ни к чему, была бы похлебка пожирней, создает иллюзию, будто можно достичь социальной справедливости без индивидуальной свободы, надобной якобы одним очкарикам-интеллигентам. Но индивидуальная свобода, в отличие от похлебки, в административной системе не может доставаться одним за счет других. Арсланов сам признает, что в ней "все тотально зависимыми" и, стало быть, право интеллигента высказывать свои идеи неотделимо от права крестьянина продавать свои овощи, или попросту: где свобода, там и колбаса! Закрепление крестьянина за колхозом не случайно вскоре повело

к закреплению рабочего и служащего за местом работы, не говоря уже о производствах Гулага и стройбатах Вооруженных сил.

Пока не настал коммунистический рай, социальная справедливость, понятно, при наличии товаров в магазинах, состоит в оплате по труду и социальных гарантиях. Но, увы, не один Арсланов ищет социальной справедливости путем преодоления "экономического фетишизма", а практически путем административной уравнительности, издавна бывшей опорой сталинизма. Но насаждая равенство в нищете, невозможно увеличить товарную массу, а немногочисленные товары опять, сколько проверок не учиняй, будут в первую голову доставаться распределяющим равенство, и "слугам народа" опять будет лучше, чем народу.

Слабость либерализма вовсе не там, где ее ищет Арсланов, а в уходе от ответа на вопрос, кому же быть на нашем рынке, одинаково желанном и либералу, и демократу, реальным субъектом рыночных отношений. Вот с этим у либерала Шмелева и впрямь неладно и определенности нет. Но о расплывчатости его суждений на переходе от собственно экономических к социальным проблемам у Арсланова нет ни слова. А здесь-то и ключ к демократии, и первое отличие либерализма от демократии. Она удерживается лишь тогда, когда субъектом рынка оказывается каждый гражданин, то есть каждый получает право и продавать свою рабочую силу пусть даже и государству, все граждане которого — совокупные владельцы государственного имущества, и продавать сделанное и выращенное самолично или в административно независимом от государства содружестве с другими гражданами.

Полнота рыночных отношений отнюдь не предполагает непременно возвращения земли помещикам, а заводов и фабрик — капиталистам. Напротив, она требует следования старому призыву: землю — крестьянам, заводы и фабрики — рабочим и, соответственно, институты — научным работникам, театры — артистам и т.д., имея в виду, что, индивидуально или коллективно, они-то и составят множество административно независимых, состязающихся меж собой субъектов социалистического рынка, на который выйдут и освободившиеся от министерского надзора самоуправляющиеся предприятия. Важно лишь, осуществляется ли передача собственности на деле. Государство, коль скоро оно не отомрет вовсе, обратится при этом из внеэкономического распорядителя сталинской поры с его "непосредственными велениями" в сугубо экономический регулятор общественного хозяйства.

Без опоры на складывающуюся на рынке экономическую самостоятельность каждого человека, а также на положенные каждому социальные гарантии власть, называя она себя сто раз социалистической, не будет демократической, и честным людям, на которых надеется Арсланов, довольно скоро придется стать бесчестными или погибнуть. Лишь реалистическое хозяйствование, лишь реальная стоимостная экономика создают условия для душевной чистоты не одних подвижников, но большинства граждан, для жизни "не по лжи". Ложь и аморальность коренятся в ложных и аморальных формах хозяйствования, в "непосредственных велениях" и пренебрежении стоимостью (в том числе стоимостью природы), и остаться честным человеком, не отстраняясь вообще от хозяйства, не перехода на пенсию или другое иждивение, можно лишь перестроив его формы, не то и самый благородный порыв поведет в противоположную желанной сторону. Советы действительно не

выдумка Ленина, они родились снизу, как форма демократии, но хорошо ли, при нашем опыте забыть, что они теряли и демократичность, и власть, а народ, их некогда создавший, не вставал на их защиту?

По Арсланову, "сталинизм, во всемирно-историческом плане — это зигзаг". Следует, видимо, понимать, что и маоизм, и полпотизм, и ракошизм, и, в конце концов, гитлеризм — это все тоже "зигзаги". Но не слишком ли много зигзагов и нет ли закономерности в том, что все они в одну сторону? А закономерность очевидна — чаще всего это стремление ... (опереться?) на Марксов утопический постбуржуазный социализм, который ныне как раз в развитых капиталистических странах проявился целой системой социальных гарантий. Сталинизм, конечно, самая изощренная и успешная разновидность маскировки марксизмом, потому что, сохранив марксистские одежды и выступая перед миром как практический марксизм, он побуждал миллионы людей у нас и за рубежом, разделявших марксовы понятия о социальной справедливости, отшатываться от созданной им реальности. Феодално-абсолютистский социализм, аналогичный сталинскому, ныне часто избирает уже иные псевдонимы, именуя себя, скажем, исламским. Разумеется, преобразование марксизма в сталинизм обусловлено и тем, что разрешение социальных противоречий марксизм предполагает лишь в некоей утопической общественной формации, между тем как ход общественной борьбы и развития производства обнаружил более реальные пути их разрешения в рамках стоимостного хозяйства. Но важно видеть, что на деле сталинизм в любом случае противостоял марксистскому социализму, отвергая уже такие важнейшие его положения как несовместимость социализма и государства и отвечая на великую революцию великим террором: революция дала крестьянам землю — террор ее отнял, революция дала рабочим права — террор их упразднил, революция рождала свободомыслие, она раздвинула дорогу к образованию, к процветанию науки и искусства — террор обескровил и ритуализировал образование, душил науку и искусство.

Но разве сама революция не обращалась к террору, разве в ходе ее, особенно в ходе гражданской войны, с обеих сторон не совершались чудовищные несправедливости и злодеяния? Несомненно совершались: в несправедливостях революций выплескивается многолетняя неразрешенность социальных противоречий. Сладких революций, увы, не бывает. Чем дольше и упрямей оттягиваются перемены, тем кровавей они осуществляются. Но обычно и за самой кровавой революцией наступает внутренний мир, фиксирующий достигнутые, пусть временно, социальные компромиссы. У нас же утвердилось административная система, претендовавшая на монополию истины и власти, никакие компромиссы соблюдать не желавшая, лишь переносившая террор с полей гражданской войны в застенки и олицетворявшая его даже без стрельбы.

Где же выход? Разумеется, не в подавлении стихийных ненасильственных движений — об этом спору нет, но и уверять, что можно установить социальную справедливость "непосредственными велениями" "честных людей", означает повторять пройденное. Будем глядеть реальности в лицо. Десятилетия сталинизма не проходят даром для умственного состояния народа: одни по-прежнему верны сталинским традициям, другие, сочувствуя им, хотят от сталинизма большей откровенности, то есть открытого отказа от марксистского облачения,

третьи, напротив, исполнившись недоверия ко всему, пришедшему с революцией, все равно, благодаря или вопреки ей, ждут возвращения к прежним порядкам — до Октября или даже до Февраля. Все это различимо в стихийных движениях снизу, а сверху царит консервативное, лишь отчасти совпадающее с былым сталинизмом крыло административной системы и рядом ее либеральное крыло. А сверх того демократические стремления разного толка.

Линия раздела, в конечном счете, определяется не риторикой, а отношением разных групп к реальным изменениям в экономической структуре. Все, что идет на пользу внеэкономической хозяйственной монополии с ее "непосредственными велениями" окажется на одной стороне, вопреки Арсланову отнюдь не слишком либеральной. Все, что поведет к автономизации состояющихся хозяйственных единиц, к реальной возможности для них быть субъектами рынка, при сугубо экономическом регулировании стихийно складывающихся отношений, будет на другой.

Переход от сталинского феодального социализма к реальным социальным гарантиям не может свершиться в одночасье. Это — процесс, призванный утвердиться "всерьез и надолго", на подлинно экономической базе, наработав политические, а не просто персональные, средства самозащиты от нового "великого перелома". Не догматизм и не сектантство, а безбоязненное выявление общего и с либеральной частью административной системы, и с ее либеральными критиками, при всей наивности идеализации ими Временного правительства и былых возможностей российской демократии, поныне ненадежной, и совместное с ними со всеми преодоление монополизма и борьба за конкретные сдвиги в структуре — едва ли не единственная реальная надежда для социального развития у нас в стране.

Понятно, полной гарантии успеха не дает ничто. Но, во всяком случае, из нашего семидесятилетнего опыта ясно, что прямолинейные желания самых честных людей (а ими, кстати, были и русские социалисты — и эсеры, и меньшевики, и большевики, шедшие в тюрьмы и на каторгу подобно недавним диссидентам) и даже стремления самых широких народных масс чистым порывом души переломить "экономический фетишизм" до добра не доводят. К тому же история вовсе не продолжает все равно "двигаться вперед", хотя бы и мучительным "кружным путем", — тот же опыт доказывает, что и после радикальнейшей буржуазной революции она с успехом движется "назад", восстанавливая в социалистических формах феодальные порядки.

Так не плодотворнее ли, чем утверждать новую высокомерную монополию на истину, различать зерна истины в самых разных, выходящих ныне и снизу и сверху на общественную арену движениях (не исключая и национальных), в диалогах и компромиссах между которыми только и можно нащупать нечто плодотворное для нашей несчастной страны.

СНОВА О "ЛИНИИ РАЗДЕЛА"

Ответ читателю

Уважаемый тов. Карп!

Прежде, чем перейти к сути дела, позвольте Вас спросить: не Вы ли лет так 12 назад напечатались в "Юности" с сатирой под названием,

если не ошибаюсь, "На дне"? Если так, то еще раз позвольте задним числом высказать Вам большое русское гран-мерси за ту публикацию, которая, несмотря на давний срок, до сих пор осталась в моей памяти как одна из лучших в период застоя.

Ну, а теперь о "Линии раздела". Ваша статья читается с интересом, хотя, на мой взгляд, написана она и несколько тяжеловато. Арсланову Вы насовали "по делу". Но вот что мне хотелось бы сказать. Политика — это ведь не только "концентрированная экономика", но и концентрированная нравственность, или, если угодно, безнравственность. И вот об этой, едва ли не самой важной стороне дела у нас как-то забывают. И здесь есть о чем поговорить.

Ну, вот, скажем, Вы с пиететом цитируете Маркса. Может быть, старик был где-то и прав. Но вот мне как-то попалось на глаза одно место, где он рассуждает об эпизоде Парижской коммуны, когда коммунары в ответ на расстрел версальцами пленных расстреляли несколько десятков заложников во главе с Парижским архиепископом. В принципе осуждая институт заложничества как пережиток варварства, К.М. тем не менее оправдывает коммунаров, т.к. их действия, мол, были лишь ответной мерой. Как это теперь прикажете называть, как не постулатом "классовой морали"?

Кулаков, как теперь выяснилось, репрессировали неправильно. Значит ли это, что буржуазию репрессировали правильно? И что такое сталинский лозунг "Уничтожим кулачество как класс", как не продолжение ленинского "Уничтожим буржуазию как класс"? Не кажется ли Вам, что идеология пролетарской исключительности — то же, что и идеология расовой исключительности?

"Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в товарищеской среде..." Неужели грубость может быть терпимой в товарищеской среде? Если Сталин был груб со своими, то каков он был с "чужими"? Давайте не будем обольщаться, не будем строить иллюзий насчет доброго В.И. и злого И.В. Это все сказочки для детей типа Арсланова. Говорят, у нас нет зон и лиц, свободных от критики. Кинули Сталина, как собакам голодным кость, — нате, грызите, но больше чтобы ни-ни. Вот тебе, бабушка, и весь плюрализм.

Л. Михайлов
г. Челябинск

Уважаемый товарищ Михайлов!

К публикации в "Юности" я не имею никакого отношения. В годы застоя, да и сейчас, доступ в печать у меня был весьма ограниченный, поскольку ни с одним изданием мои взгляды не совпадают полностью, а это у нас все еще непеременимое условие систематического и даже спорадического сотрудничества. Лишь в "Книжном обозрении", с его стремлением познакомить читателя с разными позициями, нашлось какое-то место и для моей.

Вы, конечно, правы: "политика это не только концентрированная экономика". Но ведь и в экономических пределах причинная связь действует отнюдь не автоматически. Экономика берет свое лишь в конечном счете, а до того политика может довольно долго над ней глумиться, ежели у народа терпения хватает. То же самое и с нравственностью, — благородные призывы сами по себе ее не насаждают.

Разве не казались нравственными призывы покончить с пьянством и законы, за ними последовавшие? А на деле они привели к самогонварению и спекуляции самогоном, то есть к еще большей безнравственности. Опять восторжествовала привычка насаждать добро палкой, но палочная нравственность всегда ведет к безнравственности, да еще к лицемерию, лишь поощряющему пороки. И ведь не нужно было большого ума, чтобы сообразить все это наперед, но сказать это наперед означало выступить против борцов за нравственность, — не так это было просто, пока последствия их борьбы не стали наглядны. Ведь политическая мысль имеет дело не только с разумом, но с предрассудками и мифами, застрявшими в народном сознании, а нынче особенно энергично в него вдыхаемыми.

Вы не согласны со сталинским призывом "уничтожить кулачество как класс". Я тоже. Возникни добровольные кооперативные хозяйства не вместо кулаков, а рядом с ними, в экономическом соревновании с ними, наше сельское хозяйство стояло бы на двух ногах, и никаких продовольственных проблем бы не было. Но не менее любопытно, что по первоначальному смыслу "уничтожить как класс" вовсе не значило уничтожить людей, составляющих этот класс, а, напротив, значило лишь изменить их общественный статус, дать им перейти в другой класс. Но на практике "уничтожение кулачества как класса" стало обозначать физическую гибель миллионов, и сегодня "уничтожить как класс" означает уничтожить полностью, без остатка. Не слова определяют действия, а объективное содержание действий — смысл слов. Задача исследователя общества, и культуры в частности, в том и состоит, чтобы этот подлинный смысл понять. И тут различие меж Лениным и Сталиным очевидно. И между Марксом и Лениным тоже. Это различие не в мере доброты, а в социальной реальности.

Менее всего я хочу изобразить Ленина святочным дедушкой, всеведущим и всеблагим добрячком, не совершавшим и малейших оплошностей, не то что ошибок. Но вот Вы говорите о ленинском лозунге "уничтожить буржуазию как класс". А ведь Ленин, вводя новую экономическую политику, выступил за допущение, пусть ограниченное, буржуазии в хозяйственную жизнь советской страны. Это отличает его от Сталина, который потом такую политику решительно отверг и, осуществляя свои феодально-административные идеалы, уничтожал кулачество именно как "буржуазный элемент". Ленин был ярким врагом буржуазии, он всеми средствами, не только правыми и дальновидными, но и неправыми и недальновидными, отбирал у нее власть. Но при этом он все же признал объективную природу вещей и необходимость с ней считаться, а не объяснял просчеты собственной политики действиями злоумышленников. Конечно, он пошел на это на время, но все же пошел, проявил чувство реальности.

Многим, не только Вам, кажется, что нынешние беды — от революции, от Ленина и даже от Маркса. Но ведь и до Ленина и без Маркса у нас народ то и дело бунтовал. Или и тогда бунтовали по наущению смутьянов, как говорили царские власти, то есть экстремистов, как говорят теперь? Диву даешься, что никто еще не догадался и Пугачева объявить масоном! Но всерьез-то говоря, стоит ли так усердно забывать про крепостное право, про крестьянское безземелье, про запрет на свободу мысли и слова, про вековое отсутствие представительной системы и все прочее, на

чем российская феодальная империя стояла с Ивана Грозного? Разве не ее реакционное упорство, не ее пренебрежение к людям и их нуждам, к реальным экономическим законам было первопричиной бунтов и мятежей? Никакой Ленин никогда бы не победил, если бы эта первопричина не продолжала действовать и при Временном правительстве, не торопившемся реально изменить положение, и тем более в ходе гражданской войны.

Я, во всяком случае, думаю, что причина нынешних бед не просто в революции и не в пролитой, увы, по ходу ее невинной крови, — разве Робеспьер и Дантон во Франции или даже Кромвель в Англии не проливали невинной крови? — а в том, что захлестнутая стихией веками не разрешавшихся противоречий, из-за которых эта кровь и лилась так беспощадно и пагубно, страна не сумела выйти из них к экономически плодотворному гражданскому миру. Сперва этому помешала гражданская война, шедшая не только с противниками революции, но и между ее сторонниками. А когда желанный мир вроде бы стал намечаться, и радикальная экономическая реформа за короткий срок вывела страну из разрухи, и свободный крестьянин завалил ее хлебом, — верх взяли силы, объединившиеся вокруг Сталина, пошедшие в атаку уже и на провозглашенные сперва революцией цели, и на людей ее совершивших. Без осознания переменчивости развития революции трудно сегодня о ней судить. Революция — это несчастье, катастрофа, но в ней виноваты не так революционеры, как власть, не оставлявшая людям другого выхода, кроме как выполнять ее приказы.

Вы пишете, что Маркс оправдывает расстрел коммунарами заложников тем, что действия были лишь ответной мерой. Что говорить, жестокий поступок не становится хорошим от того, что совершается в ответ на столь же жестокий. Но согласитесь, что библейское "око за око", хоть и не самый высокий, конечно, но все же некоторый уровень нравственности, а мы и до него все еще не возвысились: у нас открыто господствует двойная мораль — одно спрашивают с себя и совсем другое с противников и соперников!

Вы взгляните, как изменилась международная жизнь, едва М.С.Горбачев и Э.А.Шеварднадзе стали в иностранной политике не только диктовать, как их предшественники, но и слушать, не только отстаивать наши интересы, нашу безопасность, но и считаться с чужими. Вот бы этот прекрасный образец нового мышления пересадить на отечественную почву! Но сделать это трудно, ибо у нас — Съезд народных депутатов это наглядно продемонстрировал — все еще нет элементарной терпимости к другому мнению, к тому, что у инакомыслящего может оказаться какая-то часть правды, а то и вся она. Даже самым прогрессивным нынешним изданиям, и самым, казалось бы, почтенным и знающим людям, случается забывать об элементарных требованиях объективности.

В "Огоньке" № 50 за 1988 год опубликовано было письмо С.Аверинцева, С.Залыгина, Т.Заславской и Г.Якунина о необходимости приравнять в правах и возможностях верующих к неверующим. Сразу скажу, что я всецело разделяю это требование авторов письма. Но одна его фраза все же, по-моему, не вполне сообразна с реальностью и сама мешает объективному пониманию и, тем самым, решению проблемы.

Авторы пишут, что "сталинская" конституция "лишила верующих права публично выражать свое мировоззрение". Это верно, но такого права лишились ведь не только приверженцы православия, но и, скажем,

последователи Льва Толстого, еще до революции отлученного от церкви, тоже ведь не очень поощрявшей отличные от проповедуемого ею мировоззрения, даже и религиозные; его совершенно лишились и многие неверующие — либералы, крестьянские деятели, социал-демократы, даже последователи Маркса или Ленина, разделявшие ставшие крамольными отличия их мировоззрений от ждановско-сусловской идеологии, поныне не готовой "поступиться принципами". И ведь верующие, в отличие от неверующих, все же не вовсе лишились такого права, для них оно было ограничено церковной оградой, тогда как проповедь либерализма, толстовства или подлинного марксизма вела лишь за ограду из колючей проволоки, куда, слава богу, попадала только часть священнослужителей и верующих, и церковь, так или иначе, продолжала существовать, чего о социал-демократии или либерализме никак не скажешь. А будь и у неверующих в минувшие годы право выражать свое мировоззрение хотя бы внутри какой-то собственной ограды, религия не осталась бы единственным неофициальным — пусть ограниченным в правах, но все же дозволенным — мировоззрением и сознание советского народа было бы нынче иным, и, может быть, более подготовленным к перестройке.

Резонно возражая против несправедливого, конечно, ущемления права верующих публично выражать свое мировоззрение, не стоило бы все-таки забывать, что аналогичное право неверующих у нас, мягко говоря, еще более ущемлено. Даже и в наши дни людей, пытающихся публично выражать свое вполне светское мировоззрение, милиция частенько разгоняет дубинками. Но авторы письма считают возможным в "светские" вопросы не входить, различие меж верой и неверием заслоняет им все другие, быть может, более существенные мировоззренческие различия, и они ратуют за отдельную свободу религиозного мировоззрения, словно отдельная свобода может быть надежной.

В оправдание прежнего порядка часто ссылаются на слова Маркса: "Религия есть опиум народа", но и противники и сторонники вырывают их из контекста, и читателю не понять, что значит здесь слово "опиум" — то ли наркотик, дурман, как его обычно и трактуют, то ли, напротив, прежде всего, болеутолитель, как его понимал Маркс. Ведь прямо перед тем он говорит: "Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков". А сразу дальше: "Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзии о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях"*.

Можно не соглашаться с Марксовой критикой религии как превратного мировоззрения, порожденного превратным миром и являющегося одновременно протестом против этого мира, но он, во всяком случае, не призывает отнять у людей утешение, которое считал иллюзорным, лишить их болеутолителя, когда они страдают от боли. Преодоление религии, по Марксу, состоит в том, чтобы избавить людей от реальных страданий, — лишь тогда нужда в утешении извне перестанет быть столь острой. Попытки силой, запретом, отнять это утешение, когда человек страдает и не в силах "жизнь терпеть", лишь укрепляют тягу к религии. Поэтому человек воистину свободомыслящий желает свободы для всех религий больше, чем верующий, заботящийся часто лишь о своей. Но в отличие от верующего, свободомыслящий хочет такой же

точно свободы и для светских мировоззрений, — не затем, чтобы с ними непременно соглашаться, но и чтобы с чистой совестью с ними спорить.

Само собой, любое мировоззрение, как религиозное, так и светское, может вызывать у других людей, у религиозных или светских организаций, возражения, — нередко справедливые. Но если оно само не призывает к насилию, ему надлежит противопоставить не запреты, а на равных правах другое мировоззрение. Милиция не способна служить эффективным орудием идеологической борьбы, — чем энергичнее она в этом качестве действует, тем больше помогает идейному противнику.

Опровергая отдельные суждения, стоит помнить о контексте, в котором они родились. В № 4 журнала "Век XX и мир" за 1989 год Л.Сараскина справедливо пишет, что «лозунг 'кто не с нами, тот против нас', освященный талантом и авторитетом Маяковского, стал определяющей идеей эпохи, выражением ее классовой сути. Классовым стало все без исключения — прежде всего то, что искони считалось общечеловеческой принадлежностью — добро, жалость, сострадание».

Я, опять же, всецело согласен с этим и с тем, что «когда добро начинает различать, к кому именно оно должно пойти, а к кому — ни в коем случае, кому следует помочь в беде, а кому нет, добро на этом кончается». Но, в отличие от Л.Сараскиной, я не могу забыть, что лозунг "кто не с нами, тот против нас" освящен куда более крупным авторитетом, чем даже Маяковский. Это ведь лозунг Христа: "Кто не со мной, тот против меня" (Матф. 12,30), противоречащий его стремлению к добру ничуть не меньше, чем стремлению Маяковского и его современников- революционеров к добру. Когда же, говоря об одних, мы помним только о творимом ими добре, а говоря о других — только о том, что их добро было отнюдь не всеобщим, добро и кончается. Надо бы одинаково непредвзято судить обо всех мировоззрениях, религиозных и светских, и, вообще, с пиететом относиться к правде, где бы она ни оказалась и кто бы ее ни высказал.

Я рад, что Вы согласились с моими возражениями В.Арсланову. Хочу лишь обратить Ваше внимание на то, что я спорил с ним не потому, что сомневаюсь в его намерениях. Напротив, намерения его, как я их понимаю, прекрасны и мне близки. Но только я помню, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и средства для меня всегда существеннее цели, даже и самой возвышенной, которой ими намереваются достичь. Но, решительно ему возражая, я не считаю его злоумышленником. Так позвольте же мне не считать злоумышленником и Ленина, который искренне желал народу счастья, но не понимал, что его методы устроить счастье ведут к несчастью.

Говорят, все зло в неверной идеологии. Но если идеология, пусть даже на наш с Вами справедливый взгляд ложная, захватывает миллионы, да еще сперва без помощи костров инквизиции или пространств ГУЛАГа, — значит, есть тому веские причины, значит, она дает людям пусть даже в конечном счете неверные, но убедительные для них ответы на терзающие их вопросы. Французские просветители объявляли вздором учение Христа совершенно так же, как сегодня у нас теорию Маркса. И ведь не то чтобы у критиков того и другого не было здравых доводов. Но доводы эти не имеют силы, покуда отвлекаются от почвы, на которой произрастает

• Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. Т. 1. С.415

объекты их критики. Между тем обходиться без религии, стать воистину свободомыслящим удастся лишь тому, кто сознает реальную роль религии в жизни общества и отдельного человека. А кто не сознает, именуя себя атеистом и радикально отвергая бога, церковь и иконы, сам, по существу, молится другим богам, в других церквях, перед другими иконами, часто вполне светскими. Вот и нынешним противникам неверной идеологии недостает интереса к тому, почему она возникла, почему распространилась и почему дошла до нынешнего, мертвого, конечно, состояния. Ирония в том, что понять это помогает отчасти как раз Маркс как инициатор материалистического понимания истории.

Сам он тоже не был всеведущим богом и, в частности, подобно своим современникам, не предполагал научно-технической революции и связанных с ней перемен социальной структуры, а подмеченные им экономические закономерности как раз в этой связи ощутимо сместились. Можно указать и на прямые его заблуждения, на феодальные пережитки сознания, помешавшие ему признать, что стоимость создается отнюдь не только физическим, но и умственным трудом. Но важно видеть какие идеи Маркса оправдались, а среди них та, подтвержденная практикой, что стоимостное хозяйство по мере развития уже не может довольствоваться одномоментными индивидуальными сделками — идет ли речь об обмене рабочей силы на деньги или денег на товары. Возникает нужда в социальных гарантиях и вместе с ней долг общества перед человеком, а не только, как преимущественно казалось прежде, долг человека перед обществом. Понимание этого легло в основу Марксовой теории социализма как закономерности развития, а не плода свободного выбора, манившего утопистов. Сегодня очевидно, что на общественных отношениях развитых стран эта теория отразилась совсем иначе, чем думалось ее создателю. Можно даже повеселиться по поводу того, что частная собственность, казавшаяся Марксу главной преградой такого развития, на деле стала его условием и стимулом. Но никуда не деться и от того, что новые отношения в европейскую жизнь внедрили более всего заботившиеся о социальных гарантиях социал-демократы, зачастую непосредственные последователи Маркса.

А если обратиться к другим его идеям, то ведь и жесточайший кризис, испытываемый нашей страной, возник по Марксу, то есть от несоответствия производственных, а с ними и общественных, отношений развитию производительных сил. И люди, стремящиеся удержать прежние производственные отношения насилием, опять же по Марксу, как раз и наносят стране тягчайший ущерб и обрекают ее на отставание. Нам долго объясняли, что единственные [марксисты на свете — это Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. А это, чтобы помягче сказать, не совсем так, и судить о влиянии Маркса можно лишь видя весь спектр так или иначе воспринявших его идеи — от не в меру торопливых и прямолинейных, да и не всегда бескорыстных сторонников до его основательных критиков, не миновавших, однако, его уроков. Я не собираюсь Вам внушать, что Маркс владел истиной в последней инстанции, — я сам так не думаю. Но судить об исторических фигурах и идеологиях, обходя общественные процессы, в которых они возникали и действовали, по-моему, неплодотворно.

Я опять же не собираюсь рассказывать Вам "сказочки о добром В.И." Но о его реальном месте в российской истории задуматься стоит, хоть это,

конечно, орешек потверже, чем Маркс, который был лишь исследователем и публицистом и ни у кого волос с головы не слетел по его приказу. А Ленин руководил мощнейшей подпольной организацией, а после возглавил репрессивное правительство. Но и он понятен лишь в объективном ходе вещей. Публикующие ныне его устрашающие распоряжения и письма верят, что этим с Лениным покончили, вытравили его из народного сознания, из которого его не вымел даже весь ужас происходившего под его портретами. Миллионы думали, что он тут ни при чем, не говоря уже о миллионах считавших, что все было правильно. Ведь Ленин-то в народном сознании стоял рядом не с конституционным монархистом Милюковым и не с благородным социал-демократом Мартовым, а с Пугачевым, при том, что невыносимое тогда, так или иначе, длилось еще полтора года. Вы что же, думаете, что победивший Пугачев пощадил бы матушку Екатерину, или Державина с Суворовым, или даже Никиту Панина с Фонвизинным, или хотя бы Ивана Андреевича Крылова, впоследствии нашего великого баснописца, или что крестьяне при нем стали бы благоденствовать? И можно ли, когда огонь спалил дом вместо того, чтобы сварить еду, валить все на жестокость огня и помалкивать о стоявших у очага и видевших, что он неисправен и, если все оставить, как есть, пламя непременно вырвется? А ведь за полтора года после Пугачева крестьянскую проблему так и не решили, ни по Сперанскому, ни наделив крестьян землей при освобождении в 1861 году, ни проведя реформы, предложенные Первой Думой, за них-то и разогнанной! Я это не в оправдание того, что Ленин не был святочным дедушкой, а чтобы, если уж осуждать принцип "око за око", не искать зло лишь в том, кто выбивает око в ответ, но помнить и о том, кто проявил такую инициативу, да еще проявлял ее не одно и не два столетия. Нас учили, что революция — это планомерная акция по восстановлению справедливости и улучшению жизни. На деле революция — лишь разрушительный взрыв общественного порядка, расходящегося с реальностью, с реальными нуждами людей и производства, и сама по себе она справедливость не устанавливает, порой даже, как в нашем случае, усугубляет несправедливость. Это следует сознавать, сознавать, что революции вызываются не прихотью революционеров — тогда бы народ за ними не шел и революции никогда бы не побеждали, — но порочным, не оглядывающимся на людей устройством общества, опирающегося, на насилие. Вот насилие и порождает насилие.

О трагических иллюзиях российских революционеров, особенно оказавшихся у власти и погибших от ее рук, теперь, слава богу, говорят открыто, не умалчивая о преступных деяниях. Но оттого, что этикетку "хороший" при этом перевешивают с Ленина на Николая, понимания истории не прибавляется. Более того, ход ее как бы перечеркивается, и никакого опыта мы не извлекаем, ничему не учимся.

Чтобы научиться, надо видеть все многообразие действующих в обществе сил и все разнообразие правд, которыми живут люди. Надо видеть пересечения и противоречия этих правд и возможности их совмещения и примирения, не умильного, но позволяющего жить взаимодействуя. Для этого нужна истинная свобода слова, без которой у реального общественного диалога нет места. А свобода слова — неделима, и не может быть особой для религиозных и особой для светских идей, особой для сторонников социализма и особой для его противников.

Защитить ее удастся лишь целиком, лишь отстаивая вместе равные права верующих и неверующих и, вообще, всех людей, не зовущих к насилию. России ведь надобно не в очередной раз скинуть Перуна в Днепр, не снова сменить иконы в красном углу, а, — позволю себе повторить собственный лозунг, — наконец-то перейти от гражданской войны к гражданскому диалогу. В этом и состоит демократия.

ЧЕРНЫЙ ХОД ДЛЯ ТЕХНОКРАТА

Снова игры в «классовый подход»?

Кто вправе представлять интересы рабочих?

Выборы народных депутатов, их съезд и сессия Верховного Совета побудили общество задуматься о дальнейшем восстановлении реальной советской власти и прежде всего о выборах в республиканские и местные советы. Вняты стали голоса, ратующие за упразднение окружных избирательных собраний, отвергающие представительство общественных организаций в обход рядовых избирателей. Но защитники прежнего не сидят сложа руки. Поскольку наш опыт демократии невелик и соблюдение парламентских процедур все еще мыслится обузой на пути к манящей цели, им удастся, на словах даже ратуя за демократию, ее-то и сводить на нет. К тому же отнюдь не все делают это злонамеренно, многие, как всегда, с чистым сердцем.

Казалось бы, уже понятно, что главное зло нашей жизни — тотальная внеэкономическая монополия. Ее плоды более чем очевидны. Для спасения страны необходимо прежде всего поставить преграду всевластию бесхозяйственного производства. Стать такой преградой может лишь демократическая власть в центре и на местах, подлинные советы, призванные прийти на смену нынешним, слишком охотно пляшущим под дудку ведомств и предприятий, все еще отождествляющих себя с государством. Чтобы производство совершалось в рамках закона, на страже закона должна стоять никак с этим производством не связанная власть, ответственная перед населением села, города, области, республики и всей страны.

Между тем все настойчивее требуют как раз обратного. В Ленинграде возник даже Объединенный фронт трудящихся, и его лидеры Г. Попов и А. Пыжов изложили в газете «Смена» программу. Они хотят избирать в советы не представителей граждан, живущих в районе, а представителей ведомств и предприятий, там расположенных, вручая им власть над местными жителями, голос которых окончательно утратит значение.

На месте жительства люди прежде всего хотят нормальных экологических условий, достатка продовольствия, квалифицированной медицинской помощи. На месте работы, где проживают другие граждане, они, понятно, ставят на первое место интересы своего предприятия, тем более что этого требует начальство. Не было, кажется, случая, чтобы рабочие забастовали в знак протеста против того, что их завод отравляет окружающую среду, не говоря уже, выпускает недоброкачественную продукцию, хотя забастовки по другим поводам теперь не редкость. А против отравления природы чужим заводом по месту их жительства люди, порой те же самые, протестуют, выходят на демонстрации.

Объединенный фронт трудящихся предлагает открыть предприятиям льготный проход в советы, чтобы сами советы стали органами

предприятий и ведомств, а не органами граждан. Предприятиям вручается право не просто выставлять своих кандидатов в советы, против чего, понятно, никто не возражает, но прямо избирать их туда, что все-таки исключительное право местных жителей.

Авторы этой идеи ссылаются на Ленина. Но ведь Ленин говорил о производственных единицах как ячейках государства в чрезвычайной ситуации, когда в стране не было всеобщего и равного избирательного права и существовали даже «лишенцы». В нормальных же условиях Ленин придавал местному самоуправлению важнейшее значение и сочувственно цитировал Энгельса, предлагавшего как непрременный пункт программы партии «полное самоуправление в провинции» (губернии или области), «уезде и общине чрез чиновников, избранных всеобщим избирательным правом». Ленин сетовал, что в этой связи на вопросы к «нашей партийной пропаганде и агитации обращалось и обращается недостаточно внимания. Все это в классической теоретической работе «Государство и революция».

Нам говорят, что только выборы по предприятиям позволяют услышать голос рабочего класса. Но кто, собственно, живет в Ленинграде, если главным образом не рабочие? Конечно, живут еще научные работники, но их в несколько раз меньше. В сфере обслуживания тоже занято не слишком много людей, чиновников — и того меньше. Ленинград, слава богу, не столица. Пенсионеры тоже по преимуществу из рабочих. Голос жителей Ленинграда — это и есть прежде всего голос рабочего класса, выраженный свободно, **без давления заводской администрации, парткома и профкома**. Оттого-то на выборах в народные депутаты СССР за М.Попова и А.Пыжова, и тогда выступавших от имени рабочего класса, было подано ничтожное число голосов. Рабочий класс хорошо понял, чьи интересы они на деле представляют.

Предлагаемая система выборов прежде всего не хочет считаться с рабочим как с человеком и гражданином, а ведь за проходной рабочего заботит все то же, что и прочих граждан. Но забота о том, чтобы не отравляли Неву и залив, не губили культуру, забота о школе и медицине, о городском транспорте, о кино и газете, о состоянии жилого фонда и порядке в нем не может быть удовлетворена в пределах своего предприятия, особенно в огромном городе, где предприятий сотни. Территориальный принцип, выборы по месту жительства — основа равноправия и демократии, лишь при территориальной власти граждане равны, ибо ее формируют на равных правах все жители данной территории, и только они, никто, кроме них.

За стремлением опрокинуть территориальную власть, когда ее необходимо, напротив, укрепить, различимы интересы отнюдь не рабочих, а все того же бесхозяйственного производства. Рабочий интересен проповедникам новой системы выборов лишь в своей производственной роли, лишь у станка, лишь как исполнитель. У них и слова нет о необходимости высвободить предприятия из-под власти ведомств, отдать их в распоряжение рабочих.

Между тем рабочему нужна не номинальная власть над территорией, а реальная власть над производством. В нормальных условиях он заинтересован в том, чтобы его предприятие было конкурентоспособным, не убыточным, а доходным — ведь отсюда и законный заработок. Не буду здесь спорить, должны ли предприятия передаваться трудовым коллективам в собственность, в бессрочное владение или в аренду, — так

или иначе, они должны стать объектом самоуправления, демократически осуществляемого всем коллективом. Разумеется, предприятие должно отдавать заранее установленную часть дохода центральной и местной власти — не буду опять же здесь спорить, должны ли эти выплаты осуществляться в форме арендной платы или налога. Но за пределами этой обязанности, с одной стороны, и, с другой, в пределах закона, определяемого центральной и осуществляемого местной властью, трудовой коллектив должен обладать полной свободой экономической деятельности. В сфере хозяйствования надо противопоставить власти ведомств власть рабочего класса над своим предприятием. При выходе всех предприятий, а не одних кооперативов, на реальный социалистический рынок рабочий будет кровно заинтересован и в научно-техническом прогрессе, и в повседневной модернизации производства (значит, и в союзе с интеллигенцией, а не в противостоянии ей), и в социальных гарантиях от последствий структурных перемен при модернизации. Лишь когда работа предприятия, действующего в рамках законных обязанностей и взятых на себя обязательств, начнет определяться сугубо экономическими критериями, а не указаниями инстанций, жизнь трудящегося человека и всей страны сможет измениться к лучшему. Смысл перестройки и состоит в признании экономической власти. А нам опять предлагают закрепить за предприятием внеэкономическую власть, чтобы опять не граждане определяли правила предприимчивости, а предприятие, заполнив совет, само определяло себе правила, то есть укрепляло свою монополию, не испытывая никаких ограничений, кроме спускаемых сверху, и не утруждая себя переходом к интенсивному производству.

Едва ли не величайшая трагедия отечественного сознания состоит в непонимании того, почему плюрализм суждений и разделение властей стали обязательными условиями разумной жизни общества. Мы все норовим найти способ одним махом решить все проблемы и «догнать Америку», а потом всякий раз обнаруживаем, что хотя способ мы выбрали и впрямь недурной — ту же кукурузу, — да чего-то не учли, и мы тотчас напрочь отрекаемся от кукурузы, которая, не будучи панацеей, могла бы недурно послужить животноводству и средней полосе, и хватаемся за другую панацею, нынче за компьютер. А думать бы надо сперва о том, как мы принимаем решения, как думаем, как складываются у нас общественное мнение и мнение властей.

Интересы человека многообразны, и наивно ожидать, что кто-то, будь он семи пядей во лбу, может их разом угледеть и безупречно сообразовать. Наивно считать такой порядок рациональным, он, напротив, источник иррациональности и хаоса. Лишь обретая особые каналы для отдельного выражения каждого интереса, общество обретает возможность их плодотворно сопоставлять. Без прокурора и адвоката судья не в силах быть справедливым. Лишь когда прокурор изложит доказательства вины, а адвокат — доказательства невинности подсудимого, откроется возможность их полноценно сопоставить и принять обоснованное решение. А мы даже суд освободили от нужды в сопоставлении, и наши судьи, как правило, доверчиво следуют за прокурорами.

Но нужда в сопоставлении, взаимодействии и открытом противостоянии интересов во имя установления истины и справедливости есть везде и всюду. Признаем же наличие противоречий между разными

интересами одного и того же человека и вместе с тем их взаимозависимость, признаем, что интересы человека как труженика и его же интересы как гражданина часто различаются. И в то же время неудовлетворенность гражданских интересов ощутимо сказывается на рабочем состоянии труженика и наоборот. Разрешим трудящимся в рамках закона свободную производственную деятельность в собственных коллективных интересах и одновременно позволим жителям, опять же в рамках закона, выбирать себе власть, защищающую их интересы и нужды. Пусть представители наших производственных интересов составят совет трудового коллектива, руководство предприятия, а представители наших гражданских интересов станут депутатами советов и их руководителями, и пусть они ежедневно согласовывают наши противоречивые и подвижные интересы. Другого способа действовать разумно не существует.

Противники предложения проводить выборы в советы по предприятиям, то есть в рамках производственной дисциплины и под бдительным надзором администрации, уже отмечали, что это — средство протакнуть в республиканские и местные советы тех, кто в Ленинграде дружно провалился на выборах в народные депутаты СССР. Но это не главное зло предлагаемого проекта. Подчинив советы предприятиям, мы уничтожим поле для их объективного взаимодействия, вернемся к монополии, к диктату производителя над потребителем, и подлинно экономическая деятельность снова станет невозможной.

Авторы этой идеи не скрывают, что стремятся именно к такой цели. Корень всех бед, твердят они, в том, что предприятия жаждут прибыли, а этого, мол, не добьешься иначе, как повышая цены. Вот они и зовут ради всеобщего благоденствия отказаться от стремления к прибыли. Между тем лишь при абсолютной монополии и дефиците возможна прибыль от простого повышения цен, а так-то она, как давно известно, свидетельствует о созидании прибавочного продукта и в этом качестве при любом общественном строе служит показателем хозяйственной деятельности, без которого вообще невозможно определить, какое предприятие лучше работает. Отказ от учета прибыли как раз и предоставил нашему обществу свободу работать плохо.

Люди и предприятия работают хорошо не по доброте душевной и не из нравственных побуждений — на это, как показала жизнь, надежда слаба, — а именно ради прибыли, позволяющей и производство сделать более конкурентоспособным, и лучше оплатить труд, удерживая лучших работников. И когда эта прибыль будет не утекать на министерские счета, а реально сказываться на благосостоянии самоуправляющегося трудового коллектива, выяснится, что и социалистические предприятия могут работать не хуже капиталистических и жизнь при социализме вовсе не обязательно должна быть хуже, чем при капитализме.

Спор, как видим, идет не просто о том, как выбирать в советы, но и о том, каким быть у нас социализму, сохранять ли общественную структуру, позволяющую работать плохо, пробиваясь к лучшей жизни не лучшим трудом, а внеэкономическими преимуществами, даруемыми административной властью, пока ее закрома не иссякают, или все же следовать давно провозглашенному, но так и не осуществленному принципу «от каждого по его способностям, каждому по его труду». Спор идет о том, вести ли хозяйство по-прежнему технократически или наконец социально, то есть следуя давним социалистическим призывам: землю —

крестьянам, заводы — рабочим и, после научно-технической революции, следует прибавить, институты — научным работникам, а власть — всем, всему народу, всем трудящимся, всем гражданам.

Всякое вольное или невольное, сознательное или бессознательное стремление этому помешать, это насущное условие экономического и общественного развития обойти толкает страну в пропасть прошлого, к застою, к отсталости, к лагерям, к нищете. Пора отдать себе в этом отчет и не насаждать новую диктатуру под видом особенной демократии — демократии для особенных. В современном обществе не может быть ни избранных народов, ни избранных классов, ни даже великих вождей, владеющих всей полнотой истины. Мы можем обрести ее только сообща, на равных, считаясь друг с другом. Именно в этом и состоит смысл возвращения власти советам, которые как раз ради этого и надлежит избирать на всеобщих, равных, прямых, альтернативных и тайных выборах по принципу: один человек — один голос, без каких бы то ни было преимуществ для кого бы то ни было.

ОТ ГЛАСНОСТИ К СВОБОДЕ

Роды французской королевы. И закон о печати?

Не нам первым приходится выяснять, есть ли от свободы печати прок или одни неприятности. Еще в 1842 году, комментируя дебаты в рейнском ландтаге, Карл Маркс отметил: от свободы печати требуют, чтобы она разрешила все проблемы, стоящие перед обществом, и напомнил о литераторе, «который не переставал сердиться на своего врача за то, что тот, правда, избавил его от болезни, но не избавил заодно его произведения от опечаток». В этой связи Маркс бросил: «Свобода печати, подобно врачу, нее обещает совершенства ни человеку, ни народу. Она сама не является совершенством». Будем же помнить, что свобода печати, ныне влекущая за собой немало неудобств, не украшение жизни, а жизненная необходимость, если мы хотим, чтобы наша страна выжила, а не обратилась к 2000 году совсем в глухую и разоренную провинцию.

Как известно, французская королева рожала в зале, где толпилась знать отнюдь не только женского пола. Наши проститутки, не говоря о блюстительницах нравственности, конечно, сочли бы ее бесстыжей. Но дело не в недостатке стыдливости. Просто правящий класс хотел быть уверенным, что следующим королем со временем станет ребенок, которого родила именно королева. Это было залогом законности монаршего правления. И соблюдение законности даже в те времена не могло обойтись без гласности.

Вот почему первым шагом на пути к установлению законности у нас и стала гласность. Наивно думать, что стоящим у власти хотелось порочить прошлое и демонстрировать, что белые пятна на самом деле были грязными и кровавыми. Но если не говорить открыто о вчерашних беззакониях, законность никогда не установится, да никто в нее и не поверит. И воевавшие против гласности тоже не так уж любили Сталина. Они просто хотели жить по-прежнему. Но гласность возобладала. Мы видели заседание Съезда народных депутатов, видели, как они рукоплескали генералу Родионову и майору Червонопискому и освистывали академика Сахарова. Мы видим заседания Верховного Совета. Реальность предстает нам полнее и объективнее чем еще

недавно, и это, разумеется, весьма отрадно. Однако нарастающая полнота гласности нагляднее всего показала, что одной гласности в век научно-технической революции недостаточно. Нужна свобода слова.

Многим кажется, что гласность и свобода слова – это одно и то же. Тем более что уже при гласности до нас открыто доходит и не только спущенное сверху мнение. Если еще недавно инакомыслие было тягчайшим грехом, то нынче по любому вопросу можно слышать едва ли не полярно противоположные суждения. И все же нередко наиболее глубоким суждениям, отнюдь даже не крайним, не находится места. Свобода слова отличается от гласности тем, что она положена каждому человеку, без всякого исключения. По этому поводу Маркс тоже успел высказаться: «Вопрос не в том, должна ли существовать свобода печати, -- она всегда существует. Вопрос в том, составляет ли свобода печати привилегию отдельных лиц...»

Пока цензура охраняет единомыслие, это кажется не столь существенным. Но вот цензура стала у нас либеральнее. Проекты законов о печати предполагают и вовсе ее упразднить. Однако от этого мы, простые граждане, еще не обретаем свободы слова, вернее, она остается лишь у «Московских новостей» и «Правды», «Нашего современника» и «Огонька», «Молодой гвардии» и «Знамени», «Литературной России» и «Известий и так далее. А что делать тому, чьи взгляды ни с одним из дозволенных изданий не совпадают полностью, и, стало быть, ни в одном месте для них не найдется?»

В мире частного предпринимательства свободе печати достаточно юридических гарантий, у нас – иное экономическое устройство. До читателя нам не добраться, ведь никто нас печатать не обязан, да и не может закон о печати никакую редакцию вынудить печатать то, что ей не по вкусу. Стало быть, чтобы не остаться лишь декларацией благих намерений, закон о печати прежде всего должен оговорить право каждого гражданина и каждой организации граждан приобретать материальные средства для печати и пользоваться ими. Иначе свобода печати так и останется привилегией отдельных лиц.

Но едва мы допускаем, что настанет свобода для всех, тотчас возникает страх перед злоупотреблением. Привыкнув жить под постоянным контролем, возложив на правительство странную обязанность воспитывать народ (хоть граждане не дети правительства, и куда естественнее наоборот: народу воспитывать должностных лиц и государственных деятелей), мы все не можем уразуметь, что свободой злоупотребить невозможно. Свобода лишь позволяет проявиться тому, что существует и без нее, а никто еще не доказал, что все дурное, которое в жизни, к сожалению, существует, становится лучше от того, что покрыто тайной. Поэтому, есть свобода или нет, все равно приходится думать, хороши ли чужие дела и призывы, безразлично, совершаются они публично и прямо или подспудными и обходными косвенными путями.

Цензура вредна не только тем, что лишает нас необходимых сообщений и рассуждений. Суровая цензура – лучшее средство для подрыва государственного строя, для внедрения в умы недоверия к нему, и наша цензура в этом преуспела. Интерес к западным передачам на Советский Союз возник не столько от их достоинств, сколько от многолетнего глушения. Впрочем, когда радио еще не было и в помине, Маркс написал и об этом: «Если закон о цензуре хочет **ставить преграды**

свободе как чему-то нежелательному, то он достигает как раз обратного. В стране цензуры всякая запрещенная, то есть напечатанная без цензуры, книжка есть событие. Она считается мученицей, а мученичество не бывает без ореола и без верующих». Кажется невероятным, что это написано не о Раскольникове, не о Солженицыне, не о Синявском. Но Маркс продолжает: «Цензура делает каждое запрещенное произведение, будь оно плохое или хорошее, необычным произведением, в то время как свобода печати отнимает у произведения эту внешнюю импозантность». Стоявшие у власти марксисты Маркса не читали или, во всяком случае, не считались с ним. И раз уж мы теперь к нему вроде возвращаемся, стали его читать, стоит позаботиться о том, чтобы свобода печати стала у нас полной.

Идя на это, надо четко сознавать, что при полной свободе печати появятся и суждения, ничего общего не имеющие с истиной.

Но сама же свобода печати не служит ли лучшей защитой от их наплыва – и не только тем, что новый закон вынудит в случае доказанной клеветы печатать опровержение, -- но еще больше тем, что другие издания не упустят возможности опровергнуть завравшихся оппонентов и тем продемонстрировать уровень их мыслительных способностей, невежества и безнравственности. А если в печати появятся призывы нарушать конституцию или уголовный кодекс или сами публикации явятся таким нарушением (скажем, будут содержать военную тайну), то ведь за это давно предусмотрены строгие наказания, которые отнюдь не смягчаются от того, что закон нарушен в печатном тексте, а не устно или письменно. Словом, полная свобода предполагает и полную ответственность, и вряд ли есть смысл особо оговаривать все случаи, когда эта ответственность наступает. Она должна наступать всегда, если нарушается конституция или уголовное законодательство.

Акт нарушения закона может быть установлен, понятно, лишь открытым судом, и ответственность перед ним достаточно гарантирует народ и государство от использования средств массовой информации для нарушения закона и подстрекательств к его нарушению. Стало быть, нет причин ограничивать свободу печати не только предварительным цензурированием, но даже и предварительным разрешением на выпуск того или иного печатного органа или отдельных книг, как ни велик соблазн разрешить такое лишь всесторонне проверенным товарищам. Желающие издавать газету или журнал не должны запрашивать на то разрешения, деликатно именуемого в проектах «регистрацией», достаточно поставить власти в известность о таком намерении, а обязательные экземпляры представлять в Книжную палату. Предполагаемый проектами запрос на разрешение, равно как повсеместное умолчание о праве на приобретение и использование печатных средств, при желании легко сведет свободу печати к минимуму. Все будет зависеть от возникновения подобного желания, от персональной милости. Но такая милость, слава богу, у нас сегодня есть. И законы, не способные ее закрепить, сделать впредь независимой от воли того или иного лица, даже стоящего на вершине власти, попросту не нужны. Они ничего не прибавят и окажутся при самых добрых намерениях существующими лишь для вида. Но для вида свободу слова, как и прочие свободы, провозгласила уже сталинская конституция.

Стоит особо задуматься над тем, кому, собственно, предоставляется свобода печати. Она, понятно, расширяет возможности граждан получать необходимую им информацию о жизни и науке и доступ к художественным

сочинениям. Она опять же помогает разным организациям вести обмен мнениями, политическую и всякую другую пропаганду, а крупным издательским фирмам позволяет на всем этом зарабатывать. Но важно помнить, что свобода печати нужна прежде всего авторам – писателям, журналистам, художникам, композиторам, режиссерам. Однако это не кастовая привилегия. И не только потому, что в условиях свободы любой человек, никого не спрашивая, в такую касту входит. Еще важнее, что авторы, выступающие с информативными, научными или художественными сообщениями, хоть и действуют на первый взгляд как бы каждый от себя, выполняют великое общественное назначение. Все вместе они предоставляют обществу и, более того, человечеству палитру наличных суждений и чувств по всем занимающим людей поводам. Гражданину помимо избирательных кампаний не обязательно самолично изъяснять свое отношение к тем или иным явлениям. Он обнаруживает в свободной печати одного или нескольких авторов или изданий, адекватно выражающих его точку зрения, и, приобретая соответственные книги, журналы или газеты, всякий человек участвует в формировании общественного сознания и берется за перо лишь в крайних случаях, преимущественно когда никто не сказал того, что у него на языке.

Многолетняя обезличенность нашей печати стерла понятие авторства. Ныне не считают зазорным использовать чужие идеи, не давая хода людям, их выдвинувшим раньше и сформулировавшим лучше. Между тем свобода печати и самое право на нее неотделимы от авторского права, равно как главнейшее авторское право состоит в свободе печати, возможности предъять себя, свои идеи, свои чувства согражданам и человечеству. Но у нас печать все еще мыслится как забота учредителя, издателя, редактора, грань между которыми, кстати сказать, не всегда ясна. Автор же считается лишь подсобной рабочей силой, хотя на деле именно он – первое лицо свободной печати. При создании нового закона надо и об этом помнить.

Ведь именно авторское многоголосие обращает печать в трибуну общественного сознания и дает основание повторить за Марксом: «Свободная печать – это зоркое око народного духа, воплощенное доверие народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром... Свободная печать – это откровенная исповедь народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она – духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а самопознание есть первое условие мудрости».

НЕ БОГ, НЕ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ...

Споры о «спасителе отечества»: может ли «ввести» демократию сильная рука?

Общественное сознание взбудоражено. Оглядываясь на бесплодие давних реформаторских попыток, убеждаешься, что экономические преобразования без одновременных политических у нас невозможны. Это, естественно, обостряет ситуацию. Но чем она острее, тем нужнее самообладание, тем важнее разобраться в реальном, а не книжном общественном бытии, обычно определяющем общественное сознание.

Десятилетия монопольного хозяйствования превратили наше государство в циклопическую раздаточную, в которой размер пайки определяется чем угодно, но только не трудом. Покуда не сложится

самодействующая экономическая структура, центр останется адресатом всеобщих претензий. Но и враз повернуть государственный корабль не удастся, тем паче такой поворот в новинку и не обходится без импровизаций, не всегда удачных. Полки магазинов пустеют, и поскольку еще недавно хлеб, хоть и закупленный уже за океаном, продавался в соседней булочной без перебоев, иным кажется, что раньше лучше было. Возникает тоска по железной руке, но диктатору, который «наведет порядок». Где, впрочем, он добудет хлеб, остается неясным.

Бонапартами не становятся

Не стоит обольщаться иллюзией, что железная рука идеал одних «аппаратчиков», не желающих «поступаться принципами», или шовинистических групп, отличающихся от привычных консерваторов лишь несколько большей откровенностью. В последнее время по железной руке затосковали и особого рода прогрессисты, опять уверяющие, что именно диктатура оплот демократии: с нами, дескать, иначе нельзя! Почему мы, живущие в независимой стране более пяти веков, к демократии «не готовы», а индусы, едва вышедшие из-под британского колониального ига, демонстрируют ее примеры, тоже неясно.

Политическое мышление, изуродованное со сталинских времен, не сочетается с конкретностью истории. Оно становится технологическим, «как» заменяет «что», и начисто пропадает представление о содержании самих по себе средств, самих методов политического действия, а не только провозглашаемых целей, о которых шумят, вербуя сторонников. Великие слова Маркса: «Цель, для которой требуются неправомерные средства, не есть правая цель» — уже напрочь забыты, — слишком часто неправомерные средства были у нас в ходу. Но счастье народа недостижимо без его участия. Революция сверху неосуществима без поддержки снизу. Без народного доверия реформы, как правило, не удаются.

Об этом новые политологи не вспоминают. Но не вспоминают и о том, что Бонапарта родила революция. Дантон и Робеспьер пробили ему путь, и Бонапарт уже мог революцию осаживать, отказываться от ее крайностей. Но он олицетворял новое общество, и крестьяне, становясь его солдатами, не зря жизни за него не жалели. П.А.Столыпин не стал российским Бонапартом не потому, что не видел нужды в переменах, отлично видел, но потому, что был не сыном революции, но лишь ее умирителем. А у нас хотят обрести Бонапарта аппаратным путем.

Так и говорят: «Съезд вообще не стоило созывать. Гораздо лучше было бы, чтобы наш лидер получил усиление своей власти аппаратным путем». Но аппаратным путем приходит не Бонапарт, а лишь Столыпин, который, утратив расположение двора, то бишь аппарата, не может обратиться за поддержкой к народу.

Между тем массы не безличны (?) и к реформам относятся по-разному. Одно поддерживают, другое нет. Одни поддерживают, другие — нет. Еще до Маркса было осознано, что в обществе идет борьба классов и сословий. Абсолютизируя классовую борьбу, у нас частенько забывали, что она — другая сторона классового взаимодействия, что буржуа с рабочим одновременно и делают общее дело, и сражаются друг с другом за его плоды. Это мешало понять социальную природу национальных интересов, нередко противоречивших правилам международной

классовой солидарности, мешало понять, почему не свершилась мировая революция, почему «братья по классу», немецкие рабочие, отнюдь не братались с Красной Армией, а исправно воевали за Гитлера. Но зачем же бросаться в обратную крайность и отрицать существование классовых противоречий, отрицать, что правящий слой России по преимуществу не желал даже столыпинских реформ, не говоря о предложенных первой Думой, а на более раннем этапе сопротивлялся реформам Александра II? Зачем отрицать, что несвершенность, половинчатость, бестолковость производимых преобразований обусловила неудовлетворенность крестьянства и последующие революционные пожары?

Кризис общественного сознания подтверждается и тем, что для нашей неординарной ситуации новые политологи механически перенимают объяснения, сложившиеся в других обстоятельствах. Прочитав в английских переводах замечательного немецкого мыслителя Макса Вебера, они уверяют, что без «харизматического» диктатора ни подлинной экономики, ни потом когда-нибудь демократии нам не видать. М.Вебер скончался в 1920 году. Его теории тесно связаны с трудной немецкой историей, во многом, однако не во всем, схожей с нашей. К тому же нельзя отвлечься от всего пережитого нами после 1920 года и обозначившихся отличий от пережитого Германией. Во время первой мировой войны М.Вебер, понимая, что война империалистическая перерастет в войну гражданскую, дальновидно считал необходимым как можно скорее заключить мир, а после крушения монархии возлагал надежды на сильную президентскую власть, способную, по его мнению, консолидировать нацию и, осадив монархическую бюрократию, построить правовое государство.

Можно понять американских социологов, нашедших в работах М.Вебера опору для раздумий о политическом устройстве своей страны с ее сильной и противопоставленной представительным органам президентской властью. (Заметим, кстати, что конгресс эту власть все же весьма ограничивает, вплоть до права отстранения президента от должности в порядке импичмента, о чем наши сторонники сильной президентской власти, к сожалению, забывают.) По англосаксонской традиции США издавна привержены к таким компромиссам, а вот в родной М.Веберу Германии, подобно нам не знавшей ни таких традиций, ни прочных демократических институтов, через тринадцать лет после смерти ученого харизматическим вождем стал Гитлер, и всякая законность рухнула. Винить в этом М.Вебера было бы странно, но понять на этом примере, что абстрактность теории, сообразуясь с конкретностью истории, не всюду однозначна, очень даже стоит.

«Правые» и «левые»

Харизматический (от греческого слова «харизма» — благодать) вождь, сильный верой народных масс в то, что именно и только он способен разрушить или разругать нерешаемые проблемы, создавшие кризис, выдвигается в самых разных и правых и левых движениях. У нас им был, конечно, Ленин, авторитет и власть которого не зависели от должностей и обходились без избирательных обоснований, — вера в него коренилась в его решительном противостоянии многолетнему упрямству царизма и бессилию Временного правительства. Он был залогом разрешения

аграрного и национального вопросов, преграждавших стране путь к интенсивному развитию.

У М.С.Горбачева, которого прочтат, его не спросив, в диктаторы, совсем иная историческая роль. Он не противостоит существующей системе, но вышел из ее недр в момент исчерпания ею своих возможностей, и цель его не разрушение системы, как некогда у Ленина, а ее трансформация, перестройка путем расширения социальной базы и учета реальности. К Горбачеву людей влечет не иррациональная вера и не его личное обаяние, а сугубо рациональная надежда, ибо в нынешней ситуации компромисс с реальностью и в самом деле единственная возможность выйти из кризиса без кровавых катаклизмов. Все верят: он от своей инициативы не отступил. Покуда надежды на внутренний мир, необходимый стране не менее международного, не иссякли, Горбачев остается у нас безусловно самым сильным политиком.

Все удачи и неудачи — от неапробированности демократических путей, от инерционной бескомпромиссности прежних дней, к которой, кстати, и толкают призывы к диктатуре.

В этих призывах, пусть даже прикрытых рассуждениями о демократии, воплощено сопротивление преобразованиям, которое не сводится к спорам в политбюро, где, может быть, даже царит единодушие. Но чуть мы спустимся на несколько ступеней, сразу обнаружится, что только на первый взгляд кажется: одни атакуют справа, а другие слева. Но эта стандартная формула тотчас разваливается, едва выясняется, что и те и другие, помалкивая об уклонении государственных предприятий от производства товаров для населения по доступным ценам, дружно требуют обуздать кооперативы. А ведь удержи госпредприятия производство товаров, которые никогда не были дефицитны, хотя бы на прежнем уровне, да еще не передавай их тем же кооперативам, превращая последних в торговых монополистов, кооперативные цены упали бы без всяких дополнительных законов.

Общая несообразность произвольно установленных цен и зарплат, ущемляющая добросовестных и квалифицированных тружеников, дает прибавку из общего котла отнюдь не только «аппаратчикам», в число которых, кстати, нередко записывают рядовых инженеров, получающих меньше, чем их неквалифицированные подчиненные. На всех уровнях, и не только власти, но производства, и культуры, и сферы обслуживания работающие меньше и хуже хотят сохранить привычное положение, а не уступить незаработанные деньги тем, кто работает больше и лучше. Они поэтому хотят, чтобы власти не спешили со стоимостным хозяйствованием и вообще возвращались к прежней политике и лучше всего к Сталину, учредившему такой порядок. Их не единицы, и пока они не ощутят, что выигрыш соседей позволит им тоже жить во всяком случае не хуже, чем прежде, мечты о хозяине, бросающем лишнюю пайку, не оскудеют. Между тем прямая помощь государства полезна лишь как социальная гарантия, а повседневная жизнь налаживается только там, где у каждого появляется возможность плодотворно трудиться, получая по труду. Недавно М.Горбачев в Верховном совете сказал: «Опять слышатся голоса, что нужен какой-то спаситель отечества. Но спаситель отечества в том виде, в каком мы его уже видели, я думаю, нам не нужен. А вот те структуры власти, которые действительно выводят народ как главное действующее лицо на политическую арену, вот в этом спасение наше».

И, в самом деле, только демократизация жизни утолит нужду страны в социальном компромиссе, к которому она, увы, не обернулась сразу после революции на почве ее победы. Да и ход к НЭПу был, конечно, некоторым шагом к гражданскому миру, и социализм мог бы утверждать себя в мирном состязании с другими укладами, тем более, что новая власть ему-то и благоприятствовала. Однако свершился великий перелом и фактически, хоть и не на полях сражений, возобновилась гражданская война, война против интеллигенции и крестьянства, и все нет ей конца.

В чем компромисс?

Я готов согласиться, что сегодня для достижения гражданского мира и проведения радикальной экономической реформы недостает власти, но стоит задуматься, какая власть для этого нужна. Ведь М.Горбачев всей той властью, какой обладали его предшественники, сполна обладает. Его власть несравненно больше, чем у того же президента США. Но в том-то и дело, что в своем традиционном виде она для проведения экономических реформ и вообще для последовательной политики, сообразующейся с реальностью, совершенно не годится, и ее дальнейшая концентрация сама по себе улучшить положение не может. В том и великая заслуга М.Горбачева, что он обратился к политическим реформам и созвал Съезд народных депутатов и Верховный совет, чтобы они прощупывали проходы сквозь толщу взаимной нетерпимости к общественному согласию и взаимным уступкам. Никакой самый могучий и преисполненный лучших намерений лидер не в силах установить демократию в одиночку. Как давно сказано, «права не дают, права берут». Сетовали бы не на недостаточную активность М.Горбачева, а на недостаточную активность и недостаточную готовность искать взаимоприемлемые решения у представительных органов и у самих избирателей, а ведь новые выборы не за горами.

Опять же необходимо помнить о конкретном социальном смысле ожидаемых реформ. Сложившаяся у нас хозяйственная монополия, всей плотью сросшаяся с государством, уперлась ныне в пределы возможного для себя технического прогресса и вообще рационального ведения дел. Ныне пытаются точнее определить природу собственности. Это важно, но стоит помнить, когда мы перестали понимать ее природы. Не тогда ли, когда свели к собственности все зло мира, забыв, что, по Марксу, она плодит зло постольку, поскольку становится почвой для применения наемного труда, в ходе которого и создается, опять же по Марксу, прибавочная стоимость, присваиваемая работодателем. Источник богатства — наемный труд, притом в больших масштабах, а не сама по себе частная собственность. Объявляя собственность коренным злом, мы упускаем, что характер эксплуатации наемного труда зависит от его масштабов, от числа пользующихся им собственников, и чем их больше, тем их соперничество полезней наемным рабочим. А чем сильнее частная собственность сконцентрирована, тем произвольней собственник обходится с наемным рабочим, и, когда монополия государственная собственность вытесняет множественную частную, ее произвол максимален уже потому, что другого работодателя, кроме государства уже нет и быть не может. Тем, что проблему свели к ликвидации частной собственности и обращению ее в государственную, лишь ужесточили механизм эксплуатации, а наемный труд не сократили, лишь ужесточили

механизм его эксплуатации. И в силу монопольного положения и внеэкономической власти государства тоталитаризм уже ни с какими объективными законами, которые вынужден учитывать капитализм, не соотнобразовывается.

Экономическая реформа в идеале призвана сократить, а в перспективе и упразднить наемный труд, но непременно ликвидируя одновременно государство. Маркс мечтал о социалистическом обществе, в котором не будет пролетариев, наемных рабочих, а у нас умудрились к ним прибавить еще и наемных крестьян и наемных интеллигентов, а и это прогресс в сравнении с подневольным трудом. А «больше социализма» — должно означать меньше наемного труда! А при нашем — увеличивается подневольный. Ленинское определение социализма как «строения цивилизованных кооператоров» тем и интересно, что в нем схвачена суть социализма как общественного строя, в котором люди работают не по найму, а на самом деле являются собственниками или владельцами средств производства. А практика оказалась противоположной.

Но если они сами себе хозяева, то сфера их самостоятельности должна быть для них всесторонне обозримой, включая и отношения их со сферами самостоятельности других людей, ради чего хозяйственным отношениям и надлежит быть сугубо экономическими, то есть стоимостными и состязательными, а не отчужденными под слепым унитарным владычеством. Диктатура, доходившая до крайних форм культа личности, вызвана не просто тяжелым характером Сталина, а объединением всего хозяйства страны в единую отчужденную от трудящихся внеэкономическую махину. Иное хозяйство нуждается в иной политической структуре, в непосредственных, минующих властный центр горизонтальных связях меж автономными участниками, небеспрекословно послушными, но обретающими голоса, то есть в демократии.

Суть социального компромисса в переходе от наемного труда, обретшего в силу монопольности работодателя даже черты феодальной барщины, к труду в социальной ассоциации, к экономической самостоятельности граждан.

Понятно, такой переход не может совершиться в одно мгновение. Но смысл реформ, их успехи, могут быть измерены лишь ростом продуктивности вылупившихся из нынешней монопольной громады самостоятельных производственных единиц, считающихся лишь с экономическими параметрами, но не с командами сверху или со стороны. Поскольку сосуществование таких очагов социализма с работой по найму на государственных, а порой даже и частных, предприятиях продлится, быть может, не одно десятилетие, это сосуществование, включая возможность свободного перехода от одной формы к другой с равными для всех социальными гарантиями, должно быть законодательно закреплено демократическим путем. Только такая последовательная реформа и сможет обеспечить стране и ее народам подлинный социальный мир, иначе все сведется к очередному переименованию министерств если не в совнархозы, то в концерны, а само хозяйство, безапелляционно отчуждающее плоды наемного труда, по существу, не изменится, и останется лишь гадать, разорят ли его вконец забастовки или, наоборот, расправы с бастующими. Чтобы привести страну к социальному компромиссу, М.С.Горбачеву недостает не власти вообще, такой у него в избытке, и она все укрепляется, а именно демократической

власти. В стране все еще нет инструмента повседневного согласования, сбалансирования различных стремлений, тенденций и сил в общих интересах.

Винтовка и власть

Выдвинутое М.С.Горбачевым на XIX конференции КПСС предложение первым секретарям баллотироваться на посты председателей соответствующих советов, многие, веря в автоматическое их избрание, восприняли как намерение усилить власть партийного аппарата. На деле это как раз означало бы народный контроль за аппаратом и за партией, побуждало бы партию выдвигать лидеров, считаясь с мнением народным. Не случайно нынче многие секретари против «совмещения должностей». Им больше нравится руководить, не неся ответственности, стоя за кулисами советской власти и подменяя ее.

Ленин, будучи председателем Совнаркома, был одновременно бесспорным лидером партии, но не по должности, а по личному авторитету, по «харизме». Его соратники тоже занимали государственные посты, центральные и местные в силу личного авторитета, по крайней мере среди преобладающей массы коммунистов. Но именно они сообща составляли Центральный комитет партии, в котором люди, занимавшиеся исключительно партийной работой, были тогда редчайшим исключением. Партия не стояла над государством, а посылала самых способных своих людей управлять государством, может, оттого это и лучше получалось?

Позднее, при Сталине, личный авторитет заменился авторитетом должности, личная «харизма» — должностной. Стать секретарем, спущенным сверху, уже означало стать лидером, каковым по личным своим качествам человек часто стать бы не мог. Вот и нынче дело не за тем, чтобы «разделить» партийную и государственную власть, а затем, чтобы признать, что никакой особой партийной власти над народом, помимо завоеванной партией на выборах государственной власти, нет и быть не может, и, соответственно, упразднить самые эти командно-секретарские должности, которые при Ленине не играли нынешней роли, чтобы лидерами партии на всех уровнях были именно те ее деятели, которым народ доверит государственную власть в центре и на местах.

Но диктатура худа не только тем, что человек от абсолютной власти непременно портится нравственно, — пусть даже и не до конца испортится, но ведь диктатор может править, лишь делегируя свою неограниченную власть прямым своим ставленникам и дальше по вассальной лестнице. В обществе, нуждающемся в инициативах, в объективном сопоставлении ценностей и поощрении талантов диктатура губительна даже вопреки личным стараниям диктатора преодолеть ущерб, проистекающий не от его воли, но от свойств диктатуры как таковой. А нам все объясняют, как хороша диктатура!

Самый решительный ее приверженец А.Мигранян даже пригрозил, что если диктатор не усмирит массы, он, Андраник Мигранян, предпочтет другой вариант: «консервативные силы на время (!) прерывают процесс перестройки и вводят все в русло стагнации. Плохо, безусловно, но лучше, чем неуправляемый разгул страстей». Но кто, собственно, доказал, что именно консерваторы — противовес разгулу страстей, действительно опасному? Не наоборот ли? Не буйствуют ли страсти сверх меры именно

там, где отказываются от социального компромисса и консерваторы насмерть стоят на своем.

Чтобы спасти страну, надо помнить, что не так важны лозунги на знаменах, как методы, которыми их воплощают в жизнь. Винтовка рождает власть, держащуюся лишь на винтовке. Возможности такой власти в век науки и наукоемкого производства неизбежно сокращаются, и сторонники диктатуры во имя прогресса на практике оказываются заодно со сторонниками диктатуры во имя реакции. Им все не понять, что цель не оправдывает средства, что, напротив, неподобающие средства уничтожают самую возвышенную цель.

Попытки объяснить нашу трагическую историю происками злодеев, считать ли таковыми описанных Достоевским «бесов», немецких агентов или жидо-масонских заговорщиков, дурны не только тем, что не верны, но и тем, что мешают видеть истину. Даже великий роман «Бесы» с его пророческой правдой о шигалевщине содержит, увы, и великую ложь: Петруша Верховенский, списанный с Нечаева, выступает там сыном Степана Трофимовича, списанного с Грановского, то есть аморальность и терроризм объявлены неременным детищем стремления к свободной мысли, европеизма и демократичности. И дело не только в том, что, как выяснилось, грановские становятся первыми жертвами нечаевых, а в том, что они отнюдь им не родители, во всяком случае, в несравненно меньшей мере, чем Иисус из Назарета прародитель Торквемады, а ведь Христа к ответу за великого инквизитора и Достоевский не требует.

Я говорю это, понятно, не к тому, чтобы взвалить вину за костры инквизиции на бедную секту из Кумрана, а к тому, чтобы урезонить порочащих и Новикова, и Радищева, и Грановского, и все вообще освободительное движение. Везде винить надо виноватых, тех, для кого цель оправдывает средства, и помнить, что диктатура во имя демократии прежде всего упраздняет именно демократию.

БЕРЛИНСКАЯ СЕНА

13.VIII.61–9.XI.89

Берлинская стена стояла двадцать восемь лет. Она материально воплотила метафорический железный занавес, за пятнадцать лет до нее, по слову Черчилля, разделивший Европу, проведенную, таким образом, в разделении сорок три года. Нынче об этом редко вспоминают. Би-Би-Си показало недавно фильм, в котором российский комментатор Владимир Познер объяснял зрителям, что по обе стороны занавеса было много плохого. Конечно, не только к востоку от него, но и к западу, жизнь была не идеальной. Но ни популярный комментатор, ни его левая американская собеседница, не вспомнили, кто построил стену, не вспомнили, что люди из-за занавеса бежали только в одну сторону — с востока на запад, и стреляли в убегающих только с одной стороны. Разницы меж сторонами как бы не стало и даже, вроде, не было. А помнящим ее понятно, почему за десять лет не всюду и не вполне преодолено вросшее за сорок три года, и не везде прошли трудности, а где и выросли. Да потому, что почти полвека коммунистические страны вели хозяйство противоестественно.

Оно опиралось на штыки, и поэтому не боялось разорения, работая не на платежеспособный спрос, а по плановым заданиям. Конкуренции не было, и всеобщая монополия, слившись в экстазе с государственной

властью, вела от Чехии до Камчатки неэквивалентный обмен. Такое могла себе позволить лишь безмерно богатая Российская империя, своими огромными ресурсами, людскими и сырьевыми, до поры компенсируя неэквивалентность обмена. Но и ресурсы истощались.

Когда рабочие Гданьской судовой верфи впервые в истории потребовали, чтобы государство, именуемое рабочим, выполняло обязательства, они, возможно, верили, что для этого довольно Ярузельскому или, на худой конец, Брежневу распорядиться, а ни тот, ни другой, не в силах были изменить структуру хозяйства, они могли только стрелять или не стрелять. Обнажив это, польские рабочие показали миру, что ведение хозяйства общим социалистическим котлом неэффективно.

Шар, который толкнул Валенса, покатился, Горбачев начал перестройку, рухнула берлинская стена, распались Варшавский договор и Советский Союз, и Россия даже объявила себя демократической. Тут и открылось, что социализм не дает никому самостоятельно жить, и социалистические предприятия, как правило, не могут работать, когда надо соревноваться с другими не лозунгами, а ценой и качеством.

Дорожившие и прежде отдельностью заводов и людей Венгрия, Чехия и Польша, хоть Гданьской судовой верфи нет бывшего применения, нынче все же выглядят лучше других. А в восточной Германии недовольных больше. Западные братья бросают на восток бешеные деньги, бывшая ГДР потребляет в полтора раза больше, чем производит. Но наладить производство, способное конкурировать с западными братьями на внутреннем рынке, там тяжело, десяти лет для этого мало. А вся штука в том, чтобы жить своим трудом.

В России и Украине это не выходит. Не потому, что наши люди глупей или ленивей, или менее квалифицированы. Ничего подобного. Но у нас отдельное хозяйство стреножено. Социализма вроде стало меньше, государство цинично отреклось от обещанных им социальных гарантий, фактически сократило пенсии, бросило здравоохранение на произвол судьбы, но на деле у нас по-прежнему социализм, потому что хозяйством по-прежнему правит государство. Вместо свободы у нас приватизация по Чубайсу и губернские концерны по Лужкову, отдавшие все рычаги власти.

Бывшей ГДР и даже Польше, Венгрии и Чехии было мало десяти лет, чтобы преодолеть разрушение понятий и навыков, шедшее сорок с лишним лет, но, как говорил Горбачев, процесс пошел. А в России и Украине он по существу еще не начался и начинать его сегодня куда трудней, чем было бы в 1989 или 1991. Если бы хозяйство отделилось от государства, и в стране были сотни тысяч независимых от произвола власти ферм и фабрик, даже стремление отделиться политически было бы не столь острым, и возможно, даже Чечня держалась бы за наш общий рынок, ведь на другой, как видим, и бывшей ГДР трудно пробиться. Но чтобы так вышло, надо уйти Ельцину и Зюганову, Примакову и Путину, и их соратникам, уже не способным понять главное, что даже Брежнев с Ярузельским, хоть и не сразу, но усвоили, -- лучше не стрелять.

Берлинская стена рухнула, открыв ход к нормальной жизни, которую можно устроить и в своей стране. Одни так и поступили, а другие упустили возможность. Вот об этом, а не о былом ликовании, и надо нынче думать.

ВОПРОСЫ О КУЛЬТУРЕ

I. Какими вам представляются последствия разгрома русской культуры, совершенного большевиками за 73 года?

Я, прежде всего, не считаю, что страна попала в культурный тупик потому, что кто-то ее туда сознательно загонял. Были, конечно, и такие стремления, но одновременно большевики старались поднять культуру населения, добиться, скажем, всеобщей грамотности, — и ведь добились! Хотели издать массовыми тиражами великих русских писателей — и ведь издали! Однако, — и в этом суть, — оказалось, что, вопреки их усилиям, культура деградировала и испарялась. Дело не всегда в намерениях, а больше в том, что условия для органического развития культуры не в каждой социальной структуре в одинаковой мере наличествуют, и, независимо от воли тех, кто данную социальную структуру утверждает, если она по самой своей природе таких условий не содержит, результаты оказываются подобными нашим.

Культурное наследие России, при всех утратах, поныне огромно и прекрасно, а вот индивидуальная восприимчивость и избирательная необходимость в культуре, прежде встречавшиеся чаще, нынче поухли. Люди уже не так ищут в культуре близкое и значительное, как принимают некий готовенький культурный паек, и худ не так его состав, как его нормативность. А в субъективном восприятии дымковской игрушки больше культуры, чем в пайковом восприятии Тициана, хоть я их и не равняю. До революции культура во многом была элитарной; когда элиту срезали, оскудела и культура, но ее носителей уничтожали преимущественно не ради этого, это тоже не замысел, а последствие.

Среди причин упадка ленинградского балета называют и жесткие эстетические ограничения, и засилье бездарностей в руководстве, и бегство выдающихся актеров, и гибель других, и все это имеет место. Но главное — в отчуждении балета от взыскательного ленинградского зрителя, отчуждении и долгими зарубежными гастролями и тем, что дома билеты предпочитают продавать иностранцам, платящим валютой. А большевики не только громили, но и субсидировали и поощряли балет.

Дело не в борьбе против культуры, а в борьбе против человека, непосредственно культуру порой и не задевающей, но не оставляющей ей места. И до революции и после, за вычетом очень узкого круга, человек у нас — лишь средство, рабочая сила для помещичьих или колхозных полей, для царской или советской службы, для усмирения мятежных поляков или афганцев. У человека отобрано собственное усмотрение, он не может быть сам по себе, — для этого нужно быть героем. Но при таком устройстве общества связи человека с другими людьми определяются уже не так культурой, как административным порядком, предписаниями и приказами. Культура неизбежно сводится к их идеологической форме. Это не просто воля Сталина или Жданова, но диктат государственного унитарного хозяйства, опасяющегося частных, личных отношений между носителями рабочей силы. Приятие человеком такого устройства так или иначе сокращает и личную его потребность в культуре и общую культуру. В пору застоя могло казаться, что люди просто боятся себя выказать. Но сегодня никто особенно не боится, и видно, что сказать нечего, глубоко думают и здраво говорят лишь немногие. Скудость общественного сознания, и культуры в частности, — беда более страшная, чем все экологические и хозяйственные, ибо она мешает избавиться и от этих бед. Но состояние культуры — следствие нашей жизни, а не, как часто думают,

напротив, ужас жизни — следствие того, что люди стали некультурны. Стать-то стали, но от нее, от этой бесчеловечной жизни. Обратное влияние некультурности, конечно, делает свое, но не оно первично, и воскресными проповедями его не одолеть.

2. Есть ли выход из тупика?

Только если люди ощутят в нем потребность, захотят другой жизни. Покамест общество не хочет себя осознать, каждый дорожит своей правдой и не видит человека на другой стороне улицы. Общество не сознает себя как целое, состоящее из разных, порой враждебных, но нуждающихся друг в друге частей. Оно выхватило из гегелевской формулы борьбу противоположностей и забыло об их единстве. Оно любит поэтому однозначные решения, жесткий порядок. Когда же ему предлагают великую культуру, давнюю или недавнюю, и даже современную — как, скажем, величайшую книгу времени застоя и перестройки, поэму Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки", оно и гениальные творения воспринимает как примитивные знаки. Выход из культурного тупика зависит от выхода из социального тупика, от преодоления обычая жить короткими дистанциями, установившегося из-за всеобщего и, увы, обоснованного, взаимного недоверия, общей ненадежности людей, идей, дел, обязательств, ценностей и госучреждений. Начнет меняться жизнь, изменится и состояние культуры.

3. Как вы представляете духовное возрождение России?

Прежде всего, как ее материальное возрождение. Больше всего я хочу видеть русских и, вообще, советских граждан сытыми, одетыми как им хочется, имеющими каждый — свое жилье, и пользующимися благами цивилизации. Тогда возрождение, которое вы называете духовным, то есть религиозным, а я все же предпочитаю называть нравственным и культурным, не долго заставит себя ждать. Оно начнется как только человеку перестанут на каждом шагу мешать сделать свою жизнь лучше.

4. Как вы относитесь к обществу "Память"?

Как к заурядной фашистской организации. Таковые есть не только у нас, но, пока они не выходят за рамки закона, большого вреда от них нет. Есть даже, если угодно, польза: своим бесстыдством они побуждают ценить демократию, при всех ее неудобствах. Ничего страшного не было бы и в "Памяти", не пользуйся она особой благосклонностью властей и партийных органов.

5. Как вы думаете, почему общество "Память" использует идею духовного возрождения России?

Фашистские движения всегда паразитируют на национальных кризисах и несчастьях. Особенно если реальных возможностей быстро их преодолеть нет или ими не пользуются. Разве немцы не были правы, считая Версальский мир несправедливым? Вот немецкие фашисты и кричали о возрождении Германии! Почему? Да потому, что повести за собой народ можно лишь заговорив о реальной его боли, задев какую-то часть правды. А потом, распалив страсти, эту правду поворачивают и она оказывается ложью, но люди уже доверяют ее проповедникам. Несчастье русского народа в том, что в глазах других народов империи он выглядит

властелином, тогда как на деле на подавляющую его часть, особенно живущую на старых русских землях, лишь взвален груз поддержки и охраны империи, от которой большинству русских один убыток. Это затрудняет национальное самосознание. К нему, конечно, ведет свобода от имперского духа, обретение самостоятельности, но некоторых и впрямь одолевает соблазн стать властелином. Они и входят в "Память", и тянутся к ней и кричат о духовном возрождении России, а ведут к ее дальнейшему духовному обнищанию, подобному духовному обнищанию фашистской Германии, обусловившему, кстати, и ее военное поражение.

ЖДУ ПРОЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ

Некогда поэт вопрошал:

«Какой ты будешь, Новый год?
Что нам несешь ты? радость? горе?
Идешь, и тьма в суровом взоре,
Но что за тьмою? пламень? лед?»

Федор Сологуб — человек, вообще-то говоря, мрачный, заключил, однако, свои раздумья оптимистично:

«Все будет так, как мы хотим,
Лишь стоит захотеть безмерно».

Ах, как бы хорошо! И не надо бы гадать! Но я отдаю себе отчет, что ни мое безмерное желание, ни даже безмерное желание М.С.Горбачева вовсе еще не означает, что перестройка в будущем году принесет плоды. А ведь миллионы людей, и не только так называемых «простых», но и весьма образованных, убеждены, что все дело в этом самом желании. Не моем, понятно, а главы государства. Вот оно, едва ли не самое живое наследство «культы личности»!

Между тем необходимый для серьезного прогноза анализ социальных отношений, мешающих нашим желаниям сбыться, не сводится к сопоставлению точек зрения. Он должен выяснить, что за словом. А за ним часто противоположное тому, что выговаривается с чистым сердцем. Многие сегодня говорят: «Мы за реформы, за перестройку. Но сперва надо накормить и одеть народ». А ведь оттого и перестройка, что накормить и одеть народ без радикальных реформ невозможно. Уверяющие, что для этого есть какие-то другие возможности, по существу, внушают нам, что можно обойтись без перестройки. Но скажи им, что они — против перестройки, искренне обидятся.

Распространилась уверенность, что все зло в неправильном распределении, в привилегиях. Привилегии, конечно, надо упразднить, но надеяться за счет этого накормить и одеть народ невозможно. У руководителей страны не только нет колбасы за пазухой, но им неоткуда эту колбасу взять. Можно, да и то при настоятельной активности значительной части народа, лишь изменить наше хозяйственное устройство, чтобы люди успешней колбасу производить, выкармливали больше бычков и свиней, словом, чтобы у производителей появился реальный стимул производить, а не только команда это делать. Колбаса пропала оттого, что секретарь райкома решает за других, а не оттого, что обедает в спецбуфете. Мистифицированное народолюбие, сосредоточенное в спецбуфете, надо демистифицировать, чтобы не смешивать причины и следствия, тогда и прогнозировать станет легче.

В Ленинграде мы то и дело слышим из уст первого секретаря обкома и горкома, что жизнь за последние пять лет ухудшилась. Но мы ведь не иностранцы и провели минувшие годы не в эмиграции, мы хорошо помним, что жизнь начала ухудшаться вскоре после введения войск в Чехословакию, когда под флагом борьбы за социализм были свернуты реформы, предложенные А.Н.Косыгиным еще в 1965 году. Но и признавая ныне неправомочность ввода войск в Прагу, у нас молчат о том, что танки, физически двигавшиеся по Вацлавской площади, по сути-то дела, шли по Красной, давя все, что воскресло в **нашей** стране после 1953 года. Вслед за отказом от реформ, не слишком еще бросаясь в глаза, как раз тогда и начатое сокращение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, и стали расти цены — тогда это называлось изменением артикула и как-то еще. А сегодня нам сообщают, что все дело в последних пяти годах, хотя положение ухудшается не от реформ, а от их отсутствия.

После мартовских выборов, на которых провалились все начальники, в городе официально говорили, что партия потерпела в Ленинграде поражение, хотя на деле партия в Ленинграде как раз победила, поскольку избранными всюду оказались коммунисты. Получалось, что существуют как бы две коммунистические организации: в одной коммунисты Смольного, то есть руководители, занимающие свои посты практически независимо от воли рядовых, а в другой — рядовые коммунисты города. Не зря в ответ на митинг коммунистов Смольного состоялся митинг коммунистов Ленинграда. Внутри единственной у нас партии, как видим, действуют разные общественные силы, и слова «партия» и «социализм» в разных устах имеют разные значения. Но все это еще не осмыслено. Вот почему так много политических промахов даже у самых достойных людей, вот почему трудны жизненно необходимые компромиссы.

Чего же ждать от нового года? Осознания того, что существует, — независимо от нашего сознания. Классов и сословий у нас много больше, чем принято считать. И ни об одном сегодня нельзя сказать, что он главный, а остальные должны его обслуживать. Представление об избранном классе, считать ли таковым партийных дворян или рабочих, мешает разобраться в реальном функционировании общества и взаимодействии его составляющих в ходе общественного производства. Да и по ходу истории их роли в этом взаимодействии меняется.

Газета «Правда» 12 декабря сообщила читателям, что в США не только производительность труда в два с половиной раза выше нашей, но и в два с половиной раза выше доля людей, занятых умственным трудом. Не заметить связи одного с другим, казалось бы, невозможно, но у нас все еще господствует уверенность, что интеллигенция ест народный хлеб. И поа это будет вбиваться людям в головы, изобилия ждать не приходится.

Система феодального социализма, установившая низкие пределы легального заработка на всех уровнях и разрушавшая сообразность качества, продуктивности труда и его оплаты, воспитала нового человека с новым представлением о свободе. Советский человек, лишенный многих других свобод, отстоял для себя свободу работать плохо и даже вовсе не работать, лишь делать вид, что работаешь. Эту свободу при научно-технической революции даже ГУЛаг укротить бессилён. И многим она дорога, пусть даже с ней уровень жизни снижается, лишь бы оставался гарантированным. Этой свободой люди часто дорожат больше, чем другими, которые в наших условиях легче отобрать. Понятно, это мешает

оздоровлению общества, но нужно сознавать, что движет многими людьми, нужно понять, что Нина Андреева выразила не только личные заблуждения по части принципов социализма, но и страх миллионов, что их лишат свободы работать плохо, не станут за плохую работу платить.

Сегодня уже не скромная преподавательница вуза, а вполне ответственные лица демонстрируют в Ленинграде, сколь сильно партия, провозгласившая перестройку пять лет назад, ей сопротивляется. Это проясняет ситуацию.

...Вот я и жду от нового года дальнейшего прояснения реальных социальных отношений, и не только в нашем городе, но и во всей стране. Осознание этой реальности и станет опорой для перестройки на практике.

ГОСУДАРСТВО И ВИОЛОНЧЕЛЬ

Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу возвращено советское гражданство. Это дает надежду снова их услышать и, естественно, радуется. Но сводить все к этому — не пришлось бы говорить об огромном общественном событии. А оно, без преувеличения, огромно. Ведь Вишневская и Ростропович не просили прощения за то, что их унизили, не писали заявлений с просьбой вернуть незаконно отнятое. Конечно, нынче такие заявления часто пишутся для проформы. Власти уже поняли, что изгнание навечно из страны множества талантливых людей было не только незаконно, но и большой глупостью. Но до сего дня это признавалось лишь неофициально. А возвращение гражданства — официальный акт, и возникали деликатные проблемы, преодолеть которые у государства не хватало духа.

Долгое время государство считалось у нас вообще непогрешимым. И официальная позиция состояла в том, что все его деяния для своего времени были правильными. Нынче положение изменилось, и можно обсуждать правомерность почти любых государственных действий. Признаться, я впервые в жизни стал надеяться, что наша страна начнет нормально жить, лишь услышав из уст М.С.Горбачева, что мы не претендуем на обладание истиной в последней инстанции.

Уже было признано, что наше государство может затеять несправедливую войну, или губить безвинную природу, или преследовать целые народы, а отношение к отдельному человеку еще долго оставалось прежним. Конечно, людей выпускали из заключения, но они должны были написать, что обещают впредь вести себя хорошо. Их могли даже реабилитировать, но опять же по их ходатайству. А многие на это не шли, уподобляясь Чернышевскому, сказавшему, что он не может просить прощения за то, что его голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены по-разному.

Ростропович и Вишневская — первые, перед кем государство само признало вину и тем самым признало, что один или два человека бывают правы, а целое государство — неправо. С этого может начаться новая эпоха русской истории, подобного еще не знавшей. Ведь все хорошее, что есть, от великих научных открытий до съедобной буханки хлеба, делают отдельные люди, — понятно, объединяясь, передавая работу друг другу как эстафету. За всяким стоящим делом есть совершивший его конкретный человек. Между тем нас всегда учили, что незаменимых нет, и люди в это верили, верили, что государство само по себе, независимо от

людей, способно сеять хлеб и строить дома. А оно способно лишь помогать или мешать людям, которые это делают. И виолончель сама по себе не заиграет, и голос не зазвучит. Вот и надобно особое уважение к тем, кто вступается за людей.

Я напоминаю об этом потому, что Ростропович и Вишневская лишились гражданства именно за защиту гонимого, за предоставление А.И.Солженицыну убежища в своем доме, за то, что в споре между государством и отдельным человеком рискнули поддержать человека. И мне думается, что теперь гражданство должно быть единым актом возвращено и Солженицыну, и Бродскому, и Синявскому, и всем безвестным людям, которым пришлось покинуть страну под давлением властей или созданных ими обстоятельств. Свое гражданство они получили по рождению, а изменить задним числом место рождения человека не властен даже господь. Понятно, что незаслуженное изгнание не всякий преодолет с одинаковой легкостью. Кто-то и откажется наново принять отнятое, кто-то примет, но останется в двойном гражданстве, кто-то, став советским гражданином, будет и дальше жить за границей, кто-то вернется. Про это не надо спрашивать и вычислять наперед. Восстановить их гражданство надо не столько ради них, сколько ради нашего отечества, чтобы снять с него постыдный грех отторжения своих детей.

Само собой, восстановление гражданства вовсе не означает неопровержимого согласия со всем сказанным и сделанным нашими зарубежными, как, впрочем, и здешними, согражданами. Напротив, оно поможет выяснить разногласия там, где они есть, и продолжить честные споры. В честном споре между согражданами никакой беды нет, напротив, возможность открытого спора и является первым показателем здоровья общества, демократичности его уклада. Беда начинается, когда одни объявляют себя в большей мере гражданами, чем другие, и под умиротворяющие речи от призывов к открытому неравенству или запрету на профессии доходят до прямых угроз национальным и социальным меньшинствам. В такие трудные дни, быть может, важнее всего отстоять равенство граждан и их одинаковое право на гражданство, которого никто не вправе никого лишить.

Это надо усвоить не только ради приближения к подписанным, но долгие годы не выполнявшимся конвенциям, но и чтобы хоть немного приблизиться к обществу, которое сулили Маркс и Ленин, который тоже признавал, что к лучшему обществу ведет отмирание государства. Между тем мы лишь укрепляли государство, а оно требовало от человека покорно следовать за ним. Возвращение гражданства Вишневской и Ростроповичу — едва ли не первый на моей памяти добровольный официальный шаг государства к человеку. Согласимся, — это шаг в верном направлении.

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

Не успев задать этот вопрос, с каждым днем все более насущный, со всех сторон слышу: «Делать!», «Не болтать, а делать!», «Каждому на своем месте!». И все думаю, с чего это чеховский профессор Серебряков с его «надо, господа, дело делать!» стал главным положительным героем нашей эпохи, когда страна пожирает то, что под такие присказки сеяла. Выходит, и теперь «делать», то есть выполнять указания, даже самые нелепые, легче, чем думать своим умом.

Утраты наши велики и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в науке, в искусстве, в природе, но едва ли не больше всего пострадало общественное сознание. Куда устремляется мысль, пробираясь к корням бедствия? Главным образом, за следователями Гдяном и Ивановым, бесстрашно обвинившими члена политбюро и секретаря ЦК во взяточничестве и пособничестве преступникам. Да и по другим поводам только и слышишь: «Мафия!». В ответ прокурор Сухарев, вопреки просьбе Съезда народных депутатов подождать с публикациями до заключений его комиссии, торопится закрывать дела и публиковать опровержения, отчего над Гдяном и Ивановым уже нависло исключение из партии.

Но отвлечемся от жаркой полемики и ограничимся бесспорным, достоверно известным. Тогда окажется, что взяточника и казнокрада Усманходжаева, правую руку взяточника и казнокрада Рашидова, Егор Кузьмич Лигачев посадил на место покойного Рашидова, сам будучи лично безупречен, ни копейки не прибав к рукам. Я готов допустить, что так и было. Но если даже он назначил его не за взятку, разве это хорошо?

Вот в чем суть наших споров! Если беда в том, что на важных постах оказались казнокрады, Гдян с Ивановым этих казнокрадов, этих — как бишь их прежде звали? — вредителей, выловят, и можно будет уверять, что бдительность возросла и порядок налаживается. Но если воруют под носом у принципиального коммуниста, корысти не ведающего, навести порядок не так просто, ибо для начала придется признать: что-то неладное в самом нашем понимании порядка. Как тут не вспомнить, что М.А. Суслов был человеком бескорыстным и даже аскетичным, что Л. З. Мехлис был в быту до смешного неприхотлив, да и Н. И. Ежов не из казнокрадов, а зла ведь сотворил — выше головы!

Поэтому и нелепо объяснять беды страны тем, что ее руководство коррумпировано. Так это или не так, корень зла в другом — в том, что никто из руководителей любого уровня, не говоря о высшем, фактически не несет адекватной поступкам ответственности за свои действия, не ощущает на себе последствий провала в хозяйствовании или в политике и, стало быть, может поступать, как вздумает. А ведь расплату за ошибки политика или хозяйственника должна определять не воля вышестоящего начальства и не бдительность отважных следователей, она должна наступать автоматически, обернувшись утратой доверия избирателей и разорением, падением привычных доходов. Не берусь судить, хорош или дурен Егор Кузьмич, но с него и не спрашивают за то, что Усманходжаев обрел власть. Спорят лишь — за взятку или даром, если даром, все вроде нормально. Но как раз такая безответственность и пагубна для страны.

Вроде бы ясно, что этот порядок надо менять. На то и перестройка. Но, опять же, говорят, что менять надо так, чтобы не нарушить закон и прежде всего, конституцию. А брежневская конституция, за вычетом немногих частных, хуже сталинской. Та имела, в сущности, один серьезный недостаток — она не действовала. Но, например, статьи 6-й о руководящей роли коммунистической партии, не зависящей от исхода выборов, в ней не было. Сталин по образованию был все же священником, а не мелиоратором и не металлургом и понимал, что не обо всем, что делается, говорят с амвона. И хотя, конечно, при Сталине жить было страшней, чем при Брежневе, режиссерское искусство в создании показухи было на более высоком уровне. Сталин был достойным соперником своих выдающихся современников Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова,

Таирова. Многие доселе сталинское благолепие забыть не могут. Оно им заслонило разорение деревни, расстрелы, лагеря и выселения народов.

Брежнев был откровенней, но и при нем режиссерское искусство не вовсе оскудело, — все-таки рядом работали Товстоногов, Эфрос, Любимов. Нынче с режиссурой хуже, и откровенность пошла дальше. Вовсю, например, бранят прибалтов за желание выйти из СССР. Проблема непростая — ведь стремление к выходу у большинства подогревается нежеланием центра разрешить насущные вопросы, вполне разрешимые в рамках свободной федерации народов. Именно ради сохранения федерации и надо бы максимально удовлетворить стремление республик, не только союзных, но и автономных, самим решать свои дела. Между тем, обсуждение вопроса о выходе из Союза изображают чуть ли не идеологической диверсией, хотя статья 72 конституции гласит: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Так кто же все-таки у нас не уважает конституцию: тот ли, кто взвешивает «за» и «против» того, чтобы воспользоваться конституционным правом, или тот, кто цинично дает понять, что нечего принимать конституцию всерьез, не затем она писана?

Примечательно, что по Прибалтике, где острые дискуссии сохраняют все же мирный характер, вышло заявление ЦК, а призывы к выходу из СССР в Азербайджане, где льется кровь, и одна союзная республика устраивает блокаду другой, к тому же только что перенесшей чудовищную трагедию, никаких заявлений ЦК не вызывают. Блокада, впрочем, и сама многое прояснила. Грузы не пропускают ни в Армению, ни в Карабах, — этим Азербайджан наглядно подтверждает их единство. Так пора бы Верховному совету СССР хоть юридически оговорить союзным законом право Карабаха не выходить из СССР, если из него выйдет Азербайджан.

Безответственная власть у нас все еще популярней демократической, отвечающей перед избирателями. Критикуя состояние страны, нынче смело бранят Ленина и Маркса, социализм и коммунизм. Одновременно объявляют, что последний царь, не говоря о предшествовавших, ни в чем не виноват перед народом, или что национальная рознь началась лишь при Сталине, а при царе ничего такого не было. Среди положительных героев — уже и Николай Александрович Романов, и Василий Витальевич Шульгин, и Лавр Георгиевич Корнилов, и Антон Иванович Деникин, но только не Плеханов, не Мартов и уж подавно не Роза Люксембург. Рассуждают об альтернативности, но единственной альтернативой сталинскому самодержавию под красным флагом оказывается самодержавие под трехцветным или андреевским флагом. И никто не желает знать, что принципиальной разницы меж ними нет.

Поставив после смерти Сталина в центре Москвы памятник Карлу Марксу (хотя и поныне не рискуя издать полное собрание его сочинений на русском языке), мы все не можем признать, что открытиями Маркса началось не одно, а два могучих общественных движения — социал-демократическое и коммунистическое. Первое формировалось под непосредственным влиянием Маркса и Энгельса и во многом ближайшими к ним людьми: В. Либкнехтом, А. Бебелем, К. Каутским. Коммунисты в нашем веке оказали решающее влияние на жизнь нашей страны, Китая, Камбоджи, Вьетнама, Румынии, Албании, Эфиопии, а социал-демократы сыграли огромную роль в переменах, произошедших в Западной Европе.

Когда-то в программах тех и других было много общего, и те и другие выступали от имени рабочего класса, создавали даже единые партии. Казалось, споры идут лишь о методах, разную эффективность которых наш век продемонстрировал. А сегодня социал-демократов у нас ненавидят больше, чем царя. Но как раз ориентация на социал-демократические ценности помогла бы нашей стране на деле преодолеть сталинское наследие. Я говорю именно о признании ценностей, а не о немедленном возрождении социал-демократической партии. Партии не рождаются по прихоти, и многопартийная система, хоть, по-моему, и предпочтительней, без органического вызревания может оказаться столь же формальной, как однопартийная, при которой единственная партия перестает быть союзом единомышленников, и ее на равных правах олицетворяют Нина Андреева и Татьяна Заславская.

Что такое социализм? Нам все твердят, что это строй, при котором общество всецело отождествляется с всевластным государством, граждане которого — его винтики. Но тогда социализм существовал уже в древнем Египте. На деле социализм состоит в принятии обществом на себя обязанностей перед гражданами. Система наемного труда, не имея социальных гарантий, испытывает жестокие кризисы. Капиталисты, а точнее, боровшиеся против них социал-демократы, давно это поняли и начали свою перестройку. Многие в ней весьма преуспели.

Стань обязанности общества перед гражданами всеобъемлющими, оно, по мысли Маркса, было бы коммунистическим и жило бы по принципу «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Понятно, это лишь идеальное построение, образ общества, имеющего обязанности, уважающего потребности людей, не третирующего их «потребительство». В этом идеале я ничего худого не вижу. Счесть его причиной создания Гулага нелепо. Ширмой для Гулага он, конечно, стал, но никакая ширма не смогла прикрыть, что на деле-то все наоборот: Гулаг и, вообще, командная система как образ, отражают общество внеэкономических распоряжений, ничем не ограниченных, где у граждан — тяжелейшие обязанности, а прав никаких или самые жалкие, за которые всякий раз надо бить поклоны или бороться, — в Ленинграде без паспорта и талон на мыло не получить.

Объявив себя единственно социалистическим, советское общество на практике стало воинственно анти-социалистическим. Если это не осознать и открыто не признать, не отделить производство от государства и не избавить граждан от роли солдат его трудовой армии, никаких перемен к лучшему не будет. Наше государство, как всеобщий работодатель, не в силах обособить свои социалистические обязанности от своей монопольной хозяйственной деятельности, которая их упраздняет. Оттого и зарплата у нас — лишь род пособия, не слишком связанного с трудом и продуктивностью. Не даром у работающего пенсионера пенсию отбирают. Наше натуральное, по существу, хозяйство, прикрываясь фальшивыми ценами и зарплатами, силится выглядеть плановым, оставаясь лишь директивным. Инструкциями оно подменяет объективные экономические законы, но рано или поздно бьет час, когда они берут свое.

Министр финансов В. Павлов отверг требование шахтеров повысить цену на уголь, у нас безмерно заниженную, и заявил, что тогда придется повысить цену и на электроэнергию и т. д. Разумеется, придется, но дело не за тем, чтобы директивно повысить (или понизить) цены, а за тем,

чтобы они обретали реальное соотношение со стоимостью, со спросом и предложением. Государство должно помочь в оплате электричества, если оно дорого, но снижая ради этого самую цену, оно уничтожает стимул добывать уголь. Однако даже наш новый, умный, образованный и, в отличие от прежнего, все прекрасно понимающий министр финансов эту простую связь не берет в расчет. Широко обсуждается, можно ли перепрыгнуть пропасть в два прыжка, а еще бы важнее понять, что пропасть нельзя перепрыгнуть зажмурившись.

Государству надо отказаться от производственной деятельности за вычетом, может быть, очень немногих чрезвычайных производств, и передать ее трудовым коллективам и индивидуальным производителям. Их производства могут быть арендными, кооперативными, акционерными и даже частными, важно, чтобы их деятельность протекала в свободном состязании на сугубо стоимостных началах, чтобы рабочие и крестьяне, инженеры и агрономы, врачи и деятели искусства зарабатывали себе на жизнь сами, не на службе у государства, а предоставляя обществу необходимые товары и услуги, и сообразно с доходами выплачивали государству, центральным и местным властям, прогрессивный налог.

Экономическая демократия, в отличие от государственной монополии, позволит видеть подлинные возможности страны и народа и максимально их использовать им на благо. А на долю государства, помимо управления, обороны и прочих дел, осуществляемых бюджетными учреждениями, останется социальная забота о гражданах, которой им сегодня так недостает, то есть обязанность субсидировать признанные законом расходы граждан на образование и здравоохранение (субсидии эти должны быть индивидуальными, с правом выбора школы и врача, а не обезличенными, как теперь), на пенсионное обеспечение, на пособия по безработице и регулярную помощь неимущим. Лишь тогда мы будем вправе сказать, что начали переходить к социализму и демократии. Можно примириться с тем, что великая социалистическая держава отстает от великой капиталистической в посещении Луны, но нельзя примириться с тем, что она отстает в уровне социальных гарантий, это ведь значит отставать в построении социализма. Перемены трудны и потому, что не только хозяйство, но и идеология обрела у нас антисоциалистический характер. Названия перепутаны, что гениально запечатлел величайший социалист двадцатого века Джордж Оруэлл: «Война это мир, свобода это рабство, невежество это сила». Антисоциалистическая идеология, глубоко враждебная и Марксу и Ленину, именуется у нас «марксистско-ленинской», и антисоциалистическую пропаганду ведут штатные пропагандисты партийной идеологии, для которой реальность не существенна.

Один из таких пропагандистов, А. З. Романенко, к примеру, объявил, что евреи понесли в Отечественную войну меньше (!) потерь, чем другие народы. Он ссылается на то, что в 1944 году в трехстах обследованных стрелковых дивизиях евреи составляли лишь 1,28% всех военнослужащих, тогда как от всего населения страны составляли перед войной 1,5%. Известного всему миру массового уничтожения евреев немецкой армией, в результате которого к 1944 году они составляли в нашей стране менее одного процента населения, для А. З. Романенко как бы не существовало.

Нельзя, однако, признать эти кощунственные упражнения в счете за сугубо личные. Выступая на митинге, переданном по телевидению, А. З. Романенко объявил, что его книга одобрена ОК КПСС. Прошло уже

немало времени, но ни заведующий идеологическим отделом А. В. Воронцов, ни секретарь по идеологии Ю. А. Денисов не вступились за честь обкома. Выходит, А. З. Романенко, говоря об одобрении своей книги, не солгал, выходит, партийным руководителям Ленинграда не стыдно быть его единомышленниками. И то сказать, они не первые, Ленинград давно уже стал оплотом антисоциалистической реакции.

Что же в этой ситуации делать? Говорят, нужна новая, четвертая революция. Но смысл революции в освобождении того, что уже сложилось, созрело, чему прежние порядки мешают плодотворно развиваться. Маркс говорил, что «насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». За эту фразу его часто бранят, но не видят, что Маркс звал повивальную бабку лишь к беременному обществу. У него и в мыслях не было, что, если очень хочется, общество изнасиловать, родится что-то хорошее. К тому, что люди верят, будто от насилия прибавится мыла, и многие наши сограждане готовы лично стать палачами, Маркс, хоть и не все его идеи -- истина в последней инстанции, отношения не имеет. Сегодня у нас еще нет самостоятельных экономических структур, и устранять надлежит преграды не к их развитию, а только еще к их возникновению, с чем разумная реформа справляется лучше революции. Важно лишь не слишком полагаться на добрую волю верховной власти, которой и не под силу совершить «революцию сверху» без опережающего сознания внизу.

Ныне в моде словцо «экстремизм». Так именуют мирные демонстрации и собрания в поддержку реформ. На деле экстремизм — это насилие и призывы к нему, то есть саперные лопатки, блокада соседей и сочинения Романенко. Понятия опять перевернуты. Консервативные экстремисты выдают себя за сторонников порядка, который жаждут поскорей навести железом и кровью — и объявляют экстремистами демократов, стоящих как раз за мирный порядок, за бескровные дискуссии и честное голосование.

Для защиты привычных привилегий у консерваторов нет уже средств, кроме насилия, вот они и вводят в народное сознание готовность допустить погром — сегодня против армян и западных украинцев, завтра против евреев, послезавтра против русских, — стоит лишь начать!

Величайший пророк ненасилия Лев Толстой был нашим земляком, но нет пророка в своем отечестве. Церковь его осудила и отлучила, и у нас по-прежнему господствует принцип «сила есть, ума не надо!» Однако последователи Толстого Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг без насилия ошутимо изменили жизнь в своих странах, и нам стоит последовать их примеру. Вот она, воистину великая русская идея, высоко оцененная в мире, но не в собственной стране.

Предстоящие выборы открывают широкое поле для продвижения общественного сознания. Научно-техническую революцию не заменить овладением одной-двумя машинами или ракетами, которые можно потом в изобилии штамповать, чтобы, подобно Брежневу, тешить себя паритетом в способности уничтожать. Стране необходим паритет в способности созидать, которым она бездумно жертвовала первому. Но открывающая дорогу к такому паритету научно-техническая революция неосуществима без коренных перемен в хозяйственном и политическом укладе, без демократизации, без отказа от насилия как нормы.

Каждый, кто насильничает, кто подымает руку на другого, должен сегодня знать, что он подымает руку и на свою страну, и на будущее своих детей. Не стоит тешить себя иллюзией, что опять как-нибудь обойдется. Дело серьезное. И на вопрос «Так что же нам делать?» я, вопреки инерции, отвечаю: учиться думать и разговаривать; не самозабвенно глотать, а взвешивать чужие мнения и приказы, и снова думать самим! Иначе все вернется на круги своя.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ВОСКРЕСЕНИЕ **Ассоциация поддержания власти**

Мы долго жили в полной уверенности, что всем ясно, что к чему, только сказать не дают. Евтушенко писал:

Ученый, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
Но у него была семья.

Нынче все заговорили, и выяснилось, что «сверстник Галилея» и не подозревает, «что вертится земля». Но мало дать слово Галилеям и Сахаровым. Величайшие умы не побоят невежество в одиночку, нужны и другие ученые, пусть и «глупее», были бы честны, и впрямь до поры не зная, что земля вертится, могли воспринять доказательства. Истина наперед неизвестна, и наука нуждается в демократии. Общественная наука — не исключение. Когда же, решив, что в демократии нет нужды, поскольку намерения власти — благие, насаждают единомыслие, наука обращается хорошо если в необременительную религию, а то и просто в орудие массового гипноза. Чумак и Кашпировский вошли в общественную жизнь и делают свои пассы, но легче жить не становится.

Не так уж велика разница меж теми, кто требует наделить Горбачева абсолютной властью, и теми, кто бранит его за нерешительность. И те и другие верят, что кризис можно разрешить директивно, и указывают, что Горбачев почти всегда добивается желаемого и на съезде, и в Верховном совете. Удивительным образом они не видят, что Горбачев выражает лишь те свои желания, которые может осуществить, поскольку политика — искусство возможного. Сталин, конечно, в полной мере отвечал за Жданова, ведь Жданов проявлял самостоятельность, не выходя за предел указаний великого вождя. Но отвечает ли Горбачев за Гидаспова, не столь понятно.

Этого не понять, не осознав трансформаций, пережитых партией, к которой оба принадлежат. Русский марксизм, обращавшийся к рабочему классу, возник в крестьянской по преимуществу стране, где массы и думать не думали о марксовом постбуржуазном социализме, а Ленин с партией особого типа взялся привести народ к такому идеалу. Власть они взяли, но первые же годы показали, что вопрос о праве решать за других не только моральный. Легкость революционной победы побудила партию, прежде не торопившуюся, немедленно приступить к практическому внедрению военного коммунизма, потерпевшего, однако, крах. Это побудило Ленина к коренному пересмотру всей своей точки зрения на социализм. Однако он умер, пересмотр не осуществив, и военный коммунизм, а точнее сказать, феодальный социализм под водительством

Сталина восторжествовал. Политические методы общественной жизни, едва начавшие утверждаться в России в конце века, в СССР были вновь вытеснены насильственными. Об этом ныне пишут все, кому не лень, но нигде не прочесть, что при этом произошло с самой ленинской партией, а не просто с отдельными ее деятелями. А она в своем большинстве была расстреляна. И как ни относиться к ее программам и методам, нельзя не признать, что это партия расстрелянных, что ее не стало, что борцы за ее идеалы разделили участь перед тем уничтоженных ею других российских социалистов, и меньшевиков, и эсеров и прочих.

Под тем же именем, лишь позднее измененным, продолжала действовать другая, по существу, организация, которую и партией-то в общепринятом смысле называть странно. Это была скорее ассоциация поддержания власти Сталина. Не зря она стала огромной. Не зря занятие сколько-нибудь важных должностей в промышленности, сельском хозяйстве, науке, просвещении, искусстве требовало членства в партии. Не зря съезды партии не стало нужды собирать — между 1934-м и 1956-м — за 22 года — их созывали лишь дважды. Потому, что не партия руководила властью, а власть партией.

Смысл нынешнего кризиса прежде всего в том, что нынешний порядок стал тормозом в развитии производства. Как некогда двинувшая производство предпринимательская деятельность потребовала от общества демократических гарантий, так ныне научная и научно-техническая деятельность требуют еще большей демократии, а мы ведь не достигли ее уровня, необходимого на предыдущем этапе. Дело не в том, что бобовиковы и калашниковы плохие люди, злоупотребляющие привилегиями. Будь даже они честны и скромны, покуда управляющие независимы от управляемых, неизбежно ускоряющееся отставание от мирового уровня.

Не случайно даже и голосовавшие за сохранение шестой статьи, гарантирующей власть партии, отнюдь не однородны. На XIX партконференции Горбачев предложил сосредоточить власть в советских органах, предоставить партии возможность рекомендовать своих лидеров на руководящие посты в советах, оставляя, однако, последнее слово за избирателем. Но уже различимо стремление не только жить по-прежнему, но обойтись и без демократической видимости.

Первый секретарь Ленинградского обкома Гидаспов отказался баллотироваться и в областной и в городской советы. Как бы он ни объяснял свои решения, по объективному смыслу получается, что он намерен нами править, не получив вотума доверия в городе и области.

И ведь не он один требует власти просто в силу принадлежности к ассоциации поддержания власти — уже, понятно, не сталинской, а собственной. Это и есть принципы, которыми не хотят поступиться. Требуя прямых выборов делегатов на партийный съезд и в руководство партии, партийные комитеты отнюдь не торопятся провести подобные выборы у себя в городе и области. А ведь такие выборы покончили бы с порядком, при котором две сотни избранных в свое время без альтернативы на партконференциях членов обкома и горкома распределяют меж собой руководящие посты. Выборы изменили бы облик партийного руководства. А главное, пойдя на такие выборы, ассоциация поддержания власти стала бы вновь превращаться в политическую партию, вынужденную так или иначе усваивать интересы граждан.

Партия не зря всегда боролась с безыдейностью. Этим прикрывалась реальная безыдейность значительной части ее членов, их равнодушие к любым идеям, кроме идеи продвижения по службе. До того в чем Маркс и в чем Ленин были правы, а в чем не правы, множеству членов партии не было дела. Люди, вступавшие в партию чистосердечно, влекомые ее лозунгами, особенно во время войны, рано или поздно это обнаруживали. Вот партия и оказалась — вопреки недавним заверениям в полном единстве и верности красному флагу — вместилищем весьма различных идейных тенденций. Кажется, что противостоят лишь консервативная и перестроечная, но на деле ни та, ни другая в полной мере еще не определились и не рискнули разорвать взаимную связь.

Все, однако, не так просто. Наши консерваторы даже и не консерваторы, строго говоря, а реакционеры. Консерватором можно назвать лишь того, кто жаждет сохранить по крайней мере жизнеспособный, пусть и не самый лучший порядок. А сталинско-брежневский порядок, даже отвлекаясь от того, что его придется и дальше скреплять кровью, не может уже принести ни благополучия гражданам, ни научно-технического прогресса стране. Не зря за ним просматривается новая тенденция. Тайная симпатия Сталина к национал-социализму, которую мы опознаем в основном по косвенным признакам, нашла сегодня продолжение в организациях с национал-социалистическими программами. У нас в городе они пользуются благожелательной поддержкой партийного руководства. А попытки хотя бы ввести их в рамки существующего законодательства и даже просто указать на явное нарушение ими закона, пресекаются, «чтобы не разжигать страсти». Как не увидеть связи между этим движением и желанием партийного руководства править, минуя даже самые скромные демократические процедуры.

Внутри партии обозначилось также течение, называющее себя радикальным. Именно оно чаще всего бросает Горбачеву упрек в нерешительности. Оно даже провозгласило себя оппозицией. Однако воистину радикальной программы ни оппозиция, ни межрегиональная группа в целом так и не предложили. Ирония в том, что и на этом фланге «крайние» — и Ю.Афанасьев, и Г.Попов и даже во многом Б.Ельцин — если отвлечься от личных моментов, выступают как самые твердые сторонники программы Горбачева, расходящиеся с ним не столько в программных, сколько в тактических вопросах, опять, однако, оказывающихся решающими. Горбачев, еще возражая против обсуждения вопроса о шестой статье на съезде, дал понять, что в самом скором времени выступит за ее отмену, а за отказ от прямого партийного управления и за превращение советов в реальные органы власти он как раз первым и выступил. Приходится с сожалением признать, что все ширящийся протест народных масс, проявившийся в шахтерских забастовках, выплеснувшийся на улицу в Волгограде и других местах, оппозиция не сумела своевременно перевести на политический язык, который вынудил бы консерваторов к отступлению.

При всем различии ситуаций, мы вновь, как в 1917 году, страдаем от слабости демократических сил, и споры на практике часто идут о том, какая из антидемократических возьмет верх — прямое управление, опирающееся на штурмовые отряды, или армия опять получит приказ стрелять в собственный народ. Обе эти тенденции, хоть и в разных комбинациях, уже прорезались. А ведь и в 1917 своевременное

проведение выборов и реформ могло изменить ход событий. «Четвертая власть» (партийная) должна раз и навсегда отказаться от претензий править в обход трех общепринятых (законодательной, исполнительной и судебной) и честно бороться за проведение на свободных состязательных выборах своих депутатов в представительные органы. Авторитет партии, который нынче оплакивают, упал не в пору перестройки, а тогда, когда она стала действовать, игнорируя мнение миллионов собственных членов, а страх перед ассоциацией поддержания беспощадной власти, который все эти годы существовал и далеко не у всех еще прошел, странно именовать «авторитетом». Падение такого «авторитета» не только не губительно, но, в той мере, в какой партия сама от него отступится, лишь и дает ей надежду обрести доверие.

Так же и «пятая», самая главная власть, хозяйственная перестанет сопротивляться подлинным реформам лишь лишившись монопольных прерогатив. Лишь тогда хозяйство в целом и каждый труженик узнают подлинную цену тому, что они создают, приобретают, тратят, теряют и уничтожают, и смогут жить по средствам, сводя концы с концами, а это — основа государственного здоровья и стимул работать лучше, чтобы зарабатывать больше и жить успешней.

Сегодня в неудачах реформ больше всего винят их инициатора Горбачева. Не то, что он безгрешен, но, стоит оборотиться и на себя? Это нам, а не Горбачеву не хватает решительности, чтобы, как волгоградцы, добиться отставки тех, кто тормозит демократические перемены.

Осознание необходимости в перестройке еще не проясняло, какие силы способны ее совершить. Слишком живуча была вера в аппаратную «революцию сверху». Мощь ненасильственного волеизъявления народа начала проступать лишь на пятом году. Явись она раньше и отчетливей, думается, и Горбачев действовал бы смелей, и, главное, демократические преобразования стали бы в самом деле радикальными и прочными.

ГАРАНТИЯ НАДЕЖДЫ

И чего это вдруг понадобился нашей печати закон? Она ведь искони сама была нам законом. Говорила от имени государства, партии, народа, и заметка в сегодняшней «Правде» долгие годы значила больше, чем конституция СССР или программа КПСС. На законы, принятые вчера, не оглядывались. Если они стесняли, говорили: «А мы тот закон переменим!». И меняли.

Решившись создать правовое, то есть связанное собственными законами государство, мы неожиданно обнаружили, что новые законы не действуют. Причину ищут в недостатке власти, чтобы проводить их в жизнь, хотя чего-чего, а власти кругом по-прежнему тьма. Но законы не действуют потому, что и стоящие у власти, и мы, имеющие ныне возможность через избирательные урны как-то повлиять на их состав, все еще не знаем различия меж законом и отражающей волю влиятельного лица газетной заметкой, не говоря о его телефонном звонке. Оттого такой переполох поныне вызывает публичное звучание мнения сугубо неофициального, субъективного, да часто и в самом деле не бесспорного.

Нынче неофициальные мнения легче проникают в печать, и рядом с ними официальные тоже обнаруживают свою субъективность и неполноту своей правильности. Человек, привыкший выполнять предписанное или

хотя бы делать вид, что выполняет, теряет ориентиры. Но средства массовой информации еще по преимуществу информируют о мнениях, складывающихся наверху, и ново, главным образом, то, что и наверху мнения уже не единообразны. Расширение информации об этом, конечно, отрадно. Новую платформу КПСС на пленуме ЦК действительно обсуждали, высказывались разные суждения, шли споры, как лучше добиваться общей цели, да и о самой цели произносились не только стандартные фразы. Члены ЦК КПСС обрели свободу слова, и это первый шаг к свободе слова для нас, рядовых и беспартийных. На это и надобен закон о печати. О его достоинствах и недостатках можно судить лишь в сопоставлении с его великой задачей.

Теоретически ее исчерпывает уже первая статья, признающая право на свободное выражение мнений, получение и распространение общественно значимой информации и провозглашающая, что «цензура массовой информации не допускается». Смущает, правда, оговорка, что информация должна быть непременно «общественно значимой», то есть предполагается некто, решающий, что значимо, а что нет, хоть наперед никто не знает, какая малость окажется общественно значимой. Хотелось бы также, чтобы закон говорил не только о получении и распространении, но и прямо об обмене информацией. Суть дела ведь именно в обмене, в том, чтобы, не довольствуясь «спуском» информации сверху, перейти к горизонтальному обмену сведениями и мнениями. В ходе обмена и формируется воистину общественное мнение. Право голоса необходимо не только у избирательной урны, но еще до того, в общественном диалоге через средства информации. Без равноправного диалога, без обмена мнениями демократии не бывает.

Увы, опубликованный проект реальный обмен информацией не обеспечил. Прежде всего, не обеспечил его материальную почву. Справедливо предоставляя не только организациям и объединениям граждан, но и каждому гражданину право на учреждение средств массовой информации, закон фактически не гарантирует организациям и объединениям, не говоря уже об отдельных гражданах, приобретения типографских машин, бумаги, теле- и радиовещательных устройств, использования каналов распространения печати и т. п. А куда материальные возможности информации целиком остаются в руках государства и одной, пусть, по конституции, уже не руководящей, партии, публичный обмен информацией часто остается номинальным. Возможна лишь большая или меньшая либерализация существующих средств массовой информации, как раз и происшедшая за последние годы.

Но и пути либерализации проектом закона расширены не слишком. В предложенной иерархии учредителя, издателя, редактора и, на низшей ступени, журналиста нет места главному субъекту обмена информацией — гражданину, выступающему не только в качестве читателя, но и в качестве автора. Иерархия к тому же громоздка. Так ли уж надобен сверх издателя еще учредитель, наделенный дополнительными правами торможения? И так ли уж надобно кодифицированное право издателя тормозить работу редакции? Разве наряду с редакциями, выражающими позиции партий и официальных ведомств, не могут существовать выражающие лишь собственные позиции?

Да и права журналиста сформулированы двусмысленно. Предоставляя ему статьей 34 право «излагать свои личные суждения и оценки в

материалах, предназначенных для массового распространения», закон в следующей статье оговаривает, что журналист обязан «осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым он состоит в трудовых отношениях». Защита журналиста, если «личные суждения и оценки» разойдутся с «программой», предусмотрена лишь на случай искажения редактурой написанного. Но нигде не оговорено, как быть журналисту, если редакция, не посягая на его текст, просто отказывает ему в праве изложить собственное суждение. А ведь личное мнение журналиста читателю часто как раз важнее всего.

Особенно наглядно проступает суть проекта в откровенном игнорировании автора, то есть частного лица, не служащего ни в конторе учредителя, ни в издательстве, ни в редакции. Читая проект, я все думал, станет ли мне, рядовому литератору, легче опубликовать свои стихи, составляющие главное дело моей жизни? Смогу ли я опубликовать выполненные по собственному почину переводы «Книги песен» Гейне, или «Страданий молодого Вертера» Гете, или «Юлия Цезаря» Шекспира? Смогу ли опубликовать сборник своих статей о балете за треть века? Смогу ли опубликовать свои социологические и политэкономические размышления? И ведь я хочу лишь представить свои работы на суд читателя, не претендуя на гонорар, если издание не окупится. Именно так понимаемая свобода печати для автора предоставляет читателю свободу самому выбирать себе чтение, а не наперед ограничиваться отобранным для него учредителями, издателями и редакторами, часто еще и с многолетними отсрочками.

Но отношение к автору кодифицировано статьей 29: «Никто не вправе обязать средство массовой информации опубликовать отклоненный редакцией материал». Покуда речь идет о конкретной редакции, это вполне справедливо. Никто не вправе обязать «Огонек» или «Наш современник» печатать мои статьи или «Новый мир» — мои стихи. И у В. Коротича, и у С. Куняева, и у С. Залыгина есть священное право спустить меня с лестницы. (Понятно, фигурально, а не буквально.) Однако, железно охраняя это их неоспоримое право и забывая о моем и миллионов таких, как я, праве обратиться к согражданам, проект закона следует старому принципу «спуска» информации вместо обмена ею.

В странах с рыночным хозяйством такой проблемы нет. Каждый может за свой счет издать книгу и даже купить страницу газеты для публикации политических лозунгов. Платность, разумеется, ограничивает свободу художника, не нашедшего издателей и меценатов. Но суммы, требуемые для первого выхода к читателю, в цивилизованных странах по средствам человеку со средним заработком. У нас авторские издания оказались весьма дорогостоящими, а издательский процесс все равно длится непомерно долго, да уже и очереди выросли. Но проект закона о печати выше этого. Вот он фактически и превращает регистрацию издания, которая должна сводиться к уведомлению властей, в разрешение на издание, как правило, еще и саботируемое. Но если судьбы литературы и искусства не определяются вкусами читателей, зрителей, слушателей, они неизбежно определяются вкусами выдающих разрешения.

Без свободного обмена информацией трудно сознать не только художественные, но и общественные интересы. Правда, укутанная в позволения, обращается в полуправду, четвертьправду, зарастает ложью и уже не видна. Общественное сознание, складывающееся в затхлом

воздухе недомолвок и намеков, не пробивается к истине, и мы видим потом, как от ее недостачи нелепо погибают люди. Чтобы осудить погром в Сумгаите, у азербайджанской демократической общественности не нашлось слов, а ведь гуманность со стороны, считающейся враждебной, лучше всего служит возникновению хоть какого-то доверия. Но вот поверх невинной армянской крови пролилась уже и невинная азербайджанская кровь, а все не осознана общность судьбы двух народов. Между тем, азербайджанец, вставший на защиту сумгаитских армян, тем самым и азербайджанцев, позднее погибших в Баку, наперед защитил бы от тех, кто и армян не спас, и погромщиков не покарал. Призыв не попирайте слабого — не абстракция: всякий слаб перед более сильным. Принимая свою силу за право, люди и себя обрекают на несправие. Слабым бы не спорить, кто из них сильнее, а вместе противостоять любому применению силы, не только чужому, но и своему. Это надо осознать и всем миром призадуматься, что с нами происходит.

Недавно по телевидению американский студент спрашивал нашего об отношении советских людей к свободе, а наш отвечал, что сперва надо наладить экономику. Та нехитрая — и притом как раз марксистская — мысль, что без расширения свободы современная экономика недееспособна, даже студенту отнюдь не худшего в стране Ленинградского финансово-экономического института оказалась чуждой, хоть опыт человечества давно показал, что где свобода, там и колбаса. Сочиняя закон о печати, надо бы исходить из того, что хозяйство наладится, только если мы научимся объективности, обретем способность видеть хоть на два шага вперед.

Нынче легко предлагают готовые рецепты жизни, твердя, что «в начале было слово». Вот уж воистину нет ничего страшней, чем фанатизм новообращенных. Это в Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово», но ведь покуда Бог открыл Моисею на горе Синайской свои десять заповедей, пришлось пережить и всемирный потоп, и египетский плен, и сорок лет плутать по пустыне, а сколько еще было всякого, покамест явился Христос, про которого как раз и сказано у Иоанна: «И Слово было Бог». Даже религия, по которой «Бог правду видит», сообразуется с тем, что он ее «не скоро скажет». Тем более подобает сознавать это свободомыслящим и не льститься на готовенькое, на то, что кто-то укажет, как, наконец, стать праведниками и жить по-человечески.

Но мы то вручаем божественные полномочия Леониду Ивановичу Абалкину, то его же браним за то, что ведет «не туда», хоть он свои намерения не скрывал. Чтобы обществу обрести мало-мальски верное слово, надо регулярно и спокойно разбираться на страницах газет и экранах телевизоров во всем, что возникает в человеческих головах, — и в кажущемся мудрым, и в кажущемся вздорным, глядишь, и выяснится, как оно на самом деле. Публичный поиск неведомых истин не затем надобен, чтобы ликвидировать инакомыслящих, а для прояснения мысли. Только вглядываясь в ее ход, убеждаясь в ее сообразности с реальностью, люди верят своим пророкам и в трудные часы. На наших глазах Мазовецкий хотя бы на время успокоил бурлившую прежде от малейшего подскока цен Польшу и получил возможность что-то всерьез изменить. Признаем же и мы, что не только трудные экономические обстоятельства толкают к политическим переменам, но и реальные политические перемены способствуют экономическому оздоровлению. А мы все хотим наладить

хозяйство, меняя лишь аппаратные выкладки и на каждом шагу спохватываясь, а не слишком ли мы политизировались, не слишком ли разговорились? Вот лучше и не становится.

Стремление к демократии растет, но еще энергичней нарастает контратака. Телевидение и газеты тщатся уже порой умалить даже ни с чем не сопоставимую роль А. Д. Сахарова в повороте нашей страны к рациональному осмыслению происходящего. Конечно, налагать на это запреты не стоит, поскольку в обществе есть и такое стремление. Достаточно демонстрировать ошибки и заблуждения нападающих, их идеологическую предвзятость, и правда возьмет свое. Но вот с экрана телевизора преуспевающий московский литератор цинично заявляет, что Сахарову в его многолетней правозащитной деятельности «ничто не угрожало», а ни его «оппонент», вроде бы говоривший об академике уважительно, ни ведущий не считают нужным хотя бы напомнить о незадолго перед тем показанных в другой программе кадрах издевательского обхождения с ученым в горьковской больнице, да и о самой ссылке и всем прочем, сократившем жизнь.

Конечно, статья 43 предусматривает «возмещение морального вреда», но Сахаров уже не может, а его вдова едва ли станет подавать на центральное телевидение в суд. Да и надо ли через суд доказывать, что ссылка без суда — не только угроза, но и расправа, и что человек, вещающий о безвредности ссылки без суда, сам благополучно проживая в столице, не только себя компрометирует, но и порочит честь и достоинство ссыльного? Беспардонная ложь усердно внедряется в массовое сознание уже в силу того, что телевидение у нас монопольное, что нет другого телевидения, способного обратиться к той же аудитории, вынуждая нынешнее держаться все же в рамках приличия. Конечно, статья 6 говорит, что «монополизация какого-либо вида средств массовой информации не допускается», но как с ней совладать — в законе речи нет. А ведь журналы наши, и газеты, и издательства, хоть их вроде и много, тоже в большой мере монополисты. Нынче можно спорить с одной группой в журналах другой группы, и эти споры у всех на виду, но если я хочу возразить и тем и другим, место для этого найти нелегко. Дело ведь не за тем, чтобы привлечь к суду распоясавшегося лжеца (я потому и не называю здесь его имя), а за тем, чтобы средства массовой информации усвоили, что мнения могут быть какими угодно, но сведения должны быть достоверны, и фальсификация фактов нарушает не только законы, но элементарную общественную мораль. Тогда и репутация заядлого фальсификатора, не пугающая ныне жаждущего быть властителем дум, будет страшней штрафа в 50 000, предусмотренного проектом.

Но в проекте и слова нет о необходимости, ради повышения ответственности средств массовой информации, положить конец монополии на массовую информацию. Долгие годы нам твердили, что печать и вообще литература и искусство должны быть партийными, — поскольку существовала одна партия, это значило «однопартийными». В доказательство ссылались на известную статью Ленина, хоть всякий, кто ее читал, знает, что Ленин требовал там партийности от партийных изданий, требовал, чтобы выступающие от имени партии держались ее позиций, и был, конечно, прав, тем более что в 1905 году никакие дополнительные обстоятельства вступать в партию не понуждали, и у лицемерия не было даже внешнего оправдания. Это нынче запросто

признаются, что вступили в партию, скажем, чтобы успешнее пропагандировать православную духовную музыку. Можно, понятно, лишь радоваться, что замечательные сочинения Рахманинова или Гречанинова нынче звучат беспрепятственно, но неужто играть их помогает принадлежность к коммунистической партии с ее материалистическим мировоззрением? Впрочем, сколь далеко партия, именуемая ленинской, ушла от Ленина, видно уже по тому, что в Ленинграде при выборах народных депутатов ни обком, ни горком не сочли нужным или не рискнули опубликовать имена тех кандидатов, которых партийная организация поддерживает, за которых призывает голосовать, — трудно придумать более наглядный пример политического банкротства!

Нынче печать фактически становится многопартийной. Однако при том, что сегодня у нас не две, не пять партий, а десятки, симпатии и склонности миллионов не могут вписаться и в эти рамки. Для самопознания, для художественного и научного развития общество нуждается в свободной беспартийной печати, по природе своей антимонополистической. Если в грозные часы революций почва для беспартийности до крайности сужается, то процесс осмысления происходящего, процесс вызревания решений предполагает вовлечение в общественную жизнь миллионов людей, политически еще не определившихся, и нельзя не считаться с их стремлением делать это спокойно, по совести и рассудку. Проекту закона о печати более всего недостает учета этой потребности. А ведь затем и средства информации, чтобы читатели узнавали, что думают авторы, а не затем только, чтобы авторы писали нужное учредителям, издателям и редакторам средств массовой информации, как у нас повелось с момента закрытия горьковской «Новой жизни» и осталось в проекте нового закона.

Понятно, перемены несут свои опасности, и первая из них — коммерциализация. Необходимо предусмотреть формы поощрения бескорыстных каналов информации, не говоря о литературе и искусстве, покамест их выход к людям не начнет самоокупаться. Но и это проектом не оговорено. Он дышит прежним сознанием, велящим лишь менять одни шаблоны на другие, а не пополнять умственный багаж и думать самим.

Долгие годы интеллектуальная и душевная жизнь пробивалась к публичности лишь в рамках государственной идеологии. В нашем обществе, как в средневековом феодальном мире, личному мировоззрению надлежало совпадать с господствовавшей идеологией. Поскольку, однако, личный опыт всякого, прикасавшегося к реальностям жизни, так или иначе этому мешал, да и общество не укладывалось в предначертанные идеологические пределы, господствовавшая идеология сама трансформировалась. Не чуждая сперва некоторым справедливым положениям философии и социологии, наша государственная идеология все больше противоречила своему теоретическому фундаменту, и марксизм-ленинизм, преподававшийся в вузах, имел все меньше общего с подлинными взглядами Маркса и даже Ленина.

Но и мировоззрения отдельных людей с трудом подымались над государственной идеологией, догматическое штудирование которой не проходило бесследно, и застрявший в сознании катехизис мешал видеть подлинную картину мира. Мир обращался в скопище случайностей, все меньше думали о причинах и все больше о целях, хотели попроще объяснить усложнявшиеся отношения, и навстречу этой склонности шла

сама государственная идеология, толкуя проявления зла как плод коварства злых сил, а недостаток добра — как недостаток добрых.

Мудрое сталинское учение о вредительстве не свелось к оправданию ликвидации буржуазных грешников и еретичных партийцев, оно продолжает оказывать непреходяще губительное воздействие на общественное сознание. Нужно проникнуться им, чтобы искать причины общественных кризисов в тяжелом характере Сталина, или потом в несдержанности Хрущева, или приверженности Брежнева к золотым и усыпанным бриллиантами пятиконечным звездам. Немудрено, что в поисках опоры люди все меньше полагались на разум и все больше на веру, хорошо еще, если цивилизованно религиозную, а то ведь зачастую на откровенный оккультизм. В итоге возобладало разорванное сознание, при котором утрачивается даже общий язык, и споры нередко делятся оттого, что элементарные понятия утратили понятное каждому значение.

Недавно секретарь Ленинградского ОК КПСС по идеологии Ю. А. Денисов в интервью Би-Би-Си обозначил, свою политическую позицию как находящуюся левее центра. Поскольку и я определяю свою позицию как левоцентристскую, пришлось призадуматься, почему же почти по всем конкретным вопросам мои представления так далеки от представлений секретаря обкома. А дело в том, что даже понятия «левый» и «правый» утратили определенность. Если, скажем, в конце двадцатых годов «правым» считали Н. И. Бухарина, защищавшего индивидуальное крестьянское хозяйство, то нынче такая позиция считается скорее «левой», а «правыми» зовут защитников нерушимости колхозного строя, скажем, Е. К. Лигачева. Между тем, никто не называет позиции Бухарина и Лигачева близкими, и в системе понятий двадцатых годов Лигачева, конечно, числили бы «левым».

Если сегодня их обоих называют «правыми», то потому, что подспудно ощущаются происшедшие меж 1929 и 1989 годами перемены нашей жизни и нашего общественного строя. Чтобы разобраться в нынешних понятиях, надо до конца осознать, зачем Сталин губил сперва крестьян и горожан, доверившихся нэпу, а потом старых партийцев. Он это делал, сознательно или бессознательно, чтобы в специфических формах реставрировать феодальные отношения, установить тот нефеодальный порядок, который потом объявил социалистическим. Бухарина называли «правым» по отношению к Сталину, стоявшему за ликвидацию стоимостных отношений, за внеэкономическое хозяйство, мыслившееся тогда залогом социализма, — да и не был ли таким или, напротив, был противоположным ленинский предсмертный призыв пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм, неизвестно. А нынче, когда мы воочию видим, куда внеэкономическое хозяйствование воротилось, мы зовем движение к стоимостному сознанию «левым», а стремление спасти феодальный социализм — «правым».

Чтобы различать «правое» и «левое», надо определить, на чем ты сам стоишь, обозначить точку отсчета. Для Ю. А. Денисова социализм — это сталинский нефеодализм. Его пугает восстановление стоимостных понятий, он, словно в годы установления нэпа, видит в них «правую» опасность и себя, соответственно, искренне считает «левым». Мне же восстановление стоимостных понятий в противовес укоренившимся внеэкономическим представляется «левым» уже хотя бы потому, что для меня, как, впрочем, и для Маркса, социализм — явление постбуржуазное, результат чисто буржуазного, давно избывшего в себе феодальное

наследство, развития. Вот и выходит, что, хоть оба мы с Ю. А. Денисовым вроде бы говорим о социалистическом идеале и оба считаем себя левоцентристами, мы стоим по разные стороны от центра.

Смысл словоупотребления восстанавливает лишь соприкосновение с конкретностью истины. Нынче «левые» (или «правые») объявляют Максима Горького глашатаем сталинского террора и клеймят его за известную фразу: «Если враг не сдается, его уничтожают», видя в ней лишь призыв к наращиванию жестокости. Никто не заметил, что Горький поставил ей условие: «если враг не сдается». Он этим напомнил: если враг сдается, его не уничтожают. А ведь в те годы уничтожали давно сдавшихся или даже вовсе не участвовавших в политической жизни. Горький, при всей противоречивости своего миропонимания, как раз ощутил, что происходившее походило не столько на борьбу с упорным, не сдающимся врагом, сколько на расстрел пленных. Я был тогда мальчиком, но протестантский подтекст этих слов был мне очевиден. А не жившие той жизнью, не ощущающие их контекста, нынче видят в них противоположное сказанному, хоть и эзоповым языком. Но политическую лексикологию не прояснить иначе, как обращаясь к реальности, лежащей за словами, и к рядом звучащим словам. Уже поэтому общественное самосознание нуждается в свободе печати, и единственный категорический запрет должен быть наложен на призывы к насилию.

Спросят: а разглашение государственных и военных тайн? Разумеется, охранять их должен закон, но не закон о печати, поскольку подлинные тайны разглашаются обычно вовсе не средствами массовой информации, в которые пробивается разве что таимое от наших граждан, но отлично известное иностранным разведкам. Нарушение конкретными лицами, военнослужащими или чиновниками, добровольно взятого на себя обязательства сохранить доверяемую тайну, конечно, должно повлечь за собой предусмотренную ответственность. Заметим лишь, что сами подобные обязательства законны только там, где под покровом тайны не нарушают конституцию и другие законы страны. А если нарушают, входя, скажем, в сговор с Гитлером или извлекая выгоду из служебной позиции, обязательство хранить тайну теряет силу, и тот, кому она доверена, как гражданин обязан, напротив, возможно быстрее противозаконную тайну разгласить, и средства массовой информации призваны ему помочь.

В проекте это, как и многое другое, не оговорено. Кажется, что закон усердно редактировали издательские, телевизионные, газетные работники, желавшие стабилизировать сложившееся положение, а не ответить на требования, которые предъявляет к информации правовое демократическое общество. Апрель 1985 года породил надежду, что страна станет жить не для отвлеченных и отдаленных схем, а для блага своих граждан. За пять лет, при всех промахах и упущениях, не так уж мало сделано, чтобы надежда сбылась, и все-таки общество испытывает неуверенность. Чем громче говорят: «Иного не дано!», тем острее чувствуется опасность иного, прежнего. Единственное, что может помешать его возврату, единственная гарантия надежды — свобода печати и других средств массовой информации. Предложенный проект не дает такой гарантии, лишь велит полагаться на благожелательность свыше.

Но даже этот проект подвергается массовым атакам желающих не менять прежних порядков в печати и на телевидении, а с ними и в стране.

ПАРАЛИЧ ВСЕВЛАСТИЯ

Кто рискнет утверждать, что без перестройки жилось бы лучше? Ведь шла бы война в Афганистане, да и прочим прогрессивным диктатурам, как повелось, мы давали бы танки в долг без отдачи, а не продавали за живую валюту, как попытался навлекший на себя всенародное возмущение АНТ.

Еще великий Сталин бесстыже благодарил народ за терпение. Но в войну терпели потому, что речь и в самом деле шла о жизни и смерти. Если в первые дни войны у кого-то и были иллюзии, то своими действиями немецкие войска повели практическую пропаганду в пользу Советской армии как единственного спасителя. Сегодняшние выдумки о кознях неформалов, масонов и прочих таинственных сил — это попытка возродить в мирное время военную модель и безосновательно убедить нас, что без сложившихся порядков будет еще хуже.

Но большинство уже смекнуло, что наш противопоставленный Западу, включившему в себя и обгоняющий нас Восток, «особенный путь» ведет лишь к дальнейшему унижению. И дело не только в том, что народ не в силах больше жить послезавтрашними благами. Перестройка — отнюдь не акт милосердия. Просто в современной промышленности, сельском хозяйстве и науке человек, опутанный повседневными нуждами, несвободный и не уверенный в завтрашнем дне, не может себя эффективно реализовать, отчего проигрывает не только он, но и его единственно возможный у нас работодатель — государство. А мы все укрепляем и развиваем наше неэффективное хозяйство, работа в котором и впрямь требует доблести и геройства. Но в нормальной жизни не должно быть места подвигу. Не людям надлежит то и дело героически жертвовать собой, преодолевая абсурды управления, а государство не должно преграждать им путь к приложению своих умений и дарований.

Пять лет назад было сказано о человеческом факторе, новом для нашей страны, привыкшей считать, что незаменимых нет. Но учесть человеческий фактор пытаются по-старому: здесь корень собственных неудач перестройки. О просчетах антиалкогольной кампании все вроде сказано. Но главное зло — не ошибки в подсчетах, а прежняя вера в приказы и запреты, которыми будто бы можно избавить людей от нарастающей при нашей невыносимой жизни потребности расслабиться, хотя бы и таким пагубным способом. Я понимаю, что государство не могло начать перестройку с того, чтобы на прибыль от водки строить плавательные бассейны, позволяющие прийти в себя, не разрушая собственное здоровье. Но догадаться, что борьба с алкоголизмом и даже сталинизмом сталинскими методами идет на пользу только сталинизму, все-таки было возможно. И еще не поздно теперь.

Мы опять не соизмеряем цели и средства. Ленин уже в 1921-1922 годах осознал свои заблуждения 1918 года, о чем у нас долго не хотели вспоминать. Нынче мы открыто говорим о заблуждениях Ленина, но собственные заблуждения признавать не спешим. Кажется, что перестройка буксует лишь по вине сил, ее тормозящих, а ей недостает сил движущих, которые на слово не верят. Сказывается и то, что демократические силы часто прекраснодушны и политически наивны.

Медлительность перемен иные объясняют нерешительностью Горбачева в осуществлении собственной инициативы. Между тем перестроить наше хозяйство предлагал еще Косыгин, однако разумные

идеи реформаторов двигались преимущественно по московским служебным коридорам, что и позволило успешно их раздавить на улицах Праги, а дальше ветру ничего не стоило вымести их и у нас. Горбачев вовлек в мысли о переменах народ, и названное его «нерешительностью», как раз и позволило выявиться разнообразию наших интересов и мнений, то есть в конечном счете социальных и политических сил.

Прежде люди либо принимали политику КПСС, либо, поскольку это было уголовно наказуемо, отвергали ее втихомолку — героев, вслух ей возражавших, было, естественно, немного. Казалось, мы впрямь делимся лишь на тех, кто «за», и тех, кто «против», — «настоящих советских людей» и «антисоветчиков». Сегодня обозначилась пестрая палитра социальных отношений, которую надлежит осознать, и то, что эту палитру можно разглядывать и обдумывать, а не действовать вслепую, как раз и является великой исторической заслугой Горбачева. Его так называемая «нерешительность» — на самом деле способ прояснения реальности.

Сложнее как раз там, где он проявляет решительность, — поскольку он, естественно, одним краскам открывшейся социальной палитры сочувствует, а другим — противоборствует. Это еще раз проявилось при формировании президентского совета. Наряду с известными политическими деятелями туда вошли и ученые, и литераторы и практики. Но если С.Шаталин или Ч.Айтматов стоят в центре нашего политического спектра, то В.Распутин или В.Ярин, конечно, представляют его фланг. Однако представителей противоположного фланга в президентском совете нет вовсе. Указывать на это приходится, понятно, не затем, чтобы навязать президенту нежелательных ему советников, а лишь затем, чтобы взвесить, в какой мере этот институт позволяет учесть преобладающие в народе стремления: не секрет, к примеру, что русский народ на свободных выборах отказал в доверии и так называемым «национал-патриотическим силам», близким В.Распутину, и «объединенному фронту трудящихся», одним из лидеров которого является В.Ярин.

Нелепо сетовать, что народное мнение сказалось на выборе президентских советников меньше, чем воля партии, генеральным секретарем которой президент является. А вот подивиться, что инициаторами президентского правления первыми выступили как раз лидеры демократического движения, очень даже стоит. Да и на съезде звучали возражения не столько против учреждения президентского поста, сколько против выборов первого президента самим съездом, а не всенародно. Споры о демократии и тут не обошлись без обличения Ленина. Но никто не вспомнил, что создавая Советский Союз, Ленин полагал, что у федерации равноправных народов не может быть единого главы, и его функции должны поочередно исполнять представители четырех республик, первоначально входивших в союз. Это уже при Сталине появился один всесоюзный староста, а при Брежневле еще его первый заместитель, поднятые над представителями республик. А ведь напоминание о том как, — по моему, правильно, — понимал роль главы союзного государства Ленин, возможно, побудило бы депутатов призадуматься. Речь, понятно, не о том, чтобы опять возвращаться к Ленину за мудрыми указаниями, но о том, чтобы видеть, как развивалась наша государственная система, все резче противореча воле народов, создавших союзное, а не унитарное государство.

Эффективность и устойчивость демократической системы зависят прежде всего от соблюдения ее процедур. Но у нас и Верховный совет, и даже Съезд народных депутатов, принимая законопроект к обсуждению, уже считают его как бы частью конституции и при первом постатейном обсуждении для поправки в проекте требуют две трети голосов. В итоге формулировки, поддерживаемые большинством, отвергаются, а поддерживаемые меньшинством — входят в закон. Законы, конечно, обретают юридическую силу, но уважение к власти падает. Строго соблюдать разумную и понятную процедуру необходимо ради сохранения целостности общества и полноценной активности всех его членов, какие бы противоречия их по тому или иному пункту ни разделяли. А на то, что у всех на глазах воля большинства, оказывается, ничего не значит, люди отвечают пассивностью не только на очередных выборах, но и на работе.

Нынче много говорят об ослаблении власти и даже ее параличе. Но имеет место совсем другое... Хозяйственный кризис наглядно обозначил пределы доступного власти. У Горбачева ничуть не меньше возможностей, чем у Сталина, отправить разговорившихся ученых на стройку очередного канала, но в отличие от Сталина, он уже знает, чем страна за это платит. Ему и приходится расплачиваться за чужие успехи, достигнутые такой ценой. А еще дороже за них приходится платить всем нам. Произвол плох не только тем, что противоречит идеалам и нарушает права человека, но и тем, что подрывает саморегуляцию общественной системы.

Увы, вместо того, чтобы искать компромиссы, все еще исходят из того, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, и предварительным условием переговоров выставляют безоговорочную капитуляцию. Однажды программа «Время» показала, как над митинговавшими в Вильнюсе вертолет разбрасывал листовки, призывавшие литовцев остаться в СССР. Пославшие вертолет явно не понимали, что самим своим парением он внушал обратное сказанному в листовках. И ведь то же самое еще раньше внушали статьи центральных газет и заявление ЦК по Прибалтике. Они-то и сказались на результатах выборов в Литве и форсировали декларацию независимости. Сея страх, можно, конечно, добиться многого, но есть предел, за которым страх и безнадежность толкают к отчаянью, а оно к безоглядности.

Сегодня литовцев бранят за то, что, потеряв надежду мирно восстановить самостоятельность, отнятую аннулированным ныне пактом Молотова-Рибентроппа, они пошли на отчаянный, но все еще мирный шаг, однако не слышать и словечка, осуждающего составителей заявлений, авторов громких статей и командующих военными вертолетами. А не лучше ли было добиться за столом переговоров компромисса, установив с Литвой конфедеративные отношения с сохранением экономических связей, культурных контактов и, пока того требует международное положение, даже военных баз? Подобно тому, как танки, идя по Праге, давили московские реформы, вертолет, разбрасывавший листовки над Вильнюсом, бросал бомбы на перестройку. Конечно, Литва — не Афганистан, и храбрые десантники тут справятся не то что не хуже, чем в Тбилиси, а даже чем в Чехословакии, то есть без пролития крови. Но они опять на двадцать лет отсрочат преобразования, жизненно необходимые нашей стране. Кругом спрашивают, что будет с Литвой, а стоило бы еще понять, что будет с Россией, если она вновь покорит Литву.

Открытое письмо ЦК КПСС призывает коммунистов исключать из партии активных лидеров «Демократической платформы», но там и речи нет про то, что вопреки решению пленума ЦК в Ленинграде до съезда КПСС будет созван учредительный съезд Российской компартии. Одним нельзя, другим можно. После избрания нового Ленсовета бюро обкома КПСС распорядилось общими прежде изданиями: взяло себе, богатую «Ленинградскую правду», а менее богатый «Вечерний Ленинград» уступило Ленсовету. Отмена статьи 6 ленинградскому обкому явно не указ, он не счел нужным сперва хотя бы обсудить раздел имущества с совладельцами, не говоря о подписчиках. И это паралич власти?

За речами о параличе власти часто различима привычка к всевластию. А ведь исполнительная власть у нас поныне тотальная и ведает не только финансами, иностранными делами и армией, или даже сверх того социальным обеспечением, здравоохранением и школой; она ведает и промышленностью, и сельским хозяйством, и наукой, и вузами, и библиотеками, и театрами, и парикмахерскими, и печатью и всем вообще. А всевластие неизбежно ведет к анархии, поскольку обратная связь присуща только демократии. Пока химические заводы в Уфе принадлежат союзному правительству, наивно ожидать, что местный горсовет без всесоюзного скандала помешает им отравлять население. Это удастся лишь если заводы будут самостоятельны — тогда местная власть сможет судебным порядком вынудить их блюсти закон, судиться с правительством ей трудно, и она, а с ней весь народ, -- проситель у парадного подъезда.

Перестройку тормозят не столько «плохие аппаратчики», сколько тотальный аппарат, как таковой. В других странах куда больше людей, чем у нас, занято в «непроизводительной» сфере, но там их не считают нахлебниками. Там они не столько передают сверху вниз эстафету команд, сколько согласовывают отношения промышленных, культурных и прочих самостоятельных и независимых образований. Циклопическое правительство, распоряжающееся всем, и есть воплощение и опора административно-командной системы, кто бы в него ни входил, хоть сам господь и ангелы его. Мало что изменит и передача тотальных функций от союза республикам или даже областям и городам. Не многое изменится и от того, что тотальная власть в самом деле перейдет от партийных органов к советским. Порочна сама тотальность, подменяющая взаимность свободы единообразием неволи. Смысл перестройки в упразднении тотальной власти — лишь тогда административные отношения отступят перед воистину экономическими. А власть наконец проявит себя там, где, к сожалению, не играет у нас существенной роли, — она станет блюстительницей закона, который покамест первая нарушает. Сокращение исполнительной власти, переход большинства ее нынешних функций непосредственно к гражданам и их добровольным объединениям, должны сопровождаться повышением роли власти судебной во всех внутренних отношениях. Но у нас и суд и вся вообще система правоохранительных органов издавна носит тотальный характер, и суд вызывает нарекания, когда, в соответствии с процессуальным кодексом, устанавливает и проверяет факты в ходе своих заседаний, не полагаясь на следователей. У нас в чести следователи, а не судьи.

Минувшая пятилетка подтвердила, что главная помеха развитию страны — тотальное всевластие, само себя стреноживающее и не дающее

никому продвинуться. Чтобы стране выжить, надо рвать с тотальностью. Но этого, видимо, придется ждать уже от следующей пятилетки.

ПУТИ НА РЫНОК НЕИСПОВЕДИМЫ **Переход к рынку — да. Но к какому?**

Николай Рыжков предложил вынести правительственную концепцию перехода к рыночной экономике на всеобщее обсуждение. У нас едва ли не впервые государственный деятель готов уйти, если народ против него.

Прежде за нас решали, нами руководили, нас вели, и можно было, «безмолвствовать» или со всеми вместе вопить: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!», считая себя ни при чем. Прямота Рыжкова побуждает не просто тайно проголосовать, но объяснить мотивы голосования. Объяснить, почему я без колебаний проголосую против предлагаемой «концепции перехода к рыночной экономике».

Скажу сразу: потому, что она не сулит перехода к рыночной экономике. Все идет, как пять месяцев назад задумал Леонид Абалкин: сначала оздоровление, потом реформы. Но, помилуй бог, кабы можно оздоровить наше хозяйство без реформ, на что они?

Начиная с 30-х годов наши правительства вели несбалансированное хозяйство, занижали заработную плату, и, чтобы работающий все же получил пайку, без которой он не работник, приходилось искусственно занижать цены на основные продукты питания, жилье и транспорт. Ради долгостроя и прочего брали займы у будущего и его почти проели. Кроме рынка, ничто нас не спасет, поскольку нет другого способа определить, что почем, а без этого концы с концами уже не свести.

Сегодня нам говорят, что, поскольку цены на рынке неизбежно подскочат, их надо наперед повесить командным порядком на 200–300 процентов, и обещают процентов 15 вернуть деньгами, чтобы нам продержаться. Но о возрождении рыночной регуляции или хоть условий для нее и речи нет, лишь смутные ссылки на позднейшее обсуждение.

Между тем, нынешнее правительство наводнило страну деньгами, на которые нечего купить. Прежде чем переходить к рынку, надо бы не цены повышать, а немедленно изъять у правительства государственный банк и если не сразу остановить, то резко сократить эмиссию. Правительство бы тогда подумало, как заработать деньги, и стало бы экономить. Право же, куда выгоднее год-два выплачивать полную зарплату рабочим остановленных производств, пока они не найдут другой работы, чем и дальше с убытком выпускать никому не нужную продукцию.

Нет рынка, если продавец один — государство, и оно же — главный покупатель. Хоть на словах новые законы дают крестьянам землю, уже видно, что взять ее без боя практически невозможно и гарантий нет. Ради создания рынка самостоятельный крестьянин вместе с землей должен получить и права, не меньшие, чем у председателя колхоза или директора совхоза, и главное — ни в чем от них не зависеть. Точно так же надо упразднить хозяйственные министерства не в отдаленном будущем, а наперед или хотя бы одновременно с переходом к рынку. При тотальном монополизме министерств или создаваемых на смену им концернов возможен лишь безудержный рост цен, каковой проект предписывает, и до всякого рынка. А рынок-то, на что-то при конкуренции подняв цены, на другое их даже снизит, пусть и не сразу.

Пути есть разные. Польский при нашей тотальности нам труден, но и мы при переходе должны не только платить за чужие грехи, но, подобно полякам, сразу что-то реально менять.

Заниженные цены на продовольствие (на промтовары они в основном завышены) рынок и сам тотчас пересмотрит. Административно менять их заранее можно лишь при полной выдаче дотаций, которые нынче идут производителям. Рыжков признал, что дотацию на хлеб следует отдать покупателю. А чем хуже дотация на мясо? Разве и те и другие не образуются за счет занижения монопольным работодателем зарплаты? Сколько можно уверять, что народ на себя не зарабатывает и его от щедрот своих кормят партия и правительство?

Административное установление цен не регулирует, а подрывает рынок. Регулируют его налоги, льготы, субсидии, побуждающие ради собственных интересов производить необходимое обществу. Владеть такими регуляторами сложнее, чем спускать команды. Объективнее других анализируют наше хозяйство те, кто пользуется математическими методами. Но, к сожалению, их меньше занимают социальные проблемы. Недавно «Литгазета» опубликовала рядом В.Селюнина и С.Шаталина. Селюнин, быть может, и слабей как теоретик, но он острее ощущает пульсацию экономики в социальной жизни. Социальные проблемы свелись у нас к профсоюзно-коммунальным подавниям, но труженик станет богаче, лишь решая всамделишные социальные проблемы, постигая механизмы, приводящие разные общественные слои и группы к подвижному взаимовыгодному согласию.

Люди, опустошавшие после доклада Рыжкова магазины, не просто запасались. И вовсе они не против регулируемой рыночной экономики, а против очередной командной акции. В Верховном совете, критикуя правительство, говорили даже о его некомпетентности. Но это неверно, авторы прекрасно знают, что делают. По-моему, их проект — блестящий шаг политиков, не желающих рыночной экономики, но сознающих, что отказаться от нее открыто уже нельзя. Вот они и объявили административное повышение цен регулированием рыночной экономики.

Если народ это проглотит, директивное хозяйство вздохнет свободнее, спадет напор избытка денег. Если же народ проголосует против, нам разъяснят, что народ отверг рыночную экономику и пусть, мол, пеняет на себя, что, в свою очередь, даст повод вернуться к старым навыкам. Между тем, народ, судя по всему, не отвергает рыночную систему. Он лишь не видит к ней реального пути в нынешней программе правительства.

ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДЫ

Вот я и стал лишенцем! Меня лишили представительства в Совете республики Российского Верховного совета. И не меня одного, а всех ленинградцев поголовно. Не будем уж выяснять, почему для России, в отличие от Украины и других республик, установили двухступенчатые выборы, — не уверены, видимо, что ее народы изберут достойных! Не будем покамест выяснять и того, почему Верховный совет самой большой республики, да еще двухпалатный, должен быть самым маленьким. Но почему все-таки, если даже нашему многомиллионному городу отвели в Совете республики в семь раз меньше мест, чем мы выбрали депутатов, кому нас там представлять не ленинградская депутация определяет, а

целиком весь съезд, с первого захода не пропустивший вообще ни одного ленинградца и ни одного москвича. Сказали бы наперед: Иван Кузьмич Полозков решит, кому представлять Ленинград, — я бы и на выборы не ходил. Умные люди понимали, что изобретут какую-то каверзу, чтобы осадить надежды избирателей, а я, старый дурак, ходил на выборы даже дважды, на оба тура. Вот и вся демократия.

Упразднил ее на сей раз Виталий Иванович Воротников, возглавлявший прежний Верховный совет и не считавший нужным, вводя избирательные нововведения, предусмотреть четкую процедуру, по которой представительство Ленинграда будут в любом случае определять ленинградцы, — если не прямо избиратели, то хотя бы их депутаты. Впрочем, я, может, зря валю все на одного Виталия Ивановича. Все мы не лучше и, почитая порядок, установленный свыше твердой рукой, чуть ли не поголовно презираем процедурные вопросы. Едва займутся ими на съездах или у нас в Ленсовете, тотчас говорят: да что они все болтают, надо же дело делать. А процедура — и есть главное дело законодателей, от нее зависят все дальнейшие решения. Процедура — как закон, да, собственно, она и есть закон, или, точнее сказать, закон есть процедура.

Человек родился, и сразу процедура: ему выписывают метрику, указывают родителей, национальность обоих. У новорожденного своей национальности по этой процедуре нет, ее придется потом, при получении паспорта, определять. А эта процедура стала сейчас жесткой, определяют по родителям, порой только по матери, самому определиться уже нельзя. А до войны еще можно было. У моего товарища отец был еврей, а мать — русская, сам он — светлый, кудрявый, чем-то на Есенина похож, а фамилия типично еврейская. И, заполняя анкету для паспорта, он написал: «еврей». Я-то написал то же самое, но у меня оба родителя — евреи. А он говорит: мне-то все равно, но с моей фамилией иначе скажут, что я прячусь или отца стесняюсь, лучше уж я прямо напишу. А другой, у которого мать — татарка, а отец был грек, говорил: это все чепуха, живем мы в России, другого языка, кроме русского, толком не знаем, значит, все мы русские, — и в анкете так написал. Но суть не в том, что они написали, тем более что обоих давно нет — оба погибли на войне, а в том, что шестнадцатилетние подростки были поставлены — и поныне стоят — перед необходимостью не то что даже национального, а расового самоопределения: наше государство определяет национальность по крови, по отцу и матери, а не по культуре и образу жизни. Да и как иначе оно смогло бы потом выселять из Москвы детей обрусевших чеченцев, на родине отцов никогда не бывавших? Я знаю, после смерти Сталина уцелевшим чеченцам разрешили вернуться, но паспорта-то заполняют по-прежнему, и для страны это не проходит бесследно.

Конечно, не только из-за них началась резня в Баку или возникла «Память», но свой вклад в характер национального сознания наших граждан эта невинная на первый взгляд процедура внесла. Ибо процедура — всегда содержательна. И споры о процедуре — это всегда споры по существу. Недовольные тем, что советы вырабатывают процедуры, которых прежде не бывало, на деле недовольны тем, что решения уже не всегда принимаются закрытым порядком, что смысл их проясняется наперед, и народ его быстрее ухватывает. Межнациональные распри не перестройка породила. Их семена посеяны еще в пору шумных празднеств дружбы народов, прикрывавших сталинскую систему автономизации.

Наше общественное сознание не любопытно к процедурным мелочам. Оно норовит проникнуть в суть, пренебрегая ими. Много сейчас пишут об убийстве последнего царя. Страшно думать, что вместе с ним убили и ни в чем не виноватых молодых девушек — царевен, и большого подростка — царевича, не говоря уже о докторе Боткине и слугах. Да и казнь самого царя была совершена без суда. Но если внимать нашей печати и телевидению, не то оказывается плохо, что не соблюдались обязательные процедуры, устанавливающие виновность или невиновность, а что казнили, оказывается, хорошего человека. Нам все твердят о верном супруге, любящем отца, ценителе искусств и прочих достоинствах государя. Словно не было Ходынки, не помешавшей хорошему человеку вечером отплясывать на балу, словно не было Кровавого воскресенья на Дворцовой площади, — а ведь за расстрел перед твоим дворцом безоружных людей, да еще с иконами в руках, по всем законам божеским и человеческим положена уголовная ответственность.

Можно еще вспомнить, что после Манифеста 17 октября была избрана Государственная Дума, — первое в России представительное законодательное учреждение, и подавляющее большинство ее депутатов — и кадеты, и трудовики, и эсеры (большевики выборы бойкотировали) — при всех различиях стояли за наделение крестьян землей за счет казенных, церковных и помещичьих земель. (По проекту кадетов помещичьи земли отчуждались лишь частично, но все же отчуждались.) Не вспоминают нынче и то, что через два с небольшим месяца царь эту Думу, отвергнув ее требования, разогнал и в тот же день назначил премьер-министром П. А. Столыпина, незадолго перед тем призванного в министры внутренних дел за умелое подавление крестьянских волнений в Саратовской губернии, где он губернаторствовал. И совсем никто не помнит, что разгон Думы стал примером для разгона в 1918 году Учредительного собрания. А осенью 1906 года последовал указ, которым началась столыпинская реформа, по сравнению даже с самыми умеренными думскими проектами весьма ограниченная и земельные нужды крестьянства удовлетворившая лишь отчасти. Государь Николай Александрович все оттягивал и урезал реформы, надеясь, что и так все обойдется. Стало быть, он собственной персоной виновен в том, что крестьяне до зарезу нуждавшиеся в земле, могли надеяться лишь на революцию. И поскольку без крестьян она была бы невозможна, он несет прямую ответственность за всю по ходу революции пролитую кровь.

Я говорю об этом не затем, однако, чтобы объявить, что за столь чудовищные уголовные и политические вины не грех воздать любым способом, а как раз напротив — чтобы подчеркнуть, что даже такие тяжкие и легко доказуемые обвинения для совершения наказания должны быть проверены и подтверждены, как того требует общепризнанная процедура. Карла I отправил на эшафот специально назначенный парламентом суд, Людовика XVI судил Конвент. У нас же не только обошлись без лишних церемоний, прихватив явно невиновных, но и по сей день оспаривают не столько бессудную расправу, сколько очевидные доказательства царской вины, словно бы ее признание расправу обеляет. И ведь одновременно твердят, что террористический акт против Троцкого, тоже далеко не безгрешного, был делом справедливым и достойным. Но справедливость и закон существуют лишь там, где их соблюдают по отношению и к самому дурному человеку, все равно, царь он или большевик.

Пожалуй, самая большая беда нашей страны в том, что мы по сей день не знаем всеобщего равенства перед законом и держим в уме давнюю традицию, по которой убивали стрельцов, восставших крестьян, Ивана VI, Петра III, Павла, Александра II, а после, следом за Лениным, уверяли себя и других, что «чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Конкретная вина конкретных «представителей» никого особенно не занимала. Такая манера думать жива поныне.

Твердят, что «евреи распяли Христа» и нечего с ними церемониться. Можно бы на такой же манер ответить: а русские сожгли протопопа Аввакума, великого писателя и религиозного деятеля. Но такой ответ нелеп не только потому, что Христос сам был евреем, а Аввакум сам был русским, но, прежде всего, потому, что всякое убийство и вообще преступное деяние совершается конкретными людьми, и следственные и судебные процедуры на то и надобны, чтобы максимально достоверно установить **индивидуальную** вину, а если преступление совершено группой или организацией,— меру личной вины каждого из участников.

Если призыв популярного писателя, твердящего, что «евреи распяли Христа», найдет отклик и прольется кровь, справедливый суд, буде он состоится, вспомнит об ответственности за подстрекательство. Но я наперед отказываюсь считать виновными в убийстве, которым мне время от времени открыто грозят, всех его единоплеменников, русских или бурят, в преступлении не замешанных. Счесть, что виноваты все, означает: либо виноватых нет, либо готовить новую Треблинку. Правосознание требует признания персональной ответственности и, вообще, конкретной роли каждой отдельной личности в истории и обычной жизни. Для выполнения такой роли каждым и складываются демократические общественные процедуры — свобода слова, печати, собраний, избирательная система и выборные органы власти со своими регламентами.

Опубликовав не так давно в КО статью «Метрополия или республика», возражавшую против привычного отождествления русского народа с Советским Союзом как целым и требовавшую признания за ним, как и за другими народами, суверенных республиканских прав, я получил множество писем с резкими протестами против самой постановки такого вопроса. Не прошло, однако, и года, как Съезд народных депутатов РСФСР провозгласил Россию суверенной. Одновременно новоизбранный председатель Верховного совета подчеркнул право на суверенитет всех национальных автономий. Не скрою, я испытываю удовлетворение. Первый шаг сделан. Дело теперь за процедурным механизмом, который позволял бы каждому полностью сохранять свой суверенитет не только выходя из союза, но и в его пределах.

Любопытно, что основа такого процедурного механизма была дальновидно предусмотрена уже при образовании СССР — в составе Центрального исполнительного комитета, избиравшегося Съездом советов, наряду с союзным Советом был создан овет национальностей. Но играть предполагавшуюся роль он, как поздней и Совет национальностей Верховного совета, практически не мог, поскольку торжествовала сталинская автономизационная схема, не дававшая — во имя унитарного, тотального государства — самостоятельности никому. Вот и приходится вспоминать, что само по себе провозглашение суверенитета

еще не меняет реального положения. Суверенитет надо закрепить повседневными процедурами.

Одна палата, образуемая по принципу пропорционального представительства, естественно, дает преимущества более многочисленному народу, другая, в которой республики должны быть представлены на равных правах, отстаивает права остальных. Двухпалатная структура высшей власти для федеративного государства — и союзного, и российского — вполне хороша. Но при непременном условии: чтобы голосование шло всегда отдельно по палатам. Между тем Верховный совет СССР не только проводит преимущественно совместные заседания, но и голосует сплошь и рядом сообща, что практически сводит на нет роль Совета национальностей.

Не зря на съезде РСФСР депутаты автономий так яростно требовали одинаковой численности палат. По опыту Верховного совета СССР они понимали, что иначе, при совместном голосовании, их голоса потеряются. Но если бы съезд утвердил и даже внес в конституцию обязательность во всех случаях отдельного голосования по палатам, численность палат не играла бы уже никакой роли. Это позволило бы увеличить Совет республики и даже (что, по-моему, наиболее справедливо) отменить двухступенчатость и провозгласить съезд в полном его составе Верховным советом, с тем, чтобы депутаты, избранные по территориальным округам, составили Совет республики, а по национально-территориальным — Совет национальностей. При обязательном отдельном голосовании, исключая возможность ущемления прав автономий, русские края, области и города могли бы быть представлены в Совете республики достаточным числом депутатов, избранных прямым голосованием, и не ущемлялось бы, как сейчас, представительство русского населения. Сознвая содержательность всякой процедуры, не трудно найти компромиссное, никого не ущемляющее решение. Увы, под смешки и гневные возгласы из зала поиски компромисса продолжал лишь председатель.

Над причинами упорного сопротивления компромиссу со стороны группы «Коммунисты России» стоит призадуматься. Наша гласность последнее время сосредоточилась на шестой статье конституции. Отменить ее, конечно, было необходимо, поскольку она фактически упраздняла власть советов и чуть не наполовину перечеркивала конституцию, во всяком случае разделы IV, V и VI. Нет смысла проводить выборы и участвовать в них, когда и без выборов известно, кому принадлежит руководящая роль. Но после свободных выборов руководящая роль КПСС не только не упала, но даже возросла, ибо возросло число коммунистов и на союзном, и на российском съездах народных депутатов. Одна из парламентских групп явно неправомерно назвалась «Коммунисты России». На мой беспартийный взгляд, коммунисты преобладают в подавляющем большинстве групп, не исключая и «Демократическую Россию». Просто в силу общей демократизации депутаты-коммунисты ныне открыто обсуждают между собой то, что прежде даже им обсуждать было не положено. Это, конечно, хорошо. Но от этого принципы КПСС, связанные в нашем воображении лишь с шестой статьей, вовсе не перестали быть обязательными для советского государства. И не потому что большинство депутатов — коммунисты (это было бы естественно), а по-прежнему по конституции.

Народные депутаты СССР проглядели более важную, чем шестая, статью третью: «Организация и деятельность Советского государства строится в соответствии с принципом демократического централизма», то есть «обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих». Этим принципом начисто перечеркивается федерализм, вроде бы лежащий в основе нашего государственного устройства, что более всего и вызывает нынешние обострения отношений республик с центром и между собой.

Строго говоря, и сама партия пришла к этому принципу лишь в результате многолетнего пребывания в подполье в годы самодержавия. Но и тогда он соблюдался не столь жестко, как в наши дни. В единой партии с меньшевиками, да и в самостоятельной партии, Ленин не всегда бывал в большинстве, однако это не побуждало его беспрекословно подчиняться большинству, отказываться от фракционной деятельности и фракционных изданий. И что-то не слышать, чтобы партия его за это сегодня осуждала. Но если многочисленные отступления от демократического централизма не порочат Ленина, почему они заказаны Горбачеву, Лигачеву, Ельцину, Нине Андреевой и Юрию Афанасьеву?

Принцип демократического централизма, превративший партию, как требовал великий Сталин, в орден меченосцев, более чем что-либо подорвал ее авторитет и обрек на силовые методы. Осуществленное большинством стран Варшавского договора введение войск в Чехословакию (коммунисты которой, составлявшие в Варшавском блоке меньшинство, представляли себе социализм иначе, чем остальные) было не просто незаконным, что ныне признают, но и антикоммунистическим шагом. Сравнив всеобщую популярность Дубчека, Смирковского и других лидеров КПЧ и 13% голосов, собранных коммунистами Чехословакии на недавних выборах, пора бы признать, что КПСС действовала в августе 1968 года как антикоммунистическая сила, и смягчить ее вину может разве лишь то, что и дома она подрывала авторитет коммунизма и свой собственный сходным образом, следуя принципам демократического централизма. При этом я безоговорочно признаю за КПСС право самой выбирать себе принципы, я ведь политикой не занимаюсь, мои интересы — сугубо исследовательские. Я лишь отмечаю, что принципы КПСС остались обязательными для Советского государства, хотя статью шестую вроде отменили.

На первом Съезде народных депутатов кто-то говорил, что съезд — это высший орган власти и, как таковой, вправе, ни в чем себя не стесняя, принять любое решение. Права съезда в самом деле велики, он ведь и конституцию вправе изменить. Но думать, что его воля ничем ограничена, можно лишь веруя в демократический централизм. Между тем при создании СССР было, к примеру, установлено, что республики не только сохраняют право выхода из Союза, но, что отмена или хотя бы ограничение этого права требуют согласия всех республик. Стало быть, поправки к конституции, ограничивающие это право, не станут законом, даже если съезд их примет и даже если конституцию изменит. Требуется еще, чтобы их ратифицировали все до одной республики, не просто большинство. Основой союзного государства был не демократический централизм, а демократическое согласие. Ленин понимал, что прочным союз может быть лишь при сохранении каждой республикой права вето на нежелательные для нее ограничения права выход из союза.

Это отнюдь не только литовская и прибалтийская проблема, и дело не сводится к выяснению того, в какой мере добровольно Прибалтика вошла в СССР. Добровольное вхождение в СССР Украины и тем более России оспорить трудней, однако они не ратифицировали поправки, стеснявшие выход. И вовсе не потому, что собирались в обозримом будущем воспользоваться этим правом, а потому, что оно — неотъемлемая часть суверенитета, который без него превратится в пустую болтовню.

Пренебрежение начальными положениями союзного договора о праве на выход как раз, по объективному своему смыслу, внушает народам — и литовскому, в частности, — что выход из Союза необходим. А готовность центра соблюдать союзный договор, напротив, побудила бы республики, даже и не вполне законно в союз вовлеченные, видеть преимущества содружества, думать о его сохранении, пусть на иных условиях. Не республики разваливают федерацию, а центр, не желающий отказаться от демократического централизма, то есть от своего права решать за «нижестоящих». Если мы не наладим с Литвой взаимоуважительные отношения, вина падет не на Ландсбергиса и не на Бразаускаса, сколько бы оплошностей они не допустили, а на тех, кто приказывал перекрывать нефтепроводы и газопроводы, кто позволял нашей общесоюзной армии выполнять приказы группы частных лиц, отколовшихся от компартии Литвы. Демократический централизм, даже если он и в самом деле демократический, как государственный закон означает ущемление меньшинств — и социальных, и национальных. А поскольку у нас все народы в меньшинстве, даже и русский скоро может оказаться меньшинством по отношению к остальным, вместе взятым, можно полагаться лишь на демократическое согласие, приводящее к единству не силовым давлением центра, а специальной системой процедур согласования общих решений между республиками. Говоря «центр», имеют в виду нечто стоящее над республиками, но центр федерации — это лишь их согласованное стремление.

Понимание содержательности процедур позволяет отличить самое существенное от менее существенного. Конечно, всенародные выборы президента предпочтительнее избрания его съездом. Но за спором о том, как президента выбирать, депутаты так и не выяснили, подходит ли вообще нашей стране президентская форма правления. Ю. Н. Афанасьев в ходе обсуждения немалую часть речи посвятил критике Ленина. Это было вполне уместно для анализа положения в стране и перспектив перестройки, но в данной связи стоило бы вспомнить, что, согласно Ленину, у федерации равноправных народов не может быть единого главы, и сперва его функции поочередно исполняли представители четырех республик, положивших тогда начало союзу. Это уже при Сталине появился единый всесоюзный староста, а при Брежневe еще его первый заместитель, поднятые над представителями республик. Учреждение поста президента, кто бы его ни занял, уже самой переменной структуры, самим характером осуществления власти продолжило традицию. А она утверждала набирающую силу административно-командную систему.

Конечно, парадоксально, что президентом избран человек, открыто выступивший против этой системы. Видимо, многие депутаты, да и он сам, искренне верили, что новая должность нужна, чтобы успешнее продолжать начатое. Но в том-то и дело, что содержательность общественных структур куда сильнее воли отдельного, даже самого

одаренного человека. Назначение министров уже не обсуждается в Верховном совете, а это нововведение приносило пользу, исключая из предлагавшихся наиболее одиозные фигуры. Двое новых министров перед депутатами так и не выступили. Но винить в этом следует не М. С. Горбачева, а наших народных депутатов, сваливших на него ответственность за все происходящее в стране.

Недавно народный депутат СССР академик В. Л. Гинзбург в пространной статье сетовал, что сторонники демократии не поддерживают М. С. Горбачева, инициатора демократических преобразований. Его беспокойство понятно. На одном из недавних пленумов ЦК Горбачеву выговаривали, что за создание критической обстановки в стране «нас хвалит весь буржуазный мир, все бывшие и настоящие противники, благословляет папа». И, к сожалению, никто, кроме самого Михаила Сергеевича, не считал нужным на это возразить. Перед угрозой, различимой за таким извлеченным из застойного нафталина обвинением, разногласия между Горбачевым и межрегиональной группой вроде и впрямь отступают на второй план. Однако именно процесс полемики между людьми демократической ориентации, в том числе и Горбачевым, само наличие открытой и взаимоуважительной полемики, кто бы ни был в том или другом случае прав, и отличает прежде всего новое мышление от старого, когда страшней всего было заслужить одобрение буржуазного мира и, упаси господь православных, папы римского. Последовать призыву академика В. Л. Гинзбурга, поспешить к единомыслию и единогласию, пусть даже опять на самых правильных принципах, а ведь и Горбачев прав не всегда, как раз и значило бы отказаться от необходимых стране перемен, которые начал Горбачев.

У нас принято думать, что реальные преобразования возможны лишь при сосредоточении власти в одних руках, хоть на деле сама нужда в преобразованиях возникла как раз вследствие такого сосредоточения. Для другой жизни нужны другие процедуры, для доброго дела непригодны средства, которыми вершили злое. Цель не оправдывает средства, а вот средства, методы, процедуры в конечном счете определяют цели общества и людей, желавших совсем другого, делают своими орудиями. Академик В. Л. Гинзбург удивительным образом упускает из виду самого Горбачева, который и в прежней своей должности, обратись он за поддержкой к демократическим массам, получил бы ее еще верней, чем вступивший потом на этот путь Б. Н. Ельцин, хотя бы потому, что вступил на него раньше, в более трудную пору. Но и самая искренняя поддержка не защитит и самый достойный авторитет, когда действия не им одним или даже вовсе не им, но без его противодействия свершаемые, уже открыто противоречат провозглашаемым целям.

Генеральный секретарь ЦК не раз умно и справедливо говорил, что решающая роль в партии должна принадлежать рядовым коммунистам, а тем временем у нас в городе человек, не получивший в своей организации мандата на областную партконференцию, попал туда прежним способом (как, кстати, и значительная часть ее делегатов) — через районную конференцию, и вновь стал первым секретарем обкома. Подобные процедуры, а их не счесть, неизбежно подрывают авторитет того, в чьих руках вся полнота власти, просто в силу персонификации социальных явлений. Столь же подрывную для авторитета М. С. Горбачева роль

сыграл и замысел Н. И. Рыжкова, Ю. Д. Маслюкова, Л. И. Абалкина, В. С. Павлова, поднять цены под флагом перехода к рыночным отношениям.

Между тем демократические преобразования, в том числе и реальный переход к рынку, осуществимы лишь как переход от всеобщего, взнуданного центром единства, именуемого демократическим централизмом, к процедурам демократического согласия, то есть обретая конкретную общность в конкретных вещах без отказа от собственных позиций — при возможности путем взаимных уступок и в любом случае уважительно признавая за меньшинством право отстаивать свои стремления. Слова о любви к отечеству или преданности социализму не ведут больше к согласию, ибо мнения о том, что отечеству во благо и какой общественный порядок считать социалистическим, разошлись достаточно далеко.

В отличие от В. Л. Гинзбурга я думаю, что успех перестройки зависит не от того, вольются ли демократические депутаты в одобрительный хор, а от того, в какой мере разным демократическим течениям удастся нащупать конкретные точки согласия и провести преобразования в жизнь вопреки тем, кто их не желает. Авторитет М. С. Горбачева гораздо больше, чем от президентской должности, укрепился бы от демократических перемен внутри партии, от того, скажем, что он бы публично выступил против известного письма от имени ЦК, положившего начало исключению из партии сторонников демократической платформы, и за восстановление уже исключенных. Это замедлило бы и падение авторитета партии.

Но хоть поиски внутреннего демократического согласия в партии важны, не менее важно искать, пусть еще менее полное, согласие с людьми, вышедшими из партии или вообще далекими от нее, создающими ныне независимые, пользующиеся влиянием демократические организации. Жизнь показывает, что осуществить всеобщее счастье в одиночку не удастся. Люди так или иначе должны участвовать в совершенствовании собственной жизни, если, понятно, они сами этого хотят. Затем и нужно тщательно шлифовать процедуры демократического согласия, призванные заменить прежнее давление. Здесь ключ ко всему. В пренебрежении процедурами слышна тоска по произволу, по власти, от нашего имени творящей все, что ей хочется, ни за что не отвечая.

Справедливость процедуры, которую при нашей неопытности трудно вырабатывать, состоит в том, чтобы все обрели свободу высказать свое, ограниченную для каждого лишь свободой других, и смогли не позволить даже большинству сгонять с трибуны депутатов, хоть их время не истекло, хоть они и рты не успели раскрыть, — как согнали Н. И. Травкина. Вождю и толпе процедуры не надобны, они их только стесняют, но свободы без них не будет. Чтобы не свалиться в пучину гражданской войны, общество нуждается не в новом единомыслии — попытки его установить как раз войну и разжигают, — а в процедурах свободы. Лишь они гарантируют каждому участие в собственной жизни, необходимое, чтобы никто никогда не чувствовал себя лишенцем, лишним своей стране.

И ЭТО БЫЛО ПРАВИЛЬНО?

31 июля в «Ленинградской правде» появились неожиданные для этой газеты слова: «Надо посмотреть суровой правде в глаза и признать — от ответственности за прошлое нам, коммунистам, никуда не уйти. Проклятье

прошлого долго будет преследовать нас, и не так-то легко от него освободиться, как думают иные горячие головы, взывающие: "Хватит посыпать голову пеплом! Пора выходить из окопов!". Пишет это не кто-нибудь, а новый секретарь Ленинградского обкома по идеологии Ю. П. Белов и продолжает: «Достоин всяческого уважения тот, кто... готов встать в полный рост и позвать за собой: "Хватит пятиться! Пора идти вперед!" Но куда вперед? К нашему бывшему "авторитету власти"? Так это же не вперед, а назад».

Секретари Ленинградского обкома на моей памяти всегда были твердокаменными, всегда бежали впереди застоя. Даже недавнее глумление съезда над А. Н. Яковлевым и Э.А. Шеварднадзе возбудил наш ленинградский первый секретарь, загодя выбросив лозунг: «Политбюро к ответу!». И вдруг — человеческая речь! Как хотелось бы порадоваться: вот и в Смольном какие-то сдвиги! Но подведомственная товарищу Белову сфера не то что его настроений не разделяет, но с традиционным ленинградским упорством идет в атаку на обновление, по-прежнему доказывая, что все в общем было правильно.

1 июля, за месяц до выступления Ю. П. Белова, в газете «На страже Родины» три полосы занял Я. Лернер, известный тем, что в ноябре 1963 года опубликовал с двумя соавторами в ленинградской «Вечерке» статью «Окололитературный трутень», которой началось открытое преследование поэта Иосифа Бродского. Историю эту знает весь мир, не раз ее пересказывала уже и советская печать. «Огонек» в позапрошлом году опубликовал запись суда над Бродским писательницы Фриды Вигдоровой. К Бродскому между тем за четверть века пришло всемирное признание, недавно он удостоен Нобелевской премии по литературе, наши журналы печатают его стихи, уже и книги стали выходить на родине. Казалось бы, можно не вспоминать о давнем позоре. Ан, нет, стоят на своем!

С молодым человеком обошлись несправедливо, а потом вынудили его покинуть родину, — мир знает о многих, кого, увы, постигла подобная участь, но, заполняя на день полосы газет, они уходят в неизвестность. Бродский сегодня известен не своими юношескими страданиями, о которых многие и не знают, а своими стихами. Именно они принесли ему стойкую мировую славу, ими он и знаменит. Вот и нам бы их читать, о них говорить! Но газета «На страже Родины» двадцать семь лет спустя настаивает, что обвинение поэта в тунеядстве было справедливо, что судилище и наказание были справедливы, что запись Вигдоровой якобы не соответствует действительности, что выступления печати «являются частью хорошо продуманного плана по реабилитации И. Бродского». Или всерьез они думают, что Бродский нуждается в их реабилитации? А ведь это нашей стране, нашей прокуратуре, нашему суду, нашей милиции, нашим дружинникам, нашим партийным органам надо бы в этой связи думать о своей реабилитации!

Опровергнуть фальшивую запись процесса, изготовленную Лернером, не составит труда. В зале были десятки людей, известных своей порядочностью и подтверждавших потом достоверность записи Вигдоровой. Но она в сторонних подтверждениях и не нуждается. Фрида Вигдорова была человеком безупречной честности и искренности, но чтобы тогда записать и опубликовать происшедшее на суде, нужно было еще геройство, и Вигдорова совершила этот подвиг. А нравственные понятия Лернера известны с 1963 года, ждать от него раскаяния не

приходится, так что вновь подробно опровергать его ложь нет нужды. Замечу лишь, что изготовителю фальшивых банкнот надо знать рисунок на купюрах. Вот и Лернеру стоило знать, что А. Раскина, подготовившая публикацию в «Огоньке», — родная дочь Фриды Вигдоровой, и не заявлять, что публикатор к процессу «не имеет ни малейшего отношения». И не стоит приписывать свидетелю Е.Эткинду утверждение, будто Бродский «не состоял в группах и секциях». Ведь Бродский выступал на устном альманахе секции перевода, вести который было поручено Е. Эткинду, и он не мог сказать, что этого не было. Об этом, как и о другом участии Бродского в работе ленинградских переводчиков, знает множество людей. Секция перевода не случайно еще до суда, когда из-за статьи Лернера издательство «Художественная литература» расторгло трудовые договоры с «тунеядцем», официально обращалась к директору издательства В. А Косолапову с просьбой эти договоры восстановить.

Можно так, пункт за пунктом, опровергать и остальные выдумки. Но важнее понять, зачем эта очевидная ложь понадобилась сегодня. Нынче, как, впрочем, и тогда, дело не только в Бродском, тем более что нанести ему ущерб хозяева Лернера на сей раз, к счастью, уже не в силах. Разве что вконец отобьют у выдающегося поэта охоту хоть ненадолго посетить родной город.

Номер газеты с фальшивкой Лернера содержит еще три крупных материала: свежее интервью с Б. В. Гидасповым, давнее — от марта 1917 года — интервью с В. М. Пуришкевичем и на целую полосу статья, глумящаяся над принципом «разумной достаточности», взятым ныне Советской армией за основополагающий, и уверяющая, что наши вооруженные силы должны непременно во всех отношениях превосходить всех мыслимых и немыслимых противников. С чего бы затесалась туда история старой провалившейся провокации? Зачем опять бездоказательно утверждать то, что убедительно опровергнуто самой жизнью, не говоря уже о выступлениях печати?

Это станет понятно, если отвлечься от необыкновенной судьбы и личности Иосифа Бродского и вспомнить обвинение: тунеядство! Лернер с особым упорством возражает тем, кто уверяет, «что суд над Бродским имел политическую окраску, что судили человека, осмелившегося иметь собственное мнение», хотя позднее не только сам квалифицирует «антисоветские, откровенно националистические сионистские взгляды Бродского», но объявляет, что о своем неуважении к Ленину Бродский якобы заявил по ходу судебного заседания. Да существовал ли в природе советский суд, который в 1963 году мог оставить такое без последствий? И все же главный пафос Лернера в том, что судили за тунеядство, стало быть, уверяет он, за дело.

Вот суть и проступает. По ходу процесса и защитник, и свидетели защиты справедливо говорили, что поэт — не тунеядец, что работа над стихом не легче, чем за станком, и так оно, конечно, и есть. Да иначе защита аргументировать и не могла, поскольку в 1961 году президиум Верховного совета РСФСР издал указ о борьбе с тунеядством, и каждому, кто по тем или иным причинам не находил работы по специальности, да и вообще работы, пусть и не по специальности, надлежало оправдываться, доказывать, что он не тунеядец, запасаться справками, где-то оформляться, пусть и без заработка. Бродскому, при фантастическом успехе его стихов, ничего не стоило, устроить себе такое

псевдооформление. Но он не ловчил, а вел себя с государством как честный человек. Однако честность, искренность как раз и были тогда самыми тяжкими грехами, и даже теперь, в эпоху гласности, мы часто слышим, что и в них надо меру знать. Утверждая, что суд был справедлив, нам и внушают наново сознание этой меры, как бы говоря: разумный или неразумный установлен порядок, судить не вам, вам положено не рассуждать, а делать, что велют, хотя бы формально тем подтверждая, что наш порядок, разумен, то есть что разумна наша административно-командная система.

Неспроста и стремление доказать правомерность самого по себе обвинения в тунеядстве. У нас и тогда была и ныне есть открытая и еще больше скрытая безработица. При экономической реформе она неизбежно возрастет, и государству придется оказывать людям помощь. А по схеме 1961 года, которую газета «На страже Родины» выдает за образец справедливости, безработные — это просто тунеядцы, их можно будет по суду принудить к подневольному труду не там, где им хочется, а где угодно властям, и уж во всяком случае можно будет о них не заботиться! Это ведь одна из самых главных проблем перехода к рыночным отношениям. И вновь, объявляя человека тунеядцем за то, что он не состоит на государственной службе, опять фактически ратуют за нормы административно-командной системы. Случай Бродского, тут особенно удобен: дескать, норма для всех — даже крупному поэту, будущему лауреату Нобелевской премии, послаблений не делали. Вот как было все тогда справедливо!

Примечательно и изображение в статье ленинградской писательской организации, полностью отождествленной с ее тогдашним, руководством, которое в деле Бродского вело себя отвратительно. Автор статьи не только умалчивает, что помянутые им свидетели защиты, виднейший германист профессор В. Г. Адмони и поэтесса Н. И. Грудинина, тоже члены Союза писателей, но даже не вспоминает, что на первых же выборах после суда над Бродским тому руководству пришлось уйти, что выступавший, в суде против Бродского референт союза Е. Воеводин вынужден был оставить свою должность. Да и освобождения из ссылки добились все же писатели, а не дружина Лернера, отправившая Бродского туда. Молчит Лернер и о том, что обретенный после освобождения вполне официальный статус — по инициативе секции перевода, поддержанной новым руководством писательской организации, Бродский был принят в профессиональную группу при союзе писателей, — не уберег от новых преследований и фактического выдворения за рубеж, хотя о тунеядстве уже не могло быть и речи.

Не зря атака на Бродского служит возрождению прошлого, преследующего нас, как проклятье. Не зря статья Лернера напечатана на обороте статьи против разумной достаточности вооруженных сил, каковая тоже несовместима с административно-командной системой. Поношение поэта, оскорбление людей, за него вступившихся, извращение хода судебного заседания — все это, как прежде, лишь подсобные средства для главной цели, защиты отмирающего, но еще мешающего жить порядка.

Если этот номер газеты случайно попадет поэту в руки, я наперед прошу прощения, что возбуждаю неприятные воспоминания о тяжелых временах. Но нам помнить о них необходимо, поскольку нас хотят к таким временам вернуть. Ради этого газета «На страже Родины» и провела

могучую артподготовку перед съездом партии. И нельзя не огорчиться, что, выступая уже после съезда со своей статьей, новый секретарь по идеологии Ю.П. Белов ни словом не обмолвился об этой, самой чудовищной с тех пор, как он появился в обкоме, открытой вылазке ленинградской реакции. Очень мне хотелось поверить, что новый секретарь, в отличие от прежних и нынешних, впрямь намерен способствовать движению вперед, а не назад, что его появление в Смольном не сведется к тому, чтобы более умелыми, чем прежде, речами, прикрывать попятное движение. Но выступление газеты «На страже Родины», не получившее в обкоме ни отклика, ни оценки, от излишнего доверия и чрезмерных надежд предостерегает. Наш великий город, город Нины Андреевой, город инициативного съезда РКП, не меняется.

ВТОРОЙ ДЕКРЕТ О МИРЕ

Революция или гражданская война? Люди, начитанные в отечественной истории, наверняка подивятся этому «или». Привычнее «и» — одна следует за другой, и конца им нет. Здесь главный камень преткновения, на этом спотыкаются желающие понять советское общество и терзающие его противоборства, не вчера и не пять лет как начавшиеся.

Революция, как известно, вспыхивает потому, что общество, утратив возможность жить, как прежде, впадает в кризис, — реформы не проводятся, выхода не остается, и в прежнем своем качестве общество рушится. Причины тому бывают разные, чаще всего хозяйственные. Но если коренные реформы или революция преодолевают мешавшие жить порядки, кризис проходит, и жизнь достаточно быстро входит в нормальную, хоть и другую, колею. А вот если старый порядок не сдается или, напротив, новый, установленный победителями, не отвечает объективным потребностям общества, начинается гражданская война.

Коммунистическая партия почти без сопротивления пришла к власти осенью семнадцатого года, но вскоре начала гражданскую войну, которую ведёт по сей день. Названия менялись: на рубеже 30-х гражданская война уже именовалась коллективизацией, потом — борьбой со шпионами и диверсантами (их выловили чуть не 20 миллионов). Потом она звалась борьбой с космополитами и националистами, ныне ее тихое течение зовут застоєм. Лишь дважды, в 1921 и 1985 годах, в партии возникали сомнения в плодотворности войны. В 1921 году, через три с небольшим года после прихода к власти, Ленин провозгласил новую экономическую политику, вскоре после его смерти свернутую. Это было, говоря в современных терминах, отступление от социалистического выбора (пусть тактическое и временное), совершенное Лениным абсолютно осознанно. Оно позволило в считанные годы вернуть страну к нормальному бытию. Нынче и за пять лет контуры новой экономической политики не определились. Говорят, что об отказе от социалистического выбора и речи быть не может.

РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС — это партия социалистического выбора. Классическому марксизму такое понятие чуждо. Там наступление социализма — историческая закономерность, такая же, как перед тем — наступление капитализма, разъедающего традиционное феодальное общество. Выбрать социализм невозможно, можно лишь, когда капиталистическое общество исчерпает свою продуктивность, способствовать либо противодействовать социалистическим началам.

Пока капитализм себя не исчерпал — а хоть он трижды плох, об этом нет речи даже в сегодняшних самых развитых странах, не то что в старой России, — социалистический выбор не многим отличается от выбора круглосуточного солнечного освещения. Дело хорошее, да нам не под силу, даже если образовать соответствующую партию...

Мечты о постоянном солнечном свете дальше прекраснотуши не продвинутся. С мечтами о наступлении социализма по выбору куда сложнее. Единственную надежду его установить дает гражданская война. Ирония истории, однако, в том, что социалистическое движение остается социалистическим, лишь пока сознает пределы возможных насильных преобразований, сознает, что насилие, быть может, повивальная бабка истории — хоть в наши дни и это не вполне очевидно, — но никак уж не кормилица, не няня, не воспитательница, и не учительница.

Обществоведы гадают, какое общество мы все же построили. Иные смельчаки уверяют, что капиталистическое. Но если на всю страну есть один-единственный легальный капиталист — государство, законы капитализма не работают, и счесть такое общество капиталистическим невозможно. Уверяют, что такова высшая стадия его развития, но согласиться, что она высшая, мешает хозяйственный упадок. Не социализм ли это? Но тогда какой-то особенный, ибо именованный научным тоже предполагал более высокое развитие хозяйства, чем при капитализме, и рост производительности труда. Приходится признать, что вопреки всем бурным событиям века наше общество не рассталось с феодализмом, что социализм у нас феодальный.

Социалистическое движение родилось в феодальной России даже раньше, чем стал развиваться капитализм. Социалист в феодальной стране живет не сиюминутным социалистическим выбором, а часто отдаленным социалистическим идеалом. Стремясь к социализму, он борется за демократию, открывающую дорогу капитализму: когда утверждается капитализм, он сосредотачивается на защите прав трудящихся и, добиваясь социальных гарантий, внедряет социализм в жизнь. Когда же в полуфеодальной стране партия строит социализм и даже вдруг объявляет, что он уже построен, она лишь ожесточает гражданскую войну с теми, кто Маркса, быть может, и не читал, но на своей шкуре ощущает, что от этого социализма и людям и хозяйству один вред, что обещанный партией социалистический выбор не сбывается. Общество, складывающееся в ходе этой многолетней гражданской войны, хоть, конечно, противостоит капитализму, оказывается псевдо-социалистическим, реставрировавшим феодализм уже не только на аграрной, а и на индустриальной почве.

Этот порядок мы стыдливо именуем административно-командной системой. Если бы назвать его более точно, например, тоталитарным феодализмом, это прояснило бы сознание общества и помогло понять корни наших бед и пути их преодоления. Нынче кругом твердят о необходимости повысить персональную ответственность руководителей. Что это, собственно, значит? В тюрьмы их, что ли, опять сажать? Или бросать на растерзание возмущенному народу, как некогда бояр с крыльца? Это все феодальные нравы. Да еще способ снять ответственность с партии, которую эти руководители, стоя у власти, представляли. Истинной ответственности не бывает там, где нет демократически состояющихся реальных конкурентов с разными

позициями, платформами и программами. Но феодальный мир знает лишь силовую конкуренцию, поэтому он всегда «не готов» к рынку, в нем правят пожизненно или расставаясь с жизнью, чтобы освободить место, а бескровно заменяют разве что сидящих внизу.

Стоит задуматься, почему Борис Ельцин, недавно казалось, навсегда выброшенный из политической жизни, стал тем временем более крупным, чем прежде, политическим деятелем. По-моему, его сделал таким опыт конкуренции, опыт фракционной борьбы. Сегодня он, должно быть, понимает, что одной сменой секретарей райкомов хозяйство не вылечишь, что секретари райкомов вообще не должны иметь к хозяйству отношения. Внеэкономическая власть над хозяйством, закрепленная за ними не законом, а живой традицией, как раз и есть главное проявление феодальной природы нашего общества. Пусть «секретарь райкома» звучит не так роскошно, как «барон», а «секретарь обкома» не так величественно как «князь», они ведь тоже прежде всего воители нескончаемой гражданской войны. Само существование их власти над всем и всеми считается залогом и доказательством существования у нас социализма и счастья всех трудящихся. 6-я статья конституции лишь оформляла эту традицию, а Сталин отлично обходился без нее. Какой же смысл говорить об ответственности руководителей за продовольственное снабжение, медицину, экологию, когда высшая ценность общества — стойкость в осуществлении социалистического выбора.

В последнее время часто говорят об утечке умов, указывают пальцами на эмигрантов, добившихся «там» успеха. Но ведь у нас-то они никакого успеха все равно бы не добились! У нас нет и не может быть утечки умов, ибо у нас умы, если не припирает к стенке, остаются невостребованными, все делается, чтобы они не развились, не реализовались. Удивляться надо не разгрому генетики или кибернетики, а тому, что другие науки не были тоже разгромлены. Физику спасла ядерная бомба. Все это было ужасно, но вполне понятно, ибо научная дискуссия несовместима с непрерывной гражданской войной и требованием всеобщего единства.

Борьба против науки, против искусства, против интеллекта, непостижимая сама по себе, закономерна как часть гражданской войны. Она и поныне ведется, пусть не в столь наглядных формах. Стало быть, нечего удивляться, что, допустив гласность для беспартийных и инакомыслящих, партия для себя ее по-прежнему не терпит. Допущение ее не на словах, а на деле потребовало бы сообразования с реальностью или, как минимум, с теориями, объявленными священными. Вот Маркс, например, утверждал, что с феодализмом несовместима паровая машина. Тем более несовместим с ним компьютер.

Не стоит, понятно, думать, что, выполняя мы указания Маркса, жили бы теперь в раю. Далеко не все его идеи выдержали испытание временем, а иные изначально были неверны. Но Маркс все же построил некую систему взглядов, далеко не во всем утратившую смысл. Можно ее принимать полностью, принимать частично, отвергать, но, когда библия официальной идеологии и практическая деятельность кругом противоречат друг другу, общество теряет возможность самооценки.

Сегодня, правда, не только идеологи КПСС, но и ее противники уверяют, что все у нас делалось по Марксу, поскольку ссылались на его суждения, пусть и вырванные из контекста. Но Маркс, к примеру, ожидал социалистическую революцию в наиболее развитых странах. В этом суть

его теории о закономерности социализма — ее опорой были, так сказать, сильные звенья капиталистической цепи. В противовес явилась известная теория «слабого звена», в котором цепь легче прорвать, а тем, что новый порядок уже не явится почти готовым, что его придется наводить силой, не оглядываясь на число расстрелянных, никто не смутился. И вот вместо марксова постбуржуазного возник наш — феодальный — социализм.

Совершенно так же Маркс полагал, что социалистическая революция произойдет во всех развитых странах одновременно. Ленин, видимо, до конца дней верил, что в Европе «вот-вот начнется». Так, однако, не случилось и стали строить социализм в одной, отдельно взятой стране. Соответственно, вместо марксова интернационального социализма получился национальный социализм. Нам не случайно объясняли, что не Стефенсон построил паровоз, не Фултон — пароход, и не братья Райт — самолет, что все это случилось вовсе не в развитых капиталистических странах, а в нашем любезном, технически отсталом отечестве. Этими вроде бы наивными речами внедрялась в умы идеология национального социализма. Посеянное при Сталине пышно проросло сейчас, и пора бы признать, что она, пропагандируемая ныне уже без фиговых листков, создана не мелкими сегодняшними хулиганами в сапогах и черных рубашках, а сталинскими соколами — Ждановым, Сусловым, Пospelовым...

Попытки свести уродство нашей жизни к действительным или мнимым заблуждениям Маркса и всего освободительного, антифеодального движения в России, начиная с Радищева, выдают стремление сохранить феодальную систему, облачив ее в новый идеологический наряд, вернее, восстановив открыто феодальную традицию. Что ж, царевич Алексей и его сестры, и впрямь невинно убиенные, феодальным идеалам сподручнее, чем бунтарь-иностранец с бородой, портреты которого еще в некоторых присутственных местах сохраняются. Да только в какие мифологические одежды его не ряди, феодальный порядок и гражданская война, пресекающая попытки сменить его демократией, будут губить страну.

Говорят, что партия признала свою ответственность за прежние преступления. Верно, признала. Только ведь и король Клавдий признал перед богом свою вину в убийстве отца Гамлета. Он, однако, догадался, почему его покаянные молитвы остаются неслышанными, — ведь при нем по-прежнему было все то, ради чего он убивал: и королевство и королева. Но партия (на российском съезде делегаты были на диво откровенны) по-прежнему претендует на особенное место в ряду общественных организаций, на руководство хозяйством (ведь партийные организации по месту работы сохраняются), на особое влияние в армии, милиции и КГБ, и даже некогда присвоенные государственные издательства возвращать не спешит — то есть власть ее, что бы там ни говорили, продолжается и растет, а авторитет пропорционально падает. В ответ власть проявляет твердость.

Порой спрашивают, почему потерпевшие поражение Германия и Япония давно преодолели утраты и разбогатели, а мы все еще ощущаем последствия давних лет. Да потому, что у них после разгрома настал мир, а у нас после победы возобновилась гражданская война, впрочем, и во время Отечественной войны не вполне затихавшая. У XXVIII съезда есть шанс ее остановить. Это трудный шанс. Слишком долго мы шли вспять от декрета о земле и декрета о мире. Но к ним-то и надо воротиться, чтобы,

покончив наконец с гражданской войной, люди могли по собственному разумению пользоваться плодами революции.

СЪЕЗД И ПОБЕДИТЕЛИ

При закрытии съезда, не спеша определять, каково будет воздействие съезда на жизнь партии и общества, М.С.Горбачев подчеркнул, что оно будет и весомым и длительным. Я того же мнения, и это как раз толкает выяснять, каким оно все-таки будет. Съезд обозначил силы, желающие разных вариантов разрешения кризиса, равно как и не желающие оный кризис замечать. Но он показал, что партия нового типа, точнее, старого типа, партия обкомов, райкомов, парткомов, жива и сдаваться не будет.

14 июля «Ленинградская правда» вместе с резолюциями съезда опубликовала письмо читательницы: «Зачем лгут те, которые утверждают: другого выхода из кризиса нет? Можно ведь вернуться назад к централизованной экономике. Она формировалась десятилетиями, проверена жизнью. Нужно вернуться назад». Значительной части делегатов съезда тоже трудно согласиться, что формировавшаяся десятилетиями централизованная экономика разорила страну и привела к кризису. Многие безоглядно поддержали предложение ленинградца «инициативника» В.Тюлькина отвергнуть рыночную экономику. Число их немногим меньше трети всех делегатов, примерно столько же отказало Горбачеву в поддержке при избрании генерального секретаря.

Это совсем уже крайние. Большинство же их единомышленников все-таки сознает, что Горбачев — единственный, кто еще способен спасти партию от народного негодования. От того, что о реформах пять лет только говорят, авторитет Горбачева в народе поколебался, но в этой среде укрепился. Его личная одаренность сегодня значит для них больше, чем его личные воззрения. Съезд глумился над Яковлевым, живым воплощением ожидаемых реформ, устроил неистовую овацию Лигачеву, главному оппоненту Горбачева, но проголосовал за его кандидата Ивашко. Понятно, и Горбачев принес на алтарь консолидации с консерваторами немало, но с точки зрения политической технологии генеральный секретарь провел съезд мастерски. Даже некоторая тусклость основного доклада усилила взрывной эффект от речи, заключавшей прения, где телезритель вдруг вновь увидел Горбачева, остро сознающего, куда централизованная экономика едет на танках. Словом, будь этот съезд XXVII, оставалось бы лишь аплодировать да дивиться могучему политическому таланту вести своих противников за собой.

Мешает происходящее за стенами Кремля, неподвластное ни распределению постов, ни текстам резолюций. Конечно, появление в политбюро республиканских первых секретарей — не пустяк, но наивно думать, что включение туда Бурокаявичюса даст нынче эффект, который дало бы включение Бразаускаса на XXVII съезде, — эффект будет обратный. Другое дело — среднеазиатские республики. Но съезд — нечто большее, чем тексты и посты. Его влияние зависит не так от них, как от атмосферы, от наличия в ней кислорода для дальнейшей жизни.

Всякий съезд — фотография партии, и первой возникает мысль о мере сходства. Неужто в партии и впрямь более четверти «инициативники»?

Неужто так мало в ней людей, сочувствующих Яковлеву? Неужто едва наберется 2% приверженцев Демократической платформы? Многочисленные социологические опросы, да и ход ленинградского инициативного съезда, на котором большинство организаций не было представлено законно избранными делегатами, побуждали думать о 19 миллионах коммунистов лучше.

Конечно, сыграло роль письмо ЦК, по объективному своему смыслу призывавшее сводить на нет демократический фланг и не конфликтовать с реакционным. Но формирование делегаций и так было в руках аппарата. Если ни на одном еще съезде секретари парткомов и хозяйственные руководители не преобладали столь явно, это, прежде всего, значит, что стало меньше показательных рабочих и крестьян, на которых можно твердо положиться. Бастовавшие под занавес шахтеры компенсировали недостаток рабочих и крестьян меж делегатов. Таким образом, партия по-прежнему вырабатывает свою позицию, отвлекаясь не только от десятков миллионов трудящихся, в нее не входящих, но и от подавляющего большинства состоящих в ее рядах. Новизна, однако, в том, что на сей раз позицию и в самом деле вырабатывал съезд, не секретари ЦК, а секретари парткомов. Для партийных масс демократии по-прежнему нет, но для секретарей она явно выросла. Конечно, тексты и списки, спущенные сверху, они одобрили. Но неприятие реформ различимо в реакции зала, в захлопываниях и переголосовываниях, в половинчатости едва ли не каждой резолюции, которая с одинаковой легкостью послужит и проведению и торможению реформ.

Егор Кузьмич Лигачев, проиграв место заместителя, уже не баллотировался в ЦК. Но стоит ли радоваться, что в политбюро его заменил Иван Кузьмич Полозков? Мне, признаться, Егор Кузьмич был даже симпатичен своей чистосердечной верой в то, что пьянство можно выкорчевать, как виноградники, а объективная реальность нам, людям особого склада, не указ. Он даже заявил на съезде: «Не приемлю, когда говорят, что Ленин в конце жизни решительно поменял свою точку зрения на социализм». Ленинские слова о том, что мы должны изменить всю нашу точку зрения на социализм, достаточно известны, и, поручи Егор Кузьмич проверить, принадлежат ли они Ленину, референты указали бы и том, и страницу. Не счел нужным проверять, свято верил, что Ленин, равно как и Маркс, говорил только то, что соответствует политике партии, политике Лигачева. Но прежде чем смеяться над наивным Егором Кузьмичом, вспомним, что в огромном Кремлевском зале никто за Ленина не вступился. В резолюции написали: «Защита его (Ленина, — П.К.) как политика и мыслителя от клеветы и шельмования, а также от казенных почестей и славословий, — долг каждого коммуниста, честного человека», а защитить Ленина от Лигачева никто из пяти тысяч видных коммунистов не счел нужным, и это характеризует съезд точнее, чем отставка Лигачева.

В той же резолюции сказано: «Обострение межнациональных отношений застало партию врасплох». Опять любимый наш фактор внезапности, которым и поныне объясняют отступление до Волги и Кавказа. Но как же «врасплох», когда делегат М.Кабелькова из города Абакана еще до принятия резолюции говорила: «Агрессивная экономика породила особый тип русскоязычной бюрократии, особенно хозяйственной, которой безразлична судьба малочисленных народов, да и к русской культуре они совершенно равнодушны. Думается, что это одна

из причин русофобских настроений». Неужто же заметное в Абакане не было заметно в Тбилиси, в Вильнюсе, в Москве? Не стоило ли в резолюции прямо сказать, что именно партия насаждала и поощряла эту бюрократию? Сказать не ради покаяния — (М.С.Горбачев даже объявил в заключительной речи, что требовать от партии покаяния это антидемократическая и подстрекательская деятельность), — а ради перемен, без которых показное покаяние не лучше веры в свою непогрешимость. XXVIII съезд сочтут консервативным не потому, что на нем мало каялись, а потому, что его делегаты не проявили стремления жить иначе, чем до апреля 1985 года.

Шеварднадзе и Яковлева бранили за то, что народы Восточной Европы и наших республик хотят самостоятельности, суверенности, подавление которой как раз и обострило социальные проблемы. Лигачев сетовал, что немцев — 80 миллионов, слишком много, чтобы позволить им объединиться. Но, помилуй бог, если мы проявляем разумную сдержанность и не объявляем преступниками каждого члена массовой политической организации, творившей зло, хотя вступали туда люди вполне сознательно, как же можно объявить преступным целый народ, к тому же в большинстве уже состоящий из тех, кто в годы войны был ребенком или вообще родился после войны, окончившейся как-никак 45 лет назад? В резолюции, конечно, есть прекрасные слова о свободе выбора, балансе интересов, равноправии и невмешательстве, но бурные аплодисменты Лигачеву, упорное сопротивление даже скромному расширению прав республиканских компартий обнажили зыбкость партийных понятий о праве наций на самоопределение.

В резолюции вскользь сказано, что комиссии ЦК КПСС слабо опирались на интеллектуальный потенциал партии. Но стоит ли винить комиссии, когда сам съезд дышал очевидной неприязнью к интеллектуальной деятельности. Под гул одобрения один из делегатов потребовал не только изгнать лидера демплатформы Шостаковского из партии, не только уволить его из Высшей партийной школы, но и непременно лишить ученых степеней и званий, прямо заявив, что нам не нужны ученые, которые против партии. Конечно, председательствующий А.И.Лукьянов догадался ответить, что ученые звания вне компетенции съезда. Но никто не счел нужным поколебать уверенность оратора и его многочисленных единомышленников в зале, что партийная истина выше научной. А ведь преследование ученых, не соглашавшихся с политикой партии в областях их научной деятельности, как раз и было важнейшей причиной нынешнего кризиса и нашего отставания в научно-технической революции. Никому не нужно, чтобы Горбачев каялся в убийстве Н.И.Вавилова, свершившемся, когда Горбачеву было девять лет, но кризис не преодолеть, если трагический опыт не станет для каждого коммуниста и, тем более, для съезда, представляющего партию как целое, поучительным. Партия, провозгласившая свое мировоззрение научным, все еще не научилась терпимости — главному условию существования науки. А нетерпимость противоположна демократическому сопоставлению мнений, и творческому соревнованию, и рыночному хозяйству.

Горбачев победил, переиграв, подчинив себе противников своей программы, и нельзя не воздать еще раз должное его политическому таланту. Иной возможности победить в одиночку у него, пожалуй, и не было. Разве что обратиться напрямую к рядовым коммунистам. Но наивно

ожидать, что противники программы, даже за нее проголосовавшие, будут способствовать ее осуществлению. Минувшие пять лет тому свидетельство. А ведь у программы Горбачева множество сторонников, уже не надеющихся, впрочем, что ее осуществит Горбачев, и ратующих за нее, подчас уже забывая, кто положил их делу начало. Конечно, движение было бы успешнее при сложении сил. Но XXVIII съезд очертил их парадоксальное расхождение.

Мы уже забыли, что, для того чтобы объединиться, надо сперва разъединиться. Каждому человеку осознать себя и каждой группе единомышленников тоже, тогда полнее проступит и общее между группами. Отвергнув объединение по фракциям и фактически даже по платформам, съезд уничтожил возможность подлинного, сознательного объединения, подменяя его так называемой консолидацией, то есть принесением многообразия жизни в жертву организационному единству и предписанной дисциплине. А лишь усвоив это многообразие, КПСС могла бы воскреснуть и в самом деле совершить революцию сверху. После съезда места для такой революции уже нет. Перемены становятся делом общегражданским, центр их перемещается в советы, а то и на улицу.

Сказав, что он уходит из партии, Борис Ельцин твердо направился к выходу из зала. Это был драматический миг съезда, обнаживший его итог. Опять же не обязательно, что Ельцину, хоть народные надежды переместились к нему, удастся наладить жизнь в России. Но так или иначе, решать уже будет не всесильная партия, но хорошо если советы, а то ведь и толпа и ее укротители. За партией еще стоит и сила государства, и сила оружия, да и новый теоретический фундамент готов — то А.Мигранян, то И.Клямкин, то Е.Амбарцумов объясняют, сколь благотворна авторитарность, и журят интеллигенцию за несвоевременное стремление к свободе. Будут еще новые законы, абалкинский псевдорынок с вздутыми ценами будет еще в том или ином виде проведен в жизнь, и нам опять объяснят, что это для нашего же блага. Процесс еще не закончен, и на круги своя все воротится иным. Но возможность завоевать съездом народное доверие партия упустила. А даже могучему тактическому таланту Горбачева не просто осуществить реформаторскую программу без такого доверия.

ЗАГОВОР, КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ

Отечество, конечно, в опасности, но опаснее всего сверхбдительные граждане

В январе–феврале нынешнего года в Советском Союзе готовился государственный переворот. «Планировалась замена советского строя, разгром КПСС, суд над коммунистами»... «События в СССР должны были в худшем виде повторить события в Восточной Европе». Заговорщики — «так называемые антидемократы», они же «лжедемократы-клеветники». Тайное стало явным. О неудавшемся заговоре узнал О.Семенчук (кто он? штатный или нештатный автор газеты? компетентное лицо? просто читатель?) и телеграфировал в «Правду», которая поместила его разоблачение на первой полосе (25 июля). Теперь я с тревогой жду фактов, подтверждающих ужасный замысел заговорщиков.

Мы должны знать, что и кем конкретно планировалось, кто руководил заговором, какие силы предназначались для захвата Главпочтамта и Центрального телеграфа, и, конечно, вестей, где эти экстремисты сейчас,

привлечены ли они, черт подери, к ответственности. Вон генерал Калугин сказал публично несколько банальностей, которые, по меткому слову, «знали два министра и все мальчишки в городе», а на него уже завели уголовное дело. А тут планировалось изменить государственный строй. Четыре месяца прошло, и никто, кроме бдительного. О.Семенчука, и знать ничего не знает, и последствий никаких. До чего безнаказанность дошла!

А ведь не один О.Семенчук против того, чтобы «поставить у власти марионеточный режим». Мне, например, такой режим еще менее желанен. И я не один такой — большинство наших граждан хочет мира не только внешнего, но и внутреннего. Разумеется, сегодня решения президента, Верховных советов Союза и республик, съездов многочисленных ныне партий не всегда вызывают единодушное одобрение. Люди справедливо хотят, чтобы избранное ими руководство прислушивалось к мнениям, которые они по праву высказывают в печати, на митингах, и на демонстрациях. Хочется, естественно, чтобы все это проходило мирно, в соответствии с общепринятым порядком. Хочется, чтобы власти отвечали пониманием, как ответил, к примеру, недавно Верховный совет СССР, отклонив предложенное правительством безрыночное повышение цен. Это и есть нормальная жизнь, начавшаяся перестройкой. И если кто-то, напротив, планировал на прежний лад силой разогнать Верховный совет и прочие власти, то говорить об этом, если все это на самом деле было, надлежит с предельной точностью и конкретностью, а то ведь можно подумать, что это просто провокация.

Осенью 1987 года я впервые в жизни получил разрешение на две недели выехать за пределы «железного занавеса». И в первый же день в Мюнхене, когда мы бежали с сопровождавшей меня фрау Эвой из хореографического училища в театр, я увидел выставленную в киоске газету «Бильд», где огромными буквами стояло: «ГОРБАЧЕВ ТЯЖЕЛО БОЛЕН». Я рванул к киоску, но фрау Эва сказала: «Мы и так опаздываем, а эту газету вообще не надо читать». Я сидел на репетиции, потом мне показывали видеозаписи, но, признаться, я плохо видел танцующих. И когда мы вышли из театра, я все-таки купил газету и пошел дальше, уткнувшись в нее.

Оказалось, что на первой странице только заголовок и несколько слов, а продолжение на шестой, где мелким шрифтом сообщалось, что в Москве ходят слухи о болезни Горбачева, основанные на том, что из отпуска он вернулся не самолетом, а поездом, вышел из поезда сам, но шел по перрону медленно... Все оказалось вздором! И когда я недоумевал, зачем писать на первой странице то, что опровергается на шестой, фрау Эва объяснила: «У нас очень строгие законы, вот газета и сообщает, что все это слухи, но, чтобы узнать, что это лишь слухи, вы купили газету и заплатили деньги!» Наши законы куда суровее немецких, но ни на какой странице опровержений, равно как и подтверждений, сообщения О.Семенчука, я не обнаружил. И в следующем номере тоже.

Или это нынче называется плюрализмом мнений? Но ведь то **мнений!**

Вот в номере от 28 июля Геннадий Селезнев пишет примерно то же самое: «С этими "демократами" нужно держать ухо востро. Они не так наивны, они научились облапошивать людей, спекулируя на их чувствах, играя на струнах большой экономики». Тут вопросов нет, я сразу понимаю — это мнение, поскольку заметка помещена в «Дискуссионном листке». Правда, рубрика несколько вводит в заблуждение — «По следам

событий», хотя речь идет о событиях, которые, по мнению автора, только еще произойдут осенью. Г.Селезнев предсказывает заговор пострашнее того, что раскрыл О.Семенчук, и расписывает по часам действия заговорщиков, что и когда скажет, к примеру, по телевидению Анатолий Собчак. Особо опасная роль отведена Гавриилу Попову — в нужный момент он промолчит.

Телеграмма же О.Семенчука помещена не в подборке писем читателей, не в «Дискуссионном листке». Вынося ее на первую полосу как самую срочную весть, газета, так получается, подтверждает утверждения О.Семенчука своим авторитетом...

О.Семенчук пишет: «Я призываю советских людей быть бдительными, решительно встать на защиту перестройки во главе с Президентом СССР, Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачевым». Но разве, чтобы поддержать президента, надо выдумками возбуждать страхи, сеять тревогу в нынешней и без того напряженной атмосфере?

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПРАВИЛО

Когда в начале года советское гражданство было возвращено Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу, меня охватила радость. За первым шагом просматривались благие намерения. Прозвучи в том первом указе и три последовавших потом, и 23 последовавших сейчас имени, радость была бы еще больше уже оттого, что сам первый шаг оказался бы решительнее. Не то чтобы сегодня радости вовсе нет, не то чтобы в нынешнем шаге нет благих намерений. Есть, конечно, есть. Но мы слишком долго ждем перехода от благих намерений к реальным переменам. И не только в экономике.

Общепризнано, что со многими нашими согражданами обошлись несправедливо, лишив их и возможности жить на родине, и самого гражданства. Эти две несправедливости в массовом сознании слились в одну. В указах особо говорилось о выдворении и особо о лишении гражданства. Президиум Верховного совета, совершая вопиющее беззаконие, имел вполне квалифицированных юристов, которые понимали, что изгнание и лишение гражданства — вещи разные.

Конечно, изгнание с родной земли несовместимо с Всеобщей декларацией прав человека, но его не Брежнев придумал. Оно предусматривалось и первым уголовным кодексом РСФСР, в котором приравнивалось к смертной казни. Оно практиковалось еще в древних Афинах. С 1960 года такого наказания в нашем уголовном кодексе нет, но, даже сохранись оно там, его мог бы назначить лишь суд. Сама высылка (а Солженицын или Буковский были вывезены, находясь под арестом, да и так называемый добровольный выезд был, как хорошо известно, добровольно-принудительным) — это акт внесудебной расправы, и именно в этом качестве как противозаконное действие административных властей высылка должна быть аннулирована, и не президентом вовсе, имеющим лишь право помилования, а генеральным прокурором или Верховным судом. Какое уж тут помилование! Ведь помиловать можно и наказанного справедливо, и помилование следовало бы, отменив сперва беззаконные акты, предоставить скорее должностным лицам, не по своей воле осуществлявшим это беззаконие.

Совсем по-иному с лишением гражданства. Такая возможность по нашим законам и сегодня есть, да только законы эти неслыханные. Ими государство берет себе власть и Богу недоступную. Человек, кроме особых случаев, гражданином становится по рождению. Когда изгоняли из древних Афин — как правило, на десять лет, — не отнимали не только гражданства, но даже и собственности, остававшейся во время изгнания неприкосновенной. Мудрый закон не позволял правителям ради временных расчетов совершать поступки, навеки позорящие потом страну. Украшает ли нашу родину то, что еще Рахманинов и Стравинский, Бунин и Набоков, Кандинский и Шагал, Бердяев и Мартов, Шаляпин и Баланчин так или иначе остались без советского гражданства?

И ведь гражданство отбирают не только персонально, его подчас лишают разом целые категории лиц. 23-м оно, слава Богу, возвращено, а сколько человек в тот же день пересекло границу, отбывая в Израиль, — все они лишились гражданства автоматически, по специальному указу. Не в том ли дело, что они уехали на постоянное жительство? Да нет, навсегда уезжающие в Германию или в Грецию гражданства автоматически не лишаются, за ними остается возможность поразмыслить на месте, никто не торопится захлопнуть за ними дверь. А глядишь, среди уехавших сегодня тоже объявятся люди, которые прославят русскую литературу! И опять придется возвращать гражданство? Или, подобно Иосифу Бродскому, или Фридриху Горенштейну, или Борису Хазанову и другим, чьи сочинения дошли до широкой публики уже после их выезда, они в очередной указ не попадут? Согласно Всеобщей декларации прав человека каждый вправе покинуть свою страну и возвращаться в нее. Конечно, и чтобы покинуть, нужен еще закон о въезде и выезде. Но право возвращаться не менее существенно. Выдавая разрешение на выезд, разрешение на возвращение вместе с гражданством отнимают наперед.

Геннадий Черемных из отдела по вопросам гражданства и помилований Верховного совета уверяет, что единым актом тут ничего не исправить. «Известиям» он сказал: «Понимаете, многие люди давно уже за границей, у них своя жизнь, у них дети, а у детей советского гражданства не было никогда. А тут мы издадим указ, вернем всем гражданство?.. Вполне возможно, что кому-то и не хочется этого». Но на следующий день в «Правде» он же сказал следующее: «Если же допустить... что не было согласия А.И.Солженицына на возвращение ему гражданства СССР, то что это меняет? Разве в этом случае не надо было отменять принятый в отношении его незаконный акт?» То-то и оно! Конечно, надо было.

Речь, понятно, не о том, чтобы кому-то навязывать советский паспорт. Государство лишь обязано отменить собственные противоправные решения, отменить прежние указы. И опять же восстановить правовой порядок президентскому указу, видимо, не под силу. Это Верховному совету надо раз и навсегда лишить кого бы то ни было права лишать других прирожденного гражданства и объявить недействительными все прежние акты такого рода.

Наш президент, как человек гуманный, в тех случаях, когда ему докладывают о выраженном кем-то хотя бы косвенно желании восстановить советское гражданство, такое желание удовлетворяет, и это можно только приветствовать. Но возвращение гражданства в отдельных случаях лишь подчеркивает случайность такого возвращения и, украшая

главу нашего государства, стремящегося преодолеть кричащие нелепости вчерашнего дня, не украшает наше государство, в котором справедливости пора стать правилом, а не просто приятным или даже, как нынче, очень приятным исключением.

АНГЛИЧАНИН О РОССИИ

Книга Дэвида Веджвуда Бенна «Пропаганда и советская политика» основательно исследует историю советской пропаганды и ее методов. Интересы автора ориентированы на сегодняшнее состояние того и другого, и потому имена Виктора Афанасьева или Михаила Ненашева, виднейших организаторов советской пропагандистской машины, не говоря уже о Сулове или Ильичеве, в книге присутствуют, а, скажем, Вильгельм Кнорин или Иван Скворцов-Степанов даже не упомянуты. Однако само обращение западного человека к нашей агитационной литературе, прочтение им книг, брошюр и журналов, никогда не пользовавшихся у нас добровольным спросом, проясняет механизм советской пропаганды полней и наглядней, чем отечественные исследования.

Ознакомившись с системой политического просвещения, с разнообразными формами политической учебы, партийной, комсомольской, хозяйственной и прочей, охватывающей десятки миллионов человек, Бенн осознал важнейший принцип нашей прежней пропаганды: «пусть будет скучно, зато правильно», понял, что она отнюдь не заботилась о психологически точных методах убеждения и, вообще, об убедительности, тем упорнее стремясь наладить регулярную работу семинаров и школ политической учебы. Западному человеку это, конечно, кажемся парадоксальным, но мы-то знаем, что подобная постановка дела адекватна всей нашей системе, предполагавшей не так личную активность, как всеобщую покорность и исполнительность.

Система политической учебы с преобладанием регулярного повтора утвержденных формул над их доказательностью была моделью ритуальной исполнительности. Формально, пусть даже лицемерно, повторяя положения нового катехизиса, человек признавал его священный характер, и ни скука, ни даже явная нелепость веры этому не мешали. Одновременно ритуал служил и другой цели — из открытого обихода устранялись «неправильные» суждения, проникающие в сознание уже в силу их отличия от предписанных. В этом и состояло коренное отличие советской пропаганды от западной, по слову Бенна, как пропаганды принудительной от пропаганды манипулирующей. Если последняя стремится убедить, повести людей за собой, подчинить их себе или, по крайней мере, удержать от нежелательных действий, то в советской политической жизни все это достигалось совсем другими средствами.

Стоит помнить, что среди безликих наименований — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией или Комитет государственной безопасности, как раз в период становления сталинской системы возобладало более откровенное имя: Государственное политическое управление, ГПУ, целью которого и под этим именем была отнюдь не политическая пропаганда, как таковая, а сведение на нет самого института общественного мнения.

Бенн пишет: «Классический марксизм исходит из того, что общественное мнение в конечном счете осознает необходимость

революции. Уже Ленин думал иначе и полагался на революционный захват власти меньшинством, которое склонило бы потом большинство на свою сторону. Сталин отделался от проблемы общественного мнения, раз и навсегда объявив его единогласным». И хоть Гулаг, как почва и подоплека советской пропаганды, не занимает в книге большого места, ощущение, что он существует, в ней вполне отчетливо.

Присутствует в ней и ощущение того, что роль общественного мнения возрастает в кризисные часы. В авторитарных системах социальный кризис еще больше, чем в демократических, сопряжен с кризисом сознания. Ленин и Троцкий хотели убедить и часто убеждали. Горбачев и Ельцин тоже хотят убедить. Но Ленин и Троцкий убеждали, когда советская социально-экономическая система еще не установилась, а теперь она выразительно обнаруживает свою неубедительность.

Другое дело, в какой мере само общественное мнение при этом способствовало реалистической оценке событий и самооценке. И тогда, и теперь сказывалась предшествовавшая нормативная пропаганда — сперва самодержавно-, потом державно- охранительная. И недовольные легко попадались на удочки привычной крайности суждений, пусть и совершенно противоположных, но бескомпромиссных.

Бенн не упустил из вида, что и в после-сталинское время идеология лишь усугубляла свой ритуальный характер, становясь все менее понятной людям, и не обошел того, что эту ее оторванность от реальности в начале перестройки критиковали даже такие реакционные фигуры как Егор Лигачев или Леонид Абалкин. Их признания тоже помогали гражданам ощутить, что идеология играет в советском обществе уже совсем иную роль, чем надлежало по Марксу играть миропониманию.

В обществе, провозгласившем достойным уважения лишь физический труд, мышление (а с ним и миропонимание) становилось номинальным. Новое мышление и сегодня не зря успешно преимущественно в международных делах, где противоречия очевидны, а во внутренних не может преодолеть старые стандарты, под которыми реальность остается неразличимой. Перестройка не случайно главным образом возобновила в сознании былые политические течения — черносотенные, монархические, либеральные или необольшевицкие, активно атакующие вчерашние догмы и ритуалы, но неспособные понять смысл протекших лет и приведшие к ним причины, и объяснить нынешнее состояние страны.

Былая пропаганда не только рука об руку с карательными органами поддерживала прежний порядок, но и по сей день сама по себе мешает его изменению, рождению нового сознания, обращенного к жизни, а не к утопиям, пусть и совсем другим. Актуальность книги Дэвида Веджвуда Бенна от этого, понятно, лишь возрастает.

СЛОВО О ГОРОДЕ

Господин Шлегель сказал, что увидав демонстрации в Москве, в Варшаве, в Таллинне, перестал считать Европой лишь Западную Европу. Это позволяет предположить, что после известной демонстрации на площади Тяньаньмынь в Пекине господин Шлегель признает, что и Китай — страна европейская. И будет, конечно, прав. То, что считалось когда-то сугубо европейским, распространяется по всему свету. Но наш город воплощает Европу в старом западном смысле.

Это изначально был город перестройки, город, призванный дать всему происходившему в стране некий образец, и страна жизненно нуждалась в этом городе. Я, собственно, вышел к микрофону только потому, что никто из выступавших не сказал, какую дорожную цену страна за этот город заплатила, а ведь под каждым из домов, мимо которых вы проходите, лежат люди, погибшие при строительстве. Не так-то легко этот город стране достался. Но он был ей необходим. Не возникни он «из тьмы лесов, из топи блат», еще неизвестно, существовала ли бы та Россия и та русская культура, которую мы сегодня по праву называем великой.

Возможно, она все равно была бы великой. Когда вы видите иконы Рублева в Благовещенском соборе в Москве, вы соглашаетесь, что это великая культура, но все-таки другая.

Трагедия Ленинграда в том, что бесконечно много сделав для страны, этот город оказался ей не нужен в том качестве, в котором возник. Это, понятно, не значит, что он вообще ей не нужен. Его место в военно-промышленном комплексе без преувеличения может быть названо выдающимся, но той жизни, какой страна долгие годы живет, он не нужен, вот почему он обшарпан и захламлен. Для него и нынче актуален вопрос, обыденный в сталинское время: «Нужен ли я нам?»

Конечно, этот вопрос обращен не только к Ленинграду. Две недели назад съезд народных депутатов Российской Федерации в едином порыве встал, утверждая суверенитет России, ее самостоятельность. А все равно, и считающие себя демократами и их открытые противники больше всего боятся, что их заподозрят в заботе о республике в отрыве от Союза. Даже Россия, самая большая и многонациональная, не имеет права подумать о своих отдельных интересах, не сводя их к общим. Может ли в таком случае претендовать на это Литва? Может ли подумать о себе Ленинград?

Ленинград, которому не худо бы, конечно, быть вольным городом, подобно Гамбургу, не спасут благотворительные усилия сберечь его архитектуру. Если ограничиться этим, город превратится в мумию, — прекрасную мумию, но чтобы выжить, городу надо быть живым. Иначе его не спасти. Профессор Каган, конечно, прав, говоря, как ужасны новые дома в Ленинграде. Но это не архитектурная и не эстетическая проблема, а более значимая, общественная. Дома, которые строятся на окраинах Ленинграда, вы увидите в любом советском городе. Они везде одинаковы. Ленинград разрывается меж своим замечательным наследством, своими художественными богатствами, которые еще можно видеть в музеях, и необходимостью себя подравнять, подстричь под общий стандарт, стать как все, проделать движение, обратное тому, во имя которого он был построен. И если думать не о бытовых условиях, которые во многих городах еще хуже, а в деревне и вовсе немислимы, можно сказать, что в этом городе жить особенно трудно.

Я благодарен даме из Голландии за то, что она вспомнила о евреях, ассимилированных в третьем и четвертом поколениях, но вынужденных сегодня покинуть эту страну и свой город, хотя для них это самая большая трагедия, какая может быть. Но я их понимаю, полтора месяца назад я сам получил письмо, в котором сказано, что если я не уберусь «в свой поганый Израиль», из моей «вонючей шкуры изготовят прекрасный абажур».

Но хотя Ленинград особо усердствует по части разжигания антисемитских настроений, надо видеть, что трагедию вынужденного бегства испытывают здесь не только евреи, но и множество русских,

особенно талантливых. Они тоже эмигрируют, хоть в большинстве не за границу, а чаще всего в Москву. И удивляться нечему, коль скоро, чтобы издать в Ленинграде книжку, надо получить утверждение в Москве. А ведь издать книжку проще, чем реставрировать старинный дворец.

Я думаю, что трагедия этого города не разрешится, если заботиться о нем по стандартам, которые сложились на западе. Дело не в том, чтобы добыть денег или выучиться каким-то способам реставрации. Если не изменится ход жизни, и деньги могут пропасть, и ученье впрок не пойдет.

Мы живем в богатой стране, народ которой умеет многое и способен выучиться тому, чего не умеет. Но мы все еще не знаем, сможет ли наша страна жить так, чтобы каждая ее часть была собой, и каждый человек был собой, чтобы страна стала не унитарной, не единообразной, а трехсотмиллионголоной. Тогда ей опять понадобится Ленинград.

Если мы научимся жить так, если вопреки всему такое стремление осуществится, Ленинград воскреснет, тогда и помощь пойдет ему на пользу. Другой надежды нет и не может быть. Нельзя пятимиллионный город превратить в заново отреставрированное и до блеска сверкающее надгробие. И не надо себя обманывать. Здесь говорили, что здания используются не по назначению. Но вот стоящее в центре города прекрасное здание Александринского театра, за памятником Екатерине, используется вроде по назначению, в нем по-прежнему работает театр. Когда-то он был знаменит на всю Россию, а нынче это один из самых плохих и самых реакционных театров в стране. На этом примере видно, что дело не в зданиях, дело в людях.

НАЛОГОВЫЕ НЕСКЛАДУШКИ

Дух беззакония не только в громких событиях, но и в таких скромных малостях, как инструкция по сбору налогов

Двадцать третьего апреля минувшего года был подписан закон о подоходном налоге, а двадцать первого мая — о государственных налоговых инспекциях. На жестокость обоих законов, на особенную их пагубность для развития культуры указывалось не раз, и я сейчас не об этом. Закон есть закон, плохой закон, но закон — мы часто утешаемся такими формулами, надеясь, что законопослушность послужит порядку и стабильности. Но о каком порядке может идти речь, когда государство, принявшее эти законы, тут же само их нарушает, требуя от налогоплательщика больше, чем предусмотрено законом.

Недавно опубликована инструкция налоговой инспекции о правилах подачи декларации о доходах, и уже правила эти противоречат закону. Закон введен с 1 июля 1990 года, в постановлении о его введении в действие специально оговорено, что плата за работы, выполненные до 1 июля, облагается по-старому. Но налоговая инспекция требует подать сведения о заработках за весь 1990 год. А ведь закон обратной силы не имеет, и у налоговой инспекции нет права требовать у граждан информацию, законом не предусмотренную.

По инструкции за сокрытие информации вся сокрытая сумма (не просто сумма налога, но вся сумма сокрытого дохода) подлежит изъятию, да еще, сверх того, налагается равный ей штраф. И не в том опять же беда, что кара очень уж жестока, а в том, что нигде не оговорено, что изъятие и штраф положены лишь за сокрытие доходов, подлежащих

дополнительному обложению. Ведь по закону лишь доходы свыше 8400 рублей в год, то есть 700 рублей в месяц, облагаются дополнительным налогом. Так можно ли карать писателя, указавшего, что он заработал 3600 рублей, а на деле заработавшего еще тысячу? Ведь деньги он получает нерегулярно, то в кассе, то по почте. Получает и за работы, сделанные в 1990-м, и за 1989-й, а иногда и за более давние годы. И еще не привык вести учет всему получаемому — он и без такого учета знает, что до 700 рублей в месяц далеко не дотягивает, а за забытую тысячу положенный налог был полностью удержан издательством. Вот бы и штрафовать за сокрытие превышения, требующего дополнительного налога, да и саму подачу декларации о доходах стоило бы требовать лишь при годовом заработке, превышающем границу в 8400 рублей. Тогда налоговой инспекции не понадобилось бы огромное число сотрудников, выполняющих бессмысленную работу и не приносящих государству ни копейки, но получающих неплохую зарплату. Остается думать, что правительству хочется перейти границу закона и отобрать у людей заработок, который дополнительному обложению не подлежит. Но это ведь открытый разбой, явное беззаконие! Но по инструкции так положено.

Опять же всюду в мире, где подаются декларации о доходах, в них непременно указываются и расходы на профессиональную деятельность, и они изымаются из облагаемых налогом сумм. Писатель нуждается в бумаге, в пишущей машинке, в компьютере, в ксероксе, в кабинете для работы. Ему приходится ездить туда, где действуют его герои, и это тоже требует расходов. Есть профессиональные расходы и у художника, и у композитора, и у лиц, занимающихся не творческой, но индивидуальной трудовой деятельностью. Не считаться с этим значит подрубить такую деятельность на корню. Но этого наши налоговые инспекции и стоящие над ними министр финансов и премьер-министр, видимо, знать не хотят.

Опять же, требуя сведений о доходах в свободно конвертируемой валюте, налоговая инспекция совершенно не интересуется, были ли с них удержаны налоги по месту их выплаты. А ведь со многими странами Советский Союз имеет соглашения о недопустимости двойного налогообложения, и, выходя, налоговая инспекция пренебрегает не только нашими внутренними законами, но и международными соглашениями, заключенными нашей страной.

Все это не просто детали, задевающие меньшинство, хоть и не столь малое, советских граждан. Здесь проступает едва ли не главная черта нашей жизни. Закон — он сам по себе. Верховный совет его принял. Президент подписал. А.И.Лукьянов подписал постановление о вводе закона в действие. Все как у людей. Красиво. А на деле жизнь определяет не закон, а подзаконная инструкция исполнительной власти, на этот закон не оглядывающаяся.

Сегодня твердят о необходимости усилить исполнительную власть. Но, как видим, она у нас и так сильна, сильнее всех прочих, и ничем практически не ограничена. Усилить-то как раз бы надо законодательную и судебную власти, чтобы исполнительная остерегалась пренебрегать законом. Говорят, что исполнительную власть затем и надо усилить, чтобы укрепить закон. Но ведь никакой гарантии, что она это сделает, не существует. Если министр издает инструкции, не сообразуясь с тем, что Верховный совет не давал ему права на противозаконные новации, если генерал вводит в город танки и открывает стрельбу по мирным жителям,

не имея приказа ни своего министра, ни президента, но следуя просьбе самозванной группы людей, ни порядка, ни законности не прибавляется.

Исполнительная власть должна исполнять, и не более того. Стоит ей самой переступить тонкую грань закона, как разрушается само понятие о законности. Именно в таких повседневных малостях беззаконие становится привычным, набирает силу и губит великую страну.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Под самый новый год вождь ленинградских большевиков Б.Гидаспов писал в «Ленинградской правде»: «Город доведен до крайнего состояния. Никогда, даже в самые тяжелые времена, он не переживал того, что происходит сегодня». Здесь нет места углубляться в действительно тяжкое состояние города, не более, впрочем, тяжкое, чем состояние всей России или всего Союза. Но нельзя оставить без внимания это решительное «никогда». Ну, как же все-таки никогда? Неужто и в восемнадцатом году не было хуже? И разве не стократ хуже было в дни блокады? Или первый секретарь о ней позабыл? Но чтобы преодолеть тяжелое состояние, надо видеть его причины, видеть процесс, приведший к нему под мудрым водительством того самого обкома, который нынче возглавляет Гидаспов, а вместо этого нагнетаются сиюминутные страсти. Гидаспов не зря рекламировал передачу Невзорова о Литве, он и сам действует так же: вместо спокойного, всестороннего анализа реальности гнет свое, не считаясь с общеизвестным, словно его никто не знает.

Говорят, такая метода — свойство большевизма, но совершенно так же движется зачастую мысль его сегодняшних противников. Взять хотя бы тоже под новый год опубликованное «Огоньком» интервью с В.Солоухиным. Не скрою, некоторые суждения Солоухина мне ближе, чем суждения Гидаспова: конечно, и законную власть надлежало устанавливать Учредительному собранию, и «ошибочна была главная идея: путем насилия, концлагерей, расстрелов, обманов, уморения голодом построить на земле счастливую жизнь, светлое будущее». Я и сам не раз писал о том же. Но вот читаю у Солоухина: «Когда нам хотят доказать, что крестьянство в России бедствовало, что Россия была нищей страной, то хочется спросить: откуда же взялись шесть миллионов (или сколько их там было?) зажиточных хозяйств для раскулачивания?», и опознаю то же, гидасповское, стремление к одномерности. Была, дескать, Россия процветающей страной, а злодеи-большевики принялись ее губить! Между тем хорошо известно, что едва ли не большинство раскулаченных воевало за большевиков, которые сперва дали им землю, потом обложили эту землю невыносимой продразверсткой, потом заменили продразверстку нормальным продналогом, и лишь потом, уже после смерти Ленина, безвозвратно землю отобрали. Не в оценке раскулачивания ошибается Солоухин — оно, конечно, было и незаконным, и пагубным для страны, а в предположении, будто крестьяне благоденствовали в царской России. Да будь оно так, большевистская революция не получила бы поддержки крестьянства, а Добровольческая армия, поднявшаяся против большевиков, напротив, ее бы обрела! Скажи Солоухин, что тяготы деревни, изображенные Львом Толстым, Глебом Успенским, Чеховым или Буниным, в новом обществе не только не облегчились, но вскоре еще более усугубились, что за наивную надежду

на всемогущество насилия были напрасно положены миллионы мужицких голов, — спорить было бы не о чем. Но ведь у него выходит, что не только Ленин, обманываясь сам, вольно или невольно обманул доверившуюся ему русскую деревню, но что и великие дореволюционные писатели лгали, а это уже явный перебор.

Нет, не так все просто. История — не воплощение замыслов того или иного человека, даже сверхгениального, или какой-то партии, а плод сложного взаимодействия сил и интересов миллионов людей, лишь отчасти постигаемого наперед и самими выдающимися государственными мужами. И надо не просто верить или не верить Ленину или Горбачеву, но сознать клубки противоречий, между которыми история движется, понимать, что серьезные события, да еще опять и опять возобновляющиеся, имеют причины, и в то же время понимать, что последствия этих событий — отнюдь не неизбежное следствие начальных причин, и никогда нельзя сказать: «Иного не дано!». Историческое сознание уцелевает в промежутке между верой в абсолютное предопределение и верой в неограниченную свободу воли. Оно исходит из ощущения целостности, и нам трудно его обрести, поскольку мышление советского человека расщеплено. Одни печатают в солидном вроде бы журнале, что устойчивые словосочетания «самодержавно-полицейский режим» или «российские условия насилия и рабства» — всего лишь «клише», от которых надлежит избавляться. Другие с прежней твердокаменностью славят коммунистическую партию и социалистический выбор, слышать не желая, что на деле под социалистическим ярлыком происходило. И за этим демонстративным противостоянием остается незамечаемым сходство спорящих, хотя броским антикоммунистическим тирадам Невзорова уже поддакивает сам депутат В.Алкнис, еще недавно винивший генсека КПСС в отступлении от идеалов.

В апреле 1917 года Горький писал: «Старая власть была бездарна, но инстинкт самосохранения правильно подсказывал ей, что самым опасным врагом ее является человеческий мозг, и вот, всеми доступными ей средствами, она старалась затруднить или исказить рост интеллектуальных сил страны». Это сказано о царской власти, но в равной мере относится и к советской. О, конечно, она способствовала всеобщей грамотности и обучила немало квалифицированных специалистов в естественных и технических науках. Но конем не объедешь и того, что даже эти науки подвергались у нас разрушительному воздействию властей и самое понятие о научно-технической революции с трудом внедрялось в умы. А ведь именно она радикально изменила социальные отношения и обесмыслила мессианское назначение пролетариата, способного якобы всех осчастливить, не считаясь ни с крестьянством, ни, тем более, с какой-то там «прослойкой» — интеллигенцией, эту революцию как раз и совершающей. Выяснилось, что, зациклившись на классовой борьбе, несомненно, происходящей, и пренебрегая классовым компромиссом, рабочий класс и свои-то бесспорные права отстаивать не может, отчего в буржуазном демократическом государстве живет лучше, чем в пролетарском, возглавляемом всеведущим и всевластным вождем, как бы он там официально ни именовался. У нас верят, что жизнь меняется от перемены названий, но пренебрегают смыслом этих названий и этих перемен. Слово «русскоязычный», в

разговорах о России давно обозначающее нерусских, ассимилированных инородцев, прежде всего евреев, в разговорах о Литве вдруг обозначает нелитовцев, то есть прежде всего именно русских, и уже вместе с ними прочих. А в Литве как раз инородцы далеко не все русскоязычные, поляки родной язык сохранили, да и евреи — одни ассимилированы русской культурой, но другие — литовской, не говоря уже о сохранивших еврейскую, и объединяет их, пожалуй, лишь нарастающее стремление эмигрировать*. А задумались бы над причинами разночтения слова «русскоязычный», в одном месте исключая из себя русских, в другом — включающего их, и обнаружилось бы, что за национальными распрями сегодня стоит не столько национальная непримиримость, сколько конфликт всесоюзной хозяйственной монополии с местной властью, естественно опирающейся на национальную общность там, где таковая есть. Русский город Ленинград находится с хозяйственной монополией не в меньшем конфликте, чем Литва, но поскольку у него национальной опоры для противостояния нет, он хватается за проекты свободной экономической зоны, словно может спастись отдельно от России. Но государственная монополия уже подсекла наперед этот порыв к самостоятельности, объединяя в особое ведомство всю ленинградскую промышленность, способную при поддержке сверху сообща пересилить местную власть, выражающую интересы граждан города.

Само собой в противостояниях всеобщей монополии и частного человека всплывают и застарелые национальные споры и несправедливости административно-территориальных делений. Но признаем все же, что оживившиеся с первыми веяниями свободы национальные распри имеют общую причину в централизованном пренебрежении правами местных жителей. Казалось бы, демократическая перестройка должна прежде всего ослабить это противостояние, а не нет! Отчего бы? Не оттого ли, что перестройка изначально предполагала не демократию, но лишь демократизацию, частичный и временный социальный компромисс!

Алла Латынина пишет, что «перестройка — официальная политика, что Горбачев — президент, и оппозиция справа — все-таки оппозиция», и представляет в качестве оппозиционеров В.Белова и В.Распутина вместе с воинствующим большинством VII съезда писателей РСФСР, специально даже оговаривая, что «быть 'демократом' сегодня, если уж на то пошло, куда выгоднее, чем быть консерватором». Все это напечатано во второй тетради того же номера «Литгазеты», где в первой сообщается о событиях в Вильнюсе, прояснивших официальную политику и выгоды пребывания в «демократах», уже подвергающихся обстрелу. Но случайно ли именно перестройка вознесла Распутина в Президентский совет, а Белова — в ЦК КПСС, которым он и был избран в народные депутаты? Не звали ведь в Президентский совет ни Юрия Власова, ни Галину Старовойтову! Да и будь Белов с Распутиным оппозиционерами, они, как честные люди, отказались бы от своих высоких постов. Но ведь не отказались, прекрасно понимая, что вовсе они не оппозиция президенту, что их взгляды как раз он в основном разделяет, а если есть какие-то несовпадающие оттенки, так ведь практический политик

самой природой побужден к большей маневренности, чем идеологи или вдохновляющие его писатели

Но не одна Алла Латынина, подчеркивающая свой «нонконформизм», равноудаленность от «демократов» и «правых», отождествила Горбачева с демократами. Уже говоря, что перестройка «расстреляна в Вильнюсе в ночь на 13 января», деятели культуры и науки, в числе которых Ю.Афанасьев, А.Емельянов, Л.Карпинский, Е.Яковлев и другие видные демократы, признаются: «Мы надеялись, что он (М.С.Горбачев) станет опорой демократии». А ведь М.С.Горбачев никогда не скрывал своей нерушимой приверженности построенному у нас социализму и существующему Союзу, в котором центр распоряжается республиками по своему усмотрению. Стало какой-то доблестью гордиться своей недалекновидностью и покаяниями в ней!

Подобным же образом в Ленинграде удивлялись, что митрополит Иоанн запретил поминальные службы по Сахарову, словно церковь когда-нибудь сочувствовала опальному академику при жизни. Удивлялись и подписи святейшего патриарха Алексия под известным письмом 53-х, призвавшим объявить чрезвычайное положение, на которое отозвались танками в Вильнюсе, словно церковь не поддерживала государство даже тогда, когда оно ущемляло ее собственных политически инакомыслящих служителей. Отнюдь не разделяя взгляды ни митрополита Иоанна, ни патриарха Алексия, ни президента Горбачева, я вынужден все же отметить, что все они действовали в полном соответствии с принципами и установками тех организаций, к которым принадлежат: первые двое — русской православной церкви, а третий — Коммунистической партии Советского Союза, и неожиданны их действия или заявления лишь для тех, кто от этого отвлекается.

М.С.Горбачев выступил в 1985 году как лидер наиболее дальновидной части КПСС, осознавшей, что сложившийся под ее водительством порядок обрекает страну на отсталость в состязании с западным миром, что даже умноженная гонка вооружений, предпринятая при Брежневце ценой разорения страны, не помогает одолеть качественное

- В этой связи приходится вспомнить пассаж из статьи профессора Гулыги в «КО» № 46, возражать на которую в целом я не вижу нужды, поскольку контрдоводов там нет, а «только злопыхательство». Милостиво разрешая мне и дальше проживать в родной стране, профессор ставит, однако, условие: «Только, пожалуйста, без семейных сцен и истерик!» Истерикой именуется краткое перечисление проявлений антисемитизма, с которыми мне в моей жизни пришлось столкнуться. Профессор, как в разгар борьбы с космополитами Молотов, требует считать, что «антисемитизма у нас нет». И это требование принципиальное. Ведь антисемитизм существует не только в России, но и в Германии, и во Франции, и даже в США. Отличие тамошней ситуации от нашей прежде всего в том, что там о шевелении местного фашизма говорят открыто, с ним борются — и не только евреи, которым к тому же это никак не запрещено, но широкая общественность и государственная власть. По Гулыге, же оставаться в России можно только согласившись делать вид, что у нас гитлеровским духом и не пахнет, и антисемитизма нет, то есть, признав его правомерность. Но именно это невозможно, и выставленное профессором условие, конечно, заставит призадуматься многих, кто отвергал мысль об эмиграции, надеясь, что и российский антисемитизм, если открыто показать, кто и зачем его разжигает, схлынет. Как видим, в стране имеет

место не «утечка умов», о которой нынче охотно пишут, а «вытеснение умов» (и не обязательно в эмиграцию), проводимое, понятно, не в интересах страны, но в интересах вытесняющих.

отставание, не исчерпывающееся собственно военным производством. Чтобы избежать немедленной катастрофы, он произвел известные изменения в общественном порядке, никак, разумеется, не замахиваясь на то, чтобы заменить этот порядок иным, но лишь на то, чтобы его перестроить.

Сейчас, особенно после Вильнюса и Риги, и у нас, и на Западе вспомнили, что частичное улучшение нашего социализма невозможно, что страну спасет лишь радикальный отказ от авторитарной власти и переход к политической и экономической демократии. Но именно к демократии, а не к иному авторитарному порядку под иным флагом. Невзоров откровенно назвал омовцев и армейцев в Вильнюсе и Риге белой гвардией под красным знаменем. Так завершается наш социализм, начавшийся преждевременными родами и, соответственно, выросший по образу и подобию феодального абсолютизма. Единой и неделимой уже не спрятаться за продырявленным знаменем социалистического интернационализма, которое долго спасало ее от развала. Потому-то полковник Алкснис или писатель Солоухин, как искренние люди, и готовы отбросить социалистическую этикетку, ничему в нашей реальности не соответствующую и лишь побуждающую задавать лишние вопросы о дружбе народов или социальных гарантиях.

Слабость нашей демократии predeterminedена атакой на нее с двух сторон. С одной — партия, поныне уверяющая, что, вопреки всем прежним заблуждениям и преступлениям, она знает дорогу к коммунизму и когда-нибудь к нему приведет. С другой — государство, простершее свое оружие и на Кубу, и в Африку, и на Ближний и на Дальний Восток и, естественно, не имеющее возможности еще и о своих гражданах позаботиться. Партия ссылается на плодотворность революций, прежде, впрочем, заключавшихся в отвержении старого и открытии свободы новому, а не в насаждении этого нового железной рукой, и она с гордостью указывает на в самом деле бескорыстных коммунистов, погибших, однако, в Гулаге. Государство же пропагандирует незыблемость российского царства, добродетели Николая и благополучие русского крестьянства чуть ли не при крепостном праве. Если забыть о единстве нашего партийно-государственного механизма, вроде бы меж сталинистским социализмом и николаевским монархизмом есть различие. Вот наши демократы и не вникли в сравнение хрена и редьки, выступающих заодно. Отсюда ложное понимание расстановки социальных сил, иллюзии и запоздалые покаяния.

Существенны, конечно, не вздохи и не намерения, а реальные дела. Когда Горбачев выводил войска из Афганистана, способствовал гласности или призывал к созданию реальной экономики, стоящей на стоимостных отношениях, демократы его поддерживали, и правильно делали. Политика немислима без компромиссов, особенно в трудные времена. Более того, голоса разных общественных слоев, раздумывавших, не окажется ли перестройка подобна прежним номинальным реформам, побуждали Горбачева учиться на ходу и даже вроде признать, что директивное хозяйство, именуемое у нас почему-то плановым, хоть ничего более хаотичного свет не видывал, улучшить невозможно.

Однако Горбачев, идя на компромисс с демократией, от своих коммунистических убеждений не отступался, а многие демократы, хоть и обличали коммунизм, и выходили из партии, по ходу компромисса от демократических убеждений отступались, а то и вовсе их не имели. Одни ударялись в монархизм, другие — в разъяснение достоинств просвещенной авторитарности, третьи ратовали за учреждение президентской власти, дискутируя лишь, выбирать ли президента сразу на съезде или всенародно. А там уж как по маслу покатилося предоставление новых полномочий, чрезвычайных полномочий, дополнительных полномочий. Вот демократическое волеизъявление, которому мы обязаны всем хорошим, что пришло за эти годы, и стало все меньше значить для власти. Оно как бы перепоручило свою волю президенту, воплотилось персонально в его лице, отказалось от прямого и повседневного представительства. Между тем в самом возвышении над союзом государств, каковым наша страна, пусть формально, все же считалась после 1922 года, единого президента, повелевающего всеми республиками, которых у нас фактически даже не пятнадцать, а, может быть, сорок, уже таились все нынешние конфликты. Дело не в личностях, и требующие отставки Горбачева зря надеются, что если на его месте окажется Янаев или даже Ельцин, конфликты сгладятся. Нет уж, либо союз, содружество, координация, взаимные уступки, компромиссы, либо президент, единство государственной воли, высшая власть, пренебрежение отдельным, особенным, национальным, личным во имя общего, словно общее может существовать, растоптав все отдельное.

На этом наши демократы и споткнулись. А.Ципко, тоже числящийся демократом, прямо пишет об «изначальной утопичности идеи о государстве как союзе суверенных республик». И заявляет, что «Союз получит шансы на выживание тогда лишь, когда президентом Союза будет президент России... В наших же условиях, когда президент, сидящий в Кремле, олицетворяет тысячелетнюю историю России, он, на мой взгляд, имеет больше прав на власть над Россией, ибо она центр страны, ее основание». Выходит, даже и Россия должна по-прежнему приноситься в жертву чему-то сверхроссийскому и не вправе сама позаботиться о своих интересах и гражданах. Может быть, так думает лишь Ципко, этот Невзоров от теории?

Но вот и Гавриил Попов выговаривает прибалтам, переставшим посещать съезды народных депутатов, что они, дескать, сами виноваты в последствиях. Но не принялись ли они решать судьбы своих народов самостоятельно, ощутив на первом же съезде народных депутатов, что эти судьбы будут принесены общесоюзными демократами в жертву каким-то, несомненно, важным общесоюзным проблемам, и литовцам придется одним выходить не только из зала заседаний, но и из Союза. За них тогда никто не вступился, и нынче, уже после стрельбы, Г.Попов не счел нужным хотя бы вспомнить, что декларация Литвы о выходе из СССР была принята в полном соответствии с действовавшим тогда законодательством, и, в частности, статьей 72 конституции СССР, и нарушают конституцию не литовцы, а центр. Да и гневные речи А.Собчака против бесчинств в Вильнюсе стоит сопоставить с его выступлением на съезде народных депутатов в защиту поспешного избрания президента. И ведь не то что вообще никто не понимал смысла происходящего: и наша скромная газета предостерегала, и Л.Баткин в «Литературке» деликатно,

но твердо возражал апологиям авторитарности, но слушать никто не хотел. Да и сегодня только у С.Шаталина хватило духа признаться в собственной беспринципности, а не валить все на Горбачева и его генералов, чья вина лежит на поверхности.

Модно объяснять, что на Горбачева давят, — не то генералы, не то «партократы», и не то чтобы вовсе без этого. Тактическая одаренность Горбачева, конечно, раздражает его прямолинейных единомышленников и товарищей по партии. Полковник Алкснис даже заявил: «Президент нас предал». Но ведь это неправда. Если было, как рассказывает Алкснис, значит, Горбачев надеялся, что армия под покровом ночи овладеет положением без лишней крови, и к утру можно будет сказать, что так и было. Полковнику недостает честности признать, что нарушил план вовсе не Горбачев, а десятки тысяч безоружных литовцев, готовых умереть у стен своего парламента. Просто Горбачев, в отличие от Алксниса, понял, что цепная реакция от расстрела десятков тысяч была бы уже неуправляема и необратима. Алкснису бы не в предательстве винить президента, а кланяться ему за покровительство. Ведь осерчавший полковник тут же объявил, что «армия перейдет на автономный режим», то есть объявил о готовности армии выйти из повиновения законным властям. Это — прямое нарушение присяги, и за ним должно бы последовать как минимум разжалование. Но президент, поднявшись над личными обидами, не дал в обиду темпераментного полковника, и такой снисходительности нет другого объяснения, кроме идейной близости.

А нам болтают вздор об угрозе военного переворота! Но с чего ему стать военным? Армия, конечно, орудие всякого переворота, но не обязательно его источник. Сколько бы ни было в нашей армии реакционеров в генеральских и маршальских мундирах, им не отменить тот объективный факт, что армия более всех заинтересована в радикальных переменах хозяйства, без которых она обречена, если, не дай господь, придется воевать не только против собственного народа, а против возможного агрессора, каковым, как показывает жизнь, ныне доступно стать отнюдь не только другой сверхдержаве. Отказ от экономических и политических реформ — это в первую голову подрыв боеспособности армии, на что обратил внимание советского народа еще Матиас Руст. От этого могут, конечно, отвлекаться отдельные маршалы, в глубине души надеющиеся, что сегодня военной угрозы нашей стране не существует, но армия, ее офицерский корпус, отвлекаться от этого не может просто потому, что не знает, куда виленские танки вывезут нашу внешнюю политику завтра. В чине полковника, не говоря уже о более высоких, можно бы не сводить к чисто тактическим коренные стратегические проблемы.

А от них никуда не уйти. У стен литовского парламента и телебашни шел все тот же бой, в котором под аплодисменты съезда народных депутатов во главе с Горбачевым Сахарова атаковал майор Червонописский. И если вопреки той страшной сцене, которая, конечно, и убила подлинного патриота и подлинного демократа, сделавшего к тому же для обороноспособности больше, чем все глумившиеся над ним маршалы и генералы вместе взятые, потом произошли ощутимые положительные перемены, значит, причины, толкнувшие страну к перестройке, а дальновидную часть коммунистов — к компромиссу с демократами, продолжают действовать, и власти вынуждены считаться с

тем, что безоружные люди идут на смерть, не будучи в силах дальше так жить и тем более дальше так работать, что для властей все же должно быть важно. Хоть правый переворот и без армии совершить, как мы видели, не так трудно, разрешить хоть какую-то из насущных проблем страны он не может.

А если нигде, кроме Прибалтики, охотники стоять за человеческую жизнь не същутся, и останется лишь ожидать, какие еще денежные операции предпримет наш изобретательный премьер, мы по крайней мере осознаем смысл старого речения о том, что всякий народ достоин своего правительства. Но покуда кириллин день не кончен, надо бы не искать очередного козла отпущения, каким уже готовы объявить Горбачева, а раз и навсегда отказаться от культа исполнительной власти, поставить законы выше инструкций, полагаться не на милость начальства, а на справедливость независимого суда и, главное, отделить хозяйство от государства. Горбачев дальше любого советского лидера, не считая умиравшего Ленина, продвинулся к осознанию несообразности нашего военного коммунизма с нуждами развития страны, но, к сожалению, еще меньше, чем Ленин, продвинулся в устранении государственных помех развитию. Между тем в промежутке произошла научно-техническая революция, требующая свободы и гарантий для отдельного человека и делающая применение силы в конечном счете самоубийственным для тех, кто все еще ищет в нем спасения. Потому-то единственным способом мирно разрешить противоречия общества и оказывается демократия, но слишком мало у нас демократов, слишком они прекрасодушны и доверчивы. В этом смысл не в первый раз преподанного отечеству урока. Неужто опять ничему не научимся?

МЫ МЕНЯЕМ ИМЕНА

Мало что переменялось. Зато очень многое переименовалось

12 июня, выбирая президента России, ленинградцам, видимо, придется одновременно решать, называться ли городу и дальше Ленинградом или восстановить изначальное название Санкт-Петербург.

Я, конечно, отдам голос за Санкт-Петербург, поскольку убежден, что города должны носить те имена, под которыми их знали страна и мир. Нелепо давать Киеву или Москве, Афинам или Риму новые, пусть даже самые достойные имена. Правда, — меня смущает в старом названии это самое «Санкт». Петр назвал город по своему святому покровителю, однако в сознании жителей город связан все же не столько с бедным рыбаком, две тысячи лет назад примкнувшим к Иисусу из Назарета, сколько с русским царём, заложившим этот город, чтобы примкнуть к Европе, вернуться в европейский дом. Но, кроме официальных случаев, город и звали обычно просто Петербург, а граждан просто петербуржцами. Надеюсь, так будет и теперь, когда схлынет ажиотаж.

Но ажиотаж примечателен. Даже Солженицын из своего американского далека предостерегает от восстановления прежнего названия и советует вслед за государем Николаем Александровичем город все-таки переименовать, обойтись без немецкого «бург», словно тогда, в начале XVIII века и после, обходились без немцев, итальянцев, прочих иностранцев, словно не окно в Европу здесь прорубили. А ведь я еще помню, когда восьмилетним мальчишкой впервые приехал сюда из

Москвы, на Васильевском то и дело слышалась немецкая речь. Не в ладах с историей и уверяющие, что Ленинград — это город великого Ленина. Ленин из своих 54-х до 1917 года в два приема прожил тут лет пять, а потом — меньше года: от апреля 17-го до марта 18-г. Ленин сын Волги (Симбирска, Казани), а не Невы. Словом, есть о чем поспорить, если более актуальных проблем не осталось.

Но не стоит думать, что такие споры никому не выгодны. Еще как выгодны! Уже шесть лет признано, что дальше так жить нельзя, но кроме того, что мы обрели драгоценнейшее, понятно, право это говорить, не так уж много переменялось. Зато очень многое переименовалось. Переименования выдают за перемены, обсуждением переименований подменяют обсуждение перемен. Но от того, что городу вернут бывшее имя, разве перестанут черные «волги» ездить за указаниями в Смольный? Или появятся овощи на прилавках? Или Большой дом — управление КГБ — освободит хоть часть занимаемых им кварталов? Или деньги, утекающие из города, обратно потекут? Энтузиасты верят в магию переименований. «Ну не могу я представить, скажем, санкт-петербургским обком КПСС», — заявил недавно самый пылкий. Но вот Архангельский обком КПСС десятилетиями благополучно здравствует, и сам архангел Михаил, предводитель небесного воинства, ему не помеха. Мы спорим о словах, не заглядывая, что за словом.

Подобным манером спорят, сохранять ли социализм или признать дедушкины надежды несостоятельными. Какие баталии, кого только не винят в отступничестве! А я все пытаюсь вставить: «Да нет и не было у нас социализма, а было и есть крепостное право, разве что подрумяненное, государственное». Давайте обсудим, как от крепостного права избавиться, чтобы люди волю обрели, землю, на себя работать стали, а они разберутся, надобен ли им социализм, возможен ли он уже у нас, и когда, и какой. Или говорят: нужен суд над КПСС! А я все пытаюсь вставить: какой еще суд, когда история приговор уже вынесла. Не ведет тотальное коммунистическое господство ни к большему техническому прогрессу, ни к большей производительности труда, и все-тут, не говоря о прочем. Где ни пробовали, не ведет. И дело не в том, чтобы осудить тех, кто надеялся, что поведет (другое дело, если они вершили конкретные преступления), и не в том, чтобы вместо прежних начальников поставить торопливо перекинувшихся в беспартийные ряды, а в том, чтобы самый этот внеэкономический порядок преодолеть, отделить хозяйство от государства, законодателей от исполнителей, судей от омовцев, чтобы не была вся власть и вся жизнь в одном кулаке, чтобы человек не был со всех сторон обложен и не текли его слезы все к одному бесчувственному дорогому товарищу Сталину или Брежневу. А об этом разговор не клеится, никто на референдуме не спрашивает народ, сохранять ли хозяйственные монополии-министерства или предоставить заводам и фабрикам независимость, разрешить ли партиям ворочать миллионами или пусть внедряют свои идеи бескорыстно? Мы меняем имена, оставляя жизнь в неприкосновенности скудения.

Открыть бы разнообразные культурные центры, да не только местные, а представляющие наши республики и зарубежные страны, чтобы все флаги в гости были к нам и можно было прочесть свежую газету из Еревана и Баку, из Вильнюса и Казани, из Франкфурта и Лондона. Раздвинуть бы Эрмитаж и Русский музей, отдать им наконец дворцы,

занятые райкомами и конторами, и развесить там постоянные экспозиции из необозримых запасников! Да мало ли что можно сделать, чтобы город наш не поражал приезжего лишь дивной красотой разваливающихся зданий. не тускнел. Чтобы вновь был тем, для чего построен, — ах, не столицей, не скопищем запечатленных Гоголем канцелярий, а могучим истоком русского европеизма, вольной мысли и совершенства.

Скорее всего 12 июня большинство выскажется за Санкт-Петербург. И я тоже, — если спросят, надо отвечать что думаешь. Но не приходится думать, что в жизни города хоть что-то от этого изменится к лучшему.

У ВРАТ ДЕМОКРАТИИ

Провалившаяся на выборах партия должна уйти. Но не в тюремные камеры, как бывало, а в оппозицию.

Борис Ельцин победил, потому что народ России хочет безотлагательных перемен. При всем разнообразии отдавших голоса Ельцину один довод был общий: Ельцин явно противостоял остальным кандидатам, желавшим в смягченном или ужесточенном виде удержать прежний порядок.

Но вера в необходимость всеобщего морально-политического единства, в существование одинаково приемлемого для всех выхода из кризиса жива. В массовом сознании трагически переплелись уцелевшая от государственной идеологии уверенность в бесклассовости нашего общества и неприятие напоминаний о связи хозяйственных и социальных отношений. Политологи опять вытесняют социологов. Говорить об общественных классах стало почти неприлично. Но уже мало обнаружить в советской социальной структуре новации, — да и Джилас, на весь мир заговоривший о них почти сорок лет назад, не был первооткрывателем. Необходимо понять, что классовая борьба не обязательно быть бескомпромиссной, что шестеренки социальной структуры эффективны во взаимодействии, но не порознь. Маркс по крайней мере полагал, что наемные рабочие обойдутся без предпринимателей, когда потенции тех исчерпаются. Его отечественные последователи решили, что, совершив социалистический выбор, можно в любой момент заставить часть прежней структуры быть эффективней целого. И это засело в головах.

Бедная палитра

Разорение страны многие нынче объясняют утопизмом Ленина, свирепостью Сталина, невежеством Хрущева, бездарностью Брежнева, мнимой нерешительностью Горбачева, а сами по-прежнему отождествляют свои классовые интересы с всеобщими, не желая замечать объективные потребности других общественных слоев, что как раз и подрывает органичное функционирование социальной системы и создает нужду в искусственных стимуляторах.

Всенародные выборы затем только и нужны, чтобы прийти к социальному компромиссу, без которого общество нежизнеспособно. В избирательном состязании должны участвовать все социальные группы — лишь тогда выясняется, кто способен лучше учесть противоречивые интересы разных, необходимых обществу слоев. Ельцин тут явно

превосходит остальных, однако сама эта задача не была по ходу выборов отчетливо выявлена, поскольку соперничали лишь разные люди, но не прямые представители разных сословий и классов или, если угодно, разных партий с определившимися программами.

Нас уверяли, что партия, правившая семьдесят лет, отказалась от монополии на власть. А ведь и без 6-й статьи она по-прежнему правящая, в ней состоят и президент, и председатель Верховного совета, и премьер-министр, и генеральный прокурор, и председатель Верховного суда, и, за единственным, кажется, исключением, все союзные министры. Да и вышедшие из партии — это беспартийные большевики, не свободные от стереотипов прежнего мышления. Конечно, как заметил на пленуме ЦК Горбачев, внутри КПСС сегодня действуют три или четыре партии. Но у этих разных партий общий генеральный секретарь. Произойди на 19-й партконференции или на XXVIII съезде раскол на сторонников и врагов нового курса, политическое содержание избирательных кампаний стало бы отчетливее. Бакатин не оказался бы оппонентом Ельцина, и два генерала — простодушный Макашов и более политичный Громов, озаренный сладкими улыбками Рыжкова, — тоже вряд ли бы соперничали.

В Польше избирательная палитра была все же полней. И там возникла странная лишь на первый взгляд фигура Тыминьского, аналогичная вырвавшему третье место Жириновскому, и там баллотировались сторонники прежнего порядка. Но дальше сходство слабело. Рабочему лидеру Валенсе, открыто противостоявшему прежнему порядку, к которому он был не причастен, наш Ельцин соответствует лишь отчасти — все-таки из секретарей обкома. И, главное, вовсе отсутствовал у нас кандидат, аналогичный Тадеушу Мазовецкому, непосредственно представлявшему демократическую часть общества. Конечно, он и в Польше собрал лишь 17 процентов и призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Валенсу против Тыминьского. Будь, скажем, у нас выдвинут кандидатом в президенты России Сергей Ковалев, в подобной ситуации он тоже наверняка призвал бы нас, отдавших ему голоса, во втором туре голосовать за Ельцина, что мы и сделали бы, и результат был бы таким же. Но демократическая тенденция обрела бы определенность и стала бы залогом того, что реформы не будут принесены в жертву никаким другим соображениям. Ведь и позиция Горбачева в начале нынешнего года сместилась не под давлением «злых» генералов, на деле лишь исполнявших приказы, иначе они давно были бы разжалованы, а от того, что за Горбачевым изначально не было демократической организации, хотя бы организации демократически настроенных коммунистов, избавлявшейся не от реформатора Шаталина, а от консерваторов, не поступающих принципами.

О пользе благонамеренных консерваторов

И наша, и зарубежная печать записывала в демократы всех желавших перемен. Между тем цель перестройки состояла в спасении терпящего крушения общественного устройства. Наивно думать, что не начнись она тогда, все еще длились бы веселые брежневские дни. Хозяйственная нескладница ускоренно углублялась с середины 70-х, и даже, такой любитель порядка, как Романов, не мог его навести. При нем Ленинград — лучшее воплощение нашего государственно-промышленного комплекса

— скудел неотвратимо. Конечно, большинство консерваторов — а так везде называют сторонников терпящего фундаментальный кризис общественного устройств, — как и до 1917 года, верило, что зло — от смутьянов, диссидентов, а на них управа найдётся. Но мыслящая часть высшего эшелона — то есть и Горбачев, и Яковлев, и Ельцин, и их единомышленники — видели свой долг в том, чтобы спасти от надвигающейся катастрофы страну и вместе с ней партийных реакционеров, которые но слепоте своей их же и поносили.

В недемократических обществах реформы обычно и проводят мыслящие консерваторы. Прусские министры Штейн и Гарденберг, люди довольно консервативные, сознавали, что война с Наполеоном и крепостная зависимость крестьянства, даже не столь тяжкая, как в России, несовместимы. Их реформы предопределили возвышение Пруссии и возглавленное ею потом объединение Германии. Россия нуждалась в реформах еще острее, но они так и не были проведены, и Крымская война подтвердила, что храбрая и талантливая армия обречена на поражение, если общественный строй тормозит развитие хозяйства.

Приход к власти хотя бы в одной РСФСР такого человека, как Ельцин, из мыслящего консерватора выросшего в явные либералы, весьма отраден. Политика либеральных реформ, не только провозглашаемых, но и на деле осуществляемых, послужит формированию подлинного политического центра, по отношению к которому консерваторы — и мыслящие, прогрессивные, и неразумные, реакционные, — составляют правый фланг. Но для устойчивости либеральному центру недостает левого, демократического фланга, и его отсутствие может стать роковым.

Пора признать, что без возрождения во всей полноте политического спектра, без равных возможностей для консерваторов, либералов и демократов отстаивать свои позиции в рамках одинаковых для всех правил о создании политических условий для выхода из кризиса не может быть речи. Избрание Ельцина — важный, но первый шаг на этом пути.

Обком — за монархиста

Смысл демократии в мирном обретении социального компромисса, в мирном уходе провалившейся партии от власти, но уходе не в тюремные камеры, как бывало, а в оппозицию. Демократия — не просто осуществление воли большинства, но и защита меньшинства, то есть защита и желающих самоопределения наций, и малочисленных социальных групп, и каждого отдельного человека от произвола, защита от сведения личных и групповых интересов и прав к так называемым общим интересам, под прикрытием которых стоящие поближе к государственному пирогу рвут от него куски либо прямо себе, либо для умноженного обогащения по каналам теневой экономики.

Хоть позиция Жириновского куда откровеннее противоречит официальной программе КПСС, чем либеральная позиция Ельцина, ни Рыжков, ни Макашов, ни Тулеев не сочли своим долгом внятно сказать о своем отношении к этой позиции и обозначить ее природу. Впрочем, стоит ли удивляться? Вот Невзоров прямо объявляет себя антикоммунистом и монархистом, а его советует слушать секретарь обкома Гидаспов, его хвалит большевичка Нина Андреева, и газета ЦК КПСС «Гласность» горько сетовала, что Невзорову недостает года для выдвижения своей

кандидатуры в президенты России, и предлагала вопреки закону предоставить ему такую возможность. Понятно, что в пору массовой растерянности Жириновский или Невзоров не менее популярны, чем Кашпировский или Глоба, но примечательно, что особенно их полюбили коммунисты-консерваторы.

Здесь политический спектр замыкается. Между свеженьким антикоммунизмом и окостеневшими сталинскими принципами различий не наблюдается. И те и другие стоят за унитарное государство без самостоятельности народов, без экономической свободы, без человеческих прав. Стремление сохранить прежний порядок под новой вывеской, не обязывающей уже ни к чему, — едва ли не самая опасная тенденция наших дней, наглядно проявившаяся в ходе выборов. Тем выше надо оценить значение демократии как лучшего пути для проведения в жизнь здоровых идей и осознания нравственного предела, до которого допустимо отстаивать и самые дорогие ценности.

Недавно, беседуя с корреспондентом «Известий» о своем отношении к памятной декларации митрополита Сергия, патриарх Алексий II сказал: «Митрополит Сергей хотел спасти этой декларацией церковь. Знаю, что многие, слыша эти слова, возражают, что церковь спасает Христос, а не люди. Это верно. Но верно и то, что без человеческих усилий помощь Божия не спасает».

Но спасают ли церковь человеческие усилия, когда они переступают заветы Спасителя и так или иначе ради церкви обращаются против него?

Разобраться в этом важно не одним верующим, а и свободомыслящим, ведь и с мирскими убеждениями происходят подобные превращения, и, чтобы нынешняя радость России не прошла зря, надо зорко вглядываться в социальные отношения и различать смысл их политических преломлений. Иначе размытые лозунги кандидатов и эйфория от избрания, бесспорно лучшего из них заслонят нам то, что происходит на деле, и народ уже совсем не будет властен над происходящим.

О ТОМ ЛИ БОЛИТ ГОЛОВА?

Конфуз несостоявшегося избрания председателя на Съезде народных депутатов РСФСР огорчителен. Но кого мы ругаем?

Первым делом, как водится, обличали демократов. Вот они опять показали свою неспособность к консолидации во имя высших целей, тогда как противоположная сторона демонстрировала завидную сплоченность! Где уж было сосчитать, что, поддержки столь же дружно все истинные демократы Хасбулатова, голосов до заветных 531 ему все равно бы не хватило. Раскол слева любопытен тем, что опровергает популярную ложь, будто у нас, как всегда, два лагеря и спор идет меж радикальными и умеренными реформаторами, то есть, меж демократами и коммунистами.

Взгляды Хасбулатова — срединные на российском съезде, и, конечно, стоит задуматься, почему при этом он не был избран...

В массовом сознании социальные перемены связываются с политическими движениями, их лозунгами и вождями. Лишь очень немногие даже среди политиков отдают себе ныне отчет, что в конечном счете дело часто решает социально-государственная структура. Именно ее устройство определяет подлинный смысл политических лозунгов. Злодеяния Сталина проистекали не столько из его личной аморальности

и дурного характера, сколько из соединения в одних руках хозяйственной власти — и власти над людьми и мыслями.

По сей день и политики, и граждане только и думают у нас, что об усилении исполнительной власти, не задаваясь мыслью, что именно ее усиление грозит диктатурой, между тем как ни законодательная, ни судебная власть, сколько их ни усиливай, диктатуры в себе не таят. На резкое усиление общесоюзной исполнительной власти, наделенной уже и законодательными полномочиями, естественным ответом было учреждение поста президента России. Никто, однако, не задумывается, как при этом изменятся прежние структуры российской власти — Съезд и Верховный совет. Об этом на референдуме не спрашивали, и в итоге, обретя президента, мы сохранили могучую надстройку над парламентом — председателя с тремя или даже четырьмя заместителями. Надстройку приходилось терпеть, покуда общий председатель двухпалатного парламента выступал главой государства. Но теперь-то, когда впервые в своей истории Россия обрела всенародно избранного главу государства, надстройка зачем?

Сергей Бабурин в оправдание особых полномочий единого руководства парламентом счел возможным сослаться даже на одного из отцов-основателей американской демократии Джеймса Мэдисона, справедливо говорившего о нужде государства в системе сдержек и противовесов. Но как профессиональный юрист Сергей Бабурин не может не знать, что в Соединенных Штатах это задача отнюдь не антипрезидента с непомерными правомочиями, а палаты представителей и сената. Они проводят раздельные обсуждения, принимают раздельные решения, лишь потом, при нужде, отыскивая взаимоприемлемые компромиссы, то есть учитывая всё оттенки интересов граждан, Штатов и общества в целом.

Наши палаты, Совет республики и Совет национальностей, напротив, преимущественно выступают вместе как единый организм, то есть пренебрегают специфическим углом зрения, под которым каждой палате надлежит рассматривать общие проблемы, а ведь именно ради этого вместо единого парламента создан в России двухпалатный. А тут еще над искусственно сращенным парламентским организмом поставлено общее для обеих палат руководство. Его независимость от палат Верховного совета и до избрания президента вела к умалению роли депутатов. Оттого и оказался возможен бунт руководящей «шестерки», как вскоре выяснилось, отнюдь не выражавшей волю большинства депутатов и, как затем подтвердили всенародные выборы, вовсе не выражавшей волю народов России. Сильно бы удивился Джеймс Мэдисон, узнав, что на него ссылаются в оправдание подобного порядка.

Впрочем, стоит ли осуждать «провинциального юриста» Бабурина, если санкт-петербургский профессор-юрист, заняв пост мэра города, поспешил заявить: «Я запрещаю чиновникам мэрии вступать в какие-либо объяснения с депутатами по вопросам, не относящимся к проблемам их избирательных округов». Итак, депутатам Ленсовета не положено теперь интересоваться, что делает мэрия в помощь Кировскому театру или водопроводной станции, расположенной в чужом избирательном округе, хотя они и нужны всему городу. Депутат, по убеждению нашей исполнительной власти, и консервативной и либеральной, выдающей себя за демократическую, — лишь привилегированный ходатай по делам избирателей. Но мы являемся на выборы не за тем, чтобы подобрать себе

адвокатов, а чтобы послать своих представителей для решения общих — в масштабе государства и города — проблем с учетом наших особенных обстоятельств и интересов. Это сопряжение общего и особенного не под силу и самой лучшей исполнительной власти, самому мудрому президенту и самому доброму царю, предоставленным самим себе. Потому и надобны противовесы в виде многоголовых представительных органов, где звучат голоса народных посланников. В многонациональной стране, как наша, во имя межнационального мира нужны, как уже признано, даже два параллельных представительных органа, две палаты, в одной из которых при решении общих проблем первенствуют особенные интересы равноправных независимо от национальности граждан, в другой — особенные интересы разных народов. Возвышение над обеими палатами общего руководства, да еще с постоянными общими заседаниями, мешает палатам выполнять специфические задачи, ради которых они созданы, и не зря в демократическом государстве с двухпалатной системой единого руководства для обеих палат не заводят.

К тому же в РСФСР, единственной из союзных республик, еще и сами палаты заполняют не все избранники народа, но лишь те из них, кто угоден и большинству съезда, — выборы высших органов власти в РСФСР, как и в СССР, двухступенчатые, и хоть вроде бы народ посылает туда представителем своей воли, на деле большинству депутатов легко отстранить от повседневного руководства посланцев меньшинства. И по такой же двухступенчатой системе в Ленинграде Анатолий Собчак предлагает Ленсовету выделить из своей среды десятую часть в муниципальный совет, который мэр милостиво соглашается выслушивать. А собирать Ленсовет, какой он ни есть, но все-таки напрямую избранный горожанами, чаще, чем раз в год, демократический мэр не видит нужды.

Нынче дозволено не соглашаться с Лениным, и особо ему достается за то, что, по его мнению, каждая кухарка должна управлять государством. Уверяют, что все нынешние беды от этих ленинских кухарок. Между тем в ленинском правительстве кухарками и не пахло. Не говорю о работавших везде и всюду, начиная с армии, «буржуазных спецах», которые, как уверяет занявший ныне должность Ленина В.С.Павлов, нам и не нужны.

А что до кухарок (заметьте, речь идет о каждой кухарке, не то чтобы одну поставить министром культуры, а остальных держать по-прежнему на кухне), то ведь именно в том, что каждая кухарка, оставаясь кухаркой, каждый крестьянин, каждый рабочий, каждый учитель, каждый инженер, каждый врач должны управлять государством, и состоит демократия. Управлять, понятно, не самолично, а через свободно избранных ими представителей. Ведь если уж полемизировать с Лениным, то лучше бы сказать, что, провозгласив равное право граждан управлять государством, он пренебрег созданием реальной представительной системы, позволяющей пользоваться этим правом на деле и осуществлял не столько волю кухарки, знавшей, что почем на рынке, сколько волю партии, которая сочла себя вправе и самый этот рынок упразднить. Оттого в начальстве и умножились малограмотные, что именно менее грамотные, менее одаренные, менее квалифицированные заинтересованы в системе, позволяющей им вопреки объективной ценности их труда брать верх над более знающими, более даровитыми, более квалифицированными.

Ленин, хоть и не стремился к подобным результатам, не предвидел их. А к ним неотвратимо вел примат воли над объективной социальной

реальностью. Оттого и советы, формально сосредоточивавшие у себя власть, на деле лишь декорировавшие власть партии, не смогли стать эффективными представительными органами и, конечно, нуждаются в реформировании. Порой в сокращении числа депутатов, порой в объединении и даже упразднении там, где эти советы дублируют друг друга. Но все это лишь затем, чтобы усилить влияние народных представителей, чтобы прежде всего выборы депутатов во все представительные органы снизу доверху были прямыми, позволяющими воле каждого гражданина сказаться на управлении государством. Само собой желательно, чтобы народ предпочел депутатов, имеющих подходящее для государственной деятельности профессиональное образование, но гражданская ответственность депутатам еще нужней профессиональных знаний.

Власть руководителей советских органов становится все более похожей на недавнюю власть руководителей партийных органов, разом исполнительную и законодательную, то есть произвольную, ограниченную только вышестоящими инстанциями, а когда таковых нет, то неограниченную. Уже и в новом союзном договоре заложены структурные несовершенства высшей власти, сулящие дальнейшие конфликты.

Конфуз на российском съезде показал, что наш порядок все еще ориентирован на пренебрежение реальной волей народа. Лишь четверо из чуть не 1000 народных избранников поддержали депутата Аржанникова, предложившего хотя бы упростить порядок, свести функции председателя Верховного совета к председательствованию на заседаниях.

Что ж, если у депутатов не хватает духу признать безотлагательным избрание прямым народным голосованием рабочего двухпалатного Верховного совета и упразднить дорогостоящие и многочленные съезды, может быть, и этот вопрос, пусть с запозданием, надлежит задать на всенародном референдуме?

Но порядок, фактически сводящий на нет прямое представительство граждан и разделение властей, не стоит именовать демократическим.

УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ 13-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

Не будь под письмом Ливии Ермаковой в 31-м номере журнала поставлено «13 лет», я бы, конечно, не стал на него откликаться. Но не хочу отговариваться тем, что именем девочки подписался папа. При нынешнем уровне преподавания 13-летняя девочка может и впрямь не знать азбучных фактов и впрямь думать, что историю делают не люди, а исключительно обстоятельства, и впрямь верить, что свобода и независимость, необходимые своему народу, необязательны для прочих. О нашей стране девочка пишет: «Да, часть земель была завоевана, но такова история». Такова история: Грузия вошла в состав нашей страны 190 лет назад, Армения — около 160 лет, Кыргызстан — около 130, Литва — 50 лет назад. Но Дмитрий Донской, хоть со времени подчинения Руси Золотой Орде до Куликовской битвы, прошло тоже 150 лет, не посчитался с тем, что «такова история». Можно, конечно, уверять, что не хватило ему политической мудрости Александра Невского, сообразившего, что выгоднее покоряться азиатским басурманам, чем европейским христианам, — уже через два года после Куликовской битвы Тохтамыш и впрямь совершил еще одно нашествие, захватив Москву и устроив там

чудовищный погром. До стояния на Угре, когда на деле созрели силы для независимости, было еще сто лет. А все равно, суверенность Руси более всего predeterminedена Дмитрием Донским, и вечная ему за это слава!

Но, завершив вскоре после освободительного стояния на Угре свое объединение, Русская земля за счет завоевания чужих земель понемногу перерастала в Российскую **империю**. Это не русофобы ее переименовали — это официальное название. И, подобно Дмитрию Донскому, за свободу и независимость своих народов ратовали позднее и Салават Юлаев, и Тадеуш Костюшко, и Шамиль, и Тарас Шевченко, и многие другие.

Большевики не придумали, как внушили девочке, резать единую якобы страну на республики и автономии, они лишь пошли навстречу реальным национально-освободительным движениям, чтобы их успокоить. Причем пошли им навстречу явно недостаточно, больше на словах, сохранив непомерную власть центра, отчего и льется поныне кровь. Нынче на политическую арену открыто вышли люди, которым этой крови не жалко, которые жаждут упразднить даже нынешние национальные республики и учредить губернии. Но 13-летней девочке стоит знать наперед, что ради этого мальчикам из ее класса, как нынешним солдатам, придется быть либо убитыми, либо убийцами в Грузии, в Узбекистане, в Литве и еще неведомо где. Неужто девочке их не жалко?

Учителя и родители скрыли от нее, что Англия ушла из Индии, а Франция из Алжира из-за того, что за возможность и дальше решать их судьбы приходилось платить своей кровью. При всей нашей гласности девочка нигде не услышала и не прочла, что те, кто все-таки брался решать за другие народы — за венгерский, за чешский и словацкий, за афганский, — наносили непоправимый ущерб собственному народу. А ведь вся надежда на спасение нашей родины в том, что хотя бы дети смогут осознать ее печальный опыт.

ОСКОРБЛЕНИЕ СВЯТОСТЬЮ

Почему Красная площадь обратилась в привилегированное кладбище и долгие годы торжества и парады, даже физкультурные, совершались в обществе дорогих покойников?

Под занавес последнего съезда народных депутатов СССР Анатолий Александрович Собчак предложил захоронить Владимира Ильича Ульянова (Ленина) «в соответствии с религиозными и национальными обычаями нашего народа и в соответствии с его собственным завещанием». Протесты не заставили себя ждать, и у мавзолея появились пикетчики с плакатами, а в газетах стали писать, что никакого завещания на сей счет Ленин не оставил.

Опять затевается шумный спор о важной проблеме, которую норовят разрешить, не входя в ее суть. Если соответствие религиозным обычаям состоит в том, чтобы Ленина отпели, так это как раз можно наладить, не вынося его из мавзолея. Святейший патриарх, принявший президентскую присягу, едва ли откажет. А можно заказать и заочную заупокойную службу, каких немало совершено по сгинувшим на Лубянке или в Сибири. И будет у нас Ильич не хуже Серафима Саровского!

Но в том-то все и дело, что для пикетчиков у мавзолея, для всех, кто просматривается за ними, он и так не хуже. С его безвременной кончиной они связывают позднейшие беды, с верой в его вечную жизнь — «Ленин

жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» — надежды. Поныне есть верующие, что все образуется, если «вернуться к ленинским нормам», «идти ленинским курсом». Оттого и жаждут поклониться его как бы нетленным мощам, оттого и противятся желающим эти мощи отнять, как отняли некогда мощи Серафима Саровского.

Некоторое различие между Собчаком и пикетчиками, конечно, есть. Просвещенный петербургский мэр говорит о религии, имея в виду православие. А пикетчики — коммунистические язычники. Но их мировоззрение — тоже религия, а не плод чисто умственных занятий, пусть в ней другие боги, другие обычаи, пусть церковно-канонической формы она до конца не обрела. Умственные занятия обходятся без мощей. В том и загвоздка, что пожелание похоронить Ленина «в соответствии с религиозными и национальными обычаями» в 1924 году как раз было выполнено.

Пренебрегли, напротив, соответствием с обычаями самого покойника, с тем, что он был безбожником, никакой религии — ни православной, ни языческой — не исповедовал и хоть письменного завещания, видимо, и впрямь не оставил, но, право же, и вообразить не мог, что выставят напоказ его мощи, заботами профессоров Воробьева и Збарского обретшие нетленность.

Стоит задуматься, чем явился свершившийся тогда переход от возрений рациональных (не важно, «правильных» или «неправильных») к религиозным, и почему Красная площадь, главная площадь столицы и страны, обратилась в привилегированное кладбище и долгие годы торжества и парады, даже физкультурные, совершались в обществе дорогих покойников. Пока не разберемся, ничего в нашей страшной истории не поймем.

В автобиографии Троцкий признался: «Отношение к Ленину как к революционному вождю было подменено отношением к нему как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей» (из книги Троцкого «Моя жизнь»). Но Троцкий не признался, почему его протесты не были тогда публичными, хотя, казалось бы, само шло в руки верное оружие против главного противника, священника-недоучки, все это устраивавшего, которого тут бы и изобличить! Ан нет, не только Сталин, но всей душой пошедшее в этом за ним большинство партии и значительная часть народа своим великим надругательством над покойным вождем придали ему могучий, отвечающий массовому религиозному сознанию атрибут святости, против которого не мог возразить уже ни Троцкий, ни тем более рядовой партиец с дореволюционным стажем.

Мавзолей стал ответом партии и народа Ленину на провозглашенную им революцию. Когда вожди подымались потом на трибуну мавзолея, они, сознательно или бессознательно, демонстрировали свою причастность к святыне, поверх которой ступали их сапоги и штиблеты. Мавзолей стал купелью идеологизации государства.

Покуда Ленин слыл дерзким мыслителем, покуда убеждал рациональными доводами, можно было его доводы опровергать, пусть даже делать это вслух мешали цензоры и чекисты. Это считалось уже преступлением, но еще не кощунством. Когда же, скончавшись, он из мыслителя окончательно превратился в Спасителя, логические доводы и

сама очевидность вещей утратили значение. Как во всякой религии, верить, а не понимать надлежало потому, что символом веры стал абсурд — нетленное тело материалиста. В это мгновение советское государство, сперва претендовавшее на разумность, противостоящую неразумию самодержавия, само обратилось в государство идеологическое, религиозное, иррациональное. Оно уже не просто тут или там поступало неразумно, но принципиально противостояло реальности, уверяя, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Другие научные теории и учения что-то могли, а чего-то не могли, но учение стоящих на мавзолее, учение так называемого марксизма-ленинизма, величавшее себя научным, могло все, и его претензия на всемогущество позже обрела иррационально-священный характер. Не случайно и нынче, когда святыни коммунизма скудеют, их укрепляют не возвращением к разуму, а внешне противоположными им святынями по другую сторону кремлевской стены, готовы отдать церкви в собственность кремлевские соборы, даже и при царе ей не принадлежавшие. Идеологию опять готовы изменить коренным образом, только бы государство не перестало быть идеологическим, не стало светским.

Владимир Ульянов умер. Его искреннее стремление загнать людей расстрелами в рай еще долго будет обсуждаться. Но его земная жизнь давно окончилась, дух он испустил, и с его останками надлежит поступить так, как он сам бы того хотел. Он не раз участвовал в гражданских похоронах, предавая товарищей земле. Вот и поступим с ним так же, сознавая необратимость смерти.

Пусть беспрепятственно почитают свои святыни и соблюдают обряды православные, католики, мусульмане, баптисты, иудеи, кришнаиты, коммунистические язычники и люди любой другой веры, если она не зовет к насилию. Пусть почитают святыне, если веруют в их благодать. Никому не возбраняется воображать, что его вера, его идеология — единственно правильная. Никому не возбраняется переменить веру, принять православие, вступить в КПСС, пойти в кришнаиты или, напротив, стать свободомыслящим. Но ни в коем случае ни одну веру, ни одну идеологию, вполне терпимую и даже симпатичную, в качестве личной, частной, групповой, партийной, церковной не следует отождествлять с государством как целым. Кто это делает, тот и есть необольшевик, а какую именно веру он навязывает — это уже детали. Не приходится удивляться, что, выскочив из партии, некоторые особенно усердствуют в замене вчерашних идейных нормативов на совсем иные, но столь же обязательные, а мы, и прежде ни в партию, ни в комсомол не спешившие, и другой предписанной веры не хотим. Не было бы беды, останься КПСС после революции отделенной от государства и храни она ныне святыне мощи Ильича в часовне партийного просвещения. Но партия и сама неотрывно воплотилась в государство и святыне мощи вынесла на площадь с почетным государственным караулом.

Добровольно входя в храм, пусть лишь из любопытства, надлежит вести себя почтительно. Совсем другое дело, если идеологический храм сам вбирает в себя, расплывается над городом и страной, над армией и школой и требует к себе почтительности от всех граждан поголовно. Добром такое не кончается, даже если верующих большинство. Стало быть, чтобы в стране жить и думать по-человечески, надо сперва по-человечески похоронить Владимира Ильича.

И ВАШ ПРИМЕР НЕГОДЕН

В ходе нынешних дискуссий о союзе писателей и книгоиздательской деятельности в СП СССР, СП РСФСР и новообразуемый СРП (Союз российских писателей) направлено немало писем. Нам стало известно письмо П.Карпа в СРП, которое, как нам кажется, представит для читателя интерес. С разрешения автора, мы это письмо публикуем.

Уважаемые товарищи!

Поскольку в «Литературной газете» № 37 от 18.9.91. вы просите «всех писателей, согласных вступить в СРП», направить вам не только заявления, но и замечания по уставу, я рассудил, что свои замечания мне все же следует послать, пусть и без заявления, тем более, что подать его мне мешает именно устав. Посылаю их не из-за того лишь, что ваш союз мне уже по составу ближе, чем союз Бондарева, Распутина и Личутина, которые тоже всех просят в форме регистрации выразить согласие на присоединение к ним. Подобно вам я не могу смириться с превращением союза писателей России, усилиями его руководителей, в агитбригаду ГКЧП и хотел бы нормальной литературной жизни. Ваше начинание я мог бы только приветствовать, если бы избранные вами и запечатленные уставом пути не вели в сторону, противоположную избранной и провозглашенной вами благой цели.

Уже подать заявление мне мешают пункты 3.4 и 3.12 устава, согласно которым вы, выступая учредителями и, тем самым, освобождая себя от приемных процедур, нам, прочим, предлагаете позаботиться о двух рекомендациях, тоже, впрочем, приема не гарантирующих. Вы сели своей компанией и зовете гостей из прежде общего союза, оставляя за собой право решать, кого из отозвавшихся впустить. Естественно, возникает желание остаться дома. Оно идет не от обиды и даже не от досады, что Бондарев действует все же поумней и в день развода (что будет завтра, дело другое), устраивая свою незаконную перерегистрацию, довольствуется согласием признать его наследником прежней структуры. А вы учиняете членам прежнего союза проверку. И вспоминаются великие слова: «Если будете всех считать дураками, одни дураки к вам и придут».

Дело ведь не в том, чтобы противопоставить плохому прежнему союзу хороший, но столь же прежний. Напомню, что нынешний тоже возник в противовес прежнему, РАППу, и тоже как союз независимых писателей. В печати той поры часто повторялось модное нынче слово «независимый» и вроде к месту — в правление тогда вошли Зощенко, Пастернак, Тынянов, но они не в силах были помешать союзу очень скоро превратиться в новый РАПП. Вот и надо понять, почему это стало возможно, понять не только вину КПСС, культа личности и другие очевидности, но и вину, или, точнее сказать, порок самой структуры союза, не только не обеспечивавшей писателю желанную независимость, но и целиком нацеленной на то, чтобы ввергнуть его в круговую зависимость. А не поймем, значит, любой новый союз неизбежно станет вскоре очередным РАППом, все равно, будет ли выверяться его состав по чистоте пролетарского происхождения, или самой по себе крови, или по соответствию предуказанным литературным стандартам.

В тоталитарном государстве общее гражданское бесправие создает писателю особые трудности. Нынче модно писать, что от союза было одно зло, а я не побоюсь признаться, что для меня прием в союз был радостью, и не потому, что я счел его за признание моих талантов, а потому, что

отныне мог предъявить участковому не издательские договоры на непонятных ему бланках, а махонькую коричневую корочку, и мог не объяснять уже, почему молодой еще человек с двумя малыми детьми сидит целыми днями дома за пишущей машинкой. Тогда, во второй половине пятидесятых, закона о тунеядстве еще не было, но к тому, что человек не состоит на государственной службе, относились известно как.

Нынче законом о занятости преследование за «тунеядство» отменено. Но вопреки всем разговорам о том, что государство у нас уже не тоталитарное и даже замышляет стать правовым, что коммунизм умер, КПСС распалась, главное осталось прежним, хоть и в других формах и под другими именами, и нельзя еще быть уверенным, что писателю, не состоящему в союзе, грозит не большее, чем состоящему. Писателю надо выжить, остаться писателем. Помочь ему в этом — вот задача союза. Но ваш устав открывается словами: «1.2. СРП ставит своей задачей писательское самоуправление». Да ведь это не задача, а только средство решить задачу. А коллективного самоуправления из средства, становящегося целью, у нас и прежде было в избытке и тоже под флагом «повышения уровня духовности и профессионализма литературы». Разве вставляли еще слово «коммунистический». Но дело не в слове, а в самой этой претензии писателем управлять.

Нет, новый союз имеет смысл только если он с самого начала станет **союзом взаимопомощи и взаимозащиты писателей**, независимо от их политических, религиозных, художественных и прочих позиций. Понятно, речь не о защите казнокрадов или подстрекателей насилия, но о защите писательства как некоего, если угодно, первозданного занятия. О защите не только от произвола отдельных лиц или учреждений, но от нашего могучего государства, которое с давних времен привыкло глядеть на писателя как на светского священника, не зря оно поместило на съезде народных депутатов Распутина рядом с Редигером (Алексием II). Разумеется, речи Распутина, Белова, Бондарева и прочих ужасающи и позорны, но ведь именно таких «криков души» ждет от них государство. Белов — депутат от КПСС, Распутин — чуть ли не от СП, да еще президент вознес его в свой Совет. Народ этих народных депутатов не избирал (Бондарев, отважившийся пройти сквозь народные выборы, на них провалился), их выбрало начальство, и они начальству честно служат. ГКЧП — это ведь организация начальства, а не тайный кружок изменников родины. Это нелепое обвинение. Другое дело, что родиной они дорожат как лагерем, в котором сами служат вохрой. Те, кто по заслугам обличая нынешнее вольное черносотенство, выгораживают покровительствующее ему начальство, «советское руководство», не попавшееся на данном ГКЧП, мешают разглядеть главную трагедию нашей литературы — то, что она не только в официальных проявлениях часто бывала служилой.

Конечно, писателю не заказано участвовать в жизни общества, но только в индивидуальном порядке, а не в качестве государственного служащего по духовной части, каким писатель у нас нередко кажется и читателям, и государственным деятелям. Этому тоже надо куда отчетливее противостать в уставе. Но вся ваша концепция союза чисто общественная: бондаревский союз — реакционный, а ваш — либеральный. Разумеется, либеральный стократ лучше, вот ведь я вам это письмо пишу, а Бондареву писать ни при каких обстоятельствах не стану. Но мы не только по Щедрину, но и по своему тяжкому опыту знаем,

как быстро, при самых благих изначальных стремлениях, либерализм, если за ним нет демократического противовеса, в абсолютистском пространстве поглощается черносотенством. Раскол давно назрел, но не просто общественный, а литературный, то есть назрело возникновение по художественным склонностям и групповому взаимопониманию различных объединений, может быть, соединяющихся в союз, с сохранением за писателем возможности существовать в этом союзе и отдельно, самому по себе, ни к кому не прилепляясь из житейских соображений. Ради этого устав должен наперед определеннее обозначить взаимоотношения союза с государством и, прежде всего, правовые гарантии писательской жизни.

Организация материальной взаимопомощи, призванная помочь бедному писателю физически выжить (Литфонд), возникла еще в прошлом веке. Но Литфонд привязали к союзу и этим тоже превратили в инструмент управления писателями. При нынешнем разводе это определяет поведение членов союза в большой мере, чем их взгляды. Поскольку Бондарев и с ГКЧП хорош и для Ельцина — любимый автор, то есть всякой власти угоден, многие опасаются, что разрыв с реакционерами приведет к разрыву с Литфондом, и ваш пункт 3.9 этих страхов не снимает, тем более, что вы утверждаете нечто противоположное существующему порядку. В вашем уставе сказано, что членство в СРП автоматически означает членство в Литфонде. Но хоть это для членов СП всегда было так, их тут же принимали в Литфонд, все же имела место отдельная процедура приема, поскольку формально Литфонд числится отдельной организацией.

Во имя независимости писателя ее и надо сделать на самом деле отдельной от союза, и от нынешнего, и от бондаревского, и от вашего. Членство в Литфонде должно обрести не формальный, а реальный характер, чтобы руководство Литфонда не назначалось, как повелось, соответствующим секретариатом или правлением союза, которые потом и дирижируют его щедротами, а избиралось непосредственно писателями, членами Литфонда. Не союз правил бы Литфондом, а Литфонд субсидировал бы писательские объединения, но не произвольно, не по политическим симпатиям, а в пропорциональном соотношении с числом состоящих там членов Литфонда. И дальнейший прием в Литфонд осуществлялся бы на основании профессиональной, регулярной литературной работы. Но имелось бы в виду, что главная задача Литфонда — помогать нуждающимся писателям, в том числе в Литфонде не состоящим.

Порядка тут, однако, не будет, пока не прояснятся отношения Литфонда с издателями и, прежде всего, с главным владельцем всех наших издательств — государством. Оно либо просто не выплачивает Литфонду положенного, либо оформляет недоплаты как пожертвования Литфонда на государственные надобности. При этом у нас еще занижен гонорар за расходящиеся книги и завышен за нерасходящиеся. За рубежом, где после самоокупаемости основных расходов автору выплачивают установленный процент (10%, а то и больше) от цены каждого проданного экземпляра, при возрастании тиража оплата неуклонно возрастает, и одна удачно продающаяся книга может гарантировать всю дальнейшую жизнь и работу, а у нас с ростом тиража оплата относительно все понижается, да и сами тиражи, спихиваемые в государственные библиотеки, устанавливаются произвольно и

свидетельствуют не о спросе, но лишь о тиражной политике. А государство, присвоившее себе роль регулятора всего и вся, грабя писателей по отдельности, не считает своим долгом хотя бы часть награбленного отдавать их коллективному опекуну, Литфонду. Между тем, ни о защите материальных прав писателя, ни о защите прав Литфонда в уставе внятно не сказано. Но при наличии гражданских прав только защита имущественных прав, индивидуальных и коллективных, гарантирует реальную независимость писателя. Понятно, в рамках самостоятельного Литфонда групповые распри сами собой не исчезнут, и надо хорошо продумать порядок обеспечения максимальной объективности в предоставлении помощи, но в уставе такая задача даже не ставится. Вы принимаете существующие обычаи за непреложные, а их-то и надо менять.

Нынешний Литфонд, хоть и не слишком хорош, как-то выполняет свое назначение, но нынешний союз не просто беспомощен, а часто и враждебен писателю там, где помощь всего нужней. Ходит легенда, будто членство в союзе только и давало, но зато уж давало наверняка, возможность публиковать свои сочинения. Но это справедливо разве что для секретарей союза. Рядовые писатели не имели и не имеют возможности свободно печататься. А ведь писатель пишет все-таки не только для денег, и если уж создавать новый союз, то такой, в котором понимают, что означает для писателя отсутствие даже малейшей щелочки для выхода к читателю. Всюду в мире гонорар — лишь следствие читательского спроса, и при спросе книга издается до упора, а при его отсутствии не приносит автору ничего. Нигде в мире издание за свой счет не требует ни непомерных затрат, ни особых организационных усилий. И это важнейшие условия независимости писателя. В наших хозяйственных обстоятельствах союз писателей призван прежде всего заботиться о том, чтобы каждый писатель-профессионал имел возможность без пробивных талантов и знакомств издавать, пусть ограниченным тиражом и без гонорара, любое свое сочинение, а начинающий писатель мог делать то же самое по рекомендации союза. Конечно, одни книги раскупят, как пирожки, и потребуются допечатка, а другие долго будут лежать «в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет». Но ведь нередко именно они со временем входят в золотой фонд литературы.

Литература у нас издавна страдает от гонений политики, но это процесс не прямолинейный. Нередко сочинениям отнюдь не политическим политические обвинения предъявлялись, чтобы помешать их литературному существованию, ибо литература как живое явление для абсолютистской или тоталитарной системы сама по себе, даже аполитичная, опасней, чем фрондерство, которое успешно пресекали славные чекисты. Союз был нужен, чтобы упразднить литературу как таковую, ведь простыми запретами этого не сделать, вот и надобна организация, без которой писатель не может существовать, поскольку она, давая ему писательский статус, отчасти защищает его от гражданского бесправия, но именно этим либо делает его управляемым, истребляя в нем его суть, его своеобразие, его талант, либо, в лучшем случае, вынуждает его помалкивать. Коллективная ответственность за дела сугубо индивидуальные ведет к тому, что союз независимых писателей снова и снова перерождается в РАПП. Сама природа писательского союза, как и союза советских республик, на практике понималась как противоположная

реальной независимости участников. Наша страна никогда не была союзом, не был союзом и союз писателей. И чтобы создавать союз заново, в надежде, что он станет, наконец, и впрямь союзом, надо хотя бы осознать опыт наших неудач.

Вы пишете о праве союза на издательскую деятельность, а тем временем отделение «Советского писателя» в Санкт-Петербурге объявляет себя независимым от союза писателей, и его планы отныне призваны отвечать коммерческим интересам его сотрудников, от директора до уборщицы, но не литературным интересам писателей. Вот и надо защитить в уставе право союза иметь некоммерческое, лишь в целом самоокупающееся издательство, и право членов союза и поддержанных им молодых литераторов на издание, пусть ограниченным тиражом и без гонорара, своих сочинений. Нет другого способа считаться с литературной реальностью.

Писатель должен не пробиваться в печать, а присутствовать в печатном виде и ждать, покуда читатели его заметят. Ростки завтрашнего не должны вытаптываться имеющими, пусть даже по заслугам, успех сегодня. Не так уж важно, кто топчет — бюрократы или коммерсанты, важно, чтобы перестали топтать. Союз писателей должен быть залогом равных исходных возможностей, а не распределения чуть ли не окончательных оценок, как нынче. Он должен помочь писателю предъявить себя потенциальному читателю, не более того, чтобы судьбу литературы определял все-таки читатель — и сегодняшней, и завтрашней, и массовый, и элитарный, но не чиновник или предприниматель. Надо поставить все на свои места: одно дело — публикация, другое — литературный заработок, который лишь там, где так или иначе на твоей книге зарабатывает издатель, и совсем уже третье — другие источники жизни и прямая помощь. Увы, в вашем уставе об этом, о самом главном, нет ни слова. Вот почему планируемый союз, по-моему, не отвечает насущной потребности в коренной перемене условий существования литературы, и, отличаясь, конечно, от бондаревского по составу, не сможет отличаться от него по существу.

Я говорю это столь прямо именно потому, что — с этого я начал — исходные чувства, движущие вами и мной, схожи, но, в отличие от вас и от многих сегодня, я убежден, что корень зла не в людях, даже самых гнусных, а в противоестественных структурах, и, сохранив структуры, лишь заменив проходимцев, гнездившихся в них, на достойных товарищей, мы ничего не изменим, разве что поставим достойных товарищей перед выбором — тоже стать проходимцами или уйти, отступить. Мы ведь видали, как такое происходит, и не только в писательском союзе. Попробуем же хоть раз чему-то научиться на собственном опыте. В одну и ту же эпоху Сталин сказал: «С врагами будем действовать по-вражески», а Пастернак написал: «Ни в чем не меряйся с врагом, его пример негоден». Право же, стоит прислушаться к поэту.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ БОЙ С ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ

«Неужи солнце ихим декретам подчиняется?» — с тоской думал про лагерное начальство солженицынский Иван Денисович. Подчиняется!

23 октября Верховный совет РСФСР принял решение вернуться к старому декретному времени, введенному постановлением Совнаркома СССР от 16 июня 1930 года и отмененному весной нынешнего года.

Декрет предписал передвинуть время на час вперед против поясного, чтобы жизнь начиналась как бы на час раньше, захватывая ранние светлые часы и соответственно позволяя меньше тратить на освещение.

Нынешнее возвращение к декретному времени, опять же совершенное декретом, без совета с людьми, мотивировано тоже просьбой министерства энергетики, израсходовавшего с начала осени больше топлива, чем за тот же период в предыдущем году. Наши парламентарии, справедливо считая, что топливо, особенно в нынешних условиях, надо беречь, не задумались, как это можно сделать, не вступая в традиционный большевистский бой с законами природы.

Топливо, особенно после нефтяного кризиса, экономить приходится не только нам. В цивилизованных странах каждый платит за его перерасход, оттого и не тратит без толку. Вот почему люди там раньше встают, раньше начинают работать без всякого общегосударственного приказа, используя светлые утренние часы, и раньше ложатся спать. А Верховный совет, вместо того чтобы реформировать наше внеэкономическое хозяйство и сделать каждого заинтересованным, в том числе и в экономии топлива, по-прежнему исходит из священного права власти поступать по своему усмотрению.

Нынче в моде астрологи и колдуны. Просвещенные ученые — совсем недавно член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Волькенштейн в «Литературной газет» — пытаются втолковать людям ту бесспорную истину, что хотя бы Академии наук не стоит покровительствовать шаманству и чтению затылком. Но втолковать не удастся, поскольку наша социальная система несовместима с признанием объективных закономерностей природы и общества, объективных фактов.

Декретное время не зря утвердилось тотчас за «великим переломом», за утверждением всевластия Сталина, и не зря вскоре за этим последовало столь же декретное утверждение великих открытий Трофима Лысенко, избранного в Академию наук, а потом и Ольги Лепешинской, и Бошьяна, которого уже забыли. А я еще помню, как активисты физфака МГУ требовали, чтобы партия открыто разоблачила, подобно Менделю и Моргану, лжеученых Эйнштейна и Планка. Но тут сам Сталин дрогнул — очень уж нужно было ядерное оружие, которого прогрессивные мыслители с физфака обеспечить не могли, а то бы и физику поставили на место, как биологию.

О политэкономии и говорить не приходится. Спорили только, вообще ли закон стоимости, то есть обмен товаров по эквивалентным затратам общественно необходимого труда, не играет при социализме роли или какую-то весьма ограниченную, «преображенную», которую сочтет нужным государство, все же играет. А чтобы независимо от партии и правительства, да еще в полной мере, так это ни в коем случае! Вот мы и доперли с постоянно не эквивалентными затратами до нынешнего развала, а спохватиться, видеть открытыми глазами доступное современной науке и здравому уму все не хотим. И уповаем уже на колдунов, астрологов и Жириновских.

Можно понять растерянность граждан, по сей день не имеющих объективной информации о том, как ведется наше хозяйство. Можно

понять даже Академию наук,— ей бы первой вставать на защиту объективных истин. А раз дала маху и пошла грешить, трудно потом из министерства науки превращаться в независимое от государства научное общество. Но понять парламентариев, да еще именующих себя демократами, поступающих подобным образом, все-таки невозможно.

Щедрин запечатлел градоначальника, провозглашавшего: «Мы тот закон переменим», и другого, который сжег гимназию и упразднил науки. Но эти наши славные предшественники орудовали все же до научно-технической революции. А нынче, внушая своими действиями гражданам, что любую природную закономерность власти под силу (на то она и власть!) пересмотреть или подправить, наша страна теряет на деформациях сознания куда больше, чем экономит на топливе.

Топливо беречь надо. Вот бы Верховный совет и призвал нас вставать на час раньше, а предприятия и учреждения — на час раньше открываться. Но нельзя ради экономии топлива нарушать международный порядок установления времени, внушая населению, будто солнце встает у нас на три часа раньше, чем, скажем, в Лондоне, а вовсе не на два, как на самом деле. Кстати, и Лондон при этом оказывается подальше от Москвы и Петербурга, а он ведь куда ближе к ним, чем Омск, не говоря уже о Колыме. Эту и другие очевидности надо сознавать, а не переворачивать декретами, если уж мы хотим что-то реально улучшить в нашей жизни. Надо все-таки считаться с временем. Тем более что оно считается новым.

ОТКУДА СТРАСТЬ К РАЗРЫВАМ?

Более полутора столетия назад, после подавления очередного польского восстания, Пушкин вспоминал, как он с друзьями жадно слушали польского поэта, который «говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся». Желать того же нынче побуждают и нужды хозяйственного развития. Между тем наш век отмечен небывалым обострением национально-освободительных движений. Великие империи рушатся. Испанская скончалась еще в прошлом веке. С начала нынешнего активизировались центробежные силы в Британской, Французской, Австрийской, Российской. От Австрии после первой мировой войны отпали Венгрия, Чехословакия, Хорватия, Словения, Босния, Воеводина. От Британской и Французской к середине века отделились почти все доминионы и колонии. Российская не распалась лишь благодаря Ленину, прокламировавшему замену «тюрьмы народов» их равноправным Союзом. По мере обнаружения в нем неравенства, дошедшего до массовых депортаций, и у нас национальное самосознание обострялось.

Между тем, особенно в Европе, надобность в хозяйственном единстве все росла. Первой в новое время попыткой объединения Европы парадоксальным образом стало фашистское завоевание, позволившее новой имперской канцелярии какое-то время распоряжаться ресурсами от Атлантики до Волги. Но у кого повернется язык назвать героическое сопротивление покоренных народов фашистскому диктату — сепаратизмом? Именно победа над фашизмом побудила думать о подлинном объединении Западной Европы, подтвердив объективную надобность в нем, но только на противоположных началах — место команды заступила взаимовыгодная координация интересов.

Центральное место в объединенной Европе вроде бы опять у Германии, но уже у другой, дорожащей не столько давней славой своих солдат, сколько столь же давней доброй репутацией банкиров и предпринимателей рейнской долины и вольных ганзейских городов. Сопоставление сменивших друг друга единых Европ — Третьей империи и Европейского сообщества — проясняет почву национальных конфликтов. Это недобровольность, неравноправие, желание одних решать за других, что тем лучше, и силой навязывать свою волю. Кто понял это, должен понять, что объективно необходимому единению народов способствует их самостоятельность, а разобщению — насилие.

Такое понимание нередко запаздывает, приходит, когда ожесточённая национальная самозащита обретает черты, схожие с вызвавшим ее угнетением. Тут забывают о беспощадном великодержавном национализме и в национализме винят лишь тех, кто защищается от имперского насилия. А ведь отшатываясь от авторитарных порывов бывшего диссидента Звиада Гамсахурдиа, надо держать в памяти тех, кто вынудил свободолюбивый народ отвечать на бескомпромиссность бескомпромиссностью. Не будь преступного кровопролития в Тбилиси 9 апреля 1989 года или будь руководивший им генерал Родионов хотя бы разжалован и уволен из армии, как опозоривший честь русского офицера, Грузия жила бы сегодня иначе и, может быть, не стремилась бы к столь резкому разрыву с другими республиками.

Там, где у людей нет права объединяться с другими людьми, страдающими от такого же национального или социального угнетения, у них нет и остальных прав, человек одинок перед лицом тотального государства, и его права, красиво записанные в сталинской конституции, силы не имеют.

Равноправие людей, независимо от их национальности или мировоззрения, — первый признак и первое условие демократии. Но простое опрокидывание границ, «чтобы в мире, без России, без Латвий, жить единым человеческим общежитием», ведет не к желанной цели, а к обратной. Более многочисленный народ у нас невольно ущемляет язык и культуру малочисленного, не оберегаемые специально, уже хотя бы потому, что латыш в Москве сознает необходимость говорить по-русски, но русский, постоянно живущий в Риге, нередко и не думает говорить по-латышски, вынуждая и тут латыша говорить по-русски.

Многонациональные содружества жизнеспособны лишь там, где базируются на добровольности и демократическом порядке. Имперские амбиции порождают страсть к разрывам. Югославская федерация еще служила бы сотрудничеству своих народов, преобразилась бы, как хотели некоторые, в конфедерацию. Но защищавшие свой гегемонизм сбрасывали бомбы на республики, мечтавшие о большей самостоятельности, и подорвали возможность сотрудничества. Между тем добровольно сложившийся некогда швейцарский союз потому и не распадается, что демократический порядок позволяет тамошним народам и без специальных усилий жить, как они хотят.

Не придется радоваться, если связи между народами нашей страны оборвутся или сменятся открытой враждой. Но единственная возможность их сберечь в современном мире состоит в том, чтобы позволить на месте империи Ивана Грозного и Иосифа Сталина сложиться, по примеру Европы, добровольному и равноправному сообществу демократических

государств, держащемуся взаимной координацией интересов, а не послушностью возвышающемуся над ним центру. Лишь когда для выхода из такого содружества довольно будет своего желания, а для вступления в него, напротив, потребуются согласие всех, народы без понуканий захотят соединиться в великую семью.

ОТ НАУКИ К УТОПИИ И ОБРАТНО

1.

На недавнем пленуме ЦК КПСС ректор Академии общественных наук Р.Г.Яновский сказал: «Томас Мор 450 лет тому назад, будучи лордом-хранителем печати, за коммунистические убеждения был казнен. Но он спокойно шел на это, чтобы отстоять свое мировоззрение».

Можно бы заметить, что Томаса Мора казнили не за знаменитую «Утопию», — книга, напротив, его прославила и послужила его государственной карьере. А жизнью пришлось заплатить за нежелание признать, что светский государь, Генрих VIII, некогда возвысивший мыслителя до первой подле трона должности лорда-канцлера, вправе взять на себя верховное управление церковью, принадлежащее римскому престолу. Томас Мор пошел на эшафот, чтобы отстоять свои католические убеждения, и в 1935 году, отмечая четыреста лет со дня его казни, католическая церковь его поэтому канонизировала. Но член-корреспондент АН СССР Р.Г.Яновский не просто перепутал лорда-канцлера с лордом-хранителем печати и католические убеждения с коммунистическими, он открыто призвал ЦК КПСС равняться на святого Томаса Мора, словно бы позабыв, что современное коммунистическое движение все же ведет свою родословную от совсем другого человека, на святость не претендовавшего.

Мечта об идеальном обществе давно пленяла людей. «Утопия», что означает «место, которого нигде нет». как порой переводят, «Нигдея», не только изложила эту мечту, но и дала наперед общее имя подобным мечтам. Общественное устройство, отвечающее понятиям мечтателей о справедливости, но не имеющее опоры в жизни, поныне зовут утопией. Но в середине прошлого века Карл Маркс нашел предпосылки реальной социальной справедливости. Движению от Томаса Мора к Карлу Марксу Ф.Энгельс посвятил известную работу «Развитие социализма от утопии к науке». Но исследование дальнейшей судьбы социалистических идеалов и реальностей было в нашей стране табуировано, и даже ныне мало кто с такой прямотой, как Р.Г.Яновский, признаёт, что представления о социализме на деле ориентированы у нас не столько на науку Маркса, сколько на утопию Мора. Будем же за это признание благодарны.

Маркса у нас винят во всех бедах минувших семидесяти с лишним лет. Но справедливо ли это? Марксова уверенность, что социализм — не просто хорошее общественное устройство, которое людям стоит выбрать, как считали утописты, но что к нему приводит объективный ход развития капитализма, исходила из осознания предела возможностей отдельной коммерческой сделки и, в частности, покупки и продажи рабочей силы как якобы достаточной для стабильности социальных отношений. Маркс понял, что обществу, ничего кроме таких сделок не знающему, грозит неизбежный кризис и распад производства, во

избежание которого необходимы общественные гарантии каждому человеку в масштабах прежде неведомых и немыслимых.

Западный мир, изучавшийся Марксом, и в самом деле преодолел свои кризисы тем, что создал могучую систему социальных гарантий, хоть и сделал он это иначе, чем виделось Марксу. Социальные гарантии там, прежде всего, не единообразны, — имеет место и государственное вспомоществование разных видов, и социальное страхование, и традиционная благотворительность, позволяющие не только не погибать с голоду, но и, скажем, при скромной зарплате лечиться в дорогостоящих больницах с новейшим оборудованием. В развитых капиталистических странах нагляднее, чем где-либо, проступают зримые черты настоящего социализма, то есть признания и исполнения обществом определенных обязанностей по отношению к каждому своему гражданину.

Наивно, конечно, думать, что нынешний западный мир и есть осуществленная надежда Маркса, — реальный ход истории не столь прост, чтобы его могли предусматривать в деталях и самые большие мудрецы. Называя тамошний порядок социализмом, стоит оговаривать, что это капиталистический социализм, в отличие от утвердившегося у нас феодального. Но и в учете открытий Маркса и в преодолении его заблуждений этот капиталистический социализм был куда прозорливей нашего. Жизнь к тому же показала, что социалистическое преобразование общества начинается не после революции и наступает не в результате планомерного строительства, а идет во многом стихийно в недрах прежнего общества, подобно тому как в недрах феодального мира совершались буржуазные преобразования.

Столкновение экономических, буржуазных порядков с внеэкономическими, феодальными, вело к революции, то есть присущее феодализму насилие рано или поздно вызвало контр-насилие. Отсюда, однако, еще не следует, что и переход от сугубо буржуазных отношений к социалистическим тоже непременно должен быть насильственным; да и вообще при современных производительных силах природу таких переходов вряд ли правомерно определять лишь по образу и подобию предыдущего. Сам Маркс допускал, что в Англии или Америке с их глубокими демократическими традициями переход от капитализма к социализму может осуществиться без революции.

Столетнее развитие внесло, конечно, существенные коррективы во многие положения Маркса. Одни оказались просто неверны, — в частности, теория абсолютного обнищания пролетариата. Другие, относительно справедливые для своего времени, не являются всеобщими законами, — в частности, уверенность, что источником стоимости (ценности) служит лишь физический труд. Третьи были изначально не вполне разработаны, — в частности, теория земельной ренты и вообще аграрного производства. Пересмотр и преодоление ряда выдвинутых в XIX веке положений лишь обогатили социологическую науку, одним из столпов которой Маркс, однако, остается поныне. И остается не только как инициатор материалистического понимания истории вообще, но и потому, что практика подтвердила его важнейшее конкретное соображение: обществу не выжить в стихии одних лишь частных коммерческих сделок, и оно избегнет крушения лишь при социальной защите всех своих членов, начиная с наемных рабочих.

Уже поэтому всемирный интерес к теории Маркса не был ни случайностью, ни плодом недоразумения. Но в массовом восприятии самое существенное нередко упускалось, а ошибки и заблуждения тиражировались. Теория Маркса — прежде всего теория развития. Марксу недаром нравилась параллель между ним у Дарвином. Историю общества он считал органичным процессом, а ее закономерности, хоть и совсем иные, подобными закономерностям естественной истории. Маркс и подумать не мог, что, ссылаясь на его авторитет, кто-то станет приклеивать гусенице крылья в надежде, что, минуя стадию куколки, она превратится в бабочку и полетит.

Между тем Маркса читали не только там, где бурно развивался капитализм и нарастало социал-демократическое движение, но и там, где капитализм делал еще первые шаги. А как раз в подобную пору свою «Утопию» писал Томас Мор! Его, убежденного гуманиста, страшили и огораживания, пускавшие по миру крестьян, и обнищание ремесленников. В противовес надвигавшимся буржуазным переменам он и сочинил свою книгу о прекрасном острове, которого нет на свете, но где люди счастливы, работают лишь по шесть часов, делают что хотят, и пользуются всем по потребности, при том, правда, что потребности у них более чем скромные. Трудно также проглядеть, что на этом острове справедливости и равенства, не знающем буржуазной частной собственности, есть зато рабы, выполняющие грязную работу.

Осуждать Томаса Мора, напуганного жестокостью перемен и надеявшегося, да и то не слишком, на то, что старый порядок усовершенствуется и как-то приблизится к идеализированно-гуманному образу жизни, нам, понятно, не стоит. Но не стоит и забывать о его примере, поскольку и при жизни Маркса, и в наши дни буржуазные отношения распространились по свету, жестоко разрушая прежний, хоть и нестерпимо тяжкий, но традиционно-привычный феодальный уклад. И множество людей в поисках спасения обращало взоры к утопиям, но множество и к достаточно реалистичным для высокоразвитого Запада социальным теориям и, в частности, к Марксу. При этом, однако, его теория чаще всего теряла исторический характер, и к ее идеалу, как к острову Томаса Мора, жаждали пройти покороче и быстрее, ожидая, что море расступится.

Вопреки массовой уверенности, что неисчислимы бедды на Россию навлек догматический марксизм, русский марксизм менее всего был догматическим. Он не то что пересматривал теорию Маркса, но часто ее отбрасывал, использовал лишь выборочно отдельные ее положения, не считаясь с основными ее принципами. «Марксизм — не догма, а руководство к действию», — провозгласил человек, при жизни провозглашенный классиком марксизма, и вырванными из контекста суждениями Маркса или Энгельса обосновывал немислимые для них шаги. К тому же раздробленность Германии, бурное буржуазное развитие одних ее земель и торжество феодальной реакции в других отчасти внесли в теорию Маркса уже помянутые заблуждения, и в странах, где феодальная реакция была еще круче, легче усваивались как раз уязвимые стороны теории и трудней — сильные и дальновидные.

Антибуржуазное движение против едва оперившейся буржуазии, шедшее под социалистическим флагом, сперва во многом сливалось с демократическим антифеодальным движением. Однако побеждая,

разрушая феодальные институты, оно пресекало и оживлявшиеся без них буржуазные отношения, и, тем самым, под другими именами и в других формах, фактически реставрировало феодальные отношения, поскольку для собственно социалистических, если следовать Марксу, никакой реальной базы там не было и быть еще не могло.

Теория «слабого звена», выдвинутая Лениным, и впрямь помогала партиям нового типа захватить власть в полуфеодальных, а часто и в не нюхавших буржуазного развития странах. Победители искренне верили, что устанавливают желанный социалистический строй, и, как всякие фанатики своей веры, из лучших побуждений переступали ради нее прежние этические нормы, полагая, что берут на себя грех во имя спасения будущих поколений. Однако реально складывавшийся при имевшихся производительных силах и навязанных производственных отношениях новый порядок, если опять же следовать Марксу, мог только сменить правителей и систему распределения, как это бывало уже и в средние века, но не изменить природу общественных отношений.

В предсмертных статьях и заметках Ленин, ощутив это, заговорил о необходимости изменить всю точку зрения на социализм, что, конечно, было знаком осознания объективной необходимости вместе с Марксом признать социализм явлением сугубо постбуржуазным. НЭП еще предоставлял возможность развития, позволявшего нашей стране как-то приблизиться в дальнейшем к элементам социализма, утвердившимся ныне на Западе. Однако без Ленина столь радикальный пересмотр опыта послереволюционных лет не осуществился. Политическая практика в очередной раз пренебрегла теоретическими соображениями, тем более, что задумавшийся о них в трудной ситуации вождь уже умер. И выход из кризиса стали искать, ускоряя движение в противоположную сторону, по-прежнему именуя социализмом продолжение «военного коммунизма». В итоге понятие «социализм», теория Маркса, и везде развешенные портреты Ленина стали псевдонимами сталинской феодальной реакции.

В двадцатые годы атака победителей, часто тоже несправедливая и неоправданно жесткая, направлялась против правой части политического спектра, то есть в соответствии с провозглашенными лозунгами, а на левом преследовались преимущественно прежние сторонники демократии. Но уже в тридцатые самым страшным грехом не случайно стала причастность к революционному движению — даже в рядах большевиков, не говоря уже о меньшевиках или эсерах. В середине века положение сына жандармского полковника было куда перспективнее положения сына революционера-каторжанина, уже расстрелянного, или сына героя-красноармейца, давно раскулаченного. Власть беспощадно уничтожала тех, кто способствовал ее установлению, наглядно демонстрируя изменение своей природы. Социализм как общественный идеал Маркса, предполагавшего, что «свободное развитие каждого должно стать условием свободного развития всех», перестал быть идеалом. Об этом главном стремлении «Коммунистического манифеста» при Сталине не вспоминали, зато переступившую этот идеал реальность объявили социалистической. Сперва сказали, что социализм построен, потом, уже после Сталина, назвали его реальным, потом развитым.

Несостоявшийся социализм прошел у нас как бы обратный путь от начавшего подыматься капитализма предвоенной России к феодальному порядку особого рода: уже не один герцог владел землей и не один граф

— людьми, но целые бюро коллективных герцогов и комитеты коллективных графов. Социалистический идеал взаимопомощи наложился на феодальную традицию, и возник общественный строй, которому наименование «феодальный социализм» подходит уже тем, что социальные гарантии в нем существуют преимущественно для партийных герцогов и графов да на состоящих при них номенклатурных дворян. И это не просто злостная выдумка, а естественный результат «военного коммунизма» и пресечения НЭПа, в частности, ликвидации свободного крестьянства, при всех возможных оговорках, обретшего было в ходе революции землю и самостоятельность, и объединения предприятий в хозяйственные монополии, именуемые министерствами.

Наиболее четко и откровенно принцип неофеодального порядка выразил лидер московской «Памяти» И.С.Сычев: «Народная монархия и социализм». Понятно, создатели этого порядка не могли в 1929 столь же откровенно признаться в разрыве с лозунгами 1917 года, и тем упорней твердили о своей верности Марксу и Ленину, чем дальше от них уходили. И все же идеал социалистической монархии, выбалтываемый ныне «Памятью», отчетливо проступал в идеологических установках Сталина, Жданова, Суслова, Ильичева и в утвержденном ими социальном устройстве, которое, поскольку монархия была народной, придало вид монарха вождю всех времен и народов, самому мудрому и любимому, всеведущему и всемогущему всеобщему отцу, творцу и учителю.

Квалификация этого порядка как «утопии у власти», завоевавшая популярность на Западе, явно недостаточна, коль скоро порядок этот достаточно долго существует на самом деле. Необходимо сознавать его природу, сознавать, как совершился переход от научной теории Маркса и антимонархических стремлений Ленина к идеологии Суслова, Ильичева и Сычева. Сколько бы заблуждений и упущений мы ни обнаружили у Маркса и еще больше у Ленина, наивно свести к ним причины подобного поворота миллионов людей в разных странах. Видимо, все же сам ход социальной жизни там побуждал держаться именно за заблуждения и упущения, оправдывавшие неофеодальное устройство, и не вспоминать о проницательных предвидениях тех же Маркса или Ленина, наперед разоблачавших сложившееся у нас устройство. Не зря аналогичные устройства возникли и в других местах, где ни Маркса, ни Ленина не читали и не почитали, а в почете были совсем другие авторы, на которых, однако, тоже можно сослаться в оправдание общественной практики.

2.

Если через двенадцать лет после буржуазной революции, через восемь лет после допущения, вслед за трехлетней паузой, буржуазных отношений, началось контрнаступление феодальной реакции, казалось бы, к нормальному развитию должна повести коренная дефеодализация, завершение дела 1861, 1905, 1917 годов. Однако этому препятствовали не только государственные институты, поставленные охранять новый феодальный, уже, по существу, тоталитарный порядок любой ценой, но и общественное сознание. Наше неравноправное иждивенчество остается для многих граждан общественным идеалом, хоть не все так решительно, как И.С.Сычев, его защищают. Такое иждивенчество осуществлялось за счет общей заниженности оплаты труда, возможной в силу тотальной

монопольности хозяйства да растраты национальных богатств, прежде всего сырьевых. И поскольку распределение, подменяющее реальный заработок, у нас не зависит от адекватного стоимостного вклада в распределяемые фонды, общественный протест против явной несправедливости часто сводится к требованию иного распределения или перераспределения, то есть лишь иной несправедливости.

Распределение, — и это важно сознавать, — не исчерпывается кормлением новых герцогов, графов и дворян, имеющих как бы естественное право на прибавки из «общего котла» в силу своей партийности, номенклатурной значимости, чистоты «пятого пункта» или принадлежности к высокопоставленной семье. Имеет ведь место общее внеэкономическое перераспределение национального достояния между социальными слоями и внутри них. Отсюда массовая нищета крестьян и интеллигенции за вычетом их верхнего слоя — председателей спецколхозов да академиков и лауреатов литературы и искусства. Неадекватно и распределение среди рабочих, одни категории которых оплачиваются выше, чем другие, лишь потому, что вне рыночное хозяйство не имеет экономических стимулов к развитию производства или добыче сырья, и они усиливаются в тех или иных направлениях просто по желанию исполнительной власти, учитывающей при этом лишь конкретные обстоятельства или политические цели, но не объективные потребности общества и обратную экономическую связь.

Внеэкономические привилегии и преимущества пронизывают все наше общественное производство, весь общественный порядок и все общественное сознание. Социальные слои, пользующиеся привилегиями, в том числе и трудящиеся, которым они перепадают, заинтересованы в незыблемости строя и не видят нужды задумываться об источниках распределяемых богатств, поскольку вообще освобождены от мысли о завтрашнем дне. Сторонники уравнительности вроде бы противостоят сторонникам привилегий, но тоже мыслят в рамках внеэкономического распределения, лишь по-иному понимая справедливость.

Социальные схватки, конечно, расшатывают неофеодальный порядок, но не выдвигают ему реальной альтернативы, поскольку протестующее сознание осталось феодальным. В этом-то и слабость нашего демократического движения, поддерживающего уравнителей в их правой неприязни к привилегиям, но уходящих от выяснения природы общества, в надежде и дальше держаться всеобщими перераспределениями. А дело за восстановлением условий продуктивного труда и гарантий пропорционального ему заработка.

Казалось бы, давняя ленинская идея нэповского отступления к буржуазным отношениям ныне общества еще нужней, чем в ту пору, когда Ленин, переломив себя, за такое отступление выступал, и, кроме открытых реакционеров, все так или иначе говорят нынче о рынке. Однако понимание того, что он собой представляет, что предстоит изменить, чтобы он стал возможен, и как совершится к нему переход, остается смутным. Мы не признаем, что идем к рыночным отношениям не столько от социализма, сколько от феодализма, хоть это естественней, но разоблачало бы природу нашего строя, а власть хочет его удержать..

Различимы основные концепции перехода. Одна вообще не опускается до социально-экономических проблем и не берет в расчет опыт человечества и даже нашей страны. Ее авторы, именующие себя

профессиональными политологами, полагают, что рыночное хозяйство возникает лишь при диктатуре. Экономическая демократия на их взгляд не только не нуждается в политической, но даже с ней несовместима. А ведь буржуазные революции, как известно, совершались как раз во имя расширения политической демократии, без которой тормозилось экономическое развитие. Понятно, демократия утверждалась не в один миг, после Великой революции 1789 года Франции понадобилась и буржуазная революция 1830 года и буржуазная революция 1848 года, но демократическая тенденция вела к развитию рынка, что явно перечит произвольным схемам наших политологов.

Строго говоря, даже диктатуры, возникавшие в ходе революций, нередко носили более демократический характер, чем свергнутые ими монархические режимы, — достаточно сравнить кодекс Наполеона с предреволюционным законодательством и тогдашней практикой. С другой стороны, диктатура Сталина или Брежнева менее всего способствовала созданию стоимостного хозяйства, и новый диктаторский режим, пусть даже провозглашающий самые добрые намерения, не имеет шансов обрести народное доверие, без которого хозяйственная деятельность, ориентированная на рынок, многого не сулит.

Неправомерны и ссылки на Франко, Пиночета и других генералов, при которых рынок и впрямь стабилизировался, поскольку там ему надлежало не возникать заново из тотального государственно-монополистического хозяйства, а лишь сыскать выход из очередного кризиса. Да и способствовала этому не так сама диктатура, как привходящие обстоятельства. Политологическая концепция якобы необходимой для перехода к свободному рынку диктатуры, признают это ее авторы или не признают, на деле — лишь форма теоретического отказа от свободного рынка, прельщающая тех, кто сообразил, что перестройка не обойдется аппаратной «революцией сверху», что риск противоречивых народных действий весьма велик, и страх побуждает искать городского, который все равно не спасет.

Согласно другой концепции, при переходе к рынку необходимо удержать мнимые преимущества феодального социализма перед капитализмом («отсутствие эксплуатации», на самом деле утроенной!) и ради этого сохранить директивность («планово-рыночную» экономику!), то есть, попросту говоря, допустив рынок, следует ему непрерывно указывать, как, чем, почему, кому и в каких количествах торговать. Здесь исходят из допущения, что нефеодалная структура сама по себе хороша, да вот плохи злосчастные «аппаратчики», издающие неудачные декреты. Однако никаких гарантий, что новые декреты окажутся более здоровыми, не может быть, а что до своекорыстия «аппаратчиков», то оно коренится не в их якобы имманентной безнравственности, а в избытке внеэкономического командования, неизбежно влекущего к возникновению теневой экономики, растлевающей не только государственный аппарат, но и прочих граждан.

В сущности, нам предлагают еще раз проследовать под флагом утопического социализма к уже имеющейся феодальной реальности. Продлить ее век, конечно, можно. Этому послужит и денежная реформа, уничтожающая сбережения населения, и свобода ценообразования при сохранении тотальной государственной монополии, и оставление государственного банка в руках правительства, позволяющее ему

печатать деньги «по потребности», и, разумеется, противоправная деятельность правоохранительных органов. Зайца еще какое-то время можно гнать дальше, но в итоге нынешние проблемы станут только еще острее и, может быть, гибельнее.

Есть, впрочем, и третья, еще более циничная концепция, по которой государство в очередной раз вызывается для нашего же блага само провести в жизнь неблагоприятные последствия, которые неизбежно начались бы при переходе к рыночной экономике, и в частности, резко поднять цены, отложив при этом на долгий срок допущение самой рыночной экономики, реальную передачу земли крестьянам и ликвидацию промышленных монополий-министерств. В этом случае, подобно тому как социализм стал некогда псевдонимом феодализма, рыночная экономика станет у нас лишь новым псевдонимом директивной, и в очередной раз свалив на граждан грехи государства и ограбив их, государственный ветер вернется на круги своя, и мы опять будем называть рабство свободой.

Трем охранительным концепциям противостоит четвертая, откровенно радикальная. Она предполагает всеобщее и полное господство частной собственности, дарующей якобы гарантированное спасение от всеобщей бедности и дефицита, неизменных свойств советской жизни. Понять радикалов можно. Руководители страны и придворные экономисты постоянно ссылались на «Коммунистический манифест»: «коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности», и, поскольку это теоретическое положение, в отличие от многих других, тоже провозглашавшихся выражающими самую суть теории, впрямь было проведено у нас в жизнь, сознание часто видит источник всех бед именно в нем. Однако частная собственность была ведь у нас не просто уничтожена, но заменена государственной, а авторы «Манифеста», хоть и предполагали на краткое переходное время (уж никак не семьдесят с лишком лет!) сосредоточить собственность в руках государства, одновременно предполагали, что с наступлением социализма не станет и самого государства и вообще, став господствующим классом, пролетариат уничтожит «и свое собственное господство как класса».

Для Маркса и для Ленина — чем они, в частности, отличаются от своих последователей в нашей стране, — государственная собственность и после революции являлась буржуазной. Это, понятно, утверждение не бесспорное. На мой, например, взгляд, в обществе, где уничтожается частная собственность, государственная оказывается феодальной. Но, так или иначе, утверждение, что государственная собственность является у нас социалистической, для марксиста абсурдно, поскольку социализм и государство по Марксу, да и по Ленину, несовместимы. Покуда сознание исходит из этого абсурда и не признает, что уже в силу внеэкономически-распределительного характера жалования, выплачиваемого трудящимся и тотальной монопольности, распорядители государственной собственности эксплуатируют человека еще больше, чем владельцы буржуазной, частная собственность сохранит для советских граждан манящую привлекательность. Исключением будут лишь те, кто пользуется привилегиями при распределении национального продукта или еще надеется на его уравнилельное перераспределение.

Однако трудность кажущегося простым одномоментного радикального перехода не исчерпывается необходимостью отыскать тех, кто может в нынешних обстоятельствах стать, хотя бы на время, действенными субъектами рыночных отношений, владельцами и предпринимателями. Важно и то, что после научно-технической революции в цивилизованном мире желанного крайним радикалам вольного капитализма вообще не стало; это, так сказать, «утопический капитализм», ничуть не менее утопический, чем социализм, к которому, как нам поныне твердят, если очень захотеть, то есть «совершить социалистический выбор», можно якобы перейти чуть ли не следом за отменой крепостного права.

Общественное сознание, порожденное феодальным социализмом, заблудившись в трех соснах, ищет выход то снова в утопическом социализме, то в утопическом капитализме. Между тем, главная коллизия нынешнего кризиса обусловлена происходившими, покуда мы пытались утвердить свой социалистический выбор, коренными переменами в современном производстве и противоречащими всем традициям нашей страны требованиями, которые оно стало предъявлять к структуре общества, намеревающегося таким производством эффективно и в полной мере овладеть.

Марксистское представление, по которому владелец средств производства, используя приобретенную физическую рабочую силу, не только возмещает ее стоимость, равно как и стоимость самих средств производства, но и присваивает прибавочную стоимость, при всех возможных оговорках недурно отражало ситуацию середины XIX века, когда средства производства с заложенными в них техническими идеями служили достаточно долго. Маркс не зря называл расходуемый на них капитал постоянным. Роль умственного труда в создании стоимости могла тогда казаться не заслуживающей внимания.

Научно-техническая революция с этим покончила. Без непрерывного обновления средств производства предприниматель не может повысить ни производительность труда рабочих, ни качество производимых товаров. Удельный вес стоимостного вклада рабочих в производство снижается, а техников, инженеров и особенно ученых возрастает. У нас их порой записывают в рабочие, игнорируя иной характер труда, между тем как и рабочие нередко уже заняты скорее умственным трудом. Так или иначе, умственный труд все в большей доле создает стоимость. Часто именно за его счет и возникает прибавочная стоимость, и все лучше оплачивается труд рабочих, прибавочной стоимости часто уже не создающих, работающих только на себя.

Из этого ясно, что сталинская индустриализация, которую мы фактически продолжаем по сей день, рассчитывая на неопределенно долгое, «постоянное», использование средств производства, дала и продолжает давать совсем не тот эффект, какой ей приписывают. На деле именно она обусловила непрерывное отставание нашей промышленности как по качеству товаров, так и по производительности труда. Подобно демидовским заводам с крепостными рабочими, неэффективное, если честно считать, хозяйство держится у нас так долго лишь за счет почти дарового труда и якобы дарового сырья.

Тут опять следует вспомнить, что, согласно марксистским представлениям, стоимость первоначальных, то есть непосредственно из природы добываемых, продуктов труда сводится к стоимости их добычи,

а сами они, как явление природы, стоимости якобы не имеют. Опять же, в середине XIX века, когда земные ресурсы казались неограниченными, и захват колоний позволял широко вовлекать их в производство, так оно практически и было. Однако интенсификация промышленности в XX веке показала, что запасы природных богатств и самая природа при ее эксплуатации человеком не беспредельны, и, говоря о прочем, сегодня ясно, что первоначальные предметы труда, вовлекаемые в производство, обладают и собственной стоимостью сверх стоимости их добычи.

Короче, пренебрежение реальной стоимостью производства и сырья ведет к непомерной растрате и труда и природных ресурсов. Сосчитав реальную стоимость всего произведенного с начала индустриализации, мы обнаружили бы, сколь она на деле велика, и нас уже не удивляло бы, что даже такая сказочно богатая страна, как наша, этого более чем шестидесятилетнего хищничества не выдержала. Антифеодальная перестройка, то есть переход к стоимостному ведению хозяйства, была необходима с самого начала индустриализации, а мы приступаем к ней, когда доступные богатства России и ее колоний уже растрочены Сталиным и его наследниками, а добывать уцелевшие обойдется много дороже. Чтобы что-то всерьез изменить, надлежит видеть, почему же система до поры держалась и что привело ее к нынешнему кризису, иначе придется лишь повторять пройденное.

3.

Система феодального социализма стоит на трех столпах. Первый — идеологическое производство. Поскольку общества, ведущие стоимостные хозяйства, все больше смущая наших граждан, демонстрируют преимущества в технике и в уровне жизни широких масс, феодальный социализм нуждается в занавесе или стене, скрывающих от граждан происходящее за кордоном. Он нуждается в тайне, в мистике и мистификации, в примате потусторонней, устремленной в будущее духовности перед реальной сегодняшней человечностью, абстрактной идеи перед жизнью. Поддерживать феодальный социализм способна лишь ничем не ограниченная власть, и государство обрело у нас неслыханную мощь, контролировало каждый шаг подданных. Для этого требовались не только соответствующие органы, но и нормативы мышления и поведения и, устанавливая их, наше государство, в отличие от буржуазных, насквозь идеологизировалось. Будь его идеология религиозной, его именовали бы теократическим. Но и светское идеологическое государство претендует на обладание истиной в виде нормативной идеологии, и поэтому не признает реальностей, идеологией не предусмотренных. Стало быть, необходимо деидеологизировать феодально-социалистическое государство, отделить его от идеологии, от церкви, от партии, ее проповедующих, как обязательную для всех.

Спорят, должна ли КПСС остаться авангардной партией или стать парламентской. Это противопоставление предполагает авангардность чем-то вроде божией благодати. Конечно, КПСС может, подчас и лучше других, видеть реальность и предложить сообразные с ней действия. Совершенно так же она может совершать ошибки и даже, как показал опыт, тягчайшие преступления. Смысл претензии на благодать авангардности в том, что партия, владеющая абсолютной истиной (от

Бога или другим чудесным способом), даже и за свои ошибки и преступления не несет реальной ответственности перед доверившимся ей народом, поскольку народ, согласно нормативной идеологии, сам по себе истиной не владеет, и партии, как церкви, приходится его учить и наставлять даже в преодолении ею же установленных ошибочных норм.

Перестройка предполагает, что народ примет на себя сознательную, а не вынужденную ответственность за свою судьбу, и демократически приведет к власти тех, кто будет осуществлять его стремления, пусть порой даже утопические. Но и народ учится лишь на своих ошибках, и счесть его не готовым к демократии, значило бы счесть его не способным учиться. Неофеодальное общество и учредило учение, как усвоение заданных норм. На телевидении часы, отводившиеся прежде марксизму-ленинизму, ныне отведены религиозным проповедям, — от директивных нормативов у нас все еще не отказываются, их всего лишь меняют. Между тем и христианство, и марксизм и другие умственные течения, конечно, должны быть открыты людям, но не в качестве готовых истин, а как опыты размышления и душевной жизни, на которые каждый человек при желании может по своему усмотрению опереться, формируя личное мировосприятие. Углубление индивидуального мировоззрения вместо усвоения идеологических норм — первая предпосылка дефеодализации.

Второй столп феодального социализма — тотальное государственное хозяйствование. Справедливо сетуют на монопольность и, как ее форму, ведомственность, то есть на принадлежащую нашим монополиям, в отличие от капиталистических, внеэкономическую власть, которая им позволяет легко отвлекаться от самих экономических обстоятельств. Всевластие губит наше хозяйство, побуждает вместо экономических, а значит и технологических и социальных решений, принимать директивные: поднять, повисить, укрепить и т.п., и позволяет обретать перевес над соперниками не инициативой, а государственной мощью.

Единство власти и владения, искони присущее феодализму, все же не было столь пагубно в его классических формах, поскольку сельское хозяйство и цеховое ремесло регулировалось традициями, закреплявшими социальное равновесие и обособленность общин, позволяя до поры жить «по воле лорда и обычаю манора». Даже феодальное хозяйство не было тотальным в столь полном смысле, как наше нынешнее. Но с развитием индустриального производства, от которого стало зависеть и сельское хозяйство, с активизацией технологического состязания и непрерывностью обновления, тотальность, единство власти и владения, стала активно препятствовать развитию, нередко создавая лишь его видимость. Не зря власть у нас регулярно требует от промышленности внедрения прогрессивных технологий, когда, казалось бы, предприятия, заинтересованные в своем успехе, должны бы внедрять их без понуканий.

Тотальная государственная монополия стала у нас тормозом хозяйственного развития, и нет иного спасения, кроме разлома этой монополии, преодоления, тотальности и отделения хозяйства от государства. Без этого никакие реформы не имеют смысла и даже могут быть пагубны. Рынок возникает лишь с появлением административно независимых друг от друга хозяйственных единиц, способных стать субъектами экономических отношений. Их выделение из тотальной монополии именуют «приватизацией». Строго говоря, автономные

хозяйственные единицы могут быть и коллективными, и кооперативными, и акционерными, и если ныне они видятся прежде всего именно частными, то лишь ради видимости самостоятельности, которую наш общественный строй ныне вынужден демонстрировать, но не выносит..

Колхоз, то есть коллективное хозяйство, мог бы стать субъектом экономики, однако лишь при его независимости от государства и партии; а поскольку они, в лице райземотделов и райкомов, никакой фактической самостоятельности ему не давали и давили его безответственными командами, он утратил способность к подлинно экономической деятельности. Колхоз получал прибыль преимущественно от особо благоприятной природы или при ловком председателе, умевшем отвести или обойти партийно-государственные команды. Вот и трудно сегодня верить в независимость колхоза. Ведь и сегодня, едва в деревне или в городе заходит речь о самостоятельном хозяйстве каких-то людей, связанных с обществом лишь через рынок — их, при малейшем успехе, вьют в групповом эгоизме и, чтобы оный пресечь, вводят удушающие производство налоги и на работников и на предприятие.

Но возможно ли вообще рыночное хозяйство при постоянном обличении в групповом эгоизме тех, кто за счет технологических достижений или просто добросовестного труда стремится повысить свое благосостояние? Ведь не только групповой, но и личный эгоизм предпринимателя приносит ему прибыль лишь удовлетворяя потребности общества. Это внеэкономическое хозяйство позволяет тешить эгоизм, ничего обществу не давая, — через спецмагазины, спецдачи, спецсауны и т.п. Рыночные отношения не только проясняют объективную стоимость товара, но приводят тем самым доходы и заработки производителя и потребителя в известное соответствие их реальному вкладу в жизнь общества, чего в системе внеэкономического распределения добиться вообще невозможно, если, конечно, не предполагать, что распределять будет всевидящий Господь.

Зависимость каждого от объективных масштабов созданной им ценности (стоимости) ведет, понятно, к социальному расслоению и социальным конфликтам. Однако природа их уже иная, чем при внеэкономической зависимости от феодала и единстве власти и владения. Справедливость рынка ограничена объективностью оценки общественной необходимости вклада каждого в национальное богатство и его компенсацией. Рынку дела нет до того, что мешало или помогало этот вклад совершить. Беспощадная к людям, эта система, однако, к обществу как целому куда справедливей прежде феодальной, а ныне тоталитарной. И, сожалея о ее беспощадности, непременно помогая ущемленным или оступившимся, нелепо воевать против объективности, отказ от которой, в конечном счете, ведет к деградации хозяйства. Пренебрежение отличием буржуазного, экономического производства, от феодального, внеэкономического, едва ли не корень всех существенных иллюзий и заблуждений современных советских теоретиков социализма.

Научно-техническая революция подтвердила, что интересы предпринимателей и рабочих, инженеров и ученых различны. Но она же показала, что попытки одного какого-то класса внеэкономически добиться недостижимых экономических преимуществ приходят в противоречие с рациональным ведением общего хозяйства — идет ли речь об ущемлении капиталистами рабочих или рабочими — интеллигенции и крестьян.

Современному технологическому обществу нужна четкая координация классовых интересов, для чего и необходим общественный плюрализм.

С тридцатых годов XIX века сформировалось массовое рабочее движение. Роль теории Маркса и выросших на ее почве социал-демократических партий в учете интересов рабочих и сбалансировании социальных отношений в Европе была, при всех возможных оговорках, велика и благотворна. Но если в XIX веке (хоть это и тогда было неверно) еще можно было в ходе защиты угнетенных теоретически предположить, что рабочий класс, которому Маркс придал мессианское назначение, и впрямь способен отстаивать не только свои, но и всеобщие интересы, то уже в начале XX века стало ясно, что подлинная защита интересов даже и самого рабочего класса возможна лишь при учете интересов других участников общественного производства. Социалистическое движение, за вычетом отколовшихся от него коммунистов, преобладавших в рабочем движении преимущественно тех стран, где рабочие составляли как раз меньшинство, это осознало. Коммунисты, согласно с одной из существеннейших поправок Ленина к теории Маркса, создали партии нового типа и называли социал-демократов соглашателями, но именно их «соглашательство» вело западный мир к сегодняшнему благосостоянию.

Однако признав, что смысл деятельности партий состоит в достижении подвижного общественного согласия, придется признать, что власть при этом не только должна избираться демократически, но и ни в коем случае не должна оказаться носителем особого интереса, не совпадающего со всеобщим, — этим, прежде всего, и отличается буржуазная власть от феодальной. Соединение власти и владения создает у носителей власти такие интересы, которые нередко противоречат интересам даже той социальной силы, от имени которой они к власти пришли и, тем более, интересам большинства. Перестройка покамест не удается от того, что власть и владение фактически все еще совмещаются в виде тотальной государственной собственности.

Дефеодализация на деле начнется тогда, когда граждане и их добровольные объединения смогут свободно действовать как субъекты экономики в рамках закона, а власть, регулирующая их деятельность, ограничится: законодательная — изданием законов, и судебная — заботой о том, чтобы законы исполнялись. А исполнительная власть перестанет быть всевластной, всемогущей, и ограничится защитой общенациональных интересов (иностранные дела и армия), поддержанием внутреннего порядка (милиция), регулированием финансов и социальным обеспечением граждан. Задачи эти, естественно, должны быть поделены между центральной и местной властью, и число министерств сведено к общепринятому минимуму с ликвидацией промышленных монополий, выступающих как министерства.

Наивно требовать сегодня упразднения государства. Но если мыслители, на которых ссылается наша нормативная идеология, без оговорок объявляли государство орудием угнетения, пора официально признать, что лишь мера отмирания государства служит мерой совершенствования общества. А отмирание государства, то есть сокращение принуждения, возможно лишь при переходе от директивного мышления к экономическому. Но советское общество, наращивая тотальность, двигалось в направлении прямо противоположном тому, какое предполагал Маркс, на которого теперь валят ответственность за

все беды. Укрепление государства, рост державности, как раз и явились формой реставрации феодального порядка, установления феодального социализма. Отделение хозяйства от государства, разделение владения и власти, — вторая неперемнная предпосылка дефеодализации.

Третьим столпом феодального социализма у нас оказалась имперская структура. В отличие от нормативной идеологии и государственного хозяйства тяготение к ней наблюдается не везде и проявляется не обязательно сразу. Камбоджа или Куба ее еще не создали. Но колониальное наследство Российской империи, сперва урезанное, а после даже и расширенное, уцелело, и с ним дефеодализация тоже невозможна. Ей препятствует и официальное неравенство народов, закрепленное ступенчатой структурой державы — союзные республики, автономные республики, автономные области, национальные округа, народы без территории, и различия в уровнях хозяйственного развития. Следует, однако, помнить, что ущемлены не только стоящие у основания державной лестницы, но и расположившиеся вроде бы на самом верху. Конечно, львиную долю ответственных должностей в стране занимают русские, они же первенствуют в возможности беспрепятственно заселять другие республики, проживая там без знания местного языка и уважения местных обычаев. Но нередко упускают из виду, что русский народ именно за положение «первого среди равных» платит разорением исконных земель и обездоленностью.

Социально-экономические проблемы, терзающие страну, обрели национальное обличье, и почти всякое национальное сознание, при наличии своей исторической территории, — за вычетом русского, — претендует у нас на самодостаточность, не спеша оглядываться на взрастившую его социальную почву. В сознании почти всех наших народов сложилась простая схема, по которой едва ли не единственной решающей причиной социальных неурядиц является национальная зависимость, пагубную роль коей отрицать невозможно. Однако растущее отсюда вера в национальное общество, не знающее социальных противоречий, тоже дает лишь временный ответ на актуальные вопросы.

Вину за все беды у нас нередко возлагают на притесняющий других народ, и часто на весь поголовно. Еще Константин Симонов во время войны призывал: «Убей немца!» («сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»), закрывая глаза на то, что около миллиона немцев были узниками гитлеровских лагерей, и значительное их число так или иначе уклонялось от участия в фашистских преступлениях, саботировало их и даже им противодействовало. И ведь в таких, сугубо национальных категориях, мыслил не один Симонов, и не только в трудные часы поражения, — даже день победы был официально поименован «Днем победы над Германией», а не, скажем, «Днем победы над нацизмом»!

В нашей стране существуют неприязнь и недоверие к русским, распространяемые подчас едва ли не на всех поголовно. Причина тому, конечно, и в заносчивости многих русских поселенцев, не желающих овладеть местным языком и т.п., но не меньше и в том, что центр у нас русский, что русские все же преобладают в правящем слое, хоть и включающем в себя лиц всех национальностей страны, и что сверху из центра идут лишь приказы и декреты, и что центр не хотел и не хочет довольствоваться согласованием общих интересов и все время претендует на большее. Отсюда и проистекает распространившееся

стремление к национальному самоуправлению, обособлению и отделению. С великодержавным шовинизмом надлежит спорить не о том, существует ли неприязнь к русским, русофобия, — она явно существует, хоть, понятно, далеко не у всех, — а о том, где ее причины. Ведь породил ее именно великодержавный шовинизм, ущемление прав других народов, осуществляемое государством.

При этом великодержавный шовинизм толкает и русское национальное сознание отнюдь не к заботам о благосостоянии русского народа или развитию русской национальной культуры, хоть о ней временами и говорят с придыханием. Русское со сталинских времен вновь, как при царе, отождествлено с державным, и стремление зависимых наций к самостоятельности вызывает у великодержавных шовинистов не сочувствие, не подражание, а противодействие. Если национализм других народов нашей страны — антигосударственный, антидержавный, то нынешний русский национализм — супердержавный, то есть, по существу, антинациональный, антирусский, — и это великая трагедия русского народа.

Почтение к империи восходит к традициям феодальной реакции, ценившей благополучие державы выше благосостояния народа, не считая народное благосостояние обязательным для державной мощи. Ради империи Ивана IV, Петра I, Екатерины II русский народ был закрепощен и единоплеменников и единоверцев продавали как скот. Об этом стоит помнить считающим нынешнюю трудную жизнь русского народа свидетельством того, что наше государство — якобы не империя.

Неофеодальное сознание подменило национальные интересы державными, хоть национальные интересы русского народа противоположны державным не меньше, чем интересы других, которым русский искусственно противопоставлен все ширящейся великодержавной пропагандой. Поныне твердят об особой русской нравственности, по которой русским лучше жить в нищете, и клянут «стремление к изобилию ради изобилия», хотя магазины пусты и невозможно купить необходимое. Все это кощунственно именуют «любовью к русскому народу» и «патриотизмом».

Русский народ тоже нуждается в самоуправлении, уже внутри Российской Федерации, а еще лучше — в обретении на равных правах с другими, входящими в нее народами, самостоятельной государственности в составе СССР. Пока в противовес великодержавному шовинизму не сложится русское демократическое движение, покуда понятие «русское» и «державное», «Россия» и «империя» не будут разделены и на деле противопоставлены друг другу, дефеодализация неосуществима уже потому, что взаимодействие республик останется внеэкономическим, центр по-прежнему будет навязывать республикам производство монокультур или перекрывать нефтепроводы, нанося ущерб не только хозяйству наказуемых республик, но и русским предприятиям на русской территории, нуждающимся в экономических связях с другими республиками.

Чтобы сложившееся при феодальных порядках неравноправное сообщество народов не распалось, оно должно перейти к сугубо экономическому взаимодействию на добровольных и взаимовыгодных началах. Державы должно заменить равноправное содружество, связанное конфедеративными или договорными отношениями, как в

Европейском сообществе. Ирония в том, что обрести самостоятельность республикам нужно именно затем, чтобы укрепить экономические связи. Поскольку это не было своевременно сделано внутри Союза, тенденция к выходу из него обострилась, но смысл ее в укреплении содружества: надо разделить, чтобы объединиться теснее, но иначе. Конечно, это было бы легче сделать раньше, и можно только жалеть, что республики своевременно не обрели реальную самостоятельность, — при ней они едва ли спешили бы нынче отделяться. Но прибалтийский опыт показал, что центру, считающему себя стоящим над республиками, а не выполняющим их совокупную волю, имперская модель, даже при конфронтации, милей согласия, основанного на отказе от диктата. Антилитовскую кампанию, последовавшую за провозглашением компартией Литвы самостоятельности, одной некомпетентностью не объяснить. Демонстративный отказ от уважения воли коммунистов Литвы во главе с популярным и в народе А.Бразаускасом явно вел к власти в республике более радикальные силы, но центр гнул свое, словно именно этого хотел. Между тем, сохранению содружества способствуют лишь те, кто стоит за свободное, — согласно с 72 статьей конституции СССР, а не позднейшими ограничениями, — обретение любой республикой полного суверенитета. А развалу содружества — те, кто силой удерживает прежний порядок, ожесточая тем самым межнациональные отношения. Понимание этого и полный отказ от диктатов и блокад во имя взаимности — третья неперемнная предпосылка дефеодализации.

4

Дефеодализация — главная и все обостряющаяся потребность нашей страны. Она возникла, в сущности, еще в XVI веке, когда возобладали не буржуазные отношения, начинавшие складываться не только на Западе, но и на Руси, а феодальная реакция Ивана IV. Эта потребность обострилась, когда на Западе происходила промышленная революция, грозившая феодальной России отставанием и упадком. Однако ни Сперанский, ни Александр II, ни Витте, ни Столыпин, ни Ленин, при всех их разнообразных условиях, коренную дефеодализацию не провели. Наступление второй промышленной, научно-технической революции довело сегодня потребность в дефеодализации до крайности. Сталинские шарашки, при всем блеске заключенных там умов, еще слабей компенсировали феодальное торможение, чем в свое время демидовские заводы. Не будет ошибкой сказать: либо дефеодализация, наконец, свершится, либо Россия будет обречена на прозябание и даже погибнет, быть может, потянув за собой остальной мир.

На смену нынешнему порядку выдвигаются десятки разнообразных моделей. По просветительскому доверию к независимости разума от реальности у нас полагают, что достаточно избрать хорошую модель, и все образуется. Вот и предпочитают то китайскую, то шведскую, то утопический социализм, то утопический капитализм. То руководство страны, то оппозиционные силы предлагают очередной единственно правильный путь и под избранным флагом требуют всеобщего единства. Великую задачу дефеодализации опять примеряют к «единственно правильной», хоть и постоянно пересматриваемой цели. Среди единственно правильных проектов есть уже не только сталинистские, но

и откровенно фашистские, нацистские и монархические, легко находящие точки соприкосновения со сталинскими.

Между тем, — и именно этим поучителен европейский опыт, — сегодня даже капитализм и социализм не столько насмерть противостоят, сколько, соперничая, взаимодействуют. Оттого-то в европейском мире и нет единственно правильной модели, которую надлежит навсегда перенять или навсегда отвергнуть. Развитие Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов разом демонстрирует параллельные варианты мирного развития общества. Сообразно с конкретным состоянием конкретной страны большинство ее жителей, демократически выражая свою волю, то доверяется пекущимся о свободном предпринимательстве и повышении эффективности производства, то, напротив, укрепляющим социальную защиту трудящихся. Оттого там и существуют, если не прямо две партии, то две группы партий, — партия личных инициатив и партия социальной стабильности, партия свободы и партия гарантий.

Когда социальные гарантии не в меру обременяют и начинают тормозить производство, подпиливая сук, на котором они держатся, большинство склоняется к тому, чтобы гарантии несколько сократить во имя развития производства. Когда беспощадность производства подрывает гуманистические основы общества и, тем самым, с иной стороны ставит под вопрос самую возможность его существования, большинство склоняется к тем, кто требует укрепления гарантий. Этот принцип маятника, принцип общественных качелей, позволяет относительно безболезненно выправлять жизнь по реальному состоянию экономики и общественных нужд. А наши смельчаки, — и в правительстве, и в оппозиции, — все ищут верный образец. Но дело не столько в том, на кого равняться, сколько в том, сохраним ли мы возможность, ощутив исчерпанность избранного варианта, мирно, без катаклизмов, склониться в другую сторону. Это самое главное. В стремлении к дефеодализации необходимо, прежде всего, отказаться от поисков единственного, навеки избранного правильного пути, и оценить великую значимость свободного и демократического предпочтения, то есть впервые в нашей истории взять принцип маятника за основополагающий.

Понятно, такое решение требует глубокого социального компромисса и вообще сознания значения компромисса как основы общественной жизни. Партии гарантий (социалистические, социал-демократические, лейбористские, во многом и демократическая партия США и т.п.) отнюдь не стремятся уничтожить групповую и частную собственность, хоть нередко развивают государственную. Партии свободы (консерваторы в Англии, ХДС в Германии, республиканцы в США и т.п.) отнюдь не упраздняют социальные гарантии, хоть порой их и поджимают и сокращают. И те и другие, помня о сторонниках, не теряют из виду клонившихся вчера к противникам.

В итоге решающая роль в общественной жизни достается не принципиальным однолюбам, а рядовому беспартийному гражданину, при каждом очередном голосовании заново соизмеряющему собственное положение, состояние страны и конкретную деятельность партий, то есть голосующему вчера за лейбористов, сегодня за консерваторов, а завтра, может быть, опять за лейбористов. Этот беспартийный человек,

общественную индифферентность которого у нас любят преувеличивать, как раз и является первым лицом общественной жизни, поскольку сам решает за себя, на себе испытывает последствия своих решений, и может их в следующий раз изменить или подтвердить. Именно в этом залог подлинной стабильности общественного порядка, не препятствующей, однако, развитию общества. При однопартийной системе ни граждане, ни власти этого, естественно, не сознавали, но не сознают и нынче, хоть уже зарождается многопартийность.

Многочисленные новые партии тоже пока больше заняты своими идеальными моделями, чем насущными нуждами беспартийного человека — рабочего, крестьянина, солдата, инженера, научного работника, художника, офицера, пенсионера. Свет в окошке — по-прежнему Томас Мор, только уже не единственный, а целая их галерея. Но ни реакционеры, ни реформаторы толком не говорят, как поведут дело дальше, не придется ли вновь заводить рабов и откуда рабы возьмутся, не станут ли опять рабами сограждане, как это произошло и в шестнадцатом и в нашем веке, — вот где корень общественной неуверенности. Беспартийный человек — и литовец, и узбек, и русский — не хочет быть рабом, он хочет честно трудиться для себя и своей семьи, а не приносить непрерывно очередные жертвы во искупление очередных «ошибок» руководства. Не стоит записывать этого беспартийного человека в обыватели. Пора усвоить, что его стремления правомерны и, чтобы с ними считались, как раз и надобны демократия и законность.

Сегодня, когда хозяйственные отношения извращены многолетним внеэкономическим управлением, люди больше надеются на партию свободы, от которой ждут сообразности с реальностью. Но стоит наперед сознавать, что на следующий же день обнаружится, сколь не проста для множества людей, привычных к государственному иждивению, реальность, до которой нас довели. Боязнь безработицы ведь вызвана тем, что труд числящихся работающими часто не продуктивен и, когда платить начнут по труду, они пострадают, даже если формально по-прежнему будут числиться рабочими или служащими. И они пойдут за теми, кто посулит им прежнее иждивенчество, хоть ресурсы растрочены и содержать иждивенцев в таком количестве уже невозможно. Сочувствующих ОФТ, или «инициативной» РКП или «национально-патриотическим» силам рождает страх быть снятыми с иждивения. К сталинизму тянутся от того, что привычку к казенному кормлению за счет растраты национальных ресурсов не одолеть. Вот сталинисты и тормозят перемены в экономике, сознавая, что явление альтернативы иждивению, возможность заработать самим, да побольше, чем подавали прежде, сбросит сталинизм с политической сцены. Для этого мало напоминать о преступлениях Сталина, надо прояснять социальное содержание сталинизма, его феодальную природу, и воевать не столько против мертвого Сталина, сколько против живого партийного феодализма, то есть, не углубляясь в исторические корни, от партийного тоталитаризма..

Недоверие к социальному мышлению, фальсифицировавшемуся десятилетиями, стало у нас почти всеобщим. Не зря вместо социологов популярны политологи, ищущие чисто политического разрешения кризиса, не входя в социально-экономическую реальность, сводящие зачастую все зло к деятельности некоей злокозненной мафии и ожидающие спасения от ретивых следователей, палачей и диктаторов,

которые на деле, что бы ни обещали, лишь воротят страну к внеэкономическому порядку. В движении к нему, пусть совершенно того не сознавая, Нина Андреева и Андраник Мигранян — едины. Сугубо политическое мышление не позволяет, однако, и более трезвым людям противостоять своим безоглядным союзникам, чтобы нащупать путь, пусть не к единству, конечно, с политическими противниками, но к парламентскому взаимодействию по принципу маятника.

Консолидацией у нас все еще называют полное единство во всем, а не конкретные компромиссы конкретных людей по конкретным вопросам. Говорят: нам нужно единство, а разные фракции и партии ему мешают. Мысль о том, что настоящее единство тогда лишь и наступает, когда разные фракции, и партии, и республики осознают, что кроме различий, у них есть и общие интересы, у нас плохо осваивается. Единство понимают как подчинение, послушание, как доверие кому-то одному, а не как плод самосознания, дорожащего и своим особенным и общим с другими.

Не зря у нас как раз сторонники свободы, депутаты межрегиональной группы, как это ни парадоксально, выступили инициаторами президентского правления, да и на съезде, его учреждавшем, возражали только против избрания первого президента съездом, а не народом, но не против самого этого института, нашей стране никак не подходящего. Укрепление личной власти главы государства над республиками, уже самой политической структурой глушит собственные голоса республик, и не может не тормозить преобразование страны, даже если высший пост займет сам инициатор ее преобразования, ибо демократия по своей природе — не дело одного человека, не может быть персонифицирована. В том и состоит отличие демократии от диктатуры, что она лишает нас возможности свалить с себя ответственность за происходящее и кивать на диктатора, лишившего нас слова.

В то же время сами инициаторы перестройки уже выступили с открытым письмом от имени ЦК КПСС, фактически призывающим к изгнанию из партии до XXVIII съезда сторонников демократического преобразования, никак одновременно не задевая праворадикальную часть партии, организовавшую, вопреки решениям самого ЦК, «инициативный» съезд РКП в Ленинграде. Да и роль рядовых коммунистов и первичных организаций, вопреки всем разговорам, так и не стала решающей. В Ленинграде подавляющее большинство делегатов областной конференции по-прежнему было избрано на районных конференциях, и пост первого секретаря обкома КПСС занял человек, которому его первичная организация отказала в мандате.

Подобные примеры обнажают смысл происходящей в стране политической борьбы. Наивно сводить ее к желанию отдельных функционеров сохранить важные должности. Борьба идет, прежде всего, за сохранение самих этих должностей и их неправомерного сверхконституционного значения, даже если их займут другие люди. Перед нами не просто циничные карьеристы, как можно решить по неразборчивости в средствах и готовности достичь желаемого любой ценой, а, если угодно, убежденные сторонники феодального правления, рассматривающие коммунистическую партию лишь как его инструмент. Потому-то, требуя идеологической строгости, они равнодушны к конкретной окраске идеологии, — лишь бы годилась в нормативные, и с одинаковой легкостью пользуются положениями Сталина или Жданова,

Гитлера или Розенберга, самодержавия и православия, а если понадобится, даже исламского фундаментализма. Открытой, уже не только политической, как при Сталине, но и чисто идеологической смычкой с фашизмом, нацизмом и монархизмом фактически исчерпывается потенциал самобытного псевдосоциалистического прикрытия феодального порядка, сколько бы он еще ни длился. И это, конечно, само становится толчком к дефеодализации.

Но это же побуждает полней осознать рациональный смысл социалистической идеи у Маркса и в рабочем движении. Видимо, по мере преодоления феодального наследства, с установлением экономических отношений и достижением на их основе социального компромисса, социалистический идеал и у нас в стране возродится как образ экономически обеспеченных социальных гарантий. И можно допустить, что защищать его со временем будут не только социал-демократические и социалистические партии, которых тоже едва ли пока ждет большой успех, но и демократические силы внутри двадцатимиллионной нынче КПСС, преодолевшие феодальный груз.

Коммунистическая партия не обречена непременно жить феодальным социализмом, маня сторонников государственным иждивением, ставшим уже для широких масс совсем скудным, но может радикально обновиться и снова стать левой партией, какой она окончательно перестала быть с начала насильственной коллективизации. Для этого, конечно, ей придется на деле вернуться к научному пониманию социализма. Он ведь и терял при ее правлении ожидаемые черты в силу отречения от фундаментальных положений, которые позволяли считать теорию Маркса пусть и далеко не во всем верной, но научной.

Уже РСДРП (б) отбросила марксово представление о возникновении социализма на высочайшем взлете буржуазного развития и взялась его устанавливать в полуфеодальной стране. Она отказалась и от признания того, что социалистическая революция, как всякая революция, сильна волей народа, а не указаниями всеведущей партии, значение и назначение которой у большевиков было совсем иным, чем у Маркса. Придя к власти на октябрьском, завершающем этапе буржуазной революции, РКП (б) сочла себя вправе, не спросив у народа, осуществлять преобразования, безосновательно названные социалистическими. А потом ВКП (б) и КПСС совсем уже позабыли, что установление социализма равнозначно отмиранию государства, и приступили ко всеобщему насилию во имя якобы построенного, реального и развитого социализма. Но научность несовместима с признанием за какой-то группой людей, академией, церковью или партией, благодати на знание истины. И совсем уже нелепы претензии на уникальное откровение в устах людей, именующих себя материалистами.

Все это, конечно, затрудняет обновление КПСС, еще не способной к внутренней демократизации, и сулит либо расколы, либо, напротив, массовые чистки. И все же исключать в условиях дефеодализации и преодоления внеэкономических отношении возникновение на ее базе не только неофашистского, но и, в противовес ему, демократического движения, было бы, думается, недалековидно. Если оно в самом деле возникнет, да еще сохранит Академию общественных наук, надо будет ее слушателям объяснить, что великий гуманист Томас Мор звал своей «Утопией» не спешить в неведомое будущее, а старинными методами

облагораживать старинные порядки, в главном от них не отрекаясь. А рабство ни при каких обстоятельствах не станет дорогой к свободе.

Разве наша страна со времен Ивана Грозного, родившегося за пять лет до казни Томаса Мора, тоже не полагалась на рабство? Разве традиционное насилие не было излюбленным методом российской державы не только тогда, когда она творила зло, но и тогда, когда хотела творить добро, — добро ведь хотели творить и Петр, и Ленин! С желанием быть такой и впредь наша страна прошла сквозь обе промышленные революции и вступила в век компьютера. И обнаружилось, что старые слова о необходимости соответствия производственных (а значит и социальных) отношений развитию производительных сил, повторяющиеся во всех изложениях господствующей идеологии как дань ее происхождению, не заклинание, а истина, с которой надо соотносываться, чтобы не погибнуть.

Это ведь и побудило приняться за перестройку, которая имеет смысл лишь как восстановление такого соответствия, то есть как полная дефеодализация, детоталиризация. Коммунистическая партия обретет при этом возможность возвратиться от утопии к науке, по которой, однако, ее собственное место и роль неизбежно окажутся много скромней начального замаха. Как показывает жизнь, ей мучительно трудно с этим согласиться и, устами своего лидера призвав к переменам, она сама на каждом шагу сопротивляется необходимому и для ее собственного спасения. Видимо, немалая ее часть все еще надеется и под новым флагом двигаться по старому пути. Судьба нашей страны зависит от того, возьмет ли стремление к переменам верх или обстоятельства позволят еще раз их отложить до следующего, еще более жестокого кризиса.

МЫ НЕ СОВКИ, СОВКИ НЕ МЫ

То и дело слышишь, что Россия может выжить, только будучи самой великой и самой могучей, сильнее, чем весь остальной мир. Ей вновь предлагается роль «старшего брата», хотя именно эта роль и привела ее к нынешнему состоянию. А почему бы нам не жить, как люди живут? Земля у нас богатая, народу много и народ образованный. Счасть, что мы хуже других, так же странно, как счастье, что мы лучше других.

Эти вроде бы противоположные позиции отлично уживаются и значат, в сущности, одно и то же: мы одинаковы, каждый подобен остальным, и не так уж важно, кто он при этом — «советский человек», который на голову выше любого высокопоставленного буржуазного чинуши, как учил товарищ Сталин, или «совок», «хомо советикус».

Оба мифа мешают видеть, что на деле наше общество социально дифференцировано, мешают понять реальные, не извращенные идеологией интересы разных слоев и нужды именно разных людей друг в друге. Будь люди одинаковы, злодеяния Гитлера, Сталина и Пол-Пота не поражали бы так глубоко, не наносили бы народам такого чудовищного ущерба. Различие меж людьми не сводится к социальному разделению труда, с которым тираны тоже не хотели считаться; всякий человек, даже самый что ни на есть «простой», незаменим, хотя бы для своих близких, а значит, и для общества.

Наш кризис нарастает оттого, что страна и мы вместе с ней уперлись в пределы вневосточного хозяйствования. Чтобы с ним покончить, надо

преодолеть феодальный социализм. А вместо этого мы занимаемся переименованиями, ждем, что все образуется, если не будем больше поминать Маркса. Но прежние порядки и нравы живут под другими именами. Разве уже Батый не был отчасти большевиком? А Иван Грозный, творец империи и крепостного права, разве лучше Сталина? А Петра Алексеевича разве зря так часто сравнивали с Лениным? Мы твердим, что возвращаемся в Европу, но Россия со времен Киевской Руси была страной европейской, и при большевиках она оставалась в Европе совершенно так же, как Германия и при Гитлере принадлежала Европе. Россия, Польша, Германия к востоку от Эльбы пережили то, что Энгельс называл вторым изданием крепостного права и что было на деле торжеством феодальной реакции, зашедшей во внеэкономическом гнете много дальше, чем отступавший тем временем традиционный феодализм в Англии или Франции. Феодальная реакция тормозила развитие стоимостного хозяйства и переход к буржуазным нормам. Даже Александр II, понимавший, что порядки надо менять, не рискнул сделать это до конца. Если Октябрь сводится к захвату власти кучкой злоумышленников, как нас уверяют сегодня, невозможно понять, почему за злоумышленниками пошла половина страны, в то время как другая им упорно сопротивлялась. Почему вообще это приняло такие масштабы? Когда Ленин узнал, что декрет о земле поддерживает не только беднота, а широкие массы крестьянства, он был потрясен: он этого никак не ожидал. В Октябре прозвучали великие декларации, но еще до того, как они стали реальностью, матрос Железняк объявил, что «караул устал». На деле караулу нашлись другие занятия, вместо прежней внеэкономической системы стали строить новую. В 1929 году Сталин покончил с наследием революции и реставрировал феодальный порядок нового типа — коллективный феодализм, названный социализмом. При Брежневе этот феодализм стал клониться к традиционным формам. На этой почве и возникли мифы коммунистической идеологии и культ «нового человека».

Но это вовсе не значит, что реальные люди были под стать мифам. Они по-прежнему были разными. Конечно, кто-то после пламенных речей на партсобраниях судачил на кухне о другом. Но я не думаю, чтобы так поступал, скажем, В.Крючков, — он, пожалуй, был искренне убежден в добродетели своего ведомства и своей. Были и «шестидесятники», наивно верившие, что феодальный социализм можно усовершенствовать. Были и довольные порядком, но тяготившиеся его идеологическим оформлением, жаждавшие убрать портрет еврея с бородой и прямо сказать, что это все наше, русское, православное, как говорят сегодня «патриоты».

Нас уверяют, что в нынешних бедах виноват Михаил Горбачев, но представим себе на месте генсека в 1985 году Григория Васильевича Романова. Вот уж кто не потерпел бы вольности и гласности. И уже к 1988-1989 годам все бы рухнуло с треском. И помощи ждать было бы неоткуда.

Трагедия в том, что мы все не хотим признаться, что и для нас действуют законы жизни, мы все настаиваем на своей исключительности, то классовой, то расовой, и соответственно, когда мифы обнаруживают свою несостоятельность, бросаемся в противоположную крайность, повторяя теории о «хомо советикус» и уродливое словцо «совок». Человека отождествляют с обстоятельствами, связавшими его по рукам и ногам, подчас делающими его таким, а не иным. Конечно, за долгие годы мы привыкли не слишком верить власти, привыкли к ее обманам, но ведь

миллионы поверили сперва Горбачеву, а после Ельцину, а раз никакие реформы так и не начались, а жить становилось все труднее, властям доверяют еще меньше. Рухнувшие надежды дорого обходятся. Разве у других народов иначе? Конечно, в душах семьдесят лет жил страх. Но можно ли осуждать боявшихся, когда каждый десятый был в зоне? Уверяют, что вековые и семидесятилетние беды осели в генах. Но ведь это чистая лысенковщина, державшаяся на вере в наследственность приобретенных признаков. Страх не наследуется, измените обстоятельства, дайте людям нормально жить, и снова будут рождаться Ломоносовы. На наших глазах уже выросло поколение, которое не только само не боится, но и не понимает страха своих родителей.

А манипулирование умами продолжается, обретая все более хитроумные формы. Недавно руководитель петербургского телевидения Югин объявил о временном прекращении передачи «600 секунд». В развернувшемся вслед за тем бурном отстаивании «нашими» своей передачи потонула реальная коллизия, состоявшая в том, что Невзоров — единственный на петербургском телевидении журналист, имеющий возможность регулярно внушать телезрителям свои «нашистские» взгляды. Беда тут не в том, что эти взгляды высказываются — хотя при этом зачастую преступается закон, а прокурор Веревкин словно бы и не замечает коричневой пропаганды. Беда в том, что Невзоров — монополист, что никакие другие воззрения не получают на петербургском телевидении регулярного канала в удобное время. И люди подымаются за «свободу слова» для садистических подробностей убийств. Но разве получили мы «свободу слова»? Мы так и остались при «гласности».

Там, где нет свободы слова, сознание всегда тускнеет и самые простые вещи становятся непонятны «простому человеку». Как символ освобождения стране даруется возрожденный двуглавый орел... И валят вину за все происходящее на народ, который для демократии якобы недостаточно хорош, не готов. Чего в самом деле от «совков» ждать!

А есть простой способ выяснить истину. Вам кажется, что русский крестьянин не способен управиться с землей? Так вы ему ее дайте, и на деле обнаружится, что и крестьяне разные: кто неспособен, а кто и способен, и этих способных хватит, чтобы накормить страну. Не надо только им мешать. Но потому и мешают, потому и унижают, что положение решающего за других в феодальном мире доходно и престижно. А скорее можно бы восхититься тем, что в очередной раз обманутый народ сохраняет самообладание и, стоя в бесконечных очередях, люди лишь изредка схватываются друг с другом, а чаще поддерживают друг друга и сообщают, что на соседней улице можно занять очередь еще за чем-то.

Мы не лучше других, но и не хуже других и тоже могли бы жить нормальной жизнью, обрести каждый возможность проявить себя и определить, что стране нужней в честном соревновании, а не указующим наперед перстом. Давно известно: чтобы люди изменились, надо изменить условия, в которых они живут.

Возьмите Германию. Вот там, да, социализм. Хотя сами немцы и обижаются на это. Социализм — это социальное государство, то есть государство, которое заботится о людях, которое помогает бедным и оступившимся. Не люди имеют обязанности перед государством, а государство имеет обязанности перед людьми. Это называется социализмом. Советское государство не может называться

социалистическим, потому что оно никогда не имело перед живущими в нем людьми никаких обязанностей. А потому нам сегодня и нужно думать о нормальном развитии буржуазного общества, понимая, что людям нужны социальные гарантии. Расцвет Запада — это успех политики социальных гарантий.

Революция имеет только тот смысл, что она освобождает людей, иначе никакая революция не имеет никакого смысла. Когда же, ничего всерьез, кроме названий, не меняя, мы требуем, чтобы лидеры стали ангелами, этим непониманием элементарных нужд их толкают становиться дьяволами. Вот и пора перестать бранить людей и оглянуться на государство, на наше чудовищное, всем распоряжающееся государство, и признать, что не люди постоянно обязаны служить ему, а оно обязано служить людям, охранять свободу и имущество того, кто способен позаботиться о себе сам, и помогать тому, кто попал в беду, часто к тому же не по своей вине.

В начале 1918 года начавшееся было развитие страны прервали разгоном Учредительного собрания. Не пора ли его созвать, чтобы каждый стал, наконец, тем, кто он есть, не «совком», не «советским человеком», а просто человеком. Может быть, тогда мы и уразумеем, кому были выгодны унифицирующие людей обожествляющие или оскорбительные клички.

ОКОНЧИЛАСЬ ЛИ ИСТОРИЯ?

Почти два года назад американец Фрэнсис Фукуяма объявил, что история человечества подошла к концу. Нет, он не вселенского Чернобыля ожидал, а, напротив, благоприятных событий. Решив, что либеральному западному обществу нет альтернативы, доказательством чему он счел крушение марксизма-ленинизма, Фукуяма настаивал, что хоть не все еще перешли к либеральной демократии, но, поскольку стало очевидно, что всякий иной путь неразумен, история, как арена идеологического противостояния, завершилась — и начинается просто жизнь.

О подобном конце истории не Фукуяма первым заговорил. Это ведь Марксу в середине прошлого века показалось, что с концом капитализма придет конец истории, поскольку при коммунизме люди смогут видеть вещи как они есть, не оглядываясь на идеологические стандарты, и уже поэтому смогут жить разумно. Скажи кто Марксу, что его собственная теория станет канвой идеологии нового общества, что там вообще будет идеология, он сильно бы дивился. Конец истории предрекал еще Гегель.

И про Маркса, и про Гегеля Фукуяма помнит и сам их поминает. Но коммунизм для него — лишь альтернатива либерализму, а суть ведь не в том, какой именно порядок станет окончательным, а в том, возможен ли вообще окончательный порядок. У Маркса, пожалуй, было больше оснований уверять в окончательности, связанной с освобождением человечества от идеологических пелен. Как проповедник материалистического понимания истории, он немало сделал для демистификации людских представлений. Казалось, когда общество и впрямь будет откровенно в своих материальных делах, станет называть кошку кошкой, идеологии места не останется. А вышло наоборот, и приходится радоваться, когда кошку дозволено называть не крокодиллом, а хотя бы собакой, — все-таки тоже домашнее животное.

Прежде чем класть в основу своих пророчеств крушение коммунизма, прежде чем именовать крушением нынешний кризис в СССР, открывший возможность высвобождения восточноевропейских стран, Фукуяме стоило призадуматься, почему не сбылись надежды на деидеологизацию, манившие Маркса. Сам Фукуяма исходит из противоположного — отрицает материальные предпосылки идейной жизни и зовет вернуться к Гегелю, повторяя, что «согласно Гегелю противоречия, движущие человеческой историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, то есть на уровне идей». Но этому противоречит тут же приводимое в качестве примера провозглашение Гегелем конца истории в 1806 году: «Уже тогда в разгроме Наполеоном прусской монархии в битве при Иене Гегель усмотрел победу идеалов Французской революции и неизбежное повсеместное распространение государственности, воплощающей собой принципы свободы и равенства». Сбудутся ли предположения Фукуямы, еще можно гадать, но предположения Гегеля явно не сбылись. Ни Бисмарка, ни тем более Гитлера не сочтешь воплощением свободы и равенства, если, конечно, соотносываться с объективной реальностью, что и составляет главное преимущество либерального общества.

Беда подобных пророчеств — и у Гегеля, и у Маркса, и у Фукуямы, — в их избирательной одномерности. Ход истории сведен в них к единому, хоть у каждого своему, стимулу, к единой первопричине, к некоему богу, лишенному религиозных атрибутов, а вместе с ними и оправдания, поскольку в любой религии бог в качестве неопровержимого для верующих аргумента творит чудеса, а наука остается наукой лишь в пределах естества, в пределах объективной реальности, и постижения этого естества и этой реальности в меру доступной достоверности.

Но в том-то и дело, что характер постижения лишь относительно адекватен постигаемому, и соотношение наших представлений и объективной реальности в ее развитии меняет меру своей адекватности и тем затрудняет понимание вещей. Гегель в гносеологические проблемы не слишком входил, практически отождествляя субъекта с объектом, а теорию познания с онтологией. Для Гегеля, да и для Маркса, выработка общественных знаний — это процесс общественного самопознания, и участие человека в общественном самопознании, его приобщенность к бытующим формам общественного сознания, важнейшее проявление его причастности к обществу. В этом, конечно, большая доля правды. Общество долго живет установившейся системой представлений, где светской, где религиозной, и не только не тяготится ею, но держит ее за достоверную, а попытки независимого, стороннего анализа принимает за ересь. Но в критические эпохи в идеологических системах нарастают трудности с объяснениями новых поворотов событий, что и побуждает осознавать привычное восприятие как идеологизированное, мифологизированное, и творить новые мифы, новые идеологии, или воскрешать былые.

Неизбежность подобных ломов предопределена самим гегелевским отношением к познанию, но Фукуяма, всецело доверяясь Гегелю, не хочет различать корни идеологизированности, которая не выдумка и не порок, а естественный плод недостаточного гносеологического самоконтроля и сведения происходящего в сознании либо к его духовному источнику, либо — как в марксизме — к отражению текущего бытия. Есть тут и нежелание вдаваться в происходящее в сознании за порогом доступного ему

познания, а там-то и деформируются и абсолютизируются наши относительные знания.

Лишь потом выясняется, что одно — сами по себе идеи Маркса, по ходу его жизни обновлявшиеся, нередко противореча сами себе, другое — сложившееся на их основе марксистское мировоззрение, повлиявшее на социалистическое движение, и совсем уже третье — марксистско-ленинская идеология, возникшая в советском государстве. Ощутимые перемены при переходе от первого ко второму и, в особенности, от второго к третьему, давно известны. Идеи Маркса не были изначально утопией, обманом, прельстившим человечество, как часто уверяют сегодня, но, как многие крупные идейные явления, были воплощением частичной правды, — иначе не понять, как сумели они привлечь не кучку, а десятки миллионов последователей.

История велит признать, что экономическая теория Маркса подметила и впрямь существеннейшее для целого столетия противоречие буржуазного мира. Серьезные упущения этой теории, роковым образом проявившиеся потом, различали уже современники, однако в XIX веке это имело в основном теоретическое значение: роль физического труда в промышленном производстве была решающей, и, соответственно, всеобъемлющей казалась роль рабочего класса, под знаменем Маркса не столько, впрочем, мечтавшего о светлом царстве коммунизма, сколько отстаивавшего свои конкретные права. Аналогичную борьбу рабочий класс вел и на базе других теорий и без всяких теорий, объединяясь в профессиональные союзы. Все это, вопреки распространенному мнению, не разрушало либеральное общество, а, напротив, укрепляло его либеральность, как раз и позволившую прийти в развитых странах к довольно успешным методам экономического самосознания и саморегулирования.

Экономическая теория Маркса радикально разошлась с реальностью лишь в ходе научно-технической революции, которую не могла принять, поскольку та на практике показала, что плоды умственного труда — не бесплатный дар божий, как получалось по Марксу, и умственный труд тоже создает ценность (стоимость), а стало быть, рабочий класс хоть и безусловно важный, но отнюдь не единственный вершитель судеб современного производства и общества. Более того, оказалось, что и собственные его интересы несовместимы с мессианским назначением, которое отвел ему Маркс, и без, эффективного сотрудничества рабочего класса с другими участниками производства оно отбрасывается к прежним грубым формам, а сам рабочий класс к обнищанию, предсказанному Марксом, но преодоленному развитием, которого Маркс не предвидел, поскольку пренебрегал значением умственного труда. Можно бы добавить, что аграрное производство в западных странах еще раньше и резче разошлось с идеями Маркса, изначально, не содержащими в себе столь большой доли объективности, как его представления о промышленном производстве.

Вроде бы теория Маркса уже в середине нашего века потерпела наглядное поражение, а либеральное общество не только выжило, но заново расцвело. Не стоит, однако, упускать из вида, что оно при этом усвоило едва ли не важнейшую из идей Маркса, признало, что развивающееся производство не может довольствоваться одним лишь либерализмом, одной лишь экономической (и соответственно

политической) свободой, и — вот она, ирония истории! — отчасти осуществило на практике важнейший призыв Коммунистического манифеста: свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Сила современного западного общества не в последнюю очередь заключена в предоставлении человеку не только свобод, как требует классический либерализм, но и некоторых материальных гарантий. Политические соображения мешают либеральному обществу признать, сколь глубоко проросло оно социалистическими идеями. Современная Германия, широко практикующая социальную защиту своих граждан, именуется не социалистическим но социальным государством. И это верно в том смысле, что осуществление важнейшего из принципов Маркса, как продемонстрировала его родина, отнюдь не требует новой общественной формации, но возможно в рамках буржуазного общества, не довольствующегося, однако, одним либерализмом.

Подобные перемены внутри либерального общества тоже составляют исторический процесс, и сама социализация этого общества временами подрывает его либеральность. В то время как социалистические идеи в Германии трансформировались под влиянием либеральных, способствуя развитию национального хозяйства и на его базе социальной защите, в Англии они проявились более архаически, предприятия и целые отрасли промышленности, отчасти по нашему примеру, хоть и несколько иначе, огосударствлялись, что, в конечном счете, ослабляло хозяйство, снижало уровень жизни людей и порождало сочувствие к контрнаступлению либерализма, хоть и сокращавшего социальную защиту, но поднимавшего уровень жизни большинства. Наивно считать такую яркую носительницу либеральных идей, как Маргарет Тэтчер, фигурой внеисторической! А ведь она сражалась против практики государственного социализма не в восточноевропейской стране с марксистско-ленинской идеологией, а в цитадели классического либерализма, в Британии, и уже одно это побуждает усомниться в предсказаниях Фукуямы, будто повсеместное торжество либерального общества покончит с историей на вечные времена и освободит экономическое развитие от социальных и политических преломлений.

Да и предполагать повсеместное торжество либерализма серьезных оснований покамест нет. Отнюдь не идеализируя либеральное общество, я тоже думаю, что оно предпочтительнее других и для современного производства, и ради благополучия большинства людей. Но наивно думать, что дело лишь за тем, чтобы людям это понять. На примере развития марксистской мысли в России видно, что не столько восприятие общественных идей зависит от их понимания, сколько, напротив, само их понимание зависит от восприятия, диктуемого обстоятельствами.

Марксистское мировоззрение, пропагандировавшееся в России Н.Зиббером, Г.Лопатиным, Н.Даниельсоном, а затем П.Струве, М.Туган-Барановским, Н.Бердяевым, С.Булгаковым, даже в социал-демократической трактовке Г.Плеханова, П.Аксельрода, Н.Ленина, Ю.Мартова и их младших современников, при всех различиях, долго не теряло единства с западными единомышленниками. Конечно, в России, не пережившей еще и буржуазной революции, многие проблемы стояли острее, и большевики, вступая в противоречие с основоположниками, клонились к упреждающему захвату власти, не дожидаясь необходимой по Марксу для революции экономической зрелости, но и они в согласии с

Марксом представляли себе революцию происходящей во всей Европе и даже во всем мире одновременно. Ни о каком, национальном социализме, ни о каком построении социализма в одной отдельно взятой стране до Октября 1917 года большевики и не заговаривали. Единственным существенным прибавлением традиционному марксизму, какое выдвинул Ленин, было его учение о партии, призванной как бы вместо пролетариата, составляющего в отсталой стране явное меньшинство, осуществить революционный переворот, чтобы примкнуть к более развитым странам.

Отдаленность такой цели и зависимость ее от происходящего в других странах уже тогда, конечно, придавала большевизму известную утопичность, однако на практике и большевики до поры стремились прежде всего к общедемократическим переменам и даже буржуазному преобразованию самодержавного государства — не зря они получали солидные субсидии от крупных капиталистов вроде Саввы Морозова. Да и вообще преобладала в русском революционном движении крестьянская партия эсеров, что подтвердили поздней и выборы в Учредительное собрание. Своеобразие русского марксизма, названного ленинизмом, по существу, проявилось, когда силы, победившие в феврале 1917 года, не затянули важнейшие буржуазные преобразования, не разрешили аграрный и национальный вопросы, что и привело к Октябрьской буржуазной революции, в ходе которой большевики захватили власть в надежде на скорую социалистическую революцию в Европе.

Не только большевики, да и не только в России, предавались подобным иллюзиям, но буржуазное общество сумело переступить свои противоречия и остановить революцию даже в Германии, на которую большевики надеялись больше всего. Между тем, провозгласив «Декрет о земле» и «Декларацию прав народов России», большевики, не довольствуясь славой русских якобинцев, чтобы продержаться до европейской социалистической революции, разогнали Учредительное собрание и остановили буржуазное развитие, которому они-то как раз и расчистили дорогу. Этот национальный социалистический выбор, обернувшийся военным коммунизмом, разорил страну гражданской войной и повернул против большевиков сперва пошедшее за ними крестьянство.

Трудно сказать, сознавал ли Ленин уже тогда тщетность надежд на революцию в Европе, но он понял, что она, во всяком случае, не близка, и предпринял отступление к капитализму, которое ему еще казалось временным. Лишь после его смерти до конца обозначилась жесткая альтернатива: продолжать ли это отступление, способное привести к какому-то типу либерального правового общества со стоимостными отношениями, либо, как и произошло, повернуть к обществу нефеодалного типа. Поскольку капитализм, вопреки распространенному мнению, в России далеко еще не возобладал, то и реставрация означала возврат не к капитализму, а к новому феодализму, новому самодержавию.

Тут-то, в соответствии с природой феодального общества, и возникла нужда в новой идеологии. Идеи Маркса в ней причудливо сплелись с крайними взглядами русского революционного народничества, одновременно вбирая в себя нормативы военного коммунизма, государственной хозяйственной монополии, нового закрепощения крестьянства и внеэкономических отношений. Новая идеология, названная марксистско-ленинской, объявила сложившееся в тридцатые годы государство социалистическим, хотя для Маркса и даже для Ленина

социализм был противоположностью государства, а теперь оно объявлялось высшим его воплощением.

Конечно, нынешний кризис — кризис не только внеэкономического хозяйствования, но и сопутствовавшей ему идеологии, мешающей ныне адекватному пониманию накопившихся трудностей хозяйства и социальных противоречий. Но, чтобы объявить этот кризис общим концом коммунизма, надо бы показать, что внеэкономическое хозяйство настолько себя исчерпало, что ни при каких обстоятельствах уже не в состоянии будет состязаться с либеральным даже по одним только жизненно важным, и в частности, военным, показателям. И еще бы показать, что такое хозяйство не может существовать под знаменем иной идеологии. Ни того, ни другого Фукуяма не сделал. Тем временем Саддам Хусейн продемонстрировал возможность создать под флагом исламского социализма в небольшой стране четвертую армию мира.

Фукуяма говорит, что люди «способны сносить самые крайние материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, — будь то священные коровы или природа святой Троицы», — это, конечно, правда. Но из преданности идеям никак еще не следует, что объективное содержание этих идей в конкретной жизни исчерпывается самосознанием их приверженцев, что за священными коровами или спором о единственности или подобосущности Христа своему отцу нет человеческого и общественного содержания. Из того, что мы часто не сознаем происходящее, отнюдь не следует, что ничего не происходит, а ведь этот не всегда сознаваемый нами процесс и есть история, и понять, длится она или окончилась, как раз и значит понять, имеют ли место некие, пусть не сразу замечаемые нами, социальные процессы.

Ход этих процессов, ход истории, понятно, оставляет на своем пути величайшие сокровища человеческого самопостижения, подъемы духа, научные открытия и художественные шедевры. Ценность многих из них непреходяща, но всякое стремление объявить ее окончательно установленной неизбежно приходит в противоречие с реальностью, поскольку процесс так или иначе продолжается. Не случайно и отношение людей к прежним духовным ценностям порой разительно меняется: то их оплевывают, то воскрешают, оплевывая другие, то оттесняют и те и эти, созидая новые. При всем почтении к духу, человек все же смертное существо, индивидуальные возможности которого ограничены, и разум постоянно предостерегает его от слепой веры в силу внеэкономического порыва, раз и навсегда исправляющего общество и насаждающего абсолютную справедливость. Мы не знаем, в каком состоянии либеральное общество способно предаться подобным порывам, и тем более не знаем, способно ли оно им разумно противостать. Уверения Фукуямы, что социальный процесс окончен и неожиданностей не будет, рождают благодущие и толкают либеральное общество к кризису и, вопреки его предсказаниям, к продолжению истории. Нынешние уверения, будто коммунизму пришел конец, столь же малоосновательны, сколь и былые уверения, что пришел конец капитализму, в пору великого кризиса 1929 года. Разумеется, нефеодалская российская держава уперлась в тупик, из которого в сложившихся формах ей без колоссальных потерь не выбраться. Вот ее лидеры и стремятся эти формы перестроить. Но делать отсюда вывод, будто происходящее является революционным наступлением на самые фундаментальные институты и принципы

сталинизма с заменой их принципами, хоть и не равнозначными либеральным, но ведущими к таковым, да еще ссылаясь в доказательство на то, что Николай Шмелев не имеет ничего против того, чтобы его сравнивали с Милтоном Фридманом, все-таки смешно. И если говорить о сегодняшнем дне истории, то статья Фукуямы — ярчайший пример того, как плохо мы понимаем этот сегодняшний день, как плохо поняли современники — и дома, и в особенности, за рубежом — намерения Михаила Горбачева и его незаурядную, конечно, общественную роль.

Горбачева на Западе часто изображают чуть ли не врагом коммунистического порядка и коммунистической идеологии, тогда как на деле он стремится их спасти и сохранить. Горбачев не первым понял, что тотальное общество с вневещной хозяйством обречено на отставание. Это ощутил еще в 1921 году Ленин; потом Хрущев, интересовавшийся экономическими проектами харьковчанина Е.Либермана, потом Косыгин, доведший свою реформу до утверждения ее пленумом ЦК КПСС. Горбачев, однако, совершил следующий и важнейший шаг: он признал, что компромисс с реальностью не может быть стабильным без политических перемен. Фукуяма согласен, что усилия Горбачева направлены на то, чтобы узаконить и тем упрочить власть КПСС, и все же он верит, что санкционированная Горбачевым «критика советской системы явилась столь основательной и решительной, что почти не оставила возможности возврата как к сталинизму, так и к брежневщине каким-либо простым путем». Но главное даже не в том, что возможности такого возврата отлично сохранились.

Прежде всего, покамест нет оснований утверждать, что в стране вообще вводится стоимостное, рыночное хозяйство, о котором столько говорят. В течение шести лет перестройки шли как раз обратные процессы — неограниченная эмиссия, прямые конфискации, драконовские налоги, директивные повышения цен, при том, что монополия хозяйственная структура не только не претерпела сколько-нибудь серьезных, сущностных изменений, но, располагая государственной властью, могла успешно тормозить возникновение независимых от нее хозяйственных единиц.

Меняются лишь формы, в которых элита КПСС управляет хозяйством и обществом. Ее правление являлось, по существу, нелегальным с конца двадцатых годов, с тех пор как его осуществляли непосредственно партийные органы при содействии карательных, а так называемые советские, то есть государственные органы только проводили в жизнь предначертания партийных. Горбачев стремился передвинуть властные полномочия в государственные органы высшего этажа, приняв на себя и возложив на своих помощников руководство ими. Это шаг навстречу реальности, не умаляющий, однако, значения партийной элиты, — съезд народных депутатов на треть составлен из депутатов, назначенных общественными организациями, то есть самой КПСС и руководимым ею комсомолом, профсоюзами и т.п., а Верховные советы СССР и РСФСР образованы не прямыми, но двухступенчатыми выборами. И все же и на съезды и в Верховные советы попали инакомыслящие, что прежде практически исключалось. Настаивая на избрании председателями советов всех уровней руководителей соответствующих партийных комитетов, Горбачев также шел на определенный компромисс, поскольку депутаты советов обретали возможность отвергнуть наиболее бесчестных и бесчеловечных партийных деятелей, прежде назначавшихся центром

без оглядки на рядовых партийцев, не говоря уже о беспартийных. Компромиссом с реальностью явилось и допущение публичной критики и вообще некоторой гласности.

Эти уступки реальности не столь, конечно, значительны, чтобы лишить партийную элиту власти. К тому же законодательная власть выборных органов была сразу почти целиком официально передана президенту с его безмерными полномочиями. Изменения, правда, покамест завершились лишь на всесоюзном уровне; республиканские и тем более местные советы, служившие некогда лишь для декорирования партийных директив, так и не обрели подлинных рычагов власти, и то и дело раздаются призывы к назначению президентом для руководства на местах губернаторов и префектов, располагающих объемом полномочий, равным тому, каким обладали прежде секретари соответствующих территориальных партийных комитетов.

Перенос правящих, функций от партии к государству, принятый миром за переход к либеральному обществу, мог осуществиться лишь в виде отказа от неограниченной партийной диктатуры, в виде демократизации. Резонно спросить, в чем смысл этого переноса, разве прежде генеральный секретарь ЦК КПСС не обладал всей той властью, которую обрел президент, разве власть обкомов не была более широкой, чем власть советов? Так-то оно так, да только все падавшая эффективность команд побуждала менять рычаги воздействия на хозяйство и общество.

Речь шла не об отказе от внеэкономического хозяйствования, но все же о чуть более объективном учете критериев хозяйствования, о создании хоть какой-то обратной связи, которая при прямом партийном руководстве могла быть лишь идеологической, а порой и вовсе номинальной. Единство и всеобщность прежнего хозяйства позволяли не считаться с реальными результатами хозяйственной деятельности, кроме, может быть, военных ее областей, поскольку предполагаемый противник задавал ориентиры, и гонка вооружений, разорявшая страну, была вместе с тем единственной областью, где страна участвовала в конкуренции за достижение мировых стандартов. Однако достижение этих стандартов «любой ценой» привело при Сталине и Брежневе к колоссальной растрате национальных богатств — и сырьевых, и людских, -- равно как к разорению других областей хозяйства и культуры, что, в свою очередь, привело к нынешнему кризису, но одновременно и к некоторому осознанию наиболее дальновидными коммунистами необходимости как-то соотносываться с экономическими законами. И поскольку прямое партийное управление совладать с этой задачей не может в силу самой неограниченности своей власти и веры в ее неограниченные возможности, возникла нужда переориентироваться на государство, которому доступна большая гибкость.

Гибкость эта предполагает, однако, отказ от внеэкономического управления, осуществление его в квазиэкономических формах. Характерно, что чуть ли не тройное увеличение количества денег в обороте и резкое повышение цен осуществляются при сохранении государственной хозяйственной монополии, даже без большой косметики. Между тем движение к либеральному обществу, требующее, конечно, и другой финансовой системы и другой системы ценообразования, должно бы, прежде всего, разорвать тотальную государственную монополию.

Нынче нет недостатка в рассуждениях о «разгосударствлении» и даже «приватизации» хозяйства, но стоит вспомнить, что и форма колхоза,

коллективного хозяйства (разумеется, при подлинной его добровольности и независимости), могла быть эффективной, однако прямое внеэкономическое подчинение колхозов райкомам партии и райземотделам лишило колхозы экономической эффективности, обратило их в феодальные хозяйства со сменяющимися помещиками-председателями. Точно так же рекламируемое «разгосударствление» предполагает не подлинную самостоятельность предприятий, но их круговую зависимость от директив государства. Поддерживается такая зависимость многообразно — тут и преимущества кооперативам и малым предприятиям, открывающимся при больших, подчиненных министерствам заводах, тут и создание подобных предприятий самой КПСС, тут и акционирование, при котором контрольный пакет остается в руках государства, КПСС или ее влиятельных функционеров, тут и преобразование министерств в якобы независимые концерны и компании, тут и право милиции вторгаться без санкции прокурора в любые служебные помещения, тут и создание территориальных объединений промышленных производств, способных сообща оказывать неодолимое давление на местную власть, от которой они практически не зависят. Весь разрыхленный на первый взгляд комплекс предприятий по-прежнему так или иначе управляется из единого центра. Лишь с гражданами, являющимися и рабочими этих предприятий и покупателями их продукции, могут возникать более свободные, вроде бы рыночные отношения, но частичный рынок товаров и рабочей силы без рынков капитала и идей остается, в сущности, монопольным и может повышать цены, не сообразуясь с реальной стоимостью, — ведь возникновение конкурирующих независимых производителей и продавцов, способных цены сбить, по-прежнему не предполагается.

И все же переход от чисто партийного, при котором народу отведена роль быдла, к государственному управлению позволил бы лучше ощущать народное мнение, передавать исполнение определенных функций людям, пользующимся народным доверием, а не посаженным сверху, позволил бы даже как-то стимулировать производство. Понятно, переход от партийного управления к государственному лишь создает для всего этого возможности, а использование их зависит уже от воли народа; от его активности, от избрания им депутатов, выражающих его волю, от стойкости и проницательности этих депутатов в борьбе за демократию. Горбачев, конечно, надеялся, что затеянное им частичное отступление к реальности, совмещающееся с народным стремлением вырваться из нарастающей бедности, будет казаться совершенствованием системы, которую в действительности коренным образом усовершенствовать невозможно. И так бы, должно быть, и оказалось, начнись такое сразу после смерти Сталина или хотя бы падения Хрущева, не обломись иллюзии шестидесятников о броню танков, кативших по Праге. Но, когда приступили к политическим реформам, хозяйственный кризис был слишком глубок, чтобы его быстро преодолеть; судорожные действия нового правительства, прежде всего безудержная эмиссия, его лишь усугубляли. А новые органы высшей государственной власти продолжали издавать законы и указы, кодифицировавшие намерения реформаторов. Лучшей надежды еще какое-то время выстоять в состязании с либеральным обществом, чем, по ленинскому примеру 1921 года, частичное отступление к реальности, у обнажившей свою природу

системы и впрямь не существовало. Но с каждым днем отчетливее было расхождение интересов правящего слоя и человека с улицы, влачившегося от одного пустого прилавка к другому.

Разумеется, новая политика требовала идеологических поправок, и на смену догматизации идей Маркса или Ленина выдвинулась канонизация великодержавности и государственности как высших народных благ. Для укрепления идеологии, утратившей сообразность с происходящим, вместо беспощадной рациональности все больше требовалась нерассуждающая вера, и началось прямое сближение с религией, прежде противостоявшей марксизму-ленинизму, и особые возможности получило православие. Оно не хуже ислама способно срастись с идеологией государственного социализма. Не случайно врастают в эту идеологию и великодержавно-шовинистические мотивы. Уже провал европейской революции и переход к социализму в одной стране привел при Сталине к трактовке социализма как национального явления и даже национального преимущества, неизбежно сближавшегося с другими шовинистическими идеями. Не случайно интернационалистами теперь именуют солдат, погибающих ради присоединения к национальной социалистической державе других народов, которыми она призвана руководить. Но перемены в идеологии и ослабление ее повсеместной непеременимости не упразднили идеологический характер государства. Все это показало, что перестройку нельзя считать отказом от основополагающих принципов феодально-социалистического порядка, что она призвана лишь его упрочить.

Понятно, реальный ее ход не вполне идентичен намерениям реформаторов. Перестройку поддержали прежде всего демократические круги, не задумывавшиеся о пределах возможных перемен внутри сложившегося порядка. Если даже они желали либерального общества, то чаще всего связывали переход к нему с лидером перестройки и, закрывая глаза на то, что его цели куда умереннее, порой даже ратовали за предоставление ему чрезвычайных полномочий, в полной уверенности, что пользоваться ими он станет лишь для расширения демократии, для революции сверху. Одновременно значительная часть партийного аппарата и руководства промышленностью и колхозами опасалась даже умеренных реформ и саботировала их, не позволяя государственным структурам стать эффективнее, чем были партийные. Демократическое движение оказалось слишком слабым, чтобы такому саботажу противостоять, и в итоге не то что переход к либеральному обществу, но даже задуманный компромисс с реальностью так и не осуществился.

Есть, конечно, парадокс в том, что реформатор Горбачев ограничивал, главным образом, демократов, которые, сопротивляясь реакции, только и могли помочь хотя бы умеренной перестройке, и не давал в обиду реакционеров, не желавших и самого скромного компромисса и грезивших брежневскими и даже сталинскими идеалами. Но и этим подтверждается, что даже удача перестройки не привела бы к либеральному обществу. Не будем уж напоминать, что вполне сохраняется возможность восстановить правление сталинского типа, поскольку создание коммунистической партии без официальной санкции законных властей комитетов общественного спасения, использующих армию для подавления демократических движений, является, как выяснилось, ненаказуемым, то есть высшая власть принадлежит фактически по-прежнему коммунистической партии, независимо не только от исхода выборов, но и

несмотря на то, что провозглашавшая такую власть статья шестая конституции СССР формально отменена.

Ни одна партия, пользующаяся сколько-нибудь широким влиянием, покамест не выдвинула у нас либеральную программу ни буржуазного, ни социалистического толка. Лишь в национальных движениях, да и то не во всех республиках, подобные тенденции просматриваются, хотя смысл всех национальных движений прежде всего в противостоянии государственной хозяйственной монополии. Но спасение от нее нередко ищут не в либеральном хозяйствовании, но в национальном внеэкономическом правлении, пусть и не достигающем сталинской или брежневской жестокости, хоть и ее не исключающей. Словом, коммунистическое государство, которое Фукуяма поторопился вытолкать со сцены, никуда в обозримое время уходить не собирается. Другое дело, каким оно станет, не сумев перестроиться.

Фукуяма пишет: «Непонимание того, что корни экономического поведения лежат в сфере сознания и культуры, ведет к часто совершаемой ошибке, когда явления, по природе своей идеальные, пытаются объяснить материальными причинами», — и продолжает: «Глубинные изъяны социалистических экономических систем были очевидны и тридцать-сорок лет назад любому, кто готов был не закрывать на них глаза. Почему же эти страны отошли от централизованного планирования только в 80-х годах? Ответ следует искать в сознании элит и руководящих ими вождей...» Но, во-первых, и в восьмидесятые годы Советский Союз не отошел от директивного хозяйствования, напрасно именуемого плановым, да и не может от него отойти, покуда существует единая государственная хозяйственная монополия, покуда не существует реальной конкуренции в экономике и, соответственно, в политике. А главное, ложно само по себе чрезмерное противопоставление материального и идеального, заимствованное с перевернутыми оценками из официальной марксистско-ленинской идеологии. Там оно хотя бы прагматически оправдано: государственная идеология внушает людям, что их дело — гнуть спину, трудиться, а не разговаривать, не размышлять, как их труд организован и на что направлен. Эту идеологию выражают и повсеместные упреки депутатам, которые «только разговаривают», а не сеют хлеб и не стоят у станка.

После Макса Вебера нелепо отрицать роль сознания, характера ментальности или этики в экономическом поведении. Но это не значит, что, как в советской философии, все зависит от решения «основного вопроса»: что первично — материя или дух? Что бы ни было исторически первично, экономическая жизнь непрерывно демонстрирует сложнейшее взаимодействие материального и идеального. Тут пагубна абсолютизация как материи, так и сознания. Заявляя, что изъяны социалистических систем были очевидны уже тридцать-сорок лет назад, и тут же утверждая, что причину отказа от них в наши дни следует искать в сознании элиты, Фукуяма побуждает думать, что все кругом эти изъяны видели, только элита не замечала, чем ставит под сомнение умственные способности элиты и самую ее элитарность. Не верней ли признать, что элита, обращая эти «изъяны» себе на пользу, лишь в восьмидесятые годы начала сознавать, что чудесным для нее возможностям приходит конец. .

Невозможно отрицать, что материальные факторы играли важнейшую роль в продлении жизни советской директивной системы. Ее укрепляло, к

примеру, вовлечение в ее орбиту Восточной Европы: батевские ботинки и польские швейные изделия помогли смягчить напряжение в разоренной войной стране. Еще существеннее была роль огромных запасов нефти и газа, брошенных Брежневым на мировой рынок. Не будь подобного, за перестройку, видимо, принялись бы раньше. И ведь принимались, — и Хрущев, и позднее Косыгин, — но выяснялось, что есть еще порох в пороховницах, есть материальные возможности погодить с реформами. Вот и годили дальше, усугубля хозяйственную нескладицу, и ныне страна расплачивается за желание элиты продлевать прежний порядок.

Уже в XIX веке у Российской империи были причины переходить к либеральному обществу, и она совершала шаги к нему: это были и проекты Сперанского, и восстание декабристов, и реформы Александра II, и предложения Витте, и революция 1905 года и Февральская, и даже Октябрьская, после которой, что ни говори, были проведены выборы в Учредительное собрание. И всякий раз власть останавливала перемены или проводила их половинчато и с опозданием, что вело ко всё более резким социальным взрывам.

На любимый русский, вопрос: «Кто виноват?» — история дает ответы. В революции 1905 года виноват Николай II, отклонивший в 1903 году предложения Витте с коренной аграрной реформе, — дело не только в расстреле 9 января, послужившем детонатором всеобщего недовольства. В Февральской революции виноват все тот же Николай II, так и не облегчивший народную участь, да еще обременивший ее войной. В Октябрьской революции виноваты князь Львов, Милюков, Гучков, Керенский и другие деятели Временного правительства, за 8 месяцев у власти не создавшие Учредительное собрание и слишком мало сделавшие для разрешения аграрного и национального вопросов. В революциях виноваты те, кто до них довели, а не те, кто их совершали. А Ленин, которого ныне изображают виновником всех бед, виноват в том, что разогнал Учредительное собрание и, не назначив новые выборы, завел социализм в стране, и феодализма-то еще не преодолевшей.

Нынешние сторонники принципов, которыми нельзя поступиться, крайние реакционеры, подобно прежним упрямам, сами подрывают существующую систему. Но это не значит, что они способствуют созданию либерального общества, а не еще одной внеэкономической системы с другой идеологией. Горбачёв, как разумный консерватор, не хотел этим довольствоваться, и ради преодоления отсталости страны взялся за перестройку. Но верность убеждениям побуждала, а народная мученическая пассивность позволяла, все больше оберегать от перемен своих единомышленников, и все меньше искать компромиссов со своими идейными противниками — демократами, а в реалистическом компромиссе только и заключалась возможность выхода из кризиса.

Большая и влиятельнейшая часть нашей элиты, вопреки Фукуяме, предпочла не «протестантский» жизненный стиль — стиль богатства и риска, но «католический» путь — путь бедности и безопасности. А безопасность внеэкономической элите в XX веке гарантирует лишь единая монополярная система, в руках которой всеобщее распределение, непосредственно не зависящее от производства. Да и кто отнимет у такой элиты питающую ее упрямоту надежду, что вдруг обнаружатся новые неслыханные запасы нефти или золота, или либеральные общества сочтут, что в их интересах помочь рушащемуся внеэкономическому

порядку укрепиться, как это уже не раз бывало? Так что не стоит спешить с провозглашением конца истории.

Летописец у Щедрина ставит роковые слова: «История прекратила течение свое...» — лишь после того, как глуповцев поразило нечто неслыханное: «Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и, по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца».

Щедрин писал о городе Глупове более ста двадцати лет назад, когда еще и предположить было нельзя, что возникнет катастрофическое оружие. И все же он понимал, что даже история Глупова не может окончиться, пока не грянет подобная катастрофа. Вот и не стоит вслед за Фукуямой впадать в эйфорию. Ведь свобода не устанавливается раз навсегда, и даже славные имена вчерашних борцов за свободу порой уже на следующий день служат попранию свободы, — в этом трагедия коммунистического движения и попыток его усовершенствовать. История — это процесс повседневной борьбы за свободу, и только понимание этого, только каждодневная защита своей и чужой свободы позволит либеральному обществу избежать катастрофы конца истории, который может стать лишь концом свободы.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ФЕДОТОВ

Георгий Петрович Федотов (1886-1951) безусловно — один из самых замечательных русских мыслителей XX века. Увлеченный социал-демократическими идеями, он в 1904 году поступил в Петербургский технологический институт, чтобы, став инженером, быть ближе к рабочему классу. В конце 1905 года его арестовали и приговорили к ссылке, замененной высылкой за границу. По окончании высылки он поступил в 1908 году на историко-филологический факультет Петербургского университета, где занимается историей европейского средневековья. Сохраняя хоть и ослабевшие связи с революционным подпольем, Федотов опять вынужден эмигрировать, жить в Петербурге по чужому паспорту, подвергнуться высылке в Ригу, но сдав по ее окончании государственные экзамены, он вскоре начал работать в Публичной библиотеке.

Со времени поступления в университет совершается постепенный переход Федотова от марксизма к христианству, к обновлению православной мысли, начатому Владимиром Соловьевым, и, выехав в 1925 из СССР, чтобы продолжить занятия европейским средневековьем, он вскоре стал преподавать в Богословском институте в Париже. В Париже, в журналах «Новый град», «Современные записки» и др., развернулась и его научная и публицистическая деятельность. После поражения Франции Федотов в 1941 году с большим трудом перебирается в США, где до конца дней преподает в русской православной семинарии в Нью-Йорке, продолжая научную и публицистическую работу.

На всех этапах своего сложного пути Георгий Петрович сохранял свежесть и самобытность собственного ума, подымавшегося над догмами и догматами. Это сделало его во многом одинокой фигурой, ненавистной как правым кругам эмиграции, так и отечественным идеологам. Это

предопределило и его меньшую, чем у других, даже не столь замечательных, деятелей серебряного века, известность в наши дни. Но этим же объясняется смелость и глубина его понимания современных исторических процессов и редкостная, часто пророческая, точность его анализов, примером которой служит статья «Сталинократия», опубликованная в «Современных записках» №60 в 1936 году и впервые публикуемая в нашей стране. Сегодня, когда кругом пытаются то отстоять, то радикально пересмотреть канонизированные оценки Октябрьской революции и последующего развития страны, статья Федотова должна наконец вступить в круг чтения русского читателя.

Читатель увидит, почему эта встреча происходит с таким опозданием, и поймет, что в ее ускорении, в привлечении к статье, пусть даже с самой резкой, но публичной, критикой, общественного внимания, не было заинтересовано ни одно из пользующихся у нас реальными возможностями свободного выхода к публике умственных течений.

Преемники и последователи Сталина не могут и ныне, даже в качестве «спорных», допустить утверждения Федотова, что деятельность Сталина, в отличие от деятельности Ленина и Троцкого, «это настоящая контрреволюция, проводимая сверху», а «новый режим в России многими чертами переносит нас прямо в XVIII век».

Но и искренним сторонникам Ленина или Троцкого эта концепция враждебна, поскольку показывает неизбежную «эволюцию революции» и тщету их усилий достичь обещанных революцией целей. Федотов пишет: «Сталин с 1925 года работает над размалыванием ленинского гранита. К 1935 году он может считать свою задачу оконченной». Даже Троцкий до конца дней думал, что в сталинском государстве исходные намерения лишь извращены, хоть и очень значительно, но основа остается пролетарской, как казалось после революции и Ленину и ему самому.

Не устроит концепция Федотова и открытых противников коммунизма, тогда высказывавшихся преимущественно в эмиграции, а ныне и на родине. Федотов пишет: «Еще большинство эмиграции повторяет: в России царствуют коммунисты или большевики, еще мечтают об избавлении России от этих большевиков, не замечая того, что большевиков уже нет, что не они правят Россией», и говорит о пришедших к власти, что это «совершенно не коммунисты, а новые люди, к которым нужно приглядеться». Между тем у нас большевиков и сегодня либо в сталинских традициях обожествляют, либо разоблачают, но совершенно не стремятся выяснить, кто же эти «новые люди», пришедшие при Сталине им на смену и поныне занимающие те же места, и чем отличны от них те, кто ныне, уже откровенно проповедуя монархизм или авторитаризм, претендуют на сталинское наследство и его незыблемость.

Серьезная критика российского коммунизма, равно как и сложившихся в стране порядков, требует, вслед за Федотовым, обозначить различие меж Лениным и Сталиным, но не для идеализации того или другого, а для прояснения реальных итогов Октября и, стало быть, смысла нынешних проблем. А ведь сегодняшний антикоммунизм часто держится на отождествлении Ленина и Сталина, поскольку, игнорируя суть начавшейся вслед за революцией трагедии, стремится лишь к смене одежд любезного ему в своей сущности сталинского порядка. Федотов, пятьдесят пять лет назад разглядевший эту суть под иными одеждами, тут, понятно, помеха.

Нелишне напомнить, что даже и в самых точных предсказаниях исследователя неизбежны упущения, вызванные неведением деталей. Федотов не мог предполагать, что убийца Кирова Николаев добился успеха не только по своему вдохновению, но и благодаря незримой сталинской поддержке, масштабы и характер которой известны все еще лишь приблизительно. Говоря, что Россия «не выдержит новой войны», Федотов, опять же, не мог в 1936 году предполагать, что тогдашнюю расстановку сил изменит агрессивное движение нацизма, по сговору со Сталиным на запад, в результате чего при нападении Гитлера на СССР Англия и США станут не противниками, а союзниками нашей страны. Но ход первых лет войны, даже при их материальной поддержке, не позволяет просто отбросить как неверное предположение Федотова о том, что было бы, окажись наша страна перед лицом агрессора одинокой, а агрессор, напротив, обрел поддержку сильнейших мировых держав.

Можно бы оговорить и другие частности, но и они не меняют значимости анализа, проделанного Георгием Петровичем Федотовым. Желаящему знать, что на самом деле произошло и происходит с нашей страной, прочесть «Сталинокрапию» необходимо, тем более что и сегодня сходные мысли у нас высказывают лишь редчайшие единицы. Согласится читатель с Федотовым полностью, или частично, или даже отвергнет его доводы, сочтя для себя, однако, обязательным как-то иначе ответить на прямо поставленные им вопросы, вовлечение статьи в круг современных раздумий пойдет на пользу национальному самопознанию.

СОБЛАЗН ЕДИНСТВА

Сколько себя помню, идет борьба. Борьба с кулаками и подкулачниками. Борьба с троцкистскими и иными двурушниками. Борьба с безыдейностью и упадничеством в литературе и искусстве. Борьба с лженауками генетикой и кибернетикой. Борьба с космополитизмом. Борьба за мир. Борьба за достижение военного паритета. Понятно, статью Мариетты Чудаковой «Блуд борьбы» в «Литгазете» (№43 от 20.10.91) я схватил, воображая, что корень зла многотрудной жизни нашего отечества наконец-то выходит на свет.

Оказалось, речь совсем не о том, чтобы непрерывная борьба уступила место чему-то противоположному, а о том, что «мы все еще имеем дееспособного противника» и «нам придется еще общими усилиями сломить сопротивление тех, кто готовится похоже к повторному наступлению». Вот Чудакова и зовет к единству в нескончаемой борьбе. К единству демократов, к единству хороших людей. Но ведь борьба всегда у нас и шла под знаменем единства, морально-политического единства советских граждан, единства партии и народа, единства рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. На противной стороне располагались отдельные отщепенцы. Различать за их враждебными голосами объективные социальные и национальные противоречия давно не принято. Тем более не принято допускать хоть какие-то разногласия среди «наших», тех, кто всегда прав. Люди привыкли быть заодно, идти верным курсом и помалкивать.

Свобода слова потому и стала насущной потребностью, что без нее ни обществу, ни гражданам не осознать самих себя. Ветер свободы вынес разную, порой неприглядную наличность, не только одинокие мечтания о

всеобщем братстве, но и выходки «нашизма», отечественного фашизма. Ну, что ж, чтобы что-то изменить к лучшему, надо видеть вещи как они есть. Давно ли сама Мариетта Омаровна на Булгаковских чтениях в Ленинграде требовала свободы антисемитизма, стремясь оградить выдающегося писателя от упреков за неприязненные суждения о евреях в личном дневнике, опубликованном журналом «Театр». Признаться, меня тогда поразило, что сугубо личные записи, запечатлевающие больше ход, чем плод, мыслей автора, относили к антисемитским, когда антисемитизм — явление общественное, проповедь ненависти, практика неравноправия, а питать личную любовь к целому народу, — к евреям ли, к неграм ли, к русским ли, — никто не обязан. Наивно строить земное общество на обязательности всеобщей любви, — любовь по самой своей природе избирательна и индивидуальна. Обществу надобно преодолеть ненависть. Но вот уже и публичная пропаганда ненависти, и антисемитской, и антирусской и всякой другой, у нас дозволена, и можно задуматься, что на деле стоит за нестихающими распрями. Однако наблюдательная исследовательница Булгакова и Зоценко без тени юмора сводит все к тому, что «микроб ссоры, недоброжелательства поселился в нашей публичности, в нашем печатном слове». Распри, выходит, от дурных нравов, от «стремления к власти», и лучше бы, как привыкли, помалкивать, не путаясь у добрых начальников под ногами.

Нынешнее размежевание с марксизмом побуждает многих торопливо размежеваться со всяким социальным мышлением и, в частности, с пониманием противоречивости человеческих интересов, возникшей задолго до Маркса. Вместо того, чтобы преодолеть навязшую в зубах абсолютизацию классово-борьбы и вспомнить о неизбежности одновременного классового сотрудничества, без которого общество просто разваливается, на социальные конфликты закрывают глаза, сводя их к личной вздорности. Между тем, демократия начинается с признания различия людских интересов и необходимости их сознательной координации. Демократия, в отличие от диктатуры, держащейся подчинением и борьбой, живет социальными компромиссами, взаимностью уступок. Демократия защищается, но не нападает.

Чудакова и ее сторонники как раз и выступают против взаимности. Из опубликованного газетой «Демократическая Россия» отчета о заседании «Московской трибуны», где обсуждался доклад Чудаковой, можно узнать, что соображения Юрия Карякина, заседающего в российском президентском совете, по его собственным словам, действуют там «как горох об стенку». Но и Карякин убежден, что это не повод указывать власти на ее промахи публично.

Почему, однако, президент не слышит Карякина, им самим избранного в советники? Не оттого ли, что Карякин стал лишь советником, лишь членом команды? А когда он, не заседая еще в высоких комитетах и советах, публиковал «Ждановскую жидкость», его звучным голосом говорил целый общественный слой, который желающему выглядеть демократом приходилось слушать.

Парадокс публичности не велит заноситься по поводу собственных дарований, у некоторых немалых. Лучшие слова, покуда говорят втайне, — друзьям ли на кухне, президенту ли на ушко, — немного стоят. Они обретают вес, лишь обращаясь зернами кристаллизации страстей и раздумий тысяч людей, выстраиваясь для них лестницей самосознания.

Поэтому ограничение свободы слова, уход общества от предварительного рассмотрения всех аргументов и контраргументов, порождает импульсивные взрывы, в вихре которых власть часто способствует вовсе не тому, к чему сама вроде стремится.

Даже Горбачев продолжал попустительствовать спецназам и омонам в Грузии и Прибалтике. А ведь он уже сознавал, что сохранение связей между советскими республиками возможно лишь при сугубой добровольности. Но это жило где-то в его уме, а практически он не посчитался сперва с Бразаускасом, а после с Прунскене, ощущавшими, что без независимости дружба с Россией для Литвы невозможна. Голоса, проясняющие сущность выбора, помогали бы понять, что дружба с независимым соседом лучше, чем разрыв, но для них часто не было места в русской печати. Винить в результатах надо не Ландсбергиса, а Бурокаявичуса и Шведа с Комитетом национального спасения и тех, кто захватывал вильнюсский телецентр. Но одновременно и свою печать, именно ради углубления реформ остерегавшуюся резко возражать президенту-реформатору.

Чудакова защищает Горбачева от подозрений в причастности к ГКЧП, напоминая, что в роковой час он совершил мужественный выбор. Но кто, как не Горбачев, создал эту альтернативную ситуацию, кто расставил кадры ГКЧП в государственных органах? И ведь на пост вице-президента он выдвинул не А.Яковлева, даже не В.Бакатина, которые, по крайней мере, не совершили бы личного предательства, а годность компанейского Генки Янаева к высокой должности и самая его фигура в печати даже не обсуждались. Между тем, совершив Горбачев свой выбор вице-президента в условиях открытого обсуждения с учетом настроений всего социального спектра, он избавил бы себя от мучительного выбора, который пришлось совершать в Форосе, думая о безопасности жены, дочери и внуков. То, что верх в нем все же взял серьезный политик, оцененный миром, не причина забыть о былом требовании повторно голосовать за Янаева, которое могло бы уже и отрезать возвращение к здравому смыслу. А будь печать попридирчивей к избранию вице-президента, Горбачеву пришлось бы еще на свободе продумать все то, что он продумывал взаперти в Форосе.

То же и с Чечней. Слов нет, ее самоопределение не обошлось без юридических погрешностей, и желание российской власти их исправить было бы оправдано, не забудь она памятные Кавказу куда более страшные «погрешности», совершенные по отношению к чеченцам и все еще совершающиеся по отношению к ингушам. Даже слабое шевеление спецназов и омонов тамошние народы не могли воспринять иначе как поступь нового Ермолова, хоть генерал Руцкой, вероятно, и не мечтал о подобной славе. Бог милостив, у российского парламента и президента покамест хватило ума дать задний ход, и обошлось без жертв. Но ведь и это могло быть наперед публично продумано, проговорено и выявлено не просто советниками, но демократической печатью, отражающей многообразие гласа народного.

Возобновляющиеся великодержавные рефлексy задевают слишком большую ткань, чтобы не оставить след, не нанести ущерб доверию к новой России, пробужденному дальновидным призывом Ельцина к автономиям брать столько самостоятельности, сколько по силам. Остается, впрочем, соблазн счесть формой сопротивления великодержавности преобразование автономных республик в союзные, и на

этой почве укрепляется ни от кого не зависящий могущественный центр, позволяющий себе и дальше пренебрегать реальными нуждами миллионов во всех республиках. Вот печати стоило бы и российскому руководству напоминать, что за великодержавное рефлексирование оно платит укреплением тех самых сил, из-под державной пяты которых резонно хочет высвободиться.

Лучшим тайным советникам не возместить соревновательное многоголосие печати в просветлении любых общественных конфликтов. Их неразрешенностью ожесточен и демон национализма, возводимый ныне к чему угодно, но только не к реальности. А ведь безжалостная война сербов и хорватов, говорящих на одном языке, вызвана не чем иным, как тем, что одна республика хочет наладить стоимостное хозяйство, а другая сохранить внеэкономическое, — вот на ее стороне и выступает общая, казалось бы, армия. У нас за национальными распрями стоит все тот же социальный спор о внеэкономическом порядке. А нам внушают, что качество жизни изменится, если освящать команды не марксизмом-ленинизмом, как при секретаре Иосифе Виссарионовиче, а православной верой, как при государе Алексее Михайловиче.

Нас уверяют, что переход от внеэкономического хозяйствования к стоимостному — дело неслыханное, никем не опробованное, хотя многие народы за четыре века благополучно перешли от феодальных отношений к буржуазным, и процесс этот почти всюду шел путем формирования национальных государств. Космополитизм куда симпатичнее национализма, но нелепо отрицать, пусть и не радующую, закономерность такого перехода. Надо лишь неукоснительно соблюдать в новых государствах права человека, тем более, что без них и стоимостные отношения ущербны. Как показывают западные примеры, национальное государство само по себе вовсе не обязательно ведет к шовинизму, от которого, как мы по своему опыту знаем, интернациональные декорации с показной дружбой народов тоже не спасают. Да и отношения между новыми национальными государствами скрепляются взаимной выгодой и доброжелательностью, а не диктатом.

Выбор меж внеэкономическим и стоимостным хозяйством это одновременно выбор меж авторитарной и представительной системой, между борьбой и компромиссом. Почему же люди, именующие себя демократами, велят воздерживаться от публичной критики властей и ратуют за укрепление президентов и мэров и унижение парламентов и местных советов? Не в том ли дело, что вовсе они не демократы?

Кругом твердят, что демократы, придя к власти и не поделив ее, стали друг с другом враждовать. На деле демократы не только не пришли к власти, но не обрели даже статус полноправной оппозиции. Борьба идет не среди демократов, а между демократами и псевдо-либералами из бывших коммунистов, как раз и овладевшими властью, а нередко просто оставшимися у власти. Они объявили себя демократами, широкогласно внушая будто проводят реформы, а на деле не то что решительные перемены, но даже умеренный социальный компромисс, без которого стоимостное хозяйство невозможно, осуществить не спешат. Нельзя же всерьез утверждать, что само по себе освобождение цен способно сделать монопольное хозяйство стоимостным! В 1947 году Сталин, удешевив деньги в десять раз и подняв цены в четыре, проделал именно то, что проделывается сейчас, — ограбил граждан. Но он, по крайней

мере, сделал это в один присест, а главное, укрепляя внеэкономическую систему, не изображал себя ее упразднителем.

Немногих проклюнувшихся демократов у нас винят в непомерном радикализме, отводя им край политического спектра, именуемый то правым, то левым. На деле демократия образует как раз центр, поскольку она открыто отражает объективную социальную реальность с ее многоголосием. По одну сторону от нее клонятся к авторитарности, как идеалу порядка, по другую — к анархии, издавна противопоставляющей всевластию феодально-абсолютистского государства власть свободных разбойников. Никому и не снилось, что эти крайности сойдутся, что государство станет разбойничьим, а банды — состоящими на государственной службе.

Именно такое государство, целиком подчинившее себе всех и все, подменившее своим произволом отвечающее природе вещей органическое развитие, мы называем тоталитарным. Его сторонники, — тут с Чудаковой спорить не приходится, — и впрямь готовятся к повторному наступлению. Но, чтобы это наступление остановить, нужно не «объединиться на любой... программе», а последовательно утверждать стоимостное хозяйство и базирующиеся на нем социальные гарантии. Кто бы этому ни противился, республиканское или местное начальство, «наши» или «не наши». Обратный поворот опасен, пока люди не обрели жизни, в которой ощущают себя людьми и защищать которую готовы без понуканий, ради себя и детей. А если ограбление народа будет продолжаться, если расплату за просчеты прежнего государства будут по-прежнему валить на людей, словесное единство поворот не предотвратит.

Избавление от тоталитаризма состоит в одновременном преодолении авторитарной и анархической крайностей. Прежде всего, в отделении хозяйства от государства и, вообще, в сокращении непомерной роли государства. Охрана природы, правовой порядок и независимый суд, регулирование финансов, социальное обеспечение, здравоохранение, поощрение образования и культуры, — вот основное, что от государства требуется. Плюс, разумеется, в той мере, в какой существует внешняя опасность, защита отечества. Лишь тогда усилия отдельных людей станут приносить пользу обществу, а не только вознесшейся над ним власти. Когда же без устали твердят о необходимости укрепить власть и в неколебимом единстве, держа языки за зубами, сплотиться в борьбе и следовать за харизматическим вождем, — не будем себя обманывать, — нас влекут не к преодолению прошлого, а к его возрождению в будущем, разве что чуть иначе расцвеченным.

БУЛАТ И ЗЛАТО

В городе, именуемом окном в Европу, мы мечтаем сегодня о едином европейском небе. Мечта не пустая, но не забудем, что над средневековой Европой небо, при всех контроверзах, было единым. Мы законно сопоставляем киевских князей с франкскими королями, или Новгород с Любеком, не говоря об общем для Европы христианстве. Древняя Русь была страной европейской. Никаким новым теориям не отменить историю.

Но под европейским небом сегодня горит Дубровник, и самое время вспомнить, что Европу разделяло и разделяет поныне. Ее относительное единообразие рухнуло, когда наряду с обществами традиционной

внеэкономической силы возникли общества более плодотворных стоимостных отношений. Как великий Пушкин лучше всех обозначил различие их первооснов: «"Все куплю" — сказало злато, "Все возьму" — сказал булат». За двести, если не больше, лет до Петербурга началась Европа злата — Нидерланды, Англия, Франция, Северная Италия, Рейнская долина, но уцелела Европа булата — Австрия, Пруссия, Россия, и в стене между ними светилось петербургское окно. Сегодня эти две тенденции не ограничены Европой, это не географические особенности, и Америка, и Азия, и другие континенты знают обе разновидности общества.

Я не идеализирую общество злата, но вместе с водой его пороков из массового сознания выплеснута способность считать, что почем, понимать стоимость вещей, труда, таланта, денег, а теперь и природы. Потому там и удается бедным, по существу, странам жить, по нашим понятиям, богато. Достижения булата тоже у всех на памяти, но опять же забывают главное его свойство — готовность не стоять за ценой, и в итоге — нескончаемые растраты природных и людских сокровищ, отчего в богатейших, как наша, странах, люди нищенствуют.

Покуда к западу от Эльбы утверждалась власть денег, на востоке укреплялась феодальная реакция, ожесточавшая прежние порядки и, в частности, то, что непопулярный нынче Энгельс метко назвал вторым изданием крепостного права, которое у нас оказалось почище первого. И если в Европе в XIX веке испытывали страх перед Россией, зовя ее тогда жандармом Европы, то этот страх коренился в наших крепостнических порядках, в торговле живыми крестьянскими душами. Именно тогда особенно часто противопоставляли плохой Европе, гнилому Западу хорошую Россию, немилосердной власти денег противопоставили, как идеал, совсем уже бесчеловечную власть чиновников и крепостников.

После первой мировой войны народное недовольство смело не только российскую — тут мы отнюдь не уникальны, — но и германскую и австро-венгерскую монархии, но перемены в хозяйствовании оказались слишком малы, а привычка к булату слишком велика, и под флагом социализма взял реванш новый абсолютизм. Этот феодально-социалистический абсолютизм именуется здесь коммунизмом, там — национал-социализмом, еще где-то — исламским социализмом. Происхождение и идеологические обертки — разные, но суть одна — приверженность к традициям булата. Европу спасло то, что нефеодальным державам, вопреки стремлению их лидеров действовать заодно, пришлось сражаться друг с другом, и гитлеровская Германия рухнула в 45 году, а сталинская Россия живет уже сорок лет без Сталина и по существу не переменялась, хоть испытывает тяжелейший кризис.

Говорят, что и она тоже, дескать, потерпела поражение в третьей мировой войне, и даже валят вину за это на предательство, якобы совершенное Горбачевым. Все это демагогический вздор. Наша армия и сегодня сильнее всех на свете, и в случае войны она в состоянии уничтожить весь мир. Но она не в состоянии защитить от уничтожения Россию. И не потому, что армия плоха — при всех ее сложностях армия и сегодня у нас один из самых конкурентоспособных организмов, — а потому, что обозначились пределы возможностей булата, ставшего ядерным, и ныне лишь разоряющего, а не обогащающего, как прежде, тех, кто на нем держится. Что и обозначило предел феодального абсолютизма.

Горбачев признал пагубность тоталитаризма для страны и этим навсегда вписал себя в историю. Но, не поддаваясь нашей обычной манере топтать поверженного, следует помнить, что сам он за шесть лет не сделал ничего, чтобы преодолеть военно-бюрократический булатный режим. Не продвинулись в этом и его преемники. Наша система, подобно ящерице, в минуту опасности отбрасывающей хвост, лишь отбросила идеологию марксизма-ленинизма, но осталась тоталитарной. Тоталитарностью мы называем полный контроль государства над обществом. Высшая форма такого контроля — государственная собственность, при которой власть и владение сливаются. Наше государство остается и сегодня тоталитарным, поскольку монополия государственной собственности не только не слабеет, но укрепляется.

Анпиловы, Астафьевы и Аксютчицы, не способные предложить ничего, кроме возврата к откровенному сталинизму или национал-социализму, бранят за чрезмерный радикализм Гайдара, пытающегося построить сталинизм с человеческим лицом. Но на деле никакой он не радикал и даже не реформатор, поскольку государственную собственность не только не ограничивает, но своими мероприятиями еще укрепил ее всевластие.

Гайдару, личную честность которого я отнюдь не подвергаю сомнению, возможно, кажется, что, предоставив ценам свободно подниматься выше мирового уровня, наш циклопический государственный сверхконцерн войдет в мировую экономику и потом уже сможет заниматься внутренним самоусовершенствованием. Но это в лучшем случае самообман. Свобода цен осмысленна как свобода их установления конкурирующими производителями, а называть свободой неограниченный произвол вооруженного булатом монополиста — это насмешка.

Все это от веры в сильную власть, хотя именно сильная власть, власть Ивана Грозного, Николая Первого и Сталина разоряла эту страну. Когда мы говорим, о Российской империи, царской или советской, следует помнить, что она феодальная, а не буржуазная, как была Британская, и поэтому народ, именуемый в империи первым, пусть с добавлением «среди равных», русский народ, в большинстве своем не только не имел от империи выгод, но имел еще дополнительные тяготы по ее расширению и охране, а выгоды доставались привилегированным, правящим слоям. Потому-то освобождения от груза империи хотят, как мы видели в последние год, не только литовцы или азербайджанцы, но и верно понимающие национальные интересы русские. А против них, как мы видели по телевидению, выступают другие русские, кормившиеся и желающие дальше кормиться от имперского стола. Вообще национальные проблемы у нас, как и в Югославии, прежде всего проблемы социальные, и отождествлять всех русских с империей так же нелепо, как всех евреев отождествлять с большевизмом. И то, и другое отождествление строится на грубейших фальсификациях и замалчивании фактов.

Одним словом, чтобы войти в Европу, надо строить хозяйство не на дальнейшем разорении народа, а на реальной передаче каждому собственности, которой люди номинально владеют сообща.

Здесь нет возможности обсуждать, как лучше провести эту передачу, но под именем приватизации уже очертились разные способы разворовывания общего добра: то начальниками с теневыми подручными, то привилегированными трудовыми коллективами, и прежде богатевшими за счет других. А ведь когда в Европе совершался переход от булата к

злату, собственниками становились не только лэндлорды и откупщики, но миллионы английских йоменов и французских вилланов.

Корень нашего зла — в единстве власти и владения. Даже толстякам Юрия Олеши, которых все нас учили ненавидеть, все же приходилось ради прибыли что-то продавать населению. А у владеющего всем государства нет к этому стимула. Все, что оно недополучает в своих магазинах с пустыми полками, оно умеет просто отобрать, и систематически это делает. У нас потому и распространено воровство, что государство, подавая пример, непрерывно ворует у граждан.

Я охотно верю в самые лучшие намерения впервые обретенного нашей страной законного президента. Но люди демократических убеждений не вправе уклоняться от анализа социального смысла реальной деятельности правительства, сколь бы искренни ни были его добрые намерения. Реформы ведь так и не начались, и рынка, если не считать торговлю разворованной гуманитарной помощью, по-прежнему нет. Нашу страну теперь часто называют пост-коммунистической, но называть её так можно, лишь закрыв глаза на различие между платьем и плотью. Нынешний период в лучшем случае можно назвать пост-идеологическим, да и то нам уже навязывают другую монопольную идеологию, и по радио вместо Ленина славят Победоносцева. Конечно, они люди совсем разные, но оба более всего ненавидели парламентаризм и демократию, вот и выходит, что вывески меняются, а суть остается.

Профессор Витторио Страда, конечно, прав, когда говорит, что все эти семьдесят лет, время ссылки Бахтина, каторги Мандельштама, отлучения Зощенко и Ахматовой и многого другого, следует квалифицировать как время наступления антикультуры. Но, надеюсь, он согласится, что точно так же следует квалифицировать время ссылки Пушкина, каторги Достоевского, отлучения Толстого. И в давнее, и в недавнее время культура, нередко великая, рождалась и погибала под натиском обеих антикультур, боровшихся между собой, но одинаково рьяно насаждавших собственные порядки булатом. Оттого и невозможно просто вычеркнуть ни триста лет дома Романовых, ни семьдесят с лишним лет большевизма, невозможно объявить: это -- абсолютное добро, а то -- зло. Плодотворней задуматься о природе единого зла во вроде противоположных явлениях.

Войдем ли мы в Европу — решится не на заседаниях Международного валютного фонда. Пока мы не станем европейцами дома, пока не отделим хозяйство от государства, пока будем надеяться на порядок, наводимый булатом, не стоит рассчитывать на место в европейском доме.

Великий русский писатель говорил: если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Это ружье стреляло в Тбилиси и Вильнюсе, оно стреляет в Дубосарах и Дубровнике, и, судя по сообщениям телевидения, готово стрелять дальше. И покуда сила и угроза силой, угроза висящего над нами булата остается обыденным бытом, даже и в самом, быть может, красивом городе Европы, о едином европейском небе приходится только мечтать. Впрочем, об этом уже сказал великий поэт:

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

ЧТО ЗА СЛОВОМ?

С чего это Россия именуется своих интеллектуалов иначе, чем остальные страны, обозначает их особым русским, хоть и от латинского корня, словом «интеллигенция», — говорят, его придумал либеральный бытописатель Боборыкин? Александр Иванов не задается этим вопросом, хоть упорно -- и совершенно справедливо -- утверждает, что «интеллигенция — чисто российский феномен». А за время, протекшее между первой и второй его статьями, можно бы углядеть, что особенный этот феномен — не проявление нашей российской глупости, как уверяет пародист, что интеллектуальный слой и складывался в России иначе. Одно дело его постепенный рост в странах стоимостного хозяйства, где и абсолютные монархии, английская или французская, возникали в ходе социального компромисса. Другое — насаждение его в абсолютной монархии восторжествовавшей феодальной реакции, желавшей не уступить в чисто техническом, как тогда казалось, состязании. Петра I за многое бранят, но именно он развел интеллектуальную рассаду в крепостническом царстве.

У основания российской науки стоят такие грандиозные фигуры, как Леонард Эйлер, Карл Бэр, Михаил Ломоносов, разом приобщившие ее к европейским вершинам, ставшие российскими университетами. Подобное происходило и в искусстве. Живопись и литература как бы рождались заново, не озираясь на гениальность Рублева или Аввакума. Не будем уж говорить о великом русском балете. Восемнадцатый век начинает новый отсчет. Эта вроде бы произвольная, а на деле предопределенная давней, еще киевской и новгородской принадлежностью к Европе, реевропеизация никак не ущемляет национальное достоинство. Можно, напротив, лишь подивиться столь быстро занятому месту рядом с вчерашними учителями. А если равняться с Соединенными Штатами, проступают даже наши преимущества. Лишь в XX веке Америка начала обгонять Россию, причем во многом потому, что Америка принимала беженцев, а Россия понуждала бежать и ликвидировала замешкавшихся.

Интеллектуальный слой, который властям приходилось создавать, не слишком уживался с отведенными социальными рамками. Но его редко рассматривали как социальное целое. Задолго до А.Иванова иные сочли, что Софья Перовская — интеллигентка, а Софья Ковалевская — нет, Что Николай Кибальчич — интеллигент, а Николай Жуковский — нет. А всерьез-то невозможно даже сказать, что Андрей Желябов был интеллигентом, а Александр Романов не был. То-то и оно, что был. Не зря при нынешней любви к монархии и лично к Николаю II, вина которого перед Россией не стала меньше оттого, что его расстреляли без суда, а семью и челядь погубили и вовсе безвинно, об Александре II, тоже убитом без суда, но, сверх того все же давшем людям волю, законный суд и многое другое, нынешние монархисты и словечка доброго не говорят. А все ведь потому, что был интеллигент, воспитанник великого поэта. То, что царь казнил революционеров, а революционеры бросали бомбы в царя-реформатора, заслоняет от нас то, что и царь, и его убийцы, пусть совершенно по-разному, считали необходимым расстаться, наконец, с феодально-абсолютистскими порядками.

Жизнь интеллигенции была глубоко противоречива. И в Российской империи, и потом в Советском Союзе, даже при Сталине, создававшем циклопический ВПК, власти открывали школы и университеты, способствуя умножению интеллектуалов. По Иванову, им надлежало не отвлекаться от работы по специальности, трудиться «засучив рукава». Но так именно и трудились земские врачи, учителя, русские инженеры. Так трудились многие и после революции, часто за мизерную плату, куда меньшую, чем зарплата рабочего. Однако плоды труда зависят не только от прилежания труженика, но и от условий, в которых труд совершается, а труд российских интеллектуалов и до и после революции во многом оставался невостребованным и даже тормозился, отнюдь не только в гуманитарных сферах. Радио изобрел в Петрограде А.С.Попов, а телевидение — там же Б.Л.Розинг, но радиоприемники и телевизоры стали выпускать не у нас. В то время как в странах с буржуазными отношениями интеллектуалы, особенно после научно-технической революции, фактически составили особый общественный класс, класс пролетариев умственного труда, с которым общество считается, у нас они оставались подсобной, прикладной силой империй. Отсюда и невнятное обозначение «прослойка». Отсюда и пестрота российской интеллигенции.

Вспомнив, что двоюродными братьями Петра Никитича Ткачева, одного из самых страшных персонажей русской революции, предвосхитившего аморализм большевиков, были Николай Федорович Анненский, виднейший либеральный народник, ближайший сподвижник В.Г.Короленко, и Иннокентий Федорович Анненский, великий поэт, оказавший могучее влияние на поколение Ахматовой и Пастернака, мы поймем, что даже в кругу одной интеллигентной семьи нелепо говорить о единых действиях и общей вине. А если еще вспомнить, что от последователей Ткачева резко отличались последователи Лаврова, говорившего: «Мы не хотим новой насильственной власти на смену старой, каков бы ни был источник этой власти», — и последователи Льва Толстого, боровшиеся против зла всеми средствами, кроме насилия, мы убедимся, что речи о коллективной вине интеллигенции, и даже одной ее неконформистской части, не отличаются от обычного прокламирования коллективных вин. Сколько уже раз мы слышали, что в чем-то ужасном виноваты все дворяне, все кулаки, все казаки, все немцы, все евреи, все русские, все лица «кавказской национальности»! Но вина — понятие индивидуальное, и групповая ответственность наступает лишь там, где налицо сознаваемая причастность к организованной группе. Объяснение социальных процессов коллективными винами как раз и прячет действительные причины трагического оборота вещей.

Можно понять, что для Екатерины не было разницы меж Радищевым и Пугачевым — оба бунтовщики! Но даже не входя в то, что вину за бессмысленный и беспощадный бунт не свалить на одних бунтовщиков, обеляя тех, кто упорно противился мирным социальным переменам, не стоит забывать, что антифеодальные крестьянские восстания, покуда не прорезались буржуазные отношения, еще не содержали в себе коренной альтернативы феодальным порядкам. Тем более не могла она возникнуть в России, где феодально-абсолютистская реакция довела расцветшее только к востоку от Эльбы «вторичное» крепостничество до продажи людей с торгов. Восставшие крестьяне мечтали лишь о другой, доброй царской власти, и Пугачев выступал как ускользнувший от злой жены

добрый царь, но именно царь. Совсем другое дело Радищев, последователь французских просветителей, мечтавший о реальной альтернативе феодализму, о «вольности частной». Не нового Пугачева он жаждал и уж, конечно, не ГУЛАГ, а, напротив, разумных преобразований, способных снять угрозу новой пугачевщины, совершенно так же, как потом, декабристы не за одно лишь освобождение крестьян ратовали, но, тем самым, и за спасение дворянства от плодов многолетнего крепостничества, поздней воспоследовавших. Особенно не стоит это забывать и потому, что после Октября, на смену феодальным самодержцам, к власти пришли новые Пугачевы, подобно Емельяну Пугачеву, верившие, что несут народу свободу и благоденствие, хоть заводили они лишь неофеодальный порядок, выступавший под социалистическими знаменами с портретами Маркса.

Портрет Маркса тут не просто прикрытие, и сожительство марксизма с российской феодальной традицией было не случайным. Хоть мысли Маркса отнюдь не «бред», как выражается А.Иванов, и многие из них, в частности, материалистическое понимание истории, сохраняют свое значение и ныне, а в XIX веке они, конечно, пусть и односторонне, способствовали развитию социальной мысли и общественного сознания, нельзя не считаться с тем, что его теории складывались в атмосфере потерпевшей поражение буржуазной революции и несут на себе печать феодального мышления. Из-за этого в экономической теории Маркса лишь физический труд почитается истинным трудом, создающим стоимость, а умственный фактически лишен такой роли в общественном производстве.

Понимая, что именно машина позволяет рабочему повысить производительность труда, Маркс пренебрег интеллектуальным вкладом создателя машины в каждый производимый с ее помощью предмет, поскольку этот авторский вклад как бы компенсирован раз и навсегда за счет постоянного капитала. Но по мере возрастания технической вооруженности и темпов ее обновления такое отношение к умственному труду и интеллектуальной собственности все больше деформировало понимание социальных процессов и, в частности, установление реальных создателей прибавочной стоимости и установление тех, кому она на деле достается, что, в конечном счете, и привело страны, пытавшиеся сообразовывать современное производство с экономической теорией Маркса, к нынешнему кризису.

Она и была теоретической опорой подсобной, чисто исполнительской роли интеллектуалов в советском обществе, с которой далеко не все они мирились. Когда Сахарова, открыто осудившего вторжение в Афганистан, не бросили, как велел тогдашний обычай, за решетку, а «всего лишь» выслали в Горький, можно было подумать, что начальники все же сообразили, что этот беспартийный интеллигент умножает мощь их государства куда больше, чем все члены ЦК и маршалы вместе взятые. Но то был еще особый, чрезвычайный случай. Признать, что партия систематически подрывает ту силу, которой держится, у руководителей КПСС так и не хватило духа. Между тем деятельность Сахарова была не просто проявлением гуманизма, как объясняют нынче, но одновременно и практическим призывом к отказу интеллигенции от отведенных ей прикладных, обслуживающих функций и утверждению, ради спасения России, своих социальных прав. Понятно, какие чувства это вызывало у другого «нового класса», обозначенного М.Джиласом и потом описанного

М.Восленским, привыкшего, что людей образованных учат те, кто «гимназиев не кончали».

Во второй статье А.Иванов говорит: «Человеку надо дать свободу — экономическую, политическую, интеллектуальную. Он во всем разберется сам и выберет оптимальный для себя вариант». Я думаю совершенно так же, и спорить приходится лишь потому, что свободу, к сожалению, не дают. Не говоря уже о революциях, даже к реформам правителей России побуждали лишь катастрофы. Освобождение крестьян совершилось после поражения в Крымской войне, а гласность и перестройку провозгласили, когда безумная гонка вооружений ценой растраты и распродажи национальных богатств подорвала хозяйство страны. Сахаров и десятки других интеллигентов, рискуя собой, как раз и пытались утвердить мысль, которую ныне бесстрашно высказывает А.Иванов. Но, как известно, она не дошла и поныне не доходит до власть имущих.

«Хватит бороться, работать пора», — учит Иванов. Но не Чернышевский или Нечаев, а Иоганн Вольфганг Гете, поэт и министр, полагал, что «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Иванов, как некогда советские пропагандисты, уверяет, что нужды в этом уже нет, что «сегодня открыта дорога труженикам-профессионалам всех областей». Но это и сегодня не так, и чтобы успешно работать по специальности, интеллигент вынужден отстаивать, как общественную норму, условия своей продуктивной деятельности и, в частности, интеллектуальную свободу и права личности. В демократических странах многие свободы были уже отвоеваны буржуазией и рабочими. В России, где социальные перемены тормозились, интеллигентам и прежде приходилось ратовать даже за элементарные буржуазные нормы. Вот откуда общественные устремления российской интеллигенции!

Это не значит, что Маркс обозначился, и мессианская роль, приписанная пролетариату, принадлежит интеллигенции, и решать за всех надлежит ей. Ничего подобного. Рациональное социальное мышление ведет к отказу от всякого мессианства вообще. А.Иванов утверждает, что «лишь путь Лопахиных верен», и выговаривает Чехову за то, что тот «с явной неодобрительностью отнесся к Лопахину». Но Чехов не столь примитивен. Это ведь Лопахину Петя говорит: «У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа». Это ведь Лопахин, единственный, спрашивает, не остался ли кто в доме, который запирают, но ответа не получает, поскольку никто больше этим не интересуется. Это ведь Лопахин то и дело подсказывает, и весьма настойчиво, как спасти имение, и предостерегает, что на торги приедет богач Дериганов. И отнимает он имение не у Раневской и Гаева, а у Дериганова, который «сразу сверх долга надавал сорок». Чехов не коллизию ставит под сомнение, а демонстрирует, что она проделывает с душами.

Конечно, в экономическом смысле путь Лопахина верен. Но вопреки Иванову, не только Лопахин «обеспечивает благоденствие трех четвертей населения». То-то и оно, что не только, не сам по себе любой предприниматель, но взаимодействующий в демократическом обществе со свободным, а не прикованным к государственной монополии, рабочим, со свободным, а не батрачащим на помещика или председателя крестьянином и все больше и больше со свободным интеллигентом, не исчерпываемым «образом Пети Трофимова»! Я тоже убежден в

необходимости частной собственности, но не потому, что она сама по себе все и всех «обеспечивает», а потому, что, в отличие от монопольной государственной собственности, приводящей к всеобщему рабству, она оставляет место для активной самостоятельной деятельности всех слоев общества и подвижного социального компромисса, поддерживаемого подлинно представительной системой, которой в России не было и нет.

Иванов пишет: «Общество, в котором счастливы все, — утопия», — и вроде бы опять прав. Но опять он не хочет задаться вопросом, почему эта утопия манила в XX веке не только горстки интеллигентов, но и миллионы простых тружеников. Когда слова другого Иванова, Вячеслава, о том, что в Канаде и Швеции построен социализм, Александр Иванов называет вздором, он лишь демонстрирует, что свое представление о социализме как непременно государственном хозяйстве, российском или китайском, он заимствовал из советской пропаганды. Между тем все не так просто.

Развитие производства уже во второй половине XIX и особенно в XX веке сопряжено со столь резкими колебаниями и поворотами, что отдельному человеку то и дело грозит утрата его статуса, а одними собственными силами застраховаться невозможно. А.Иванов согласен помочь детям, старикам и инвалидам. Но в том-то и дело, что в положении и тех, кто, как он выражается, «хочет, но не может», в силу объективного хода вещей сплошь и рядом оказываются здоровые, квалифицированные и жаждущие работать люди. Не только милосердие, но и чувство социального самосохранения удерживает западное общество от того, чтобы, по призыву А.Иванова, бросить миллионы нуждающихся на произвол судьбы из-за того, что в их ряды проникают десятки дармоедов. Не говорю уж о нужде в просвещении и здравоохранении, не сводящейся к личным интересам учащихся или больных.

Система социальных гарантий, не идентичная полицейскому государству, да еще государству — монопольному производителю, а прямо противоположная ему, как раз и представала европейцам как социалистический идеал. Не случайно в странах, где такая система складывается, не остается места для массового большевизма. Не случайно главным врагом коммунизма советского образца в Европе были не консервативные и даже не фашистские партии, а социал-демократические и либеральные, да и в России большевики не случайно ополчились прежде всего на меньшевиков. Конечно, на Западе возобладала не утопическая общественная формация, примысленная Марксом, но там уже и не тот капитализм, против которого боролся Маркс.

Интеллигенция не по глупости стоит за общество социальной защиты, а потому, что сама природа интеллектуального труда предполагает правовое равенство, в нем нет ни царских троп, ни избранных народов, ни избранных классов. Он невозможен без признания правомерности отличного от себя — другого человека, другого сословия, другого народа, другой религии. Он невозможен без терпимости, без либерализма, и не только с единомышленниками, но именно с инакомыслящими, с идейными противниками, не хватаящимися, понятно, за дубинку, то есть невозможен без того, что в России принято называть интеллигентностью.

Конечно, примера тут не подают, ни, с одной стороны, Победоносцев или Леонтьев, ни, с другой стороны, Нечаев или Ленин. Но, вспоминая Владимира Соловьева, Владимира Короленко, Георгия Федотова и многих других, мы видим в них не просто интеллектуалов, людей прикладного

умственного труда, но именно интеллигентов, и связываем их деятельность с либеральными, если не демократическими идеалами общественного бытия.

Попытка партokratической верхушки взять в августе 1991-го реванш за перестройку была чревата новой революцией. Мы не знаем, состава участников обороны Белого дома, но уже то, что из трех погибших двое были интеллигенты, позволяет догадываться, сколь высок там был их процент. Увы, надежды этих людей не сбылись. Президент СССР и не подумал тотчас провести прямые выборы в новое Учредительное собрание, распустив двухступенчатый парламент. Президент России тоже не сделал этого и не предложил сразу принять закон о земле, который стал бы залогом реальных экономических реформ. Была лишь приостановлена деятельность КПСС и обязательность коммунистической идеологии, что побудило слепцов в России и за рубежом радостно вопить о конце коммунизма. Однако абсолютистская хозяйственная монополия, переодевшись, в основе своей осталась прежней, а интеллектуалы возвращены к прикладному назначению.

Можно, конечно, снова «с гордостью считать себя обывателем». Обыватель — это и есть обыкновенный человек, живущий простой жизнью, и, слава Богу, если можно так жить. Но если, возгордясь своей простотой, обыватель хочет так же просто объяснить и устроить все в мире и весь мир, он приходит к голосованию за Жириновского с его простыми рецептами. Вот воротит господин Жириновский Финляндию в лоно Российской империи да, может, еще восстановит бани с женской прислугой, и будет хорошо как при царе-батюшке! Так рассуждают нынче многие, не видя, к чему это ведет. Но пусть даже А.Иванов вычеркнул Жириновского самой жирной чертой, он остается, сколько ни отрекался, в одной компании со вторым из братьев Ульяновых, самые слова «интеллигентский», «интеллигентщина» обратившим в бранные и порочившим интеллигенцию с той же страстью, что и наш одаренный пародист. Аргументы, конечно, были другие, но именно Ленин, разогнав Учредительное собрание, оборвал в январе 1918 года либеральную традицию, начатую Новиковым и Радищевым. Так стоит ли снова её подрывать? Она ведь еще и не воскресла. Ещё не произошло ничего необратимого, и спасение России все еще зависит от того, будут ли наши интеллектуалы интеллигентами.

ИЗМЕНА РОДИНЕ

События 19 августа трактуются у нас по преимуществу как криминальные. Их называют путчем, заговором. Иногда, пытаясь объяснить криминалистические загадки, называют инсценировкой. Гадают, какую роль играл Горбачев, какую Ельцин, и выясняют, сознавали ли заговорщики, что их подбили устроить заговор, чтобы, подавляя его, погубить вернейших людей партии и государства. Но как-то плохо верится, что Крючков с Лукьяновым столь наивны, чтобы угодить в расставленную ловушку. Версия инсценировки была бы правдоподобна, сводись дело к бедняге Янаеву, проштрафившемуся по пьяному делу, а так она даже чисто психологически невероятна. К тому времени, когда читатель получит журнал, быть может, начнется и, возможно, окончится суд, но, покуда иное

не доказано, будем исходить из официальной версии событий, хоть есть в ней загадочные пробелы и странности. О них и будем думать.

Главная странность в самой этой криминальности, в том, что вице-президент, премьер-министр, председатель парламента, не говоря уж о главах военного и полицейского ведомств, разом обвиняются в измене родине. Нам, правда, не привыкать. Задним числом мы всегда узнавали, что нашу советскую родину от победы к победе вели ее злейшие враги, позднее разоблаченные, начиная с того, что революция и гражданская война выиграны под водительством первого ненавистника социализма Троцкого. Да и сама партия большевиков тогда состояла, как после выяснилось, из врагов революции и предателей социализма, и в большинстве своем дожившие до тридцатых годов ее члены были уничтожены в сталинских лагерях. Никакие индивидуальные реабилитации и признания отдельных "ошибок", сколько бы их ни было, это общественное явление — ликвидацию советским государством своих создателей — уже не отменяют.

Да и Сталин, хоть связи его с охранкой остались на уровне пусть авторитетных свидетельств, но не бесспорных доказательств, тоже, как обнаружилось на практике, был врагом родины и революции, нанеся и той и другой неизмеримый ущерб. Хрущев, разоблачивший Сталина, оказался хоть и не врагом народа, но безответственным волюнтаристом, Брежнев, как выяснилось, даже и уголовно не безгрешен. Всю эту информацию, сперва, конечно, "клеветническую", потом подтверждали официально, и не удивительно, что противники режима часто объявляют все советское руководство с Октября 1917 года просто бандой уголовников, мафией.

Скажем сразу, это неверно. Но понять, что это неверно, можно лишь осознав подвижное разнообразие социальных сил, влиявших на судьбу советского государства еще до Октября и до Февраля. Силы, победившие в Октябре, наводя тень на плетень, любили демонстрировать свое нерушимое единство даже тогда, когда одни казнили других, отсюда и вера в то, что стоящие у власти — исполнители воли народной, а низвергнутые или к власти не допущенные — враги народа, изменники родины. Как сказано, "Мятеж не может кончиться удачей, — В противном случае его зовут иначе". "За" и "против", "красные" и "белые", "наши" и "вражеские" — в эти антитезы с давних пор у нас втискивали все и всех.

Раскручивая августовские события, стоит для начала задуматься, почему вчерашним руководителям страны опять предъявили обвинение в измене родине. Не потому ли, что государство как было, так и осталось тоталитарным и боится самоанализа?

Слов нет, изоляция президента и ввод танков на столичные магистрали — преступны, виновных следует привлечь к ответственности, тем более что погибли люди. Можно даже поговорить о моральной измене гэкачепистов Михаилу Сергеевичу, которому все они лично обязаны своими должностями. Однако персональные обвинения в измене родине, предъявляемые широкому кругу лиц, еще вчера стоявших у власти и ее олицетворявших, нуждаются в объяснении. Можно, опять же, перевалить вину на тех, кто их к власти привел, и этим еще больше расширить круг изменников. Но верней осознать, что бесчисленные обвинения такого рода вызваны неправомерным отождествлением родины и государства.

Естественное чувство привязанности к родной земле, к ее ландшафтам, к людям, ее населяющим, к ее культурным, в том числе

трудовым традициям, у нас искусственно переносится на государство, на политический институт, своими органами и установками осуществляющий на ландшафтах родины власть. Немецкие поэты-романтики писали о красоте своей родины, когда она еще была разделена на тридцать шесть государств. Русь обрела единство в борьбе против иноземного ига при Василии III, отце Ивана Грозного, но это наше преимущество стерло в сознании людей различие между страной и правящими ею политическими институтами. Феодално-абсолютистское государство отождествляло с родиной себя, лишая угнетенные сословия права говорить от ее имени. То же самое делало и советское тоталитарное государство. Изменниками родины объявляли и Андрея Курбского, и Федора Раскольникова.

На деле, однако, и за Грозным, и за Курбским, и за Сталиным, и за Раскольниковым в родном краю были сочувствующие, и еще немало было сочувствующих совсем другим людям, другим общественным тенденциям. Но абсолютистское государство, в отличие от демократического, и прежде, и потом, не соотнобразывалось с многоголосием родины и насилием заглушало неудобные голоса. А когда новые узурпаторы интригами или силой занимали места предыдущих, они тоже пуще всего держались за свое монопольное право говорить от имени родины, а говоривших и делавших другое предшественников неизбежно провозглашали отступниками, изменниками.

Гэкачеписты явно нарушили установленные порядки, они лгали, что президент болен, когда он был здоровехонек, да еще использовали армию не по назначению, — состав преступления налицо, но квалификация этого преступления как измена родине, совершенная отдельными людьми, в ней обвиняемыми, означает, что наша страна не переменялась, что и после 21 августа она, вопреки уверениям, не стала другой, а все та же самая.

К тому же 19 августа не просто кучка заговорщиков пыталась захватить власть — они и так стояли у власти, — но исчерпала себя политика, именовавшаяся перестройкой. Потому гэкачеписты повернули вспять. Еще ведь за год до них попятное движение начал зачинатель перестройки Горбачев. Весной 1991 года, когда гэкачеписты атаковали его в Верховном совете, он сам предлагал ограничить свободу печати, главное детище перестройки. Невозможно понять, почему силы попятного тяготения сели на танки, если не разобраться в расхождениях, которые могли вдруг разделить их с Горбачевым, уже год их поощрявшим.

I

Надежда на перестройку исходила из предположения, что кризис советского хозяйства, разразившийся в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, можно преодолеть сверху. Горбачев олицетворил эту надежду. Но что надлежало преодолевать, что породило кризис? Ведь наше хозяйство и в кризисные годы достигало фантастических результатов в создании новейшей военной техники. Зло коренилось в том, как, учитывая к тому же нашу более низкую, чем у конкурентов, производительность труда, эти успехи достигались. А достигались они непомерной растратой природных ресурсов богатейшей страны и чудовищной растратой ее людских ресурсов. Нескончаемая растрата и привела в конечном счете к кризису всего хозяйственного механизма.

Результатом могущества стала нищета, и выйти из кризиса можно было лишь радикально изменив общественные отношения.

Однако правящий слой и после Сталина, по сей день сопротивляется изменениям. Он отверг принятую было в середине шестидесятых "косыгинскую" экономическую реформу и растоптал пражский "социализм с человеческим лицом" стремившийся к сообразности не только с волей партии, но и со стоимостью производства. Первые шаги Горбачева преимущественно вели еще только к облегчению груза, лежавшего на стране, к отказу от силового удержания внешнего имперского пояса из так называемых социалистических стран, к прекращению афганской войны и международным соглашениям, позволявшим не так быстро наращивать военные расходы. Успех был несомненен, однако не затрагивал внутренние первопричины кризиса, продолжавшие действовать.

Надо было кончать с монопольным характером хозяйства, отделить его от государства и установить сугубо экономические отношения между хозяйственными единицами. "Революция сверху" позволяла сделать это путем социального компромисса, не переворачивая все хозяйство на противоположное разом, а так, как это было при переходе западных стран от феодализма к капитализму, так, как это намечалось у нас в 1921 году или происходило в Венгрии, где вскоре после подавления восстания 1956 года Янош Кадар начал внедрять стоимостные отношения.

Теоретически задача состояла в том, чтобы на достаточно длительный срок наладить компромисс — параллельное существование двух хозяйственных систем, советской, внеэкономической, и другой, стоимостной, состоящих между собой в эффективности. Этому, однако, препятствовала нигде и никогда прежде не виданная абсолютизация у нас внеэкономической системы, в 1985 году настолько всеобъемлющей, что всякая попытка независимого хозяйствования при ней, если это хозяйствование не являлось лишь проявлением теневых тенденций системы, была обречена.

Для проведения необходимых реформ требовалась поддержка правящего слоя. Но, вопреки широкоуслышанным заявлениям, что перестройку начала партия, Горбачев ее поддержки не получил и стал искать выход в демократизации партийной жизни. Внутрипартийная демократия могла бы поставить партийных руководителей среднего звена, как раз наиболее консервативных, в зависимость от рядовых партийцев и тем ослабить торможение реформ. Но рядовые коммунисты в большинстве оказались сторонниками прежней системы, разве что без фундаменталистских излишеств. Низовые ячейки в массе пошли не за генсеком, а за секретарями райкомов. Удивляться не приходится. Не говоря покамест о прочем, как раз райкомы всегда и владели рычагами коммунистического послушания и могли воспользоваться ими против генсека, вынужденного видеть вещи более близкими к реальности, чем секретари райкомов.

И тогда Горбачев совершил исторический шаг, впервые после разгона Учредительного собрания пойдя в 1988 году на то, чтобы отдать пусть скромную, пусть ограниченную, пусть подконтрольную, но все же какую-то роль в решении судеб страны народу, избирателям. После XIX партконференции оформилась политическая цель перестройки — переход от произвольного, волевого партийного управления к управлению хоть по-прежнему внеэкономическому, но государственному, кодифицированному

правилами, оформленными как законы. Открывая в конце мая 1989 года первый съезд народных депутатов, Горбачев признался, что "перестройка идет тяжело", но то был ее звездный час.

Уже в этот час ощущался предел, которого инициаторы перестройки переступить не хотели, — оттого и отвергли предложение Сахарова принять декрет о власти, то есть фактически преобразовать съезд в новое Учредительное собрание. Господствовали шестидесятилетние иллюзии, будто разумная политика верхов способна подменить самодвижение низов и всего общества. Реформы активно обсуждались, но не осуществлялись. Между тем, чтобы наладить параллельное существование двух хозяйственных систем, государственной и частной, в том числе и групповой, нужно было учитывать, что первая из них, господствующая, держалась на искусственной сбалансированности произвольно декретированных цен и произвольно декретированных зарплат. Чтобы она могла соревноваться со стоимостной системой, требовалось восстановить в самом государственном секторе стоимостные отношения и, пусть даже с помощью открытых субсидий на какое-то время, практиковать адекватные цены и зарплаты, что было бы, конечно, не просто. Но чем дальше реформы откладывались, чем дальше заходила инфляционная политика правительства Рыжкова, тем сложнее становилось реформирование государственного хозяйства, поскольку его разрыв с реальностью все увеличивался, и это делало неотвратимым обвал — то ли взрыв, то ли шоковую реформу, а если тянуть слишком долго, и то и другое разом.

Однако правящий слой, точь-в-точь как до 1917 года, закрывал на это глаза, не желая даже компромисса, чтобы не поступиться ничем. Переход к стоимостным отношениям грозил не только покончить с конкретным партийным руководством, от которого Горбачев готов был отказаться, но, считаясь с реальностью в перспективе пришлось бы сокращать общее руководство государства хозяйством, которую Горбачев отдать не хотел.

А главное, при переходе к стоимостным отношениям с их объективными критериями стало бы невозможно гарантировать участие в правящем слое. Позиция в "номенклатуре" потеряла бы значение, как потеряло его аристократическое происхождение в буржуазном мире. И при самых диких формах приватизации и присвоения номенклатурой в частную собственность общественного имущества, за счет которого она и так дотеле жила, этим людям пришлось бы сохранять и приумножать награбленное уже на легальных путях, на что далеко не все они способны.

Упрямство правящего слоя, его нежелание признать объективную необходимость перемен, стремление избежать стоимостных отношений даже при открывающейся возможности социальной переориентации, сводили на нет постепенный "кадаровский" путь. Поэтому от реформ требовалось все больше и больше радикальности, но именно это делало их все более неприемлемыми для правящего слоя. Горбачев, как его лидер, не рискнул порвать с партией, под водительством которой страна уперлась в тупик, и обратиться за поддержкой в проведении реформ к народу, как потом на словах сделал Ельцин. Нет другого убедительного объяснения тому, что Горбачев отверг проект Явлинского-Шаталина, который, по его собственным словам, нравился ему больше, и предпочел гнавший зайца дальше проект Рыжкова, а вскоре еще заменил хотя бы внешне мягкого, пусть и упрямого, Рыжкова грубым и лживым Павловым.

Не стоит, однако, сводить неудачу перестройки к личным просчетам или слабостям Горбачева, который пытался строить новое, опираясь исключительно на старые партийные кадры, перемещая партийных функционеров в государственный аппарат и депутатский корпус, в результате чего привычные методы партийной работы продолжали применяться и тормозить перемены. -

Ведь коммунисты заняли руководящие позиции не только рядом с Горбачевым, но и в новых, начавших возникать партиях. Не только лидер "Демократической России" Афанасьев или лидер Демократической партии Травкин, но и лидер Христианско-демократической партии Аксючиц в прошлом был коммунистом. А покровительство так называемых правоохранительных органов национально-патриотическому фронту "Память" — тоже не тайна. Если прежде в КПСС бесшумно уживались сторонники национал-социализма, госкапитализма и социал-демократии, то теперь внутренние разногласия вышли на свет. Получили право на гласное изъяснение схожие позиции, прикрытые иными идеологическими знаменами. Но для подлинно демократических взглядов публичность осталась ограниченной. Примечательно, что среди лидеров новой волны фактически, кроме Сахарова, диссидентов не было, никого из них к власти не допускали. Не допускали даже людей, просто сочувствовавших демократическому движению, прежде чем оно стало официальным.

Наша демократизация, разумеется, предоставила некоторый выбор, но из весьма ограниченного набора политических фигур, среди которых подлинных демократов, проявивших себя таковыми еще до перестройки, фактически не оказалось. Улюлюканье Сахарову отражало не только личную неприязнь или партийный сигнал, но преобладающее среди депутатов желание не допустить независимую оппозицию. Связанность нынешней власти с прежней и само по себе коммунистическое происхождение новых политических деятелей, не исключая ярких антикоммунистов и даже православных монархистов, сдерживали реальную дифференциацию политических партий.

Реформы понимались как предмет не столько даже социальной, сколько хозяйственной инженерии, и совсем не как способ гармонизации социальных интересов разных слоев общества. Сущностные проблемы преобразования хозяйства и создания социальных гарантий не стали предметом общественной борьбы. Власть решала их по своему усмотрению, и тем упорней, не желая, конечно, того, толкала как к единственной надежде к национальному самоопределению. Социальный кризис, который не торопились решать как общий кризис государства даже по сугубо унитарной, имперской программе Явлинского, неминуемо перерастал в кризисы национальные уже потому, что упрямство центральной власти перед лицом обвала побуждало каждого преодолевать кризис самостоятельно. Каждого человека и каждый народ.

II

Становление стоимостного хозяйства и развитие регулирующего его рынка обычно базируется на национальном хозяйстве и национальных лозунгах. Так было в первых буржуазных государствах, начиная с Нидерландов, возникших в ходе национально-освободительной борьбы против испанского владычества. Так было и в западных абсолютистских

государствах, в Англии и Франции, складывавшихся в ходе компромисса феодальных и буржуазных начал.

А государства, держащиеся преимущественно на внеэкономических опорах, сплачивались не национально-хозяйственными, а идеологически-административными скрепами. Так бывало и в древних империях, вбиравших в себя самые разные народы. Так было в абсолютистских государствах, созданных феодальной реакцией. Такой же примат идеологии ныне присущ государствам феодального социализма..

Начавшийся у нас переход к стоимостным отношениям уже сам по себе стимулировал национальный подъем и национальные противоречия там, где внеэкономическая власть их прежде вроде бы глушила.. Под сомнение были поставлены не только "социалистические принципы", но и дальнейшее существование многонациональной державы, продлившей под социалистическим флагом жизнь феодально-абсолютистской Российской империи. Отказ от экономического реформирования унитарного государства лишь усугубил национальные противоречия.

Центр страшился их больше, чем даже хозяйственного кризиса, поскольку они угрожали самому существованию внеэкономического наднационального центра. Положение обострилось, когда суверенности захотели не только бывшие колонии, но и собственно русская земля, ущемленная имперским правлением не менее колониальных.

Парадоксальность Российской феодальной империи, ее отличие от империй буржуазных, вроде Британской, издавна проявлялась в том, что она не только не слишком подкармливала народ метрополии за счет колониальных приобретений, достававшихся правящему слою, но часто еще накладывала на этот народ дополнительный груз по расширению и охране империи. Никуда не уйти от того, что параллельно расширению Российской империи до северных и южных морей и Тихого океана в ней нарастал феодальный гнет, возникло и ожесточалось крепостничество, то есть рука об руку шли покорение чужих земель и нарастание в русских землях феодальной реакции. И на русский народ под знаменем имперского патриотизма взваливались особые тяготы, чтобы феодально-социалистическое государство "не поступалось принципами" и "строило социализм". Русских солдат посылали умирать и в Финляндии, и в Венгрии, и в Афганистане. И на русский народ ложилась вина за бедствия других народов, хоть он нищенствовал не менее других.

Народное сопротивление нарастало, однако, по-разному. Одни русские, следуя феодально-имперским идеалам, стремились обрести преимущества, подобных тем, какие народы метрополий имели в буржуазных империях. Этот имперский идеал в технотронном мире уже недостижим, не зря буржуазные империи распались. Да и откуда феодальной империи обрести иную опору, кроме насилия? Имперский идеал оправдывал привилегии правящего слоя, отождествлявшего себя на словах с народом, и ради этого любившего рассуждать о патриотизме, в котором любовь к родине фальшиво отождествлялась с любовью к империи. Эта имперская шовинистическая тенденция изъясняла себя при Сталине публично, хоть и не во всем откровенно, от лица КПСС.

Иной была демократическая тенденции к самозащите русского народа, лишь с перестройкой и гласностью обретшая публичное выражение, хоть в народном сознании антиимперские настроения пробивались всегда. Демократический идеал — это, прежде всего,

освобождение русского народа от имперской ноши и создание на русских землях русского демократического государства, не ищущего имперского величия, которое, как жизнь показала дважды — при самодержавии и при советской власти — несовместимо с народным благодеянием, с тем, чтобы каждый на Руси обрел свободу, права и возможность достигать благополучия своим трудом. Понятно, такой идеал предполагает за другими исторически сложившимися национально-территориальными образованиями право на выход из империи, то есть, отделение от Союза и от России. Но признание этого права давалось не только союзным, но и российским властям не просто. Обозначившееся в противостоянии наднационального союзного центра и России противоборство двух тенденций русского национализма, шовинистической и демократической, не прошло. Если сторонники первой жаждут любой ценой, даже насилием, удержать автономии, то сторонники второй больше опасаются повторения в РСФСР трагической ситуации, которая обрекала "первый среди равных" народ на бесправие и нищету в Союзе. К тому же, стремление российских властей к собственной державности, к "неделимости" России, и территориальные претензии к другим союзным республикам, вынуждают тех опасаться России и вспоминать о союзном центре как об опекуне более слабых республик. Но в том и парадокс, что Союз с годами всё меньше был их опекуном и все чаще лишь "тащил и не пушал". Его привыкли звать страной, единой страной, не желая считать, сколько разных стран он в себя вобрал, и удивляются, что получив возможность выказать свои стремления, эти страны, стремясь к независимости, ощущают там, где на их права поныне посягают в традициях Российской империи и Советского Союза, враждебность к России.

Советский Союз, вопреки своему названию, всегда был унитарным устройством, от этого не отказались и новейшие проекты с единым президентом, единым парламентом и единым судом. Претензия России на некоторый, еще далеко не полный, суверенитет создала ощущение двоевластия. А.Ципко утверждал: "Противоречие двух властей в центре, двух русских властей, так и не разрешено до сих пор". Теоретически можно спорить, считать ли союзную власть русской, хоть практически оно, конечно, так. Но и российской власти, коль скоро Россия федеративна, надлежит быть не только русской, с чем тоже не соотнобразуется практика.

Есть, конечно, различия в мере теоретической "нерусскости" обоих. Если унитарный Союз предполагает русскую власть над страной, где русские составляют лишь половину, то русская власть над Россией, где они составляют четыре пятых, более правомерна, хотя и здесь автономии с преобладающим нерусским населением тоже хотят самостоятельности. Но спор между двумя русскими властями лишь на первый взгляд шел о мере таких претензий, в России легче разрешимых и меньше мешающих удержать ее целостность, особенно если образовать в составе федерации, наряду с другими, и самостоятельную русскую республику. Однако и подлинный Союз был бы полезен всем республикам, не исключая, пожалуй, и прибалтийских, будь он добровольным, без наднациональной русской власти центра, без единого президента, единого парламента и единого суда, лишь с координационными экономическими органами и взаимно сбалансированной внешней политикой.

После провозглашения Украиной независимости Ельцин, Кравчук и Шушкевич договорились о создании содружества своих республик,

открытого для присоединения остальных, и официально объявили, что СССР более не существует, и его законы на территории трех славянских республик уже не действуют. Местопребыванием учреждений нового содружества независимых государств они провозгласили Минск, сразу обозначая, что оно не будет связано с московской централизаторской бюрократией. Соглашение позволяет республикам, обретая независимость, не рвать сложившиеся за десятилетия, а порой и за века, разнообразные связи, полезные всем. Республики смогут не отдавать решение своих проблем на усмотрение наднационального центра, а затрагивающие всех решать *сообща*.

Однако и сегодня нет уверенности, что исторические решения трех будут без сопротивления приняты сторонниками прежнего централизма. Летом и Ельцин еще не возражал против центральной союзной власти, Горбачев же готов был к учету воли республик, не претендуя на полную унитарность. Даже если к трем присоединятся остальные и СНГ охватит всю или почти всю территорию прежнего СССР, спор о централизме не снимется, а продлится в новых формах. Во всяком случае, позиции президентов СССР и РСФСР не сосредоточивали вокруг себя всех русских, что и не позволяло установить единую русскую власть, о которой пекся А.Ципко. Избрание Ельцина президентом России предопределило ее двойственность, ненавистную консерваторам.

Горбачев, реальный политик, не мог не считаться, хотя бы временно, с объективностью двоевластия. Это и привело его в Ново-Огареве к новому союзному договору с уступками республикам, которые договор позволял в будущем отыграть по очкам. Можно предположить, что альтернатива событиям 19 августа могла состоять в том, что, подписав 20 августа ново-огаревское соглашение, Горбачев, целый год собиравший вокруг себя будущих гэкачепистов, в конце той же недели на собравшемся уже Верховном совете законным порядком провозгласил бы чрезвычайное положение, не выводя войска на улицы Москвы, и едва ли его указ, утвержденный парламентом, вызвал бы столь бурный протест, чтобы чрезвычайное положение отменить, как бы оно ни возмущало.

Так можно ли думать, что Горбачев добровольно предпочёл такому варианту предложение гэкачепистов? Конечно, расследование способно изменить наши представления о происходившем в Форосе, способно, быть может, точнее очертить средства воздействия, применявшиеся ГКЧП, и даже показать, что президент хоть и не согласился поддержать своего вице-президента и министров, но и не воспользовался своей властью, чтоб им противодействовать. Все это важно для суда, для определения виновных и виновности. Однако вряд ли кому-либо удастся показать, что инициатором преждевременного объявления чрезвычайного положения был Горбачев. А ведь именно этой преждевременностью предопределена противозаконность, именно из-за нее вывели на улицы войска, призванные придать подписи вице-президента авторитетность подписи президента.

Таким образом, ключ к объяснению происшедшего 19 августа в постижении того, зачем нужна была такая поспешность? Да затем, что в понедельник ново-огаревский союзный договор стал бы свершившимся фактом. Отказаться от договора Горбачев не хотел, а сразу восстановить прежнюю безграничную власть центра над республиками не мог, вот гэкачеписты и взяли это на себя, отодвинув президента не без надежды, быть может, напрасной, что, когда дело будет сделано и страна вернется к

беспрекословному повиновению, вернется на свое место и президент Горбачев, столь же талантливо, как прежде, отстаивая в стране и мире интересы своего общественного слоя, но став покладистее.

Заговор не был направлен лично против Горбачева, я верю Крючкову и Язову. Эти посредственные люди не могли не ощущать, что имели дело с человеком более одаренным. Даже когда этот человек стал, на их взгляд, мешать делу, которому они служили вместе, они лишь оттеснили его на время, отнюдь не желая его физически устранить, да это было бы и политически не в их пользу. Если Раиса Максимовна в Форосе опасалась худшего, это свидетельствует лишь о том, что она, как всякий советский человек, сознает опасность, постоянно висящую над каждым из нас.

Итак, корень событий в том, что Горбачев, по понятиям гэкачепистов, слишком отступил от абсолютного всевластия и готов был, пусть временно, отдать, пусть ничтожную, часть власти Ельцину, Назарбаеву, Кравчуку и прочим. Конечно, трудно утверждать, что разлад произошел по сугубо идейным причинам, и возможно, единство сломалось на том, что Горбачев — выдающийся тактик, а они — лишь столпы государства и не мыслят его иным как абсолютным, тотальным. Но так или иначе танки вышли на улицы потому, что люди, едущие по этим улицам в черных "чайках", не желали и в малости зависеть от мнений и чувств людей, живущих на этих и других улицах, едущих в метро и троллейбусах и ходящих пешком.

III

События 19 августа сопоставляют то с низвержением Хрущева, то даже с Октябрьской революцией. Никто, однако, не сопоставил их с неудачей "антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича", а напрасно. Октябрь, как к нему ни относиться, все-таки был выступлением антигосударственным, не без анархистского порыва, который потом укрощали. Солдаты и матросы нарушали приказы своих командиров, арестовывали их. Большевики арестовали законное правительство. Между тем и в августе 1991 года и в 1957 году заговорщики сами были правительством и отстраняли хотя и первую, но оставшуюся в явном меньшинстве среди верховных правителей фигуру, готовую пойти на уступки идейным противникам, на отступление от "принципов". О заговоре 1957 года мы знаем мало, не исключено, что он вообще не замышлялся предварительно и был лишь общим выступлением против Хрущева на заседании политбюро большинства его членов.

Молотов с Маленковым, Нина Андреева с Кургиняном и Невзоровым или Лукьянов с Павловым и Баклановым в одном были правы: абсолютная власть остается абсолютной лишь пока не поступит хотя мельчайшей своей частью. Она может помиловать, может на миг подобреть, но она не может никому отдать право хоть что-то решать по своему усмотрению, даже на время, даже для вида. Другое дело, что абсолютная власть государства пожирает родину, уничтожает ее богатства, губит ее прошлое и будущее. Но ведь помянутые лица и не скрывали, что не вся родина, не все ее народы, не все общественные слои, не все люди их занимают, а именно и только "наши", свои. Признаки для определения "наших" могут меняться, вчера это были пролетарии с трудовыми мозолями, сегодня — чистокровные русаки, до седьмого колена не замаранные примесями чужой крови, завтра — еще кто-нибудь, это не важно. Важно, что, как

объявил французский король: "Государство — это я" — так и "нашисты" изначально объявили: "Государство — это мы", — и указывали места остальным, Мольеру ли, Сахарову ли. Места для "ненаших" аппарат определял четко: кому прописка в Москве, кому за сто километров, кто выездной, кто невыездной, кому учиться в московском университете, а кому, будь он семи пядей во лбу, это не положено. Пока кризис не напирал, "нашистская" государственная машина работала безотказно, да и страх перед ГУЛАГом срабатывал. Но изредка, как в Новочеркасске, все же стреляли в народ. В наши бурные дни войска входили в Тбилиси, в Баку, в Вильнюс, в небольшие города, это изображали исключением. ГКЧП был вполне откровенен, вывел войска на улицы столицы, обнажив "нашистскую" природу своей государственности.

Но именно танки в городе, еще до обращения Ельцина к народу, побудили тысячи москвичей двинуться к Белому дому, а это, в свою очередь, как предвещание массового кровопролития в столице, советской площади Тяньаньмынь, делало неизбежным проигрыш заговорщиков в глазах мирового общественного мнения и предопределило их капитуляцию. Они надеялись взять на испуг, а оказалось, что войска на улицах Москвы производят противоположный эффект, демонстрируя противозаконность действий власти и тем побуждая граждан, за шесть лет изменившихся, чего Крючков и впрямь не учел, выступать в защиту законности, а не просто в защиту Горбачева или Ельцина.

Действия ГКЧП также показали, что в августе 1991 года сторонников возвращения страны к 1985 или даже 1982 году в городе немного, на улицы они не вышли даже под защитой танков. Вернувшись из Крыма, Горбачев говорил на пресс-конференции еще так, словно происшедшее не имело политического содержания, однако на следующий день в Верховном совете РСФСР он уже искусно отстаивал свои наднациональные стремления и закреплявший их роспуск съезда народных депутатов СССР провел с присущим ему блеском. А вскоре выяснилось, что за ново-огаревские соглашения, конечно весьма расширенные, выступает не только проигравший, казалось, Горбачев, но и победивший Ельцин. После событий 19 августа к независимости всерьез продвигались лишь прибалтийские республики, а Россия до 8 декабря шла на соглашение с наднациональным центром и, пусть на лучших условиях, признала его власть, видимо, опасаясь, что иначе рухнули бы имперские структуры не только Союза, но и России.

Иначе не объяснить, почему после победы, после демонстративного отстранения фундаменталистских сил от власти, оформленного как запрет КПСС, так ничего и не делалось для немедленных хозяйственных реформ, а кризис все углублялся. Центральное руководство с поразительной стойкостью продолжало бездействовать. Но не только прибалтийским республикам пришлось думать о спасении населения. Ельцин тоже был вынужден заговорить о реформах, однако лишь через два месяца после событий. И заговорил он точь-в-точь как некогда Горбачев с Рыжковым, расплывчато, половинчато и, главное, тоже сваливая тяжесть перемен на плечи населения. Вопреки всем декларациям о конце коммунизма и распаде КПСС и после августа в высшем руководстве СССР и РСФСР так и не появились люди, прежде не причастные ни к КПСС, ни к инспирируемым ею организациям. Между тем военные, проявившие в час

неизвестности мужество, порой оказывались вытесненными со своих должностей, а сторонники ГКЧП по-прежнему занимали свои.

Правящий слой продолжает саботировать реформы. Все еще не сокращено военное производство, убыточные колхозы удерживают землю, отнятую у крестьян, не гарантирована от произвола властей свободная инициатива. Феодальное наследство разве что передвигают с союзного уровня на республиканский. Помимо продолжающейся растраты материальных и людских ресурсов власть держится на неограниченной эмиссии и зарубежной помощи. Видные лица то и дело объясняют, сколь пагубен для планеты распад нашей страны, и открыто шантажируют мир угрозой выхода ядерного оружия из-под контроля.

Но иностранная помощь не изменит типологию нашего хозяйства, не говоря уже о тяжести позднейших долгов, и способна лишь продлевать агонию. Эту незавидную роль играет даже благотворительность, если она не обращена непосредственно, минуя советские органы, к нуждающимся людям. На деле зарубежная поддержка принесет пользу лишь внося в наше хозяйство стоимостные начала, когда конкурирующие зарубежные фирмы будут продавать на нашем рынке товары за рубли по свободным ценам, а эти рубли потом, с государственными гарантиями, будут инвестироваться в наше хозяйство. Такая помощь сыграет роль параллели нашей феодальной структуре, которую перестройка так и не создала. Ее возникновение побудит и наше хозяйство развиваться на конкурентных, стоимостных началах, то есть, борясь за рынок, повышать качество и снижать цены.

Мы и после 21 августа живем все с теми же проблемами, лишь усугубляющимися, и только их разрешение, а не очередная смена лиц из прежней политической элиты, снимет угрозу новых переворотов. Надо не идеальные модели подбирать, а исходить из объективных надобностей наличных социальных сил, чтобы в результате реформы возникла опора для социальной защиты граждан. А от государства такой защиты ждать напрасно. Ни сохранение феодально-социалистического хозяйства, находящегося в коллективном распоряжении правящего слоя, ни дикая капитализация этого хозяйства, то есть разграбление его членами правящего слоя по отдельности, добра стране не обещают.

Распределение государственного имущества среди всех граждан путем выдачи им инвестиционных чеков, фиксирующих долю каждого во владении прежде номинально общей собственностью, хоть и не самая простая форма перехода от внеэкономических отношений к стоимостным, все же единственная, позволяющая совершить его народу в целом, не разделенному наперед на будущих господ и будущих рабов. Опорой стоимостных отношений был и остается принцип равных возможностей для всех, а это предполагает разрушение феодальных пут, — идет ли речь об ограничениях, налагаемых крестьянской общиной, цеховым производством или привилегиями правящего класса. Инвестиционные чеки, стоимость которых будет не устанавливаться наперед, а выясняться по мере вхождения общества в стоимостное хозяйство, позволят каждому выкупать на них недвижимость, оборудование, акции и т.п. по своему усмотрению и в той или иной форме стать участником стоимостного хозяйства или по крайней мере иметь гарантию на переходное время. В этом заинтересована родина, но не заинтересовано государство, поныне пребывающее монопольным собственником всего.

Оно, как исстари велось, имеет собственные интересы, в основном совпадающие с интересами правящего слоя, а с интересами других лишь в той мере, в какой правящий слой заинтересован в этих других и сознает эту свою заинтересованность. Западное общество, тоже не свободное от противоречий, имеет перед нами то несомненное преимущество, что видит свои противоречия, что его социальная структура открыта, и каждый общественный слой, каждая социальная группа публично выражает свои интересы и борется за их удовлетворение законным путем. Главный миф нашей страны — миф о морально-политическом единстве советского народа, миф о единообразии его интересов, и под флагом этого мифа государство, не обладающее структурами для постоянного ощущения многообразных интересов общества, эти интересы игнорирует, в результате чего и развивается кризис, наступает катастрофа.

Ныне мы ощущаем катастрофу и по пустым прилавкам, и по готовности лиц, стоящих у власти, к новым переворотам. Примечательно, что и то и другое нам часто выдают за инсценировки, объясняя, что и товары на самом деле намеренно уничтожают, хотя, будь они в избытке, это было бы невозможно, и события 19 августа — тоже спектакль. Конечно, мы — страна великих режиссеров, но уверения, что все происходящее — лишь показуха, лишь чей-то умысел, — не худший способ отвлечь от реальности, чтобы люди не вглядывались в нее, не понимали ее, а там и вовсе стали чьим-то слепым орудием. А спасение в понимании, и в частности в понимании того, что не просто Лукьянов или Павлов, не просто Язов или Крючков или кто-то еще, остающийся при власти, а государство как таковое, изменило родине. Они же изменяли, служа этому государству, безоглядно утверждая его тотальную власть, которая была для них превыше власти их собственного президента.

Говорят, что наше государство стеной стоит против изменников родины, а жизнь показывает, что государством все время правят изменники. Говорят, что безопасность родины защищают славные чекисты, и забывают, что предшественниками Крючкова были Ягода, Ежов, Берия. Народ надеется на приход к власти хорошего человека. Но, как видим, и высокостоящего человека легко отстранить от принятия решений, и три дня на Черном море — не худший способ. Признаем же, что дело не в людях, а в природе государственных институтов, в том, тоталитарны они, то есть служат "нашим", или демократичны, то есть считаются со всеми. Наивно воображать, что, усадив в тоталитарные кресла людей с добрыми намерениями, можно что-то исправить. Менять надо кресла, тогда люди с дурными намерениями в них не усидят.

После 21 августа надлежало уйти от абсолютизма, отделить хозяйство от государства, рассредоточить власть, чтобы она не оказывалась бесконтрольной, не становилась орудием "нашистов", а вынуждена была оглядываться на общество. Но даже робкие шаги навстречу демократии вызывают вопли о бессилии власти, о безвластии, словно это безвластие, а точнее, сказать, произвол на местах, внизу, не есть следствие абсолютизма наверху. В пору всеобщего молчания это замалчивалось, а при гласности бросается в глаза.

Тех, кто сознавал гибельность восстановления тоталитарной власти в полном объеме, три роковых дня поставили перед отчаянными решениями, и эти люди, безрассудно бросаясь под гусеницы танков, в тот час спасли страну. Но, спасенная, она не переменилась, и, отправив в

"Матросскую тишину" кучку недавних начальников, не предъявила пока обвинения тоталитарному государству, не преодолела его. И это в гораздо большей мере, чем даже фантастические цены, рождает сегодня у наших сограждан чувство безысходности.

СВОБОДА И ЕВРЕЙ

В мае 1992 года в Праге состоялся международный семинар на тему: «Антисемитизм в посттоталитарной Европе», в работе которого приняли участие петербуржцы Н.Катерли, М.Рольникайте и П.Карп, статья которого излагает его выступление на семинаре.

Если уж уточнять слова в наименовании нашего конгресса, начинать бы надо не со слова «антисемитизм», достаточно ясного, и даже не со слова «Европа», но со слова «посттоталитарный». Не знаю, в какой мере перемены в Чехословакии позволяют прилагать его к ней, но у нас по-прежнему господствует государственная собственность, а она и есть самая полная форма контроля государства над обществом, каковой и называется тоталитаризмом. Конечно, наш тоталитаризм испытывает глубокий кризис, но, отбросив, как ящерица хвост, марксистско-ленинскую идеологию, он не менял свою природу. Президент России сказав, что ему в затылок дышат красно-коричневые. Но переход красного в коричневое начался не сегодня. Мы помним и «борьбу с космополитами», и «дело врачей», и статьи «Правды» об англо-французских поджигателях войны и жаждущей мира нацистской Германии, с которой мы делили Польшу.

Я отнюдь не думаю, что красное и коричневое изначально идентичны, что всякий протест против реакции, против самодержавия обречен обернуться фашизмом. Напротив, я с ужасом наблюдаю, как, вернув городу, где я живу, имя Петербург, стали переименовывать улицы, носившие имена Герцена или Лаврова. В той мере, в какой европейские социал-демократы считались с объективностью стоимостного хозяйства и демократическими нормами, они сыграли важную роль в формировании социальных гарантий и, тем самым, в процветании либеральной Европы. Однако там, где во имя каких-то идеалов одни люди брали себе право решать за других, удерживая тех в повиновении насилем, красное тотчас коричневело, хоть и не все сразу различали нараставший оттенок.

Говорят, что нынешний антисемитизм — воздаяние за любовь евреев к красным. Так говорит «Память», повторяющая нравы КПСС, но уже без марксистской обертки, которая, как и самый портрет еврея с бородой, пришла в очевидное противоречие с возвращенными под портретом плодами. Конечно, евреи, подобно латышам, армянам, полякам и другим угнетенным народам царской России, сочувствовали либеральным переменам. Однако ассимиляция евреев, начавшаяся задолго до революции, не имела политической окраски и была вызвана буржуазными реформами Александра II, побудившими народы России к более тесным взаимоотношениям.

Пейзажи Левитана запечатлевают не только красоты русских ландшафтов, но и самосознание русского еврея, ощущающего эти красоты родственными, ощущающего страну, в которой он бесправен, своим отечеством. Участие множества ассимилированных (и евреев, и немцев, и грузин, и поляков) в русской жизни, хоть и не обязательно выражалось любовью к пейзажам, было не менее полным. Царская власть чертой

оседлости и процентной нормой отчуждала евреев от культурной общности со страной, где они жили, а религиозное отречение в качестве входного билета даже и неверующему представлялось не слишком нравственным. Но уже Февраль снял искусственные ограничения, и множество евреев приобщилось к русской культуре, а для их детей она была уже единственной и, тем самым, родной.

Как ни расценивать ассимиляционный процесс XX века, он не ориентировался на красный цвет, и сочувствие евреев либеральным переменам отнюдь не толкало большинство их сочувствовать большевикам, Октябрю и разгону Учредительного собрания, не меньшее их число симпатизировало эсерам, еще большее меньшевикам и кадетам. Жертвами Октября евреи соответственных сословий были не в меньшей мере, чем люди других национальностей, а сверх того оказывались и жертвами погромов, которые учиняли не только белые, но порой и красные. Ликвидация НЭПа была не только антикрестьянской в деревне, но во многом антисемитской в городе. Именно после нее антисемитские настроения среди бывшей верх части большевиков выходят на поверхность, и любители подсчитывать процент евреев могли бы убедиться, что среди павших в годы большого террора он непропорционально высок и не только за счет старых большевиков. Приверженностью евреев к красному цвету антисемитизм объяснить невозможно, — у большинства не было этой приверженности, а приверженность либерализму красному цвету скорее враждебна.

Не убедительнее и уверения, что антисемитизм вызван якобы биологическими отличиями евреев от всех других народов. Ведь различия между евреями разных стран адекватны различиям между коренным населением этих стран, и у китайских евреев наличествует эпикантус, третье веко, признак желтой расы. Старый традиционный антисемитизм, конечно, был обращен против иного человека, но человека иной религии, иной социальной жизни, а не иной крови, что подтверждалось и открытой тогда возможностью выйти из еврейства, приняв крещение. В старину антисемитизм опирался не на биологические отличия, но, при всех его специфических ужасах, вписывался в общую картину религиозных и социальных распрей древности и средневековья. Уже в XIX и особенно XX веке возник новый антисемитизм. И надо понять природу этой новизны.

Крушение феодального абсолютизма с его внеэкономическими нормами и переход к стоимостным отношениям, особенно после промышленного переворота, вели к возрастающей интернационализации хозяйства. Оттого и вращались в жизнь преобладающего населения издавна жившие рядом евреи. Для них выход из замкнутого мира средневекового гетто, не сопряженный притом с моральными жертвами, означал, как и для крестьян и для цеховых мастеров средневековья, обретение свободы. В новом мире еврей тоже мог проявить себя как индивидуальность, а не только как член определенного сословия, каким еврейство фактически было в мире феодальном.

Стоимостное общество, начиная с первой революции, нидерландской, поднявшейся против Испанской феодальной империи, утверждало себя как общество национальное. Но национальное тогда понималось прежде всего как территориальное. При объединении Германии Бисмарк не выдвигал лозунга «Германия для немцев», и евреи, как известно, активно

поддерживали объединение, видя в углублении буржуазного развития упрочение своего равноправия.

Уже в ту пору их сочувствие переменам служило поводом к отождествлению евреев как народа с буржуазией. Маркс, утверждавший, что в буржуазном обществе еврей становится буржуем, полагал, что обретение евреями равноправия возможно лишь при освобождении общества от буржуазии, с которой он, играя двусмысленностью немецкого слова *Judentum*, отождествлял еврейство. Не зря его ранняя работа «К еврейскому вопросу» вошла в число обязательных при изучении марксизма-ленинизма в СССР как раз при развертывании антисемитских кампаний. Между тем в стоимостном мире евреи становятся не столько предпринимателями, сколько работниками наемного труда — ремесленниками, рабочими, техниками, инженерами, врачами, адвокатами, музыкантами, научными работниками. А если их мало среди крестьян, то потому, что во многих странах, и в частности в России, им запрещалось владеть землей, что и вынудило большинство их жить в городах и городках. Вопреки Марксу, евреи в большинстве сочувствовали либеральным переменам потому, что в буржуазном обществе они, как пролетарии, могли свободно продавать свой труд. В этом и был залог их равноправия.

Однако и в новом мире уцелевшие феодальные силы стремились внеэкономическим путем отстоять свои привилегии, и знаменитое дело Дрейфуса не случайно направлено именно против офицера. Антисемитизм и в буржуазном обществе остался способом защиты сословных привилегий. Однако если прежде это было сообразно с общим сословным делением, то теперь противоречило правовой структуре, а главное, стоимостному обществу дано терпеть внеэкономические привилегии, ущемляющие к тому же не одних евреев, лишь до известного предела, пока они не извращают характер общества.

Гораздо существеннее такие привилегии при феодальной реакции и, особенно, при сменяющем ее феодально-социалистическом абсолютизме. Антисемитизм перерастает там в способ общего наступления на стоимостные отношения, задевающего, опять же, не одних евреев, но их наиболее резко, поскольку, в отличие от других народов, они не сосредоточены на особой территории, а внешних отличий в силу их глубокой ассимилированности, да еще при избытке смешанных браков, практически не остается, — вот и приходится фиксировать эти отличия в пятом пункте анкеты. И этот пункт становится важнее таких показателей, как стоимость, производительность труда и его качество, на которых держится буржуазный мир.

Это прояснилось не вдруг. Лишь немецкий национал-социализм сразу выдвинул расовую программу. В итальянский фашизм или русский большевизм, возникшие раньше, евреи поначалу охотно допускались, но по мере самоопределения и самопознания этих движений, достигших власти, ими тоже отторгались. Антисемитизм — не свойство немцев, арабов или русских, но свойство неофеодальных систем, и, наблюдая их, мы можем, даже если сперва они не таковы, безошибочно предвидеть их грядущий крен к антисемитизму. Великий русский поэт Александр Блок еще до революции писал о своей стране:

И однозвучны стали в ней

Слова «свобода» и «еврей».

Написал вроде бы даже сетуя, что оно так, поскольку и сам не вполне был свободен от антисемитских влияний, и все же признавая, что слова эти в России неразлучны.

В центре Петербурга, на Невском у Гостиного двора, можно видеть призывы к изгнанию и убийствам евреев и купить сочинения гитлеровских идеологов Розенберга и Геббельса и самого Гитлера. Все эти действия, явно выходящие за пределы закона, не пресекаются властью. И ведь эта же власть уклоняется от реальных стоимостных реформ, громогласно провозглашаемых, но подменяемых ограблением граждан в пользу государства, осуществляемым сперва Рыжковым, затем Павловым, а ныне Гайдаром. Новый антисемитизм, непосредственную опасность представляющий, разумеется, прежде всего для евреев, метит гораздо дальше. Его цель — отвержение стоимостных реформ и сохранение государственного диктата.

Ненависть к еврею на деле вызвана не весьма условными расовыми особенностями и не рассказами об еврейском заговоре, лживость которых очевидна, а тем, что еврей, «человек воздуха», по своему социальному положению, особенно после наглядной неудачи обольщенных большевистским путем в номенклатуру, являет собой образ свободного человека, готового к стоимостным отношениям. Замученный дискриминацией, он особенно дорожит свободой, надобной всем без исключения народам страны, начиная с русского, который к ней ничуть не менее способен, — еще Петр I заметил, что один русский четырех евреев обойдет, — но который по-прежнему ввергают в соблазн внеэкономических решений, уже не раз народ обманывавших и выгодных лишь стоящим в раздаточной. Еврея сегодня преследуют, чтобы другим не повадно было на свободу претендовать. Не зря русским, хоть слово молвившим в пользу демократии, не исключая Ельцина («Эльцина»!), тут же отыскивают еврейское происхождение или связь с евреями.

Понятно, что реальным евреям от этого не легче, и они толпами покидают родину. От потока экономических эмигрантов их надлежит отличать не только потому, что они бросают нажитое за жизнь жилье и имущество и, как правило, теряют профессию, но, прежде всего, потому, что их, в отличие от экономических эмигрантов, на родине окружает открыто выплескивающаяся ненависть и прямые угрозы на улицах, в газетах, по телевидению, в письмах по домашним адресам. Эта ненависть движет, конечно, явным меньшинством русского народа, но ведь и не большинство немецкого народа желало Освенцима.

Возможность выезда — несомненное благо. Участь беженца, сколь она ни трагична, несопоставимо лучше газовых камер или массовой депортации в Сибирь. Но следует видеть, что нарастание угрозы, подталкивающей к бегству, при благодущии властей фактически означает решение еврейского вопроса по польскому образцу, то есть изгнание. Никакие показательные мероприятия, вроде празднования Хануки в Кремле, или даже улучшение внешнеполитических отношений России с Израилем, заслонить совершающееся изгнание не могут. И ведь совершают его, так сказать, умеренные, а заядлые антисемиты еще этих умеренных осуждают за предоставление евреям возможности ускользнуть от «народного суда» по известным образцам.

Но для множества ассимилированных евреев трагична уже сама необходимость покинуть страну родного языка и «отеческих гробов». Когда я получаю письмо: «Грязная жидовская морда, убывай быстрее в свой поганый Израиль или мы изготовим из твоей вонючей шкуры прекрасный абажур. Жидам не место в России, место жидов в крематории. Россия для русских! Русские», а представив его в прокуратуру, получаю невнятные ответы от пересылающих его друг другу прокуроров и, наконец, когда письмо пересылают в КГБ, не получаю никакого ответа, я не могу воспринять все это иначе, как сознательное стремление государства лишить меня отечества и возможности заниматься своей работой. Всю жизнь я сопротивлялся такому давлению, но с каждым годом это трудней, и меня охватывает отчаяние, поскольку я сознаю, что при моих занятиях русской поэзией, переводами из германских литератур и интернациональным искусством балета отказ от космополитического восприятия мира, которым я жил, вопреки господствовавшей идеологии, для меня невозможен. Я сознаю, что для Израиля я с моим образом мыслей — только обуза, только иждивенец, а по отношению к стране, живущей так сложно, это как-то даже и неловко.

К тому же я сознаю, что изгнание евреев — лишь авангардный бой против перемен в России, что вытеснение евреев из культурной жизни Москвы и Петербурга, как некогда Вены и Берлина, точно так же направлено на то, чтобы умалить их значение как культурных центров, противостоящих тоталитарному государству. Но цивилизованный мир, так много сделавший для обретения права на выезд в Израиль и справедливо выступающий в защиту религиозных прав ортодоксального еврейства, глух к судьбе ассимилированного еврейства, быть может, еще более показательной для оценки перспектив нашей страны.

Примечательно, что российский антисемитизм объявил своим главным врагом сионизм, который, в отличие от других национальных движений, не вмешивается в российские порядки, лишь бы они не препятствовали выезду в Израиль. Однако сионизм, как ни относиться к нему по существу и хотел он того или не хотел, показал пример практической борьбы за спасение обреченных фашизмом на гибель, а такой пример внушает надежду не одним евреям и подрывает не только имперскую, но всю вообще внеэкономическую сущность тоталитарного государства. Даже в сугубо национальной и чисто оборонительной форме стремление избавиться от антисемитизма обретает социальный смысл. Поэтому, сколько ни кричат крайние израильские шовинисты о правоте русских шовинистов, те лобызаться с ними все равно не хотят. Антисионизм и антисемитизм продолжают даже там, где евреев-то не осталось, как в Польше, но продолжается спор о том, как стране жить дальше, спор тоталитаризма и демократии, внеэкономических и стоимостных отношений. Если старый антисемитизм был опасен лишь евреям, то антисемитизм хрустальной ночи и дела врачей, опасен человечеству, ибо стал знаменем феодально-социалистического абсолютизма.

Еще в прошлом веке ощущение, что участь евреев сказывается на судьбе страны, где их преследуют, возникало даже у людей, которых не заподозришь в сострадании. После варшавского погрома Александр III выговаривал генерал-губернатору Гурко: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять этого ни в коем случае не следует». Наш век

многократно подтверждал царские опасения, но исторические уроки не идут впрок. Вот антисемитизм у нас и процветает.

ВОЛЯ ИЛИ ПРОИЗВОЛ?

Даже «усатым» Сталина называли с опаской. Над Хрущевым уже посмеивались. Брежнев стал героем анекдотов. Горбачева поносили без стеснения. Нынче на заборах пишут: «Ельцин — глава оккупационного режима», «Ельцин — сионист». Говорят, настала свобода с присущими ей поначалу беспардонными перехлестами. Ну какой, в самом деле, Ельцин сионист? Мы ликуем: свобода! Но при всем том остаются вещи, о которых не говорят, даже вопросов не задают.

Никто, к примеру, вслух не спрашивает, почему русские националисты, беснующиеся по поводу четырёх островов, России не принадлежавших никогда, оставляют без внимания оскорбительное официальное унижение русского народа, начатое при Горбачеве и продолжающееся поныне. А факт налицо: в Казахстане, в Беларуси, в Грузии, во всех республиках бывшего Союза Верховный совет избирается прямым голосованием населения, а в России — двухступенчатым. Народу России не доверяют. Явно опасаются, что без специального попечения он выберет «не тех». Недельки на две собираются начальники с мест и на съезде определяют, кому представлять нас в постоянном Верховном совете. Наше унижение прикрито иностранным словом «ротация». И все молчат. А ведь народ России не менее прочих способен к прямым выборам и даже из плохих кандидатов старается выбрать не самого плохого. Но разговорчивые патриоты по этому поводу в рот воды набрали. Видимо, если они и любят Россию, то любят ее униженной, подмятой властным сапогом.

Любопытно также, что съезд, избравшийся и по территориальным и по национально-территориальным округам, ни разу не заседал по палатам, и даже сконструированный им Верховный совет проводит преимущественно совместные заседания с общим голосованием. А ведь законность держится не только разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную, мешающим каждой подчинить себе страну полностью, но и строгим структурированием каждой власти в соответствии с ее конкретными задачами. Когда такое структурирование упраздняется, высокое собрание обращается в толпу, где завязывается драка, каковую мы уже наблюдали.

К тому же над российским двухпалатным парламентом, по примеру союзного, горбачевско-лукьяновского, вознеслась фигура единого председателя. А можно ли себе представить единого председателя палаты общин и палаты лордов в Англии или палаты представителей и сената в США? Там бы спохватились, что такая фигура сведет на нет различия в отправных пунктах палат и самую их возможность поправлять друг друга, ради чего они учреждены. Бедного Руслана Имрановича бранят за вправду странные пассажи, а я удивляюсь, что иногда он все же признает, что есть и другие сопоставимые с ним должностные лица. Командирские повадки председателя проистекают не столько из личных его свойств, сколь из непомерной мощи его должности, совершенно ненужной, тем более, что у каждой палаты есть председатель. Но мы и про Сталина до сих пор не поняли, что «чудесный грузин» превратился в обезумевшего палача потому прежде всего, что в его руках сосредоточили

власть и над государством, и над хозяйством, и над духовной жизнью разом. А нам все объясняют: мол, он был плохой человек... Как будто с хорошим человеком такое могло обернуться иначе.

Странны и наши способы навести порядок. Кругом сетуют, что нет стабильности, а толпа депутатов по-прежнему вправе в любую минуту изменить конституцию, то есть в законной форме совершить государственный переворот. В США поправку к конституции должны утвердить две трети штатов. Наша федеральная структура еще не оформлена, и такое нам не по силам, но ведь можно, скажем, покамест установить, что поправка становится действующей лишь с согласия всех трех властей — и двух третей каждой палаты порознь, и двух третей Конституционного суда, и президента! А радикальные перемены должно бы производить лишь специально для этого созываемое Учредительное собрание. Все-таки это ограничило бы всевластие, а ведь именно на его ограничении держится доверие к власти.

Вековая привычка к государственному дирижированию, сперва самодержавному, потом советскому, мешает нам понять, что такое свобода. Ее сводят к снятию запретов. Давно подмечено, что в России ценят не свободу, волю. К тому же волю не индивидуальную, а коллективную, волю нации или класса, доверенную власти. Нас поныне уверяют, что прояви власть волю, все тотчас образуется, словно объективной реальности, приведшей к нынешнему положению, и не было.

А ведь свобода не в том, что мудрая власть выдаст каждому по бутылке, да по буханке, да по палке колбасы. Она в возможности каждого осуществлять свои стремления по правилам, гарантирующим эту возможность и другим.

Покуда власть не научится первой соблюдать правила, под именем новой свободы будет процветать прежний произвол.

ПОКА ЕСТЬ ВЫБОР

Уважаемая редакция! Я ваш старый читатель, благодарный за то, что помогали разбираться в неоднозначных ситуациях. И вот очередная — референдум. И президент, и съезд, и печать столько разного о нем наговорили, что ничего уже не понять. И стоит ли вообще голосовать? А, может, пора себе сказать: «Зуев, от тебя опять ничего не зависит?» С уважением, В.ЗУЕВ (Новосибирск)

Признаться, и у меня, как у читателя Зуева, опускаются руки. На что надеяться, если высший законодательный орган не признает, что власть вправе вмешиваться в деятельность средств массовой информации лишь в пределах закона, то есть публично провозглашено, что власти закон не писан? Еще в XIX веке наш бывший соотечественник Адам Мицкевич писал про «объявленный законом произвол и произволом ставшие законы». Не только в Октябре 1917-го, но и в Августе 1991-го это главное свойство российской жизни осталось неизменно. Может ли рядовой человек, вроде нас с Зуевым, его преодолеть своим голосованием? Да еще и неизвестно, кто будет подсчитывать голоса, да и порядок подсчета предписан вопреки здравому смыслу: выбирали президента большинством от голосовавших, а подтверждать ему доверие надо большинством от всех избирателей, то есть, у большинства, голосовавшего «за» и подтверждающего свой выбор, отнимают решающее слово и отдают меньшинству, голосовавшему «против». Что говорить,

надежд на референдум немного. И все-таки, если его не отменят, я пойду 25-го голосовать, хоть оно непросто. Первый вопрос — недобросовестный. Спрашивают не о том, согласен ли я с существованием президентской власти как отдельной и независимой от парламентской, а о доверии конкретному Борису Николаевичу. Но ведь об этом третий вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?» Там я и отвечу про Бориса Николаевича. А прежде надо о другом. Это ведь новость для нас, наряду с парламентом всенародно избирать главу государства, вторую власть. Такого в России отродясь не было. А было всегда самодержавие, сосредоточение всей власти в одних руках, в одном месте. Сперва самодержцем был царь, помазанник Божий, потом его место занял ленинский ЦК, тоже власть ни с кем не деливший, — коллективный царь. Даже к Сталину, самому яркому реставратору самодержавной системы, наименование «диктатор» не вполне приложимо, он все-таки больше похож на главаря хунты, чем на личность, утвердившую себя личными действиями. Понятие «культ личности» маскировало заинтересованность в такой власти большого слоя начальников, пусть по отдельности рисковавших оступиться и погореть. А уж говорить о личной диктатуре Хрущева или Брежнева и тем более бедного Черненко, никак невозможно. Они были не диктаторами, а воплощениями коллективной диктатуры.

Оно и понятно. Прежде в стране существовал, так сказать, персональный феодализм: в пору его распада землевладелец-дворянин мог еще жить эксплуатацией крепостных, но мог уже наладить на своих землях товарное хозяйство с наемным трудом, а рядом возникли и фабрики на буржуазных началах, а не только демидовские крепостные заводы. Тормозясообразное с таким развитием политическое переустройство, феодальная реакция довела Россию до взрыва. И пришедшие в итоге к власти большевики построили иной, коллективный феодализм, при котором номинально всеобщей собственностью распоряжается уже не отдельный дворянин, не отдельный партсекретарь, а комитет партийцев, связывающих друг друга и оставляющих реальной экономике место лишь в тени их внеэкономического государственного хозяйствования. Соответственно иерархическую структуру венчает уже не персонификация царя-самодержца, а самодержавный Центральный комитет и самодержавное политбюро.

Эта более грубая, хоть по внешности более устойчивая система быстро оказалась в непрерывном кризисе. Многим казалось, что выход — в перемещении власти от партийной верхушки к демократически избранным представительным органам, возвращение к лозунгу «Вся власть советам!». Но советы, сосредоточивая всю власть, включая хозяйственную, остаются коллективными самодержцами, ни с кем власть не делящими. Выступая против самостоятельности президента, напрямую, как и парламент, избираемого народом, часто осуждают двоевластие, уверяя, что оно — помеха порядку. Между тем без разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, контролирующую, но не подменяющую друг друга, то есть без троевластия, общественный порядок не будет демократическим и эффективным. Но мы за лозунгом «Вся власть советам!» позабыли про лозунг «Долой самодержавие!». Спорят, какое самодержавие лучше — коммунистическое или персональное, православное или исламское. Но оно всюду самодержавие! Вот

коммунисты, монархисты и фашисты и тянутся к единству и находят, как приверженцы произвола, общий язык.

Говорят, на всевластие претендует и президент, но он нигде не отрицал правомерность других властей, ни законодательной, ни судебной. Мало того, он слишком часто уступал самодержавию съезда. После августа он ничего не сделал, чтобы провести прямые, а не двухступенчатые выборы российского парламента, освобожденного от манипулирующей палатами надстройки в виде общего председателя и президиума. Но независимость президентской власти Ельцин все же отстаивает, и это важно, поскольку съезд уже сегодня решительно утверждает свое всевластие, вполне соответствующее все еще господствующему, пусть без прежних лозунгов, коммунистическому хозяйствованию, власти самоназначенных начальников, коллективно распоряжающихся государственной собственностью. Как противник самодержавия, противник сосредоточения всей власти в руках одной власти, я предпочитаю сегодня поддержать вторую власть, президента, и на первый вопрос отвечу «Да!».

Со вторым вопросом сложнее. Он, строго говоря, неправомерен, вопросы такого рода закон по референдуму не допускает. Но меня больше смущает другое. На вопрос «Поддерживаете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством с 1992 года?» есть не два, а три ответа. Тем, кто поддерживает, легко сказать «Да!». Но столь четкой возможности нет у тех, кому эта политика не нравится. А ведь она не нравится и мне, и, с другой стороны, господам Руцкому, Хасбулатову, Бабурину, Аксютину, Исакову, Саенко, Астафьеву, Зюганову, Стерлигову и другим. Но ведь не нравится по прямо противоположным причинам. Они возмущены радикализмом Ельцина и Гайдара, а я — бездействием, они уверяют, что народ разорен реформами, а я уверен, что — отсутствием реформ, они против Гайдара потому, что он якобы разрушил государственную хозяйственную машину, а я потому, что он ее укреплял, не спешил отделить хозяйство от государства. Но если и я, и они одинаково ответим «нет», наши голоса свалят в одну кучу и станут трактовать как общее недоверие президенту. Слово «оппозиция» у нас отдано противникам реформ, а о том, что есть оппозиция сторонников реформ, критикующих президента и правительство за то, что они от реальных реформ уклоняются, из печати узнать почти невозможно. Такая критика пробивается с трудом. Я испытал это на себе.

Верно ли принимать за реформу свободу монопольных цен, которые, естественно, тут же полезли вверх, и уверять, что народ разорил Гайдар? Словно еще с середины семидесятых даже в Москве и Ленинграде не пустели прилавки, во многих городах России пустые и прежде, когда Елисейский ломился от снеди. Страну разорило самодержавное милитаристское хозяйничанье Сталина–Брежнева, а Гайдар лишь признал, что, если все достояние страны тратить на танки и ракеты, хлеб дорожает. Винават он в другом — в том, что, понимая все это, одновременно с отпуском цен, а еще лучше предварительно, не начал разламывать монопольное хозяйство на независимые конкурирующие части, способные в ходе конкуренции сбивать друг у друга цены. На мой-то взгляд, Ельцин и Гайдар были не в меру близки к самодержавному съезду, слишком многим жертвуя большевистской привычке к единству, за что и

расплачиваются ныне. А нам все внушают, что есть одна оппозиция, а не две разных, противоположных.

Не буду углубляться в то, какую верней называть «правой», какую «левой». Коммунистов зовут «левыми», поскольку до революции они располагались на левом фланге, и не видят, что, заведя феодально-социалистическое государственное хозяйство, они стали крайне правыми, и их единение с фашистами и монархистами — вовсе не «право-левацкий блок», как твердят газеты, а естественное единение правых. Разговоры о право-левацком блоке нужны лишь затем, чтобы замолчать тот факт, что левую оппозицию феодально-социалистическому абсолютизму составляют сторонники стоимостного, буржуазно-демократического хозяйства. Вот что важно не упустить из вида.

Поэтому вместо того чтобы отвечать на второй вопрос, поставленный коварно, я вычеркну оба ответа — и «да», и «нет», сделав бюллетень недействительным. Ни в коем случае нельзя оставлять оба ответа незачеркнутыми, да и уносить бюллетень с собой не стоит — и то, и другое может создать почву для злоупотреблений. А если таких, как я, вычеркнувших оба ответа, окажется много, мы продемонстрируем, что недовольны экономической политикой Ельцина совсем по другим причинам, чем съездовская оппозиция. И, может быть, открыто высказанное недовольство тем, что реформы подменяются разговорами, вызовет к жизни новую, последовательно-реформистскую партию, которая не станет, подобно лидерам «Демократической России», уверять, что в августе 1991 года у нас уже произошла бескровная революция, а потребует, чтобы президент не кланялся Хасбулатову и его артистам, не клонился к ним, а решительно взялся за реформы, прежде всего за то, чтобы дать крестьянам землю, вопрос о которой, вопреки двум миллионам собранных подписей, съезд опять замотал. Реформы двинутся не от коллективного скандирования: «Ельцин! Ельцин!», а от выхода на политическую арену реальной силы, способной требовать реформ с не меньшим упорством, чем Зюганов и Стерлигов отказа от них.

Тут мы подходим к третьему вопросу о досрочном переизбрании президента. Отвечая, не будем забывать, что впервые за всю историю России глава государства избран на всеобщих свободных выборах. Мы доверились ему на определенный срок. Как показал провалившийся импичмент, даже злейшие его враги не нашли убедительных свидетельств нарушения им своего долга, а ведь отстранять положено именно за это, а не просто за неудачи и заблуждения. Не потому ли нас все время трясет, что не только власть, но и мы сами склонны, не соблюдая предварительных условий и законов, в любую минуту действовать по принципу «Чего хочу, то и ворочу»? Перед Горбачевым у нас не было обязательств, его выбирал не народ, а такой же съезд. Он сам отказался от народной поддержки, на которую тогда мог рассчитывать, предпочтя положиться на волю партии. Ельцин поступил иначе, партия и государство были против него, но он доверился избирателям.

Не стану уверять, что мы выбрали идеального президента. Я и тогда предпочел бы голосовать, скажем, за Сергея Адамовича Ковалева. Но ведь ни его, ни кого-либо подобного ему, ни Сахарова, ни русского Вацлава Гавела, в избирательном бюллетене у нас не было, да и быть не могло. Мы выбрали лучшего из тех, кто в списке был, так позволим же ему не бросать дело посередине. Ведь и мы виноваты в его ложных шагах, если

только шумно выражали поддержку, но не напоминали, какие надежды на него возложены. Люди устали жить в мире, где все «обозначено в меню, а в натуре нету». Ельцин обещал переход к реальности и некоторые шаги к ней впрямь совершил. Он отстаивал суверенность России, ее право думать не только о Кубе или Вьетнаме, но и о себе, о своих народах. Он освободил людей от обязательной идеологической догмы, и это тоже поможет, пусть не сразу, понять реальность. Да и гайдаровские мероприятия были шагом к реальности, хоть и слепым. Поэтому на вопрос о досрочных выборах президента я отвечаю «Нет!». Я хочу стабильности и не вижу нужды переизбирать президента второпях.

Вопрос о переизбрании народных депутатов опять поставлен коварно. У меня нет претензий к своим депутатам — бывшему политзэку Молостову и бывшему капитану милиции Аржанникову. Но ведь не их и вообще не тех или иных депутатов подразумевает вопрос, а нелепый, антиправовой съезд, в котором они участвуют. Будь это нормальный двухпалатный парламент, избранный прямым голосованием, я не позволил бы себе возражать даже против того, что туда попали Астафьев и Аксючиц, Исаков и Бабурин, если только они честно излагали избирателям позицию, которую ныне демонстрируют, а не противоположную, о которой забыли сразу после выборов. Суть четвертого вопроса в том, хотим ли мы сохранить съезд или учредить, наконец, подлинно конституционное правление. Наново выбирать съезд, который наново назначит Верховный совет, дело, конечно, пустое. Но вопрос и поставлен так обтекаемо, чтобы отвлечь нас от необходимости избрать правовой парламент или учредительное собрание. Ничего не поделаешь, надо переизбирать депутатов, чтобы заменить съезд настоящим парламентом и покончить со съездовским самодержавием. Другой возможности нет.

Самодержавие, как до 1917 года, так и сегодня, — тормоз перемен. Дело не в том, как власть именуется и под какими плакатами сидит. Дело в том, какова структура власти, а она у нас под разными плакатами примерно одинакова. Нам морочат голову сетованиями на несоблюдение конституции. Но беда не в том, что и Зорькин, и Хасбулатов, и Ельцин конституцию, конечно, нарушают, а в том, что и от них, и от нас все еще требуют верности конституции социалистического, то есть самодержавного государства. А по отношению к ней почти любая существенная перемена не конституционна. Конечно, первый съезд народных депутатов СССР, хоть и не сразу, отменил статью шестую, и нам уже не дарует законы милостью Божией коммунистическая партия, но единовластие не слишком ослабело от того, что съезд взял это на себя. Сколько поправок в социалистическую конституцию ни вноси — а внесено уже более трехсот, — основа ее незыблема. Стоимостные отношения и даже самые права человека хоть и записаны в конституции, строго говоря, у нас антиконституционны, поскольку власть, по конституции, по-прежнему выше их и может ими пренебречь. Правозащитное движение, требовавшее от советской власти лишь соблюдения ею самой изданных законов, имело, конечно, огромный просветительный смысл, но не могло облегчить участь жертв режима, поскольку социалистическая самодержавная власть сама себе закон, сама сочиняет законы, по которым действует, и даже поправляет их задним числом, подлаживая под совершенные действия. Хрущев изменил уголовный кодекс, чтобы

расстрелять валютчиков за дела ныне ненаказуемые, а тогда предполагавшие не более семи лет заключения, каковые суд им и назначил. Хасбулатов принимает постановления и потом приводит в согласие с ними конституцию, а конституционный суд и не пикнет. Да и может ли он пикнуть, если съезд властен в любую минуту изменить конституцию и сделать неконституционное конституционным? Такова наша законность: кто палку взял, тот капрал! Пока власть выше закона, пока она сама себе закон, общество остается коммунистическим, хоть и размахивая трехцветными флагами и печатая на банкнотах двуглавых орлов.

Говорят, Бог с ней, с политикой, сосредоточимся на экономике. Но политика и экономика нерасторжимы, и политические споры в конечном счете идут о том, как вести хозяйство. Конечно, подлинную опору демократия получает лишь там, где большинство граждан в той или иной форме обретает частную собственность и с ней заинтересованность в экономической, а тем самым и всякой другой свободе и законности. Но ведь именно от политики зависит, когда до такой экономики дойдет.

Кризис нашего казенного внеэкономического хозяйства обозначился еще при Сталине, но его преодолению служил не столько революционный энтузиазм или всеобщий страх, сколько неисчислимый, казалось, запас природных и людских ресурсов, которые Сталин и его преемники бросали в топку своего паровоза без пощады и счета. Потому и возможна была экономически неэффективная индустриализация, потому и позволяли себе несообразно дорогое оружие, и хватало еще на то, чтобы покупать за рубежом хлеб и лекарства. Но и огромных российских богатств не хватило на столь чудовищную растрату, и с середины семидесятых ресурсы доставались все трудней, и кризис нарастал. Иначе Горбачев никогда не стал бы генсеком и во всяком случае не заговорил бы о переменах.

Вести паровоз прежним ходом Григорий Васильевич Романов мог бы наверняка получше Зюганова, а уж Юрий Владимирович Андропов явно был поумнее Стерлигова, но, придя к власти, не фронт национального спасения организовал, а первым за долгие годы вслух вспомнил, что царская Россия была тюрьмой народов. Падение Романова и благоволение Андропова к Горбачеву порождались не прихотью, а очевидной невозможностью править по-прежнему.

Конечно, руководство КПСС ещё рассчитывало обойтись кадровскими или, на крайний случай, дубчековскими реформами, и, начнись они сразу после Сталина или отстранения Хрущева (вспомним несостоявшуюся «косыгинскую» реформу), шестидесятилетнее коммунистическое правление, больше сообразующееся с реальностью, еще, быть может, продлило бы свои дни. Однако так называемый «застой» был ведь не застоєм, а, напротив, динамическим нарастанием разрыва с реальностью, дань которому отдали и Андропов, и сам Горбачев, уничтожавший виноградники, как врагов народа, но все же спохватившийся, что хозяйство страдает не от винограда, а от скопища неисправимых Зюгановых, и возложивший надежды на госаппарат. Однако ни Горбачев, ни потом Ельцин не стремились к радикальному преодолению единовластия. Не умиравшая в них надежда достигнуть единства с коммунистической реакцией погубила как политика Горбачева и поставила на грань гибели Ельцина. Вот и побеждает Хасбулатов, и не случайно примкнул к нему Зорькин, вынесший вердикт о законности территориальных организаций КПСС, то есть не только партячеек при жилконторах, но и обкомов, и

райкомов. Эти люди, декларируя верность реформам, активно тормозят экономическое преобразование страны. Тормозят не только тем, что поныне не приняты однозначные правовые нормы, гарантирующие экономическую свободу каждому собственнику, но тем, что поддерживается атмосфера деловой ненадежности.

В правовых государствах судьба телекомпании или газеты, да и судьба президента, не слишком волнуют рядового бизнесмена, но когда высший орган власти присваивает средства информации, когда конституционный суд осуждает указ президента по устному пересказу, до официального опубликования, всякий видит в этом модель своей возможной участи. Если уж с президентом да с «Останкиным» можно так, нужно быть безумцем, чтобы вкладывать деньги в российскую экономику. А такого безумия невозможно ждать не только от западных бизнесменов, которые помогли бы нам эффективнее, чем западные правительства, но и от российских предпринимателей, потому и падких на спекуляции, а не на инвестиции в производство. И не надо рассказывать байки, будто эти спекуляции — форма первоначального накопления! Спекулятивный капитал обратится разве что в доллары, и курс доллара потому и растёт, что инвестиции в отечественное производство ненадежны. Снизить этот курс помогут не искусственные банковские цены на валюту, а введение Хасбулатова, Зорькина и иже с ними в правовые рамки, гарантирующие прибыльное предпринимательство на долгосрочной основе. Но ведь тогда и предприниматели, и рабочие, и крестьяне обретут почву под ногами и выступят против самодержавия, как они выступили против него единым фронтом в феврале 1917 года! Из-за слабости российской демократии на смену падшему самодержавию тогда пришло новое, коллективное, сегодня и оно шатается, но господа Зюганов и Стерлигов, воскресшие духи КПСС и КГБ, уже норовят его подпереть внепарламентскими средствами. По ленинградскому телевидению уже прозвучали призывы к созданию под их флагом ополчения, сулящего нашей атомизированной стране боснийскую беду с чернобыльской приправой. Быть этому или не быть — вот какой выбор перед нами.

Понятно, даже и полной победы президента на референдуме для спасения страны недостаточно. Нужна выработанная всенародно избранным учредительным или конституционным собранием демократическая конституция с четким разделением властей и правовыми гарантиями каждому экономических, гражданских и человеческих прав, которую ни съезд, ни конституционный суд, ни президент не смогли бы, когда очень захочется или очень понадобится, перекраивать и поворачивать, как дышло. А для этого мало конституцию сочинить и огласить, надо спасти общество от неограниченной власти государства.

Это, в частности, означает долг каждого, когда за то, что пользуешься такой возможностью, ещё не казнят и не гонят со службы, опустить свой бюллетень, выразить свою волю. Нельзя валить ответственность за свою судьбу только на других. Во второй книге знаменитого альманаха «Литературная Москва» был в 1956 году опубликован рассказ Николая Жданова «Поездка на родину», герой которого, большой московский начальник, приехав хоронить мать, ведёт разговоры с деревенскими людьми, живущими иначе, чем казалось из его кабинета. И, возвращаясь, он все вспоминает заданный ему вопрос: «Верно ли, нет ли с нами сделали?» Заданный по конкретному поводу, но в контексте рассказа

обретающий более широкий смысл. Многие и сегодня ставят вопрос так, а пора бы иначе: «Верно ли, нет ли мы сделали?» В нашей истории воля народа не раз на краткие мгновения вырывалась бунтом, после которого, как правило, все возвращалось в похожую колею, но всё не хватало сил спокойно и сознательно самим утверждать свою волю в повседневном ходе жизни. А ведь только ставя предел произволу государства, разрушающему во благо самодержцам и временщикам страну, можно бы и нам жить, как люди, хотя бы не бедствовать в богатейшей стране.

Я не слишком много надежд возлагаю на Бориса Николаевича. Но все же ему добиться диктатуры нелегко, а у съезда она в руках. Вот я и предпочитаю чуждого мне, но все же законного президента коллективному произволу съезда, разжигающего гражданскую и даже мировую войну, без которой не обойдется, если Зюганов со Стерлиговым и всей братией начнут наводить порядок, возрождать СССР и социалистический лагерь.

Жизнь не дает идеального выбора, в ней нет розовых героев и черных злодеев, но в роковые минуты выбор все же остается. Кое-что от нас сегодня еще зависит. Если президента устроят, исчезнет и разделение властей, и мы останемся при хорошо знакомом коллективном самодержавии начальников, не имеющих уже к тому же ресурсов для подачек, которые прежде иногда выбрасывали. Тогда зависеть от нас и впрямь ничего опять не будет, и я соглашусь с читателем Зуевым. Но покамест собираюсь голосовать. Еще не все шансы потеряны.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Отклики на октябрьские события не менее примечательны, чем сами события. Одни, празднуя победу демократии, зовут президента быть покруче. Иные, наоборот, в самом применении оружия против захватчиков мэрии и Останкина ищут смертный грех. Среди этих иных люди, еще вчера винившие друг друга в тайном сотрудничестве с ГБ, а ныне объединенные открытым обличением Ельцина и сорока двух литераторов, посмеявших сказать, что «тупые негодяи уважают только силу».

Вроде бы российская интеллигенция опять раскололась по политическим предпочтениям. Но каждый из лагерей винит противоположный в присущих якобы именно интеллигенции пороках. Ни те, ни эти не помнят, что политика — искусство возможного и, в частности, возможности страдать от меньшего зла, покамест и оно не перерастет прочие. Прямой взгляд на вещи у нас не в моде. Спорщики жаждут высокого, жаждут свершения идеальных картин, рая на земле, и меньшим злом довольствоваться не хотят. Ведь, защищаясь меньшим злом от чудовищного, приходится и этому меньшему, то есть тактически вроде бы «своим», указывать на их злостные черты. В частности, поддерживая президента как противовес самодержавным Советам, приходится критиковать его уклонение от коренных экономических реформ. Ситуация, что и говорить, безнадежная. В отличие от Максимилиана Волошина, молившегося «за тех и за других», оказываешься ни с теми, ни с этими, и ничья победа не то что карьеры, но даже признательности не сулит. Но это единственный способ видеть вещи как они есть, не ослепляясь ни национальным, ни партийным, ни государственным единством.

Почему события приняли кровавый оборот? Говорят, от президентского указа, хотя Верховный совет после референдума

демонстрировал самодержавное нежелание хоть как-то посчитаться с недвусмысленной волей народа. Непосредственный виновник того, что разногласия старой советской и новой президентской властей обагрились, конечно, господин Зорькин, прежде спасший КПСС от запрета, а потом, вопреки даже латаной брежневской конституции, объявивший, что мнение народа властям не указ и сами они разберутся. Вот и разбирались!

События именуют мятежом. Так и пишут: мятежники пошли на Останкино. Между тем захват Вильнюсского телецентра, стрельбу в Тбилиси, в Риге, в Баку, мятежом не звали, хоть у властей единогласия и тогда не было, и президент Горбачев устраивал даже парады своей непричастности к пролитой крови. Советская власть всегда держалась насилием, даже внутри своих властных структур и в своих идейных разногласиях. Без этой славной традиции на указ, хоть трижды неверный, Советы ответили бы адекватно, словами, пусть даже импичментом, на который, впрочем, не хватало голосов. Но они запаслись оружием, призвали вооруженные банды, поощряли демонстрантов избивать безоружных милиционеров, выставленных для поддержания порядка.

Утверждают, что президент спровоцировал Белый дом. Пусть так. Но почему ответом была вооруженная атака? И неужто насилие — не отягощающее обстоятельство? Казалось бы, инициаторов перехода к насилию и надо спросить: «Почему вы стреляли в свой народ?» Не потому ли, что он отверг вас на референдуме? Но обращают этот вопрос к президенту. А его, отнюдь не безгрешного, спросить бы скорее стоило: «Почему вы не защитили свой народ?»

Почему, и самом деле, толпе позволялось самоуправствовать? Почему в Останкине, где, по свидетельству П.С.Грачева, вооруженных сил хватало, захватчикам не оказали должного сопротивления? Скажу сразу, что мне понятно желание министра обороны удержать армию вне гражданской войны, и то, что без армии, к сожалению, было не обойтись, создало опасный прецедент. Но почему бездействовали властехранительные органы? Призыв Гайдара идти к Моссовету означал, что, кроме как безоружным москвичам, защищать российскую демократию некому. Отчего так получилось, тоже стоит спросить у президента, но и это не обеляет Белый дом.

А силятся его обелить. Дескать, это наш первый парламент, избранный на альтернативной основе. У англичан-то парламент 800 лет! Дескать, и мы научимся. Но как-то неловко России с ее тысячелетним христианством ходить в несознательных подростках. Да и наш первый и единственный полноценный парламент, Учредительное собрание, избирался в 1917 году куда демократичнее, чем Верховный совет.

Скорее все-таки дело в том, что Англия больше считалась с интересами своих граждан, а у нас больше полагались на силу власти. Тот и оно, что Верховный совет — не парламент, а орган коллективного самодержавия, всей власти в одном месте. Не зря Хасбулатов заявлял, что он и ядерным оружием распоряжается. Слава Богу, не успел.

Конечно, в том, что и после августа, и после формального роспуска СССР и после референдума Россией правил старый Верховный совет, виноваты не только державшиеся за места депутаты, не только расширявший свои претензии спикер. Президент не оправдал возлагавшихся на него надежд, не созвал новое Учредительное собрание, которое только и было бы правомочно определить, как России жить

дальше. Вместо этого до конституции был создан конституционный суд, призванный охранять прежнее беззаконие. И кровь в столице России пролилась оттого, что там не помнили, отчего она лилась в столицах Грузии и Литвы.

Доверие народа к президенту, огромное в августе, преобладавшее на референдуме, стало из-за его пассивности падать, что, конечно, поощряло непримиримость Руцкого и Хасбулатова. Ныне настороженное отношение к президенту, хоть и не безусловно, но все же противопоставшего коммунофашизму, усугубляется тем, что опять не стало разделения властей, да и оппозиции как бы не стало. Но почему, опять же, прежде мало кого смущало, что оппозиционной признавалась одна лишь коммунофашистская сторона? Нас подверстывали под двухпартийную систему: либо Ельцин, отождествленный с демократией и реформами, либо снова тоталитарный режим под прежним или другим флагом. Так называемые «центристы» — среди них и щеголял сперва Руцкой — разве что пытались придать лозунгам непримиримой оппозиции более пристойный вид. Лишь голоса, вопиющие в пустыне, ратовали за оппозицию президенту с другой, демократической стороны, обличающую его бездействие. Нынешних обличителей Ельцина что-то не было среди тех одиноких голосов. Да и сегодня, ставя ему к вину, что он, объявляя чрезвычайное положение, запретил партии, создающие штурмовые отряды, не вспоминают, как долго он существование этих противозаконных отрядов терпел, что было еще менее похвально, чем их нынешний запрет.

До поры у Ельцина не было коренных расхождений и с Верховным советом. Именно этот Верховный совет дал ему чрезвычайные полномочия для гайдаровской «либерализации цен». Наши цены были искусственными, не отражающими реальной стоимости товаров. Это при заниженных зарплатах позволяло монопольному государственному хозяйству до поры как бы по дешевке давать людям хлеб или скромное жилье, ограничивая потребление в целом. Но с возрастанием перевеса тяжелой и военной промышленности, не пополнявших рынок, но плативших зарплату, регулировать такую систему становилось невозможно, и магазины опустели.

Ожидалось, что свободные цены будут у нас, как на Западе, способствовать подъему производства. Но, объявляя свободу цен, Гайдар отлично знал, что на Западе она эффективна в силу частного характера производства, а он привил ее к государственной монополии. В этом проявилась наша самобытность, — Гайдар не зря ведал экономическими отделами газеты «Правда» и журнала «Коммунист». Вопреки наветам у него не западное мировоззрение. Государственная хозяйственная монополия так и не была сломлена, не были включены конкурентные механизмы, способные осадить рост цен, не были возвращены в оборот похищенные государством у народа ценности, начиная с земли. При этом по-прежнему сдерживалась цена основного товара стоимостного хозяйства — рабочей силы. В по-прежнему господствовавшем государственном секторе зарплата катастрофически сокращалась.

У людей новые цены в заполнившихся магазинах вызывали шок, как говорили наши остроумцы, шок без терапии. Но государственному хозяйству они были призваны служить терапией: за счет взвинченных цен продолжали субсидировать неэффективное производство, то есть гнать зайца дальше. Однако кризис был слишком глубок, вдохнуть, хоть на

время, жизнь в монопольное хозяйство Гайдари не удалось, и правящий слой стал расслаиваться. Одни поняли, что перемены, пусть и паллиативные, все же нужны, и принялись за приватизацию, стремясь, хоть и не вернуть народу награбленное, но заинтересовать в прибылях начальство, как некогда мечтал заинтересовать в прибылях рабочих Роберт Оуэн. Но большинство начальников, представленных в Верховном совете, опасаясь, что неудача Гайдара повлечет за собой более глубокие реформы, наперед оборонялись. Они сочли, что Ельцин их обманул, и жаждали благополучия, гарантированного послушанием вышестоящим, без оглядки на результаты их труда, как оно десятилетиями и было. Похожие настроения, — «мысли господствующего класса есть господствующие мысли», — владеют немалым числом и рядовых тружеников, желающих получать пусть скромную, по гарантированную, не зависящую от прибыльности производства пайку. Словом, борьба президента и Верховного совета была не просто борьбой за власть.

В ней, хоть и уродливо, отобразилась невозможность разрешить в рамках прежней общественно-экономической системы настигший страну кризис. Горбачев с этой системой порвать не решался, не вышел из партии, не отказался от лозунгов государственного социализма. И все равно его политическая дерзость, разрядившая атмосферу в стране и спасшая ее от немедленного краха, пугала его «шестерок», и они рискнули его устранить. Ельцин вроде бы и из партии вышел и прежнюю идеологию отверг, но в реформах не продвинулся. Однако ему приходилось хоть как-то демонстрировать свое реформаторство, поскольку оно было почвой, из которой росла его харизма. Вот и его «шестерки» тоже с ним расходились, претендуя на собственную власть, и, наконец, пошли в атаку. И хоть атака захлебнулась, обольщаться не стоит, ибо противостояние консервативных сил реформам обостряется. И угроза фашизма не миновала.

Поддержка пусть и не большинством, но все же немалой частью населения коммунизма, фашизма и подобных им движений проистекает не из красноречия лидеров. Она возникает из массового отчаяния, утраты надежд, обнаружения очередного общественного обмана, пусть ненамеренного, то есть на почве несвершения насущно необходимых экономических преобразований. Если мы не изменим устройство нашей жизни, нас ждет новый Сталин, разве что сидящий не под портретом Маркса, а под портретом Гитлера или, чтобы оставаться патриотичным, под портретом Василия Шульгина. Было бы упрощением видеть этого нового Сталина в Ельцине. Ельцин скорее окажется его первой жертвой. Но одновременно и виновником того, что произойдет. Поэтому в сложившейся ситуации одинаково опасно и уклоняться от открытой критики ложных шагов президента, и сводить эту критику к его персоне. Дескать, уйдет, и проблемы решатся. Но вот Горбачев ушел, а проблемы остались, и Ельцин повторяет путь своего вчерашнего оппонента. Конечно, народ волен избрать на будущих выборах другого президента, но если не сложилась демократическая оппозиция нынешнему, нет гарантии, что новый не повторит ельцинский путь или не свернет на сталинский.

Страна не только не выбрала за восемь лет свой путь, но все еще живет в убеждении, будто выбирать надлежит меж социализмом и капитализмом. Между тем выбирать надо между государственным внеэкономическим хозяйством, которое даже Ленин, признававший, что, «когда будет социализм, не будет государства», не назвал бы

социализмом, и свободно развивающимся хозяйством, которое мы тоже, возможно, зря по старинке именуем капитализмом. Отличное от нашего хозяйства, оно сегодня опирается не только на либеральные принципы, отказ от подневольного труда и свободную продажу рабочей силы, но и на могучую систему социальной защиты, спасающей отдельного человека от жестокости стоимостных отношений. У нас социально-либерального движения поныне нет. Одни рассуждают о либеральных принципах, не задумываясь о миллионах конкретных людей, терпящих катастрофы, другие твердят о социальной защите, но ищут ее в государственном хозяйстве, в отвержении либеральных принципов и прежнем порядке.

Эта неразбериха после всего пережитого страной естественна. Худо то, что разногласия выясняются без учета мнения граждан, а демократия понимается не как свобода суждений и мирных акций, а как свобода насилия и призывов к насилию ради утверждения своих мнений. А ведь насилие и даже только угроза или призыв к насилию — ради ли ограбления банка или захвата информационного агентства — остаются уголовными преступлениями и должны наказываться в судебном порядке, независимо от мотивов. Точно так же не должна оставаться безнаказанной публичная клевета, опорочено ли частное лицо или целые народы.

Существуй у нас правосудие, газета «День» да и газета «Правда» давно были бы разорены штрафами или запрещены. Конечно, невозможно согласиться с тем, что газеты закрывают административными указами! Но примечательно, что критики этих указов и словечка не промолвят о том, что у нас нет правосудия, как нет конституции, как нет и не было парламента. Вот и попытки судиться с фашистскими газетами, как правило, проваливались. И дело президента, пусть осознавшего, наконец, опасность фашистской демагогии, не подменять правосудие, а его создавать, укреплять его независимость и от собственной власти, и от власти тех живучих сил, которые фашистское движение вскармливают.

К сожалению, происходящее не сулит покамест возможностей ни для широкого социал-либерального движения, стоящего в оппозиции не только к побежденным, но и к победившим в октябрьские дни, ни для подлинной конституции, правосудия и парламента. Об этом говорят не только многие дела победителей, вроде расправ с лицами так называемой «кавказской национальности», уж к штурму Останкина всяко непричастными. Об этом кричит само установление мажоритарной системы голосования в один тур, при которой депутаты, кто бы это ни был, окажутся избранными явным меньшинством голосовавших, что наперед сорвет доверие к парламенту. Такие выборы годятся странам с двухпартийной системой, а у нас, если Зюганов соберет 27% голосов, Гавриил Попов — 26%, а Гайдар 25%, в парламент попадет Зюганов, хотя сторонники Гайдара во втором туре наверняка предпочли бы ему Попова, который собрал бы 51%. Имена можно менять и переставлять, в любом случае отказ от проведения второго тура означает открытое нежелание учесть мнение большинства и на него опереться. А это, даже если в декабре все пройдет гладко, сулит нестабильность. Вот почему созыв Учредительного собрания, некогда разогнанного Лениным, остается актуальной потребностью.

ЧЕМУ ПОСЛУЖИТ ПОМОЩЬ

Одни народы считают, что почем, ведут стоимостное хозяйство и богатеют. Другие, в других обстоятельствах, полагаются на оружие, на завоевания и принуждение, и в наш век нищают. Фамилии Морозовых и Мамонтовых, Рябушинских и Путиловых, Третьяковых и Щукиных, свидетельствуют, что Россия располагала талантами не только в литературе и балете. И все же ее история в новое время — по-прежнему история силового хозяйства и подневольного труда. Стоимостные отношения брали у нас верх лишь отчасти и ненадолго. Большевизм отверг их последовательно. Ленин мечтал строить из золота общественные уборные, забыв, что золото — лишь обозначение ценности, которую по Марксу создает физический труд, и даже не выясняя истину, понятно, что пренебречь золотом означает пренебречь ценностью труда.

Правда, уже через три года после революции Ленин спохватился и заговорил об отступлении к капитализму, как ему казалось, временном. Но потом его партия все же вернулась к вестоимостному хозяйству, обратив хозяйствование в привилегию государства. Реставрированное на новых началах феодально-абсолютистское государство. Сталин провозгласил социалистическим. Слияние власти и владения, власти и собственности, стало сутью тоталитаризма. Массовые расстрелы, переселения народов, крепостной колхозный строй и бесправие людей — только следствия.

До поры такое хозяйство держалось растратой природных и людских ресурсов. Масштабы советской империи, казалось, обеспечивали их неисчерпаемость. Но ресурсы истощались. С середины семидесятых, когда возобладало стремление к военному превосходству над всем остальным миром, а Рейган, включившись в гонку, подрубил мечту советских вождей, отечественные богатства проматывались все быстрее. И не по злой воле, а потому, что, считая лишь натуральные траты, не замечали ценностных растрат и не предвидели надвигающегося кризиса и взрывоопасности Чернобылей.

Горбачев, пронизательно ощущавший угрозу и облежавший взваленный на страну груз, еще старался спасти феодально-социалистический порядок, и ничего не делал для перехода к стоимостному. Теперь Гайдар просит Запад о помощи, желая укрепить рубль. Но советский рубль всерьез укрепить невозможно, поскольку по природе своей он, в отличие от доллара или марки, не денежная единица. Даже в национальных границах он не является всеобщим ценностным эквивалентом. Советские деньги, в отличие от настоящих, отнюдь не универсальный товар. Одно дело — рубль наличный, выплачиваемый как зарплата, употребляющийся в расчетах людей с государством и меж собой. Совсем другое — рубль безналичный, используемый во внутренних расчетах государства между принадлежащими ему учреждениями и предприятиями, и без специального разрешения стать наличным не смеющий. Да и безналичные рубли в хозяйстве, "фондирующем", то есть административно определяющем, количество машин или сырья, которое данному предприятию дозволено купить, не равноценны наличным.

Чтобы укрепить рубль необходимо создать реальную финансовую систему, а для этого стереть границу между фондируемыми и нефондируемыми товарами, между безналичностью и наличностью, Иначе рубль будет "укрепляться" лишь ценой ухода от финансовых отношений, от оплаты товаров и труда. Чтобы ему и впрямь укрепиться, он должен стать общим для всех сфер жизни ценностным эквивалентом. Но

на такое и Гайдар не замахивается. Его бранят за излишний радикализм, а надо за недостаточный, за робость пред государственным хозяйничаньем. А укрепление валютными вливаниями нынешнего рубля, являющегося по существу купоном на получение потребительских товаров, выданным всеобщим работодателем-государством, будет означать лишь оплату Западом производства наших танков и ракет. Пойдет ли на это Запад?

Покуда традиционное феодальное общество сосредотачивалось на сельском хозяйстве, оно, и будучи внеэкономическим, долго могло оставаться устойчивым. Уже стремление феодальной реакции не упустить промышленные возможности, обнаружившиеся в странах со стоимостными отношениями, ожесточало тяготы зависимых людей и привело к крепостному праву. Но при научно-технической революции, когда возрастающая роль умственного труда делает рост личной свободы и социальные гарантии обязательным условием успешного производства, попытки обогнать стоимостное хозяйство силовыми нефеодальными методами оказываются, в конечном счете, особенно разорительны.

Экономические проблемы нынешнего кризиса в людских умах обособлены от социальных. Не только реакционные зубры, но и молодые экономисты вроде Явлинского или Гайдара, знающие западную экономику, не оглядываются на общественные отношения, ни сегодня в своей стране, ни в давние дни в европейских странах, переходивших к буржуазному хозяйству. Они верят, что работоспособные экономические модели можно запустить и без социальной активности широких масс.

Но в Англии или во Франции кодификации частной собственности желало большинство населения и, прежде всего, крестьянство, потому и шедшее за Кромвелем или Бонапартом. Не то чтобы лендлорды вдруг сочли целесообразным стать крупными фабрикантами, — их вынудила к этому общая победа новых отношений, и приспособившись к ним, они отстаивали свои феодальные владения и привилегии, капитализируя даже сугубо феодальные установления, вроде существующего в Англии по сей день лизгольда, в котором собственности лендлорда и нижестоящего владельца по-феодальному сосуществуют в буржуазных формах. А нас учат, что передача госпредприятий вчерашним партаппаратчикам это и есть приватизация. Но такая приватизация к стоимостному хозяйству не ведет не только потому, что уцелевшие наверху личные связи продолжают работать на монополию, но и потому, что внизу большинство населения остается ни с чем, а буржуазные революции, что ни говори, пусть зыбко недостаточно, но и ему что-то дали.

Многие нынче твердят о крахе коммунизма, о посткоммунистическом периоде. Но практически отброшена лишь прежняя идеология. Даже коммунистическая партия, чуть ли не запрещенная, остается на деле руководящей силой. В ней состояли все, кто, именуя себя нынче демократами, заняли руководящие посты. И это не случайность. Мэр Петербурга Собчак, тоже числящийся демократом, объявил, что, поскольку беспартийные не имели доступа к важной работе, все компетентные люди состоят в партии. Слово продвижение коммунистов по службе в силу партийности часто не шло вопреки их некомпетентности, словно не было и нет людей высоко компетентных, прежде не занимавших важных постов из-за нежелания вступать в партию, но вполне способных их занимать, словно не было, наконец, диссидентов, среди которых попадались и люди, пусть не равные, но подобные А.Д.Сахарову.

На руководящих постах коммунистов поныне сохраняют потому, что не изменился тип хозяйствования, дело в нем. Выход из кризиса откроется лишь в меру преодоления вневосточных нефеодалных отношений, именуемых социалистическими. Но ни покаявшиеся партocrats на высоких постах, охотно бранящие нынче Ленина, ни зовущие возобновить его несбыточные проекты, не вспоминают о его призыве отступить к капитализму. Между тем, для страны, для всех ее народов, при том, что и буржуазный порядок далеко не идеален, он — единственная возможность спастись. К тому же мир ныне знает не только давние, дикие формы капитализма, но и выработанные им, куда успешней чем феодальным социализмом, социальные гарантии.

Альтернативу ищут в сильной личности. Но Горбачеву предшествовали сильные личности. Именно сильные и способные люди, Устинов, Громыко, Андропов, с которыми Алкснису, Жириновскому или Макашову не тягаться, и довели своей силой и упорством страну до ее нынешнего состояния. Приход новой сильной личности станет лишь попыткой правящего класса спастись ценой нового разорения.

Не тем Советский Союз был худ, что в нем жили разные народы, а тем, что их объединение было насильным и неравноправным, и они жили несообразно со своим вкладом в общее хозяйство и производительностью собственного труда. И хоть нынче объявляют, что Союза больше нет, неравноправие сохраняется, отпал лишь наднациональный центр, но стали очевиднее претензии России и дальше быть таким центром, — они выплеснуты открытыми территориальными претензиями ее лидеров и жадной сохранить в СНГ единую, а не объединенную, как в НАТО, армию.

Примечательно и то, что гражданская, не прикрываемая межнациональной, война началась покамест в одной лишь республике — где более 80% избирателей голосовало за избрание президентом бывшего диссидента, а не партаппаратчика, и он впрямь жаждал отделиться от Союза. Конечно, Звяд Гамсахурдия с его мечтой о единой и неделимой Грузии вызывает не больше симпатий, чем мечтающие о единой и неделимой России. Но и тех, кто расстреливает мирные демонстрации в поддержку законно избранного президента, демократами можно счесть лишь утратив всякое понятие о демократии. Грузинский пример удерживает от признания Советского Союза "бывшим", показывает, что борьба за него, пусть под другим именем и знаменем, не кончена.

Неоднозначность национальных движений в СССР плохо создается. Еще жив старый, феодально-социалистический национализм, жаждущий, освободив свою республику от всевластного центра, хозяйствовать в своих малых пределах по его образцу. Содружество таких республик может иначе перераспределить свои ценности, но не властно изменить природу своего сожительства. Взаимная договоренность, воля, для него более значима, чем объективная ценность. Стойким содружеством делает только взаимовыгодная экономика, а этому всевластие республиканских правительств еще не подмогает, необходимо внутри республик вести хозяйство способное к объективному определению ценности создаваемого конкретными производителями.

В борьбе за внутреннее самоопределение ценностей и складывается другой национализм. Он хочет не просто своих, но настоящих денег, хочет уйти не столько от чужого, сколько от фиктивного рубля. Это национализм не расовый и не территориальный и, в отличие от имперского и

фашистского, он стремится к национальному самоопределению по тем же мотивам, по каким боролись за него народы, преодолевавшие феодализм. Бедная в сравнении с Россией Финляндия, не имеющая сопоставимой с нами роскошной истории, наглядно демонстрирует, что и небольшое, но стоимостное хозяйство, позволяет гражданам жить благополучней, чем в нашей богатейшей сверхдержаве.

На Западе, при переходе от внеэкономического хозяйства к стоимостному, люди в большинстве еще были хотя бы мелкими собственниками, а их пролетаризация — долгим процессом, по ходу которого в конкурентных отношениях и осваивалось, наряду с другими экономическими понятиями, представление о рабочей силе, как собственности трудящегося, имеющей на соответствующем рынке свою стоимость. А нам подобный переход предстоит после того как в ходе коммунистического строительства люди были разом обращены в пролетариев, состоящих на службе у монополиста-государства. При этом трудящиеся были не только разом отчуждены от собственности, но и за их рабочей силой стоимость уже не признавали. Нас поныне призывают усиленно трудиться и не считать сколько труд стоит. И еще удивляются падающей производительности почти бесплатного труда.

Переход к стоимостному хозяйству невозможен без возврата людям собственности, отнюдь не сводящегося к тому, что на вчерашнем государственном заводе появится фамилия нового монопольного владельца. Подлинная приватизация начинается с приватизации рабочей силы, то есть признания за ней рыночной стоимости и возрождения ее рынка. Но рыночные отношения невозможны, пока средства производства остаются в руках монополиста. Для восстановления стоимости рабочей силы необходим конкурентный спрос на нее, то есть плюрализация собственности и производства.

Формой плюрализации могла бы стать выдача гражданам сертификатов, способных, наравне с деньгами, стать платежным средством для приобретения земли, недвижимости, предприятий, акций и других ценных бумаг. Возникновение рынка средств производства и повлекло бы за собой возникновение рынка рабочей силы. Но для этого государство должно отречься от всевластия, от владения всем и грабежа граждан. Ему надо открыть дверь экономической стихии, и быть не комендантом лагеря с железным порядком, а, как в экономическом обществе принято, регулятором стихии и защитником ее жертв.

Плюрализации хозяйства советских республик, конечно, могли бы помочь развитые страны. Но их займы и благотворительность все еще оказывают помощь монополисту-государству, а не частным производителям, для успешной работы которых государство потому и не спешит создать условия. В чем и кому есть прок от нынешней зарубежной помощи, хорошо видно по баснословным ценам на продающуюся в государственных магазинах библию, присланную из-за рубежа для бесплатной раздачи верующим.

Подлинной помощью России были бы не столько займы и подарки ее правительству, сколько прямое и самостоятельное участие иностранцев в нашем производстве и торговле. Понятно, частные предприниматели пойдут на такое участие лишь при возникновении в стране настоящих денег, реальных гарантий от новых социалистических конфискации и защите от якобы независимых рэкетиров. Но зарубежные бизнесмены

ввергли бы отечественные предприятия в экономическое соревнование и, в той мере, в какой ушла бы возможность устранять конкурентов силовым путем, вынудили бы их к развитию, что и стало бы главным выигрышем России от реформ. Чтобы требовать гарантий для иностранного частного капитала, западным правительствам надо осознать, что это и было бы самой действенной помощью рядовым людям России.

Что же до чистой благотворительности, то она тоже принесет пользу только если дары будут поступать не чиновникам, государственным или "общественным", а непосредственно вручаться иностранцами нуждающимся, старикам, детям, кормящим матерям, больным, инвалидам. Иначе благотворительность идет не по адресу и служит не тому, чего хотели доброжелатели.

Помощь России нужна прежде всего, чтобы одолеть внеэкономические привычки. Поэтому ее результаты всецело зависят от ее формы. Важно различать, помогает ли зарубежная помощь становлению у нас стоимостных отношений и демократии или, напротив, помогает лишь тоталитарному порядку, сбросившему старую кожу марксистской мифологии, перетерпеть настигший его кризис.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Только и слышно: "Нам ихние законы не писаны!" "Наши люди жить по ихнему не могут!" "Не сдадимся соблазнам потребительского общества!", "Сохраним национальную самобытность и традиции!" Словом, надо возвращаться, да только, не сговорятся куда, — то ли к Святославу, то ли к Ярославу Мудрому, то ли к Ивану IV, то ли к Екатерине II, то ли к Ленину, то ли к Сталину. Между тем, западный, а точнее сказать, буржуазный путь как раз больше поощряет, чем нивелирует, национальную самобытность. Именно буржуазные революции создают национальные государства. У нас буржуазная революция так и не возобладала, и русское национальное государство в новое время так и не возродилось. Не оттого ли мы с особым теплом думаем об идеализированных героях Киевской и Новгородской Руси или о царствовании Ивана III, когда кажется, вот оно сейчас и возникнет! Тем временем Англия и Франция, дважды родственные — и по кельтским аборигенам и по нормандским завоевателям, — сохранили глубочайшие различия и даже взаимную неприязнь. С другой стороны, на Запад перебрались миллионы наших сограждан, оказавшиеся там, вопреки патриотическим наветам, отнюдь не хуже других. За подлинную самобытность тревожиться нечего. Японцы по-прежнему японцы. Смею думать, и русские не пропадут, и Россия не сгинет. Только ведь и в самом деле наша страна — особенная!

В чем же ее особенность? И откуда? При Святославе и Ярославе Русь не слишком отличалась от других европейских стран. Потом, правда, были Чингис и Батый. Но новейший евразиец Лев Гумилев уже выговорил, что монгольского ига, которое, как сказано в любом учебнике истории, началось страшным разорением и длилось двести лет, вовсе и не было. Что же было? Шло, говорят, формирование единой евразийской державы. Но тогда и победы Ермака Тимофеевича над ханом Кучумом в Сибири или Скобелева в Средней Азии — лишь этапы процесса единения, а вовсе не процесса созидания Российской империи, выходит, и называть так нашу

страну не положено. Но ведь после Петра она именовалась так официально, это честное самоназвание, а не оскорбительная кличка.

Батыево наследство, конечно, укрепляло российский феодальный абсолютизм и феодальную реакцию. Но вот и турки завоевали Малую Азию и Балканы и у самой Адриатики отчасти отуречили славянских жителей, но Османская империя с Российской несопоставима. Видимо, дело все же не в самом стыке Европы с Азией, а именно в желании оставаться при этом в Европе, как ныне выражаются, в европейском доме, и главное в том, какой ценой пребывание там оплачивается.

Мысль о Европе, к которой, Русь принадлежала искони, об успехах еще недавно бедных племен, теплилась у нас в разных формах и временами пробивалась. Потомкам она предстает титанической фигурой Петра, всемирно-значимые позднейшие успехи русской культуры недвусмысленно подтверждают разумность его целей. Реже вспоминается, что этих целей он стремился достичь, не подрывая сложившихся устоев Российского ханства. Технические достижения европейского мира высаживались на феодально-крепостническую почву. В Англии или Голландии на заводах трудились продавцы своей рабочей силы, а в России крепостные мужики. Демидовский завод, выпускавший отличную продукцию, стал символом российского развития. Прогресс? Еще какой, какие только замечательные вещи не открывались и не совершались в России! И тут же глубочайшая феодальная реакция, поддержанию которой прогрессу как раз и велели служить. Хозяйство, державшееся насилием, принудительным трудом, стало главной особенностью российской жизни, наложившей печать на все другое.

Разумеется, подобные стремления, особенно в сельском хозяйстве, рождались не в одной России. Американские плантаторы завозили африканских рабов, да и в Германии до начала XIX века держалась крестьянская зависимость, пусть не столь жестокая, как у нас, — людей все же не продавали. Но нигде в такой мере принудительный труд не был опорой технического развития и промышленности, нигде так не крепла вера в возможность силой достичь любых желанных результатов: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Эту веру укрепляла и кажущаяся неисчерпаемость природных и людских богатств. Вера в насилие определяла мировоззрение самодержцев и революционеров, и масштаб претензий государства, и самый характер социальных отношений. Вера в насилие отсекала стремление к социальным компромиссам, к которым тяготела Англия, а за ней и вся Европа.

Советские граждане привыкли думать, что государство сознательно строит общественный строй. Но буржуазные отношения тем и отличаются от феодальных, что никакого особого строительства не предполагают, не считая, понятно, защитных правовых норм и заботы об их поддержании. До поры буржуазные отношения успешно развиваются внутри феодального порядка, да и потом нуждаются, главным образом, в устранении препон и запретов своей свободе. Буржуазные революции, собственно, и состоят в устранении таких запретов и препон, чему прежние господа сопротивлялись тем яростней, чем труднее было перейти к новым отношениям. Если не трудно, происходят "славные революции", компромиссы, реформы и мирная трансформация этого порядка в другой.

Привыкшие пользоваться принудительным трудом, наши господа особенно сопротивлялись, поскольку их утрата была невозможна. Но не

только крепостное право мешало у нас буржуазным отношениям. Сверх того их сдерживала крестьянская община, на которую уповали русские революционеры, считавшие небуржуазное синонимом социалистического, и, тем самым, наперед отождествившие социализм с несвободой, с принуждением. Характерно, однако, что и даже такие люди, как Столыпин, понимавший пагубность крестьянской общины для России, полагались на насилие, по принципу "сначала успокоение, потом реформы" А реформы, заменяя насилие, и должны бы служить успокоению.

Великие реформы Александра II, завершить которые помешало не только его бессмысленное убийство, не сокрушили феодальный абсолютизм. При сыне и внуке реформатора почва для революции лишь накалялась. Однако и Февральская революция не спешила с насущными переменами ни в экономической, ни в политической сфере, открыв дорогу большевикам, которые, хоть и не сразу, в ответ на половинчатые царские реформы совершили радикальнейшую контрреформу, монополизировав промышленность и сведя тем самым на нет конкурентную продажу рабочей силы, и одновременно заменив разрушенную Столыпиным и революцией общину колхозами. Страна обратилась в единый демидовский завод. Объективный смысл этого состоял в восстановлении феодально-абсолютистского порядка, только уже не в индивидуальных, как исстари, формах, а в коллективных, названных социалистическими.

Петровские варварские методы борьбы против варварства уже к XIX веку утратили эффективность. Под социалистическим флагом эти варварские методы были не только воскрешены, но ожесточены в надежде восстановить их эффективность. Поначалу, пока речь шла об отдельных проектах, казалось, что это и впрямь возможно. Но система в целом за семьдесят лет жестокого состязания с буржуазной, тем временем ощутимо реформировавшейся, пришла к кризису.

У Горбачева за плечами был опыт двух великих перестроек, петровской и александровской, тоже призванных вывести страну из системных кризисов. Обе подняли на поверхность множество дарований, принесли множество достижений, но даже и вторая из них не преодолела нашу пресловутую особенность — надежду на насилие. Горбачеву было еще трудней. Технический разрыв с Западом, который составляла уже не только Европа, но и Америка, и Япония, оказался еще разительней. Еще ясней было видно, что вызван он отнюдь не отсутствием в России светлых голов и умелых рук, но социалистическими контрреформами, не просто воскресившими, но усугубившими самодержавные порядки и внеэкономическое хозяйствование. При царях свободное предпринимательство хоть и было стеснено разными обстоятельствами, все же не запрещалось, а феодально-социалистическая система допускала свободную экономику лишь в качестве тенивой.

Связь промышленных успехов с общественным порядком в петровские времена отчетливо не сознавалась. При Александре II она была признана, и царь немало сделал, чтобы вывести страну из-под власти батыевых установлений. У Горбачева не могло быть надежд на петровские силовые методы, но и для создания условий к саморазвитию, отчасти свершенного Александром II, ему надлежало преодолеть куда более укрепленную стену монополизировавшего все и вся феодально-социалистического хозяйства.

Горбачев, однако, стену разрушать не стал, надеясь облегчить положение частными, хоть и существенными исправлениями. Он, должно

быть, видел себя российским Кадаром или даже удачливым российским Дубчеком, поскольку, видимо, счел, что вводить в Москву войска некому. Он только забывал, что власть венгерских либеральных коммунистов, проводивших хозяйственные реформы, гарантировалась памятью о подавлении восстания и присутствием советских войск. Советскому Союзу ждать гарантий было не от кого, а годы НЭП'а напоминали, что даже относительная экономическая свобода ведет к развитию, требующему большего и побуждающему к конфликту с властью, отказывающей в такой свободе. Об этом напомнил и китайский опыт на площади Тяньаньмынь.

Горбачев облегчил непомерную ношу страны, ослабил узду восточно-европейских государств, ушел из Афганистана, согласился, хоть и не безвозмездно для Германии, на ее объединение, перестал преследовать инакомыслящих, допустил немалую свободу слова и печати, — все это не только создавало условия для перемен, но и побуждало в них верить. Но, видимо, ощутив, что частными поправками не обойтись, Горбачев остановился. Он так и не рискнул ни порвать с коммунистической партией, ни разрушить всевластие советов, и все больше продвигал на ключевые посты реакционеров, которые, в конечном счете, его и выбросили, а опору среди сторонников реформ он, бездействуя, утратил.

Дело, однако, не в личной судьбе Горбачева. Несвершение реформ довело государственный строй и хозяйство Советского Союза до предельного напряжения. Давний пражский август обернулся московским и началось то, что и нам предвещала стрельба в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Баку и другим местах, — уличное противостояние власти и народа. Исчерпался централистский способ решения внутренних противоречий, и на сцену открыто вышли силы, противоборствовавшие прежде под столом, под покровом "морально-политического единства советского народа". Невнимательные наблюдатели приняли внезапную слабость централизма за конец коммунизма. Но актеры остались прежние, и противоречия тоже.

"Морально-политическое единство" — главный постулат феодально-социалистической системы. Остальные могут меняться хоть на противоположные, но на миру в правящей партии и в советах действуют заодно, по формуле "народ и партия едины". "Морально политическое единство" само и было идеологическим выражением нашей главной особенности — культа насилия. Насильственное соединение разных стран в единую, названную уже не империей, а союзом, насильственное монопольное хозяйство, насильственно-ритуальное исповедание идеологии, спущенной из центра, — вот основные черты советского строя.

Предопределенная кризисом неспособность центра и дальше поддерживать единство насилием вместе с неспособностью к компромиссным методам сотрудничества сделали предметом открытой борьбы целый спектр отдельных и особенных интересов, национальных, хозяйственных, культурных и других. Проявилось, однако, лишь то, что так или иначе проступало уже под покровом номинального единства. Ведь реально участвовать в новой общественной жизни могли, по преимуществу, коммунисты и комсорги, пусть отрекшиеся от прошлого. Одни сохранили верность лицемерному знамени, другие открыто выступили как фашисты, следуя великодержавно-шовинистической традиции КПСС, третьи искренне или фальшиво потянулись к социал-демократическим концепциям, из которых КПСС некогда родилась, чтобы потом их вытравлять. Но демократические стремления так и не вылились

в массовое движение, пробиваясь лишь в отдельных шагах отдельных фигур. Вот либеральных коммунистов и стали именовать демократами.

Другим парадоксом открывшегося противоборства оказалась центральная роль России и Ельцина в антицентралистских тенденциях. За ней ощущалось ущемленность, все более испытываемая массами русского народа, поскольку, хоть господствующее его меньшинство, конечно, занимало привилегированные места, грабя и другие народы, однако, как это было и при крепостном праве, плачтить приходилось народному большинству. Ельцин рискнул поддержать стремление других народов, в том числе входивших в Российскую Федерацию, к национальному равноправию и обратился к ним с немислимым в империи призывом: "берите столько самостоятельности, сколько осилите!"

Но хоть Советский Союз и был заменен содружеством, в это содружество пришлось вступить всем союзным республикам, кроме прибалтийских. Внутри Российской Федерации вскоре тоже началась борьба против якобы чрезмерной самостоятельности автономий и, тем более, против их права на выход из России. Федерацию хотели видеть состоящей не из русской республики и двадцати других, дружественных ей, но из, наряду с этими республиками, мелко нарезанных областей, уравниваемых с республиками в правах. Дошло до открытых предложений упразднить национальные образования с их формальной государственностью и перейти к губернскому, территориально-хозяйственному членению федерации. Как обычно, начали с евреев. Юрий Власов объявил, что они вселились в чуждую им Россию, и она вправе от них избавиться. Словно, не Россия включила в себя земли, на которых они задолго до того поселились и проживали уже столетия. Между тем, власовская формула взята за образец обхождения и с другими народами, присоединенными к России вместе с землями, на которых они обитали. Уже выселяют из Москвы лиц, как говорят, "кавказской национальности", одновременно желая защищать права русских на Кавказе и считать Кавказ Россией. Прежние нравы не только возобновляются, но обретают невиданную откровенность. И не в последнюю очередь потому, что за национальными проблемами различимы проблемы нашего насильственного хозяйствования.

На словах Россия отвергла коммунистический миф, коммунистическая идеология впрямь перестала быть официальной, но хозяйство, практическое воплощение этой идеологии, не дождалось реальных реформ. Либерализация цен по Гайдару, вылившаяся в очередное, хотя и гигантское, повышение цен, была лишь попыткой сбалансировать старое монопольное хозяйство с его неэффективным производством. Конечно, не Гайдар виноват, что цены были несообразны с реальной стоимостью, но ограничившись ценами, без одновременной и даже упреждающей реалистической трансформации других элементов хозяйствования, без возрождения свободной экономики и конкуренции, вывести хозяйство из кризиса не удалось, да и было невозможно. А нараставший кризис углубил распри в правящем слое, дружно не желающем коренных перемен, но расколовшемся в поисках выхода из сложившейся ситуации. Коммунистические и фашистские группировки, влиявшие на руководство Верховного совета, составленного в большой степени из партийных функционеров, отстаивали всевластие советов, то есть прежнее "единство" и определяемый им порядок. Другие, окружавшие президента,

под видом экономических реформ старались возбудить у командиров монополии личную заинтересованность в прибылях. С прицелом на это и проводилась приватизация, отнюдь не возвращавшая народу украденное государством. Возникла и третья тенденция, сочетавшая стремление сохранить прежний уклад со стремлением поделить циклопическую государственную собственность, которой управлял центр, между регионами, где управлять ею стало бы полностью местное начальство. К этой группировке в период схватки апеллировали и президент и Верховный совет, но из новой конституции упоминания о суверенитете республик, не то что областей, изъяты, и трудно предвидеть, в какой мере чаянья этой группы будут удовлетворены. Так или иначе, все это группировки правящего класса. Сил не только именуемых демократическими, но и являющихся таковыми на политической арене нет. А только они могли бы привести страну к продуктивному преобразованию и отделению хозяйства от государства. Ни Горбачёв, ни Ельцин не преодолели батыево наследство, не стали реформаторами даже в ограниченных масштабах Александра II, а ресурсов для развития с опорой на прежний механизм, как было при Петре, уже нет, Сталин и Брежнев их промотали.

Реальное положение плохо осознается уже потому, что демократический электорат не в силах добиться большего, чем содействие тому или иному представителю правящего класса. Маскарад партийных наименований и программ по-прежнему в ходу и, скажем, либерально-демократическая партия одинаково чужда и либерализму и демократизму, зато близка национал-социализму. Прояснить все это помогла бы, конечно, свобода печати, но и с ней не благополучно, а судят о ней по меркам прежнего единоголосного молчания. Считается, что ныне можно сказать вслух и напечатать что угодно. Однако, не говоря об административных и прочих прихотях сильных мира, печать стала делом коммерции, что ограничило ее у нас куда ощутимей, чем на Западе, с которого якобы берется пример. У нас ведь налогом облагается не прибыль, не превышение доходов над расходами, а сам по себе любой расход, любой платеж, и стоимость печатного дела многократно удорожается. Оно уже невозможно без субсидий, а их способны в основном дать либо государство, либо уцелевшие фонды КПСС. Соответственно, и процветает либо проправительственная печать, либо атакующая правительство с реакционных, коммунистических, фашистских или клонящихся к ним более умеренных позиций. Для демократической печати по сравнению с горбачевскими временами возможности упали.

Государство субсидирует печать отнюдь не пропорционально читательскому спросу, а ведь оно могло бы, скажем, хотя бы оплачивать возросшие расходы министерства связи по доставке именно того, что читатель хочет читать. Но нет, уже при подписке оплата разделена на оплату издания и оплату доставки, а дальше одним субсидируется и то и другое, а другим предоставляют справляться самим. Уже это сужает возможности печатного слова в прояснении общественного сознания.

К тому же уцелевшая печать почти избегает прямых дискуссий и полемики с другими изданиями, защиты своих суждений от критики, которой, впрочем, тоже не много. Как проправительственная, так и прокоммунистическая, профашистская печать строятся по советским образцам: свой голос — голос единственной правды, другой и знать не

хотят. Все это служит внедрению в массовое сознание множества сомнительных аксиом.

К примеру, почву легитимности власти видят в ее преемственности. А ведь уже воцарение Михаила Романова опиралось не на то, что он был внучатым племянником первой жены Ивана Грозного Анастасии и, при отсутствии других наследников, мог стать таковым, а на решение собора, избравшего нового царя. Тем более ныне власть делает легитимной народное волеизъявление. Особенно важно это для нас, привыкших к власти по праву захвата, оформлявшейся выборами из одного, как прежде, или двухступенчатыми, как выборы последнего Верховного совета. Каждому ясно, что требовать преемственности при переходе от коммунистического режима к свободной экономике означает остановить этот переход. А на преемственности настаивают многие, обнажая тем, сознательно или бессознательно, приверженность прежним порядкам.

Глеб Павловский после октябрьских событий писал: "Странно вспомнить — меньше месяца назад в Москве существовала законная власть и, казалось, государственная. Плохая, неэффективная, дурного стиля, но Законная, Государственная Власть". (Прописные буквы Г.Павловского.) Владимир Максимов и Андрей Синявский, еще недавно винившие один другого в сотрудничестве с ГБ, нынче объединились, чтобы бросить президенту: "Это парламент вашего народа!" и даже объявить: "Это был пока что первый, понимаете — первый парламент России", словно первого парламента России, Учредительного собрания, разогнанного в 1918 году, и не было вовсе, а Советы, избравшиеся после его разгона по созданной узурпаторами системе и под их бдительным оком, не были незаконными.

Конечно, президент не оправдал надежд, которые на него возлагало большинство российских избирателей, и я, по примеру суждения Глеба Павловского о Верховном совете, могу сказать, что его власть «плохая, неэффективная, дурного стиля». Но ничего не напишешь, она все же самая законная из наших властей, поскольку президент был избран на прямых альтернативных выборах подавляющим большинством голосов, — такого Россия никогда не знала, и уж Верховный совет близко к такой законности не стоял. Глеб Павловский сетует, что не нашлось решения без пролития крови, и я тоже горько сожалею об этом. Но ведь референдум и был самым надежным путем к бескровному разрешению противоборства, а именно Верховный совет отказался принять народное решение. Если даже ограничиться последними событиями, то разве атака на мэрию и Останкино, с которой побоище началось, была бескровной? Стало быть, осуждая Ельцина, стоило найти хоть какие-то слова осуждения и для Руцкого, отдавшего приказ атаковать до того, как аналогичный приказ отдал Ельцин. Ан нет, о приказах Руцкого, о вооружении, накопленном в Белом доме, о бандах туда собранных, у Павловского и речи нет.

Я опять же не более Людмилы Сараскиной доверяю официальным сообщениям. Но их ненадежность еще не доказательство верности любого слуха. Ну, можно ли себе представить, что покамест Людмила Сараскина рыдает в редакции "Московских новостей" о тысячах якобы тайно умерщвленных в Белом доме и тайно погребенных, их отцы, матери, жены, мужья, дети и ухом не ведут, не кричат на всех углах, что вот был такой человек и бесследно пропал в ту ночь? Да и разве оттого, что

погибших не тысячи, а "всего" около трехсот, их гибель менее ужасна? В августе 1991 Москва хоронила трех человек, а была в трауре, ведь и три жизни это слишком много за выяснение отношения между ветвями власти, и все эти ветви, хоть и по-разному, виноваты. Надо бы не ужасы нагнетать, а разобраться, отчего у нас без крови не обходится.

У Павловского, у Максимова с Синявским все просто: зло в Ельцине, пусть идет в монастырь, — в Соловецкий что ли? — и все образуется. Ну, что ж, почтенные авторы вправе предпочитать Руцкого с Баркашовым и Хасбулатова с Макашовым. Но как быть с большинством российских граждан, а вовсе не кучкой, как уверяет Павловский, голосовавших за Ельцина и на президентских выборах и на референдуме? Я не к тому, что большинство непременно право, и даже думаю, что лучше бы выдвинули и выбрали человека, который выступал за демократию до того как это стало дозволено, вроде, скажем, Гавела или Мазовецкого. Но народ думает не так, как я, и не то что за Ельцина проголосовал, но даже за его экономическую политику, которую я, к примеру, и не я один, но целый ряд людей бесспорно демократических убеждений, призывал не поддерживать. Но можно ли даровать народу хороший общественный строй, игнорируя симпатии и надежды самого этого народа?

Не пора ли отказаться от претензии решать за народ? Не пора ли прислушиваться к его внятому мнению, выраженному законным образом? Не пора ли признать, что политики, которых он отвергает, должны уходить, как это сделал в свое время генерал де Голль, если уж ссылаться на его пример, которым в Верховном совете пренебрегли. Для господина Павловского и подобных ему народного мнения как бы и нет. Они знают, как лучше, и с них довольно. А тем временем российская общественность продолжает рассуждать о национальной самобытности, о том, насколько хан Батый сделал для этой самобытности больше, чем Петр Великий, напрочь уходя от актуальных и ныне различий между Петром и Александром II. А ведь третьей попытке вернуть страну в лоно европейского развития удачу сулит скорее пример царя Александра, понятно, при большей решимости и последовательности, а не исчерпавшийся пример Петра, в его время и плодотворный, и пагубный.

Конечно, незавершенность великих реформ (а потом столыпинской) во многом обусловлена неразвитостью у нас демократических институтов и норм (а в случае Столыпина — противостоянием им), тем более, что ситуация не только повторяется, но хуже тогдашней. Серьезный демократ и даже либерал не отождествит себя и с самым добрым царем, пусть и даже защищая его от оголтелой реакционной оппозиции. Демократ и тут будет не только обличать реакцию, но и указывать власти на чрезмерные уступки реакции. Не столь важно, вынудит ли критика царя или президента провести реформы или их проведут оппозиционеры, придя к власти. Важно, чтобы реформы совершились. А у нас они не совершаются.

Достаточно ли внятно говорила демократическая оппозиция о бездействии Ельцина, о его постоянных уступках хасбулатовщине, о его ответственности за появление до принятия новой конституции конституционного суда, защищавшего прежнее беззаконие, о терпимости Ельцина к фашистской пропаганде и к созданию вооруженных банд, которые ведь не вдруг объявились в Белом доме? С президента было за что спросить, не дожидаясь его неготовности к преступным, но предсказуемым вооруженным действиям самодержавного Совета или

неспособности власти защитить мирных граждан. В России места для демократической критики, конечно, было немного, и пробивались лишь отдельные голоса. Но и после кровавых октябрьских событий, когда одни, в страхе перед вполне реальным торжеством советского фашизма, безоговорочно доверились президенту, другие, и прежде не смущавшиеся претензиями Верховного совета на единовластие, в ответ на установление единовластия президента, стали изображать самодержавный Совет с ничем не ограниченным спикером, первенцем русской демократии. А реальная демократическая оппозиция одновременно противостояла бы и президенту, и, куда резче, чем он сам, Хасбулатову, Руцкому, Зюганову, Константинову, Стерлигову и прочим. А все свелось к их противостоянию.

Андрей Синявский, еще в отдельной от Максимова статье писал: "мои старые враги начинают иногда говорить правду, а родное мне племя русских интеллигентов вместо того, чтобы составить хоть какую-то оппозицию Ельцину и этим хоть как-то корректировать некорректность его и его команды правления, опять приветствует все начинания вождя и опять призывает к жестоким мерам". По Синявскому интеллигенция и прежде оправдывала сталинские деяния, словно на расстрелах и на лагерных нарах она, в процентном отношении к интеллигентам, оставшимся живыми и свободными, не преобладала больше, чем другие социальные слои. По Синявскому это русская интеллигенция устроила охоту на Александра II, хотя ни Тургенев, ни Менделеев, ни тысячи подобных им и ориентировавшихся на них, такой охоты не устраивали. По старому советскому обычаю на целый общественный слой переносятся заблуждения и преступления какой-то его части или даже отдельных лиц.

Если судить объективно, определенная часть интеллигенции, а не только так называемых "простых людей", привержена Ельцину и его политике слепо. Он имел приверженцев не только в октября 93-го, а и в августе 91-го, когда выступал как демократ. Теперь я тоже потерял некоторых друзей, не желающих и слышать о пагубной недостаточности реформ Гайдара. В иных местах, где прежде тебя охотно и часто печатали, после августа не находят места. Но я не могу счесть себя единственным демократическим оппозиционером Ельцину и Гайдару, образовавшим центр политического спектра и позволяющих себя публично критиковать лишь открытой реакцией. А и кроме меня есть множество людей вполне сознающих, что их демократические взгляды не угодны Ельцину с Гайдаром так же, как Хасбулатову с Зюгановым, и именно поэтому в нашей печати критиковать Ельцина и Гайдара дозволено лишь с позиций Хасбулатова и Зюганова. Похоже, что скоро оппозиции к действующей власти и вовсе придется довольствоваться самиздатом..

Беда не просто в неразвитости российской демократии. Наша вековая особенность, привычный культ насилия, позволяет четко отличать реальную демократию от того, что рядится в ее цвета. Свободу печати и свободу слова одни используют для призывов к насилию, а другие, чтобы люди в спорах сообща разбирались в реальном состоянии страны и умов. Можно ведь что-то объяснить, кого-то убедить, но при всей убежденности в своей правоте не навязывать ее насильно. А если одни выдают за свободу слова свободу призыва убивать, не стоит удивляться, что кто-то с равным пылом хочет всякую свободу слова запретить. Спорить приходится и с теми и с этими, попадая под двойной огонь. Когда же вы

обличаете преступления и заблуждения одних, умалчивая о преступлениях и заблуждениях других, вы уже не аналитик, а политик. Политиков все больше, аналитиков все меньше. Но если опять прольется кровь, а к тому идет, политикам, и прежним и новоиспеченным, надлежит взять на себя вину за то, что возбуждали чувства, а не взывали к разуму.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Избрание эстонского парламента лишь теми и потомками тех, кто были гражданами Эстонии до оккупации, то есть примерно 60% нынешнего населения, изображается в российской печати проявлением крайнего национализма. Между тем искусственное большинство, созданное в парламенте Абхазии для депутатов, представляющих лишь абхазов, то есть 18% населения, изображается как должное, чуть ли не как единственный способ спасти малочисленный народ от растворения, в чем возможно и впрямь есть нужда.

Следует сразу подчеркнуть, что право абхазского, как и любого другого, народа на самоопределение неоспоримо, и сомнительно лишь отождествление абхазского народа с территорией, поименованной в сталинской конституции Абхазией. Выяснение отношений народа и территории, на которой он вправе самоопределиться, — это тоже относится не к одной Абхазии, — требует всестороннего учета разных обстоятельств. Ни состав нынешнего (может быть, поселившегося накануне) населения, ни историческая память, сами по себе не могут быть тут решающими, но уже их сочетание обретает убедительность. Русский поэт обозначил устье Невы как "приют убогого чухонца", но мы, вполне признавая право финского народа на самоопределение, вынуждены сегодня все же отметить, что уже почти триста лет в устье Невы стоит великий город, который от России не оторвать. Понятно, это исключение, но демонстрирующее сложность территориального самоопределения. А ведь оно у нас усложнено еще произвольностью границ сталинских республик, устанавливавшихся с пренебрежением к реальному расселению народов. Существенен в этой связи и самый характер второго заселения заселенных земель, — свершилось ли оно мирно, в силу долгих экономических отношений, или после захвата, и был ли самый захват давним, или произошел на глазах поныне здравствующих сограждан. Стремление абхазского народа к уточнению территории для самоопределения ради федеративных отношений с Грузией или даже отделения от нее, как и самоопределение любых иных народов в любых иных краях, не должно бы вызывать у грузин возражения. Однако трудно счесть самоопределением одностороннее провозглашение верховенства явного меньшинства без учета прав других народов, веками живущих на той же территории.

Жертвы в грузино-абхазском конфликте есть на обеих сторонах. На страдания абхазов наша печать живо откликается, и это естественно. Примечательно, однако, что она куда менее внимательна к судьбам эстонцев. Абхамам наша печать обвинения в этнократии не бросает, зато смело предъявляет его эстонцам. Опять же, не скрывая сочувствия "русскоязычным" в Эстонии, она отнюдь не сочувствует грузинам в Абхазии. Эти чудовищные различия объяснимы, видимо, тем, что гибель и разорение грузин воспринимаются в России не так живо, как тяготы,

обрушившиеся ныне на поселившихся в Эстонии после оккупации русских, украинцев, белорусов, евреев. Сочувствие "нашим" владеет не только Невзоровым. Даже прогрессивный российский министр иностранных дел требует международного расследования нарушений прав человека в Эстонии, не заикаясь о таковых в Абхазии, где выходцы из России воюют на стороне абхазов.

Попробуем, однако, видеть и правду и заблуждения и у "своих" и у "чужих". Еще до революции возникло замечательное понятие "интернационализм", предполагавшее равноправие всех народов и всех людей, независимо от их национальности, и цивилизованный человек сознает, что миф о правомерности интересов и традиций лишь своих единоплеменников, то есть национализм, пагубен не только для чужих, над которыми претендуют господствовать, но и для своих. Русский народ от подобных претензий особенно пострадал, ведь свое обращение в тюрьму народов, Российской империи пришлось оплачивать обращением русских людей в крепостное рабство, не менее тяжкое, чем национальное угнетение. Как же не быть нам приверженцами интернационализма и противниками национализма!

Но за семьдесят лет понятие об интернационализме, как и многие другие в нашем государстве, коренным образом изменило свой смысл. Теоретический пролетарский интернационализм стал маской практического великодержавного шовинизма, примата интересов и традиций одного большого народа перед малочисленными. А национализмом, соответственно, стали называть само стремление малочисленных народов уцелеть. В Прибалтике не зря говорили, что интернационалистом называют того, кто знает только один язык, а националистом того, кто знает два и больше. Вот и нынче по старой советской привычке стремление народа, в частности эстонского, к независимости сводят к национализму. А все не так просто.

Нынче в мире одновременно протекают два на первый взгляд противоположных, а на деле взаимообусловленных процесса. Растут связи между государствами и народами, сокращаются преграды к экономическому и культурному общению, возникают немыслимые прежде демократические общности вроде Европейского содружества. А одновременно продолжается начатое когда-то Нидерландской революцией вычленение национальных государств, охраняющих людей и народы от возможного ущемления их интересов и пренебрежения их традициями. Активизируются валлийское и шотландское движение в Англии, активно выясняются отношения между валлонами и фламандцами в Бельгии, разделились Чехия и Словакия, с кровью расходятся республики бывшей Югославии. Видя все это, наивно уверять, что пример Нидерландов утратил привлекательность, что время национальных государств прошло.

К тому же право наций на самоопределение вовсе не выдумка большевиков, как уверяет наша печать. Они лишь повторяли это общедемократическое требование на тех же началах, на каких до разгона повторяли требование созвать Учредительное собрание, и были столь же верны этому лозунгу. На деле это требование стало популярно как один из важнейших среди 14 пунктов программы мира, выдвинутой после I мировой войны американским президентом Вудро Вильсоном. А у нас не только Жириновский грозит учредить Прибалтийскую губернию, но и

люди, слывущие демократами, уверяют, что Советский Союз или хотя бы Россию вместо национально-территориальных образований надлежит делить на губернии или штаты. Словно можно, не считаясь с наличием вековых национальных общностей заниматься административным членением, словно наша страна это единая страна, а не скопище разных, так или иначе включенных в Российскую империю. Имперская структура и национальное неравенство, господствовавшее и до и после революции, а вовсе не мнимые недостатки или мнимая отсталость русского народа, мешали и мешают поныне сложиться российской демократии. Трагично, что Советский Союз не смог перерасти в содружество равноправных народов, подобное Европейскому сообществу, — ведь это могло бы ощутимо облегчить им всем преодоление тоталитарных порядков и переход к человеческой экономике. Но мало оплакивать несбывшуюся надежду, надо четко помнить, кто ее погубил, — а ее расстреляли в Тбилиси, в Вильнюсе, в Баку. Ее погубили те, для кого Союз был не сообществом равных, а строем покорных единому, возвышающемуся над всеми центру. Надо ли удивляться, что в ответ не то что недавно оккупированная Прибалтика, но и триста лет связанная с Россией Украина подняла голос в защиту независимости? Хотелось бы, чтобы хоть Российская Федерация сумеет стать содружеством равных и сохраниться в таком качестве. Но надо смотреть правде в глаза: избиение ингушей и другие, пусть не столь кровавые, великодержавные акции начали подрывать и эту надежду. Мы все не возьмем в толк, что переход от империи к содручеству возможен лишь через равноправие, через самоопределение желающих того народов, гарантирующее, что при объединении они не будут опять обречены на неравенство.

Игнорируется, однако, не только зловещая природа империи, но и природа современного национального государства, способного участвовать в межгосударственных культурно-экономических общностях. Твердо отстаивающая свои национальные интересы Англия давно уже населена не одними англичанами, и даже не одними валлийцами, шотландцами и ирландцами. Среди постоянных жителей Лондона в изобилии можно видеть индусов, пакистанцев, африканцев, пользующихся всеми правами британского гражданина. Нынешнее национальное государство, в отличие от родоплеменного, держится не единым происхождением граждан, но единством их интересов и признанием некоего минимума общих правовых и культурных ценностей. Мотивы расы, чистоты крови, происхождения важны ревнителям империй. Гитлер, готовя войну против других народов, напирал на чистоту немецкой расы. Аденауэр и Эрхард, заботясь о немецком народе, приглашали соучаствовать в создании его благосостояния югославских и турецких рабочих, гарантируя им те же права, что и немецким.

Отношение к другим народам и служит отличием современного национального государства от государства националистического. Невозможно отрицать, что стремление сербов освободиться от турецкой власти было справедливым, невозможно отречься от былого сочувствия сербским восстаниям под руководством сперва Карагеоргия, а потом Милоша Обреновича, от помощи, которую Россия оказывала становлению независимой Сербии. Однако ступив в наши дни на путь этнических чисток, физически уничтожая уже не то что турок, а потомков славян, принявших при турках мусульманство, сербское национальное движение

само уподобляется турецким завоевателям былых времен и, под руководством коммуниста Милошевича, действует националистически и агрессивно. Подобное происходит, если забывают, что современное национальное государство не вправе требовать от граждан большего, чем уважение своих интересов и традиций, хотя без этого минимума обойтись, конечно, не может. Ключ к решению национальных противоречий рушащейся империи — в четком обозначении этого минимума, позволяющего каждому сознательно и мирно определить свои отношения с возрождающимся национальным государством.

В сегодняшней Эстонии от этого отвлекаются на краях обоих флангов. Для крайних национал-радикалов Эстония — государство одних эстонцев, и все тут. Для "пролетарских интернационалистов" национальное государство небольшого народа, да еще предъясняющее желающим быть его гражданами какие-то требования — дурной сон. В свете их противостояния кажется, что люди в Эстонии и впрямь разделились на эстонцев и неэстонцев, на покоренный народ и оккупантов. На деле, однако, за отношениями эстонцев и неэстонцев различимо государственное противостояние.

Россия, привыкшая к имперским манерам, не стыдится объявить, что ее войска остаются на территории Эстонии, чтобы защищать человеческие права неэстонского населения. А как могут они эти права защищать, если не по испытанной в Абхазии и Приднестровье кровавой методе? И разве самая готовность прибегнуть к этому методу не свидетельство старых имперских претензий? Разве не разумнее, если уж дойдет, — покамест официальные комиссии ООН не видят в Эстонии нарушений прав человека, требующих даже и мирного вмешательства извне, — но если, не дай Бог, таковые обнаружатся, не лучше ли положиться на международные, ооновские силы? Не разумнее ли уберечь Россию от позора новой оккупации? И разве не эта угроза вызывает на другой стороне недоверие?

А оно, в свою очередь, мешает и эстонскому правительству трезво оценить соотношение народа и территории. По Тартускому договору район Печерского монастыря отошел к Эстонии, в составе которой и пребывал более двадцати лет. Для монастыря это было спасением, в России монастыри тогда громили, а он уцелел и сохранил естественность своего религиозного бытия. На него не легла печать показного благополучия, как на Киево-Печерский или Троице-Сергиевский, его не обратили в тюрьму, как Спасо-Ефимьевский. Пятьдесят лет назад, когда Эстонию сделали союзной республикой, этот район был включен в состав России, где монастыри уже не громили столь активно. И вот сегодня Эстония настаивает на возвращении ей Печер, поскольку и они были отторгнуты в 1940 году. Юридически все верно. И конечно, не малость то, что русская православная церковь так никогда и не поблагодарила Эстонию за спасение православных святынь, хоть святейший патриарх сам происходит из Эстонии и судьба монастыря ему введома. Но это ведь все-таки грехи государства и церкви, а не народа, который там живет. И хоть когда-то, конечно, там преобладали эстонцы, но сама постройка монастыря давно, еще до революции, изменила картину, и Печоры стали русскими почти как Петербург. Ну что бы Эстонии показать России пример неимперского мышления и выразить готовность при разрешении других проблем признать эти земли российскими? Думается, подчеркнутый

контраст российским силовым решениям побудил бы и Россию полнее отдать себе отчет, что земли Эстонии следует считать принадлежащими эстонскому государству.

Современность уже дала пример преодоления имперского мышления. После второй мировой войны многие немцы задумались о том, кто виноват в преступлениях национал-социализма. В Восточной Германии все свалили на козла отпущения, — винили нацизм, нацистское государство, нацистских военных преступников. Поскольку все они и впрямь кругом виновны, дело казалось исчерпанным, и остальные были освобождены даже от вопросов о собственной ответственности за преступления нацизма. А в Западной Германии задумывались именно о личной ответственности каждого. Скажу сразу: на мой взгляд, неверно думать, что весь немецкий народ и каждый немец, живший тогда, и, тем более, родившийся после, виновен в бедствиях России и Польши, евреев и цыган и т.д. Но размышления об ответственности за прошлое были не напрасны, люди ощутили ответственность за то, чтобы прошлое не возвратилось, за то, чтобы немецкое государство никогда больше не угрожало независимости других народов и государств. По собственной конституции немецкая армия теперь не имеет права даже находиться на территории других стран и применять оружие, кроме как для самозащиты, своей и своих союзников. Невинные в преступлениях прошлого люди отвечают за свое отношение к этим преступлениям, то есть отвечают за будущее. Эта ответственность и собирает в городах Западной Германии многотысячные демонстрации протеста против поднимающего голову фашизма. А в бывшей ГДР, где фашизм прежде всего и поднимает голову, подобных демонстраций нет.

Немецкий пример должен бы стать поучительным и для нас. Подчас всему советскому народу велят каяться, словно все мы поголовно виновны в преступлениях советского режима. Конечно, у нас за семьдесят пять лет было, наверное, еще больше конкретных виновников, чем у немцев за двенадцать, но неверно, что виновен каждый. Однако, может быть, потому, что мы изначально и не считали себя виновными и не думали об этом, мы так и не обрели чувства ответственности за то, чтобы подобного никогда больше не было, которое обрели многие немцы, ответственности за то, чтобы Россия не была больше ни в чем подобном виновата. Вот и не было у нас массовых демонстраций протеста ни после Тбилиси, ни после Вильнюса, да и протесты против поднимающего голову отечественного фашизма у нас, в отличие от Германии, тоже не бывают массовыми. Словно не мы воевали против фашизма, не мы его разгромили!

Мы со всей определенностью отвергаем стремления перенести на всех переселившихся за 50 лет в Эстонию ответственность за сговор Сталина и Гитлера и преступления нашего государства на эстонской земле. Не может быть и речи о признании тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, борцами за независимую Эстонию. Фашисты — они фашисты и есть, независимо от национальности. Но противостоять их влиянию можно только на почве недостающего нам чувства ответственности за будущее Эстонии, ответственности русскоязычной общины за то, чтобы уцелело эстонское национальное государство. Мы, конечно, будем требовать, чтобы это государство не ущемляло человеческие права национальных меньшинств, и, конечно, хотели бы, чтобы, признав статус независимой Эстонии, они

обрели в ней гражданские права. Но наши требования и пожелания не покажутся Эстонии убедительными без открытого признания каждым новым гражданином вины нашего государства в уничтожении государства эстонского.

Между тем, в обращении к эстонскому народу Учредительное собрание представителей различных организаций русскоязычной общины Эстонии выражается весьма отвлеченно: "Волей исторической судьбы сегодня в Эстонии более трети населения — неэстонцы". А как бы мы реагировали, если бы нам объявили, что тысячи ленинградцев погибли в блокаду "волей исторической судьбы"? Нет, простите, мы знаем, что их погубила воля Гитлера и безответственность Сталина! Совершенно так же мы знаем, чьей волей было погублено эстонское государство. И подлинная защита человеческих прав русскоязычного населения возможна лишь на почве признания этого факта и своей ответственности, — не за то, что было пятьдесят лет назад, а за то, чтобы эстонское государство возродилось сегодня. Защитить Эстонию от эстонских фашистов можно только защищая ее одновременно от наших собственных фашистов. Сознание этого в русскоязычной общине еще не возобладало, не стало всеобщим, что и понятно, поскольку сама эта община отнюдь не однородна.

Уже в предвоенные и, тем более, в послевоенные годы в Эстонию влилось немало людей, если не прямо участвовавших в геноциде, от которого пятая часть эстонцев либо погибла, либо вынуждена была бежать, то этому геноциду сочувствовавших, презиравших эстонскую культуру и язык, а землю Эстонии рассматривавших как пространство, подлежащее освоению. Замалчивать это — означает оправдывать это и лишь усугублять антирусские настроения.

Были и другие, приезжавшие в Таллинн, как в Пензу, по распределению или иным служебным обстоятельствам, к Эстонии и ее судьбе равнодушные, но не враждебные. Они, конечно, были пассивным резервом первых, но часто не сознавая того, и при этом часто работая на благо Эстонии и эстонцев.

А были и люди, сочувствовавшие Эстонии, предпочитавшие жить в ней не потому, что это легче, а потому, что общественные нравы там были все же не столь дикими, как дома. Солженицын не случайно написал: "А эстонцев сколь Шухов не видал — плохих людей ему не попадалось". Вспоминая, что Советский Союз был закрыт для выезда за рубеж, можно сказать, что переезд в Эстонию, равно как в Латвию или в Литву, был для многих формой эмиграции. При этом в Эстонию, как и в Латвию, вселялось больше людей, чем в Литву, и они составляют там сегодня немногим менее половины населения, тогда как в Литве лишь одну пятую, и можно согласиться, что предоставление им всем разом прав гражданства означало бы фактический отказ от создания национального государства и признание результатов оккупации необратимыми. Но нельзя признать, что справедливо отказать им всем разом в предоставлении гражданства.

Сложилась принципиально новая ситуация, которую надлежит до конца осознать всем ее участникам. Она, прежде всего, не должна рассматриваться, хоть крайние силы с обеих сторон толкают именно к этому, как противостояние эстонцев и неэстонцев. И эстонцы разные и неэстонцы, как видим, разные. И если эстонцев различия ведут к ориентации на разные политические партии, то неэстонцам надлежит задуматься, прежде всего, о своих индивидуальных отношениях с

возрождающимся эстонским государством, взвесить, готовы ли они, даже пользуясь всеми человеческими правами, жить вне отечества, принадлежать к меньшинству, пусть абсолютно полноправному. Это ведь не так просто: оказаться в другой стране. Осознать это особенно трудно людям, воспитанным в духе "пролетарского интернационализма", то есть в отрицании прав малочисленного народа на самостоятельность, мешающую якобы решению глобальных классовых задач. Коган и Яровой выразительно продемонстрировали эту позицию, и у них осталось немало последователей. Но ничего не поделаешь: независимая Эстония будет Эстонией, а не Россией, где эстонцам либерально разрешат говорить по-эстонски. Не только крайние национал-радикалы, но и такой весьма умеренный и известный своими симпатиями к России эстонский деятель как Э.Сависар считает: "Одни неэстонцы интегрируются в эстонское общество, другие останутся тут в качестве представителей своей национальности, но будут лояльными по отношению к Эстонской республике; третьи, которые так и не смогут примириться с концом советской империи, уедут". То есть одни станут русскими гражданами Эстонии, другие — быть может, гражданами России, живущими в Эстонии, а третьи вернутся в Россию. И совершится все это, понятно, не в один день, оттого и важны методы перехода к новому состоянию.

Мы привыкли связывать права человека с его гражданскими правами, и это, конечно, справедливо. Но при нынешних массовых людских перемещениях возникают переходные периоды, когда соблюдение прав человека временно предусматривает иной статус, в полной мере охраняющий эти права для всех жителей, все равно граждан или неграждан, откладывая, однако, на некоторый срок решение вопроса о гражданской принадлежности человека к тому или иному государству уже ради того, чтобы он имел возможность совершить свой выбор сознательно. Миллионы эмигрантов получают в Америке возможность проживания и огромную помощь, однако вопрос о предоставлении им гражданства США рассматривается лишь через пять лет после приезда. Разумеется, у нас в столь длительном выжидании нет нужды, но необходимо время, чтобы желающие стать гражданами Эстонии могли делом проявить готовность с интеграции в эстонское общество, а другие определить свою судьбу иначе.

Думается, если бы одновременно с выдачей эстонских паспортов остальным постоянным жителям выдавали бы вид на жительство, позволяющий, к примеру, выезжая из Эстонии, беспрепятственно туда возвращаться и гарантирующий другие права человека, процессы самосознания протекали бы спокойнее и реалистичнее. Людям легче было бы понять, что принятие гражданства сопряжено с взятием на себя обязанностей, что нельзя претендовать на гражданство в государстве, основы и смысл которого не хочешь признавать, а требуя прав без обязанностей, ратуешь уже не столько за права, сколько за привилегии, созданные оккупацией. Совершенно так же людям на другой стороне, считающим приезжих пусть не оккупантами, но все же нежелательными эмигрантами, стоит помнить, что это нельзя поставить им в вину лично, поскольку никаких действовавших на момент своего вселения законов приезжие не нарушали.

Виновно в происшедшем советское государство, и вина эта остается на его правопреемниках. Отказываясь признать эту вину и вытекающую из

нее обязанность делом помочь людям, по вине государства оказавшимся в Эстонии, — помочь и в возвращении, если они того хотят, и выплатой пенсии, если перебираться в Россию уже нет сил, и во многих других случаях, — наше государство, как всегда, хочет удержать выгоды от бывшего господства. А это как раз и портит отношения с обретающими свободу соседями.

Менее всего хотелось бы мне навязывать и даже предлагать универсальное решение обнажившихся национальных проблем. Я, напротив, убежден, что для сотен тысяч людей такого универсального решения и быть не может. Важно поэтому обеспечить свободу индивидуального выбора каждому и разъяснить обязанности, принимаемые на себя вступающими в эстонское гражданство. В России живет множество украинцев, белорусов, грузин, армян, евреев, латышей и эстонцев. Они владеют русским языком и добровольно приобщились к русской культуре, нередко это вообще единственная их культура. Им естественно считать себя, независимо от происхождения, российскими гражданами. Разве подобное не должно быть столь же естественным для эстонских граждан, независимо от происхождения, которое, конечно, ни в коем случае не может быть критерием при установлении гражданства?

Для вселившихся в Эстонию и их потомков сознательные индивидуальные решения еще могут стать средством преодоления ложного положения, в которое их безвинно ставит пятидесятилетняя оккупация. У выселенных из Эстонии, убитых или вынужденных бежать, уже нет средства преодолеть ее последствия. Между тем боль Эстонии, уж никак не менее свежая и тяжкая, чем у Сербии или Абхазии, не побудила возрождающееся эстонское государство пользоваться методами той или другой. Эстония явно хочет мирного преодоления последствий незаконного попражнения ее прав, и она вправе рассчитывать на то, что неизбежные при этом противоречия будут распутываться без ожесточения. Ведь если не случится ядерная катастрофа, военная или мирная, Эстония и Россия останутся там, где они есть, и равноправные связи между ними будут не просто полезны, но необходимы обеим сторонам. Вот никому и не стоит накалять страсти.

ПЕРВЫЙ УРОК

Кругом твердят о неожиданной победе Жириновского. А почему, собственно, неожиданной? Я и сам, уже после октябрьских событий, писал: «Противостояние консервативных сил реформам обостряется. И угроза фашизма не миновала». Но и после выборов нас уверяют, что такой угрозы нет. Аркадий Вольский, Алевтина Федулова, Александр Ципко и другие со страстью восклицают: «Не называйте этих людей фашистами!» Если последуем их призыву, избрание Жириновского президентом тоже объявят неожиданностью.

Нас уверяют, что фашизма в России не может быть, поскольку именно Россия разгромила фашизм. Это популярная, но неточная формула. На деле Россия разгромила не фашизм, а фашистскую Германию, точнее, нацистскую Германию. Тут подвиги ее солдат неоспоримы. Что же до фашистских, национал-социалистических идей и принципов, то они, напротив, все глубже проникали в жизнь советского государства, деформируя его утопический марксизм. Общие свойства российского

коммунизма и немецкого национал-социализма проступали еще до войны и привели даже к временному союзу двух держав, не только военно-промышленному, но идейному. Кто забыл или не знал, пусть почитает газету «Правда» и журнал «Большевик» за 1939–1940 годы. А что до победы, то еще в Древнем Риме сознавали, что порой побежденные диктуют победителям свои законы.

Вот и ныне демократии грозят не сами по себе 24%, проголосовавшие за Жириновского, но совпадение с ними успеха коммунистической партии Зюганова, отторгнувшей от себя все сколько-нибудь умеренное из имевшегося в КПСС. Партии Жириновского и Зюганова вместе с близкими им партиями аграриев и женщин России, даже не считая партии Травкина и гражданского союза (партии Руцкого), собрали более половины голосов. Закрывать на это глаза по меньшей мере неразумно.

Но «Кириллин день не кончен». И вовсе не потому, что новая конституция позволяет президенту пренебречь парламентом. Советник, президента Андраник Мигранян по образу и подобию большевиков давно призывал к диктатуре, которая якобы творит добро. Уверенности в этом, однако, и на сей раз быть не может — президент, имея чрезвычайные полномочия, с подлинными реформами не торопился и даже в нынешней избирательной кампании ратовавших за реформы не поддержал. Куда важней, что сеющий панику расклад голосов касается только половины избирателей. Другая их половина на выборы не явилась или вычеркнула всех, сознательно сделав бюллетени недействительными.

Чтобы верно оценить итоги выборов, нужно, прежде всего, понять, что оттолкнуло этих людей от участия в решении своей судьбы. На Западе многие игнорируют выборы, веря, что от смены правящей партии их жизнь не станет хуже. Таких у нас, пожалуй, нет. Но и на Западе, и у нас есть люди, не верящие, что от исхода выборов их жизнь может стать лучше. У одних вообще подорвано доверие к представительным институтам — по слову Ленина, «говорильне». Но другие не идут голосовать потому, что в избирательном бюллетене не находят никого, кто отстаивал бы их интересы. Часть таких людей, видимо, поверила Жириновскому, и только благодаря их приходу на избирательные участки выборы можно было признать состоявшимися, а конституцию утвержденной.

Но гораздо большая часть избирателей отвергла такой путь. Сохраняя приверженность радикальным экономическим реформам и разочаровавшись в топчущемся на месте правительстве, эти люди не хотят ни прежнего, зюгановского, порядка, ни «нового порядка» Жириновского. Что же могли они сделать, если самой радикальной в избирательном бюллетене числилась партия Гайдара, если демократической критики политики Гайдара в ходе выборов не было? Только не явиться на выборы или, явившись, испортить бюллетень.

Стоит заметить, что высокий процент воздержавшихся не помешал утвердить конституцию. А на весеннем референдуме требование всего лишь переизбрать депутатов, собрав куда больше голосов, не было утверждено под тем предлогом, что для решения конституционного вопроса надобно большинство от списочного состава, а не просто от голосовавших. Словом, соблюдай закон те, кто призван его соблюдать и, более того, охранять, судьи Конституционного суда, нынешние выборы могли бы состояться без кровопролития, без обстрела московской мэрии, Останкина и Белого дома, тоже отбившего охоту голосовать.

Примечательно и то, что разными методами выбирая депутатов нижней палаты, одни и те же избиратели выказывают совсем разные предпочтения. Только у коммунистов в обоих случаях примерно одинаковое число депутатов, сторонники прежнего порядка голосуют за привычное и делают это вполне сознательно. Перевес числа депутатов, избранных персонально, над избранными по списку заметен у аграриев, имеющих свои рычаги воздействия на сельских избирателей, и особенно у «Выбора России». Зато у Травкина или у «Женщин России» число избранных по списку превосходит число избранных персонально в пять, а у Жириновского — даже в десять раз. Людей порой прельщают даже фашистские идеи, но любопытно, что, выбирая конкретных депутатов, которым, они готовы довериться, эти люди предпочитают отнюдь не носителей полюбившихся им идей. Думается, это свидетельствует против установленной системы голосования.

Конечно, депутаты не должны скрывать от избирателей партийную принадлежность. Странно видеть, что четверть кандидатов объявила себя независимыми, утаивая свои политические симпатии, но выборы все же должны быть персональными по мажоритарной системе, и не в один, а в два тура, чтобы решало не относительное, а абсолютное большинство избирателей округа. Даже сегодня распределение партий по одномандатным округам свидетельствует о куда большем реализме и равновесии избирательских симпатий, чем это выглядит при голосовании по партийным спискам.

Трудно судить, к чему стремились создатели избирательной системы, но единственный реальный итог выборов в том, что новый парламент, похожий по составу на прежний Верховный совет, уже не может, как прежде, запросто отстранить президента. Это хорошо, поскольку укрепляет разделение властей, но, совершая столь крутую реорганизацию, стоило обеспечить и большее соответствие этих властей реальной воле народа, который отнюдь еще не так решительно склонился к реальным фашистам, как могло казаться в первый момент.

К сожалению, «Выбор России» ищет причину происшедшего все же сдвига в том, что демократы не выступили единым фронтом, то есть не поддержали «Выбор России». Вина за поражение взваливается на не желавших это делать «раскольников». Но раскол в демократическом лагере мог сказаться только на выборах по одномандатным округам, да и то лишь из-за установленной президентом системы выборов в один тур, о чем ни Гайдар, ни его приверженцы даже не упоминают. А при пропорциональных выборах по федеральному округу, где победа фашистов и коммунистов наиболее наглядна, раскол не только не сокращал числа демократических депутатов, но мог его увеличить, поскольку разочаровавшиеся в Гайдаре могли поддержать Явлинского, а иначе и эти голоса ушли бы к Жириновскому или пропали. Однако реформистские предложения других демократических партий были еще скромней, чем половинчатые предложения Гайдара, и не привлекли голоса оставшихся дома.

Словом, фашисты и коммунисты победили не из-за раскола демократов, как нас уверяют, а как раз наоборот, из-за того, что раскол был слишком робким, что в ходе избирательной кампании, начавшейся сразу после октябрьских событий, не успела сложиться социал-либеральная партия, оппонирующая Гайдару с демократической стороны

и открыто указывающая, что он не столько проводит реформы, сколько взвинчиванием цен укрепляет старое монопольное хозяйство, заведомо обреченное на кризис. Именно в появлении такой партии, ратующей за подлинную приватизацию и гарантии инвесторам, — надежда на повышение производства, необходимого рынку. Хотя фашистская и коммунистическая опасность велика, народ России, не явившись на выборы, показал, что в большинстве своем он не хочет ни фашистского, ни коммунистического, ни псевдодемократического правления. Он хочет подлинной демократии.

Но вместо того, чтобы это осознать, «Выбор России» настаивает на всеобщей поддержке его программы, которую уже именуют антифашистской. Андрей Козырев прямо призывает к созданию единого антифашистского фронта с коммунистами. Но единый фронт с коммунистами Зюганова, председателя фронта национального спасения, почти по всем программным пунктам идентичного партии Жириновского, не только не может всерьез противостоять фашизму, но свидетельствует об отказе от реформ, под флагом которых Козырев и его единомышленники агитировали избирателей.

Для реального противостояния фашизму нужно не частичное принятие его программы, за что сегодня ратуют многие вчерашние демократы, а как раз наоборот, преодоление странной близости якобы демократических программ фашистским целям. Непомерность президентской власти, хоть от нее сегодня ждут защиты демократии, на деле с еще большим успехом послужит фашистской диктатуре. Жириновский не зря поддержал новую конституцию. Еще больше уступок фашизму в пренебрежении правом народов, некогда присоединенных к Российской империи, на самоопределение и в отождествлении их автономий с областями собственно России. Не случайно большинство крупных автономий проголосовало против новой конституции.

Нечего хитрить, Россия — не Соединенные Штаты, где коренное индейское население было физически истреблено и страну вперемешку заселили люди разных национальностей и рас. В России, хоть и у нас коренное население некоторых областей частично истреблено, а частично ассимилировано и фактически слилось с русским, во многом сохранились исторические инациональные образования, и спокойствие в России невозможно без справедливого отношения к другим народам.

Не буду лицемерить, я тоже — сторонник самого тесного сотрудничества не только с Татарстаном или Чувашией, не только с Украиной или Казахстаном, но и с Грузией и Литвой, и даже с Чехией и Венгрией. На базе такого сотрудничества в перспективе возможно и то единство, к которому движется Европейский Союз. Но пора осознать, что такое единство достигается не учреждением Голландской или Португальской губернии, а сугубой и повседневной добровольностью. А там, где единство устанавливают стрельбой, как в Тбилиси, Вильнюсе или Праге и Будапеште, эффект достигается прямо противоположный.

Не только Жириновский и Зюганов, но и авторы соответствующего раздела новой конституции не хотят этого признать, и тем готовят России войны и русофобию, не выдуманную Шафаревичем, а всамделишную ненависть. Не так уж существенно, что одни зовут к восстановлению Российской империи, другие — Советское Союза, а третьи ограничиваются «наведением порядка» в Таджикистане и отказом

народам России в их суверенных правах, а тем самым и в праве на добровольное сотрудничество с Россией. Между тем только на базе добровольности и взаимности могут быть гарантированы и права русских за пределами их исторического проживания.

На Западе Жириновского именуют крайним националистом, Зюганова — национал-коммунистом. Но эти определения неточны. На деле партии обоих не национальные, а великодержавные, приносящие в жертву интересам империи и правящего в ней слоя, пусть даже в основном русского, коренные национальные интересы русского народа. Ведь именно русскому солдату придется погибать за фантастические прожекты господина Жириновского по выходу к южным морям (это дело уже было начато вторжением в Афганистан) или присоединению Финляндии (его затевал еще Сталин). Как подобное сказывается на повседневной жизни в тылу, тоже известно по опыту.

Вот почему, отказывая в доверии Гайдару, у которого за многолетнюю преступную политику государства платит не государство, а ограбленный им народ, добрая половина россиян не прельстилась национальными по форме посулами Жириновского, готового ввергнуть страну в новые войны, на которых опять погибать русским. Эти избиратели, повернувшиеся спиной и к Гайдару с Явлинским, и к Жириновскому с Зюгановым, и к президенту, и к федеральному собранию, составляют самую большую группу нашего электората. Поскольку ни одна из баллотировавшихся партий не пошла дальше так или иначе проявлявшегося в рамках КПСС, не предложила чего-то совсем иного, воистину диссидентского, половина избирателей не представлена в парламенте. Ее голос как бы не звучит. Но и президенту, и депутатам, не на словах, а на деле болеющим за страну, за ее национальную самобытность и за демократию как непереносимое условие народного блага, надлежит этот голос слышать. Еще важнее создать оппозиционную всем действующим преемникам советской власти социал-либеральную партию, в которой голос молчащего большинства сумел бы зазвучать. Безголосое покамест большинство может спасти Россию от фашизма, коммунизма и нищеты.

Эти три злейших врага современной России всегда заодно, даже если порой один выступает против другого. Не говорите, что надо терпеть коммунизм, чтобы избежать фашизма. Не говорите, что надо принять фашизм, чтобы избежать коммунизма. Не говорите, что надо терпеть нищету, чтобы избежать фашизма и коммунизма. Нет, и фашизм, и коммунизм порождены нищетой. Российские реформаторы — и Горбачев с Рыжковым и Павловым, и Ельцин с Гайдаром и Черномырдиным — с этим не считались. Они аннулировали деньги, блокировали вклады, взвинчивали цены, отягощали налоги, движимые расчетом, который может казаться верным, если отвлечься от того, что хозяйство ведут люди и для людей. Их подвела привычка к тому, что человек кругом в долгу у государства, а государство не считает себя перед ним в долгу. Ведь и впрямь задолжали не нынешние правители, а еще Николай II, Ленин, Сталин, Брежнев. Неужто все это валить на Жириновского, развязного клоуна и демагога, понятно кем выпестованного?

Фашизм победит, если мы не продвинемся дальше необходимого, конечно, его разоблачения, коммунизм будет возвращаться, если мы не продвинемся дальше необходимых, конечно, напоминаний о его преступлениях. И фашизм, и коммунизм потеряют силу, если человек

сможет, наконец, жить своим умом и своим трудом, если страна станет производить то, что нужно для жизни людей, а не для их уничтожения.

ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО?

(О книге А.Ослунда «Шоковая терапия в Восточной Европе и России». — М, 1994),

Как известно, книги имеют свою судьбу. Книга Андерса Ослунда, советника российского правительства, поступила в пролажу, когда автор оставил этот пост. О советской системе он пишет с пониманием. Но утверждает: «Одни только фанатики и невежды могли защищать эту систему, которая одновременно ограничивала экономическое развитие и запрещала личную свободу». Словно достаточно разъяснить, что «со всех точек зрения коммунизм явился величайшим провалом», и все наладится.

Но вот недавно по пятому каналу телевидения выступал Борис Гидаспов, некогда первый секретарь ленинградского ОК КПСС, а до того и поныне руководитель концерна «Технохим». По его словам, формула «что хорошо для "Дженерал Моторс", хорошо для Америки», над которой мы смеялись, подходит и нам или, как переложил интервьюер, «что хорошо для "Технохима", хорошо для России». Гидаспов даже добавил: «Но не наоборот!». «Технохим», как известно, причастен к производству ядерного оружия, то есть, по Гидаспову, «что хорошо для военно-промышленного комплекса, хорошо для России».

А именно непомерное развитие ВПК привело Россию к той бездне, заглянув в которую, не то что Горбачев, но и куда более ортодоксальные его товарищи по политбюро признали, что назрели перемены. Углядеть смысл происходящего мешает, однако, пренебрежение к исторической трансформации понятий КПСС, а точнее, РСДРП, из которой КПСС произросла, возникла как партия наемного труда. Но, захватив власть, она стала партией, монопольно распоряжавшейся имуществом государства и стала единственным работодателем в стране. И Гидаспов твердит свое не потому, что он фанатик или невежда, и не потому только, что его личные интересы связаны с ВПК. Тысячи таких, как он, и миллионы, которым система давала преимущества перед другими, не видят ее пороков, даже когда они приводят к кризису. Многие искренне верят если не в коммунистическую утопию, то в то, что пушки народу нужнее хлеба, не говоря о масле, верят, что силовой перевес вынудит зарубежье, дальнее и ближнее, отступить, отдавать свое добро нашему государству, с которым монополия отождествляет, конечно, не народ, а самое себя. Господин Ослунд противопоставляет им оптимальную систему хозяйства. Но смена строя — это не чисто экономическое решение, ее шансы определяются конкретным соотношением социальных интересов, и меняется лишь то, что властям не под силу удержать, оттого и уступки их часто временные.

Дорогостоящая силовая политика разоряет прежде всего собственный народ, а современная техника создает риск спалить родину в ядерном пожаре. Но Жириновский, зовущий русских солдат к южным морям, тоже не фанатик и не невежда, а тоже уверяет: «что хорошо для ВПК, хорошо для России». От такого порядка нищала страна, скудела культура, но он по сердцу уверенным, что величие страны состоит в ее военном потенциале, и надеющимся взять желаемое прежде, чем кризис подорвет и этот потенциал. Но господин Ослунд упускает из виду, что реформа — это не академическая проблема, и сторонники прежнего так просто не уходят.

Лучшие страницы книги о том, что шоковая терапия — кратчайший путь от внеэкономического порядка к экономическому. Доказательства и примеры, за вычетом разве утверждения, будто либерализация цен непременно должна предшествовать приватизации, вполне убедительны. Но ведь шоковой терапии, как ее понимает Ослунд, у нас не было, был только шок от непомерных, порой уже превосходящих мировые, цен. Смысл шоковой терапии в том, что отказ от субсидированных цен побуждает производство к рентабельности и стимулирует его на реальной, стоимостной основе. У нас же производство падает, и не от одного сокращения вооружений, а потому, что продолжается прежний, держащийся дотациями порядок. Дотации промышленности и прежде давались за счет непомерно низкого для развитой страны уровня жизни, а от кризиса этот уровень упал уже ниже минимума, но порядок не меняется.

Даже либерализация цен, которую Ослунд полагает свершившейся, не свершилась до сей поры. Цены на многие виды сырья, начиная с источников энергии, остались заниженными, и это мешало сбалансировать хозяйство, преобразовать его структуру, отличить дееспособные сферы от недееспособных. Егора Гайдара винят в монетаризме, в приверженности чикагской экономической школе. Но на деле он брал пример не с Милтона Фридмана, а с Николая Рыжкова, от действий которого проделанное Гайдаром отличается не столько качественно, сколько количественно.

Да и как им было действовать иначе, если в стране нет единой денежной системы, которая поддавалась бы осмысленному регулированию. Советское хозяйство держалось различием между деньгами наличными, своего рода квитанциями за труд, пусть и не вполне ему адекватными, но позволяющими приобретать товары потребительского ассортимента, и деньгами безналичными, условно-счетными, позволяющими как бы оплачивать товары производственного ассортимента, распределявшегося в основном директивно, как говорили, фондируемого. Наличный и безналичный рубль не совпадали в стоимости, по договоренности можно было дать один наличный рубль за два, а то и больше, безналичных. Так пытались сбалансировать экономику как бы рыночную, отвечающую платежеспособному спросу, и экономику внутрипроизводственную, командную, на которую дирекция, то бишь правительство, не щадила затрат. В узкие места внутрипроизводственной экономики допускалась третья, теневая экономика, также действовавшая по законам рынка, но еще ошутимее извращенным. Положительный эффект шоковой терапии возник бы при установлении единой экономики и единой денежной системы, посредством которой и вершились бы стоимостные отношения. Но ни Гайдар, ни Борис Федоров об этом не пеклись, да и Ослунд на этом не настаивает, и наша «рыночная» экономика живет как прежняя советская, только что правительство распределяет не фондируемые товары, а денежные ресурсы, к тому же часто мифические. Распределение так и не заменено эквивалентным обменом. В то время как инфляция съела, а власть ничем не компенсировала наличность, вложенную трудящимися в сберкассы, эта же власть регулярно компенсирует огромными кредитами дешевающую безналичность госпредприятий. И это экономическая реформа? Или все-таки попытка укрепить старый гидасповский порядок?

Я не к тому, чтобы уравнивать Гайдара или Федорова и, тем более, господина Ослунда с Гидасповым или Заверюхой, норовящим обрुбить

зарубежные продовольственные поставки, хотя отечественные колхозы и совхозы еще при Сталине проявили неспособность прокормить страну, что и побуждало Хрущева, а затем и Брежнева покупать продукты за рубежом. Разумеется, они делали это, чтобы уклониться от аграрной реформы, но все же, в отличие от Сталина или Заверюхи, не решались укрощать страну костлявой рукой голода. Конечно, не Гайдар или Федоров, вопреки бросаемым обвинениям, виновны в нынешнем кризисе. Мало того, без их мероприятий магазины, полупустые в 1985-м и почти пустые с длинными очередями за хлебом в конце 1991 года, едва ли бы нынче еще торговали, разве что завозили на «Технохим» и подобные предприятия «заказы», для рядовых сотрудников обычно скудные. Глядя на Украину, понимаешь, что, хоть мы и затянули пояса, Россия не в самом худшем положении среди республик Союза. В Ленинграде, знавшем блокадный голод, не ждут добра от Заверюхи и сознают, что Гайдар или Федоров принадлежат к лучшим из коммунистических правителей. Но нелепо принимать их за преобразователей строя. А господин Ослунд как раз это и делает.

Его ошибка проистекает из пренебрежения социальным смыслом государственного хозяйствования, забвением того, что государство, призванное быть средством социального компромисса, гарантией честного соревнования разных начал, давно стало у нас орудием власти одного сословия, стороной в общественных отношениях, выталкивая остальных на заведомо антигосударственную позицию, — а отсюда и коррупция и прочая преступность.

Приватизация необходима при переходе к иным отношениям не только по собственно экономическим причинам, хотя и тут ее роль больше, чем кажется Ослунду, но и потому, что в свободном мире общественные отношения держатся на частных действиях, начиная с того, что наемный рабочий не только покупатель потребительских товаров, но прежде всего продавец своей рабочей силы, заботящийся о качестве своего товара и учитывающий конкуренцию, подобно всем другим продавцам. Этим свободный рабочий отличается от раба.

Шоковая терапия не зря приводит к успеху там, где сознаются частные интересы. Чехия тут лучшее доказательство. Но и в Польше, которую Ослунд ставит нам в пример, хотя до реальной приватизации госсектора она не дошла, в отличие от нас три четверти сельскохозяйственного производства были в руках единоличников, да и в городе был частный сектор. Потому польские крестьяне и прокормили свою страну в переходный период, дали ей дешевые, быть может, и чересчур дешевые в сопоставлении с промышленными продовольственные товары. А наша приватизация, с которой не спешили, вышла насмешкой, а то и обманом.

Стоимость ваучера изначально была ниже десяти долларов, а ныне доросла до двадцати. Если поверить Анатолию Чубайсу, что приватизирована чуть не половина госсобственности, то, считая ваучер даже за двадцать долларов, стоимость этой половины, якобы переданной 150 000 000 российских граждан, составит три миллиарда долларов, то есть окажется равна подачке, которую МВФ дает нам на год. А стоимость всего имущества России равна, стало быть, всего-навсего шести миллиардам! Ну кто же в здравом уме и твердой памяти в такое поверит? Не будем даже выяснять, как шло распределение, кому какая часть досталась, что получили обыкновенные люди, а что командиры производства. И так ясно, что монопольное государственное хозяйство,

стоящее куда дороже, большого ущерба от такой приватизации не потерпело, а потому и управляют им по-прежнему директивно, прямыми распоряжениями правительства. Владелец шахт, по три месяца не платящий шахтерам, должен бы объявить себя банкротом, но наше государство не признается в своей несостоятельности, не отдает и не продает имущество, которым не способно рационально распоряжаться. Это значит, что властная элита политически не изменилась, хоть выступает в новом платье короля.

Известный обозреватель Дмитрий Фурман припомнил недавно, как чиновнику, пожаловавшемуся Сталину, что с писателями трудно работать, вождь ответил: «Других писателей у меня нет, хотите работать — работайте с этими!» Это, понятно, шутка, поскольку треть имевшихся у него писателей товарищ Сталин уничтожил физически, а немалое число остальных обрел на писание в стол. Но обозреватель счел возможным сказать, что и другой политической элиты у нас нет и вроде быть не может.

Но если нынешняя политическая элита состоит из одних бывших коммунистов да комсorghов, то, даже не ставя под сомнение их жажду преодолеть вчерашние заблуждения, легко сообразить, что люди, и вчера, и позавчера тех заблуждений не разделявшие, в элиту по-прежнему не допускаются, разве что как редчайшее и показное исключение. Для давних приверженцев либеральной демократии в нашей политической жизни места все еще нет. Не случайно само понятие «либеральная демократия» отдано Жириновскому, который обещает опять установить однопартийную систему. А если интеллектуальная собственность охраняется законом, прокуратура и суд должны бы запретить этому господину именовать себя либеральным демократом. Это столь же противоправно, как если бы он именовал себя Александром Пушкиным или Николаем Лобачевским.

Несоответствие обозначающего обозначаемому мешает людям разбираться в происходящем и даже властям, тому способствующим, оно выходит боком. В Петербурге на выборы в городское собрание пришла четверть избирателей, в половине округов выборы не состоялись, и собрания, как органа власти, не существует. Говорят, люди устали. Но на Украине, где устали еще больше, люди на выборы шли, потому что у них был реальный выбор. А у нас, словно нарочно издеваясь над законом и избирателями, представители окружных комиссий зачитывали по телевидению биографии, а самих кандидатов никто не видал. Да и программы их были полны одинаково красивых обещаний, вот только ни слова о том, какими средствами и на какие средства обещания будут выполняться. И хотя цензуры нет, типографская монополия, непомерные налоги на печать и фантастическая плата за доставку, многократно превосходящая стоимость любого издания, сводят свободу слова на нет, и кандидаты не могут себя показать, а мы их разглядеть. Вот мы и возвращаемся к выборам без выбора, хоть в бюллетене 19 фамилий. Но люди уже не хотят совершать обряд голосования, они хотят выбирать. А подлинных демократов, способных осуществить реальные перемены, в нынешних обстоятельствах и не заметишь.

Тут мы с другого конца возвращаемся к бессилию нашего зарубежного доброжелательного советчика, да и самой надежды заменить реалистическую политику социальной инженерией. Господин Ослунд верно пишет о том, какие экономические отношения нужны стране, не желающей отставать от других ни в науке и производстве, ни в социальной

защите и благосостоянии граждан. Но его добрые советы пошли бы на пользу только если бы одновременно миллионы требовали от Ельцина и Гайдара реформ с той же твердостью, с какой непримиримая оппозиция требует отказа от них. Господин Ослунд не исследует политическую борьбу, в ходе которой центристы Ельцин и Гайдар отступали под натиском реакции уже потому, что не ощущали натиска с другой, демократической стороны и могли представлять самих себя чуть ли не радикальными демократами. Сегодня торжество реакции легко оформить как обещание больше не ссориться и соблюдать соборное единство. Но причины экономического кризиса от этого не перестанут действовать. Чтобы с ними совладать, нужно учесть стремление не только коммунистов, нынешних или бывших, но и семидесяти пяти процентов избирателей, никого из нынешних деятелей не признающих за своего, и потому не явившихся на выборы.

Но даже и доподлинно либеральное движение едва ли сможет воспользоваться советами господина Ослунда. Совершенная под флагом шоковой терапии попытка сбалансировать государственное хозяйство за счет рядовых людей, а не государства, повинного в кризисе, надолго скомпрометировала шоковую терапию. И книжка останется памятником еще одной упущенной возможности зажить по-человечески.

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?

О чем поведало происхождение Жириновского? Дискуссия началась в № 15.

Михаил Горелик обличает американцев, раскопавших, что Владимир Вольфович вовсе и не Жириновский, а Эйдельштейн. Раскопавших, по мнению Горелика, в надежде таким нехитрым ходом отвратить избирателей от популярного антисемита.

Марина Шакина на соседней странице справедливо заметила, что надежда эта пустая, поскольку «еврей, разделяющий их (черносотенцев. — П.К.) оголтелые идеи, — как бы уже и не еврей». Но и она, к сожалению, не углядела, что и американское агентство, и наши газеты ставят в вину Владимиру Вольфовичу отнюдь не его еврейство, чем и отличаются от помянутого Гореликом министра, успевшего объяснить, что нерусскому нечего радеть о России.

Впрочем, уверяя, что взгляды министра, поскользнувшегося уже не только на еврейском, но и на мусульманском вопросе, свойственны всем, считающим себя демократами, Горелик явно хватил через край. Опроса он не провел, и уж тем паче нет причин клеймить сообщение Ассошиэйтед Пресс, разве что признав антисемитизмом самое упоминание о существовании евреев.

Попробуем разобраться. Допустим, Жириновский, не скрывав своей еврейской фамилии, говорил бы о евреях все, что говорит. Его суждения не стали бы верней, но можно бы предположить, что они искренни. Мало ли американцев, на все корки бранящих американский народ, немцев, бранящих немецкий, русских — русский.

Нет числа тем, кто «проповедует любовь враждебным словом отрицанья». Понятно, всему свое место и время. Русский, бранящий русских как таковых, когда фашистская армия выходит к Волге, чтобы дальше ринуться к южным морям, уважения не вызывает. Соответственно и еврей, бранящий в аналогичных обстоятельствах евреев как таковых, уважения не вызывает.

Допустим, с другой стороны, что Жириновский скрыл еврейскую фамилию, но наперед очистил свои речи от нападок на евреев. Опять же его речи не стали бы лучше, но происхождение не имело бы к ним отношения и можно бы лишь согласиться с Мариной Шакиной, справедливо говорящей о недопустимости применения в споре ЛЮБЫХ аргументов.

Но перед нами третий случай. Господин Жириновский скрывает свое происхождение, но мечет громы и молнии в других людей такого же происхождения, грозясь лишить их родины, свободы и жизни, то есть устанавливает одни нормы для себя, драгоценного, и совсем иные для других. Вот на что, а вовсе не на еврейство как таковое указывает американское агентство.

Ну допустим, опять же для понятности, что некто мечет громы и молнии против приема в гимназии «кухаркиных детей», скрывая, что его собственная мать кухарка. Но разве напомнить тому политику, что он сам — кухаркин сын, значило бы проявить чванство? Сравнение это особенно уместно, поскольку ограничение приема в гимназии «кухаркиных детей» у нас осуществил тот же министр Делянов, который установил процентную норму для евреев.

Согласно господину Горелику, «следует не ковыряться в анкете, а смотреть на программу политического лидера». При этом Горелик признает, что программой отнюдь не снимается вопрос, не надует ли господин Жириновский людей, за него голосовавших. Но, чтобы это выяснить, не надо ждать, куда Жириновский станет президентом.

Кое-что видно и сейчас, конечно, не по национальности, но и не только по политической программе. Ведь у нас можно не моргнув глазом сменить не только национальность, но и политические взгляды, как это уже делали и господин Бабурин, и господин Константинов, и сам господин Жириновский, начавший политическую жизнь с иными лозунгами. Да и нынешнее название либерально-демократической партии разве хоть в чем-то соответствует речам ее лидера?

Избирателям мало программ — чего только не обещали при Сталине или при Хрущеве — избирателям надо убедиться в искренности и честности тех, кому они отдают голоса. Давно сказано: единожды солгав, кто тебе поверит? Когда юный Володечка, присваивая фамилию прежнего мужа матери, отодвигался в паспортном столе от своего папы Эйдельштейна, уже проступали его замечательные свойства, которые ныне ошеломили мир. Ассошиэйтед Пресс оповестило нас не о национальности Жириновского, а о его хамелеонстве.

Наши газеты, перепечатывая это сообщение, побуждали голосовать против Жириновского не потому, что он еврей, а потому, что это повзрослевший Павлик Морозов. Вот и подумаем, надо ли вместе с господином Гореликом радоваться, что народ не побоялся голосовать за еврея, или горевать, что он не побоялся голосовать за Павлика Морозова.

Кому было бы выгодно скрыть правдивое сообщение солидного агентства? Не тем ли, кто, подобно Горелику, именуется неугодные русские издания «еврейской прессой»? Но разве сама эта лексика не проясняет истинного смысла защиты от антисемитов, да еще американских, не кого-нибудь, а именно господина Жириновского? Или работа у них такая?

ПЕРВОХРИСТИАНАМИ БЫЛИ ЕВРЕИ

Жаль, что Ю.Буйда в хорошей статье «Школа зла» («НВ» № 37/94) не напомнил читателю о времени и обстоятельствах возникновения констатируемого им евангельского антисемитизма. Евангелия сперва ведь вовсе не были, да и не могли быть, антиеврейскими по той простой причине, что возникли и поначалу распространялись в еврейской среде, где противостояние Ветхому завету и приверженность Новому вызывали конфликт не с чужим племенем, а с традиционной религией. Христианство возникло как новая еврейская религия, подобно лютеранству, возникшему потом как новая немецкая религия. Противоречия иудаизма и христианства долго были внутриеврейской проблемой. Лишь с распространением новой веры среди других народов, после принятия ее римскими императорами, после Никейского собора, то есть лишь в IV веке, новая религия стала превращаться в государственную и при канонизации священных книг, то есть их отборе и редактировании, антииудаизм однозначно трактовался как антисемитизм.

Тяготение к начальному христианству возрождалось не раз и по-разному. Оно очевидно прежде всего в Реформации. Оно проявлялось и в католицизме, где в наши дни на папском престоле оказались Иоанн XXIII и Павел VI, сделавшие существенные шаги навстречу реальностям человеческой души и жизни. Сопоставимые порывы случались и в православном мире — и у Владимира Соловьева, и, по-иному, у Льва Толстого. Но по ряду причин — от старинного двоеверия до неодолимой власти государства, и царского и советского, православие, на Руси изначально принятое уже как государственная религия, так до сих пор и не приобщилось к свободной вере бедных еврейских рыбаков, окружавших Христа. Поэтому лицо православия сегодня и определяет митрополит Петербургский и Ладужский Иоанн с его зоологическим антисемитизмом. А православный священник из евреев Александр Мень безнаказанно убит «неизвестными». Беда не в обрядовых отличиях православия, а в том, что оно не освободилось от феодальных привычек.

Справедливо вспоминая митрополита Илариона, принявшего понятия о законе и благодати от государственного византийского православия, стоит помнить, что православных иерархов именно такими и любит, и поощряет наша мирская власть — и давняя, и недавняя, и нынешняя.

ТРИ СТОЛЕТИЯ ЖИЗНИ

На склоне лет обзревая написанное — а оно составило в полном собрании сочинений семьдесят томов, — Вольтер, говорят, воскликнул: «С таким багажом до потомков не дойти!» Да и багаж был пестрым: философия не оригинальна — с Кантом не сравнишь, а художественные творения, довольно рациональные, шансов долго жить не имели. Во всяком случае, в России в поле зрения широкого, и то не чересчур, читателя уцелели разве что некоторые философские повести. Опять же с Шекспиром не равняем. Тем не менее, по влиянию на потомство, по присутствию в его памяти, Вольтер не уступит никому. Слово «вольтерьянство» просто вошло в русский язык и более века обозначало всякое вообще свободомыслие. Да и в наши дни, когда, казалось бы, философия Просвещения, признанным лидером которой он был, и самая

надежда на торжество разума, снова, с еще большим пылом, чем в пору романтизма, отвергаются, фигура Вольтера сохраняет власть над умами.

Я гляжу на скептическую улыбку, изображенную Пушкиным, для которого Вольтер в юности был первым поэтом, или на эрмитажного Гудона, и досажую, что на моей памяти в моей стране подобного человека не было. Вольтер пленяет не мудростью или художеством, как Шекспир или Кант, а самым своим примером, самым своим страстным участием в жизни. И дело не только в том, что он был гений, — гениями человечество легко пренебрегает, и Вольтер тоже знал тюрьму, и горечь эмиграции, в которой протекла большая часть жизни, и книги его сжигали, и даже отказали ему в праве быть погребенным — пришлось хоронить тайком. Но его пример драгоценен потому, что преодоление феодального порядка — не личное дело. Он помог его осилить родной Франции, а потом то же самое начали другие народы, и опыт Вольтера обнажал проблемы, с которыми в девятнадцатом и двадцатом веках приходилось и еще приходится иметь дело.

Вот, казалось бы, такой наш самобытный вроде бы вопрос — Россия и Запад. Сколько сказано слов, как поныне поносят западников! А Вольтер ведь и был их первым защитником. Только Запад тогда был крохотным, и его еще не называли Западом. Это была Англия, где Вольтеру пришлось скрываться от преследований, да еще Голландия, где он тоже побывал. В Англии он написал книгу, вышедшую сперва в английском переводе под названием «Письма об английском народе» и лишь потом в оригинале как «Философские письма об Англии». Вот ее-то и сожгли на родине. Вольтер противопоставлял Англию родине: в Англии не одна, а множество религий, и государство уже не абсолютистское, и английский крестьянин живет лучше французского, и свободы больше, — как он потом писал: «В Англии никто ни у кого не спрашивает позволения думать». И хоть не все, конечно, ему в Англии было по вкусу, Вольтер хотел для своей страны подобного порядка, потому что он свою страну любил и желал счастья своему народу.

Конечно, Франция уже давно сама стала Западом. Но как не вспомнить Вольтера, наблюдая, что в других странах — и у нас, и в Иране, и в Китае — вся эта история повторяется, а нас уверяют, что западное нам чуждо?

Или, опять же, борьба за права человека. Разве не Вольтер, именно ради перехода к другому общественному порядку, был ее инициатором? И ведь его дело не ограничилось посмертной реабилитацией Каласа или спасением Сирвенон. Он обнажил неправомерный характер прежнего уголовного процесса и тем вынудил его изменить. Само появление во Франции правосудия — в большой мере заслуга Вольтера. Он объяснил его как необходимость, и общество услышало. У наших правозащитников удачи лишь частные. Порой даже закон меняют, а практика остается прежней. Конституция не допускает преследования за разглашение наперед не указанной государственной тайны, а суд над Вилом Мирзояновым тянулся долго, и властям в голову не шло, что их неторопливость демонстрирует чисто декоративную природу нашей очередной самой демократической, разумеется, конституции. А Вольтер бы ткнул им это в нос, показал бы незаконность наших законов, не только сталинских, но и новейших. Но нет у нас Вольтера.

Когда я был студентом МГУ, нам объясняли, что Вольтер, при всех своих заслугах предшественника революции, до подлинно научного

понимания истории не дошел, и был полон противоречий. Действительно, он часто говорил вещи, кажущиеся несовместимыми. Именно Вольтер — и в исторических работах, среди которых «История Петра Великого» и «История Карла XII», и в общей форме, — показал, что история — не случайное стечение событий, а некий взаимообусловленный процесс. Он с особой настойчивостью говорил об историческом прогрессе, в который после происшедшего в нашем веке в России, в Германии или ныне в Боснии трудно верить. И он же одновременно написал «Кандида» и высмеял там философа Панглосса, подобно своему прототипу, готового при любом несчастье уверять, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Можно, конечно, сказать, что гениальный мыслитель щедро разбрасывал, но плохо связывал свои мысли. Однако лучше бы понять, что за дерзкими мыслями стоят реальные свойства жизни, которые не стоит абсолютизировать.

Двадцатый век не раз демонстрировал крушение разума, и люди отчаивались. А ведь разум терпел поражение там, где его абсолютизировали, где, увлекшись мыслью, в чем-то даже и верной, не хотели терпеть рядом никаких других мыслей, а главное, не видели, где полюбившаяся мысль перестает сопрягаться с реальностью. В сущности, разум проигрывал от недостатка разума. Прогресс пропадал от того, что, как выяснилось, знамя прогресса может схватить самая оголтелая реакция. Не зря Вольтер постоянно призывал к терпимости, и не зря его скепсис ставил под сомнение даже и его собственные идеи. Он ратовал за разум действенный, недремлющий, а не однажды утвержденный и догматизированный раз и навсегда. Это-то и вызывало наибольшую ненависть. Он не давал окончательных ответов на естественно возникавшие вопросы.

Отсюда и споры с церковью, стоящей на страже властей (ныне, пожалуй, больше всего и настраивающей людей против него). Что говорить, «Раздавите гадину!» — сказано недвусмысленно. Но ведь в то же время говорилось: «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать!». Вольтер спорил не столько о Боге, не столько о делах небесных, сколько о земном учреждении, сеющем нетерпимость. И вообще-то говоря, стоит задуматься, кто в этом споре был более христианином. В Ветхом Завете, который гонители Вольтера признавали боговдохновенным, прямо сказано: «Все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх?» Понятно, христианство, живущее верой в вечную жизнь души, уверовавшей в Христа, не принимает эти положения за истину, но они уцелели в Священном писании, поскольку сомнение — неременный момент познания, даже и божественного познания. Запрещая сомнения, вы требуете от людей слепоты, а если главное в том, чтобы люди были слепы, то нет и различия между верой в Иисуса с его гуманной проповедью, и верой в колдуна, в шамана, в Кашпировского, в Жириновского, в Мавроди.

Не то чтобы Вольтер был вовсе свободен от подобных соблазнов. Надежда на социальные перемены связывалась у него с просвещенным абсолютизмом. Почти как советник нашего президента Андраник Мигранян, Вольтер верил, что диктаторская власть способна сделать общество лучше, чем оно в наличных условиях может быть. Но, в отличие от нынешних сторонников доброй диктатуры, Вольтер держал глаза

открытыми, а совесть ранимой, и потому быстро разочаровывался во всех конкретных монархах, на которых сперва возлагал надежды, — и в Людовике XV, и во Фридрихе II, и, уже в конце жизни, в Людовике XVI, у которого разумный министр финансов не мог совладать с интересами правящего класса и вынужден был уйти, что отчасти и ускорило революцию, и уже после смерти Вольтера королю с женой пришлось взойти на эшафот. Монархи, вопреки ожиданиям Вольтера, преодолеть себя не могли, отчего и погибали. И он силился объяснить им это наперед.

Быть может, гениальность Вольтера больше всего и проявилась в способности глядеть в лицо жизни и сражаться за нее, когда требовалось. Вольтер понимал, что жизнь предполагает ежедневное столкновение с неведомым, что наши знания недостаточны. Он понимал, что жить, сознавая это, не каждому под силу, и легче свалить решение своей судьбы на других, кому-то довериться. Ощущение того, что «стихия бьет о берег свой», потом с особой силой запечатлел наш великий Тютчев, вымолвивший: «И мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». У Вольтера, боюсь, нет столь гениальных стихов, но способностью плыть над «пылающею бездной» он обладал как, может быть, никто в мире.

И сколько бы ни находилось у нас возражений тем или иным суждениям Вольтера, и пусть нас не увлекает его поэзия или драматургия, его пример, пример человека, родившегося триста лет назад и ощущавшего то, что терзает нас поныне, для разумного человека, столкнувшегося с неукротимой стихией, не стирается, не пропадает.

ПОЛИГОН?

На улицу Воинова, 18, в Ленинградскую писательскую организацию (ЛПО) пришло официальное письмо, адресованное не только председателю, не только секретариату, но всему нашему огромному правлению, то есть сорока девяти его членам. Как один из этих сорока девяти я тоже, стало быть, имею право на письмо ответить, и, поскольку грифа «секретно» на письме нет, имею право ответить публично. Не буду, впрочем, скрывать, что руководство ЛПО официально уже ответило, и его ответ возражений у меня не вызывает, я хочу лишь кое-что добавить. Однако все по порядку. Вот оно, письмо:

Государственный плановый комитет РСФСР.

Правление Ленинградской писательской организации Союза писателей РСФСР.

от 27.11.89. №54–227. О СОЗДАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЖУРНАЛЬНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР.

Совят Министров РСФСР поручил Госплану РСФСР совместно с заинтересованными организациями рассмотреть вопрос о создании единого самостоятельного журнально-издательского комплекса Союза писателей РСФСР.

Госплан РСФСР просит рассмотреть указанное предложение Союза писателей РСФСР и свои замечания до 1 декабря т. г. направить в Госплан РСФСР для доклада Совету Министров РСФСР.

Приложение: Копия письма Союза писателей РСФСР на 2 стр.

Заместитель председателя (подпись) Н. Ф. Самсонов.

К письму, действительно, приложена ксерокопия:

Союз писателей РСФСР №428 3 ноября 1989 г
Совет Министров РСФСР

В новых условиях экономической реформы, когда вводится в действие региональный хозрасчет, самофинансирование, когда республики получают большую самостоятельность, Союз писателей РСФСР, действуя в духе времени, обращается к Совету Министров РСФСР с просьбой о создании единого самостоятельного журнально-издательского комплекса Союза писателей РСФСР, цель которого — ликвидировать двухступенчатую подчиненность отдельных журналов и издательств, сосредоточить их руководство в одних руках — Союзе писателей РСФСР.

В настоящее время сложилось парадоксальное положение: центральные российские издательства, журналы, принося большую прибыль государству, в российский бюджет и в Литфонд РСФСР не вносят ни копейки. Установленный Советом Министров СССР порядок отчисления средств в Литфонд РСФСР не выполняется, и российские писатели, издательства и журналы не имеют возможности улучшить свое положение, направить часть прибыли на социальные нужды. Таким образом, ущемляются права почти пятидесяти тысяч писателей.

Предлагая создать единый журнально-издательский комплекс, секретариат правления Союза писателей РСФСР считает целесообразным включить в него центральные издательства, в частности, «Современник», «Детская литература», журналы «Москва», «Октябрь», «Наш современник», «Нева», еженедельник «Литературная Россия».

Передача этих издательств и журналов в ведение Союза писателей предусматривает и новый порядок хозяйствования, основанный на хозрасчете, новые подходы к распределению прибыли, большая часть которой направится в бюджет Российской Федерации. Предполагаемая реформа позволит заметно улучшить деятельность издательств и журналов, устранить промежуточные звенья, приблизит их работу к творчеству писателей, полнее обеспечит их интересы и пополнит бюджет Российской Федерации. Намечаемые меры отвечают духу перестройки, экономической самостоятельности издательств и коллективов журналов, поможет снять многие назревшие проблемы.

Председатель правления Союза писателей РСФСР С. МИХАЛКОВ.
Первый зам. председателя Ю. БОНДАРЕВ.

Отвечая заместителю председателя Госплана РСФСР Н. Ф. Самсонову, председатель ЛПО В. К. Арро среди прочего писал:

«Мы не считаем полезным увеличивать существующую государственную монополию на издательское дело еще одной, сосредоточенной в руках СП РСФСР».

Задача, на наш взгляд, заключается не в удвоенной централизации управления журнально-издательскими делами на республиканском уровне и создании нового административного аппарата для такой цели. Необходимо, напротив, провести последовательную децентрализацию в работе журналов и издательств на местах, в национальных автономиях,

крупных русских городах и литературных регионах России. Необходимо расширить их самостоятельность, свободу действий, подлинный хозрасчет с учетом местных, республиканских и общегосударственных условий и интересов».

Все это и на мой взгляд правильно, и хочется думать, что Н. Ф. Самсонов и председатель совета министров РСФСР А. В. Власов, к которому за помощью в укреплении своей власти над писателями обратились руководители республиканского союза, прислушаются к официальному ответу ленинградской организации. Нельзя, однако, согласиться, чтобы обсуждение столь важного вопроса осталось тайной от писателей и широкой общественности.

Ведь как интересно получается: только что, через десять дней после того, как С. Михалков и Ю. Бондарев отправили свое письмо в Совет министров РСФСР, 13–14 ноября они провели VI пленум правления союза писателей РСФСР, и вести об этом пленуме тут же распространились по стране и миру. Столь разные издания, как «Огонек» и «Литературная Россия», поведали одинаково устрашающую картину там происходившего. «Литературная Россия», как это ни парадоксально, еще больше опозорила высокое собрание, поскольку «Огонек» дал лишь некоторые броские фрагменты, да и то не все, а в «Литературной России», единомышленною большинства ораторов, явно не сознавали всего смысла произнесенных речей и печатали фрагменты не всегда столь же броские, но полней и наглядней демонстрировавшие лицо большинства выступавших. Вот я и задумался, случайное ли это совпадение — письмо, подписанное 3 ноября, и пленум, проведенный 13–14 ноября, то есть как раз тогда, когда письмо дошло и начало обсуждаться.

Конечно, мы живем не в ФРГ, где, как справедливо пишет в «Огоньке» доцент из Майнца Герман Андреев, организации, не исключаящие из своих рядов тех своих членов, которые высказывают расистские взгляды, считаются антиконституционными и немедленно запрещаются. У нас даже заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС В. Рябов, признавая, что лидеры общества «Память» «действительно разжигают национальную вражду» («Аргументы и факты» № 1 — 1990), исходит из того, что прочие члены этой организации и вся организация как целое за это не отвечают, и с удовлетворением отмечает, что они заняты «возрождением нашего культурного наследия и это можно приветствовать».

Поэтому я, в отличие от иностранца Германа Андреева, не удивляюсь, что никто не собирается распускать за антиконституционные действия Союз писателей РСФСР или хотя бы его нынешнее правление. Так же, в отличие от Германа Андреева, я высоко ценю выступление на пленуме Михаила Дудина и других московских и ленинградских писателей, остро сознающих, что «в условиях недостаточной развитости правосознания», которой страдает наш государственный аппарат, лишь открытое слово, обращенное к народу, способно защитить страну от экстремизма, остановить антиконституционные действия. Это ощущение своего долга, вопреки Герману Андрееву, отнюдь не унижает, напротив, оно возвышено благородным примером В. Г. Короленко или Эмиля Золя.

И все-таки я долго недоумевал: зачем понадобился С. Михалкову и Ю. Бондареву весь этот навсегда опозоривший их шум? Ну, захотелось им сократить число евреев среди членов союза писателей, хоть они там и в

явном меньшинстве. Так ведь еще со времен космополитической кампании 1949 года и даже раньше выработано множество способов добиться этого втихую, не привлекая внимания и даже утверждая при этом с трибун, что никакого антисемитизма у нас нет, а утверждения, что он все-таки есть, — клевета на советскую действительность. Конечно, с писателями трудней, чем, скажем, с научными работниками, отделы кадров тут не столь всемогущи — все-таки свободная профессия. Напечатает человек книгу, другую, привлечет внимание читателей, и неизбежно встает вопрос о его приеме в союз. Но ведь руководство не беспомощно, принимать можно годами, множество раз отклоняя «до следующей книги». Глядишь, кандидат и состарится, а то и вовсе помрет.

Зачем же было С. Михалкову и Ю. Бондареву, конечно же, не желавшим подорвать авторитет нашего государства и доверие мировой общественности к новой политике М. С. Горбачева, подыгрывать клеветникам, которым теперь остается лишь перевести отчеты и сообщения о пленуме на иностранные языки, и миру придется признать, что традиции «Союза Русского Народа» и «Союза Михаила Архангела» нашли продолжателя в лице союза писателей РСФСР. Трудно поверить, что Сергей Владимирович Михалков, так чутко воспринимающий малейшие политические повороты, мог на такое пойти за здорово живешь. Да и Юрия Васильевича Бондарева, хоть он, конечно, попроще Михалкова будет, в наивности не заподозришь.

Но, прочитав отправленное ими перед пленумом письмо в Совет министров РСФСР, я убедился, что о наивности не может быть и речи. Напротив, проведение пленума демонстрирует прекрасное понимание обстановки, в которой открыто объявить о своем грандиозном и радикальном замысле нет возможности. Как-никак на дворе перестройка, только и говорят, что о демократии, децентрализации, передаче власти на места, самостоятельности предприятий и так далее и тому подобное. А С. Михалков и Ю. Бондарев, как явствует отнюдь не из выступлений на пленуме, а из никому не известного письма в совет министров, тоже, повторяя все ныне модные слова, жаждут тем временем «сосредоточить руководство в одних руках».

Добейся они этого, и сам железный Ананьев не выстоит. Журналы и писатели попадут в полную зависимость от руководящих рук, еще более крутую, чем прежде. Совет министров недаром манят на свою сторону возможными поступлениями в российский бюджет, хотя справедливее, чтобы доходы от журнально-издательской деятельности поступали если уж не в общесоюзный, то в местные бюджеты. (Понятно — при сохранении полной организационной и литературной независимости.) Пусть деньги, заработанные ленинградскими писателями, идут на пользу Ленинграда, а заработанные иркутскими — Иркутску. Может, тогда на местах станут больше писателями дорожить. Да только роль литературных генералов при этом свелась бы к минимуму. Без монополии, без власти в одних руках невозможно дарить себе, любезным, огромные тиражи, сваливаемые потом в государственные библиотеки, и, поскольку государство эти нечитаемые завалы оплачивает, грести деньги бульдозером и тем же бульдозером сшибать других, обычно более одаренных, с литературной дороги. С откровенной защитой таких своих возможностей, понятно, не выступишь на пленуме. В наши дни трудно объявить, что ради сохранения собственного благополучия задумано всю русскую литературу стричь под

одну гребенку. Она-то как раз всегда блистала многообразием, в ней параллельно двигались такие разные люди, как Достоевский и Щедрин, Тургенев и Лесков, Бунин и Блок, и нет числа подобным противоположностям, порой даже не ставившим один другого ни во что, и скажи С. Михалков и Ю. Бондарев на пленуме открыто, что задумано всех призвать к ноге, пожалуй, и среди нынешних ораторов кто-то бы дрогнул. Вот пленум и взорвал дымовую шашку, а по главному вопросу, отнюдь не еврейскому, лишней демократии не разводили, а, как учит популярный ныне советский политолог Андраник Мигранян, укрепляли свою власть аппаратным путем, искали поддержки в Совете министров.

То потом выяснится, что бурные речи против евреев на деле направлены против русских талантов, что ораторы ратовали на деле за то, чтобы первым писателем России считался всем известный Юрий Бондарев, а не, скажем, «какой-то» Венедикт Ерофеев, и поныне доступный читателю лишь в малотиражных сборниках. Число евреев в стране и литературе под воздействием многих других акций, подобных пленуму СП РСФСР, и так сокращается, и ради этого позорить себя на весь мир российским писателям не стоило. Но давно можно заметить, что поскребешь антисемита, и обнаружишь врага демократии, сторонника авторитарного порядка, жаждущего под шумок антисемитских воплей унижить и растоптать собственный народ. Еще для Гитлера преследование евреев было полигоном, где испытывались средства запугивать и держать в узде другие народы, в том числе и собственный. Еще товарищ Сталин, тоже знавший в этом толк, признал, что антисемитизм — международный язык фашизма. Это признание помогает понять не только собственную деятельность Иосифа Виссарионовича, но и многое происходящее ныне.

Увы, российское дворянство пришло в упадок, а С. В. Михалков, носящий фамилию не менее древнюю, чем царь, этого уже не ощущает. А я даже не уверен, что сердце Сергея Владимировича так уж радуется. Я очень подозреваю, что на все это он пошел скрепя сердце из голого расчета. А на что он рассчитывал, как раз и показывает совместное с Ю. Бондаревым обращение в Совет министров РСФСР. Поэтому знать об этом обращении должны все, кому дорога судьба русской литературы. Право же, хоть оно и не так занимательно, как отчеты о пленуме в «Огоньке» и «Литературной России», прочесть его очень даже стоило.

КУДА ПЛЫТЬ?

1

Разочарование народа в политиках выдают за равнодушие к политике, и средства массовой информации, служившие было публичным раздумьям, опять говорят голосом власти, где нынешней, а где и вчерашней. Места для либеральной оппозиции нашей псевдо-либеральной власти почти нет. А социальные проблемы сведены к социальному обеспечению. Убрав коммунистическую декорацию и слышать не хотят о ее вдохновителе. Между тем, Маркс -- не только автор мессианского учения о пролетариате, теории стоимости, создаваемой лишь физическим трудом, и веры в неизбежность коммунизма. Его наблюдения и соображения, наряду с наблюдениями и соображениями Огюста Конта в XIX и Макса Вебера в XX

веке, ощутимо сказались на социологическую, - что не обязательно значит социалистической, - теорию. Его переплетение пронизательности и мифотворчества, распространившееся по свету, как некогда христианство и ислам, своим неожиданным поворотом захватило миллионы умов. Русские большевики, обрядившись марксистами, вместо того, чтобы демистифицировать религию, обнажить ее земные смыслы, ломали церкви и убивали попов. Ныне, вместо того, чтобы демистифицировать марксизм, обнажить его земную природу, партработники и чекисты идут крестным ходом, кощунственно и к вере в бога и к недавней идейности.

Сопоставление хозяйственной и социальной истории прояснило закономерности общества. Но упущение Марксом роли умственного труда в создании ценности (стоимости), выросшей, между тем, за его жизнь, привело его социалистическую теорию в прямое противоречие с объективным развитием буржуазного хозяйства, а благополучие рабочего класса оказалось в прямой зависимости от научно-технического прогресса, подорвав претензии на мессианство пролетариата и побуждая искать социальные компромиссы и устанавливать социальные гарантии.

Социалистическими объявили себя страны, отвергшие компромисс, заменившие его мудростью номенклатуры, установившие не капитализм, а тоталитаризм. В одежде мессианских монополистов власти выступал рабочий класс, правящая номенклатура располагалась за его спинами. И ее-то руководящая роль и тормозила в СССР стихийность научно-технической революции, состязательность и свободу, оставив страну бурно умножавшую свое хозяйство еще более отсталой от Запада, чем за сто лет до того, перед революцией. Все, кому не лень, толкуют ныне крушение СССР, как провал Маркса, не замечая что оно как раз случилось по Марксу, оттого, что производительными силами правили монопольные производственные отношения, поименованные социалистическими.

Беда, конечно, не только в том, что взгляды Маркса извратила сперва «марксистско-ленинская», а потом ждановско-сусловская идеология. Маркс был сыном своего времени и абсолютизировал его противоречия, по ходу развития капитализма не отмиравшие, но преобразовавшиеся. Не зря его теория распространялась преимущественно там, где буржуазные отношения еще только начинали утверждаться, но не в Голландии, не в Англии, не в Америке. Его представления, как участника потерпевшей поражение буржуазной революции 1848 года, об отношениях хозяина и работника не были свободны от феодальных традиций, пусть в Германии и не столь жестких, как у нас, отчего его обличения буржуазности легче воспринимались в странах начального капитализма с тяжелым феодальным прошлым, вроде России. В самой теории Маркса были предпосылки использовать ее как идеологическую опору неофеодального строя, в котором места рыцарей заняли партийные вожди, номенклатура. Разумеется, Маркс о таком обороте не догадывался, его не задумывал.

Наше общественное сознание долго довольствуясь обличением абсурдов советского хозяйствования, не спеша признать, что эта абсурдность вызвана не глупостью или бездарностью номенклатурных правителей, нередко, напротив, весьма смысленных, но коренится в самой природе сложившегося общественного порядка. Длительное время общество тщетно мечтало об улучшении порядка. Горбачев, признав, что так жить нельзя, потратил на «улучшение» шесть с лишним лет, а хозяйственный кризис тем временем катастрофически углублялся. Оттого

надежда на Горбачева и сменилась в народе неприязнью к нему. Про его смелую инициативу уже и не вспоминают. Он и сам к концу правления все больше окружал себя реакционерами из прежних, которые в конечном счете его и предали. Ельцин начал вроде еще смелей и даже отказался от прежней идеологии, но и он не дерзнул допустить буржуазные отношения хотя бы в той мере, в какой они действовали в полуфеодальной России Николая II. Подобно Горбачеву он тоже сдвигался к реакционерам. Тоже вызывал неприязнь не только у бывших коллег по ЦК КПСС, составивших непримиримую оппозицию, но и у тех, кто сперва на него надеялся.

Что более всего тяготит жителей России? Нерешаемый кризис, подрывающий стимулы к труду. Чего люди хотят более всего? Хотят какой-то стабильности. Ее хотят все за вычетом немногих, ловящих рыбку в мутной воде. Но желая стабильности, люди часто не задумываются, какой она должна быть и может стать в современном обществе с его благами, которых хотят все. Идеалы сложились как сочетание не сочетаемых свойств разных общественных укладов и все больше расходятся с повседневным бытием. А социальный механизм взаимодействия хозяйственной жизни и политической воли остается вне поля зрения.

2

В пренебрежении остается, прежде всего, коренное различие экономических и внеэкономических порядков. Греческое слово «экономика» обозначает всякое вообще ведение хозяйства. Маркс говорил о соотношениях экономики, как «базиса», с политикой и прочими «надстройками» преимущественно в связи с капитализмом, не очень входя в другие общественные устройства. В докапиталистическом хозяйстве, -- и «азиатском», и рабовладельческом, и феодальном, -- он признавал решающую роль за внеэкономическим принуждением. В том и состояла оригинальность капитализма, что к нему вело не внеэкономическое принуждение, а экономическая вынужденность и выгода. Внеэкономическое принуждение, понятно, не сводилось к прямому насилию, но держалось разнообразными системами сословного неравноправия и поземельных и личных зависимостей. Экономическому началу, чтобы возобладать, надлежало преодолеть и неравноправность и зависимости, хотя бы их ограничить. Понадобились свобода и равенство. С них и начались экономические отношения, и решающим показателем хозяйства стала ценность (стоимость), созданная трудом.

Ни силовой захват ценностей, созданных другими, ни обретение их по случайным обстоятельствам, вроде обнаружения у себя во дворе или в своем княжестве нефтяного источника, не ушли в прошлое, но судьбу людей и народов в буржуазном обществе стал определять созидательный труд -- и физический, и в нарастающей мере умственный. Для римского раба или русского крепостного право на труд было бессмыслицей, -- они знали лишь обязанность трудиться. Право на труд необходимо лишь свободному человеку, а понятие «тунеядец» содержательно лишь при внеэкономическом строе, где бывает смысл отлынивать от работы.

Зачем же перешли к экономике? Внеэкономические порядки веками демонстрировали способность, даже и рухнув, отряхнуться и начать сызнова, отчасти или целиком сменив свой правящий слой и даже само производство. Да и отнять часто дешевле, чем купить. Не только на

Востоке, но и в самой что ни на есть Европе. Но в ее бедных странах, искавших спасения от бедности, к концу средневековья накапливались технологические приемы, - от способов обработки земли и выращивания скота до выработки сукна на продажу вместо домотканного изготовления, - предъявившие производству невиданные до того стоимостные (ценностные) критерии, в конечном счете и ставшие предпосылками капиталистического строя, только и способного им подвижно отвечать. Буржуазные отношения ускоряли технический прогресс в Нидерландах или Англии. Это еще не подрывало внеэкономическое хозяйствование других стран, пока те не состязались с экономическим хозяйством.

Первобытно-общинный порядок ориентировал на то, чтобы «взять милости у природы», да и в позднейших внеэкономических обществах мерилom стабильности оказывалось лишь итоговое соотношение стоимости господства и стоимости (ценности) его плодов. Рим подходил к своему пределу задолго до крушения оттого, что росла цена все новых и новых рабов, и пришлось дорожить их жизнями, что отчасти и проявилось в принятии Римом христианства, как формы социального компромисса. Но и традиционные, то есть, внеэкономические, общества без непомерных римских потуг здравствовали, как прежде. Слушая рассказы об их покорении современный человек даже сочувствует и неохотно признает, что жестокость вела к прогрессу, которого еще не хотели покоренные.

Положение, однако, коренным образом меняется, когда внеэкономическое общество само хочет догнать экономическое, перенимая технику и технологию, но не производственные отношения и общественно-политические институты. То есть, стремится внеэкономически достичь результатов, которых те достигли экономически. Феодално-абсолютистская внеэкономическая реакция пытается так достичь необходимого культурного и часто военного прогресса. И картинка марксистского букваря, изображающая ход времени от одного общественного строя к другому как прогрессивный, тускнеет. Уже Маркс ее выпрямлял. А Ленин и другие пошли дальше, пренебрегая мнением Маркса о техническом и хозяйственном развитии, как непременно условии общественно-политических перемен. Они решили, что развитие и свободу развития можно заменить властью и волей всеведущей партии. И понятия Маркса о связи хозяйственного и общественного развития, ведущего к коммунизму, и о ликвидации обществом государства, отмирающего уже при социализме, они заменили диктатурой всеильного государства, затянувшейся на сто лет.

Представление Маркса было, конечно, утопией. Не имея возможности наблюдать позднее усилившееся развитие капитализма, он спешил с предсказаниями будущего. А оно вышло куда сложнее, не сведясь к противостоянию реакции и прогресса. Во взаимодействии абсолютистской, феодальной, и плюралистской, буржуазной, тенденций долго сохранялось влияние феодального духа, проникавшего и в самые, казалось, прогрессивные устремления. Демидовские заводы, где к заграничным станкам ставили крепостных, едва ли не самое яркое воплощение феодальной реакции, державшейся избытком природных и людских ресурсов, стоимость которых, как у подневольного труда, казалась столь низкой, что ее и не считали. Лишь когда состязание обострялось, а ресурсы иссякали, внеэкономическое производство ощущало кризис, и страна, за вычетом особо субсидируемых сфер, оказывалась разоренной.

Так и вышло с нами в борьбе за военное превосходство над остальным взятым вместе миром, и России оставалось либо резко сократить посягательства командовать другими и, как развивающаяся страна, хоть и с ракетами, прозябать внеэкономически, либо ради благоденствия граждан перейти к экономическому хозяйствованию.

Эта альтернатива в России все еще плохо признана. Мысль о зависимости эффективности производства от экономической свободы, едва ли не главная у Маркса, не вмещается в российское имперское сознание. Поэтому марксистом нельзя считать даже Ленина, не говоря о Сталине и его преемниках вплоть до Гайдара, считавшего допущение предприятий «олигархов», руководимых государством, либерализмом, на деле невозможным без хотя бы частичной независимости. В том и был смысл большевизма, как современной формы феодальной реакции и всеобщего закрепощения, чтобы внеэкономически добиваться больших хозяйственных успехов, чем буржуазия достигает экономически. Пролетарское против буржуазного на большевистском языке означало внеэкономическое против экономического.

В обществах и государствах перешедших к экономическому, ценностному (стоимостному) хозяйствованию, жизнь радикально меняется. Феодальная власть неотделима от хозяйства, не зря «власть» и «владение» -- слова одного корня. Феодальные правители сами были владельцами и опирались на иерархию зависимых владельцев. Даже наемные служащие преобразовались в такой системе во владельцев. Графы, «чрезвычайные комиссары» императора, переставали быть лишь должностными лицами и входили в тот же аристократический ряд, что и герцоги, вышедшие из родовой знати или возглавлявшие рыцарские дружины. А буржуазная власть за хозяйство долго не бралась, она лишь определяла и охраняла **условия**, в которых его могли вести частные лица. В идеале буржуазное государство мыслилось «ночным сторожем». И хоть идеал не вполне осуществился, коренное различие двух типов хозяйства предопределено различием живущих ими государств, их политических структур, и, в частности, наличием в феодальном государстве идеологии, при терпимости буржуазного к широкому спектру мировоззрений, не исключая и анти-буржуазных, и даже фашистских и коммунистических.

Забыв об этом трудно понять происшедшее после семнадцатого года. Как ни расценивать Октябрьскую революцию, бесспорно, что до нее, при всех пережитках феодализма, в России шло буржуазное развитие, даже не без успехов. А с середины восемнадцатого года свободу экономики пресекли. Установили военный коммунизм, внеэкономический режим, сливший государство и хозяйство воедино, по ленинскому идеалу единого общегосударственного «синдиката», имевшему мало общего с прогнозом Маркса, но послужившим прообразом сталинского хозяйства. Оно и ощутило в наши дни жесточайший из пережитых им кризисов, в середине восьмидесятых толкнувший к «перестройке».

Нужду в ней коммунистическое руководство вполне сознавало, и невозможно отрицать, что «перестройку начала партия». Не только «прогрессивный» Горбачев, но и консервативный Лигачев, а ранее даже шеф КГБ Андропов, поняли, что без перемен не обойтись. Альтернативой перестройки мог быть лишь еще более жестокий кризис. Однако она провалилась не только потому, что не в меру запоздала, но еще больше

потому, что партия, ждавшая «улучшения», не признала, что «ухудшение» и вызванный им кризис – результат ее внеэкономической системы.

Первый послереволюционный кризис внеэкономического хозяйства страна ощутила через три года после революции, в конце двадцатого – начале двадцать первого года, и пошла тогда даже дальше, чем сперва хотела, навстречу свободной экономике. Рынок, по свидетельствам современников, почти сразу наполнили отечественные товары и услуги, прежде всего продовольствие. Хоть Ленин и назвал происходившее «временным отступлением», совершался, пусть частичный, но реальный отход от внеэкономической системы, и это сразу принесло плоды. Ленин, конечно, мыслил куда идеалистичней, нежели Ельцин, он и не подозревал, что созданный им внеэкономический строй будет служить преуспеянию новых номенклатурных феодалов. Ельцин с Гайдаром и Чубайсом уже не могли не понимать, кого они защищают. Но именно как идеалисту, действовавшему в еще не сложившемся обществе, Ленину было легче «отступить», пусть даже «отступлением» он именовал осуществление вековой мечты русского крестьянства о свободном труде на своей земле. Ельцин с Гайдаром и Чубайсом, напротив, отлично знали, что переход к экономическому хозяйствованию не только не стал бы отступлением, но послужил бы развитию страны и благосостоянию граждан. Но их куда больше, чем Ленина, связывали интересы собственного сословия, отчего они, совершая такой переход, и сберегли номенклатуре господствующее положение. Оттого их «приватизация» и свелась к закреплению конкретных кусков собственности, числившейся прежде общенародной, за прежними функционерами и их теневыми подручными, да еще при сохранении ключевых позиций в руках государства. Вот никакой вспышки производства, подобной начатой НЭПом, и не наблюдается, а временное товарное изобилие создано почти исключительно импортом.

Гайдар даже разработал теорию, по которой государственную собственность и можно распределять лишь среди прежних ее коллективных владельцев, да и, вообще, он считал, не важно, кто становится частным собственником, ибо при свободной экономике прибыль, а за ней и собственность, сама, дескать, найдет хорошего хозяина, перейдет к эффективным производителям, и происхождение некоторых из партийной номенклатуры утратит значение. Но так было бы лишь при впрямь свободной экономике и независимости новых собственников, а они свою зависимость от государства даже подчеркивали. Примечательно, что приватизация производилась с помощью ваучеров, внушавших, что идет равноправное распределение собственности меж всеми ее номинальными владельцами, всеми гражданами. Не ясно, был ли ваучер изначально задуман, как метод их обмана, как выходит, если верить Гайдару, но демократической приватизации не было.

К тому же, при номенклатурной приватизации экономика могла бы стать свободной лишь при одновременном появлении независимой частной собственности и условиях для частных инвестиций, отечественных и зарубежных. Возможно, живи рядом с собственностью номенклатуры впрямь частная собственность, номенклатура работала бы чисто экономически, но нет причин полагать, что она была бы способна на это в повязанном государством кругу, где персональные контакты во властных органах хранят внеэкономическую силу.

Буржуазные отношения развиваются не в безвоздушном пространстве, а среди реалий прежнего порядка. Одним путем они движутся в странах, изначально не обремененных феодальным наследством, как США, или переживших радикальную революцию, как Франция. Так или иначе, там путь расчищен. Но совсем иначе они утверждаются в странах, где экономические нормы длительное время соседствуют с внеэкономическими, охраняемыми государством, и приходится повседневно защищать свои права. Сами по себе рассуждения об ориентации на опыт Соединенных Штатов в России, не отвергнувшей наследство ни феодальной реакции и трехсотлетнего правления Романовых, ни умножавшего это наследство внеэкономического социализма Ленина-Сталина, выдают пренебрежение «реформаторов» проблемой перехода от одного способа хозяйствования к другому и, тем самым, к реальной ситуации в России.

Конечно, не Гайдар первым в XX веке стал изображать Россию новой Америкой, готовой жить по-новому. Это делал уже Александр Блок. Да и Ленин противопоставил реакционному «прусскому» пути именно «американский». Само позднейшее противостояние великих держав толкало к американскому опыту. И не вспоминали, что Россия-то строит не на пустом, не на насильственно расчищенном для стройки месте, что американский опыт мог бы, возможно, стимулировать развитие колонизированной русскими дооктябрьской Сибири, обрети она, как США, автономию от метрополии, но он никак не поможет преодолеть привычки тысячелетней империи, да еще сложившейся на плечах феодальной реакции. Здесь важнее всего избавиться от феодальных привычек, и нам куда полезней европейский опыт государств, перешедших от феодализма к новым отношениям путем социальных компромиссов – в Англии более плодотворных, в Германии – менее, но близким нашему горькому опыту.

Вопреки Ленину, в такой стране, как наша, реакционному прусскому примеру противостоит не американский, но английский. Его своеобразие проявилось еще в Средние века. Рыхлость, незавершенность английского феодализма способствовала более раннему, чем на континенте, формированию еще в средневековье частных имущественных отношений. Для принадлежности к дворянству, там больше значил достаток, нежели происхождение и должность. Более демократичными там стали уже феодальные институты и, прежде всего, действенный парламент, выражавший интересы сословий, и феодальной реакции пришлось ограничить свои претензии.

В Пруссии, напротив, феодальная реакция преуспела, крестьянство закрепостили, хоть и не так беспощадно, как у нас, и абсолютистские традиции явно преобладали над демократическими. Не Франкфурт, где в 1848 году собралось общегерманское национальное собрание, а Берлин стал столицей страны, то есть, либеральная буржуазия потерпела поражение, и нормы жизни объединенной Германии вскоре диктовали прусские короли и их министры, начиная с Бисмарка. А не лишне помнить, что даже и Пруссия значительно раньше нас, еще в начале XIX века, реформами Штейна и Гарденберга, преодолевала феодальный груз. И все же торжество в Германии внеэкономического национал-социалистического режима, отличавшегося от нашего социалистического разве что исходной откровенностью шовинизма, у нас долго прикрывавшегося «пролетарским интернационализмом», и разоткровенничавшегося позднее, конечно,

связано с непреодоленностью феодального груза. Меж нынешней тягой к имперской традиции Романовых и реваншизмом коммунистов потому и не стало существенных противоречий, и они то и дело сплетаются.

А в Англии, либеральная буржуазия, вступая в социальный компромисс с феодальной аристократией и, охотно допуская ее в свои ряды, все же вынудила ее капитализировать феодальные отношения, следы которых целы поныне, но жизнь идет по экономическим законам.

Реформы Гайдара-Чубайса, по которым освобождение цен монопольными государственными предприятиями, надолго опередило даже номенклатурную приватизацию, навязали стране «пруссский», по существу, вариант развития. Надо только, справедливости ради заметить, что после войны Федеративная Германия, поневоле оставив большую часть прусских земель ГДР, развивалась иначе и решительно преодолела у себя национал-социалистические порядки. Многие сотрудники прежнего режима, лично не замешанные в конкретных преступлениях, там тоже допускались к участию в новой жизни, но была радикально изменена общественная система, ликвидированы прежние карательные органы, создан новый суд, множество людей, не причастных к прежней власти и даже опальных, получило доступ к общественной и экономической жизни. О сохранении былыми функционерами монополии на власть и даже каких-то преимуществ или о сохранении государственных институтов, аналогичных нацистским и лишь переименованных, там не могло быть и речи. К тому же, лицам непосредственно причастным к акциям национал-социалистического режима, доступ к власти был, вообще, закрыт.

У нас даже сотрудники преступных государственных организаций ЧК, НКВД и КГБ не были наказаны, не было и речи об ограничении в правах тысяч бывших партийных функционеров, замешанных в конкретных преступлениях сталинско-брежневского режима лично, и, тем более, рядовых коммунистов. Бог с ними. Но не были практически отвергнуты и прежние нормы, хозяйство не было на деле отделено от государства. И, главное, монопольная власть государства предоставляет прежним функционерам исключительные позиции, позволяющие им на ролях частных владельцев дарованной им вчерашней государственной собственности, использовать государство как орудие внеэкономического хозяйствования. В том-то и корень нынешнего зла, что реформы Гайдара-Чубайса сберегли такую их исключительность, и на общественной арене мы не видим почти никого, кроме бывших коммунистов и комсоргов. Бывшие диссиденты и даже люди, находившиеся в молчаливой оппозиции к советской власти, попадают там крайне редко.

Думается, было неверно, отказываясь от индивидуальных ограничений вчерашних функционеров, не установить норму их допуска в новые государственные учреждения. Без этого, при избирательной системе допускающей неограниченные злоупотребления, люди тоталитарного склада продолжают удерживать чуть не сто процентов мест в представительных органах и государственном аппарате. Оттого и законодательные нормы и самый тип правления все еще носит внеэкономический характер. Новая государственная структура в иных формах и под иными названиями повторяет структуру коммунистического партийного аппарата. Государственная Дума и Совет Федерации фактически лишь совещательные органы, подобно сталинским партсъездам, а власть Президента практически неограниченна, словно он

Генеральный Секретарь ЦК КПСС или царь. Реформы Гайдара-Чубайса лишь декорировали тоталитарный строй, создав видимость наличия у граждан частных возможностей.

3

Вопреки советским толкованиям общество редко делится лишь на угнетателей и угнетенных, -- обычно на несколько классов, пребывающих в сложных отношениях меж собой. К тому же, правящий класс часто далеко не един, и смысл своей внутренней борьбы на фоне сложных отношений с другими классами не всегда сознает. Взяв власть, он действует, как бы от лица борцов против прежней власти, к власти, однако, уже не допущенных, оттесненных, кто за рубеж, кто в частную жизнь, кто в собственную усталость, но часто намеренно лишенных возможности обсуждать судьбы страны. Прежние трибуны самиздата и тамиздата умерли, одинокие аналитические голоса трудно уловить в густом потоке интернета. Как ни парадоксально, человеку, стоящему вне властных структур, да еще демократически мыслящему, ныне трудней, чем прежде, донести до сограждан свое особое мнение. После 1993 ужалась даже свобода слова начальства, прежде полемизировавшего меж собой, как нами лучше править,.

На телевидении и в печати, в избирательной кампании, в Думе, в Совете Федерации, в Правительстве и президентской администрации можно видеть лишь номенклатурную часть политического спектра. К тому же, общественная борьба, как в 1917 году, сосредоточена не на единственном предмете, отчего сам правящий класс неоднороден, и не только отстаивает неизменность старого советского порядка, но и расходится в том, к чему и сколь радикально его трансформировать. Россия не едина в том, надлежит ли ей сохранить имперскую структуру или все же признать наличие в ней разных национальных государств. Но нет единства и в том, должна ли собственность быть частной, отдельной, или в той или иной форме государственной.

К 1917 году Российскую империю раздирали аграрная и национальная проблемы. Их не решила прервавшаяся буржуазная революция. У русской половины населения на первом плане была аграрная, у колониальной, естественно, национальная. Соответственно, русские партии, начиная с самой массовой, эсеровской, сосредотачивались на аграрной, а партии окраин на национальной. Гений Ленина объединил оба требования в третьем, утопическом, но позволявшем объединять силы призывом к мировой революции, преобразующей империю в государство равноправных народов, а частную собственность в общую. Но в реальности утопия осталась с теми же проблемами.

Аграрная проблема, то есть, нынешняя неспособность России, при самом большом в мире количестве пахотной земли на душу населения, себя кормить, -- самый чувствительный плод социалистического государственного хозяйствования. Но аналогичный кризис испытывают и все другие отрасли. Хозяйство нуждается в отделении от государства и гарантиях отдельности частного хозяйства. Национальная проблема выразилась нуждой в суверенитета, то есть, в отделении государств

готовых возникнуть на территории РФ от русского национального государства, тоже, однако, не существующего.

Политическое первенство национальной проблемы при отнюдь не меньшем значении экономической, вызвано унитарностью нашего, на словах федеративного, государства, их искусственным сплетением. Народ, противящийся империи отстаивает не только культурную самобытность от великодержавного шовинизма, но и разумное хозяйствование на местах от имперских директив. Его отсутствие побуждает как русских желать экономического хозяйствования, так и нерусских -- реальной федеративности, если не конфедеративности. Но в едином государстве масштабов нашего одно невозможно без другого. У национальных автономий нет прав на экономическое регулирование у себя хозяйственных отношений при общей денежной единице и свободном движении товаров. Да и русским регионам, раздробленным ныне на множество областей и кругом зависящих от центра, лучше сгруппироваться в восемь-десять самоокупающихся федеральных земель. Экономические связи автономий с сообществом русских земель спланировали бы страну, как многонациональную федерацию. Но за бортом осталась бы советская номенклатура, особенно русская, командующая автономиями, и ныне ищущая выхода из кризиса на прежних внеэкономических путях. Вот некоторые и спешат превратить национальные автономии в губернии с генерал-губернаторами, и в ответ растет желание сократить и даже порвать контакты с Россией.

При пересечении экономического и национального рвов, разделяющих правящий класс, в нем выявляются четыре его главные группы. По одну сторону -- имперские люди, сторонники максимального единства и неделимости прежнего СССР, по другую -- сторонники полной или хоть частичной национальной самостоятельности. Но в имперской группе при этом действуют не только сторонники былого, коллективного, советского владения номенклатуры всем, что есть в стране, но и сторонники полной или хоть частичной приватизации казенного имущества и частной собственности в империи. И соответственно, в национальной группе действуют не только сторонники коллективного владения номенклатуры автономии всем, что есть в автономии, но и сторонники частной собственности в автономном государстве. Они, как и сторонники частной собственности в империи, выглядят приверженцами буржуазных отношений. Но вполне признать их такими мешает их насильственное удержание в империи и зависимость от нее.

Необходимость двойной, экономической и государственной самоидентификации мешает российской номенклатуре видеть, в чем ее интересы совпадают, а в чем не совпадают, с интересами разных частей общества, развитием разных сторон жизни, и с общими интересами своих автономий и Российской федерации, как многонационального содружества. Мешает их сознать и трактовка единства, как подчинения центру, а не взаимного согласия, предполагающее осознание своих отдельных интересов, без которого их невозможно друг с другом координировать. Это мешает формироваться разным политическим партиям, без которых нет политической жизни.

Потому и преобладает тяготение к имперскому государству с казенной собственностью, то есть, к реваншу. Но реальность кризиса побудила не то что Горбачева, но даже Зюганова и Анпилова говорить о каком-то

пересмотре прежних принципов, о предательстве вождями партии идеалов, о намерении сохранить из прежнего только «хорошее» и отказаться от «плохого», словно советский социализм не был целостным явлением. Реванш мыслится не только под ленинско-сталинским знаменем. Реванша хотят и действующий под национал-социалистическим флагом собор Стерлигова, соколы Жириновского, и вооруженные отряды Баркашова. В глазах пестрит от многообразия реваншистских групп, сопрягающих тона, прежде казавшиеся несовместимыми, вроде красного флага над монархическим митингом. В реваншистском стане рядом с коммунистами и открытые антикоммунисты, и церковные черносотенцы, и даже заядлые монархисты, которых не устраивал Владимир Кириллович, поскольку на ископаемую роль самодержца не претендовал.

Как могут стоять рядом люди, демонстративно воздающие честь солдатам Отечественной войны и столь же демонстративно восхваляющие гитлеровцев? Что, казалось бы, общего у этой разношерстной публики, в которой видны многие деятели номенклатуры и комсомольской поросли? А у них общие мысли, посещавшие их еще в советские времена под столом, под ковром, под одеялом. Их объединяет не малость – все они единомышленны в отказе признать, что внеэкономический порядок губителен для России, что и в абсолютистской и в «улучшенной» форме он неэффективно транжирит ее богатства.

Нежелание это признать присуще не только реваншистской, казенно-имперской группе российских политиков, но так или иначе почти всем коммунистам и комсоргам, почти всей российской номенклатуре, и пока такая политическая элита преобладает страна не может преодолеть кризис. Борис Федоров, претендующий слыть либералом и демократом, не чета Жириновскому, настаивающий на реальном переходе к экономическим отношениям, базирующимся на частной собственности, выступал за военные действия в Чечне, не различая их внеэкономического содержания, враждебного экономическими реформами, за которые ратует.

Между тем, опыт европейских колониальных держав, прежде всего, Англии и Франции, показывает, что захват и эксплуатация колоний не мешают развитию отечественного хозяйства лишь там, где метрополия живет по иным нормам, чем колонии. Политики Англии и Франции сознавали, что плюрализм экономического хозяйства вынуждает искать согласия соучастников, пусть экономически вынужденного, но не принудительного. Идеи Руссо об общественном договоре не зря упредили французскую революцию, сметавшую власть короля и аристократов, к договору не готовых, желавших, как нынешние, держать все, хоть отчасти..

Понятно, возможности владельца капитала и владельцев рабочих рук или рабочих мозгов не равны, но их регулируют взаимные, а не односторонние обязательства, и хищнически действуя в колониях, буржуазия не разрушала демократию в метрополии. Она понимала, что иначе метрополия сама обратится в колонию, сделает неизбежным абсолютистский режим, регламентирующий хозяйство. Российская власть, ни царская, ни советская, ни нынешняя, с этим не считалась, и, обращая имперскую силу не только вовне, но и внутрь себя, превращала метрополию в колонию начальства.

Характерно, что нарастание в хозяйстве доли умственного труда и, в связи с этим, нужда во все более глубокой демократии, побуждала европейские державы отказываться от колоний еще даже не

претендовавших на независимость, и вступать с ними в экономические отношения, поскольку иначе грозило торможение собственного хозяйства. Забвение этого опыта – не личное заблуждение Бориса Федорова, а знак уровня внеэкономического сознания даже у самых, казалось, просвещенных по экономической части начальников.

Но если Федоров, провалился он даже как политик, еще мог бы занять высокооплачиваемую должность в банке, то Зюганову или Стерлигову, или такому даровитому демагогу, как Жириновский, при экономических порядках совсем уже трудно рассчитывать на вращение в средний класс и профессиональную элиту. Им не остается ничего, кроме как отстаивать необходимость особой власти руководителей – номенклатуры, то есть, нового дворянства, под воздействием кризиса готового соединиться со старым и признать, что «царь» звучит не хуже, чем «секретарь».

Мне как-то довелось быть на собрании ленинградской интеллигенции в Таврическом дворце, где председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС Л.Ф.Ильичев произнес: «Нас могут спросить, а по какому праву мы указываем выдающемуся режиссеру Товстоногову, как ему ставить пьесу Грибоедова? Я отвечаю: по праву руководства!» Объяснять, на чем это право зиждется, Председатель Идеологической комиссии не считал нужным. Ни Ленин, ни Сталин, ни Жданов, ни Сулов, ни сам Ильичев, никогда не пользовались для этого формулами вроде: «Мы, милостью божией коммунистическая партия...», но свои претензии на руководство обосновывали очень похоже. Они росли не из волеизъявления граждан, но из присущей внеэкономическим режимам надежды на чью-то, -- то ли прямо бога, то ли церкви, то ли атеистической руководящей организации, -- способность продуктивно разрешить все противоречия. Вот и нынешняя активизация религии, как и веры в астрологию и колдовство, не с неба упала, а растет из вчерашней коммунистической веры, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.

Само присутствие идеологии в регулировании жизни внеэкономических государств более значимо, чем свойства конкретных идеологий. Оттого и замены одной на другую, даже противоположную, боятся меньше, чем деидеологизации. Варварское разрушение старых церквей привело не столько к свободомыслию, сколько к советской церкви коммунизма, придатками которой остались церкви религий.

Однако империя многонациональна, она объединила русские земли с землями, где все еще живут покоренные некогда народы. Это вынуждало поддерживать федеративное взаимодействие и какое-то согласие с ними. При этом проступают специфические интересы второй, национально-казенной группы номенклатуры. Она не столь пестра, но в ней стремление к суверенности еще лучше сочетается с готовностью к федеративным отношениям. В обоих случаях превалирует тяга к прежнему порядку, но на уровне национальной автономии, то есть, к совокупному распоряжению номенклатуры данной автономии собственностью, находящейся на ее территории. Не случайно за национальное освобождение зачастую выступают прежние коммунистические лидеры автономий. Так и в Туркменистане, и в Узбекистане, и во многих автономиях России. Подобные стремления, не доходящие, правда, до желания отделиться, проявляются и в русских регионах России, где номенклатура тоже хочет сосредоточить собственность «субъекта федерации» в своих руках. В скрытой форме подобные тенденции наблюдались и при Брежневле и еще

при Сталине, позволяя местному начальству, послушному Москве, извлекать для себя дополнительные выгоды из местных богатств. Ныне тенденция к этому усилилась везде, но выявилось и важное отличие. Национальные «субъекты» пытаются опереться на память о национально-освободительных движениях, не так, впрочем, звавших к национальному неофеодализму, как ему противостоявших, в то время как нынешняя национально-коммунистическая улита чаще препятствует изменению внутренних хозяйственных отношений и консервирует советские, способствуя тем феодально-социалистической раздробленности. А вроде бы аналогичное русское сепаратистское движение, хоть и опасается непомерных имперских притязаний, готово при определенных гарантиях поддерживать империю. Любопытно, что меж русских сторонников казенной собственности, часто ярых шовинистов, ни на федеральном, ни на региональном уровне не замечено стремление отстаивать самостоятельность сообщества собственно русских земель по отношению к инациональным автономиям. Нет прямого русского национально-объединительного стремления, лишь имперское.

Третья группа номенклатуры во всем, как будто, противоположна второй. Она тяготеет к приватизации, но в имперских границах, если не СССР, то РФ. Именно эту группу составляют коммунистические реформаторы, в отличие от Горбачева, не ограничивающиеся политическим смягчением режима. Не все они прямолинейно привержены империи, как Б.Федоров, иные даже склонны к отказу от насильственного поддержания ее целостности, полагая, что реформы укрепят заинтересованность в ней самих граждан. Но восприятие империи, как единого государства, выдает приверженность к внеэкономической практике и делает номинальными и приватизацию и обещанные реформы, обретающие иной, чем сперва могло казаться, смысл.

Вроде очевидно, что либерализация цен способствует переходу к экономическому хозяйствованию лишь при одновременном и даже упреждающем утверждении частной собственности, когда свободные цены оказываются полем конкуренции независимых производителей. Либерализация цен на государственно-монополистическую продукцию, да еще продаваемую государством не прямо, а через посредников, взвинчивающих цены, служит не реформе, а укреплению государственной монополии. Но нашу «либерализацию», проведенную отдельно от приватизации, кличут «реформой», а ее автора Гайдара – реформатором.

Впрочем, и приватизация не привела к возникновению независимой частной собственности, поскольку велась не открытым порядком, а без публичного объявления общего числа акций приватизируемого предприятия и числа приватизируемых ваучеров, без оглашения доходов предприятия и без биржевой котировки акций. Мало того, стоимость самих ваучеров назначили наперед несообразно низкой, что позволило скупать эти ваучеры за бесценок и, тем самым, перемещать собственность не через свободный рынок, а советским регулируемым распределением. Вот собственность и доставалась преимущественно прежней номенклатуре и связанным с ней. Попадая в их руки в виде акций, она была источником их доходов, но поскольку контрольный пакет остался у государства, права хотя бы коллективно ею распоряжаться не обретали и они.

Такие преобразования «социалистической» собственности лишь укрепляли положение номенклатуры, подводили под него не только

административную, но и финансовую почву. Люди, стоявшие вне номенклатурного круга и его теневых приделков, присоединиться к новым богачам и, тем более, соперничать с ними не смогли, поскольку законодательство и другие меры властей, начиная с непомерных налогов, препятствовали независимой производственно-предпринимательской деятельности. В итоге процесс дробления собственности, отчасти вроде имевший место, не обуржуазил эту собственность, не превратил ее в элемент свободного экономического хозяйствования. Вот и вышло, что совсем, казалось бы иные стремления, чем у казенно-национальной номенклатуры, вели к сходному результату, тоже к своего рода феодальной раздробленности, в ходе которой дробилась уже не территория, но права на ренту, как это бывало и при феодальном строе.

Феодально-абсолютистская природа нашего «социализма», равно как феодальная природа нынешней раздробленности, не общепризнаны. Люди не слишком склонные искать исторические корни происходящего, порой обозначали наш «социализм» как «государственный капитализм», отвлекаясь от того, что капитализм способен оставаться государственным лишь покуда государственные предприятия действуют наряду с частными и конкурируют с ними, то есть, предприятие остается капиталистическим там, где, хоть и в искаженном виде, сохраняются ценностные (стоимостные) регуляторы хозяйства. Когда же государство-капиталист остается единственным на рынке, капитализм тотчас прекращается, его экономические законы перестают действовать. Ими ничего уже не объяснить, и нужны другие объяснения, учитывающие изменение природы хозяйствования.

Сложившийся ныне порядок некоторые именуют «номенклатурным капитализмом», не замечая, что это словосочетание – оксюморон, как «горячий лед» или «сухая вода». Ведь там, где право быть капиталистом -- сословная привилегия, капитализм уже не соревновательное общество, он перестает быть самим собой. Разумеется, при переходе от феодальных отношений к буржуазным немало знатных лиц превратилось в буржуазных дельцов, и нелепо отказывать в таком преображении коммунистической номенклатуре. Но оно не было монополией знатных лиц, что и свидетельствовало о рождении нового общественного строя, в котором Наполеоны и Жюльены Сорели, а по их примеру, не дожидаясь революций, и Родионы Раскольниковы, и совершенно переменившиеся Ермолаи Лопахины, могли задумываться о вещах, прежде для них немислимых. Поскольку номенклатура так или иначе сохраняет свое монополично привилегированное положение, говорить о перемене строя, о переходе к капитализму, каким эпитетом его не надели, не приходится.

Это, понятно, спор чисто теоретический, хоть и необходимый для понимания происходящего. Но при всей его важности, конкретный анализ нынешнего общественного порядка у Юрия Буртина, одного из авторов понятия «номенклатурный капитализм», не слишком отличается от предлагавшегося в моих статьях того же времени. И тут, и там, видно, что не только казенно-имперская группа номенклатуры, желавшая сохранить прежний порядок, -- в ожесточившемся ли виде, как Анпилов и Баркашев, или наоборот, в «улучшенном», как Горбачев, -- но и казенно-национальная, и частно-имперская, как бы реформаторская, части номенклатуры, не предложили коренных перемен, призванных восполнить упущенное, когда буржуазная революция своевременно не свершилась.

Сообразив, что режим в своем казенно-имперском виде, ожесточившийся или «улучшенный», выжить не может, что вскормленной им номенклатуре без какой-то гибкости тоже не уцелеть, номенклатура, противопостав казенно-имперской тенденции, сама раскололась на предпочитающих дробление территории и предпочитающих дробление собственности. Ни те, ни другие, не осознали при этом связей одного с другим, то есть зависимости характера власти от характера владения.

Что же до четвертой части номенклатуры, желавшей соединить национальные интересы, - русского народа или не столь многочисленного, - с интересами частными, как это обычно и происходило при буржуазных преобразованиях, начиная с XVI века, то эта тенденция среди номенклатуры, как русской, так и нерусской, крайне слаба, да и среди населения не слишком выражена. Это неудивительно в Туркменистане или Узбекистане, где любые отклонения еще преследуются, но в России, где все же несколько лет существовала свобода слова, пусть и ловко регулируемая, при обращении в свободу печати, это все же странно. Отсутствие сколько-нибудь влиятельных фигур или печатных изданий, систематически ратующих за воистину коренные перемены, свидетельствует, что трагедия преображения великой надежды на освободительную силу революции в стократ умноживший прежний мертвый дом советский ГУЛАГ, все еще по-настоящему не осознана и не преодолена ни номенклатурой, ни вненоменклатурной средой. Даже осуждение культа Сталина осталось сведенным к осуждению пороков и преступлений Сталина, но не всякой вообще абсолютизации власти и ее сосредоточения в одних, пусть даже идеально чистых, руках. Иначе наша Конституция не дала бы Президенту полную и неконтролируемую власть.

4

Говорить об этом надо не ради укрепления номенклатуры, вполне еще способной защищать свои привилегии силой. Но силой уже невозможно ускорить смену промышленных технологий, как верили в первую пятилетку. Современные темпы стремительны. Во внеэкономическом мире все трудней поддерживать культурные и научные заповедники, при «застое» считавшиеся, да и бывшие, мостками в будущее и оплотом соперничества с развитыми странами. И чужими достижениями тоже не обойтись. Хорошо было Сталину: люди в избытке, убивай – не хочу, уцелевшие станут усердней, да и работе, на них возложенной, не так сложно было выучиться. Но мир изменился, людей в России прибавляется меньше, а надобно все больше квалифицированных, отчего люди способные, которых тоже все меньше, должны, казалось бы, цениться больше. И страх, как стимул технического прогресса, эффективность должен терять, а ее увеличивать -- личная заинтересованность. Но советским начальникам трудно признать, что поощрение действенной наказания. Опыт начальников лагерей и партийных секретарей учит другому. Альтернатива жесткая: либо рвать с внеэкономическими привычками, либо медленно, но верно, Россия будет увядать, вспоминая о былом силовом величии и пытаясь его вернуть немислимыми жертвами. Номенклатура по-разному бежит от рокового выбора. Сперва Хрущев, потом Горбачев, теперь Ельцин, сулившие перемены, с ними не спеша,

вольно или невольно возвращались к внеэкономическому порядку, применяя силу в Новочеркасске, Тбилиси, Вильнюсе и Чечне.

Чтобы перейти к экономическим отношениям, нужна демократия. Но мы не сознаем, в чем она состоит, и числим ее, как прежде социализм, просто благоприятным образом жизни. Между тем, это политическая форма социального компромисса, противоположного «единственно правильным» тоталитарным решениям, которыми держался социализм. Но все наши нынешние партии, не одни коммунисты, претендуют на монополию власти, не проявляя таланта к компромиссам и сотрудничеству. Это все компартии, лишь разного цвета.

А политическая демократия – это строгое соблюдение не одними гражданами, но, прежде всего, властями, законных норм свободы, при которой экономические отношения только и могут протекать. Поскольку экономические отношения, в отличие от монопольных внеэкономических, плюралистичны по природе, они предполагают четко сформулированные «правила игры», с которыми гражданин и чиновник обязаны считаться. Рынок образуется там, где есть множество независимых друг от друга производителей, продавцов и покупателей, и задача его администрации, то есть, правительства страны, противоположна дарованию немногим отдельных милостей и льгот. Она в поддержании единого для всех порядка, в защите от мафии, изгоняющей с рынка тех, чьи дешевые товары сбивают цены. Действия мафии – один из способов сменить экономические отношения на внеэкономические. Мафией стало само государство, действующее сходным образом, охраняющее привилегии наследственного или номенклатурного дворянства, неспособного на компромисс с объективными условиями, надобными экономическому прогрессу. Чтобы противостоять государственной мафии, обществу нужна публичность, без которой, при нарастании секретности и особых допусков, в самых демократических странах чиновники тоже берут взятки. Демократию обеспечивают не столько правоохранительные органы, хотя независимость суда жизненно важна, сколько публичность, а также сведение к минимуму разрешительно-запретительных функций государства и самого государственного производства.

У нас с публичностью плохо, хоть власть порой откровенна, а то даже бесстыжа. Преступления, творимые прежней втайне или под покровом лицемерных словес об интересах трудящихся, воле народа и великой задаче построения лучшего будущего, ныне очевидны. При сосредоточении непомерной власти в руках исполнительных органов, да еще с избирательной системой, сведенной к относительному большинством голосов в единственном туре, равно как при суде, не являющемся независимым, и силовых органах, произвольно чинящих расправы, можно утверждать, что новые нормы зачастую представляют собой лишь легитимизацию образа действий прежней власти. Декларации о свободе предпринимательства не повели к сколько-нибудь ощутимому потребителями росту частного производства, ни мелкого, ни среднего, не говоря о крупном. Разве что стали шире посреднические услуги, прежде бывшие теневыми.

Наше государство не стало демократическим, прежде всего, потому, что обещанные преобразования совершали не новоизбранные демократические партии, а оставшаяся у власти номенклатура, хоть и неспособная отстаивать свои интересы в прежней форме с прежними

лозунгами. Требовались новые лозунги, хотя бы новое прикрытие. Отмена предварительной цензуры или либерализация общения с зарубежными странами, конечно, не только служили прикрытием, но были впрямь нужны обновленческой части номенклатуры. Во многих вопросах она могла бы пойти на компромисс с демократическим движением, и А.Д.Сахаров, как его признанный лидер, резонно говорил об **условной поддержке** Горбачева. Но после смерти Сахарова в лидеры демократического движения вышли иные люди, нередко, как Егор Гайдар, сами принадлежавшие к номенклатуре, что привело к **безусловной** поддержке Ельцина. Партия Гайдара не перешла к нему в оппозицию даже при прямых нарушениях президентом прав человека, - и указом о задержании без обвинения на тридцать суток, и предоставлением президентской охране за пределами ее важной деятельности весьма широких прав, которые даже у нас по закону имеют лишь милиция и контрразведка, а в демократических странах и контрразведка не имеет. В печати появляются заявления «демократов» о том, что «идея «демократической оппозиции» непригодна» и что «не надо безоглядно и безответственно эксплуатировать удобства оппозиционной точки зрения в эффективной критике властей». Эти заявления, подписанные подчас весьма уважаемыми за их художественные или научные достижения людьми, обозначили увядание вне номенклатурного демократического движения. Остались лишь разобщенные демократические голоса вроде помянутого уже Ю.Буртина или Л.Баткина, изредка пробивающиеся в тоже немногих либеральных изданиях. И нарастает пассивность избирателей, - одни не видят достойных доверия демократических кандидатов, другим, поскольку в массовом сознании демократия отождествилась с партией Гайдара, начинает казаться, что демократия вообще не отвечает интересам простого человека. Многие уже надеются лишь на сильную личность, а это роль не для одних Жириновского, Зюганова и Баркашова, но и Ельцина. .

Увы, таков итог широкошумной «революции сверху», как и былых российских «революций сверху». Мы вновь видим, что демократические преобразования возможны лишь там, где они не доверяются прежнему правящему классу. Важно поэтому не только разоблачать реваншистские стремления старых и новых коммунистов или отечественных национал-социалистов, но и анализировать иллюзии и слабости демократического движения, обрекшие его на поражение.

Едва ли не самая пагубная, иллюзия будто единство демократов – непереносимое условие демократии, и не следует им культивировать свои разногласия и спорить меж собой. Однако призыв к единству любой ценой, на любых условиях, способен привести лишь к верхушечному сговору некоторых номенклатурных групп с демократическим движением, то есть, как у нас и вышло, к отказу демократического движения от собственной деятельности и собственных целей и его подчинению номенклатуре.

Но партию можно считать демократической лишь если она внепланет избирателям, которым и надлежит делать выбор, в том числе выбор меж демократами, и без полемики тут не обойтись. Она, а не закулисный сговор, служит осознанию разными социальными слоями своих интересов, и это способствует политической сознательности общества. Но нынешняя наша избирательная система затрудняет выбор. Прежде всего, половину думских мест она отдает на пропорциональное представительство небольшого числа партий, ставя беспартийных

кандидатов в неравноправное положение. Другая половина мест распределяется по относительному большинству голосов, поданных в первом же туре голосования. Этим адекватный выбор еще более затруднен. Два соперничающих кандидата со сходными взглядами, набрав чуть меньше трети голосов каждый, уступают место в Думе кандидату с противоположными взглядами, набравшему чуть больше трети, то есть, избирательная система сознательно ориентирует партии на сговор, пренебрегая предпочтениями избирателей. А стабильность утверждается лишь там, где власть опирается на волю большинства граждан, которое, при нашей непривычности к многопартийности и нечетких социальных лицах партий, может быть выявлено лишь при избрании всех депутатов Думы по отдельным округам. И если никто не получил абсолютного большинства в первом туре, проведении, как минимум, второго тура голосования, в котором баллотируются двое, набравших наибольшее число голосов. Это не только не мешает партиям поддерживать своих кандидатов в округах, но прояснит ориентиры партий и, уж тем более, не мешает формированию в Думе партийных фракций.

Дело тут не просто в справедливости, но и в том, что в экономическом обществе власть не распорядитель, но лишь регулятор социально-экономических отношений. А они в свободном обществе не могут быть установлены раз и навсегда, как заведомо разумные, ни мудрым правителем, ни самодержавной партией, ведущей народ от победы к победе. Власть затем и должна быть демократической, чтобы чутко отвечать на конкретное состояние хозяйства и общества и служить их саморегулированию.

Ирония истории есть и в том, что теория Маркса задуманная автором как путь к разумному социалистическому обществу, защищающему человека от жестокости ценностных (стоимостных) отношений, упраздняемых там раз и навсегда, по объективному своему смыслу, выразила необходимость социальной защиты трудящихся как раз в ценностном (стоимостном) обществе, поскольку без такой защиты уже в XIX веке буржуазное общество не могло эффективно развиваться и даже спокойно существовать. А в не ценностном, не буржуазном обществе, наперед отказавшемся от ценностного учета, в том числе учета ценности труда, теория Маркса защиту трудящихся не предусмотрела если не ожидать утопических милостей от коммунистических властей.

Чтобы выполнить целебную роль социалистическая теория Маркса в буржуазном обществе ощутимо трансформировалась, и ни в одной из развитых стран, с которыми теоретик связывал свои иллюзии, не было попыток построить противоположное буржуазному социалистическое общество по Марксу. Такие попытки предпринимались лишь в относительно отсталых странах, для чего пришлось отменить даже большинство основных положений теории, - и необходимость высокого уровня развития буржуазного хозяйства, как условия перехода к социализму, и одновременность такого перехода во всех развитых странах, и, главное, отмирание государства, как неперемное условие коммунистических отношений. Теория Маркса одновременно подверглась ревизии в двух противоположных направлениях, и его последователи резко разделились на «правых» социал-демократов и «левых» коммунистов, большевиков.

Аналоги тем и другим и в развитых, и в отсталых странах одновременно возникали и вне связи с теорией Маркса, порой даже в противовес ей. В развитых странах аналогом социал-демократии стало либеральное движение, к примеру, демократическая партия во главе с Ф.Д.Рузвельтом в США, аналогом компартии – фашистское движение в Италии, да во многом и национал-социализм в Германии. В отсталых странах наряду с национал-социалистическими возникали и религиозно-социалистические движения, тоже во многом аналогичные коммунистическим, как партии исламского социализма на арабском востоке. Независимо от названий и происхождения эти два типа партий – в обоих типах возникали и марксистские, и антимарксистские, – подошли к социальным проблемам двумя противоположными способами в зависимости от обстоятельств своего возникновения. Социал-демократические партии вызвал к жизни кризис буржуазного общества, обостривший его классовые противоречия. Коммунистические породил кризис общества феодальной реакции, стремившегося устоять в техническом состязании с буржуазным. Оба кризиса нередко причудливо переплетались в одной стране, и стремившиеся, хоть и по-разному, их преодолеть, оказывались в одном политическом лагере, иногда до поры даже в одной партии.

Коммунисты и аналогичные движения отстаивали внеэкономические и монопольные способы решения социальных проблем. Социал-демократы и либералы, напротив, – экономические и плюралистические. Коммунисты и подобные им ориентировались на разрушение буржуазного общества, а с ним и демократии, и создание нового порядка. Либералы и подобные им – на демократию и поддержание ценностных (стоимостных) отношений, а, тем самым, и на взаимодействие, хоть и в открытом противостоянии, с консервативными буржуазными партиями. Либералы и социал-демократы не чурались и взаимодействия с коммунистами, некогда выделившимися именно из социал-демократических партий (из них вышли и Ленин, и Муссолини), однако такое сотрудничество выживало лишь при готовности либералов и социал-демократов сдать позиции, которых они держались в плюралистическом буржуазном обществе.

Соотношение и характер взаимодействия и противостояния либералов и социал-демократов с консерваторами, наоборот, весьма подвижен. Не существует единственно верной модели их отношений, они соотносятся с социально-экономическими сдвигами. Большинство то на стороне консерваторов, пекущихся о более эффективном производстве, то на стороне либералов или социал-демократов, укрепляющих социальную защиту, то на стороне партии личных инициатив, то на стороне партии социальной стабильности, то партии свободы, то партии гарантий. Демократия в том и состоит, что выбор никогда не становится окончательным, и, едва меняются обстоятельства, он может быть легально изменен.

Когда гарантии оказываются не в меру обременительны производству, большинство, как правило, предпочитает сокращение гарантий во имя расширения производства и сокращения рабочих мест. Когда безжалостное производство выбрасывает людей за ворота, большинство клонится к укреплению гарантий. Эти общественные качели, это подвижное равновесие, только и способны давать политическое соответствие динамике экономических отношений. А для этого надобно не единство, к которому тянут привычки минувшего, а социальный

компромисс, готовность разрешать общественные и экономические противоречия в рамках политических качелей, не опрокидывать их, не пользоваться внеэкономической силой.

После многолетнего внеэкономического правления наша страна нуждается прежде всего в партии свободы, в радикальных экономических реформах, к которым нынешняя власть, именующая себя демократической, так, по существу, и не приступила. Но и проводя эти реформы стоит сознавать необходимость в параллельном созидании и недостающих нам механизмов социальной защиты, осуществимой за счет определенной части прибылей производства. Но и призыв к борьбе за социальные гарантии все еще оборачивается у нас призывом к внеэкономическим методам правления. Вот мы и не обретаем опирающегося на социальный компромисс взаимодействия противоречивых общественных тенденций. У нас нет ни подлинной партии свободы, ни подлинной партии гарантий, подобных существующим в развитых обществах. Противостоящие у нас псевдодемократы и реваншисты в одинаковой мере, хоть и по-разному, как дети вчерашнего дня, держатся за внеэкономическое хозяйство, не рискуя без него.

Изменить эту ситуацию способна только демократическая оппозиция нынешнему правлению. Ее появление во многом затруднено, время упущено, авторитет демократии подорван верноподданными псевдодемократами, сдавшимися на милость номенклатуры. Но другой возможности выйти из тупика нет.

В России всегда первенствовала исполнительная власть, а в демократии не менее важна и судебная, не говоря о законодательной, и почтенные люди там не только министры но не в меньшей мере и члены Верховного суда. Не только преступления, но и споры меж людьми там рассматриваются в суде. Судебная власть обращена к конкретностям жизни, к судьбам отдельных людей, равноправных, но не одинаковых. Судье по положению трудно пренебречь участью человека, которую подчас и не видит исполнительная власть, норовящая выйти за пределы исполнения решений законодательной и судебной властей и сама творящая законы (именуя их указами) и вершащая суд.

Отсюда и столь свойственное нашей истории вознесение и крушение кумиров. Наша политическая жизнь сведена к поискам «хорошего человека». Но нет приборов безошибочно определяющих, кто хорош, кто дурен, кто честен, кто лицемерит, кто будет связан предвыборными обещаниями, а кто плевать на них хотел. К тому же, власть изменяет людей, часто сильно и незаметно для них самих. Демократия не обещает, что все поднимающиеся наверх окажутся достойны доверия, но она выгодно отличается от других систем правления – от монархии или советской власти – тем, что ее сдержки и противовесы мешают плохому или испортившемуся человеку выйти на властный пост за пределы закона и чинить столько зла, сколько удастся правителям в других системах. Демократия проясняет лица своих правителей не задним числом, когда они уже в могилах или под арестом, а по ходу их правления. Поэтому демократическое государство способно полнее других учитывать интересы общества, поэтому люди там могут наладить хозяйство и другие сферы жизни сообразно со своими стремлениями и возможностями, а еще могут и помочь неудачникам, вернуть их в общество.

Трагедия российского демократического движения в том, что перестав при Горбачеве быть запретным, оно, особенно после смерти Сахарова, занялось не столько формированием демократических государственных институтов, сколько, по традиции, поддержкой «хороших людей», сперва Горбачева, потом Ельцина, вот и оказалось у разбитого корыта. Некоторые люди демократических взглядов, конечно, пытались, -- насколько допускала наша «свобода печати» -- критиковать власть, но другие «демократы» ее безоговорочно поддерживали, уверяя, что «трагические ошибки лучше заведомо злой воли». Но это верно разве что в самый момент свершения ошибки, а совершающими то, что именуют «трагической ошибкой», потом, как правило овладевает злая воля упорства в своей ошибках, и они перестают отличаться от заведомых злодеев, даже если прежде отличались от них и в собственных душах, не только в трудах своих спичрайтеров.

А где нет демократии, часто невозможно различать социальные силы. С установлением социализма в СССР и национал-социализма в Германии традиционные в XIX веке понятия «левые» и «правые» во многом утратили смысл. Они возникли обозначая сперва противостояние буржуазии, как «левой», «правым» феодальным силам, а потом рабочего класса, как «левого», «правой» буржуазии. И сперва, и потом, речь шла о расширении свободы и гражданских прав все большего числа людей. Но уже коммунизм, и национал-социализм, враждовавшие меж собой, как политические движения, родились, как антибуржуазные, рабочие, социалистические, то есть, в контексте начала XX века «левые», но на практике оба создали порядки по основным параметрам, хоть и в иной идеологической обертке, аналогичные прежним внеэкономическим порядкам, усекая свободы и права. Они и впрямь, хоть в Германии за шесть предвоенных лет и не так полно, как в СССР за семьдесят, оттеснили буржуазию, но не «слева», как обещали, а «справа». Как создатели внеэкономической хозяйственной системы, стоя у власти, они были уже не «левыми», а «правыми», неофеодальными оппонентами буржуазии. А она по отношению к ним оказывалась «левой», как была «левой» при возникновении этих понятий, то есть противницей абсолютизма и защитницей свобод, экономических, и политических. Не безграничных, но куда больших, чем при внеэкономическом социализме.

Между тем, в других странах и коммунисты, и национал-социалисты, не пришедшие к власти, продолжали выступать против буржуазии, то есть действовали как «левые», при поддержке единомышленников, стоявших в СССР или Германии у власти, по существу, давно крайне «правых». Этот парадокс старательно замазывался и пробивался разве что в искусстве. «Левые» западные партии активно поддерживали «левое» искусство и даже эксплуатировали его. Французская компартия нередко жила от щедрот Пикассо, когда в СССР замечательные собрания его ранних работ, объявленных буржуазными, почти не экспонировались. Зная порядок, обустроенный при Сталине и Брежневе, нелепо ожидать от коммунистов, даже на словах осудивших Сталина и Брежнева, отказа от тоталитарных привычек, и называть их «левыми», а «правыми» противников государственного крепостничества. Полезней признать, что смысл этих понятий, внятных при хотя бы относительной свободе, без нее стал противоположным.

Начав с осуждения преступлений советского периода, нынешние правители, спрятав партбилеты, легко перешли к обличению всего освободительного движения, и меньшевиков, и эсеров, и даже кадетов, как-никак ратовавших, если не за упразднение, то хотя бы за конституционное ограничение самодержавия. Обличают не только Пугачева, но и Радищева, декабристов, западников, Февральскую революцию. А патриотами, защитниками отечественных ценностей, кличут Аракчеева, Уварова, Победоносцева. Так удержавшие власть вчерашние коммунисты, на словах отрекшиеся от Сталина и Брежнева невольно выдают свою социальную природу. Объявляя себя демократами, они ориентируются не на традиции российских демократов, а на их гонителей.

Преодолеть смену коммунистической лжи на откровенность мракобесия, черносотенства и отечественного национал-социализма демократическому движению в России не просто. Придется долго и упорно доказывать, что оно не за ельцинские «реформы», фактически предавшие демократию, установившие неограниченную власть президента и опять обратившие страну в унитарное на деле государство, лишь именующееся федерацией. Но спасти Россию, освободить от груза имперских забот и вывести из хозяйственного кризиса может лишь переход к демократии. Свершится ли он, сегодня зависит еще и от нас. Если промедлим, завтра, возможно, зависеть уже не будет.

ВОЗВРАТ

Введя войска в Чечню, президент Ельцин совершил государственный переворот, разом изменив и статус страны и свой собственный.

Казалось, Российская Федерация стала, наконец, не на словах, а на деле, федерацией. Казалось, уже нельзя упразднить национальную автономию, как некогда Верховный совет РСФСР упразднил Чечено-Ингушскую республику, и тем более, нельзя разбомбить ее столицу. Оказалось: по приказу президента — можно. Выходит, Россия опять унитарное государство. Казалось, президент получил по новой Конституции хоть и чересчур большие, но все же не безразмерные права. В частности, послать армию воевать с собственным населением, даже непокорным, он вправе только с согласия Совета федерации, Но Совет согласия не давал, а президент армию послал. Выходит, страной правит не президент, а божьей милостью неограниченный самодержец.

Говорят, страной правят генералы Коржаков, Барсуков, Грачев, Степашин и штатские начальники Шахрай, Лобов, Егоров, Сосковец. А Борис Николаевич пребывает в информационном вакууме, то бишь новом Форосе. Но наш президент не трус, и не раз это доказывал. У него хватило бы ума и дерзости при визите вице-президента Гора сказать американским репортерам, что он в плену, и лента с записью обошла бы мир, сметая новых гекачепистов. Небось, отбирать ленту у американского вице-президента, повалив его лицом в снег, и храбрый генерал Коржаков не откажется. Вот и не стоит на него и других валить чужую вину. У них и своих грехов довольно.

Президент все знает не хуже нас, не хуже даже Сергея Ковалева. Он только не видит нужды считаться с тем, с чем посчитался бы обычный человек — с другими людьми. Просто, как нынче говорят, у него

ментальность такая. Ментальность секретаря обкома. Премьер-министр советовал чеченцам принять происшедшее как свершившийся факт и не выяснять причины. Государственный переворот предложено принять как свершившийся факт! Но тогда, неровен час, последуют и другие "свершившиеся факты", и на Петербург тоже, если что, бомбы полетят. А и людей, и город потом, и с помощью господина Клинтона, не отказавшегося субсидировать "внутреннее дело" в Чечне, будет уже не воскресить.

Самое примечательное в чеченском деле — лицо власти, -- и нашей, и зарубежной. Русскую армию бранят за слабость, не беря в толк, что ее годами готовили к тотальной войне, в чем она и на сей раз не оплошала. А умирять, оставляя живыми, ей удавалось лишь безоружных. Вот наша власть и сердится, что чеченцы сопротивляются, и то и дело предлагает им сложить оружие, сама это делать не собираясь. Но чеченцы ученые: им твердят, что Чечня — это Россия, а они знают, что никогда добровольно в Россию не входили, а были завоеваны. Уже поэтому, как евреи в Варшавском гетто, они, хоть, и обречены, предпочитают погибать в бою, но не идти на перевоспитание к Егорову и Шахраю.

Почему Ельцин не согласился на переговоры с Дудаевым? Говорят, не легитимный правитель! Эва, как просветило нас общение с британской королевой! Но Джерри Адамс уж совсем не легитимный правитель, да и представляет заведомое меньшинство Северной Ирландии, а британский премьер с ним переговоры ведет, ничего, кроме отказа от террора, наперед не требуя. Заменяв переговоры бомбами, Дудаева сделали вождем народной войны. Напрасно твердят, что Дудаев — бандит и, значит, война чеченцев не народная. Сталин был бандит стократ худший, но, какая бы банда не сидела наверху, в Отечественной войне наш народ защищал отечество. Так и чеченцы нынче.

Да и почему банды Дудаева в Чечне волнуют президента больше, чем банды Баркашова по всей России? Почему на предложение краткого перемирия, чтобы похоронить наших солдат, президент отвечает: "Еще рано", а российское правительство предлагает перемирие в оскорбительной форме, как для капитуляции? Здесь и зарыта собака. Москва не хочет компромисса, она хочет капитуляции, и не только Чечни. Пример Чечни — подготовка капитуляции всей России. Недаром русские "воины-интернационалисты" уничтожают в Грозном русское население не менее беспощадно, чем чеченское.

Полная капитуляция человека перед государством всегда была основой советского хозяйства и советского порядка. Уверяли, что именно с этим президент Ельцин покончит. Но трехлетняя проволочка с реформами показала, что президент настоящих реформ не хочет и тянется к государственному экстремизму. Большевики сообразовывались не с требованиями объективной реальности или нуждами людей, а с волей своей партии, которая добилась единогласия, перестреляв оппонентов. Величайшими экстремистами XX века были не знаменитый Карлос и не его мусульманские коллеги, а Сталин и Ежов. В Будапеште, Новочеркасске, Праге, Тбилиси выплескивался все тот же государственный экстремизм.

Когда кризис, им порожденный, стал невыносим и для правящего слоя, Горбачев попытался найти компромисс с реальностью, Сахаров от лица демократической оппозиции его поддержал, подчеркнув однако, что поддержка остается условной. Когда Горбачева сменил Ельцин, тоже

объявивший о благих намерениях, демократическое движение, в котором бывшие диссиденты уже растворились в толпе бывших коммунистов и комсогов, радостно объявило о безусловной поддержке Ельцина. А он-то от глубинных перемен уклонялся.

Изобилие на прилавках, созданное гайдаровским взлетом цен, образуют почти исключительно импортные товары, и видно, что ни в городе, ни в деревне частное производство и за три года не развернулось. Но без частников, без конкуренции нет рыночного хозяйства, значит надо затягивать пояса. Альтернатива все та же: золото или булат, взаимные уступки или приказы человека с ружьем. А если на стене висит ружье, оно, как известно, выстрелит.

Президент не побоялся стрелять. Нападки непримиримых его не испугали — он лишь продолжал начатое коммунистами в 1944 году. А от верноподданного "Выбора России", тоже номенклатуре не чуждого, он осуждения и не ждал. Выбороссы уверяли, что президент умело действует в пространстве возможного, что поддерживать его надо безоговорочно, что демократическая оппозиция России не нужна. Перед лицом обнаружившихся жертв Гайдар, претендующий быть лидером демократов, не мог уклониться от протеста, и все равно президента выгораживал, уверял, что его "подставили". И одновременно уверял, что приватизация у нас может быть только номенклатурной. Но зачем тогда раздавали ваучеры всему народу? Нет, не Чечня приведет к отказу от реформ, а отказ от реформ уже привел к Чечне.

К тому же, Чечня — полигон великодержавной политики. По новой конституции федерация состоит из единообразных "субъектов", почти губерний. Стерта граница между собственно русскими землями, чье стремление к единой государственности питают традиции, общность языка, культуры, религии, истории, и землями, завоеванными Россией, но сохранившими значительную долю коренного населения — в Чечне оно составляет большинство. Сегодня и этим землям, и Чечне в частности, разрыв с Россией, видимо, нанес бы ущерб, но без уважения к партнерам содружество невозможно. Ирония в том, что и республики и Москва хотят единства, но понимают его по-разному: в республиках — как союз, а в Москве — как подчинение центру.

Национальным республикам необходима договорная форма вступления в федерацию, хоть как-то ограждающая от закоренелого великодержавного шовинизма и преобразования федерации в унитарное государство. Договоры с Татарстаном и Башкортостаном шли со скрипом, и больше Москва такого не желает. Великодержавные позиции президента продвигались в конституцию без шума. Обычно их оглашал Шахрай — идеолог чеченской войны. Но слишком быстрые последствия отказа от подлинных экономических реформ побудили Москву нагнетать державность, поручить ее внедрение силовым министерствам.

Борис Федоров удивленно спрашивает, что плохого в слове "держава", а оно худо происхождением от слова "держать", то есть "не отпускать". У тех, кто думает, что Россию ничто, кроме внутренних войск, не объединяет, плодятся дикие мысли: дескать, отпустим Чечню, и Урал отвалится, и Новгород отделится. Но для перехода от внеэкономических отношений к экономическим нужен и переход от империи к содружеству, подобно Европейскому союзу. Единство там держится на экономической свободе, и ее не возместить военной силой, а удерживаемые насильно

норовят высвободиться. Вот и ответ на вопрос, чему послужила атака на Чечню: укреплению единства федерации или ее развалу и росту центробежных настроений.

Так или иначе, эпоха иллюзий по поводу дареной демократии кончилась. Но борьба за демократию в России лишь начинается. Ее успех зависит от стойкости демократической оппозиции и понимания остальными, что нынешняя власть вовсе не демократическая. Чечня это и подтвердила, высветив лица Шахрая, Егорова, Сосковца, Лобова и самого Ельцина, людей даже не военных. К возврату в тоталитарную систему, пусть с подновленной мифологией и отменой двух-трех нелепых запретов, страну, как видим, тянут не только Зюганов и Жириновский, но и Ельцин, пославший войска, и Гайдар, пекущийся об имуществе номенклатуры, и Федоров, ратующий за державность. А давно пора не на "хорошего человека" надеяться, но на такую государственную систему, которая и плохому не даст злоупотреблять властью. Только такая система и называется демократией.

НЕ ДОВОЛЬСТВУЯСЬ СЛУХАМИ

Ходят слухи, что выборов не будет. Меня они не тревожат. Не потому, что их официально опровергают. Я ведь помню опровержение ТАСС от 14 июня 1941 года, отрицавшее намерение Германии напасть на СССР. Даже празднуя пятидесятилетие победы, никто не вспомнил, что пресловутая "внезапность", из-за которой наша армия отошла от Днестра к Волге, более всего была вызвана этим опровержением. Если нынешние — такого же рода, и выборы впрямь не состоятся, власть лишь разрушит формальную законность, на которую, потеряв моральный авторитет, еще может опираться. Авось, хватит ума себя побересть.

Григорий Явлинский указал и на другую опасность: "Не важно, кто победит, — важно, кто подсчитает!" Фальсификация, конечно, возможна. Надо стараться обеспечить гласность и тем точность подсчета. Но меня и фальсификация не слишком тревожит. Пока свобода слова не совсем еще сведена на нет, фальсификация всплывет и фальсификаторам пользы не будет. Статьи Александра Собянина, Кронида Любарского, Валерия Выжutowича о прежней фальсификации, конечно, не изменили состав Думы, но ее физиономию прояснили.

Хорошо было товарищу Сталину, когда его слова в "Правде" были единственной правдой. Когда же наш президент говорит, что военных действий в Чечне нет, а тут же не только дерзкая Светлана Сорокина, но и осмотровательная Татьяна Комарова сообщают о бомбежках и артобстрелах, мне президента жаль. Прямое отрицание властью очевидных фактов возбуждает не только жалость. На крупную фальсификацию в накаленной и без того атмосфере ответ может оказаться непредвосхитимым. Авось, и об этом подумают.

Тревожит меня другое: пусть и выборы пройдут в срок, и сосчитают верно, да только ведь то, что будут считать, заведомо не отразит реальную волю граждан России. Конечно, и нынешняя Дума представляет ее плохо, поскольку почти половина избирателей уже ничему не верила и на выборы не ходила. Да и среди кандидатов было почти не видеть неподдельных демократов, которые критиковали бы Ельцина, Гайдара, Черномырдина за равнодушие к нарастающей нищете и уклонение от

реальных экономических реформ. Критику власти по телевидению, радио и в массовой печати могла вести лишь черносотенно-коммунистическая оппозиция, отвергающая самую надобность коренных реформ. Голосовать часто было не за кого. Да еще наш избирательный порядок!

Новым законом Дума его утвердила, сохранив равное число депутатов по партийным спискам и по индивидуальным округам. Расплывчатость новоявленных партий и обилие общих мест в их программах не дают надеяться на осознанное распределение "партийной" половины мандатов. Когда партии сражаются, главным образом, на центральном телевидении, депутатом можно стать, и носа не высунув из-за плеч бойкого лидера, дергающего потом марионеток. Но еще сильнее искажает волю граждан нынешний порядок выборов по индивидуальным округам. Там для победы надобно лишь относительное большинство голосов, то есть в расчет заведомо не берут большинства граждан.

Выборы проходят в один тур и считаются состоявшимися при явке 25% избирателей. Даже если кандидатов лишь десять (а бывает и двадцать!), теоретически можно быть избранным уже набрав 2,5% от списка избирателей плюс один голос. Практически для избрания часто довольно 5% от списка. Манипулировать столь малой частью избирателей местные власти и другие силы сумеют и без прямых фальсификаций. А ведь если никто не набирает абсолютного большинства в первом туре, реалистические предпочтения голосующих способны проявиться лишь во втором, при выборе из победителей первого.

Партиям советуют выдвигать общих кандидатов, то есть сговариваться за спиной избирателей. Но выборы не только заполняют места в Думе, но и служат народному самосознанию, оценке претендентов на власть не по обещаемым благам — на это все мастаки, — а по тому, защиты какого порядка от них можно ждать. Лишь разобравшись в ориентирах других избирателей, люди сами одолевают умственный хаос и от первого тура ко второму продвигаются к большему согласию, к учету мнений других. Демократия — не показное единство, служащее интересам начальства, а бесконечный социальный компромисс, внемлющий подвижным интересам всех слоев общества. На то и парламент, чтобы эти интересы выявить. А если столь простой метод их выявления, как второй тур голосования, законом не предусмотрен, значит и Дума, и Совет федерации и президент думают не о том, как узнать мнение народное, а о чем-то ином.

Если демократическим путем невозможно побудить власть хоть как-то считаться с реальностью, увядает надежда и на выборы, проводимые в срок, а фашизм потому и находит сторонников, что общественные проблемы не обретают демократического разрешения.

ЕЩЕ НЕДАВНО

Еще недавно характеристика с места работы, без которой шагу было не ступить, кончалась словами "политически грамотен, морально устойчив". Политика считалась делом каждого. Сегодня говорят: люди устали от политики, нечего ею заниматься. Но нарочитый отказ не лучше принудительного насаждения. Это тоже политика. Не стоит закрывать на это глаза.

Недавно патриарх осудил создание мусульманской партии, поскольку религия должна быть вне политики, и я бы приветствовал это заявление,

если бы не помнил, что когда создавались христианские партии Аксючица, Савицкого и других, святейший патриарх не возражал. Выходит, создавать православную партию можно, а мусульманскую нельзя. Таковы у нас все отказы от политики.

Говорят, что в России, не имевшей демократических институтов, литературе пришлось взять политику на себя, поэтому, дескать, политический ссыльный Пушкин, каторжанин Достоевский, отлученный от церкви Толстой и другие стали видными фигурами русской политической мысли. Но разве во Франции, где с демократическими институтами все в порядке, Вольтер или Гюго, Альбер Камю или Андре Мальро не занимались политикой?

Политика — это часть жизни, задевающая не менее, чем нужда в хлебе насущном, чем овладение знаниями и профессией, чем любовь, семья и воспитание детей. Бывают эпохи, когда политика проста до очевидности, а бывает, что далеко не сразу понятна. Но уйти от нее мы не властны. Как сказал поэт о любви: гони ее в дверь, она влезет в окно.

Я вот много лет занимаюсь балетом, уж что, кажется, дальше от политики, но за эти мои писания меня объявляли и идеалистом, и космополитом, и даже заявляли, что мою похвалу величайшему хореографу XX века Джорджу Баланчину, родившемуся, кстати, в Петербурге, никак нельзя назвать патриотической. Я уклонялся от обязательной политики, не был ни комсомольцем, ни членом партии, как говорится, "ушел в балет", а мне за балет предъявляли политические обвинения. Так, может быть, лучше наперед понимать, что любое наше дело имеет и политический смысл, и сознавать этот смысл.

Не надо только отождествлять интерес к политике и стремление к власти. Я, например, никогда не хотел быть ни депутатом, ни партийным функционером, ни административным начальником. Я дорожил только появившейся при Горбачеве возможностью писать по социальным вопросам, и сегодня страдаю от того, что такая возможность резко сократилась и введена в удобное для власти русло, не позволяющее систематически демонстрировать смысл ее хитроумных маневров.

Но мой вкус — никому не закон. Среди стран, преодолевающих тоталитаризм, лучше всего дела пошли там, где пост президента занял драматург Вацлав Гавел, по своей литературной профессии лучше понимающий противоречия меж людьми, чем партийные секретари, советские директора и комсорги, уверенные, что противоречия проще всего ликвидировать вместе с противоречащими людьми.

Беда не в том, что президент плох или министры плохие. Тогда бы достаточно было их заменить. В нашей ситуации больше всех виноваты те, кто зовет слепо довериться власти, все равно, коммунистической или монархической, и не заниматься политикой. Меньше года назад почтенные деятели литературы, искусства и науки выступили в "Известиях" против существования демократической оппозиции. А ведь будь у нас не только коммунистическая и фашистская оппозиция с одной стороны, но и демократическая с другой, президент, объявивший себя демократом и даже гарантом демократии, десять бы раз подумал, прежде чем бросать бомбы. А так он опасался лишь существующей оппозиции и принаравливался и все больше приближался к ней. И люди, надеявшиеся на демократические перемены, больше не идут на выборы, поскольку выбирать им оставили только окраску режима, который и по Конституции

уже авторитарный. Неужто же в этой ситуации, когда что-то еще можно объяснить, и кто-то еще может услышать, писателю лучше помалкивать?

ИНОЕ ДАНО

Перемены забуксовали, и нам внушают, что гарант демократии разумно действует в пространстве возможного. Но социальные, политические и экономические проблемы исследуют врозь, хоть об их взаимозависимости знал не один Маркс, но и его оппоненты. «Патриоты», которые не патриоты, и «демократы», которые не демократы, верят, что идут перемены, а идет кризис «социалистического способа производства».

На более ранних этапах его тщетно пытались смягчить Хрущев, упреждавший совнархозами Росселя, и Косыгин, упреждавший Чубайса своей реформой. Ничего у них не вышло. Мешала советская вера, что руководство коммунистической партии крепче взаимных связей хозяйства и общества, и можно вертеть и тем, и другим, как хочешь. Этой верой государство и подсекло свои благие пожелания. Вера в государство стала проклятием советских реформаторов, как сперва революционеров.

Американец Марк Интриллигейтор, тоже считающий, что для реформ необходимо сильное государство, странным образом забыл, что на площади Тяньаньмынь любезное ему китайское государство уже обозначило предел совместимости тотальной власти и экономического хозяйствования. Россия ощутила его еще в 1927 году. Вскоре государство возобладало. С 1929 оно разоряло деревню и ломало органичное развитие производства, ориентированное на платежеспособный спрос. У нас был свой китайский опыт, еще не до конца освоенный Китаем, и, чтобы жить здраво, нам надо отделить хозяйство от государства. Страшась экономической свободы, наши реформаторы ищут выход из кризиса не в реальной жизни общества, а в социальной инженерии, которую номенклатурная элита не выпускает из рук. «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — справедливо заметил премьер, да и откуда быть иному, если делали, как всегда, командными методами, по природе внеэкономическими. А средства предопределяют будущее куда полней, чем цели, начертанные на плакатах.

В «Новом времени» №37 Юрий Александров, едва ли не первым у нас, рискнул защищать нынешних «реформаторов», не замазывая реальности. Что наша «управленческая и хозяйственная элита давно приватизировала административно-командную систему», он признал наперед. И не скрыл, что в результате произведенных «реформ» номенклатура «упрочила свое право распоряжаться бывшими государственными предприятиями, не порывая связи с государством». Так прямо и пишет: «элита взяла свое». Зюганову, Тулееву и прочим противникам установленного порядка нипочем не сделать такого признания, как сделал этот его сторонник. Ведь это бы значило признать, что номенклатурная элита и до всякого Гайдара усердно грабила народ, а это было бы для нее самоубийством.

Но чтобы разобраться, способна ли «элита», «взяв свое», изменить жизнь не «как всегда», а в самом деле, Ю.Александрову стоило бы держаться реальности до конца и не уверять, что «остальной народ ничего не потерял». Сосчитав сколько батонов, картошки и мяса можно было купить на прежнюю зарплату, стипендию или пенсию по искусственно заниженным прежним ценам, и сколько купишь на нынешнюю,

выплачиваемую еще с нарастающим опозданием, при растущих ценах, убедишься, что жизненный уровень в среднем сократился раз в шесть, если не больше, а «элита» осталась при своем. Будь иначе, не было бы почвы для тоталитарного реванша и открыто национал-социалистических и фашистских инициатив.

Удивляться нечему. Начатые при Ельцине реформы — плоды обычной социальной инженерии, подменившей общественные перемены. Четыре года назад, когда, отойдя от тотальных претензий Союза, Россия могла осознать, что у нее нет более высокой цели, чем благополучие и безопасность ее граждан, возникала надежда на возврат к Учредительному собранию. Но всенародно избранный президент предпочел старый съезд народных депутатов, в большинстве состоявший из партийных функционеров и все той же номенклатурной элиты.

Не то что меж гайдаровско-черномырдинской и зюгановско-стерлиговской элитами нет различия, но оно преувеличивается, а сходство замалчивается. А сходство не сводится к происхождению от КПСС. Оно — в общем желании вести хозяйство, «не порывая связи с государством». Оттого и оплачивать накопившиеся советские диспропорции Гайдар заставил не кругом виновное государство, а рядовых граждан. Как в первые дни перестройки, нас уверяют, что другой возможности быть не могло, «иного не дано». Гайдар даже называет нынешний порядок капиталистическим. Но будь он таким, власти пришлось бы позаботиться если не об упреждающем, то хотя бы о синхронном установлении хозяйственного права и прочих институтов, об отсутствии которых американец все же вспомнил. А они не работают не по слабости власти, а потому, что гайдаровский «капитализм» — никакой не капитализм, а лишь иная разновидность все того же промышленного феодализма, который в СССР именовали социализмом. А в Европе, вырабатывавшей хозяйственное право при открытой классово-борьбе, значимо было слово и свободных крестьян, и ремесленников, и свободных рабочих, а не только предпринимателей. Когда действительна лишь воля чиновников, зашибающих деньги, у людей пропадает охота работать лучше.

Капитализм, при известных его недостатках, оказался привлекательней других общественных порядков тем, что он продуктивен и в силу своей экономической природы стихийно откликается на потребности общества, которое своим спросом его поощряет. А внеэкономический порядок, в том числе и наш «социализм», и гайдаровский «капитализм», с этим спросом не считается, руководствуясь высшими соображениями, — если не ленинским намерением установить на земле царство божие под красной звездой, то под крестом или полумесяцем. Да только вход в это царство лишь для номенклатурной элиты. Реформа, пришедшая с перестройкой, — подмененная. Капиталистические имена даны не слишком изменившемуся порядку, монополюльно руководимому государством. Известно, что общая стоимость всех ваучеров, выданных населению России по обозначенному номиналу, выше которого она с учетом инфляции не поднялась, не превысила стоимость годового кредита МВФ, а в сравнении с богатством страны просто ничтожна.

Будь экономическая реформа реальной, гайдаровская «либерализация цен» все равно бы понадобилась, но нынче она и без реформы позволила государству преодолеть накопившийся разрыв меж ценой и ценностью товаров, опустошавший прилавки и склады, и грозивший голодными

бунтами и гражданской войной. Элита хотела этот разрыв преодолеть. Уже при Брежневле росли цены. Рыжков и Павлов при Горбачеве вздували их еще сильнее, обесценивая людские накопления. Но лишь Гайдар при Ельцине рискнул снять ограничения цен, отчего всеобщее недовольство и связалось с именем Гайдара. Не виновный в давнем разрыве цен и ценностей, он пожертвовал своим добрым именем ради сомнительной при Ельцине возможности создать свободную экономику. Сделать это ему не довелось. Он лишь растянул крах внеэкономического порядка, но, едва наладил торговлю, от прямой власти был оттеснен..

Ныне он рассказывает, что предостерегал президента. Объясняет, к чему приведет прежний образ жизни на еще более низком уровне. Но он не говорил об этом людям, считавшим его демократом. Не сказал открыто, кто мешает реформам. Словом, оказался не политиком, выражающим интересы людей, а чиновным социальным инженером. А от чиновной элиты, тормозящей развитие страны, ждатель установления порядка, ценящего усердие и изобретательность, наивно. Лишь обеспечив до всякой приватизации права частного предпринимателя и определив его обязанности, перемены открыли бы путь воистину частному производству, куда могли бы инвестироваться те сто миллиардов долларов, о которых известно, что они ушли за рубеж, спасаясь от всемогущего государства, которому нельзя верить. К ним бы, конечно, еще прибавились неведомые капиталы, утекавшие в МММ и подобнее фирмы. В деревне первым шагом к приватизации стал бы отказ от выравниваний судебных сводящих концы с концами колхозов и совхозов с судьбами живущих субсидиями, идущими к тому же не столько в хозяйство, сколько новым помещикам, назвавшимся аграриями. С раздела убыточных хозяйств и появления на их месте продуктивных ферм могла бы начаться приватизация земли, сперва хотя бы для работающих на ней и их детей, желающих вернуться на землю. Есть и другие пути приватизации, продуктивно использованные в Чехии, где и ваучеры дали эффект и, хоть и там с экспроприации уже полвека, не побрезговали вернуть собственность прежним хозяевам.

А нам выдают за установление экономических отношений изменение отношений внутри внеэкономической элиты. Оттого у нас так много партий и так расплывчаты их программы, что они говорят не от имени разных слоев населения, которых отнюдь не так много, а отстаивают групповые интересы номенклатуры. Ведь и прежде днепропетровская группировка отстаивала свое, а белорусская или московские свое. От того, что разные группы элиты отстаивают свои интересы уже не под ковром, как прежде, а на публичных выборах, соответственно организованных, порядок отнюдь не становится демократическим.

Поскольку начавшаяся с перестройкой свобода слова и печати, хоть и урезана, но еще не ликвидирована, нас уверяют, что в России -- демократия. Что говорить, без свободы слова и печати демократии не бывает. Но из этого вовсе не следует, что относительной свободы слова и печати не бывает без демократии, тем более, что недемократическое общество и без цензуры имеет возможность свободы укоротить. На отмену в апреле 1865 года предварительной цензуры Н.А. Некрасов отозвался сатирическими "Песнями о свободном слове", в одной из которых "фельетонная букашка" одинаково радовалась двум свалившимся под старость удачам: "Курил на улицах сигары И без цензуры сочинял". (До шестидесятых годов курить на улицах Петербурга было запрещено.)

Некрасов ощущал грань даренной свобода, и ему не приходило в голову именовать правление даже лучшего из русских царей демократией.

У нас оснований для подобного не больше. Нет у нас первого признака демократии, свободной экономики, кстати и при царях скованной бюрократией. Нет у нас и доброкачественной избирательной системы, дающей широким массам граждан сознавать действенность своего голоса. Сколько ни твердят, что и "номенклатурная демократия" это все же демократия!», мы знаем: это демократия для номенклатуры. Предпочтя рабовладельческую демократию республиканского Рима или Афин египетским или персидским порядкам, мы помним, что для рабов она и в Риме и в Афинах была рабством. А в компьютерный век рабство убивает не только замученных рабов, но и страну, в которой за него держатся.

Нам усердно выдают за свершившееся то, что еще не начиналось, путают субъективные намерения и объективные результаты. Андрей Колесников в "Новом времени" № 42 вспоминает слова Лешека Бальцеровича: "Самое трудное — это вновь сделать из яичницы яйцо", и уверяет, что Гайдару и Чубайсу это тоже удалось. Но успех Бальцеровича, проводившего реформу в стране со свободным крестьянством, при всей сложности его реакции, подтвержден ростом производства. А Гайдар с Чубайсом покамест даже не остановили его сокращения. Из яичницы они сделали не яйцо, а лишь омлет. Прибавили молочка да лучка и придали аппетитный вид. Но готовят его все те же государственным способом.

Радоваться, что прилавки заполнились, стоит лишь помня, что растет и число роющихся в помойках. В том, что у них нет работы с адекватным заработком, виноваты те самые защитники государственного хозяйства, которые не дают ходу свободной экономике, способной дать работу множеству людей. Без нее даже воспоминания о жалкой государственной пайке обретают сладость, и люди голосуют за Зюганова, Жириновского, Рыжкова или Стерлигова, хотя исчерпаны уже и источники такой пайки.

Читая при этом об успехах наших реформаторов, трудно взять в толк, что страна страдает не от реформ, а от их отсутствия, что происходящие под именем реформ перемены идут на пользу прежде всего номенклатуре. Да еще пуще прежнего уверяют, что демократическая оппозиция нам вовсе и не нужна. А без нее, повседневно ратующей за свободу экономики, социальные гарантии и гражданские права, элитарные замашки не преодолеть. Ближайшее время прояснит, осталась ли еще возможность легально справиться с номенклатурным господством или России остаются лишь несбыточные надежды нового диссидентства. Но как бы оно ни повернулось, не стоит внушать себе и другим, что иного и не было дано.

ПРОБА

Реакция России на выборы оказалась любопытней самих выборов. Во всяком случае, явственней проступило самосознание наших средств массовой информации, мятущихся от самообольщения к самообману. Выборы трактуют как противоборство "левой" и "правой" группировок, именуя, как в предреволюционные времена, "левыми" коммунистов, тогда и впрямь стоявших на "левом" фланге политического спектра, словно с тех пор ничего не было. Ни Ленина с продрозверсткой, ни Сталина с коллективизацией, ни ликвидации крестьянства как класса, ни расстрелов рабочих, ни истребления культурных слоев, а с ними и культуры, ни

расовой дискриминации и истребления народов, словно победивший коммунизм не оказался очевидным воплощением реакции и мракобесия, убиравшим с витрины даже старые словеса, которыми Сталин, гений этого процесса, как ловкий лицемер еще пользовался. Ныне коммунисты уже и самые слова «социализм», «коммунизм», заменили словом "государство", запамятавав, что основатель российского коммунизма все же оговаривал: "когда будет социализм, не будет государства". Оставлено без внимания и то, что нынешний политический спектр далеко не полон, что именуемые "центристами" и "правыми" представляют лишь более умеренные и более либеральные части распавшейся КПСС, и если даже назвать коммунистов Егора Гайдара или Григория Явлинского, "либералами", бросится в глаза отсутствие либеральных и радикально-либеральных массовых движений.

Отсюда и трансформация элементарных понятий. Нам указывают на Восточную Европу, где тоже как будто взяли реванш бывшие коммунисты, и забывают, что в Венгрии, Польше, Литве, это все же коммунисты, впрямь сдвинувшиеся в либеральную сторону, тогда как наши, напротив, движутся в еще более реакционную сторону, компартия Зюганова -- прямая наследница компартии Полозкова, то есть той части КПСС, которой либералом казался Андропов и даже Брежнев, а Горбачев или Ельцин, не говоря о Гайдаре и Явлинском — просто предатели. Для отдельно существующей компартии Анпилова даже и Сталин — либерал, уничтоживший слишком малое число людей, отчего и стало возможно, по мнению этих коммунистов, "предательство" прежней партийной верхушки. В сопоставлении с Анпиловым Зюганова изображают почти социал-демократом, а Брежнев с ним рядом — поборник прав человека.

Итак, в выборах участвовало несколько групп коммунистов в разной мере одобренных шовинизмом, и несколько групп открытых шовинистов, развивающих давно освоенную КПСС традицию, без социалистической риторики, в чем заметнее прочих партия Жириновского. Коммунисты и шовинисты вместе именуется у нас "патриотами", и "патриоты" считаются "левыми", являясь в общепринятом смысле крайне правыми. Наряду с ними были весьма активны умеренно правые, именуемые центристскими, то есть "Наш дом — Россия" и Конгресс русских общин, объединивший шовинистов без расистской оголтелости, и т.п. И третья группа, именуемая у нас "правой", или "демократами", а фактически центристская, то есть, целый ряд партий, начиная с партий Гайдара и Явлинского. Реальный правый фланг в нашей предвыборной кампании пуст, таких людей как Яцек Куронь и, тем более, Тадеуш Мазовецкий, не говоря о Маргарет Тэтчер, в российской политической жизни нет.

В ходе выборов в думу первого созыва, отвлекаясь от пустоты "правой" части нашей политики, пресса все же сознавала различие трех существующих групп и, в частности, меж "центристами" и "демократами". Никому не приходило в голову отождествлять Черномырдина, остановившего обещанные Гайдаром в начале 1992 года реформы, и самого Гайдара. В ходе нынешней избирательной кампании обнаружилось, что различие меж ними не принципиально.

Лишь сознавая эту бегло очерченную расстановку сил, можно трезво оценить итоги выборов, понять, кто победил, а кто проиграл, и почему. По здравому разумению победителями следует считать тех, кто улучшил свои результаты в сравнении, с прошлыми выборами или впервые добился успеха с минимальными усилиями. Все знают, что лишь четыре партии

перешагнули пятипроцентный барьер. Но не все они могут быть сочтены победителями, даже если ограничиться федеральным округом. За Жириновского было подано вдвое меньше голосов, чем на прошлых выборах. Счесть это победой трудно, тем более, что в индивидуальных округах сторонники Жириновского получили всего одно место. Счесть победителем Черномырдина тоже нельзя, поскольку, как премьер-министр, он имел несопоставимые с остальными пропагандистские возможности, появляясь на телеэкране десятки раз за день, и все же не смог набрать и десяти процентов голосов. Фактически на выборах победили две партии: коммунисты Зюганова и партия Явлинского. Их победы подтверждаются тем, что их представители победили примерно в таком же проценте индивидуальных округов, какой эти партии набрали голосов по федеральному. При коренном различии политических позиций Зюганова и Явлинского, причины их побед отчасти схожи. Прежде всего, оба они, хоть и с противоположных позиций, резко критикуют политику президента и правительства, что толкает избирателей надеяться на перемены, которые, естественно, избирателям разных партий видятся по-разному. Но этим сходство не ограничивается. Партия Явлинского и до, и, в особенности, после выборов, после провала "Демократического выбора России" (Гайдара) и неудачи более мелких партий, а также партии Черномырдина, подверглась с их стороны яростным нападкам и обвинениям в раскольничестве, якобы приведшем "демократов" к поражению. Но подобным обвинениям могла бы подвергнуться и партия Зюганова, она тоже шла на выборы отдельно от других коммунистов, от партии Анпилова, от партии Рыжкова-Бабурина, от аграрной партии. Кажется, что механически складывая голоса, полученные этими компартиями, партия Зюганова еще больше увеличила бы свое место в федеральном округе. Но никто не считает, сколько голосов поданных за Зюганова, от него бы ушло, блокируйся он еще в ходе кампании с тем же Анпиловым. Совершенно так же при блокировании Явлинского с Гайдаром не Гайдар бы приобрел лишние голоса, а Явлинский потерял бы полученные, и в сумме они проиграли бы больше, чем сейчас. Стоит все же признавать, что смещение симпатий электората, пусть и не всегда дальновидное, вызвано и какими-то объективными причинами, а не просто глупостью избирателей, как получается, если слушать иных "демократов", продолжающих твердить, что их политика безупречна, да, к сожалению, вся рота идет не в ногу, только Егор Гайдар в ногу.

Разумеется, нынешняя избирательная система не позволяет воле большинства избирателей проявиться достаточно четко, поскольку не предусматривает второго тура голосования, но об этом и надо говорить и добиваться его проведения. Между тем, депутаты, не желающие искать причины своих неудач в самих себе, готовы любым путем ликвидировать печальную победу коммунистов, не сознавая, что отмена задним числом выборов, проведенных в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным собранием и президентом, лишь окончательно подорвет доверие к свободному народному волеизъявлению, и так у нас непрочное.

Особенно нелепы нападки на пятипроцентный барьер, ограждающий федеральный округ, собирающий голоса по всей стране, от проникновения экстремистских партий, не имеющих большой поддержки у избирателей. Смешон уже сам довод, которым размахивают депутаты Хакамада, Никонов, Рыбкин и другие: выборы, якобы, не могут считаться

представительными, если партии, победившие в федеральном округе, собрали вместе менее 50% голосов. И ни слова о том, что депутаты, избранные по индивидуальным округам, собрали вместе около 20% всех голосов, если не меньше. И то и другое, конечно, нехорошо, но спасение и тут и там в проведении второго тура голосования. Во втором туре голосования по федеральному округу должны принять участие все партии, перешагнувшие пятипроцентный барьер, с тем, чтобы места между ними распределялись в соответствии с результатами второго тура, когда все до одного голоса смогут быть учтены, но сама избирательная система будет побуждать избирателей к ответственности. Демократичность выборов не в том состоит, чтобы каждый имел в думе своего особого, не похожего на других депутата и 450 депутатов представляли бы 450 партий, которые никогда меж собой не сговорятся и смогут лишь поддакивать президенту, а в том, чтобы партий было немного, во всяком случае, менее десятка, а еще бы лучше не более пяти, но чтобы эта пятерка или десятка определялись не сговором партийных лидеров, а волеизъявлением избирателей, их реальным большинством. Тогда и Егор Гайдар и его сторонники, так горячо призывавшие демократов к единству, смогут откровенно выбрать, с кем они такого единства хотят, с Явлинским, которого к нему призывают, или с Черномырдиным и президентом, которых фактически всеми силами поддерживают. И всем будет ясно, что коммунисты взяли верх не из-за амбиций Явлинского или Гайдара, у которого они не меньше, а оттого, что часть "демократов" предпочла сговор с властью борьбе за действительно демократические преобразования, отнюдь не сводящиеся к неограниченному росту цен. Даже осуждая чеченскую войну эти "демократы" продолжают поддерживать президента и правительство, эту войну развязавших.

Опыт думских выборов весьма важен для решающих, президентских. Дума у нас все-таки, как при царе, — орган совещательный, а избрание президентом коммуниста- "патриота" положит конец надеждам на нормальное развитие страны и соответствующую ему жизнь граждан. Что могут противопоставить коммунистам люди, не согласные с тем, чтобы перемены, свернутые и изуродованные почти с самого их начала, так бы и сгнули, и Россия вернулась к гонке вооружений, покорению чужих земель и растущей бедности собственного народа, рассматриваемого властями лишь как орудие для достижения своих целей, как пушечное мясо?

Прежде всего, можно ли еще этому что-то противопоставить, не неизбежна ли уже победа коммунистов и "патриотов"? Думается, ситуация хоть и опасна, но не безнадежна. По данным А.Собянина и Б.Суховольского в "Известиях" "левые" собрали сейчас 45,6% голосов, а на президентских выборах надо собрать в первом туре 50%. Сделать это им будет трудно. Конечно, если будут продолжаться война в Чечне, рост цен, несвоевременная выплата зарплаты, "левые" смогут победить и в первом туре. Но скорей, второй тур все же состоится. И чрезвычайно важно, кто окажется их соперником. Уверяют, что больше всего шансов на это имеет Жириновский. Но даже если это так, чего я не думаю, это будет означать уже неминуемую победу кандидата коммунистов. В выборе меж Зюгановым и Жириновским, которым нас энергично пугают, Жириновский не имеет шансов победить Зюганова, и это должны понять те его сторонники, которые видят меж Зюгановым и Жириновским разницу и прямо за коммунистов голосовать не хотят. Поняв, что голосовать на

президентских выборах за Жириновского -- значит голосовать за Зюганова, они призадумаются и хотя бы часть их предпочтет другого кандидата.

Чем, собственно, различаются реальные кандидаты в президенты, которых, конечно, надо искать при партиях, победивших по федеральному округу? Коммунисты — партия чистого реванша, но фактически сдвинувшаяся ко еще более откровенному шовинизму, жаждущая избавиться от Маркса и всего того, что при Сталине не случайно было названо талмудизмом. Сложность ее ситуации в стратегическом плане определяет то, что ресурсы, за счет которых можно было как-то, хоть и на скудном уровне, проводить государственно-патерналистскую политику, исчерпаны, именно это побудило КПСС выдвинуть к вершинам власти Горбачева с идеями либерализации режима. Можно подвергнуть резкой и заслуженной критике практическую деятельность Горбачева в этом направлении, она была робкой и недостаточной, но не стоит забывать, что антитезами этой политике были либо национальная катастрофа куда больших масштабов, чем нынешняя, либо мировая война. Между этими двумя возможностями только и сможет президент Зюганов выбирать после инаугурации. Но до этого его позиция имеет глубокие корни в неравномерном развитии страны и надежде значительного числа ее жителей на государственное кормление, поскольку другой надежды при государственном хозяйстве быть не может. Жириновский тоже стремится к реваншу, но он меньше связан социалистическим прошлым и теоретическим наследством. Зато более откровенен, и идею омыwania солдатских сапог в южных морях, то есть ожесточения Афганистана, а не ухода оттуда, провозгласил открыто, тогда как у Зюганова она лишь угадывается. Война в Чечне и стала практикой этой политики. Оттого и смягчилась партия Жириновского к президенту и правительству, не раз их поддержав не только по вопросу о войне. С одной стороны Жириновский и жириновцы сообразили, что не так скоро дело делается, а с другой убедились, что реванша хотят не только они и не только Зюганов.

Более вероятным соперником коммунистов во втором туре является, конечно, президент Ельцин или лицо им поддерживаемое. Но нелицеприятная оценка позиции президента все еще заставляет себя ждать. Ей не пробиться меж гневными обличениями "патриотов" и лестными отзывами "демократов", отечественных и чужеземных. А ведь минувшие годы позволяют судить о ней достаточно внятно. Ельцин начал как последователь Горбачева, более радикальный, чем сам Горбачев, что и повело к их разладу, а Ельцина привело в межрегиональную группу депутатов, олицетворявшую тогда легальный предел допустимой демократии. Если Горбачев так и не отказался от приверженности социализму, то Ельцин публично, на съезде партии, вышел из КПСС. Под знаменем демократии в конце 1991 года достиг он высшей власти. Однако фактически его власть после нескольких демонстративных антикоммунистических деклараций сама все больше клонилась к коммунистической традиции.

В начале 1992 была провозглашена гайдаровская либерализация цен, позволившая спасти если не людей, то существовавший порядок от немедленной голодной смерти. Этим фактически реформы Ельцина и ограничились. Учредительное собрание созвано не было, гарантии частному производству не даны, оно, напротив, фактически пресекалось непомерными налогами. Свобода печати свертывалась аналогичным,

якобы экономическим, механизмом. Замена Гайдара на посту премьера Черномырдиным была откровенным знаком тяготения президента к реваншу, поскольку к коренным реформам он не был готов и явно их не хотел. Тяготение это было еще очень сдержанным, осторожным, но активные реваншисты ощутили слабинку и кинулись в вооруженную атаку. Президенту оставалось лишь ответить на огонь огнем, и напрасно упрекать его в том, что как и потом в Чечне, он перешел меру необходимости. До подобных ситуаций разумный демократ не позволяет себя довести, упреждает их решительными реформами. Но, быть может, еще примечательней, что и после победы над Верховным советом президент все дальше шел по пути реванша и, наконец, открыто встал на него, начав бомбежку Грозного. Если до 11 декабря 1994 года неторопливый реваншизм Ельцина был несомненно предпочтительнее активного и вооруженного реваншизма "патриотов", то война это различие стерла, и считать Ельцина и дальше демократом стало невозможно.

Продолжая высказываться против прежнего порядка, Ельцин практически ничего не сделал, чтобы показать гражданам хозяйственную несостоятельность прежнего порядка, наглядно продемонстрировать, что именно коммунисты привели богатейшую страну к нищете, что производство оружия превысило не только разумные пределы, но и уровень, за которым оставалась возможность производить жизненно необходимые хотя бы для производителей оружия, не говоря о прочих гражданах, предметы потребления, что созданная коммунистами система сельскохозяйственного производства, при самых больших в мире посевных площадях на душу населения, была неспособна прокормить страну, и уже Хрущеву и Брежневу приходилось покупать хлеб за рубежом и в огромных количествах.

Недостатки коммунистического правления в сознании большинства граждан свелись к отсутствию свобод и прав, якобы нужных лишь узкому культурному слою. Вот люди и говорят: у меня в семье никого не сажали, читать запрещенного Солженицына или Гроссмана мне не интересно, мне подавай батон за шестнадцать копеек да колбасу за два двадцать. О том, что такого батона и такой колбасы не стало именно потому, что коммунистическая хозяйственная система с искусственными ценами, компенсируемая до поры чудовищной растратой природных, да и людских ресурсов, исчерпала свои возможности, люди не думают. Тот многократно подтвердившийся факт, что вернуть на сколько-нибудь постоянной основе дешевые батоны и колбасу в те немногие города, где они были, никакие аресты и запреты уже не могут, что, напротив, только восстановление свободы умственного труда позволит разумно использовать ресурсы нашего отечества и накормить и одеть его граждан, оплачивая их труд по его реальной стоимости, в сознание граждан так и не вошел. Многие из них искренне убеждены, что батоны и колбаса есть за пазухой и у Ельцина, и у Зюганова, и у Жириновского, и надо просто заставить более податливого эти батоны и колбасу людям отдать. Потому Зюганов и набирает очки, что о коммунистической колбасе, за которой всех-то дел, что сгонять на электричке в Москву, еще помнят.

Ельцин не только ничего не сделал для разрушения подобных иллюзий, но позволил возникнуть иллюзии, что в нынешних бедах виновен лишь Гайдар, своей либерализацией цен обнаживший реальность коммунистического хозяйствования. Гайдара можно и должно упрекать в

том, что он одновременно не открыл дорогу свободному производству, способному сбить пятикратный взлет цен, к которому привели своим хозяйствованием коммунисты, но в самом этом взлете, который свалили на него его преемники, он не виноват, даже если потом сам с ними сошелся. Стоит помнить, что сама замена Гайдара на Черномырдина была произведена по предложению коммунистов и голосами коммунистов, но совершил эту замену Ельцин, имевший возможность назначить премьером Гайдара, поскольку тот, хоть и на третьем месте, вошел в тройку кандидатов, из которых президент мог выбирать премьера. Здесь глубинная приверженность Ельцина коммунистическому методу проявилась открыто. Еще раньше он и его окружение заговорили о необходимости опираться на профессионалов-хозяйственников, словно опыт этих хозяйственников не был как раз внеэкономическим, то есть, не держался на государственных дотациях и несбалансированных затратах, на прямых противоположностях требованиям рационального производства. Опять же падение производства рассматривалось Ельциным и его соратниками без различия, идет ли речь о падении производства, давно ставшего стране обузой, или жизненно необходимого людям, то есть хозяйство по-прежнему рассматривалось как единое целое, отвечающее воле власти.

И такого же единства Ельцин и его соратники хотели в политической жизни, главной задачей которой для них стало ни в коем случае не допустить дальнейшего сдвига страны к не декоративной демократии, робко начатого Горбачевым. В то время как коммунистической и даже открыто фашистской оппозиции предоставлялись все возможности, пути демократической оппозиции преграждались и сама она объявлялась чуть не подрывным элементом, пособницей коммунистов. Так отвечала власть на упреки в том, что она возвращается на коммунистические позиции. Но могли ли, при еще не вовсе уничтоженной свободе слова, такие упреки не возникать, если власть везде и во всем хотела быть и считаться правой? Министр внутренних дел недавно, например, заявил, что успешной борьбе с преступностью мешает уголовный кодекс. В сознании законопослушного гражданина уголовный кодекс как раз и есть главная опора в борьбе с преступностью, но министр хочет вседозволенности, не сознавая, что она-то и станет главной опорой преступности. А никакой реакции президента на это публичное заявление министра не последовало. Выходит, и с робко обещанным Горбачевым правовым государством нынешняя власть покончила, и открыто возвращается к коммунистическим повадкам.

Конечно, Ельцин свою коммунистическую натуру не афиширует, а прячет, но люди-то не слепы. Поэтому, как альтернатива Зюганову или другому общему коммуно-патриотическому кандидату, Ельцин имеет хоть и больше, чем Жириновский, но тоже не слишком много шансов. При выборе между Ельциным и Зюгановым многие демократически настроенные люди на второй тур просто уже не явятся, поскольку это будут выборы без выбора.

За пределы этой неизбежности нам не удалось выйти ни за десятилетие, открытое Горбачевым, ни за четыре года ельцинского, якобы некоммунистического, якобы демократического правления. Борьба, собственно, идет между коммунистами, все еще полагающимися на силу, и бывшими коммунистами, убедившимися, что после научно-технической революции и сила сама по себе бессильна. Важно, однако, что коммунисты, и бывшие, и нынешние, составляют вместе не более десяти

процентов населения, но удерживают все важнейшие должности, нет, кажется ни одного министра, который не состоял в КПСС, а вот беспартийные в органах власти представлены даже меньше, чем при Брежнев, когда их сажали туда напоказ. Менее всего мне хотелось бы призывать к люстрации, но, думается, и большинство населения, беспартийные, вправе быть представленным во власти, именуемой демократической. Ельцин изысканно пресек такую возможность, и это тоже укрепило коммунистическую природу его правления, и, как видим, привело к большинству коммунистов в думе и создало угрозу избрания открыто коммунистического президента.

Единственный шанс его остановить дает выход во второй тур Явлинского. Но не будем себя обманывать: шанс на это невелик. Единство демократов, к которому неустанно зовет Гайдар, на деле означает лишь подчинение всех, кто считает себя демократами, Егору Гайдару и его пониманию ситуации. Потерпев поражение на выборах, он не считает нужным хоть слово сказать об ошибках, допущенных им лично в ходе избирательной кампании, да и раньше. Объявляя своих избирателей "элитой общества, самыми умными и самыми порядочными людьми", он не считает нужным объяснить, почему столь большое число "самых умных и самых порядочных", голосовавших за него в прошлый раз, на сей раз поступило иначе и проголосовало не за партию власти и не за коммунистов, а, напротив, за Явлинского, которого в этой избирательной кампании дружно бранили и власть, и коммунисты, и гайдаровцы. А оказалось, что Явлинский понял, что только демократическая оппозиция президенту и правительству, говорящим о реформах, но не производящим их, как-то еще может найти поддержку у достаточного числа демократически настроенных избирателей.

В сущности у нас прошли предварительные, пробные выборы, то что в Америке называют праймариз. Вокруг победителя на праймариз там и объединяются люди единого политического крыла. Но у нас все по-своему, и с результатами праймариз, с мнением народным, считаться не хотят, и единую политику диктуют не победители, а побежденные. От Явлинского требуют, чтобы во имя победы демократии он объединился с Ельциным (Черномырдиным, Шумейко и т.п.), борьба с которым составляла смысл его политической деятельности, начиная с 1992 года. Беда не в том, что Явлинский, согласившись на это и показав, что он не лучше Гайдара, утратил бы всякое уважение избирателей, а в том, что демократия бы потеряла единственный остающийся на обозримое время шанс.

Разумнее всего было бы Ельцину и его соратникам уйти с политической арены, а Гайдару и другим демократам активно поддержать Явлинского. У него шанс победить Зюганова есть, всем понятно, что он во всяком случае не затеет новую Чечню в Азербайджане, Эстонии или Украине, что непременно сделает Зюганов, собирающийся восстановить СССР, не справившись о желании тех, кто был включен туда силой советского оружия. Но, увы, надежды на то, что Ельцин и Гайдар поступят так, невелики. Им мешают старые партийные привычки, а демократия не утверждается путем сговора, но только путем открытой политики. Если вы за единство демократов, а Явлинский явно опередил других демократов, открытая политическая логика велит его поддержать. А после победы никто ведь при демократии не мешает спорить и с победителем. Ну, может быть, первому секретарю обкома Ельцину такое освоить трудно, но

Гайдар-то был лишь работником партийной печати, хоть и на видных местах, и мог бы старые привычки переступить. Но не стоит сводить эту большевистскую непреклонность к одному Ельцину, или одному Гайдару. Сколько сегодня людей искренне желающих демократии, действия которой были бы наперед утверждены на закрытом бюро, да только демократии такой не бывает. Вот у нас ее и нет!

Зыбкая свобода слова и свобода печати, предупрежденные об ожидающем их лесоповале, еще не демократия. Демократия — это форма власти, противоположная самоуправству, авторитарному правлению, пусть даже оформленному конституционно. Конечно, власть компартии — не единственный вариант авторитарного или тоталитарного режима, он может стать и национал-социалистическим и просто генеральской диктатурой. В веймарской Германии не знали наперед, кто возьмет верх — Гитлер или Тельман, и страх перед обоими толкал избирателей к противоположному краю, ослабляя способность противостоять и тому и другому. Вот и для нас надежда не в том, чтобы каждому выбирать менее опасную, на его взгляд, разновидность реваншизма, а в том, чтобы противостоять им всем, и Зюганову, и Жириновскому, и Ельцину, и отстоять новое для России социальное государство со свободной экономикой. Немцы сумели это сделать после страшного военного разгрома. А ведь наше положение, хоть мы и справедливо его браним, все же лучше, чем в послевоенной Германии. Неужто же Россия обречена на беззаконие, на тиранство, на народную нищету? Я не хочу этому верить и не теряю последней надежды.

ОБЛИЧЬЯ РЕВАНША

Символом свершившихся за десять кризисных лет косметических перемен стал наш новый государственный герб: двуглавый орел под тремя коронами. Сам орел, хоть и с грехом пополам, еще годится в символы нашего отечества, глядящего и на запад, и на восток. Но, именуя себя демократами, короны надо бы снять, а не снимают. Зато ежедневно твердят об опасности воскрешения тоталитаризма, словно он умер, а не притаился под демократическим макияжем, и об угрозе возвращения коммунистов, словно они уходили, а не рядились демократами.

Между тем опасность повторения пройденного и впрямь велика. Товарищ Анпилов 7 ноября напомнил всем желающим иного, что их ждет сибирский лесоповал. У стоявшего рядом товарища Зюганова, выдающего себя временами чуть ли не за социал-демократа, была прекрасная возможность поправить соседа, показав, что сам он не такой, а совсем другой. Но вождь российских коммунистов этой возможностью пренебрег и мудро промолчал. Ведь и товарищ Сталин был поумней Анпилова и склонность к лесоповалу не афишировал.

Кстати, 7 ноября — самое бы время вспомнить, что тех, кто совершил в этот день революцию, товарищ Сталин в большинстве тоже отправил на лесоповал, если не сразу пострелял на Лубянке. Но о них ни Анпилов, ни Зюганов не вспомнили. О крушении иллюзий тех, кто стали коммунистами при царе, когда карьеры это не сулило, коммунисты сталинского и последующих призывов не знают. У них не утопические, а практические идеалы. Социализм, по их понятию, это всевластное государство, держава,

которой они распоряжаются от имени народа, оставляя ему безмолвствовать или кричать здравицу очередному вождю.

Другой идеологии, кроме претензии на беспредельную власть, у коммунистов не осталось. Вот почему рядом и заодно с ними откровенные национал-социалисты, а рядом с красной звездой — свастика, когда-то считавшаяся ее антиподом. Общий язык они нашли, даром, что одни от шовинизма пошли, а другие к нему пришли. При всех оттенках цель их одинакова: полная покорность общества государству. И если вспомнить, что короны нашего герба обозначают неограниченное самодержавие, не удивительно, что у нас позволено призывать к истреблению сограждан и даже, подобно товарищу Анпилову, упрекать самого товарища Сталина в том, что слишком уж мало он погубил в России людей.

Наш нынешний президент числится решительным противником коммунизма. Он и сам про это постоянно говорит. И восхождение его началось с открытого противостояния коммунистической империи. В Беловежской пуще он поступил как подлинный русский патриот, сознающий непомерную цену, которой русский народ оплачивал удержание Союза. Впервые с тех пор, как Иван Грозный обратил русских крестьян в крепостное состояние, до первого лица страны как-то дошло, что интересы русской империи и большинства русского народа противоположны. То был, быть может, главный стимул к надежде на Ельцина. И хотя она во многом обманула, уровень жизни российского населения сегодня все же выше, чем в остальных союзных республиках, не считая прибалтийских, пошедших на более существенные реформы.

При Ельцине свершилось и освобождение от идеологического диктата. Конечно, судить КПСС поручили коммунисту Зорькину с соответствующим результатом, и коммунистическую ложь страна не преодолела. Но ее монополия все же кончилась. А сверх того было объявлено, что начинаются экономические реформы. Казалось, Ельцин отважился на перемены, которых страшился Горбачев. Только и говорилось, что о необратимости перемен. События августа 1991 года именовались даже революцией. И вот мы опять у разбитого корыта, и анпиловской исторической лжи внимают отнюдь не одни пенсионеры, многие из которых как раз на своей шкуре узнали, каково было при Сталине.

Нарастающую опасность реванша, которую выборы в думу еще только предвещают, не свести к недовольству естественными трудностями перехода к экономическому хозяйствованию. Она гораздо больше вызвана тем, что трудности-то есть, а перехода, по существу, нет, а мы не даем себе труда задуматься, что же в действительности свершилось за четыре минувших года. Формальный отказ от коммунизма не изменил образ мыслей тех, кто со второй и даже третьей номенклатурной ступени забрался наверх. Более того, открытый разрыв с марксистской утопией, без шума начатый Сталиным и даже Лениным, теперь поощряет непринужденно пренебрегать всей сферой общественных знаний, с которыми эта утопия необоснованно отождествлялась, в частности, пренебрегать взаимозависимостью хозяйства и общества. Убрав портреты Ленина, бывшие большевики, как и под ними, верят, что государство вольно строить хозяйство как хочет, не считаясь с обществом и людьми. Между тем из-за порожденного их правлением неодолимого хозяйственного кризиса нужду в каком-то сбалансировании структуры цен ощутили не только реформаторы, желавшие свободной экономики, но и

консерваторы, страшившиеся, что в ходе неизбежных голодных бунтов их растопчут, чем в 1991 году и впрямь попахивало. Оттого-то старый Верховный совет вместе с Ельциным и позволил Гайдару «либерализацию цен». Все понимали, что ее реальное значение определится тем, последует ли за ней отделение хозяйства от государства и прочие экономические реформы. «Либерализация цен» была единственным, что дозволили Гайдару. До реформ не дошло.

Но общество не замечало predeterminedности экономических преобразований теми политическими формами, в которых они совершаются или не совершаются. Почему, к примеру, у нас реформу прокламировал насквозь коммунистический Верховный совет, почему президент не созвал наново Учредительное собрание? Не потому ли, что декларирование реформ изначально не предполагало перемен по существу? Возглавить правительство тогда предлагали и Александру Емельянову, и Юрию Рыжову и другим лицам, которых сегодня попрекают, что они за реформы не взялись, умалчивая об их прозорливости, о том, что они ставили свои условия, добивались гарантий проведения реформ, а не только удобного номенклатуре беспредельного взвинчивания цен под видом действительно нужной реформам их «либерализации». Гайдар был единственным, кто согласился на это без всяких условий, на птичьих правах исполняющего обязанности. А ведь исторический опыт подсказывал, что сбалансированность цен при НЭПе никак не помешала перейти к сталинскому внеэкономическому хозяйствованию с его волюнтаристским ценообразованием, и свобода цен без экономической свободы хоть и заполнила прилавки, доступ к ним чересчур сокротила. Пожертвовав своим добрым именем, Гайдар спас номенклатурную систему от немедленного катастрофического крушения — это и называют реформой, но к реальной реформе даже не приступил. Гайдар, понятно, не виновник этого, а жертва. Но жертва, оставшаяся с насильниками. Он не разорвал с теми, кто обвел его вокруг пальца, использовал и отбросил, пока опять не понадобится делать вид, что идет к реформам.

Их подмена началась ваучерной приватизацией, которой подлежала крайне малая часть государственного достояния, но и она, вопреки широкообещательным заверениям, почти не досталась рядовым людям. Главный "приватизатор" Чубайс ныне уверяет, что акции, полученные за ваучеры, со временем принесут еще немалый доход. И ни слова в объяснение тому, что действие ваучера было ограничено сроком, и это вынуждало не мешкая доверять его государственным приватизационным фондам либо таким же фондам за небольшие деньги продать. Про это стоит помнить, слушая басни о предстоящих доходах. Не ваучер был плох, а господин Чубайс, ворочавший ваучерами так, что рядовому человеку невозможно было самостоятельно определить судьбу своей приватизационной доли, а приходилось вручать ее веками обворовывающему нас государству. Вот и пошла "приватизация" в пользу государства и людей, государством правящих. А будь это и впрямь приватизация, каждый мог бы хотя бы сберечь ваучер до лучших времен, когда его ценность, как обещает господин Чубайс, и впрямь возрастет. Но то-то и оно, что государство не хотело, чтобы рядовые граждане обладали собственностью. Вот ведь и цены при "либерализации", конечно, выросли по отношению к зарплатам раз в пять-десять, но не случайно их рост шел с инфляционным падением стоимости рубля в тысячу раз, — этим просто

ликвидировались денежные накопления граждан. Конечно, Ельцин, не созвавший учредительного собрания для издания законов и правил другой жизни, виновен в обмане и обнищании граждан. Но чем виноват Гайдар?

Его почитательница в похвалу ему недавно заметила: «"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" — не для Гайдара». Он, видимо, думал, что его, экономиста, забота и прописать рецепт, и назначить процедуры. А оказалось, что экономика и политика неразрывны, и если президент от демократических рецептов отказался, надо возглавить демократическую оппозицию. Гайдара винят в том, что он экономист чикагской школы, верящий, что экономика — плод власти, а не порожденной прежней экономической жизнью общественной борьбы. Я говорю о Гайдаре, поскольку он оказался на гребне несостоявшихся экономических реформ, но все то же самое следует сказать о послеавгустовском демократическом движении. Достаточно вспомнить два письма, подписанных цветом нашей интеллигенции, о том, что демократическая оппозиция в нашей стране вовсе и не нужна. А нынче эти люди дивятся угрозе тоталитарного режима.

Конечно, умирать стоя надо лишь в чрезвычайных обстоятельствах, у нас, увы, слишком частых. Как генерал Карбышев и тысячи других. В обыденной жизни кровавые самопожертвования пользы не приносят. Но живя на коленях, не стоит надеяться, что общественный строй сам собой изменится. Ради этого придется встать с колен и оказать сопротивление власти, не желающей менять его по существу. Это и есть общественная борьба. Нас учили, что единственная ее форма — революция. Формам более плодотворным, даже демократическим выборам, мы не обучены. У нас люди, желающие из-за кулис власти благотворно влиять на ее решения, объявляют себя демократами. А демократия состоит в том, чтобы влиять открыто, большинством поданных голосов, объективно выражающих волю граждан. Без этого мы пребываем в заколдованном кругу прежней эпохи, лицо которой определяют не сами по себе псевдомарксистские словеса, а действовавшие под ними привычные навыки руководителей. То есть перевес государства над человеком, над индивидуальным правом на свою рабочую силу, на свое изобретение или сочинение, на свой клочок земли или жилье, на свои деньги и производительную собственность. Беда не в том, что намерения Горбачева, Ельцина или Гайдара были неискренни, — я думаю, они хотя бы отчасти были искренни, но самая возможность влиять на принимаемые капитальные решения, минуя общество, вела к обычному пренебрежению обществом. Держава взяла на себя право выступать от имени общества, не справляясь должным образом о его мнении, и отдельный человек уже этим обрекался на покорность, на безмолвие, а часто и на смерть, даже если Гулаг временно закрывали на проветривание.

Некоторые нынешние политические движения ничуть не стыдятся своей роли в насаждении таких навыков и открыто называют себя коммунистическими. Другие выступают как антикоммунистические, шовинистического или какого-то иного толка. Но методы их действий, навыки, приемы и принципы очень уж схожи с коммунистическими. Угроза тоталитарного реванша потому и велика, что коммунизм — не единственное его обличье. Даже у Жириновского какой-то особенный картуз. Но ведь не в картузе дело, а в стремлениях и поступках. Угроза тоталитарного реванша различима не только за непримиримой оппозицией, коммунистической или фашистской, но и за самой нынешней

властью. Она одинаково различима и за Лапшиным, и за Заверюхой, и за Ильяхиным, и за В.Ковалевым, хоть первые не входят в правительство, а вторые занимают в нем важнейшие посты. Она различима и за Скоковым, и за Сосковцом, одинаково жаждущими вновь подчинить хозяйство военно-промышленному комплексу, непомерный рост которого и привел в нынешнему кризису. Я опять же готов поверить, что и стоящие у власти, и претенденты на нее по-своему хотят людям России мира и благоденствия. Но ведь и коммунисты, во всяком случае поначалу, не желали им зла и нищеты, к которым успешно привели и готовы вести снова. Жизнь определяется не пожеланиями, а действиями и их последствиями. Вся штука в том, чтобы сознавать эти последствия наперед. Пытавшихся это делать у нас обычно убивали, и такая способность стала редкостью.

Старая формула "Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять", позволяла безоглядно стремиться к любым целям, не загадывая, чем придется стране и людям платить за их достижение, часто еще и сомнительное. За объявленное в будущем счастье для всех коммунисты щедро платили десятками миллионов убийств. Но ведь и бомбежки Грозного, предпринятые гарантом нашей демократии, как уверяют, тоже из лучших побуждений, тоже выдают готовность власти не останавливаться ни перед чем. Слова и обличья у каждой группы вроде бы свои, но президент не случайно, до всяких выборов, допускал возможность замены Черномырдина "умницей" Скоковым, и о замене Грачева на Лебеда тоже ходили слухи. Но пора признать, что к благоденствию и миру Россию приведет не предпочтение той или другой претендующей на безоговорочную власть группы, почти в каждой из которых незримо присутствует президент, а так и не сложившееся покамест противостояние любой из них по-отдельности всем вместе, противостояние демократии тоталитаризму.

Демократического сознания недостает не только у нас, но почти во всех странах, находившихся под нашим владычеством. Польским коммунистам пришлось усердней, чем нашим, отмываться от прежнего уже потому, что якобы рабочей коммунистической партии там противостоял действительно рабочий союз Солидарность, а не просто власти ощутили, что хозяйство разваливается. И все же победа Квасневского, возглавлявшего воеводскую молодежную коммунистическую организацию, когда лидера Солидарности Валенсу держали в тюрьме, вызывает горечь. Но будем откровенны: при бесспорных и выдающихся заслугах Валенсы после пяти лет его президентства его новая победа хоть и не вызвала бы такой горечи, радости бы тоже не принесла. Самое печальное, что если пять лет назад в первом туре польских выборов Т.Мазовецкий все же собрал более 20% голосов, то нынче Я.Куронь — лишь 9%, то есть позиции подлинных демократов даже в Польше ослабевают. У нас они еще слабей, во многом потому, что мысль о необходимости жить на коленях при "лучшем" из имеющихся авторитаризмов давно ввергается в массовое сознание. И это называют эволюцией России к демократии!

В реальности же разрыв Ельцина с коммунистической фразеологией продолжает процесс, при Сталине состоявший в преобразении интернационалистического утопического социализма в фактический национал-социализм. По мере этого перехода марксистская и даже ленинская фразеология, расходясь с происходившим, теряла смысл и

размывалась. Прикрывшись сперва демократическим флагом, нынешняя власть, вынужденная остротой событий, невольно обнажилась, и откровенность ее национал-державной поступи в Чечне стерла качественные отличия от других авторитарных групп, количественно даже более жестких. Это, однако, отнюдь не означает, что России ничего не остается, кроме тоталитарного режима, покамест еще уточняющего свою расцветку. Крах предшествовавшего тоталитаризма открыл и другую возможность, но чтобы ею воспользоваться, надо встать с колен, а не довольствоваться подачей авторитарной власти мудрых советов.

Давний распад "Демократической России", а потом ее расхождение с "Демократическим выбором России", порождены были разногласиями по поводу готовности восторженно влиться в рядящиеся демократическими авторитарные структуры. Вот и сегодня о взаимных преимуществах собственно экономических предложений "Выбора" и "Яблока" можно вести дискуссии, но преимущество "Яблока" в сознании того, что не приходится ждать демократических милостей от развязавших войну против своего населения, что эта война не частность, протестуя против которой, что и "Выбор" делает, можно все же поддерживать президента и правительство.

Надеяться, как восемьдесят лет назад, на революцию Россия не может не только потому, что для освободительной революции нет ни духовных, ни материальных ресурсов, но еще больше потому, что, как выяснилось, у нас революция — это вовсе не "последний и решительный" бой против насилия, а наоборот, начало нескончаемого насилия, от которого даже и в оппозиции Анпилов и Зюганов отречься не хотят. Но возможности насилия в хозяйственном развитии исчерпаны, и пора переходить от внеэкономического самоуправства к экономическому порядку. Поэтому выборы в Думу, от которой по нынешней конституции мало что зависит, весьма существенны, — они демонстрируют предпочтения людей.

Наш президент, красиво вышедший из КПСС на съезде партии, в декабре минувшего года завершил круг и вновь стал коммунистом сталинской закалки, хоть и без партбилета. Вот и нам пора различать угрозу тоталитаризма не только в тех, кто не стыдится по-прежнему звать себя коммунистами, но и в тех, кто держится не за названия, а за привычные навыки. Чтобы изменить жизнь, нужны люди с другими навыками, нужны Мазовецкие и Курони, которых нам еще острее, чем полякам недостает. Конечно, и поляки, раньше других в социалистическом лагере устремившиеся к свободе, еще расколоты надвое и не обрели почвы под ногами. Но, по крайней мере, они хотя бы на словах признали пагубность насилия, которое ими правило. Пора бы и нам.

ЕСЛИ НЕ БЕЗМОЛВСТВОВАТЬ...

Выборы миновали. Их результаты, не сводящиеся к распределению мест, со временем прояснятся. Но ни порядок их, ни ход их, к сожалению, не прояснили причин затяжного кризиса, из которого нашей стране не удастся выйти с середины семидесятых годов. Виктор Степанович Черномырдин, человек практический, во время избирательной кампании все сетовал, что в стране, которая богаче других, люди живут в бедности. Но ни он, ни другие начальники не задались вопросом, отчего же все-таки те, кто действительно беднее нас, живут богаче. Что делают они такого,

чего не делаем мы? Что делаем такого мы, чего не делают они? Иначе говоря, писаны ли нам законы?

Писаны ли нам законы?

Говорят, страна у нас другая, и законы нам писаны другие. Мы, дескать, — Восток, а они — Запад, и Запад нам не указ. Но Япония или Южная Корея тоже на востоке, тоже другие, чем Германия или Бельгия, они отличаются от Европы еще больше, чем Россия, но по хозяйственным, а стало быть и политическим, признакам они тоже Запад. Типы экономических отношений ни с местом на планете, ни с национальным характером не слишком связаны. После революции и после отечественной войны на Западе оказались миллионы русских. Они не только не погибли, но отлично вросли в общество свободной экономики, именуемое у нас капиталистическим, и заняли в нем не менее высокие места, чем люди иного происхождения. Пора преодолеть комплекс национальной неполноценности. Именно тайная мысль, что ты хуже других, часто побуждает и людей, и целые народы кричать, что ты лучше всех.

Не народ России хуже, чем те, кто богаче, а просто хозяйство у нас не свободное, а государственное, и если в бедной Германии о хозяйстве так или иначе пекутся люди, то у нас только государство, а люди лишь исполняют его веления. И будь наши начальники семи пядей во лбу, их инициативы бесплодны, куда они так или иначе ставят препоны инициативам людей. Успешно вести хозяйство по воле начальника можно было, когда требования к хозяйству были скромными, людей на планете и в стране было немного, и аппетиты власти были поменьше.

Аркадий Вольский любит рассуждать о влиятельности в России партии дураков. Но это он зря. У нас дураков нет. Но в государственном хозяйстве как монополевой централизованной системе, несообразной с пестротой современной жизни, дурацкие решения ежедневно принимаются совсем не глупыми от природы людьми, которые сочли интересы монополевой централизации идентичными интересам народа и страны, на самом деле им прямо противоположным. Решать одному за всех по своему произволу, сегодня заведомая глупость, и без всякой партии дураков.

Выбрать придется не меж Западом и Востоком, а меж перевесом государственной экономики и перевесом свободной. Останемся при государственной, — будем и дальше нищенствовать, потому что в ней действуют не законы, а произвол, а пересаживать и переподчинять чиновников — пустое занятие. Но если отделить хозяйство от государства, которое стало его смирительной рубашкой, начнут действовать законы свободной экономики, давно известные, и русские смогут жить не хуже немцев, тоже хлебнувших тоталитарной власти, но простившихся с ней.

Сколько в доме хозяев?

Твердят, что подчинение хозяйства государству — общая мировая тенденция, и мы просто впереди планеты всей, впереди прогресса. Между тем государственная координация хозяйственной деятельности и даже прямое участие государства в ее специфических сферах в мире идут рука об руку с дифференциацией и приватизацией этой деятельности и возрастанием роли отдельного человека. Взаимная зависимость там

растет параллельно возрастающей независимости, и каждое хозяйство и каждый человек вынуждены разом быть и более инициативными, и более ответственными в своих инициативах. Иначе Маргарет Тэтчер не стала бы рекордсменкой в победах на всеобщих выборах. Богатство, создаваемое людьми, — дитя экономической свободы, чем и отличается от богатств, даруемых природой. И по мере роста экономической свободы отдельного человека, предпринимателя, изобретателя, рабочего, выросла система общественных гарантий этому человеку на случай неудачи или беды.

Западное мышление, в отличие от российского, не знает единственного и наилучшего способа ведения хозяйства и заботы о нуждах граждан. В его основе лежит социальный компромисс, в который человек вступает с другим человеком и с обществом. Компромисс, то есть взаимная уступчивость, взаимная терпимость и взаимная польза. В одиночку сегодня никому не выжить, современная техника не натуральным хозяйством создается и не для него. Ныне каждый работает на других, а другие на него. И не только отдельный человек, но и всякая людская общность, завод или страна. Сколько мы на других наработаем, столько и от них можем получить. На этом и держится товарное хозяйство. В свободной экономике люди работают лучше потому, что хотят, чтобы их товары охотнее брали и им больше платили. И что почем, решается только в ходе этого всеобщего обмена товарами, то есть на рынке.

В советской жизни рынку противопоставляли план, в надежде, что плановое будет разумно сбалансированным, а не стихийным. Но наше хозяйство сбалансированным никогда не было. Военное производство, к примеру, составляло в нем 70%, и немалая часть его продукции фактически бесплатно раздавалась другим странам, не считавшим обязательным за советское оружие платить. Наше хозяйство было не плановым, а директивным, произвольным. Товары производились не для получения доходов, а, невзирая на их убыточность, потому, что было сочтено, что их нужно производить, нужно предоставлять другим странам бесплатное оружие. А рынок мешал свободе начальственного произвола, он вынуждал сопоставлять доходы и расходы. И торговля подменялась снабжением, и купить даже потребительские товары становилось все трудней. Рынку на деле у нас противостоял не план, а распределение. Кому, что и сколько выдать, решалось не по объективному вкладу каждого в хозяйство, даже не по заработку, а по разумению начальства.

Демократия или железная рука

Там, где жизнь общества определяет рынок, то есть идет каждодневное сопоставление того, что мы произвели, с тем, в чем нуждаемся, необходима демократия. Подобно маятнику она автоматически регулирует хозяйственную жизнь: то страна тратит больше денег на социальные гарантии, то, наоборот, открывает дорогу частным инициативам. То люди от общественного богатства больше получают, то больше в него вкладывают. А мы знаем единственно верный путь, ориентируемся не по наличному состоянию хозяйства, а по недостижимым целям, и живем распределением. Вот и оказывается, что распределять уже нечего, порой и начальству не хватает.

Кажется, что роль распределения стала не так велика, магазины заполнились, можно что-то купить, хоть и за большие деньги. Но

вспомним, как несообразно велики у нас налоги, какие огромные субсидии государство продолжает выдавать убыточным хозяйствам, и станет понятно, что за красивыми витринами фактически идет все то же распределение. А чтобы распределять, простого порядка, которым можно обойтись на рынке, мало. Торговля — дело взаимовыгодное, а распределять надо железной рукой, не то недовольные станут выяснять, почему одному больше, а другому меньше, и любой порядок нарушат. Вот и выходит, что там, где нет свободной экономики, появляется железная рука, то есть расстрелы, лагеря, нищета. Это надо сознавать. Иные утешаются тем, что у них в семье за семьдесят лет никого не убили и не посадили, что в Москве и Ленинграде в мирное время ели досыта, но гарантий, что и дальше так будет, нет никаких. Это ведь только поначалу уверяли, что убивают белогвардейцев, врагов революции, но чем крепче становилась держава, тем больше убивали. Взялись уже и за тех, кто совершил революцию, а потом и таких не осталось, а все равно убивали и сажали людей совсем уже ни в чем не виноватых. Почему? Да потому, что это и есть последовательно проводимое распределение: одним — дополнительная блага, другим — лагерная пайка.

Что же происходит?

Считается, что жизнь изменилась, первое лицо именуется не генсеком, а президентом, но власть у него такая же непомерная. Только уже не явочным порядком, а по конституции. Да и выстроена эта власть тоже в два этажа, почти как раньше. Силowymi министрами, которые премьеру как бы и не подчинены, президент руководит напрямую, а остальными через своих советников. Не слишком ли громоздко?

Если уж президент — глава исполнительной власти, пусть и правительство возглавляет, но зато и отвечает за его действия. Пусть его хотя бы контролирует представительная власть. Раньше представительная власть была чисто декоративной, и советы единогласно утверждали предложения партийного начальства. Теперь депутаты в думе даже дерутся, но потребовать от исполнительной власти хотя бы объяснения ее действий все равно не вправе.

Да и сама эта представительная власть не слишком представительна, — избирается в один тур лишь относительным большинством, которое при огромном числе политических движений и кандидатов в индивидуальных округах может быть совсем ничтожным, не сообразным с волей реального большинства. Вместо того, чтобы признать, что относительного большинства, особенно в пору судьбоносных кризисов, недостаточно, и, как по федеральному округу для партий, перешагнувших пятипроцентный барьер, ограждающий парламент от крайних экстремистов, так и по индивидуальным округам для кандидатов, занявших два первых места, учредить второй тур голосования, — развернули яростную кампанию за отмену пятипроцентного барьера и увеличение дробности думы, чтобы повысить ее управляемость и послушность исполнительной власти.

Не довольствуясь играми с избирательной системой, центральная избирательная комиссия, подменяя регистрацию кандидатов выдачей им разрешений на участие в выборах, силилась не допустить избрания самых решительных критиков нынешних правителей, с какой бы стороны их критика ни шла. Искать правды в суде пришлось и "Демократической

России" Старовойтовой и Пономарева, и "Державе" Руцкого, ничем, кроме открытого противостояния президенту, не схожих. Особенно трудно пришлось партии Явлинского, и ее внесение в избирательный бюллетень вызвало особый гнев, выдававший оправдавшиеся потом предчувствия, — демократическая оппозиция власти в лице партии Явлинского получила поддержку избирателей.

Разъясняя публике, что законность держится на соблюдении формальных правил, что совершенно справедливо, Максим Соколов в "Коммерсантъ-Daily" странным образом упустил из виду, что эти правила должны быть установлены самим автором закона, а не подзаконными актами исполнителей, и уж никак не самой избирательной комиссией, которая, к примеру, "Демократической России" отказала в регистрации на том основании, что сотрудники комиссии сперва отсутствовали на рабочем месте, а потом из-за этого не успели сосчитать представленные подписи избирателей. К соблюдению формальностей властью и гражданами Максим Соколов не одинаково требователен, без слов признавая, что властям у нас законы не писаны. На том наша демократия и стоит.

Особенно грациозен господин Соколов, объясняя американцам, критиковавшим председателя избирательной комиссии Рябова, что им-то самим "и в страшном сне не могло бы присниться, чтобы они подвергли сомнению важность процедурных соображений применительно к решениям собственных американских учреждений". Что правда, то правда, да только Клинтону и в страшном сне не могло бы присниться, что для участия в выборах ему надлежит получить разрешение американского Рябова. Выдвинула его на своем съезде известная, уже участвовавшая в выборах партия, и довольна. А годится он в президенты или нет, решать будут избиратели и никто другой.

Вот этого-то права реально что-то решать у российского гражданина и нет. А время благополучной несвободы невосвратно миновало. Мир вступил в век компьютера. У нашей страны есть все, чтобы и в этом новом веке, в новом качестве выглядеть достойно и жить не бедно. И только от нас зависит, будет ли так или мы обескровим наше отечество и наш народ в погоне за химерами, ублажающими начальников, но обрекающими миллионы людей России на прозябание. Между этими вариантами летом и предстоит окончательно выбирать. Если, не предстоит безмолвствовать.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ПЕРЕВЕРНУЛ ПОНЯТИЯ

Двадцатый век перевернул понятия. Многие явления изменились, но их называют по-прежнему, а неизменные хранят названия, и их не отличить от новых, часто противоположных по смыслу. Существует «национализм». В Средние Века его не было. С национализма началась новая Европа: голландцы не захотели оставаться под властью Испании и создали независимое государство. То была первая национально-освободительная война, она как раз и дала голландским «сепаратистам» экономическую свободу, сделала их общество образцом будущего. Не зря герои той борьбы, граф Эгмонт или Тиль Уленшпигель, популярны не только в Голландии. Три века спустя не менее популярен стал Джузеппе Гарибальди, великий борец за объединение раздробленной и стонавшей под властью австрийцев Италии. А нынче националистами называют во

Франции Лепэна, а в России Баркашова и Макашова — людей совсем другого, противоположного толка. Что-то в нынешнем сознании хромает.

Лучший способ понять явление — разглядеть, что ему противостоит. Национализму противопоставляли интернационализм, космополитизм. Карл Маркс, основатель Интернационала, считал себя космополитом, гражданином мира. Поздней марксисты-коммунисты, не думая про это, противопоставили плохому космополитизму хороший интернационализм. Но смысл и этого прекрасного понятия изменился. В Литве мне объяснили его новый смысл: интернационалист -- тот, кто знает один язык — русский, а националист — тот, кто знает два: и русский, и литовский. Понятие «интернационализм» в устах коммунистов превратилось в псевдоним великодержавного шовинизма. Он и стал реальной современной противоположностью национализма.

В прошлом веке еврейское население германских государств симпатизировало объединителю Германии Бисмарку, то есть немецкие евреи выступали как немецкие националисты. А объединенная Германия их в XX веке отблагодарила Освенцимом не потому, что объединилась, а потому, что национал-социалисты сделали ее тоталитарной. В национальных катастрофах нашего века часто винят национализм, а он помог уцелеть и развиваться и голландскому, и итальянскому, и немецкому, и польскому, и чешскому, и другим народам Европы. Его порой даже прямо отождествляют с нацизмом, забывая или замалчивая, что нацизм — это сокращенное название национал-социализма, что социалистическая тоталитарность довела немецкий национализм до государственного шовинизма, в каком-то ни Гарибальди, ни Масарик, ни даже Бисмарк, замечены не были. В России «пролетарские интернационалисты», строившие социализм, тоже разжигали шовинизм.

Различить национализм и шовинизм легко: честный национализм уважает право и других народов на самозащиту, а шовинизм лишь своего и склонен к этническим чисткам, если не к газовым камерам. А не сознающие социальных различий не отличают демократический национализм Гавела от тоталитарного шовинизма Милошевича.

Русскому народу, возможно, в силу векового пребывания колоний и метрополии на географически неразделенном пространстве, редко был присущ бытовой национализм. Я знал людей, живших на Кавказе, в Средней Азии, в Башкирии, в Бурятии и имевших близких друзей среди местных жителей. Дружеские связи русских и евреев общеизвестны, это естественные отношения людей, думающих не только о национальном. В защитном национализме у русских вроде нет нужды, они, как правило, героически защищают свою великую державу, но она-то равнодушна к судьбе не только других, населяющих ее народов, но и русского.

Сегодня двадцать с лишним миллионов русских, которых коммунистическая партия и правительство СССР семьдесят лет посылали русифицировать республики, остались за пределами России и не везде чувствуют себя в безопасности, а ни официальные власти России, ни общественные организации не помогают желающим вернуться на родину, как Германия помогает тем, чьи предки выехали при Екатерине. Надо ли удивляться, что стремление к самостоятельности республик СССР и автономий РСФСР наталкивалось на непонимание.

Русские порой обижались, что другие хотят отделиться, и говорили: мы тоже не были свободны, и это правда, но, чтобы ей быть полной, не стоит

забывать, что одни все же были первыми среди равных, а другие подвергались депортации по национальному признаку, геноциду, и кроме общего бесправия было еще и национальное неравенство, которое все еще длится, нередко даже в более откровенных формах. Дело не только в болезненности расставания с империей, Англия тоже трудно прощалась с колониями, но все же легче, поскольку там считали Индию своим владением, но не считали ее Англией, как у нас считают Чечню Россией. Вот англичан сегодня и не смущает, что Шотландия восстановила отдельный парламент. Но на референдуме большинство шотландцев отделяться от Англии не захотело. И понятно почему: создание Европейский союза, в который вошли и Германия, и страны, сопротивлявшиеся гитлеровской агрессии, показало, что национальная самостоятельность не помеха, а опора добрых межнациональных отношений, главное в них — вытеснение командных шовинистических претензий и равноправное сотрудничество в интересах каждого.

В России великодержавный шовинизм силится удержать империю. А почти все российские беды — от империи, от предпочтения силы государства инициативам людей. Эти беды не одолеть, не вытеснив имперский шовинизм, вечный источник, если не всегда русофобии, то недоверия. Российская власть даже после чеченской войны так и не сказала национальным меньшинствам: мы понимаем, что после всего, что мы там проделали, мы не заслуживаем доверия, и не будем удерживать силой автономии, которые нам больше не верят. Сегодня русского национализма, способного такое сказать, нет и в намеке. Но пояись такой и спаси страну от имперского наследия, Россия была бы в Европе не хуже и не бедней прочих бывших метрополий, потому, что не тратила бы силы, доказывая, что она сильнее и лучше других.

ФИЛОСОФИЯ МЕНЬШИХ ЗОЛ

Какие разные люди — какие схожие инстинкты!

Более ста лет назад Достоевский сказал, что даже для счастья всего человечества нельзя замучить и одного маленького ребеночка. С подобной целью потом замучили десятки миллионов детей и взрослых. Но какое-то время спустя признали, что товарищ Сталин все же перебрал. Никто не говорил, что недобрал, как ныне говорит Виктор Анпилов.

Видимо, люди, способные не согласиться, мешали Сталину самим своим существованием. Но никто не догадывался, что полвека спустя, когда Россия объявит себя демократической, министр внутренних дел публично заявит, что и в самом деле есть люди и даже целые народы, мешающие самим своим существованием, и нечего "это средневековье" поднимать до себя! Опять же знаменитый генерал Серов выселял чеченцев поголовно, и погибло их тогда не меньше, чем сейчас, но в отличие от генерала Тихомирова он держал язык за зубами и не уверял публику, что исполняет воинский долг.

К моей знакомой, отец которой, московский адвокат чеченского происхождения, помер в 1929 году, еще в 1946-м приходили по ночам проверять, убралась ли она, по отчеству Ахмедовна, с соответствующей фамилией, из Москвы. С ней, к счастью, обошлось — мать была другой национальности, а национальность у нас определяется по матери, и милиция проявила снисхождение. К большинству его не проявляли. Но не

было такого, чтобы глава московского горкома, как нынче московский мэр, публично заявил: "Мы эту диаспору предупреждали, и теперь им врежем!"

Без лицемерия, правда, все равно не обходится. Говоря о мире в Чечне, словом "мир" пользуются для обозначения безоговорочной капитуляции чеченцев, а никакой взаимности в виду не имеют. Но хоть свобода печати скукоживается, и Сергей Ковалев уже не может опубликовать открытое письмо президенту в солидной газете, вести о войне еще доходят, и мы знаем, кто не хочет безоговорочной капитуляции, а кто не хочет мира.

Необходимость убивать и вообще творить зло во имя добра и после смерти Сталина сомнению не подверглась, но советский гуманизм разработал философию меньших зол.

Вот только не брали и не берут в голову, что и ребеночка замучаешь, и каждого десятого в России погубишь, и половину человечества изведешь, а счастья не будет никому, разве что палачам, получившим на водку. "Наши" летчики, их командиры и главнокомандующий прекрасно знали, что добрая половина жителей Грозного, который они бомбили, — русские, но это их не остановило. Они, должно быть, считали, что совершают "меньшее зло", а если никого не убивать, глядишь, и конституционный порядок нарушится.

Меньшее от этого выйдет зло или большее, проясняется лишь задним числом, и, принимаясь мучить даже одного ребеночка, пуская на это ограниченный контингент, невозможно знать наперед, к чему придешь. Достоевский показал, что злодейство не вольно остаться единичным, значит, трезвый расчет тут невозможен, и вера в "меньшее зло", "зло по совести" — ложь или самообман. Пошел убивать старуху-процентщицу, а убил еще и Лизавету. Не только государственный экстремизм превосходящими силами, но и революционеры-одиночки запросто убивают таких Лизавет.

В счет их не берут. "Революционерка" Валерия Новодворская так и пишет: "Алену Ивановну, процентщицу, не ликвидируют как класс, вместе с сотнями тысяч других старушек, девушек, юношей. Сбившийся с пути Родион Раскольников убивает ее индивидуально..."* Простим Валерии Ильиничне несколько странное представление об искусстве. Чтобы изобразить типическое, писателю нет нужды выводить тысячи Раскольниковых. Но в данном-то случае и вся соль в том, что Алену Ивановну Раскольников убивает именно что не индивидуально, а неотвратимо совершая второе убийство, для которого не приберег предварительных оправданий, какие насочинял для первого.

Без памяти о Лизавете Достоевского сводят к кающемуся грешнику: был "юный и глупый", "хотел печатать прокламации, делать революцию,

*"Валерия Новодворская. "Возвращение на Итаку". ("НВ" № 29/96) связался (!) с петрашевцами... Это была не жизнь... Он понял, что жизнь — это совсем другое. Писать романы, издавать журнал, купать детей в ванночке, покупать им гостинцы, ездить на воды, зарабатывать деньги". Вот ведь что, оказывается, Достоевский осознал на каторге, — деньги надо зарабатывать!

Быть может, и впрямь таков был ход мыслей юной библиотечарши, которая связалась с создателями Свободного межпрофессионального объединения, профсоюза нового типа, чтоб "делать революцию" и ощущать себя "антикоммунисткой". Но Достоевский здесь при чем? Он

ведь не говорил: "И совесть нас больше не мучает". Он и перед смертью мучился тем, что, услышав, будто сейчас взорвут Зимний, не поспешил предупредить, не обратился к городовому, чтобы задержали людей, про это сказавших. Однако такого не мог, совесть не позволяла. Ему, давно отвернувшемуся от революции, важно было разобраться, почему в нее верят отнюдь не только прирожденные бандиты, но и желающие лучшего библиотечарши.

А бывшая революционерка уверяет: "Он писал о хорошей человеческой жизни, где люди страдают только от бедности или от неразделенной любви". Оставим неразделенную любовь, уже написан "Вертер", и "Мистерии", и многое другое. Но и в бедности не всегда находятся благодетели, и наследство приваливает не каждому, и работа, даже в более благополучных странах, не всегда есть для всех. Человеческое общество, не только коммунистическое и ему подобное, но и гуманное и терпимое, несовершенно. Об этом, возможно, не задумывалась Новодворская, но помнил Достоевский. Он только перестал полагаться на средства, которыми смолodu наделялся общество улучшить. Перед смертью он особенно надеялся на графа Лорис-Меликова, но ведь и эта надежда обманула не только по вине Гриневицкого и Софьи Перовской, тоже обманувшихся в своих надеждах.

«Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель», — еще раньше Достоевского сказал не кто иной, как Маркс, к неправым средствам отнесший даже цензуру. Этим он наперед объяснил, что и одно только установление после Октября цензуры, не говоря о позднейшем ее ожесточении и прочих неправых средствах, позволяло тем, у кого были глаза, видеть, что цель учредивших цензуру коммунистов не может быть правой. От применения неправых средств коммунистов предостерегал не кто-нибудь, а сам основоположник. Его социалистическое учение было, конечно, утопией, заблуждением. Но о недопустимости применения неправых средств, о том, что, пачкая руки, ты пачкаешь и портишь дело, которое считаешь добрым, он сказал. Нам бы помнить о непредвосхитимых последствиях неправых средств и остерегаться их. Но от них поныне не отказались ни объявившая себя антикоммунистической власть, ни стоящая на своем коммунистическая оппозиция. А важно не только, какие цели те и другие перед собой ставят. Еще важней, какими средствами они пользуются для их достижения.

О чем только ни говорили при назначении генерала Родионова министром обороны. Об интеллигентности, образованности, высокой военной квалификации. О том, что он убивать не хотел, только выполнял приказ, и опять же о том, что двадцать погибших в Тбилиси — это "меньшее зло" в сопоставлении с десятками тысяч в Чечне. Можно бы возразить, что с образованного и интеллигентного человека больший спрос, чем с генералов Куликова, Рохлина или Тихомирова. Но и на это можно возразить, что военный обычно тратит слишком много мужества на поле боя, чтобы хватало еще на отказ от исполнения преступного приказа министра и верховного командования. Не будем соблазняться этой дискуссией.

Только ведь знал давно сидевший в Грузии генерал, что она больше других дорожит связью с Россией. Даже больше Армении, больше Украины, родственной по языку и вере, но от Шевченко до Винниченко желавшей независимости. Грузия двести лет полагалась на Георгиевский

трактат. А генерал Родионов, зная это, ни Язова с Горбачевым, ни себя самого, не предупредил, что саперная лопатка не только убьет грузинку, но и трактат разорвет. А там естественна победа Гамсахурдиа и шевеление по всему Кавказу: если русские с грузинами так, чего ждать остальным? Скажи кто генералу, что он-то и рассек своими лопатками Советский Союз, он возмутится, поскольку, разумеется, никак не хотел этого. Но, получив задание, узнав цель, думал лишь о средствах, а не о последствиях их применения.

Советская власть выучила немало способных людей владеть средствами войны, оставляя партии заботу о ее цели. Вот мы и остались с генералами, умеющими руководить сражениями, но не желающими слышать, что победа в войне зависит не только от качества и количества оружия и подготовки, мужества и жестокости солдат. Русская армия могла бы выиграть у любых сепаратистов все сражения, но, чтобы справиться с чеченцами, этого мало, иначе, по соотношению сил, сразу бы справились, как и намеревался Грачев. Да только чеченцы никакие не сепаратисты, поскольку никогда не признавали себя частью России, не было у них ни Георгиевского трактата, ни Переяславской рады. А будь Россия и впрямь демократической, она имела бы сегодня лучшие, чем когда бы то ни было, шансы и с чеченцами прийти к согласию. Добрые отношения, пусть даже через границу, лучше двухсотлетней войны. Мы ведь усвоили это в Финляндии. Да и украинский "сепаратизм" начался с того, что Екатерина II обратила украинских крестьян в крепостное состояние, на что у Переяславской рады согласия наперед не спросили.

Я не стал бы поминать новому министру Тбилиси, оцени он свой трагический опыт и объясни президенту перед назначением, что из Чечни теперь надо уходить немедленно, и не ради чеченцев, а ради России, не обольщаясь обещанным Грачевым "меньшим злом", быстрой войной, обрушившей на страну горную лавину недоверия и ненависти, еще только раскатывающуюся. Он не только не объяснил, но сразу по назначении всенародно объявил, что войну прекратить нельзя. Вот и прояснилось, что в генеральском сознании Георгиевский трактат был договором не о союзе, а о подчинении и покорности. Прояснилось и более важное: генерал, конечно, не скрыл свое мнение о Чечне от президента, перед выборами обещавшего войну прекратить и даже уверявшего, что она уже и прекратилась. А после выборов иное мнение вполне уже устраивало.

Какие, казалось бы, разные жизни у Игоря Николаевича Родионова и Валерии Ильиничны Новодворской, какие разные люди! Но какие схожие инстинкты. Новодворская не скрывает: "Своя рубашка ближе к телу, а чеченцы пошли в издержки производства". Еще раньше туда у Родионова пошли грузины. Сталинское наследство не выветрилось. Но все-таки не только Буковский в Кембридже и Синявский в Париже, а 5 процентов российских избирателей, то есть более трех с половиной миллионов уже освободились от страха и сказали и Зюганову, и Ельцину: "нет!"

Ленин не зря говорил: послезавтра поздно! Он понимал, что, совершившись экономические и политические реформы, получи русские мужики землю, а иноверцы и инородцы равноправие, почвы для захвата власти не станут. А нам по сей день внушают, что не царю, не Временному правительству надлежало поторапливаться с реформами, а, напротив, гражданам России сплотиться вокруг государя с Распутиным. Но причин ожидать, что в ответ он подарит все права людям, было так же мало, как

нам ожидать, что Ельцин хотя бы не возобновит бомбежки и остановит падение уровня жизни.

Философия меньших зол упускает, что поощряемое зло разрастается и перестает быть меньшим. Наша история полна обнадеживавших полуоборотов, плохо кончавшихся. И опять последствия, то есть отклики людей на бесстыдно растущее зло, оставляют коммунистам надежду. Другой надежды сегодня, как и у Ленина в 1917 году, у них нет, равно как нет иной возможности их остановить, кроме как остановить растущее бесстыдство еще недавно меньшего зла, совершить наконец демократические преобразования в политике и экономике, совершить на деле, а не на словах, не для номенклатуры, а для людей. Но итоги выборов позволяют буксовать и дальше. Остается лишь гадать, сумеют ли национал-коммунисты, подобно Ленину, оседлать народное недовольство или нынешняя власть сама продолжит попятное движение к национальной идеологии, предлагаемой президентом вопреки конституции.

Ни то ни другое — не повод обольщаться.

МЕНЬШИНСТВО В ОБЩЕСТВЕ

Обращаясь к сюжету "меньшинство в обществе", следует помнить, что нет общепринятого представления о том, что такое "меньшинство в обществе". Для одних — это нечто, имеющее надличностную значимость, для других — просто совокупность имеющих какой-то общий признак личностей. Опять же, в одних случаях личность вступает в меньшинство сознательно и по доброй воле, в других — она принадлежит ему наперед и властна лишь отречься от его языка, веры или обычаев. Нет единого суждения и о том, что считать за отречение, можно ли счесть за него переход евреев на арамейский язык, а позднее на язык идиш или язык ладино. И, наконец, возможно ли в наши дни практическое отречение, то есть выход из меньшинства. Все это достаточно неопределенно.

Еще в XIX веке в России мусульманин или еврей, принимая крещение, менял не только веру, но и гражданский статус. На крещеного еврея уже не распространялись ни процентная норма при приеме в учебные заведения, ни обязанность жить в пределах черты оседлости. В документах фиксировалась лишь религиозная, но не этническая принадлежность, и крещеный еврей оказывался как бы этнически русским, а не только православным по вере. Советская власть отменила фиксацию в документах религиозной принадлежности, что вполне правомерно, но стала фиксировать этническую, и это изменило смысл понятия "еврей". Теперь это уже не обязательно приверженец иудейской веры, он может принять православие и даже стать атеистом, но все равно останется евреем. Для советских и нынешних российских властей еврей — это сугубо этническое понятие, обозначающее, однако, людей не только разных религий — что вполне правомерно, но и людей самого разного этнического происхождения, не имеющих ничего общего, кроме религии предков — и крымских евреев, и горских, и бухарских.

Это переосмысление понятия "еврей" явно противоречило шедшей уже тогда массовой ассимиляции евреев, и противоречило декларируемому коммунистами интернационализму, показывая, что национальные различия для коммунистов на деле весьма значимы, что позднее отразилось на судьбе многих народов — от крымских татар до калмыков.

Немецкий национал-социализм сразу строил свою идеологию на национальном неравенстве, итальянский фашизм и русский коммунизм пришли к нему не сразу, однако все равно пришли.

В положении меньшинств отразилось одно из главных противоречий XX века. В России шла активная русификация нерусского населения и социальная унификация людей, как трудящихся, но одновременно шла дифференциация людей по анкетным данным. Стирание границ между людьми шло параллельно укреплению таких границ, среди которых национальные с биологическим акцентом естественно оказались самыми надежными, и, говоря о меньшинствах, мы чаще всего имеем в виду национальные, но сходные процессы наблюдаются и в происходящем с другими меньшинствами. XX век создал общества нового типа, в которых нарастание всеобщности сочетается с нарастанием разобщенности.

Порой говорят, что причина дискриминации в ассимиляции, в отходе от "своего" меньшинства. Утверждают, в частности, что антисемитизм вызван стремлением евреев полноправно участвовать в жизни страны, где им выпало жить. То есть стремление выйти из гетто выдается за отречение от еврейства. Это явно не так, поскольку ассимиляция в России приняла массовый характер лишь после того, как Временное правительство отменило ограничения для евреев, и для обретения гражданских прав уже не было необходимости ни от чего отречься, что как раз сдерживало нравственных людей. А советская власть за восстановление ограничений, как и вообще методов царского времени, принялась не сразу.

Но культурную ассимиляцию отождествляют с отречением не только российские шовинисты. Издатель первой на русском языке книги Бубера, правоверный иудей Натан Файнгольд, бросает обвинение в неполной принадлежности к еврейству самому Буберу, ссылаясь на то, что "Бубер не принял на себя исполнение 613 заповедей Торы в строгом и буквальном смысле этих слов".

Для Натана Файнгольда и его единомышленников, как и для российских шовинистов и советского начальства, этническое тождественно религиозному. Но миллионы людей получили подтверждение своего еврейства, не говоря даже об Освенциме и Треблинке, при отказах в приеме на работу или университет, и просто подвергаясь оскорблениям на улицах прекрасного города, где я живу. Даже плакаты с требованием "Убирайтесь в Израиль!" русские фашисты подымают, совершенно не интересуясь, кто принял на себя исполнение 613 заповедей Торы.

Я пользуюсь еврейскими примерами, конечно, потому, что я сам — еврей, хоть и не соблюдающий, боюсь, ни одной из заповедей Торы, но никогда не отрекавшийся от своего еврейства. И еще потому, что моя семья на своем опыте знает вкус как национал-социалистического, так и коммунистического антисемитизма. Мой отец оказался в Гулаге за выражение сочувствия Израилю. На допросе, оспаривая обвинение в измене родине, он сказал следователю: вы обвиняете меня в том, что я говорил в частной беседе то же самое, что наши государственные деятели Громько и Царапкин говорили с трибуны Объединенных наций. А следователь КГБ ответил: это не ваше дело, что говорят наши государственные деятели. Ответ выглядит абсурдным, но разве не абсурдно было убивать в Бабьем Яру мою бабушку, мать моей матери, семидесятидвухлетнюю старуху, которая уже не в состоянии была одна

выйти из дому? Вот и надо разглядеть, что кроется за такими абсурдами, в чем смысл таких бессмыслиц.

Под знаменем бессмыслиц преследуют отнюдь не только евреев. Уверяя, что они восстанавливают конституционный порядок, нынешние российские власти стирают с земли города и аулы, где якобы хотят этот порядок восстановить. Уничтожая Грозный, стоящий ныне рядом с Орадуром, Лидице и Ковентри, они преследуют и живущих в Москве и по всей России чеченцев, а заодно и прочих, как они выражаются, «лиц кавказской национальности», в том числе и стоящих на разных сторонах кавказских конфликтов: одновременно и армян и азербайджанцев, и абхазов и грузин. Тоже ведь абсурд. Но и за ним надо увидеть смысл.

В свое время польский министр внутренних дел Мочар говорил: "Меня беспокоят не те сорок тысяч евреев, которые называют себя евреями, а те два миллиона, которые называют себя поляками". То есть он утверждал, что в Польше, прошедшей гитлеровскую этническую чистку, откуда и немногие уцелевшие в большинстве уехали, осталось еще два миллиона евреев. Опять абсурд, но на этот раз смысл его проступает яснее. Для Мочара евреями были поляки, католики, недовольные коммунистическим режимом и дорожившие либеральными ценностями, и ему не было важно, соблюдают ли они Тору и кто их родители. Едва ли случайно и в новой Польше, где евреев практически нет, близкий к президенту священник Яновский произносит антисемитские речи, а президент Валенса относится к этому снисходительно, да и церковь не считает это за грех и не лишает священника сана.

Польский антисемитизм без евреев показывает, что там, где меньшинства для преследования нет, его приходится выдумать, чтобы на него, как на козла отпущения, валить вину за народные бедствия. И для этого годится любое меньшинство. Математик Шафаревич утверждал, что во всех бедах большого русского народа виноват "малый народ", давая понять, что имеет в виду евреев. Но хотя в России уже развернута мощная антисемитская кампания, властям сегодня по разным соображениям не очень выгодно самим идти в прямую атаку на евреев. И вот в дело пускается другой "малый народ", другой крови и другой веры, чеченцы, которых тоже объявляют виновниками всех бед России. Существование меньшинств имеет всякий раз свои исторические причины, но есть общая причина их преследования: ненависть к меньшинству людей искусственно спланирует, ведь не только меньшинство, но и противопоставляемое ему большинство часто является мнимым, и его тоже приходится выдумывать.

Среди человечества нет большинства. Самый большой народ — китайцы, но большинство людей все же не китайцы, и точно так же не рабочие и не мусульмане. Говорить о большинстве можно лишь внутри отдельных стран. Но и там в XX веке любое большинство фактически раздроблено на множество не всегда и не во всем согласных меж собой меньшинств. Человечество состоит из меньшинств, и социальная, религиозная, этническая, территориальная и другая дискриминация может задеть любое из этих меньшинств, номинально входящих в большинство.

Русские летчики сбрасывали бомбы на Грозный, отлично зная, что добрую половину его жителей составляют русские, и убивали этих русских наравне с чеченцами. А сегодня нас уверяют в единстве тех, кто бомбил, с теми, кто погибал под бомбами. Конечно, немалое число русских уверено в своем праве решать за чеченцев, выселять их и даже убивать. Но нельзя

сказать, что такова общая воля русского народа или хотя бы его большинства, как уверяют президент и правительство, учитывающие мнение лишь меньшинства русского народа, который в целом опрошен не был, а на пробных опросах высказывался против войны, да и Дума и Совет федерации согласия на чеченскую войну не давали.

Важнейшую роль в поддержании мифа о сплоченном большинстве играет нормативная идеология. На специфические функции господствующей идеологии и противостоящей ей утопии, после победы ее приверженцев тоже обращающейся в идеологию, указал уроженец Будапешта Карл Манхайм. Но ныне идеологии возникают даже без утопической подкормки. В России имперская идеология возрождается, воплотившись в одно словечко: наши. Ее последователи, еще откровеннее, чем коммунисты и нацисты, мешают другим людям быть другими и в то же время отказывают им в тех правах и возможностях, на которые претендуют сами.

Митрополит Петербургский Иоанн уверяет, что "Святая Русь оказалась поверженной к стопам богоборцев", "поддавшись приманкам западных лжеучений и коварным наветам иудиных единоплеменников". То обстоятельство, что иудины единоплеменники одновременно и единоплеменники всех апостолов, вплоть до Павла, единоплеменники богородицы и самого Христа, виднейший православный иерарх считает возможным не заметить, как бы зачеркнуть, оставляя евреям одного Иуду. Он сознательно сеет ненависть, и не только к евреям, но и к совсем другим народам, высокомерно утверждая, что русскому народу определено особое служение — хранить в чистоте и неповрежденности вероучение, принесенное на землю Христом. А другим христианским народам, согласно митрополиту Иоанну, за неискаженным вероучением надлежит обращаться к русским.

Как и про чеченскую войну, было бы неверно сказать, что такая агрессивность присуща большинству русского народа. Но духовный тоталитаризм, в иных формах и с иными символами, чем вчера, в России живет и благоденствует под крылом власти и под крылом церкви. И за ним по-прежнему различим тоталитаризм земной, как раз и нуждающийся в создании покорного большинства и преследовании непокорных как меньшинств.

Вековая привычка к тоталитаризму мешает видеть различие между национализмом от имени большинства, перерастающим в шовинизм, нередко драпирующийся в одежды интернационализма, и национализмом от имени меньшинства, нередко доходящим до изоляционизма. В противостоянии этих крайностей абстрактная проблема отношений общего, особенного и отдельного истекает живой кровью. И дело не за тем, чтобы от нее просто отмахнуться, объявить общее, или особенное, или отдельное не стоящим внимания, а за тем, чтобы повседневно эти отношения совершенствовать. И важнейший шаг к этому сделал еще рабби Гилель, воплотивший главное для него содержание веры в простых словах: не делай другому того, чего не желаешь себе.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

В нынешнем году исполняется сто лет со дня выхода в свет книги венского литератора Теодора Герцля "Еврейское государство". Она

родилась в результате его присутствия на процессе Дрейфуса, репортажи о котором он публиковал в Вене. Неожиданный размах антисемитизма в цивилизованной, казалось бы, Франции до того потряс далекого сперва от национальных проблем литератора, что единственное спасение он увидел в возрождении еврейского государства, покоренного и разрушенного римлянами почти две тысячи лет назад. С выходом этой книги и возникло среди евреев движение за воссоздание, а точнее сказать, за создание такого государства, сионизм. Его непростая история, после воплощения антисемитизма в лагерях уничтожения приведшая к созданию Израиля, излагалась неоднократно и с разных позиций. Куда меньший интерес вызвало изначальное отношение к сионистской идее тех государств, в которых антисемитизм проявлялся все нагляднее. А ведь еще сам Герцль обращался со своей идеей не только к турецкому султану, во владения которого тогда входила территория древнего еврейского государства, но и к германскому императору Вильгельму I, и к видным государственным деятелям Англии и России.

Положение евреев в России к тому времени явственно ухудшалось, и после убийства царя-реформатора Александра II нарастали государственные ограничения и преследования евреев. Евреи и прежде были в России неполноправны. Само их массовое появление в России было следствием включения в ее состав Украины, Польши, Белоруссии, Прибалтики, где издавна проживали евреи-ашкенази, говорившие на языке идиш, диалекте немецкого, еще в средневековье изгнанные из других европейских стран, а также следствием завоевания Кавказа и Средней Азии, где также издавна проживали потомки жителей Хазарского каганата, государственной религией которого был иудаизм, именуемые ныне горскими евреями (татами) и бухарскими евреями. Проживание евреев именно в этих, западных и южных областях империи еще при Екатерине было закреплено чертой оседлости, их переселение в основную часть империи допускалось лишь в виде исключения и было незначительным.

Реформы Александра II, создав в стране новую ситуацию, способствующую развитию экономических отношений и правовых норм, подчеркнули бесправие евреев, как и других ограниченных в правах народов. Тяжелое положение евреев, лишенных права владеть землей и, соответственно, работать на себя, как могли это делать после реформы жившие рядом русские или украинцы, естественно толкало их искать себе применения в торговле и промышленности, в свободных профессиях, и на пути к этому даже традиционные ограничения были тяжелой преградой. В то же время само это стремление было ресурсом экономических реформ. И, думается, именно это побудило после убийства царя-реформатора, когда начались контрреформы, обуздать и стремление евреев активно участвовать в торговле и промышленности, на что и были направлены новые ограничения, особенно ограничения на пути к образованию.

Распространено мнение, что эти ограничения были ответом на участие евреев в революционном движении, но это справедливо лишь частично и, быть может, для более позднего времени. Прежде всего, в российском революционном движении активно участвовали отнюдь не одни евреи, но и другие угнетенные народы, поляки, латыши, литовцы, армяне, грузины, татары и многие другие, но ни один не подвергся какой-либо дополнительной дискриминации сверх обычной, только евреи. Да и место

занятое евреями в революционной борьбе не было, во всяком случае сперва, более значительным. Достаточно вспомнить, что большинство участников покушения первого марта 1881 года составляли русские, еврейка была среди них одна Геся Гельфман, выполнявшая подсобную работу, а непосредственно убил царя, жертвуя собой, литовец Гриневицкий. И если литовцы никаких дополнительных ограничений не получили, можно ли считать ограничения наложенные на евреев, воздаянием за убийство царя? Разумнее все же признать, что возросшие ограничения, как и сама позднейшая революционная активизация евреев, были вызваны их активностью в торговле и промышленности на новых, буржуазных началах, и сами нараставшие преследования евреев были попыткой если не остановить, то замедлить развитие капитализма в России, удержать господствовавший феодальный порядок. Борьба других народов была прежде всего борьбой национальной, национально-освободительной, борьбой за освобождение своей земли, так или иначе попавшей в подчинение к Российской империи, тогда как борьба евреев была прежде всего социальной и именно этим определялось их особенное положение, вызванное, понятно, не якобы свойственной им заведомой буржуазностью, как утверждал Маркс, а отсутствием для них, отчужденных от владения землей, полноправного места в феодальном мире. Именно в этих обстоятельствах, на этом фоне, примечателен интерес, проявленный российскими властями к идее Теодора Герцля, порожденной совсем другими, противоположными побуждениями. Опасаясь широкого вовлечения евреев в российскую жизнь, ожидая, что связанное с этим вовлечением ускорение развития капиталистических отношений будет подтачивать и без того рушащиеся опоры самодержавия, власть искала выхода из такого положения, сознавая, что найти его не просто. После известного варшавского погрома царь Александр III выговаривал варшавскому генерал-губернатору Гурко: "Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять этого ни в коем случае не следует". В отличие от своего преемника, Николая II, Александр III понимал, что еврейские погромы не украшают Россию, а подрывают ее международные позиции. И он сам и его чиновники, как и чиновники его преемника, искали способы надежного и пристойного разрешения пугавшего их "еврейского вопроса". Уравнять в правах не только евреев, но и менее дискриминированные народы с русским населением, царская власть не желала по своей имперской природе. "Окончательное решение" еврейского вопроса, еще до Гитлера утверждавшееся погромами, было для нее неудобным. Удерживать евреев в черте оседлости, когда в пореформенной России все возрастал спрос на рабочую силу, которая часто бывала еврейской, поскольку соответствующими профессиями можно было, хоть и не запросто, овладеть и при прежних ограничениях, тоже становилось труднее, поскольку это вызывало недовольство нуждавшихся в такой рабочей силе. В то же время, наряду с агрессивно антисемитской властью, ее пособниками и находившимися под ее влиянием, в России существовал все ширящийся слой противников антисемитизма, сторонников равноправия всего населения империи. Однако для власти и культурная автономия евреев и, тем более, культурная ассимиляция евреев, упировавшаяся в непреложность исключительного положения православия как господствующей религии, были неприемлемы. Поэтому мысль о

создании еврейского государства в Палестине нашла в российских верхах ряд влиятельных союзников.

Она, прежде всего, избавляла власть от необходимости что либо делать для изменения крайне тяжелого положения евреев в России, а в конечном счете сулила избавление России от еврейского вопроса как такового. То обстоятельство, что в местах своего тогдашнего проживания миллионы людей жили столетиями и считали их родными, а для многих, к тому времени глубоко ассимилированных евреев, и сама русская культура фактически была уже собственной, власть во внимание не принимала, ее интересовали не люди, а социальная проблема. К тому же сочувствовавшие созданию еврейского государства в Палестине царские чиновники надеялись, что массовое переселение еврейского населения будет совершаться добровольно и без затрат для России, а резерв буржуазного преобразования страны будет сведен на нет.

Надежды эти оказались напрасными. Обострение социального положения в пореформенной деревне с преимущественно малоземельным и безземельным крестьянством, нараставшее развитие промышленности и распространение, просвещения в стране, общее обострение противоречий в мире и многое другое помешало этим надеждам осуществиться. Да и возникшее в России сионистское движение не отвечало желаниям власти, оно изначально ориентировалось на демократию, в нем возникали и социалистические группы, и это тоже расходилось с надеждами власти, искавшей выхода из кризиса, предопределенного незавершенностью великих реформ шестидесятих годов. Вызванные этим кризисом две революции подряд радикально изменили постановку еврейского вопроса в России, а одновременно она изменилась и в Европе. Советская власть еще до обретения ею открыто антисемитского характера выступала как прямая противница сионизма и создания еврейского государства. Лишь после войны, когда, с одной стороны, после массового уничтожения европейского еврейства, вновь обрело актуальность создание еврейского государства в Палестине, а, с другой, социальное перерождение советского режима сделало его антисемитским, в политике Сталина возродились былые упования царских чиновников, и Советский Союз выступил инициатором создания государства Израиль. Но еврейское государство не оправдало российских надежд, и Израиль так и не стал базой советского социализма для Ближнего и Среднего Востока, какой мыслилась Куба, а потом ненадолго Чили для Латинской Америки, и надежды такого рода советское государство переложило на "прогрессивные" арабские страны, разорвав не только с Израилем, но и с сионизмом, принеся этот метод разрешения еврейского вопроса, как внутреннего, в жертву своим внешнеполитическим целям, а внутри страны вернувшись к традиционному антисемитизму, обогащенному гитлеровским опытом, и приведшему накануне смерти Сталина к "делу врачей". Смерть остановила в СССР его предполагавшиеся последствия. Но в Польше пример был подхвачен, и проведено массовое изгнание уцелевших евреев, хоть и не в Сибирь, а за рубеж. Лишь в ходе "перестройки" власть в России проявила некоторую терпимость к Израилю и сионизму, были восстановлены дипломатические отношения и желающим, число которых в атмосфере ширящегося антисемитизма росло, был разрешен выезд в еврейское государство. Но надежды на "окончательное" решение

проблемы таким путем, манившие некогда царских чиновников, в полной мере покамест не возобновились.

Однако эти старые надежды царской власти представляют не только исторический интерес, и не только для евреев. Это все же был первый в новое время, еще лишь воображаемый, опыт этнической чистки, хоть тогда и неосуществленный, но несомненно оказавший влияние на многие события столетия, как в России, так и за ее пределами. Это и побуждает взглянуться и вдуматься в этот воображаемый опыт, в давние усилия царских властей.

МИР, ОЗНАЧАЮЩИЙ ВОЙНУ

В январе семьдесят шестого на пешеходном переходе меня сшибла машина "скорой помощи", и год ушел на сращивание костей. На четвертом месяце я встал на костыли, двинулся по широкому больничному коридору и вдруг заметил, что смуглый молодой человек, тоже в больничной пижаме, держа руки, словно в них автомат, целится в меня. Он повторял это потом почти ежедневно. Выяснилось, что на нашем этаже поместили двух палестинцев, привезенных из Ливана. Мой сосед по палате, немного знавший английский, полюбопытствовал, зачем в меня стрелять. "Так он ведь еврей! Пусть знает, что мы его убьем!" — объяснил палестинец. "Но он здешний", — отвечал мой сосед. "Все равно, — возразил целившийся, — всех евреев надо убить". Второй, лет сорока, был не столь категоричен: "Палестина — наша страна. Пусть евреи уезжают туда, откуда приехали, и мы не будем их убивать". "Куда же им ехать, — не унимался сосед, — их там уже в печках жгли. А в Библии и вроде даже в Коране сказано, что Палестина — их страна". "Мало ли что, — отвечал старший, — мы туда пришли, значит, это — арабская земля. Еврейской земли там нет".

О том, что немалая часть палестинской земли задолго до создания Израиля была даже наново куплена евреями у тогдашних владельцев законным, никем не оспаривавшимся образом, он и не вспоминал. Я осознал природу его ментальности лишь двадцать лет спустя, когда услышал: "Чечня — это русская земля. Чеченской земли там нет!" Ожидалось, что соглашение в Осло перечеркнет призыв "Сбросим евреев в море", и два родственные народа перейдут к мирному сосуществованию. Рабин и Перес признали право палестинцев на автономию, а в будущем, возможно, и на самостоятельное государство. Это было разумно и справедливо. Но одновременно они фактически признали не то что за будущим государством, но уже за создаваемой автономией право на этническую чистку, или, как у нас говорят, "зачистку" обретаемой территории. На то, чтобы "сбросить евреев", если не сразу в море, то на землю, считающуюся покамест израильской. Как известно, в Израиле живут сотни тысяч арабов, процент которых неуклонно растет. Они пользуются правом избирать и быть избранными, выходят арабские газеты, открыты мечети. Ежедневно тысячи арабов имеют возможность въезжать в Израиль на заработки. При всех шероховатостях это тоже разумно и справедливо и служит возможному сосуществованию. Мир принимает это как должное, а если после очередной диверсии граница на время закрывается, и в Европе, и в России, и в Америке раздаются возмущенные голоса.

Но ни один из этих голосов не слышен, когда вместе с израильской армией с территории автономии уходят еврейские жители. Никакой надежды уцелеть на прежнем месте у них нет. Французский президент был прав, твердя в Иерусалиме своей израильской охране, что опасности нет. Для него опасности не было. Неужто ему помнить, как после провозглашения Израиля арабы, захватив Старый город, очистили его от евреев и объявили сугубо арабским. А охрана помнила. Мир был поражен преступным нападением еврея Гольдштейна на мирных арабов в Хевроне. Особенно, видимо, потому, что такое — большая редкость. А повседневные нападения арабских "гольдштейнов" на мирных евреев мир воспринимает безучастно, лишь досадует, что в ответ на очередное убийство еще двух-трех десятков замедляется вывод израильских войск.

Американский президент огорчился, что господин Перес, сочинивший дырявое соглашение, из-за каких-то взорванных автобусов с людьми потерпел поражение на выборах. Но израильтянам не отвлекаться от того, что Тель-Авив ничем не отличается от ликвидируемых поселений, и если стать на этот путь, очередь дойдет и до него. Даже текст Палестинской хартии, требующей ликвидации Израиля, по существу так и не изменен. Надо бы менять позицию не только на словах, а на деле. Но покамест палестинцам явно неумоготу выполнять соглашение даже на словах.

Я не к тому, чтобы отказаться от соглашения. Российский министр иностранных дел прав: подписанные соглашения надо выполнять. Да только он упускает из виду, что народ не безмолвно глотает злоупотребления дырами в соглашениях. Убийство Рабина было, конечно, преступной формой отвержения его политики. Убийство видного генерала, героя Шестидневной войны, вызвало в Израиле почти всеобщее осуждение. Казалось, оно даже поможет партии убитого победить на выборах. Однако новые взрывы автобусов напомнили о Треблинке, и, осуждая убийство премьера, израильтяне в законной форме, на выборах, отвергли терпимость Рабина и Переса к этническим чисткам и террору. А если после отвода войск из Хеврона убьют еще несколько сот евреев, то и нового, именуемого "правым", премьера Натанияху сочтут пустым болтуном. Если палестинские партнеры и далее будут уклоняться от соблюдения мирного сосуществования, глядишь, на следующих выборах премьером станет если не убийца Рабина, то его единомышленник, ибо никакие разговоры не заставят принимать за мир состояние, при котором людей ежедневно убивают.

Пора нам, если не во внутренней, то во внешней политике, просчитывать последствия хоть на два шага вперед. В каждом еврее, признается он в этом или прячется от себя самого, жива и долго еще будет жить память о Треблинке. Она придала особую чувствительность к национальному унижению, над которой напрасно глумятся. В минувшей мировой войне многие народы понесли тяжкие потери. По числу погибших и русские, и поляки, да, в конце концов, и немцы, никак не уступают евреям. Но, в отличие от остальных, евреев, и наравне с ними лишь цыган, убивали поголовно, а это меняет самосознание. Не остается надежды собственной гибелью защитить близких, возможности думать: я погибну, но спасу других. Неверно отсчитывать возраст Израиля от резолюции ООН. Он родился в Варшавском гетто, где обреченные, без расчета на победу, осознанно оказали убийцам массовое сопротивление.

Половина российских евреев уехала, опасаясь, что иначе, быть может, придется, как безмолвные овцы, идти под охраной штурмовиков Баркашова и Веденкина в газовые камеры. Терпимость российской власти к подобной угрозе и к самому формированию штурмовых отрядов общеизвестна. И ведь не то чтобы оставшиеся уверены, что обойдется, они либо надеются на русское "авось", либо дорожат привычным укладом жизни уже больше, чем самой своей жизнью. Как ни парадоксально, ныне самые подлинные патриоты России — это не покидающие ее евреи. Им за любовь к родине, возможно, придется умереть, тогда как рекламирующие себя "патриоты" главным образом норовят убивать.

По многим причинам России легче, чем кому бы то ни было, понять тревоги Израиля. Они чужды господину Клинтону, первому американскому президенту, следующему внешнеполитическим установкам довоенного британского премьера Чемберлена. Их трудно понять господину Шираку, зажатому между набирающими силу лепеновцами и левеющими в оппозиции социалистами, как был подобным образом некогда зажат германский президент Гинденбург. Россия, преодолев нынешнее номинальное покровительство миру на Ближнем Востоке, лучше других могла бы объяснить и Арафату, и Асаду, и старому другу Саддаму Хусейну, что мир держится на взаимности, что еврейские поселения в арабской части Палестины — не препятствие миру, а его опора, точь-в-точь как арабские граждане Израиля, а безопасность еврейских поселений — залог создания палестинского государства. При этнических чистках и терроре на территории Израиля мир, который обещан соглашением в Осло, как у Оруэлла, означает войну. Но в Треблинку, которую даже и гитлеровцы предпочли устроить втайне, на глазах у всего мира израильтяне по второму разу покорно уже не пойдут, и не стоит обращать их страну в гетто.

Господину Примакову, конечно, трудно перейти к политике, противоречащей всему, что он смолodu делал на Ближнем Востоке. Но сделаться реальной защитницей мира России мешает не министр, достаточно квалифицированный, чтобы изменить привычкам. Мешают традиции собственного государственного антисемитизма. Говорят, он пошел на убыль, возник даже анекдот: "Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду". Но примечательна ярость, выплеснувшаяся по столь мелкому поводу, как назначение Березовского заместителем секретаря Совета безопасности.

Я не поклонник господина Березовского. Легкость, с которой он или господин Потанин, рекламировавшиеся как удачливые частные предприниматели, вдруг обращаются в госслужащих, вообще усугубляет сомнения в характере нашей приватизации. К тому же я помню, что одновременно с Березовским на первый канал телевидения пришла великодержавная программа Невзорова и старая казенщина. Но нынешние нападки вызваны не этим. Председатель Думы Селезнев винит Бориса Абрамовича в "антирусском" перевороте на телевидении, не скрывая, что имеет в виду. Редакционная статья "Известий" полна намеков на непроясненные слухи об израильском гражданстве Березовского. А телеобозреватель Киселев, защищая Березовского от "Известий", ссылается на то, что никто не проверяет наличие второго гражданства у других евреев-политиков, называя по именам министра Лившица, генерала Рохлина и Григория Явлинского.

Не уверен, что подобная аргументация вообще корректна. Но так или иначе Явлинский лишь наполовину еврей, о чем он не раз рассказывал в ходе избирательных кампаний. Конечно, гитлеровские законы приравнивали полуеврея к полному, но едва ли можно сохранить репутацию либерала, следуя этому примеру, чтобы усугубить неприязнь к несимпатичному тебе политику. Слов нет, претендуя на выборную должность, скрывать от избирателей наличие второго гражданства негоже, ведь депутат, губернатор, президент непосредственно представляют избирателя, и тот вправе знать о них все. Другое дело служащий, нанимаемый государством, — неужто в редакции "Известий" и на телевидении не помнят, сколько иностранцев, вообще не имевших российского гражданства, с незапамятных времен состояло на российской государственной службе.

В репликах председателя Думы прорезалось родство нынешней демократии с прежним тоталитаризмом. Будь это личный промах, Селезнев бы подал в отставку. Киселев тоже остается одним из руководителей свободолобивой НТВ, и теперь понятнее ее представления о свободе. А "Известия" с невинным видом уверяют, что словосочетание "израильский гражданин" обозначает лишь иностранное подданство.

Этак скоро скажут, что и слово "сионист" обозначает лишь сторонника существования еврейского государства в Палестине, и это тоже по старому словарю будет чистая правда. Да только в современной русской печати и не так давно в самих "Известиях" оно служило синонимом слова "еврей". Вот и словосочетание "израильский гражданин", и, тем паче, слово "израильтанин", вопреки лучшим намерениям газеты, не свободно еще от того же смысла, чем и отличается, скажем, от словосочетания "болгарский гражданин", ни в каком контексте не обретающего подобного подтекста.

Наша правящая элита закоснела в давних чувствах. Они-то и мешают России на Ближнем Востоке. Она там всегда на крайних позициях, когда-то произраильских, потом долгое время антиизраильских. А пора отойти от края и не выгораживать былых пациентов наших больниц, которых мы и вооружали. Пора ясно признать, что меж арабскими лидерами, организующими этнические чистки и террор в Израиле, в том числе Арафатом, и еврейским фанатиком Гольдштейном разницы, по существу, нет. Официальная констатация этой очевидности Россией, а за ней, как это было при создании Израиля, быть может, и Америкой и Европой, помогла бы придать двусмысленному соглашению в Осло действительно мирное содержание.

НЕСПОРОТЫЕ НОМЕРА

Анахронизм — не графа "национальность", а внутренние паспорта

Дума затеяла очередной спор с правительством и президентом. Коммунисты-интернационалисты не хотят изымать из паспортов указание на этническую принадлежность. Действительно, подвижность населения и обилие смешанных браков давно сделали биологические приметы расплывчатыми, а имена и фамилии и вовсе перепутались: куда ни глянь — русские Альберты и Ричарды. Даже русские девушки все реже бывают блондинками, а новейшие красители дарят такую возможность всем

желающим. Трудно коммунистам налаживать дружбу народов, когда не сразу видно, кто из какого народа и какое место должен, соответственно, занимать. Вся надежда на паспорт и анкету с пятым пунктом.

Сохранения этого пункта хотят и руководители иных национальных автономий, опасаясь, что его ликвидация автоматически приведет к ликвидации автономий. Они забыли, что наше могучее государство давно проявило способность их ликвидировать, не оглядываясь не то что на паспорта, но и на людей, которых ничего не стоит выселить с обжитой земли. Но президент и министры, слышущие демократами, понимают, что изъятие пятого пункта выглядит признанием равенства людей и, стало быть, укрепляет их демократическую репутацию.

Обсуждая объявленное принципиальное расхождение, телевидение и печать вида не подают, что в главном спорщики заодно: и те и другие жаждут сохранить внутренние паспорта и, как всегда, раздувая мелочный спор, не дают людям осознать, зачем, вообще, им нужен паспорт.

Понятно, за границей без документа, удостоверяющего наше российское гражданство, не обойтись. Но в заграничном паспорте и в советские времена этническая принадлежность не обозначалась. В графе Nationality раньше писали "СССР", а теперь — "Россия". Заграничные паспорта есть в любой стране. С ними понятно. Непонятно, зачем российскому гражданину второй, внутренний паспорт. В СССР подобный вопрос возникнуть не мог. Уже без пятого пункта было не обойтись. Читая в паспорте "калмык", чиновник сразу вспоминал, куда выслали калмыков, и отправлял владельца паспорта туда же. Но нынче, как будто, высланные народы возвращены. Опять же еврей хотел устроиться на работу, куда велено было не пущать, а пятый пункт давал возможность сразу поставить его на место. Но ведь нынче, как будто, не запрещают брать евреев на работу и даже в вузы принимают. Опять же — прописка. По паспорту сразу было видно: москвич ли ты или вселился в столицу незаконно. Но нынче, как будто, и прописка отменена. Опять же в паспорте ставили штамп о месте работы. Любой мог заявлять, что он пишет стихи или картины, а милиция видела, что штампа в паспорте нет, и тунеядца выселяла. Но ведь нынче вроде и этот закон отменен. По отдельности все назначения внутреннего советского паспорта вроде отпали, а паспорт остается, и начальство не считает нужным даже объяснить, зачем россиянину два паспорта, когда иностранцы отлично обходятся одним, заграничным.

А ведь паспортная система, разрушенная революцией, была восстановлена постановлением ЦИК и СНК лишь 27 декабря 1932 года, после ликвидации нэпа и коллективизации. Ее первое назначение состояло в том, чтобы лишить согнанное в колхозы крестьянство свободы передвижения, и крестьянам паспорта не выдавали. Между тем еще двумя годами раньше, в 1930 году, Малая советская энциклопедия объясняла: «Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в т.н. "полицейском государстве"». Паспортная система действовала и в дореволюционной России. Особо тягостная для трудовых масс, паспортная система стеснительна и для гражданского оборота буржуазного государства, которое упраздняет или ослабляет ее. Советское государство не знает паспортной системы». Вскоре, однако, оно ее узнало, и в самом зловещем виде. Советское феодально-абсолютистское государство иначе и не могло.

Но зачем Российской Федерации, желающей слыть демократией, да еще с рыночным буржуазным хозяйством, вторые внутренние паспорта? Зачем тратить на них бешеные деньги? Ведь в своем отечестве личность могут удостоверить самые разные документы вроде водительских прав, военного билета или пенсионной книжки. И даже национальную чистоту, волнующую думских политиков, почему-то считающихся левыми, отлично берегут метрические свидетельства, где обозначена этническая принадлежность обоих родителей, и уже не отговориться, что папа у тебя юрист. Но паспорт все равно сохраняется, как нашитый на одежде зэка номер. Для порядка. Но какого же именно?

Пятый пункт можно оставить, можно и вычеркнуть — этнические данные, как и прочие, легко зашифровать в буквах и цифрах. Но новый спор обостряет старую проблему: изменилось наше государство, как уверяет Конституция РФ, или это по-прежнему советское полицейское государство, и граждане для него — лишь тягловый скот, на который приходится навешивать бирки и номера? Неслучайно ведь милиция даже ходит уже не в форме, а в камуфляже, словно за углом идет война. Если бы вторые, внутренние паспорта упразднили, это стало бы началом перемен, а коль скоро они остаются, с пятым пунктом или без него, мы все равно движемся по пути, избранному в 1932 году, — по сталинскому пути.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ

Грешно ради политических выгод манипулировать покойниками

Все не кончаются толки об останках Николая Романова и его семьи. О докторе Боткине и слугах вспоминают реже. Скажем сразу: преступным было бессудное убийство не только челяди и врача, не только царевен, царевича и царицы, за которыми тоже нет состава преступления, но даже и самого Николая. Вину и наказание бывшего царя, своей политикой вызвавшего три революции, справедливо определил бы не уральский ревком, а открытый судебный процесс, как в других странах. Уже долгое уклонение от суда над Николаем было преступным бездействием, и пора бы разобраться, почему большевики так себя повели.

Теперь поправить ничего уже нельзя. Посмертная реабилитация имела смысл лишь при власти, объявлявшей инакомыслящих преступниками и распространившей это клеймо на их труд и детей. Несчастливым девушкам и даже их отцу советская реабилитация ни к чему. Можно лишь предать тела земле, совершив, коль скоро они были православными, положенный обряд, если ныне за это возьмется какая-нибудь из русских православных церквей или хотя бы сыщется священник, готовый их отпеть.

Но от этого естественного финала мы все еще далеки. Останки потащат в Москву для дальнейших исследований, словно их нельзя провести на месте, потом обратно, и лишь потом будет решено, где хоронить. Екатеринбургский губернатор готов провести похороны на месте, но разгорелся спор о месте похорон, то есть о том, кому останки несчастных послужат лучше.

Легче всего понять Лужкова. Он полностью отождествил Россию со столицей и весьма досадует, что многие важнейшие мгновения истории отечества не связаны с Москвой. Если прах Анны Павловой, всей славой принадлежащей Петербургу, возвращают из Лондона, ставшего ее вторым домом, не в Петербург, а в Москву, если телеканал "Культура",

назначенный президентом вещать из "культурной столицы" Петербурга, тоже магическим образом вещает из Москвы, то Николай, с Москвой ничем особо не связанный, по крайней мере, на царство венчался в Успенском соборе и опять же Ходынку здесь допустил.

Я бы только советовал Юрию Михайловичу поместить прах Николая не в храме Христа Спасителя, а в мавзолее Ленина, благо после Сталина место свободно. Общая могила Владимира Ульянова и Николая Романова стала бы символом не только всеобщего согласия, за которое ратует власть, но и реального единства последователей того и другого в борьбе с либеральными ценностями. Уже и в 1917 году оба они искореняли либерализм (но еще с разных сторон), а теперь коммунисты и монархисты выступают вместе и проводят общие митинги, где рядом плещутся царские и красные знамена. Лужков бы всем угодил.

Но вождь коммунистов Зюганов и другие вожди требуют похорон в петербургском Петропавловском соборе, где лежат другие цари. Среди них немало убитых: и Петр III, и Павел I, и Александр II, и даже Николай I, видимо, все же покончивший с собой, однако все в царской должности, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. Но Николай II, когда его убивали, был уже не царь, а больше года как бывший царь. Он отрекся еще 2(15) марта, и принял его отречение не коммунист Троцкий и не либерал Набоков, а Василий Витальевич Шульгин, свой в доску национал-патриот, отлично смотревшийся бы в нынешней Думе рядом с Сергеем Бабуриным. Не странно разве, что мало кто вспоминает нынче царское отречение, но все охотно рассуждают о цареубийстве?

Из того, что большевики преступно убили бывшего царя, никак не следует, что они убили царя, что они его свергли, хотя и твердили: "Долой самодержавие!" Отстранили царя от власти другие, да и сам он отстранился от власти, с которой уже не мог совладать, и хоронить его, отрекшегося от престола, в Петропавловском соборе, где хоронили царей, значило бы исправлять историю, делать вид, что, невзирая на отречение, он все равно продолжал быть царем.

Это делают, чтобы окончательно затуманить в народном сознании память о том, что самодержавие потерпело крах. Не государь Николай Александрович, а самодержавие, абсолютная власть монарха как общественный институт. Вот царь и отрекся не только за себя, но и за сына. И оказавшийся наследником Михаил Александрович тут же отрекся. При новых экономических отношениях самодержавие не в состоянии было считаться с объективными нуждами страны и волей ее граждан. Прислушайся царь еще в 1903 году к совету С.Ю.Витте и проведи аграрную реформу, быть может, вся история XX века сложилась бы иначе. Но то-то и оно, что хозяин земли русской не мог дать землю мужикам. Вот и набирала силы великая крестьянская, а вовсе не пролетарская, революция, новая пугачевщина, которую Ульянов (Ленин) талантливо оседлал и при всеобщей смуте направил, куда вздумал. А в результате белому самодержавию семьдесят с лишним лет противостояло красное самодержавие. Теперь и оно, тоже не считавшееся с объективными нуждами страны и волей граждан, рухнуло, и пора понять, что считаться с людьми не на словах, а на деле может лишь подконтрольная гражданам власть. И наш первый опыт создания либерального общества окончился неудачей потому, что Временное правительство колебалось, не сохранить ли монархию, провозгласив ее конституционной и, главное, сверх меры

затягивало созыв Учредительного собрания. Почти как семьдесят с лишним лет спустя, когда правление опять стало авторитарным.

Но не гоже и дальше ради своих выгод манипулировать покойниками и кромсать трупы, идет ли речь об Ульянове или о Романове. Как ни относиться к мертвым, у живых есть долг предать их земле. Последний долг. А потом председатель похоронной комиссии мог бы сосчитать, сколько у одинокой работницы после оплаты жилья остается на хлеб, и не лучше ли бы хоть часть отпущенных на царские похороны миллиардов потратить на помощь бедным и голодным.

НЕУВЯДАЕМАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОИЗВОЛА Свобода людей начинается с ограничения власти

Известное дело: до Бога высоко, до царя далеко. До царя, до президента, до Совета федерации, до Государственной думы, до губернатора и даже до городского законодательного собрания. Откуда им знать, что подъезды загажены, в троллейбус не влезть, а письмо в Москву из Петербурга идет неделю. Вот нам и внушают, что жить стало лучше, жить стало веселей. Питерский губернатор на всю Россию заявил, что с января 1997 года хлеб в городе дешевеет; но, к сожалению, покупая хлеб самолично, я знаю, что это неправда. Нужна бы, наверное, власть, тоже покупающая хлеб самолично, пользующаяся троллейбусами и входящая в подъезды обычных домов. И в сферах додумались такую власть учредить.

Но сказывается главная закономерность нашей жизни, подмеченная еще основателем советского государства: по форме — правильно, по существу издевательство. Это, по-моему, самое глубокое из ленинских наблюдений. Зря только Ильич употребил выражение "по форме", форма у нас никогда не была в чести. Сказал бы лучше "по плану", "по намерению". Благие намерения, завлекательные идеи постоянно обращаются у нас в издевательство. Началось с намерения создать общество, где "свободное развитие каждого является условием свободного развития всех", а пришло к требованию приносить все личное в жертву государству.

Проводя в Петербурге выборы органов местного самоуправления, город произвольно поделили на муниципальные округа и развесили списки, из которых нельзя было понять, каковы взгляды и стремления кандидатов. В итоге выборы пришлось признать несостоявшимися. Официально голосовало 16 процентов. Но в Петербург входит ряд обособленных поселений, составивших отдельные округа, где, естественно, явка была нормальной. То есть собственно в городе голосовало даже меньше 16 процентов. На искусственные округа город ответил бойкотом. Но и губернатор, и представитель президента стояли на своем, твердя, что горожане себе же хуже сделали, поскольку на повторные выборы пойдут деньги, предназначенные на конкретные нужды. Как говорилось в советские времена: "Сами себя задерживаете, товарищи!" Законодательное собрание тоже сказало свое слово и отменило рубеж в 25 процентов для признания выборов действительными. Теперь, если в январе проголосуют хотя бы только сами кандидаты, новую муниципальную власть объявят законной.

Нет, чтобы проверить себя: скажем, совместить муниципальный округ с территорией, обслуживаемой жилконторой. Может быть, двумя, тремя

жилконторами, но чтобы у людей, проживающих в округе, были хоть какие-то общие интересы. Но девиз городской власти прежний: что хочу, то и ворочу. Обкомы и райкомы, конечно, тоже не считались с людьми, но при государственном терроре все помалкивали. А нынче свобода: больше восьмидесяти четырех процентов протестует. Но власть все равно делает по-своему. Прежде лицемерили, а теперь открыто не считаются с людьми.

Свобода людей начинается с ограничения власти, ограничения ее произвола как по отношению ко всем жителям вместе, так и к отдельным гражданам. Право предполагает правила, процедуры, которые власть обязана первой соблюдать. Только соблюдая их, она в состоянии справедливо наказать частное лицо, нарушившее закон. Но власть, сама нарушающая закон и чинящая произвол, становится незаконной, и этим дает гражданам повод следовать ее примеру. Нынче охотно рассуждают о преступности и забывают, что она вскормлена многолетними преступлениями государства. Пока власть цинично демонстрирует, что законы и правила ей не писаны, люди не станут законопослушными, а обществу без этого не жить.

Бывшего мэра Петербурга задержали на улице, чтобы, как было объявлено, допросить в качестве свидетеля по делу о коррупции. Омоновец разъярился по телевизору, что ничего особенного не стряслось, ребята подошли и предложили сесть в машину, а что стояли кругом, так ведь там все время кого-то хватают. А еще и по телевидению, и в местной печати давали понять, что хоть вызывают бывшего мэра как свидетеля, но на него самого компромата хоть отбавляй.

Не хочется обсуждать непредъявленные обвинения, но трудно представить, чтобы глава города и его первый зам, почти три года работая рука об руку, могли не замечать друг за другом преступной деятельности. Либо оба ею занимались, либо ни один, и пока не доказано иное, нужно исходить из презумпции невиновности. К тому же вызов свидетеля не повесткой с назначенным временем явки, вручаемой под расписку, а захватом на улице выдает отсутствие достаточных для обвинения фактов. Но таков старый советский обычай: если посадить, обвинение найдется.

Необычно лишь то, что бывший мэр, перенеся при аресте и допросе сердечный приступ, ускользнул для продолжения лечения за границу. Но уже реакция на это возрождала былой дух. Давнему недругу бывшего мэра Юрию Шутову дали возможность объяснить по телевидению, что хоть и были все документы для выезда законны, прапорщику надлежало придрататься к тому, что какая-то буква неразборчива, и задержать вылет часа на три, даже на сутки, а там бы разобрались. И постоянный ведущий программы государственного телевидения не счел нужным хотя бы оговорить, что таково частное мнение одного господина Шутова. То есть нам открыто дали понять, что государству, во всяком случае в Петербурге, нечего считаться с законом, который говорит в пользу гражданина.

Ленинград–Петроград–Петербург не только поражал неповторимой красотой, но и подавал России примеры. Это и революция, и разгон Учредительного собрания, и особый размах сталинского террора, и текущая жизнь здесь была куда жестче, чем в Москве. И вот опять представительные органы создаются как чисто показушные, опять новый начальник расправляется с предшественником, которому обязан возвышением, опять коммунисты отмечают свой праздник в парадной зале

Смольного. А уверяют, что коммунизм давно кончился, и нынешнее начальство совсем иное, чем в былые времена. Как бы не так.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Когда я был на третьем курсе медицинского института, у нас возник психиатрический кружок, — проходили психиатрию только на пятом курсе, — и по своим гуманитарным интересам я немедленно в этот кружок записался. Он собирался в психиатрической клинике, в кабинете заведующего, и впервые войдя туда, я сразу заметил, что тяжелые кресла привинчены к полу. Это оставляло жуткое впечатление. Вел кружок один из крупнейших московских психиатров, и он начал с того, что сказал: "Молодые коллеги, вы должны помнить, что граница меж душевной болезнью и душевным здоровьем очень и очень относительна, и даже неизвестно, есть ли она вообще".

Это было в начале 1945 года, уже было ясно, что мы выиграли войну, и никогда, сколько я себя помню, народ нашей страны не был в такой мере един. И рядовые люди, и власть хотели победы, хотели, чтобы кончилась эта страшная война и началась нормальная жизнь. А крупнейший психиатр предупреждал нас, будущих врачей, против чрезмерной педантичности в понимании нормы, и когда я позднее оставил медицину, я помнил его призыв к осторожности при определении нормы.

Исследователю необходимо видеть вещи как они есть, в их самобытности, в их деталях, и находить объяснение тому и другому. Пусть политики делят мир на правильный и неправильный, пусть они устанавливают правила и нормы и призывают русских жить, как французы, а узбеков, как русские. Наша задача понять, почему французы живут так, русские иначе, а узбеки совсем иначе.

Одной логикой тут не обойтись. Мы в ином положении, чем пророк Моисей, которому бог диктовал готовую правду. Нам приходится изучать факты, не довольствуясь их видимостью, и делать выводы из сопоставлений. Сама нестройность фактов, их незамечаемая людьми противоречивость, нуждается в объяснении.

Еще Люсьен Леви-Брюль, сто лет назад разработавший представление о пралогическом мышлении, которое он порой называл мистическим, а еще бы точнее называть мифологическим, подчеркивал, что такое мышление, не связанное логикой, не ощущающее противоречий, присуще не только первобытным людям, но и людям нового времени. Он оговаривал также, что первобытные люди, когда доходит до их личной практики, мыслят не менее логично, чем люди нового времени. Пралогическое мышление, в противовес логическому, сохраняющемуся за индивидуумом, Леви-Брюль связывал с коллективными представлениями. Здесь, может быть, стоит уточнить, что массовые представления часто складываются на почве установок, которые ход коллективной жизни задает пралогическому, мифологическому сознанию, и эмоционально следуя таким установкам, человек, как первобытный, так и современный, творит мифы и подпадает под их власть.

Двадцатый век обнаружил в человеческом сознании пралогичность. То, что мы привыкли считать рациональным, часто совсем не таково. Существует множество утопий, хорошо структурированных и даже пленяющих стройностью, однако остающихся утопиями, в которых

невозможно разобраться, отвлекаясь от пралогического мышления их приверженцев. Примеры новейших мифологий бесчисленны. Их плодят не только повсеместно возникающие религиозные секты, но и растущие технические знания, стимулирующие верования вроде летающих тарелок. Но особо примечательно проявление мифологического сознания в сферах, еще недавно принадлежавших почти исключительно рациональному. Вторгаясь туда, трансформируя логическое сознание и наполняя его мифологическим содержанием, новое мифотворчество ощутимо проявляется в социальной и политической сферах.

Не то чтобы прежде оно туда не проникало. Уже XIX и особенно XX век внесли в не связанную с религией и даже ее отвергающую рациональную форму политического мышления подпольную иррациональность. Возникли утопические представления о совершенном обществе, о справедливом мире, где все заняты физическим трудом, на которые и опиралось коммунистическое движение. Одновременно возникали утопические идеалы расовой чистоты, питавшие национал-социалистическое движение, не только немецкое, или утопические идеалы религиозной чистоты, особенно наглядные ныне в исламском социализме и исламском фундаментализме, хотя подобные, пусть не столь красноречиво, проговариваются уже и на языках других религий.

Эти утопии, религиозные или светские, носят, как правило, тоталитарный характер, не оставляя места никаким другим воззрениям, ни рациональным, ни мифологическим. Другие взгляды вынуждены существовать подспудно, втайне. Но когда реальность, формируемая тоталитарной идеологией, приходит к кризису, а эта идеология уже не в состоянии объяснить происходящее и наметить пути к реальному преодолению кризиса, люди отнюдь не просто переходят к рациональному мышлению. Разрывая с прежним мифом, они творят новые, и связанные и не связанные с ним. Утопия, при попытках ее осуществить, конечно, проверяется реальностью, и даже теоретически можно, пусть и не будучи услышанными, показать ее несостоятельность. Но не всякий миф, в отличие от утопии, предлагает целостный проект общественного устройства, он часто живет отдельными представлениями тех или иных человеческих групп. Еще сто лет назад Жорж Сорель справедливо считал, что миф, в отличие от утопии, бессмысленно опровергать, поскольку он выступает как элемент социальной реальности. Жаль только, что Сорель не считал нужным прояснять реальность социальных мифов, их природу и происхождение, а тем самым их содержание и обретаемый ими в социальной жизни смысл.

После крушения веры в утопию многие долго остаются во власти мифологического сознания, произрастающего из элементов рухнувшей утопии, вне связи с другими ее элементами, уже наглядно опрокинутыми жизнью. Порой уцелевающее в сознании отрывается от прежней утопии и подхватывает элементы других верований. Именно такое, мифологическое по преимуществу, сознание владеет множеством людей в современной России и ощутимо сказывается на происходящем.

Длительный кризис советского общества так и не получил адекватного объяснения в общественном сознании, поскольку так и не имело места сколько-нибудь широкое очищение от прежних представлений. Крушение советского хозяйства, обусловившее инициативы Горбачева, и, вообще, перестройку, люди встретили, не осознавая происходящего, сводя кризис

общественного производства к индивидуальным недостаткам тех или иных лиц, занимавших важные посты, к их корыстолюбию, некомпетентности, болезням и т.п. К тому же тоталитарные утопии как явление, в России всерьез почти не исследовались, не обсуждались ни их частные различия, ни причины их разительного сходства. Даже о внутренней политике немецкого нацизма, разгромленного Советской Армией, советские граждане знали очень и очень мало. Не исследовалось, по существу, и соотношение утопических надежд с той реальностью, к которой они приводили. А без этого не понять, что происходит с общественным сознанием после крушения утопии. Но это не причина предполагать, что в нем ничего не происходит, как полагают многие нынешние политики, уверенные, что в России нет общественного мнения, что народ одинаково относится к разным течениям в правящем слое, считая политические споры его внутренним делом. А сам этот слой норовит провозгласить себя элитой общества, высокомерно пренебрегая мнениями и интересами рядовых людей. Уже по этому видно, что и сознание правящего слоя оторвано от реальности.

Но отвлечение от нее свойственно не только российскому сознанию. В социалистическом Китае, где прагматик Дэн с немислимой в социалистической России прямоотой признал, что цвет кошки не столь важен, как ее способность ловить мышей, и допустил частично свободную экономику. Но наши государственные предприятия остаются убыточными, несообразными с окружающей реальностью, то есть остающаяся под прямым управлением государства часть хозяйства так и не научилась ловить мышей, хотя, казалось бы, такую задачу выдвинуло само государство, и у нас никакой Дэн с этим так и не совладал.

Уже отсюда видно, что рациональное сознание возможно лишь при определенной независимости мысли, а привязанность сознания к государству, даже вроде желающему рациональности, придает этому сознанию иррациональность. Причина тут не в глупости или некомпетентности руководителей. Невозможно отрицать, что в число руководителей СССР подчас попадали и одаренные и образованные люди, но и они не могли найти рациональных решений, поскольку в слитном с государством монопольном хозяйстве, где уничтожена экономическая стихия, у рационального сознания нет опоры в реальности, а никакому гению одной логикой не обойтись. Дурны были не люди, а система, она и портила людей.

Идеология социалистической России именовалась научным коммунизмом, но уже то, что изменения в этой идеологии совершались методами, ничего общего не имеющими с наукой, что их директивно спускали в резолюциях съездов партии и постановлениях ЦК, лишало эту идеологию всякой научности, даже если поверить, что сочинения Маркса, из которых она на словах исходила, были в полной мере научными. Не случайно и сама наука становилась частью идеологии, и принципы генетики, физиологии, кибернетики тоже определялись решениями государства. Однако и в нынешней России, вроде бы отвергшей научный коммунизм, вроде бы снявшей ограничения со свободы слова, без которой наука существовать не может, все еще явно пренебрегают реальностью, и причина тому — непреодоленное мифологическое сознание.

Мифологическим персонажем стал уже и последний русский царь Николай Романов, что проявилось в спорах о захоронении вдруг

обнаруженных останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году. Ее расстрел без суда был, несомненно, преступным. В отличие от британского парламента и французского конвента, центральные органы советской власти и лично Ленин и Свердлов уклонились от вынесения бывшему царю, правление которого вызвало три революции, законного приговора и от оправдания членов его семьи, не говоря о враче и слугах, за которыми не было состава преступления. Но нынешние споры отвлекаются не только от этого печального факта, но и от того, что Николай в момент расстрела был уже не царь, а всего лишь бывший царь, свергнутый отнюдь не большевиками. То есть создается мифологическая картина непосредственного перехода от царского времени к советскому, от белого самодержавия к красному, и затуманивается тот факт, что царь был устранен от власти при попытке, пусть сорвавшейся, создать либеральное общество, которому царская и советская власти одинаково враждебны, даже более, чем друг другу, — то самое либеральное общество, которое, как нас уверяют, создают сейчас. Даже не выясняя здесь, почему власти, претендующие слыть демократическими, об этом забыли, мы и на этом примере видим, что мифологическое толкование исторических событий мешает ослепленным людям искать реальные пути к желанным общественным преобразованиям.

В этой связи характерно и преобразование в российском сознании политического понятия "левый". В соответствии с рассадкой депутатов представительного собрания "левой" издавна называли радикальную, желавшую перемен, нередко даже насильственных, часть политического спектра, а "правой" — консервативную, стремящуюся, тоже не чураясь насилия, удержать существующее положение. Во Франции, где эти понятия возникли, "правой", реставрированной королевской власти и ее сторонникам, противостояли "левые", буржуазные силы. Тогда эти понятия и вошли в обиход. Потом места на левом фланге заняли мелкобуржуазные и рабочие партии, а крупная буржуазия сместилась вправо. Социалисты и коммунисты, естественно, сидели слева, и "левыми" можно называть русских большевиков дореволюционной поры или итальянца Антонио Грамши. Но нелепо так называть Сталина или Брежнева или нынешних коммунистов во главе с Зюгановым, Анпиловым или Тюлькиным. А их продолжают называть "левыми", полностью игнорируя коренную трансформацию, которую коммунистическое движение в России претерпело, придя к власти и правя более семидесяти лет. Эта нелепость — явное проявление мифологического сознания. А хорошо известно, что не только "левое" искусство, неперемный спутник "левых" политических движений на западе, было в СССР запрещено и жестоко преследовалось, но и все вообще политические принципы, все требования, которые "левые" в буржуазных странах предъявляли власти, советская власть в России отвергала и объявляла буржуазными. Да и сама "левая" партия, взявшая в 1917 году власть, была почти поголовно физически истреблена и заменена под тем же названием фактически другой партией, составившей хребет тоталитарной системы, партией глубоко консервативной. Политические наследники этой другой партии, и сегодня жаждущие вернуть Россию к советскому авторитарному правлению, являются, конечно, "правыми" и не зря действуют заодно с крайними великодержавными шовинистами. Но зовут они себя "левыми"! Советское мифологическое сознание продолжает жить и в постсоветскую эпоху.

Да и само представление о революции, как о переходе к новому обществу, у нас мифологично и несообразно с опытом других революций. Английская и французская насильственно устраняли созданные старым обществом препоны к органическому социальному развитию. Поэтому при всей, нередко избыточной, жестокости они в конечном счете служили реальной демократизации. А в нашем мифологическом сознании революция все еще не просто средство устранения переживших себя институтов, но способ насильственного построения нового общественного порядка. При этом уже не сопоставляются провозглашавшиеся цели и объективные результаты этого построения.

Часто говорят: коммунистическая идея прекрасна, но ее плохо осуществляют. Уверяют даже, что за ее осуществление, как нарочно, брались злодеи, в число которых попадают и Ленин, и Сталин, и Хрущев и даже Горбачев, а идея все слывет привлекательной. Мифологическому сознанию нет дела до того, почему прекрасная идея за полтора столетия так нигде и не воплотилась прекрасной жизнью, но всюду, где ее пытались осуществить, приходили к тоталитаризму. Мифологическому сознанию нет дела до того, осуществима ли она вообще, не в царствии небесном, а на земле, и, главное, мифологически мыслящие люди, а многие из них искренне противостоят циникам и корыстолюбцам, не задаются вопросом, что же на деле происходит за фасадом коммунистического мифа, в который они верили, а то и продолжают верить, чем на деле были идеи и события, облеченные в мифологические наряды, и почему же привели к такому тяжкому кризису, из которого на старых путях нет выхода.

В дни восьмидесятилетия Октябрьской революции многие ее противники повторяли, что она и не была революцией, но только переворотом. На деле переворотом был разгон 6(19) января 1918 года Учредительного собрания, избранного уже после Октября, но ему все же предшествовала революция, пережестившая даже и совершенный ее вождями переворот, иначе большевики не победили бы в четырехлетней гражданской войне. В то же время люди, согласные, что в Октябре произошел не переворот, а революция, именуют ее пролетарской, хотя, если смотреть не на мифологические лозунги, а на реальных ее участников, легко убедиться, что революция была крестьянской, уже потому, что большинство недовольных, как и большинство населения страны, составляли тогда крестьяне. Она опиралась на их поддержку. В ходе гражданской войны крестьяне во множестве все же предпочитали продрозверству и жестокости красных, казавшиеся им временными, жестокости белых, требовавших возврата земли господам, прежних порядков. Можно, конечно, упрекать крестьянство в недалекости, за которую оно уже в 1929 году поплатилось, потеряв и землю и свободу, но от этого Октябрьская революция крестьянской быть не перестает.

Вождь революции Ленин тоже преобразен мифологическим сознанием. Недавно на государственном телеканале шла дискуссия о том, как быть с находящимися в мавзолее останками Ленина. Половина выступавших уверяла, что Ленин — выдающийся человек, что страна кругом ему обязана, а гигантские жертвы не умаляют величия его дел, и потому надлежит сохранять его останки в мавзолее на Красной площади. Другая половина, напротив, беспощадно клеймила Ленина, говорила о преступном характере и страшных последствиях его дел и требовала выбросить его из мавзолея. Однако ни те, ни другие даже не заикнулись о

том, в какой мере погребение в мавзолее отвечает собственным взглядам Ленина, убежденного атеиста, ужаснувшегося бы, вероятно, выставлению своих останков в качестве святых мощей по религиозному образцу. Никто не вспомнил об отношении к такому погребению его жены, никто не сказал, что оно было, в сущности, надругательством над покойным вождем, что Сталин, обучавшийся в религиозной семинарии, совершил это надругательство из политических расчетов. Казалось бы, люди, объявляющие себя идейными сторонниками Ленина, первыми должны бы ратовать за избавление их покойного кумира от этого надругательства. Но то-то и оно, что это просто не пришло им в головы, в которых выставление мощей означало высшую форму почитания покойника. Все они исходят из нынешней расстановки сил, думая лишь о том, кому вынос Ленина из мавзолея даст политические преимущества. Реальный Ленин с его реальными взглядами и стремлениями, надеждами и провалами, не интересует ни воспевающих, ни проклинающих. И для тех и для других он не участник социальной борьбы, со своими целями и методами, как к ним ни относиться, а всего лишь мифологический персонаж.

Его считают последователем теории Маркса (не будем здесь выяснять, в какой мере верна сама эта теория), но основные положения Маркса Ленин коренным образом ревизовал. Маркс говорил о революции в высокоразвитых странах, Ленин — о революции в отсталой стране, в "слабом звене", Маркс — о совершающей революцию пролетарском большинстве, что по его представлениям (верность которых проверять здесь тоже не будем) позволило бы быстро перейти к демократическому порядку (само понятие "диктатура пролетариата", как к нему ни относиться, в устах Маркса означало диктатуру большинства над меньшинством), а Ленин, говоря о "диктатуре пролетариата", вполне сознавал, что пролетариат в России составляет явное меньшинство. По Марксу при социализме государство должно отмереть, что теоретически признавал и Ленин, но фактически, проводя "пролетарскую" революцию в крестьянской стране, уже он способствовал непомерному увеличению власти государства над обществом, практическому растворению общества в государстве, а Сталин оформил это и теоретически, объявив, что социализм требует усиления власти государства над гражданами, поскольку строится не разом во всех развитых странах, а в одной, отдельно взятой слаборазвитой.

И все же мифологическое сознание продолжает именовать Ленина марксистом, а существовавший у нас порядок — социализмом, хоть в нем не много общего с порядком, который под этим названием изображал в своей утопии Маркс. Но мифологическое сознание и самых явных противоречий не замечает, ему не интересно, что на деле скрывается под мифологическим понятием "социализм" и какое место наш порядок занимает в ряду других общественных порядков. Никто не хочет знать, почему наш и другие виды тоталитарного социализма, опиравшиеся пусть не на классовую, а на расовую или религиозную мифологию, возникают в странах, обремененных тяжелым грузом феодальной реакции. А хоть расистские идеи раньше немцев развивали француз Жозеф-Артюр де Гобино и англичанин Хаустон Стюарт Чемберлен, позднее переселившийся в Германию, возобладали эти идеи не во Франции и не в Англии, а в обремененной феодальными пережитками Германии. Точно так же утопические идеи, сложившиеся у Маркса в пору его жизни в

Рейнской долине, наиболее развитой среди немецких земель, а в основном разрабатывавшиеся им в Англии, имели в Англии ничтожное влияние, в Германии большее, но не возобладавшее, а знаменем преобразований стали в России, в Китае, в некоторых странах Латинской Америки. Дело, стало быть, не в идеях самих по себе, и, конечно, мифологическое сознание не первопричина того, что коренные перемены в нашей стране вот уже больше двенадцати лет все не совершаются. О причинах этого мы сейчас говорить не будем. Но мифологическое сознание явная помеха реальным переменам и, чтобы они произошли, надо его преодолеть.

Но кто может с ним спорить, если не одни противники декларируемых перемен, но и объявляющие себя их сторонниками мыслят у нас мифологически. Уже это побуждает пристальней взглянуть в происходящее, подумать, что оно собою представляет. Противники перемен именуют себя патриотами, сторонники — демократами, одни ссылаются на феодальные и советские традиции, другие — на западные. Но самоназвания и знамена заслоняют то, что противоборствующие стороны, и, в частности, высшие руководители, как правящей, исполнительной, так и оппозиционной, законодательной, власти, все еще принадлежат к прежней высшей коммунистической номенклатуре, все они коммунисты высоких рангов.

Конечно, переход от одного порядка к другому не может совершиться с полной заменой людей в администрации. Если послевоенная Германия не обошлась без чиновников, служивших фашистскому государству, хоть и не запятнав себя лично конкретными преступлениями, тем более в России, где коммунистический новый порядок существовал не двенадцать лет, а три четверти века, полная люстрация была бы затруднительна. К тому же люди и впрямь могут измениться и изменить свои взгляды, и не было бы ничего удивительного, окажись среди реформаторов и бывшие коммунисты. Но то, что руководство "нового" общества осуществляют почти исключительно люди, принадлежавшие к правящему слою старого, то, что заметного места среди них не занимают ни открытые борцы со старым порядком, ни даже люди, державшиеся прежде в стороне, явно свидетельствует, что происходит нечто иное, чем провозглашается, что на смену коммунистической мифологии пришла псевдо-демократическая мифология, а отнюдь не реальная демократия.

Поэтому преодоление мифологического сознания, а точнее, понимание реальных смыслов новых мифологических понятий, было и остается важнейшим условием подлинно демократических преобразований в России, важнейшей гарантией от нового укрепления тоталитарного или авторитарного режима, пусть под иным, чем прежде наименованием. Конечно, его преодолению не благоприятствует ни отсутствие у демократической оппозиции своей печати — она вся в проправительственных или открыто коммунистических руках, ни абсолютный контроль над телевидением и радио. Преодолеть все это можно только усилиями граждан России, только развитием их самосознания, и для этого нужно время, а трудно сказать, будут ли достаточно долго сохраняться хотя бы нынешние, весьма ограниченные возможности для свободного слова, возвращающего людей к реальности, без ощущения которой мифы всемогущи.

В эти дни здесь звучали разные объяснения происходящего в России. Оптимистическое, изложил Борис Куракин, пессимистическое, — Александр Зиновьев. Мой анализ тоже пессимистичнее, чем у Куракина, но по совсем другим причинам, чем у Зиновьева. По-моему в России еще не произошли коренные перемены, еще не совершились реформы, необходимые для преобразования страны. Величие страны тут ни при чем, Россия — навсегда великая страна уже потому, что это родина Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова, совершенно так же, как Италия — навсегда великая страна, поскольку здесь родились Леонардо и Тициан.

Русский народ готов к переменам, но они не происходят потому, что у власти по-прежнему коммунисты. Эти коммунисты, конечно, не совсем такие, как Зюганов, Тюлькин и их последователи. Это коммунисты, так сказать, перестроившиеся. Они даже в чем-то пошли навстречу объективной реальности, вот Зиновьев и может нынче ездить в Россию, и возвращаться в Германию, а я смог приехать в Милан, о чем и не мечтал десять лет назад. Но государство продолжает быть хозяином всего и вся. Произведенная приватизация не была подлинной, объявленное частным по-прежнему кругом зависит от государства. Огромные налоги не дают развиваться свободной экономике. Средства массовой информации, особенно радио и телевидение, тоже подконтрольны государству, и люди не слишком-то могут судить о вещах свободно и самостоятельно.

Александр Зиновьев напрасно бранит русский народ. В условиях, когда государство полгода, а то и дольше, не платит зарплату, русский народ хранит долготерпение, не соблазняясь импульсивным и бесплодным ответом, и бранить за это не стоит. Люди понимают, что происходит, и не хотят снова быть обманутыми. Авось, обман не пройдет. Но окончательно еще ничего сказать нельзя. Надо анализировать, а не витийствовать.

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СМЕРТИ БЕРКА

Про Эдмунда Берка в России знают, главным образом, историки, да и они его преимущественно знают, как обличителя французской революции и всякой вообще революции. Как видный либеральный деятель, защитник религиозных меньшинств, он известен у нас сугубым специалистам. Но его суждения об ужасах революции Россия может подтвердить собственными, еще более ужасающими доказательствами.

Революцию как способ социальных преобразований ныне справедливо осуждают. Ведь и в самом деле взрыв — не лучший метод ремонта. Но осуждающие не дают себе труда задуматься, отчего революционные взрывы по-прежнему происходят. В последнее десятилетие общественные проблемы отданы в России политологам, словно политика движима лишь личными прихотями, и важно только половчей пропагандистски обслужить или, напротив, осудить власть, а социальных и хозяйственных реальностей, подлежащих осознанию, как бы вовсе и нет.

Хорошо было Берку обличать французов, живя в Англии через сто лет после тамошней Славной революции и почти полтора столетия после революции Кромвеля. Ведь именно установленный этими революциями общественный порядок Берк и совершенствовал, заседая в парламенте. Но большинству французов его разумные доводы, к сожалению, в головы не шли по той простой причине, что король Людовик XVI, хоть и ощущал неладное и даже обратился за помощью к серьезному экономисту Тюрго,

принять начатые им были реформы не смог. Не по глупости не смог, а потому, что их не хотел подпиравший короля правящий класс, которому ради предотвращения революции пришлось бы многим поступиться. И ведь английский король Карл I тоже не шел на коренные реформы, отчего и в Англии, задолго до Берка, разразилась революция и королю отрубили голову. И в России тоже в 1903 году С.Ю.Витте подал в отставку оттого, что Николай II отказался провести аграрную реформу, вот вскоре и грянула революция, а двенадцать лет спустя вторая.

Пора сознавать, что революции вызывают не Мирабо и Робеспьеры, не Ленины и Троцкие, а Карлы, Людовики и Николаи. Неэффективность советского порядка фактически признана, но вместо того, чтобы перейти к реалистической социологии и экономике, у нас все еще веруют, что мира и согласия, или, как недавно еще говорили, нормализации, можно добиться вооруженными действиями по образцу Венгрии, Чехословакии, Афганистана, Тбилиси, Вильнюса, и при нынешней власти Грозного и Самашек. Не зря ключевая роль в хозяйстве возложена на министра внутренних дел Куликова, усмирявшего Грозный и Самашки. Но страна, хоть как-то развивающаяся, держится на поспевающих за обновлением хозяйства и техники переменах в социальных и экономических отношениях. Насильственное установление стабильности для страны самоубийственно. За ее многолетнее поддержание мы и расплачиваемся.

Стоит помнить, что в России так и не свершилась настоящая буржуазная революция, что ее не заменило ни освобождение крестьян без земли, ни аграрная реформа Столыпина, ни события 17 года, когда после Февраля не спешили созвать Учредительное собрание, а после Октября хоть и созвали, да разогнали, и двинулись в обратном направлении, вплоть до фактического восстановления крепостного права.

Хорошо быть либеральным консерватором после буржуазной революции, но опасно — вместо нее. А нынешние российские консерваторы, об английской ничего не знающие, хотят именно ВМЕСТО, и, произнося похожие, хоть и не столь блестящие, фразы о пагубности революции, норовят удержать страну от бескровных преобразований, создавая лишь их видимость.

Обличение Берком французской приватизации вполне приложимо и к российской, но при двух существенных отличиях не в нашу пользу. У нас государство осталось владельцем контрольных пакетов подавляющего большинства сколько-нибудь крупных предприятий, а, главное, у частного производителя в России нет реальных гарантий от произвола государства, без которых частная деятельность не может быть надежной. Вот и нет у нас новых Путиловых и Рябушинских, строящих заводы, а есть только "новые русские", делающие деньги в посреднической и подобных сферах, уместных лишь ради частного производства.

Увы, из английской истории России стоит вспоминать не так Берка, как Симона де Монфора, за полтысячелетия до него создавшего парламент, представлявший разные социальные слои, а не просто, как у нас, разные группы прежней номенклатуры. Берк справедливо обличал революцию, но не знал способа ее предотвратить, однако за протекшие двести лет можно было убедиться, что предотвращают ее только своевременные и глубокие реформы. В том и беда, что правители от них по мере сил уклоняются и особенно наглядно в нынешней России.

ПРОСТРАНСТВО ПАТРИОТИЗМА

Увидав по телевизору публичную казнь в Грозном, я сразу вспомнил первую виденную мною публичную казнь, правда не по телевизору, а в кинохронике, то ли после войны, то ли в самом ее конце. Четырех немецких офицеров вешали, кажется, в Харькове. Не то что было их жалко, не то что они были невинными жертвами. О происходившем на оккупированных территориях было известно не только из газет, и обвинение выглядело достоверно. Приговоренные вызывали глубокую неприязнь, если не отвращение. Но когда их вздернули, и они, уже мертвые, раскачивались, я ощутил, что происходящее, хоть вроде и справедливо, но несообразно с нормами людской жизни.

Раньше я думал, что Каменева или Бухарина, которые мне не нравились, расстреляли все же несправедливо, поскольку даже по опубликованным в газетах протоколам суда было видно, что их вину грозный прокурор Вышинский так и не доказал. А тут впервые открылось, что казнь, даже и несомненных преступников, явление ненормальное, поскольку государству ради нее приходится встать с преступником на одну доску. В средние века казнь потому и совершалась публично, что была явлением исключительным, редким. Когда принялись казнить повседневно, поняли, что показывать эго публике опасно.

Люди на харьковской площади были спокойны. Оборонительная война внушила, как ныне чеченцам, что убийство — лучший способ самозащиты. Публичные казни совершались у нас тогда не раз, и что-то не припомню, чтобы кто-нибудь официальный, пусть поздней, когда разоблачали культ личности или еще поздней, когда отрекались от коммунизма, осудил эти публичные казни. А чеченскую осуждают единогласно, и не так даже саму казнь, как ее публичность, хотя в Харькове тогда народу было больше.

Никто при этом не поясняет, чем выстрел в затылок на Лубянке лучше автоматной очереди в лицо на площади. Осуждение именно публичности требует лишь не нарушать при казни интимность. Разумеется, показывать публике расстрелы не следует, но в том, что вся Россия видела чеченский расстрел, виноваты не чеченцы, а руководители телевизионных каналов, наново распалюющие дурные чувства к Чечне.

Генеральный прокурор даже возбудил уголовное дело против шариатского суда, надеясь все же установить в Чечне конституционный порядок. Его правосознанию шариатский суд не кажется достаточно объективным. Но разве объективности служит обыденное у нас неопределенно долгое предварительное заключение подследственного? А что-то не слышать, чтобы прокурор Скуратов возбудил по такому поводу дело. Сталинские тройки отвечали правовому сознанию еще меньше, чем шариатский суд, а иные их члены живы. Но опять же не слышать, чтобы товарищ Скуратов возбудил дело хоть против одного. Установился двойной счет. Один для государства, для властей, — ими движет лишь целесообразность, да и то короткая. А для остальных — мораль, и тут мы строже самых строгих пуритан. Одна мерка для себя, другая для прочих. И корень зла отнюдь не в личности Юрия Скуратова.

Александр Солженицын — личность совсем другого толка. Книгами об Иване Денисовиче и ГУЛаге он стал как бы, напротив, Генеральным заключенным, голосом миллионов погибших в советских застенках. В отличие от иных литераторов, рядившихся демократами, но спешивших,

угождая власти, оправдывать чеченскую войну, он высказался тогда точно и недвусмысленно: «Если мы сейчас освободимся от Чечни, мы укрепим Россию». Это его выношенная точка зрения. Еще 28 июня 1994 года, до войны, он говорил: "Чечня имеет все основания отделиться, там действительно 80% процентов чеченцев!". При этом, однако, продолжал: "Так принять оттуда русских! А понаехавшие чеченцы, пожалуйста, собирайтесь из Москвы, из Сибири, из Средней России". Готовность освободить Чечню слилась у писателя с желанием избавиться от чеченцев. Сам он, между тем, возмущен, что иные народы таким же образом хотят избавиться от русских, и указывает на плакаты: "Русский, езжай своя Россия" и "Русские, убирайтесь домой". Не скрою, у меня такие плакаты тоже вызывают возмущение. Любая этническая чистка отвратительна. Но по Солженицыну, выходит, не любая!

Особенно тут выразительно словечко "понаехавшие". "Чего вы сюда понаехали?" — бросали мне в Латвии, естественно, считая меня русским, и говорили: "Убирайся в свою Россию!", точь-в-точь как в России говорили: "Убирайся в свой Израиль!" Вот уж от кого такого "понаехавшие" не ждал, так от Солженицына. Еще до возвращения на родину, размышляя, "Как нам обустроить Россию", он первым делом сказал, что из тогда еще существовавшего СССР, чтоб он стал Россией, надо вычистить, частично изменив границу лишь с Казахстаном, двенадцать союзных республик. Но и о двух, которым на его взгляд следовало остаться в России, он выразался осторожно, оговаривая, что "если бы украинским народ действительно пожелал отделиться, — никто не посмеет удерживать его силой". А теперь и не вспоминает, что после революции русские особенно интенсивно заселяли районы, где прежде не жили или составляли явное меньшинство, а ныне часто уже и большинство составили. Он повторяет: "Старая Россия сколько наций приняла, столько и сохранила". На деле, конечно, куда меньше, но в любом случае она их не приняла, а покорила, захватив земли, где они жили. Не сами чеченцы пришли с просьбой: примите нас. И не сами литовцы, не сами туркмены, не сами якуты. Надо ли удивляться, что они не хотят быть тихими вассалами русской власти?

Было бы безумием выселять сегодня людей с мест постоянного жительства, чеченцы они или русские. Ужасно, что из Средней Азии, да и не только оттуда, люди бегут, и Солженицын прав, требуя от государства, поощрявшего их вселение туда, помочь им теперь вернуться. Но он кругом неправ, когда, точь-в-точь как советские начальники, предполагает, что русские "равнее других", что их выселять — дурно, а прочих — самое разлюбозное дело. Увы, не только у правящего Скуратова, но и у оппозиционного Солженицына, мерка двойная. Для своих и для чужих.

Куда ни кинь, мерка двойная. Когда в Польше или Норвегии хотят снести памятники советским солдатам или не заботятся об их могилах, наши власти мигом возмущенно откликаются. Я разделяю их возмущение, но тотчас вспоминаю, что в наших лесах по сей день лежат непогребенными солдаты Отечественной войны, до которых тем же властям нет дела. Быть может, нынешние беды армии и растут из двойного отношения к тем, кто отдал жизнь за родину: демонстративного поклоненья погребенным за рубежом или у Кремлевской стены и пренебрежения теми, кто пал неведомо где. Если бы каждый будущий офицер в годы учения хоть месяц посвящал поискам не погребенных солдат, дух армии стал бы иным, и дедовщины в ней, думается, было бы

поменьше. Если бы еще курсантом Лев Рохлин вместе с другими проделал такую работу, он, думается, иначе держался бы в Чечне.

Уверяют, что престиж армии пострадал оттого, что в Чечне она не взяла верх. Но как раз Рохлин — один из немногих побеждавших генералов, а уважения и в Чечне и в России завоевал меньше, чем генерал Романов, все же искавший пути к миру. От военного человека люди ждут еще более ясного, чем от штатских, понимания того, что за войной наступает мир, и в нем должно быть место не только победителям, но и побежденным, иначе война не кончится. У нас этим пренебрегали и пренебрегают. Если мы не забыли Будённовск и Первомайское, можно ли требовать от чеченцев, чтобы они забыли свои тысячекратно большие утраты? Вправе ли мы, когда на наши двухлетние бесчеловечные инициативы там кто-то отвечает тоже не по-человечески, винить весь чеченский народ и его нынешнюю власть, которая, в меру возможного после имевшего место, как раз стремится наладить общение с нами? Немцов, затевая обходной нефтепровод (не станем спорить о вероятности того, что каспийская нефть, вообще, пойдет через Чечню и Россию, а не через Турцию и Грузию), твердит, что чеченцам нельзя доверять. Но их доверие к нам, и так уже небольшое, от его демонстративно двойной мерки, лишь еще больше слабеет.

Эта двойная мерка нашла и теоретическое обоснование. Ричард Иванович Косолапов, бывший главный редактор журнала "Коммунист", пишет в нынешнем партийном журнале "Диалог" (97-6): "Когда я слышу: есть русский народ, есть австрийский народ, французский народ или, к примеру, народ Нидерландов, — то живо ощущаю за этим откровенную недооценку нашей специфики. Самосознание названных народов, понятно, как правило носит патриотический характер. Но у них существенно другой, нежели у нас. Первая особенность этого патриотизма заключается в том, что это патриотизм ограниченных пространств. А России суждено было распространяться вширь длительный период времени без какого-либо ограничения. Только Запад возвел этому распространению стену, и Юг еще держал блокаду". А то бы Русь по Косолапову распространилась до Атлантического и Индийского океанов. Впрочем, если быть точными, то и на Востоке наши землепроходцы уперлись в Китай, а дотуда дошли легко, поскольку на Урале и в Сибири государства, способные оказать сопротивление, не успели сформироваться. Точно так и испанцы распространялись по Южной Америке — или это тоже их специфика?

Почему же, по Косолапову, Запад, Юг и Восток обязаны примириться с нашей спецификой? Да потому, оказывается, что "Интернационализм есть наша национальная черта. Никуда от этого не денешься", словно не было ни выселения народов, ни известных способов подбора кадров. Косолапов признается: "не вижу разницы между людьми, когда толкуют о "нерусскости" кого бы то ни было по крови, если в этой стихии (стихии русского языка и русской культуры — П.К.) и армяне, и евреи, и татары и многие другие по своему "менталитету" (как теперь модно выражаться) ничем, совершенно ничем не отличаются от нас, коренных русичей, а то и превосходят "чистых" русаков и чувствуют себя не менее свободно". Ну что бы Ричарду Ивановичу давно опубликовать это справедливое суждение в своем журнале "Коммунист"! Увы, при нем там писали другое. Но и сегодня, признавшись, пусть с опозданием, в своей приверженности к

равенству людей, он пишет: "Захватив с собой многочисленные национальные образования и не лишая их своеобразия, наша всероссийская общность создала предпосылки для сформирования великого советского народа, который был объединен на русскоязычной основе и цементировался прежде всего русской культурой".

Здесь прелестны слова "захватив с собой"! Захватили их по их просьбе или вопреки их воле, Ричарду Ивановичу тоже неважно. А ведь даже евреи, для многих из которых русский язык и впрямь родной уже в третьем и в четвертом поколениях, так широко им овладели после ликвидации при Сталине еврейских школ. К тому же у евреев до революции была лишь черта оседлости, но не область общего проживания. Надуманный Биробиджан стать ею не мог. Даже к восстановлению исторического отечества в Палестине всерьез побудил только Холокост.

Уже у армян, при всех гонениях, отечество сохранилось. Они часто действительно великолепно владеют русским языком, но в Армении живут все-таки не русской культурой, а армянской, которая к тому же и древней. Подобное и у татар. А интернациональная общность с чехами и венграми цементировалась, к сожалению, не так великой русской культурой, как отличными русскими танками. Если же мы, вслед за Ричардом Ивановичем, возмечтаем включить в наше интернациональное единство и французский народ или, к примеру, народ Нидерландов, то не то что без танков, а и без ядерного оружия вряд ли обойдется.

Не надо только уверять, что коммунисты такое первыми придумали. Не надо даже вспоминать гоголевского героя, уверявшего, что "и все, что за лесом, все мое". Сам великий Достоевский утверждал, что "Константинополь должен быть наш". Он писал это в июне 1876 и в марте 1877, а уже в апреле Россия объявила Турции войну. И Федор Михайлович отнюдь не кинулся объяснять про маленького ребеночка, которого нельзя замучить и для счастья всего человечества. Конечно, не в пример Косолапову, Достоевский одновременно писал: "У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами". Русь не была для него единственным светом в окошке. Но в ее праве учить и наставлять других он был уверен. Такая уверенность пошла еще с той поры, когда объявили: "Мы — третий Рим и четвертому не бывать" и стали действовать по образцам первого и второго, для которых прочие народы были варварами. Косолапов так и говорит: "Нам, как никому, свойственно искусство Всеведения". Вот оно как! Не то чтобы, как иные, вульгарно кричать: "Мы — высшая раса".

Есть и еще один довод: "мы — разделенный народ", — говорит он, имея в виду украинцев, и белорусов и, конечно, русских, оставшихся в новых независимых государствах. Считают ли сами белорусы, не говоря об украинцах, себя русскими, в расчет не берется. Но, что касается этнических русских, то они, действительно, сегодня разделены, в Российской Федерации — 115 миллионов, но и в бывших союзных республиках — 25. Радоваться, понятно, нечему, но таков результат вековой имперской политики на шестой части суши. Англичане, владевшие некогда даже четвертью суши, разделены еще сильнее: в Великобритании их всего-то около 45 миллионов, а в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, не считая остальных бывших колоний, людей английского происхождения (не просто англоязычных) более 150 миллионов. Но

Британия не претендует на этом основании на право наново объединять бывшие колонии.

Более того, давно отпустив колонии, она теперь провела референдумы об автономии Шотландии и Уэльса, которые получили право восстановить отдельные парламенты, уже идет речь об отдельном представительстве Шотландии в Европейском Союзе. Там осознали, что стремление народов к децентрализации и самостоятельности, ославленное нами как сепаратизм, направлено не на разрыв полезных связей, а на их совершенствование и укрепление, на устранение из них неравенства и принуждения, мешающих не только взаимоотношениям народов, но еще больше развитию хозяйства каждым из них. Мы проглядели, что одновременно с возникновением крупных союзов и даже порой внутри них страны дробятся, их части расходятся, как Чехия и Словакия. Даже от Югославии Словения и Македония отделились мирно, и кровь полилась только в Боснии, где население веками густо перемешано, и мирно разделиться, гарантируя при этом всем равные права, не сумело, поскольку одними тоже овладел великодержавный соблазн этнических чисток, а другие не сумели признать право мирных сербов присоединить свою треть или даже четверть Боснии к Сербии, а не создавать второе сербское государство. От неотвратимости этой навязываемой нелепости там и растут симпатии к преступникам, обещавшим этническими чистками присоединить всю Боснию.

Интернационализм — дело хорошее, пока предполагает взаимность. Но когда один народ объявляют интернационалистом и уверяют, что он лучше решит за других, чем они сами, интернационализм неотличим от империализма. Такой "интернационализм" Российской империи Косолапов приписывает русскому народу. А империи — сперва австрийская и турецкая, потом британская и французская, — распались потому, что внеэкономическое принуждение плохо совмещается с все усложняющейся техникой. Мытарства народов России, и не менее других русского, потому и нарастали, что и царизм, еще с Петра I, и коммунизм укрепляли страну и насилием и техникой, не желая видеть их явственную несовместимость. Спасение в том, чтобы усвоив эти уроки, раз навсегда проститься с патриотизмом без границ и, как другие народы, по доброй воле жителей очертить пространство отечества, составляющего предмет нашей заботы.

У нас больше пекутся о неизменности границ, чем их естественности, дающей прочность, и, веря, что крепят интернационализм, готовят, не желая того, почву для разрывов. Именно так, укрепляя Советский Союз по сталинской теории автономизации, то есть подчинения во всем существенном центру, задолго до Беловежской пуши в нем пробудили центробежное сопротивление. Именно так, укрепляя танками братство с Восточной Европой, ее отталкивали от России. Мы себе лжем, что она захотела в НАТО под давлением Запада, а это страх перед нами внушил ей такую инициативу, и Запад еще упирается. А подумай мы раньше, что наше поведение будет иметь последствия, поведи мы себя иначе, ощущая границы и своего и чужого патриотизма, и Чечня, и Литва и другие, ради собственных интересов, жили бы если не в общем государстве, то в союзе с Россией пространстве. Афганистан был нашим другом, пока мы не пытались стать его хозяевами. Но после двухлетней бомбежки чеченской земли мы, как ни в чем не бывало, твердим, что границы России нерушимы. Между тем лишь независимость позволила бы Чечне

удержаться в союзном с Россией пространстве, и экономическом и оборонном. Это можно было сообразить и без войны, но стоит хотя бы сейчас. А фактическая независимость при номинальном статусе субъекта федерации приведет к новой войне, которая еще сильнее России навредит. И все потому, что, на словах отрекаясь от коммунизма, никак не отделаемся от идеологии Косолапова.

Она мешает подумать о том, что публичная казнь в отколовшейся Чечне, громогласно осуждаемая властными лицами, нашла поддержку у множества россиян, уверенных, что и у нас только так можно "навести порядок". Это куда опаснее, чем отделение Чечни. Отдавшись патриотизму без границ, мы вообще утратили ощущение допустимого предела участия и безучастия в отношениях с другими, идет ли речь о воспитании детей, обязательствах перед больными и стариками, об искоренении преступности или о контактах с иными народами и государствами. Уклонение от отмены смертной казни, от ратификации договора о сокращении ядерного оружия, от предоставления собственной судьбе стремящихся к этому народов, нравятся нам их обычаи и взгляды или не нравятся, — все это явления одного порядка, как явлениями одного порядка были самодержавие Романовых и сменившая его монополия коммунистической партии на руководство. Не то что временами народу не перепало от захваченной земли или проданной нефти, но до добра ни то, ни другое довести не могло, вот и не довело. Пришло время не только говорить, но и поступать иначе.

ВЫБОР ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Дума спросила у Конституционного суда, вправе ли нынешний президент баллотироваться на следующих выборах. Формально отказать ему нельзя: по новой конституции, ограничившей пребывание у власти двумя сроками, он избирался лишь один раз, а необходимость учитывать, что он уже избирался по старой, нигде не оговорена. Конституционный суд, конечно, ответит: да, вправе.

А спрашивать бы надо совсем другое. Президент законно правил до принятия в 1993 году новой конституции и после 1996, когда его избрали вторично. А вот три года, протекшие от принятия новой конституции до президентских выборов по ней, если президент станет вновь баллотироваться, породят юридические неясности и вопросы. Если не станет, можно будет, хоть и не без натяжки, согласиться, что с 1993 по 1996 он досиживал свой первый срок. Но в тот момент, когда мы принимаемся исчислять первый срок с 1996 года, становится непонятно, в каком же качестве Б.Н.Ельцин правил три года от принятия новой конституции до этих первых выборов, и почему их так долго затягивали. Этот вопрос Думе бы и надо задать Конституционному суду.

Три года мы жили с новой Думой и прежним президентом, утратившим, если уж настаивать на буквальном, без натяжек, следовании конституции, свои полномочия и незаконно удерживавшим власть. Именно тогда он и совершил свое роковое беззаконие, военное усмирение Чечни, и много других. И можно ли думать, что, незаконно удерживая власть, президент оставался гарантом конституции и, в частности, того, что выборы 1996 проходили законно и, скажем, все средства массовой информации не сосредотачивались в одних руках, и не совершались другие нарушения.

Вот ведь в какие бездны заводит желание строго следовать букве новой конституции. Оно настоятельно побуждает выяснить, почему ей не следовали так долго.

Конечно, в 1993 уже не было уверенности, что Ельцин победит. Но еще когда Россия только отделилась от других республик СССР и провозгласила новый путь, возникла необходимость созвать Учредительное собрание, которое и решило бы, как нам жить дальше, какие проводить реформы, а заодно и кого и как выбирать. В последнем номере "Нового времени" за 1991 год я прямо призывал созвать Учредительное собрание, разогнанное в 1918, и не я один хотел этого. Так его и не созвали, хотя уверенность в переизбрании Ельцина тогда была. Но президент предпочел и в новой России править со старым Верховным советом, хоть легко было догадаться, зачем это делается и куда приведет.

Чудовищное напряжение, из которого страна все не может выйти, непоследовательность и односторонность реформ, predeterminedены тем, что законы для будущего сочиняют люди из прошлого, а волей народа, его активностью, столь заметной при Горбачеве, которого не только номенклатура упрекала в либерализме, но и народ в бездействии, новая власть России открыто пренебрегают. Этим ведь и вызван отлив голосов к коммунистам, которые прежде их теряли. Вот и нарастает пассивность, недоверие к власти, нежелание идти на выборы, где на деле нет выбора.

Не будем здесь гадать, что побудило предпочесть такую политику, как выяснилось, тоже отнюдь не бескровную, но исправлять положение теперь куда трудней, чем на рубеже 1992, когда очевидна была ответственность коммунистов за кризис, к которому они привели, и из которого, при всем старании Горбачева, уже не могли вытащить. Тогда это не надо было доказывать, а нынче, когда новая власть тоже этот кризис и за шесть лет не одолела, и он все углубляется, доказывать, что страну завели в этот тупик коммунисты, все трудней, хоть это правда. Да наши реформаторы и не очень хотят это доказывать, они ведь и сами были коммунистами.

Любимым лозунгом диссидентства был призыв Александра Есенина-Вольпина: соблюдайте собственную конституцию! Советская власть такого не могла по самой своей природе. Но пришло время обратить этот призыв и к нынешней власти, особенно по части избирательных порядков, ориентированных у нас на волю меньшинства, каковым относительно большинство при 10-15 кандидатах неизбежно оказывается, а второй тур, выявляющий предпочтения абсолютного большинства, не проводится. Тем более выше подозрений должны быть выборы президента, соединившего в своих руках практически вся власть. Чрезмерные натяжки недопустимы.

Борис Николаевич, как разумный человек, отлично это сознает и не зря говорил о намерении уйти не только детям, но и политикам в Страсбурге. Поставь Дума перед Конституционным судом правильный вопрос, она увеличила бы шансы на правильный ответ. Сторонникам Ельцина, чтобы продлить его правление, следовало открыто и заблаговременно добиваться изменения конституции. Добейся они этого законно, Ельцин мог бы попытаться стать президентом еще раз. Он мог бы, став общим кандидатом ДВР, НДР и КПРФ, даже и победить. Но настаивающие на его праве на второй срок по нынешней конституции лишь ставят под сомнение законность его правления в течение трех лет после ее принятия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для президента и для страны.

ТЕРРОР ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

Как известно, XX век переполнен политическим насилием. Им, конечно, полны и другие века. Но XX радикально обновил слова "террор" и "революция", изменил их значение.

Террор — дело не новое. Люди издавна покушались на заметных государственных деятелей, надеясь изменить жизнь. Юлия Цезаря убили в надежде, что без него республика не станет империей. Американского президента Линкольна убили в надежде, что без него черные рабы, привезенные когда-то в Америку, навсегда останутся рабами. Русского царя Александра II, наоборот, убили в надежде, что без него крестьяне, которых он-то и освободил от крепостной зависимости, получат еще и землю и сразу все права людей. Не будем сейчас выяснять, каково влияние индивидуального террора на ход истории. Можно понять, что убивают тирана, трудно понять, что убивают реформатора, пусть не слишком решительного. Но тиранов убивают редко, а реформаторов нередко. Народовольцы, убив Александра II, скорее помешали реальному освобождению крестьянства, которого искренне добивались. Но одного у Желябова и Перовской не отнимешь: они готовили бомбы именно для того человека, от которого, как им казалось судьба крестьян всецело зависела. Продуманную цель выбирали еще Брут и Кассий, убийцы Цезаря, и убийцы Линкольна, и покушавшиеся на Ленина и на многих других. Двадцатый век изменил цели террора, и белого и красного.

Ленин однажды обмолвился: чем больше мы по этому поводу убьем священников, тем лучше. Убьем уже не конкретного священника, за именно им совершенные преступления, а лишь за то, что он — священник. А потом, уже при Сталине, взялись за ликвидацию кулачества как класса. Объясняли, что класс кулаков исчезнет от перестройки деревенского хозяйства. А на деле у крестьян, которые побогаче, отнимали все, что у них было, и гнали их в Сибирь. Нынче объясняют, что русскому человеку противно трудиться ради богатства, но не помнят, сколько русских людей, трудившихся ради богатства, истребили. Они бы всю Россию прокормили, и не пришлось бы покупать хлеб в Америке. Потом точно так же, не интересуясь конкретной виной, убивали самих инициаторов революции, думавших иначе, чем поднявшиеся по их спинам. Двадцатый век не только сделал террор массовым, но обернул его против людей обыкновенных, если они думали иначе или работали иначе, чем их убийцы.

Но порой люди и думали так же, и работали так же, а их убивали тысячами и миллионами за этнические отличия, порой ничтожные. В дни первой мировой войны состоялся геноцид армян, — который не свести к тому, что турки — мусульмане, а армяне — христиане. В наши дни христиане-сербы убивают мусульман-албанцев не менее жестоко. Наш век изменил понятия; прежде считалось, что земля, так сказать, божья, или ничья, что никакой народ не обладает исключительным правом на ней жить, люди, особенно в городах, жили вперемешку, порой говорили на трех-четырёх языках. В Лондоне на улице Грин-Лейнс и нынче вперемешку селятся греческие и турецкие киприоты, у себя на острове разделенные штыками. Но в большой части мира в двадцатом веке запрещают жить людям другой веры или другой расы, а поселившихся там хоть тысячу лет назад, даже даже раньше нынешнего большинства, принимаются уничтожать. Немецкие национал-социалисты на подвластной им территории

ликвидировали евреев, и объявляли ее очищенной, judenfrei. Хотя немецкий национал-социализм потерпел поражение, введенное им отношение народа и земли его пережило. Еще во время войны по другую сторону фронта столь же беспощадно, хоть примитивней технически, убивали чеченцев, калмыков, крымских татар, ингушей и других. И по сей день в Палестине спор между евреями и арабами, имеющими, разумеется, одинаковые права на свои независимые государства, упирается в то, что арабы на территории Израиля живут, а из арабской автономии евреев изгоняют, арабское государство хочет быть judenfrei, от них очищенным. Оттого и нет мира на Ближнем Востоке, что нет равноправия.

Но и это не предел современного терроризма. Захватывают самолеты, случайные пассажиры которых, в отличие от Цезаря или царя Александра, не имеют уже никакого отношения к требованиям террористов, но пассажиров угрожают убить и убивают, чтобы, нагнетая страх, добиться своего. В старой Европе, в стране басков и в Северной Ирландии, а то и здесь, в Лондоне, террористы принесли не одну невинную жертву своим целям, которых надо бы добиваться мирным путем, ведь прочность договора вытекает из взаимности, но XX век поставил ее в зависимость от страха. Современные террористы паразитируют на гуманности, на том, что ради спасения ста пассажиров им позволят навязать свою волю тысячам и миллионам. Так действуют ныне люди разных рас и разных вер. Забыта старая заповедь: не делай другому того, чего не хочешь для себя. Другой человек, на отношении к которому держится нравственность, в XX веке часто представляет лишь прикладной интерес — вот с ним и говорят языком насилия. Это повело не только к гигантскому размаху террора, но изменило представление о революции.

Слово "революция" обычно обозначает многообразный и быстрый прогресс. Например, научно-техническая революция. Но на общество такое понимание революции переносят напрасно, и не только потому, что социальный прогресс не однозначен. Революция, даже способствующая развитию, это, прежде всего, катастрофа, крушение привычной жизни, пусть даже нелегкой. Жить лучше не всегда означает жить легче. При всей нелюбви историков к сослагательному наклонению революция может вспыхнуть случайно, от неблагоприятного для прежнего уклада стечения обстоятельств или от его чрезмерных амбиций. И все же революционная катастрофа, ломая привычную жизнь, одновременно часто ломала и преграды для человеческих инициатив ее улучшить. Обычно революцией зовут переход от внеэкономического порядка к экономическому. Трудней найти черты революции в переходе от одного внеэкономического уклада к другому. Как ни старались советские историки доказать, что была революция рабов, ничего они не доказали. А вот Нидерландская, Английская, Французская, буржуазные революции, при всем их различии, в большей или меньшей степени устранили преграды предприимчивости в деревне и в городе. То были революции освобождения. Обе американские революции -- уход из империи, и война Севера с Югом, -- тоже революции освобождения, устранения преград людской предприимчивости.

Двадцатый век, хоть и в нем подобные революции продолжались, ввел новый тип революции, призванной не дать дорогу экономической свободе, а создать новый порядок с новым жестким регламентом. Порядки и регламенты создаются разные, но их создатели не только, по слову некогда популярного певца, сами "знают как надо", но и решают за других

и навязывают решения своим и чужим народам силой и обманом. Революция освобождения подменяется революцией построения. Построения нового порядка, сулящего счастье всем, во всяком случае всем его сторонникам. Но новый порядок, как он там ни называется, отказывая человеку в инициативе, в повседневной ответственности за собственную участь и обрекая его на роль одушевленной машины, освобождается от экономического самоконтроля, то есть опять становится внеэкономическим. Поэтому революция построения на практике оказывается самой оголтелой реакцией, а новый порядок, с всеобщим бесправием, цензурой, тюрьмами и нищетой большинства, подобен самым реакционным прежним режимам и даже страшнее их.

Эти новые порядки в разных странах складываются и называются по-разному, где социализмом, где национал-социализмом, где исламским социализмом, а то и просто исламским государством или еще каким-нибудь. Суть не в определении, которое дают государству, а в том, что при новом порядке оно, якобы ради счастья людей, принуждает их соблюдать не только сообща выработанные правила общежития — не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее, — но заставляет делать все, что отвечает чиновным интересам, к которым при новом порядке сведены интересы государства. Прочие граждане от него наперед отлучены. Чтобы убедиться, нет нужды вспоминать Гулаг, гитлеровские лагеря уничтожения или китайскую культурную революцию. В нынешнее тяжкое время благотворительная помощь, оказываемая иностранцами российским гражданам, облагается таможенным сбором, то есть наше государство не позволяет своим голодающим гражданам получить подаяние, если хоть часть его не удержит для себя. Казалось бы, государство само ничего не сделав для людей, не вправе отнимать поданное другими. Но затем оно построено и так устроено, власть над всем присвоило, чтобы отнимать. Так было при царях, при Ленине-Сталине, при Брежневе и так поныне.

Революция освобождения создает государство, дающее людям, кроме законов и защиты, материальную помощь в несчастном случае. У революции построения более широкие задачи, она создает государство, ведущее людей к счастью. Если первое было государством для людей, то при грандиозных целях второго люди там должны меньше думать о себе и больше о своем государстве. Люди там живут для государства. Для его правящего слоя. Затем тоталитарный строй и построен.

АПОЛИТИЧНОСТЬ ОТЧАЯНИЯ

Президент предложил Думе пересмотреть избирательный закон, чтобы депутаты впредь избирались не по партийным спискам, а только по индивидуальным округам. И не то что на это нет резонов. Ведь партийные списки у нас не очень-то партийные и партии не очень-то партии. Им даже не обозначить, чем они отличаются друг от друга. Не считая коммунистов, чьи принципы мы прорабатывали на практике и помним, как они семьдесят с лишним лет вели нас к пропасти, связанной общей программы ни у кого нет. Даже у "Яблока", хотя в существование их программы веришь, когда слушаешь лидера. Но как доходит до практической работы, местные организации (хоть наша питерская) внемлют не так уму лидера, как нраву губернатора. И министр финансов, еще вчера единомышленник Явлинского, бесшовно слился с партией власти. А жириновцы вообще

набирают места в партийном списке только личной развязностью Владимира Вольфовича — в индивидуальных округах дела у них обычно плохи. Да и партию власти объединяет лишь сама по себе власть, и прокол со вторым лицом партийного списка, генералом Рохлиным, еще наглядней, чем "измена" Задорнова, обнажает характер нынешней партийности. К тому же пропорционально распределилась лишь часть голосов, поданная за перешедших пятипроцентный барьер, а остальные просто пропали. В итоге состав этой половины думы непредставителен, и президент вроде бы прав. Да только состав другой половины, от милых ему индивидуальных округов, еще менее представителен.

Чтобы попасть в Думу, там достаточно относительного большинства. Согласно рейтингам Лужков сегодня имеет шансы собрать 8 процентов, Лебедь, Явлинский, Немцов да, видимо, и Черномырдин — по 11 процентов, а Зюганов — 20, самое малое 18 процентов. То есть баллотироваться они в Думу по одному округу — Зюганову обеспечена победа. Может показаться, что президент, ищущий согласия с оппозицией, готов помочь коммунистам. Но Борис Николаевич мыслит куда глубже. Он знает, что на одно место у нас баллотируется не два и даже не шесть кандидатов, а нередко и двадцать, и для победы при этом теоретически хватает 5 процентов плюс один голос, а практически — 8-10 процентов. Словом, наше относительное большинство — это на деле, как правило, куцее меньшинство избирателей, манипулировать которым не слишком сложно. Политические позиции тут теряют значение. Как в добрые советские времена, выбирают "командиров производства", популярных певцов или, по новой моде, предпринимателей, которые лоббируют лишь свои заботы, а прочее легко отдают на усмотрение исполнительной власти — губернаторской или президентской.

Говорят, людям надоела политика. А на деле им надоела политическая показуха, под прикрытием которой ими и их стремлениями цинично пренебрегают. В 1917 году на выборах в Учредительное собрание большевики получили четверть мест, и даже вместе с левыми эсерами, их поначалу поддержавшими, за них было менее трети граждан. Две трети были явно против них, гражданская война и последующие трагедии разразились оттого, что большевики навязали большинству волю все редевшего меньшинства.

Когда представительная система теряет политическое содержание, людей охватывает недоверие к власти и даже отчаяние. Но аполитичность отчаяния — совсем не то, что аполитичность благополучия, наблюдаемая в странах, где смена правительства не должна менять основополагающие нормы жизни. Причины нашего кризиса не в глупости прежнего руководства — оно было, конечно, недалёковидным, но в текущих делах вполне сообразительным, — а в нашей внеэкономической хозяйственной системе, державшейся изобилием людских и сырьевых ресурсов и обессилившей, когда эти ресурсы от безотчетных трат, особенно на циклопический ВПК, пошли на убыль. А характер хозяйственных отношений всегда и составляет главный предмет политической борьбы.

Сегодня, как в семнадцатом, часть граждан верит в возможность "загнать клячу истории", добиться благоденствия насилием, забывая, что политика — не только внешняя — искусство возможного. Но преодолеть наш кризис можно, лишь перейдя к подлинно экономической системе хозяйствования с предполагаемыми ею социальными гарантиями, а такого

ни произволом, ни обманом не добиться. Нужна поддержка большинства и понимание того, что оно готово перетерпеть, а что ему не вынести. На то и представительная система, чтобы служить барометром народного согласия. Дума, представляющая 8-10 процентов населения, таким барометром служить не может. И реформы не принесут долгожданных плодов. Для этого мало переименовать плохую "номенклатуру" в хорошую "элиту", надо оглядываться на обратную связь.

Ради такой связи и нужен второй тур голосования, выясняющий настроения большинства — и не только по индивидуальным округам, но и по партийным спискам. Если бы пропавшая на прошлых выборах половина голосов сказала во втором туре на распределении мест между взявшими в первом пятипроцентный барьер коммунистами, жириновцами, "нашдомовцами" и "яблочниками", эти места распределились бы совсем иначе. Чтобы добиться успеха у другой половины, партиям с самого начала пришлось бы точней и честней излагать свои программы и спорить о них. И в индивидуальных округах, чтобы убедить хотя бы пятьдесят процентов голосовавших в первом туре за других, тоже пришлось бы серьезней определяться. Тогда мелочные споры множества партий заменились бы политическими компромиссами, без которых никакие мирные перемены невозможны. К компромиссу приходили бы сами граждане в ходе повторного голосования, а не только верхняя четверка страны, состоящая из двух первых секретарей обкомов, советского министра и редактора коммунистической газеты.

При нынешней ориентации на куцее меньшинство предложение президента сделает рядового избирателя совсем уже бессильным перед исполнительной властью. А менять избирательный закон надо, напротив, чтобы преодолеть это бессилие, чтобы пробудить политическое сознание избирателя и, постигая волю большинства, слышать действительный глас народа. При сегодняшней пестроте мнений без укрупняющей зоны согласия второго тура голос народа остается неразборчивым, и под широкошумный политический гул власть, пока опять не грянет взрыв, может делать что угодно.

ЗАЧЕМ УБИВАТЬ КУДРЯВОГО ВАНЬКУ?

Партия войны сформулировала статус для Чечни. Вице-премьер Куликов нашел пример для подражания: Тайвань. Анатолий Сергеевич не просто генерал, а видный экономист, доктор экономических наук и дело, видимо, знает. Жаль только, что занятия этнографией шли у него не столь успешно. А то бы вспомнил, что на Тайване живут не мятежные чеченцы, а такие же китайцы, как на материке, почему Чан Кайши там и удержался. Представить себе, что мятежной Чечней правит изгнанный из Кремля Горбачев, невозможно и при самой большой фантазии. Термин "мятежная провинция" был бы уместен, если бы независимым себя объявил, скажем, Петербург, столица Ленинградской области, да еще вместе с областью. Надеюсь, до такого все же не дойдет.

А Чечня не мятежная, а непокорная провинция. Двести лет ее покоряли, покоряли, множество людей перебили — и чеченцев, и русских, выселяли этих чеченцев к черту на рога, а они, упрямые, не учатся и все хотят быть хозяевами на своей земле. Тут сравнение с Тайванем опять хромает. Председатель Мао, готовый истребить половину человечества,

на Тайвань бомбы все же не бросал и конституционный порядок там не наводил, лишь объявлял очередное, шестьсот двадцать девятое серьезное предупреждение. Нельзя исключать, что в конце концов Тайвань мирно вернется в лоно матери-родины. Чечня, будь наша политика поразумней и почеловечней, тоже, думаю, могла бы отделить отношения с Россией от скорби по убитым войсками Ермолова. Но забыть убитых войсками Куликова ее лидеры, пока не прошли те же полтора года лет, не могут, даже если захотят.

Анатолий Сергеевич — умный человек. Он не просто объявляет Чечню мятежной, но все делает, чтобы она такой и оставалась. И, отдадим должное, делает честно, открыто. Так прямо и говорит, что пенсии старикам-чеченцам выплачивать, конечно, надо, но никакой экономической помощи республике оказывать нельзя. Пускай сами восстанавливают порушенное славными соколами Дейнекина и прочими войсками. Анатолий Сергеевич все понимает правильно: если экономику восстановить, большинство чеченцев, небось, пойдет работать, а не будет искать другие способы раздобыть хлеба. И поблекнет ореол мятежной провинции. А без нее никак.

Она необходима, чтобы не смотреть правде в глаза, не видеть, что в других провинциях (покамест, слава богу, еще не мятежных) происходит очень похожее на давно заварившееся в Чечне. В Дагестане взорвали дом с нашими пограничниками, напали в Буйнакске на воинскую часть. Надо разбираться, что за этим, искать разрешения реальных противоречий. Но проще заявить: это все чеченцы. Доказательств, естественно, нет, но вера в повсеместный чеченский след распространяется, как вера в Марию Дэви Христос и "Белое братство". А когда подспудное недовольство выплеснется, пошлют туда несчастных солдат, заявляя, как прежде: мы не воюем с чеченским, то бишь дагестанским, народом, а наводим порядок, конституционный порядок. А потом, чего доброго и в Кабардино-Балкарию, и в другие республики, и на Кавказе, и в других местах солдат поставим.

Кому все это нужно? Анатолию Сергеевичу и нужно. Если не будет мятежных провинций, то, приняв за чистую монету, что мы живем в демократическом государстве, придется подумать, зачем нужны внутренние войска, каковых нет ни в одной демократической стране. В МВД останется милиция, угрозыск, пожарные и много еще чего другого, но наращивать внутренние войска, да еще когда сокращается армия, защищающая нас от внешнего противника, будет сложнее. И не будет Анатолий Сергеевич вице-премьером, а о том, чтобы ему в премьеры выйти, и мыслей не станет. Наши ведомства служат не интересам "нашей советской родины", как писали на всех углах, а собственным интересам и интересам тех, кто от них кормится. Министерство внутренних дел и прежде не составляло, и теперь не составляет исключения.

Но есть подробность, о которой не говорят. Восстановленный в Чечне нефтепровод работает без происшествий, никто его не взорвал. Видимо, чеченские власти, что бы ни говорили о них в России, все же контролируют свою территорию. Или у террористов есть советчики, которым взрыв нефтепровода, пока не построен обходящий Чечню, невыгоден? Так или иначе, веский предлог усмирить мятежную провинцию не срабатывает.

Но даже если жена — как это у Толстого? — говорит: пойду с Ванькой, он кудрявей тебя, разумный человек не будет ее убеждать и тем паче убивать, а постарается, как ни горько, хотя бы ради общих детей

сохранить человеческие отношения, особенно, если до появления кудрявого Ваньки была любовь, а не насилие. Тем более спокойно надо расходиться с покоренными народами, не желающими быть покорными.

Что для России лучше — мятежная провинция с постоянной угрозой "упреждающих" ударов по ней и ее ответов или самостоятельная, но дружественная страна, связанная с нами общими интересами, быть может, конфедеративными отношениями, то есть при доброй воле общим экономическим и даже оборонным пространством? И не одна Чечня такая, и не только Дагестан или еще кто-нибудь могут стать такими. Разве не полезна была бы нам дружба с Туркменией, с Азербайджаном, с Грузией, с Эстонией, с Литвой — всех не перечислю. Разве не полезна была бы дружба с Венгрией, с Чехией, с Польшей? Разве не была полезна России дружба с Афганистаном еще при Аманулле, а потом при Захир-Шахе?

После войны Германия, бывшая очагом ненависти в Европе, сумела расположить к себе соседей, сперва на западе, а теперь и на востоке, и создать вокруг себя зону дружбы и притяжения. А наши мудрые политики — сперва коммунисты, потом нынешние их продолжатели — потратили все это время на то, чтобы поддерживать зону враждебности, зону мятежных провинций вокруг России. Урок получили наглядный. Можно бы уже и взяться за ум и хоть немного пожалеть нашу бедную отчизну.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ МЕЧТАНИЯ

Покуда религией советского народа был марксизм-ленинизм, законы общества официально считались не слабей законов природы. Частным образом все, конечно, знали, что ни политбюро, ни даже чрезвычайный съезд КПСС, не заставят воду кипеть при пятидесяти градусах, но социализм в одной, отдельно взятой, да еще отсталой, стране, партия построила, даром что основоположник учил, что социализм явится разом во всех ведущих странах, и, как на зло, именно высокоразвитых.

Отрекшиеся от мифологии коммунизма с чистым сердцем рассуждают о различии законов природы и общества. Открыто говорят, что против природы не попрешь, и чтобы ее обратить людям на пользу или во вред, надобны академики, а законы общества -- лишь правила, установленные людьми для себя. Дело, дескать, за тем, какие правила какому народу по душе, кому билль о правах, кому домострой. И народ выбирает меж либерализмом и коммунизмом, ценя преимущества каждого.

Что на деле кроется за обольстительными именами, остается обычно без внимания. И уж совсем не берут в толк, что сулит выбор того или иного знамени, происходящее под которым разительно отличается от на нем написанного. А это дают себя знать законы общества. Из того, что Маркс обсчитался, и его предсказания бы не сбылись, будь даже Ленин и Сталин в самом деле марксистами, отнюдь еще не следует, что ход истории воплощает намерения людей, а не объективные последствия их действий, совершенных нередко совсем с другими целями. Люди, мостящие дорогу в ад, полны благих намерений. Признать это и означает признать наличие объективных общественных законов.

Поскольку последователи Маркса нигде и никогда не соблюдали его условий, можно уверять себя и других, что лишь поэтому мы не построили коммунизм, не вступили в царство божие на земле. Либерализм — не царство божие, а работающая модель людской жизни и, прежде всего,

людского хозяйства. Но и ее породили не само по себе достоинства его пророков, в числе которых и Локк, и Вольтер, и Адам Смит и Кант, а осознание ими общественных потребностей хозяйства.

Тысячелетиями хозяйство было принудительным. Формы принуждения менялись, различие меж рабом и зависимым крестьянином — не мелочь, но жизнь и того и другого определяло внеэкономическое принуждение. Пока производили хлеб, скот, простые орудия труда и оружие, жизнь в разных концах земли по существу не слишком различалась. Но когда оказалось, что наемный труд дает преимущества, особенно используя машину, при подневольном труде не столь эффективную, началось новое время, свобода обрела производственные преимущества перед насилием. Осознали это не сразу и не везде, а где не осознали поныне. Но внеэкономическим обществам стали противостоять экономические.

Во внеэкономических тоже складывались очаги нового хозяйствования. Экономические в отношениях с другими обществами тоже порой применяли внеэкономическое принуждение, захватывали колонии. Более сильные внеэкономические державы сопротивлялись, укрепляя феодальную реакцию и ожесточая угнетение своего населения. Одновременно они перенимали техническую и прочую культуру экономических обществ. Это именовалось просвещенным абсолютизмом.

В восемнадцатом и девятнадцатом веках шло состязание наемного и подневольного труда и живших ими обществ. Гениальный рассказ Лескова о подневольном искуснике, подковавшем механическую блоху, в результате чего она, однако, перестала ходить, предсказал исход состязания добровольности и принуждения, свободного и подневольного, хоть и одаренного, труженика. Еще полней это состязание охватило двадцатый век, когда техническая вооруженность стала интенсивно расти, а умственный труд перевешивать физический в производстве.

Не выдерживая состязания, отстававшие пытались взять верх внеэкономически и покончить с либерализмом в мировом масштабе. Под революционными флагами традиции феодальной реакции вскормили новые антилиберальные режимы. Вырастая из справедливого неприятия социальной, национальной или религиозной ущемленности, они отвечали на нее готовностью к еще более жесткому произволу. Петр Великий пытался соединить крепостное рабство крестьян с техническим просвещением и во многом преуспел. Но феодальный строй, не только в России, уступал в развитии ставшим буржуазными Англии и Франции.

Если потом благосостояние большинства граждан России не только не выросло в сравнении с прежним внеэкономическим режимом, но наглядно сократилось и ощутимо не поправляется, значит к либерализму мы так и не перешли, и под псевдонимами "либерализм" и "демократия" создали нечто совсем другое. Для отечественных представлений характерно, что Жириновский числится либеральным демократом. Покуда это глотают наперед, беспредметны споры о преимуществах либерализма перед коммунизмом, и о том, подходит ли он русскому национальному характеру или, как уверяют наши писатели-патриоты, лишь лишенным души и совести народам Шекспира, Руссо и Шиллера.

Пора преодолеть популярную ложь, будто в России установился либерализм, с 1991 активно борющийся с социализмом и коммунизмом. Мэру и характер внутрениней борьбы можно обсуждать, но что у власти по-прежнему коммунисты, видно всякому. Просто Ельцин, Черномырдин или

Строев, в силу своих должностей, вынуждены считаться с реальностью нестихающих последствий восьмидесятилетнего внеэкономического порядка, которую уже невозможно замалчивать. Либералов у власти в России покамест не было, хоть и звучали либеральные фразы. Законы, указы и постановления президента, правительства и федерального собрания не создали правовую систему, допускающую экономические и прочие свободы. Это можно по-разному объяснять, но не опровергнуть.

Мероприятия, названные реформами, изменили лишь форму, но не сущность хозяйства. Из многих свойств либерализма были допущены лишь не работающие без других, отнюдь не вводившихся, и потому не способных играть роли, исполняемые ими в либеральном обществе. Уже начальная "либерализация цен", проходившая без одновременного реального допущения частного производства, не стесненного несообразными налогами и надобностью в особых разрешениях, фактически лишь аннулировала равные годовому национальному продукту сбережения граждан, которые могли, хотя бы частично, быть инвестированы в частное производство, а не поощрять беспардонное взвинчивание цен старыми советскими монополиями, которым нынче широкошумно противопоставляют "народный капитализм".

Но и с "народным капитализмом" вышло не кругло. Казалось, обещающим шагом к нему выглядела раздача ваучеров. Вскоре, однако, разъяснили, что ваучеры на бирже не котируются, ценными бумагами не являются, и до назначенного срока должны быть сданы в государственные приватизационные фонды или проданы за бесценок все тем же скрепленным с государством монополиям. То есть для участия в производстве частного предпринимателя, составляющего важную социальную опору либерализма, даже изначально самостоятельное место не предполагалось. Он лишь допускался, ввиду кризисных обстоятельств, в торговых и посреднических услугах, где зависимости от государственных монополий все равно не избежать. А как монополии оформятся, будут Потанин, Вяхирев и Березовский считаться их собственниками или, как бывало, "командирами производства", большого значения не имеет.

Главный нынешний коммунист Олег Шеин все твердит, что власть советской сверхмонополии была народной. Монополии "семибанкирщины" после президентских выборов перестали именоваться народными, чтобы их единение в общей государственной монополии, которой они и так служили, снова стало тесней. Другого от оставшихся у власти коммунистов и ждать не приходится. Но не надо называть это либерализмом. Не надо так называть и создание министерства Хакамады по выращиванию не столь крупных, но столь же зависимых от государства компаний.

Либерализм европейской традиции состоит не просто в терпимости или даже самих по себе правах человека. И то, и другое, и много чего еще, служит в либеральном обществе заслоном от внеэкономического принуждения, так или иначе осуществляемого прямо государством или с его благословения, а надежнее всего защищает людей отделение хозяйства от государства. Пока государство распоряжается хозяйством, оно всевластно распоряжается обществом; когда, освободившись от государственного произвола, хозяйство считается с экономическими законами, государству так или иначе приходится служить обществу.

Конечно, общество и выражающее его интересы государство отнюдь не равнодушны к землетрясениям и наводнениям экономической стихии.

Достаточно вспомнить, что государство выпускает деньги, мерило создаваемой и потребляемой ценности, и поддерживает их соответствие хозяйственным процессам. Уже одно это — могучий рычаг воздействия на хозяйство, не говоря о политике налогообложения, установлении таможенных сборов, и прочем. Но ведя не только эту необходимую работу, но и собственное циклопическое хозяйство, государство теряет объективность и неизбежно подчиняет регулирование денежной системы субъективным потребностям своего производства. Сплошь и рядом, не получая от хозяйства, — к примеру, от массового производства оружия, — не то что прибыли, но хотя бы компенсации расходов, оно бездумно печатает деньги, разрушая этим не просто денежную систему, но и рычаг воздействия общества на хозяйство.

Экономическое промышленное общество по самой своей природе бывшее менее стабильным, чем внеэкономическое, где кризисы, хоть и более катастрофичны, но разражаются лишь в конечном счете, поскольку на страже внеэкономического хозяйства стоят внутренние войска, давно осознало значение социальной регуляции хозяйства, и здесь опять же огромна бывает роль государства. В развитых странах оно так или иначе занято в пособиях по безработице, пенсиях и других вспомоществованиях. В большинстве случаев оно участвует в оплате, а то и полностью оплачивает врачей и лекарства. Не мал его вклад и в образование и в развитие культуры, в подготовку специалистов. Все это тоже рычаги воздействия общества на хозяйство.

Но, опять же, ведя при этом собственное циклопическое хозяйство, государство теряет объективность в понимании нужд страны и нужд как самого хозяйства, так и трудящихся в нем, и заработная плата неизбежно снижается до уровня пособия по безработице в развитых странах и даже ниже его. Не имея этого пособия, граждане России, естественно, ропщут. Но то, что они его не имеют, тоже говорит, что реформы, пренебрегшие социальной регуляцией, не были либеральными. Смешно утверждать, что у нас либеральное общество, когда жалкую зарплату не выплачивают не то что еженедельно или дважды в месяц, но и по полгода. Неоплаченный труд — первая примета внеэкономического хозяйства, и даже самой низкой его формы. Хозяйство, в котором главный товар, рабочая сила, не оплачивается немедленно, можно звать каким угодно, но не рыночным.

Как видим, государственность, к которой у нас регулярно зывают, понятие не однозначное. Одно дело — государственность директивная, направленная на обеспечение преимуществ правящего слоя, без особого интереса к последствиям для страны. Другое — государственность либеральная, направленная на сбалансирование интересов всех слоев общества и создание условий для выполнения каждым своей роли. Последнее, конечно, не занимало коммунистических государственников, требовавших выполнения воли партии. Но для практического утверждения либеральных ценностей ничего не сделали и государственники, объявлявшие себя либералами. Все еще не видать ни законодательства, ни практики, обеспечивающих создание предприятий без разрешения властей, или куплю и продажу пахотной земли хотя бы российскими гражданами, взявшимися ее обрабатывать, или, по крайней мере, охрану государством частной собственности.

Да и трудно требовать от силовых структур, десятилетиями воспитывавшихся в убеждении, что частник — это враг, которого надо

уничтожать, и, вообще, частное лицо — не ровня представителю власти, чтобы они вдруг коллективно перешли на противоположную позицию. Их представления о порядке не изменились, и поддерживать иной порядок они не в состоянии. Отмена крепостного права при Александре II не случайно сопровождалась коренной судебной реформой. А нынче никто и не думает создавать другую прокуратуру, другие суды, другую полицию с другими понятиями о праве и законе. Нас уверяют, что коммунистическое государство с избирательной системой, искусственно обеспечивающей коммунистам большинство в парламенте, само собой, эволюционным путем, перерастет в государство либеральное. А то, что для такой эволюции нужно бы сперва провести радикальные экономические и политические реформы, как бы уже и не считается.

Конечно, сегодня приниматься за такие реформы несопоставимо сложнее, чем в 1991 году. Власти, сознательно или бессознательно, внушили населению недоверие к демократии и либерализму, толкнули людей от заботы о перестройке нашей общей страны к личным усилиям по выживанию в нищете. Но только либеральное переустройство дает России надежду сохранить и умножить свой человеческий, производственный и всякий другой потенциал, а не тратить себя на изготовление немислимого количества оружейного металлолома, ведущее либо к новой губительной войне, либо, если хватит ума хотя бы в нее не ввязаться, к дальнейшему самоистощению. При Ярославе Мудром и Владимире Мономахе Русь была европейской страной. Господин Великий Новгород стоял в одном ряду с Бременом и Любеком. Уж если патриотически искать исконного, надо следовать их примеру, а не примеру тех, кто почти на триста лет превратил наше отечество в свою колонию.

Ради этого нужно противопоставить и коммунистической оппозиции и псевдолиберальной власти подлинно либеральную оппозицию. От того, проявится ли она не только одинокими голосами, и хватит ли у нее сторонников, способных объяснять и отстаивать либеральные ценности, зависит судьба России.

БЕЗ СТЫДА

Персонаж пьесы Шоу "Майор Барбара", крупнейший фабрикант оружия, был найденышем. Найденышем был ещё основатель этой могучей оружейной фирмы, и, решив, что удача предопределена отсутствием у него законных родителей, оставил фирму в наследство не родным детям, а тоже найденышу, который поступил точно так же, и опять, и опять. Новый наследник обычно провозглашал новый девиз. Один напоминал о праве каждого сражаться, другой напирал на то, что для укрепления мира нужен меч, но, так или иначе, седьмой, персонаж Шоу счел, что все уже сказано, и только добавил: "Без стыда".

Через двенадцать лет после дерзкой пьесы британского социалиста возникло новое российское государство. С родителями у большинства его руководителей было в порядке. Законный отец основателя был действительным статским советником, то есть генералом, и выслужил, таким образом, потомственное дворянство. Девизы, противоречащие один другому, провозглашались в изобилии. Наш нынешний, восьмой, особо призывал к созданию нового девиза, то бишь новой идеологии. Но на деле при нем у нас возобладал девиз седьмого из давней оружейной династии.

Предлагает наш руководитель Думе утвердить нового премьера. Дело житейское, предусмотренное конституцией. Пусть думцы думают. Но он их напутствует не только прямой угрозой: "Попробуйте не утвердить!", но и предостережением: "Я никаких поблажек не дам!" А какие может дать поблажки парламенту президент? Не о монаршей ведь милости речь! Но президенту не стыдно.

Или приводит он будущего премьера, еще думой не утвержденного, в кабинет прежнего, и будущий торопится занять не положенный покамест кабинет. Ему не стыдно. Впрочем, и сам он уже успел заявить, что "комментировать решения президента может только президент". Дивный вариант демократии! Дальше надо закрывать газеты и журналы, берущиеся комментировать президента, да и премьера. Или это выплеск юношеских порывов, когда премьер был секретарем обкома комсомола? Так или иначе, ему не стыдно.

Правда, президент и премьер разъяснили, что правительству надо меньше заниматься политикой, а заботиться о нуждах государства. Мысль тоже богатая. Да только, и одинаково понимая нужды государства, мы нередко расходимся в понимании того, как эти нужды удовлетворить. Нет сомнения, что и царица Екатерина Вторая, и Столыпин, и Сталин и Брежнев хотели, чтобы в стране был хлеб. Но царица добивалась этого, укрепляя власть помещика над крепостными, Столыпин — разрушая крестьянскую общину, Сталин — укрепляя колхозное крепостничество, а Брежнев — получая хлеб из Америки в обмен на нефть. Выбор меж столь разными путями к цели, даже общей, и составляет политику. Если правительство не ищет в народе политическую поддержку своему выбору, значит для него все средства хороши, и главное, чтобы ему все было дозволено. В этом и был главный порок советской власти. Нынешняя его переняла, не позаботившись прикрыть стыд. Ей не стыдно.

И так на каждом шагу. В Нижнем избрали нежеланного Москве мэра, может быть и впрямь не самого симпатичного из возможных, но избранного нижегородцами, которым это решать. А власть его помещает за решетку, ссылаясь на то, что в ходе выборов он давал необоснованные, якобы, обещания. Но наш президент обещал лечь на рельсы, если в стране сохранятся привилегии. Привилегии даже выросли, но Борис Николаевич, слава богу, и на рельсах не лежит, и в кутузке не сидит. А если бы его посадили, пришлось бы его защищать, поскольку нет такого закона, чтобы за простое вранье в тюрьму сажать, если это не клевета.

Особенно хороши рассуждения о том, что выбрали человека, который сидел. Давно ли у нас ликовали, что в британский парламент избрали приговоренных за терроризм ирландцев? Да у нас, вообще, сидела чуть не четверть взрослого населения и часто без всякой вины. Не только по политическим статьям, но и по другим подтасованным делам, и за экономическую деятельность, ныне разрешенную. Выяснить бы можно, не скрыл ли он, что сидел, за что сидел и была ли снята судимость, — ведь в последнем случае само публичное упоминание государственными служащими о судимости как бы аннулирует ее снятие, что явно противозаконно.

К тому же государство за семь лет не удосужилось, ввиду отсутствия состава преступления, отменить приговоры хотя бы по явно неправовым статьям, вроде знаменитой 58.10 и, как правопреемник СССР, покаяться в его преступлениях не абстрактно, а перед конкретно пострадавшими и их

родственниками. Президент о таком и не подумал, зато как в дни, когда был секретарем обкома, обеспокоен, что позволили избираться человеку с плохой анкетой. Выступать в советской манере президенту не стыдно.

Конечно, у такой откровенности есть хорошая сторона. Имеющие глаза могут видеть и не смогут говорить, что они не знали. Сталин, готовя евреям новую катастрофу, официально выступал не против евреев, а против никому не ведомой организации "Джойнт". Он в те дни нарочито похоронил у Кремлевской стены своего прихвостня еврея Мехлиса и выдал премию своего имени известному на Западе еврею Эренбургу. Бедный Сталин еще думал, что коммунисту неловко быть откровенным антисемитом. А сменившему его во главе партии Зюганову такое и в голову не идет. Ему это не стыдно.

Страну обольщали утопией, в которую сперва веровали и обольстители. К концу тридцатых, сообразуясь с собственными интересами, ряды очистили от бывших товарищей, продолжавших, хотя бы отчасти, жить утопией, но точно рассчитали, что старые девизы, подкрепляемые расстрелами и лагерями, еще будут людей обольщать. Жестокий кризис восьмидесятых обнажил действительность, и старые девизы выдохлись. Их тоже отбросили, и собственные интересы правителей выступили нагишом. Это названо у нас демократией, хоть обнажающийся порядок снова все больше и больше наращивает сходство с ее противоположностью.

Солженицын звал жить не по лжи. Нынешнее начальство уже не всегда утруждается ложью ради прикрытия своих неприглядных черт. Оно уже не стесняется. Жить не по лжи ныне означает жить без стыда.

ЭТЮДЫ НЕПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

Уверяют, что Русь исстари живет не правом, но правдой, то есть нравственностью. Оттого, говорят, и дожила до наших дней, хотя другие европейские страны, за которыми принципиального бесправия не числят, тоже почему-то дожили. Между тем, еще в Киевской Руси сложилась "Русская правда", первый отечественный закон, статьи которого фиксируют общественные нормы и наказания за их нарушение. Наши давние предки явно не хуже других народов сознавали, что право — неременная принадлежность государства. Если же распространилось пренебрежение к праву, стоит вспомнить, с чего оно началось.

А началось с того, что обретшая независимость Москва от объединения русских земель перешла к покорению чужих, а русских крестьян ради этого обратила в крепостных. У крестьянина не было правовой защиты от барина, он мог надеяться лишь на его нравственные качества. Отсюда и миф, будто русский крестьянин правовой защиты сам не хотел. Но не хотела ее самодержавная власть, разом исполнительная, и законодательная. А где нет разделения властей, нет и почвы для права.

Традиция самодержавия и впрямь поныне ощутима в отечественном сознании, но нелепо провозглашать ее национальной особенностью. В Персии или Турции, не говоря о наших бывших колонизаторах, монгольских ханах, она была никак не слабей. Пора отличать русский народ от русской власти, которая, не будучи представительной, представляла его лишь в роковые мгновения. Герои Бородина шли в бой с именем царя, а герои Сталинграда с именем Сталина, но едва

завоеватель был повержен, единство кончалось, и подпоручик Трубецкой становился декабристом, а капитан Солженицын ээком.

Советское самодержавие тоже отвергало разделение властей, как и вообще реальную законность. Но и конституция 1993 года установила его лишь формально. Фактически президент располагает у нас абсолютной властью. Явлинский прав, говоря, что непредсказуемость действий президента опасна. Но опасность проистекает не просто из характера Б.Н.Ельцина, а из самой нашей конституции.

Глава Российской Федерации, хоть и числится президентом, наделен такой властью, какой не обладает ни один демократический президент. Американский непосредственно возглавляет правительство и несет ответственность за его действия. Оно и есть "администрация Клинтона", и он лично выполняет в ней обязанности премьера, а не перепоручает их кому-то, на кого можно потом валить любую вину. Могучей второй президентской администрации, дающей, как у друга Бориса, указания министрам, у друга Билла нет. А ему еще приходится утверждать всех министров в сенате, где нередко преобладает враждебная президенту партия. И, в отличие от нашей номинальной, возможность инпичмента, отрешения президента от должности, там, как мы видели, вполне реальна.

Французский президент располагает еще меньшей властью, чем американский. Премьер-министром он может назначить только представителя партии, победившей на выборах в парламент, и если это партия враждебная, президент сохраняет серьезное влияние лишь на военные и иностранные дела, да выполняет церемониальные функции. Всюду президент, — полностью, как в США, или частично, как во Франции, — осуществляя исполнительную власть, вынужден считаться с представительной, законодательной, властью, как и она с ним.

Наш президент, уже по конституции не слишком этим обремененный, пренебрегает даже предусмотренными там немногими обязанностями. Пункт 4 статьи 111 о его правах при назначении председателя правительства четко говорит: "После трехкратного отклонения представленных кандидатур... распускает Государственную Думу и назначает новые выборы". О кандидатурах речь не случайно во множественном числе, — предоставляя президенту непомерную власть, законодатель все же подумал о гражданском мире, ради которого и предусмотрено трехкратное выдвижение кандидатов, чтобы до роспуска думы дошло лишь при ее непреклонном упрямстве и отвержении любых президентских шагов к согласию. Наш президент, однако, и не предпринимает таких шагов. Он держится как самодержец, только не наследственный, а избранный. Именно чтобы это подчеркнуть, он искусственно вызвал правительственный кризис.

Если бы речь шла просто о выдвижении полюбившегося вдруг Сергея Кириенко, президент, как опытный политик, догадался бы для начала предложить думе Чубайса, а когда его бы с негодованием отвергли, Немцова или Гайдара. А когда отвергли бы и их, по третьему разу, предложил бы бывшего секретаря обкома комсомола, и, уже тут отказав, дума бы показала, что это она неспособна к компромиссу, и в любом случае президент выглядел бы лучше. Стало быть, не в Кириенко дело, а в том, что президент, не способный улучшить положение в стране, хочет напомнить не только думе, но и всем нам, что умеет говорить ультиматумами. Жизнь без конфронтации он понимает как согласие со

всеми его предложениями без возражений. Думе отводится роль советского Верховного совета, и на этот случай Бородину было велено лучше заботиться о личных нуждах депутатов. И предложенные президентом поправки к избирательному закону тоже нацелены на подавление партий и еще более бессильное послушание.

Есть ирония в том, что нынче против такого протестуют коммунисты, первооткрыватели единогопартийного парламента. Наша дума не лучше нашего президента, она тоже хочет прежнего порядка, даже не прикрытого "демократическими" фиговыми листками. Но это не резон уверять, что президент отступает от демократии только ради укрепления самой демократии. Отождествив демократию с неограниченной властью Ельцина, так рассуждают многие, не желая видеть, что нарушение демократии никогда ее укреплению не способствует, а только ее разрушает, и демократ, из лучших побуждений становящийся на такой путь, неминуемо перестает быть демократом.

Недавно опубликовано интервью с известным писателем, имеющим стойкую репутацию демократа, и он особо оговаривает: "ограничения демократии, на которые я готов закрыть глаза, могут иметь место только в отношении врагов демократии". Выходит, можно ограничить демократию в отношении Джафара Дудаева, который был с ней не вполне в ладах, и надо закрыть глаза на все, что демократы Шахрай, Грачев, Куликов, Дейнекин и прочие по соизволению главного гаранта нашей демократии в Чечне провернули? Но ведь только потому они на это и пошли, что знали, сколь многие, искренне считающие себя демократами, закроют глаза.

Не стоит ссылаться на то, что и коммунисты закрыли глаза и, располагая большинством в думе, не выразили недоверия правительству и не начали отрешение президента. Им бойня по душе, они еще при Сталине половину чеченцев выморили. Удалось бы раздавить Чечню, по всей России опять бы прежний порядок навели, да еще и почище. Отказываясь соблюдать демократические нормы в отношении недемократов, стоит помнить, что еще Сталин установил разные порядки для "наших" и для "ненаших" и прямо сказал: "С врагами будем действовать по-вражески!" Нынче его завету следуют не одни коммунисты, но и многие, считающие себя демократами.

Назови я сталинистом писателя, широко известное имя которого не упоминаю, поскольку он не один такой, он, небось, обидится. Но как иначе напомнить, что и Сталин, когда ему требовалось, неплохо говорил о демократии? Демократию защищает только исполняемый демократический закон. Не декларированные в авторитарной конституции права человека и другие нормы, — их ведь и Сталин в своей конституции перечислил, — а суд, способный за нарушение этих норм неотвратимо карать. Шарль де Голль спас французскую демократию от оасовцев, а король Карлос испанскую от неофранкистов, действуя по закону. А мы, как сокрушается наш писатель, все плывем меж Сциллой советского коммунизма и Харибдой русского фашизма. Но ведь потому и плывем, что у нас ни демократического закона, ни способных его законно исполнять людей у власти нет, и странно для демократа закрывать на это глаза.

За семь лет Б.Н.Ельцину удалось расколоть демократов, которых Зюганов, не желая того, спланировал на подмогу Ельцину. Одни опять не верят власти, и, как в былые годы, чураются политики. Другие, вроде нашего писателя, отнюдь ее не чураются и закрывают глаза на то, что их

кумиры давно не демократы. Убивают еще не их, где тут помнить, что чистосердечно верившие в Сталина и социалистический рай попадали на Лубянку, накануне не сомневаясь, что зря у нас не сажают, а если не все в строгом соответствии с буквой закона, то с врагами народа иначе нельзя.

Лет тридцать назад в знаменитом другом Левашове под Ленинградом молодой тогда художник Михаил Кулаков показал мне серию своих рисунков к Библии и разрешил взять в подарок понравившийся. Я выбрал архистратига Михаила не только потому, что он был хорош по цвету, но и потому, что копье предводителя небесного воинства было нацелено не, как положено, на дракона, а на ангела, и сам архистратиг был смутен. Не только в России, берясь во имя лучших целей незаконно уничтожать худших людей, издавна уничтожали лучших. Кое-где уже поняли, что правда не выживает без права. Пора и нам.

ИГРА С ОГНЕМ

Проигравшие референдум твердят, что уклонившиеся от голосования тоже не жалуют победившего президента, и это верно. Они, однако, не хотят признать, что уклонившиеся и проигравших не жалуют, и не по лености их не поддержали, а потому, что, разуверившись во всех нынешних политиках, ни от кого добра не ждут. Но если даже счесть уклонившихся политически индифферентными, бросится в глаза, что у нас их не больше, чем обычно в демократических странах. Главный итог референдума, более важный, чем победа президента, в разрушении широко муссировавшейся легенды, будто людям надоела политика. Оказалось, и надоела, да не настолько, чтобы махнуть на нее рукой.

Победа президента, конечно, меньшее зло, чем была бы победа самодержавно-абсолютистского съезда, и она отрадна. Но победитель — уже не тот Ельцин, который, стоя на танке, олицетворял свободную Россию. Открытое августовское выступление реакции дарило возможность ее осадить и учредить демократический порядок. Воспользоваться этой возможностью Ельцин не захотел. Зато подмял под себя демократическое движение, заглушив голоса его более взыскательной и бескорыстной части, требовавшей смены порядка, а не только смены знамен. Заодно со своими непримиримыми оппонентами Ельцин внушал, будто серьезная оппозиция ему есть лишь с одной стороны. Зюганов, Стерлигов и Невзоров с примкнувшими к ним Хазбулатовым, Руцким и Зорькиным своим контрастом президенту и прямой бранью в его адрес придавали ему облик демократа. Стремясь остановить реакцию, люди отдали голоса не только за Ельцина как за президента, за антитезу другим властям и, тем самым, за их разделение, что было правильно, но и за его политику воздержания от реальных реформ, плоды которой, как при Брежневле или Горбачеве, только еще больше разросшиеся, каждый ощущает на себе. Стиснув зубы, люди по второму разу доверили Ельцину, и теперь перед ним жесткая альтернатива — либо, вняв слабому голосу подлинно демократической оппозиции, приступить, наконец, к реальным реформам, либо взяться за оружие, уподобившись своим реакционным оппонентам, уже схватившим стальные прутья. Место для промежуточной, центристской позиции, которую именно Ельцин, а вовсе не Гражданский союз, на деле занимал, ужимается как шагреновая кожа.

Нынче все объявляют себя сторонниками реформ, не уточняя, каких именно. То ли, на китайский манер, экономических реформ без политических, то ли, напротив, на горбачевский, политических без экономических? Но ни те, ни другие по отдельности не помогут. Не только потому, что вообще политика неотделима от экономики, но и в силу особых свойств нашего так называемого социалистического строя. Часто вспоминают ленинские слова: "Главный вопрос всякой революции — это вопрос о власти". Но это главный вопрос только ленинской революции. Главный для всякой другой — вопрос о собственности, о ее правовых гарантиях. Ленинская революция в итоге свелась к тому, что власть отказалась гарантировать собственность и всецело ею овладела сама, отождествилась с ней.

Но хозяйство при этом могло вестись либо по принципу "дирекция не щадит затрат", либо прямым насилием, то есть не щадя людей. На этих путях наша родина добивалась немалых эффектов, которые, если честно сосчитать, обошлись втридорога. Беда не в том, что сталинские и позднейшие чиновники были плохи, — меж них попадались блистательные таланты. Означенными методами они достигали замечательных результатов на отдельных участках, прежде всего в военном производстве. А то, что остальное разваливалось, была уже не их забота, можно бы и загодя сообразить, что такое хозяйство станет самоедским, самоубийственным. Но до наших начальников это начало впритык доходить лишь с середины семидесятых, когда наглядно стал падать уровень жизни, прежде удерживаемый импортом, получаемым за сырье.

Этот феодально-социалистический абсолютизм построили под водительством Сталина большевики-ленинцы, но система съела своих строителей, сменив фанатиков преобразования мира прагматиками ограниченных задач. Национальный социализм, социализм в одной, отдельно взятой стране, сохраняя до поры словесные отличия, на практике все меньше отличался от соседского национал-социализма. Не потому Сталин тиранствовал, что был не русским или плохо знал Маркса ("Капитал" явно не читал!), а потому, что глава монопольного хозяйства, живущего произволом, пренебрегающего стоимостными отношениями, только и может быть кровавым палачом, иначе хозяйство остановится. . Он вынужден непрерывно разорять и ущемлять свою страну и сограждан. Он вынужден стремиться к покорению других стран, поскольку богатства своей, даже России, не бесконечны. Агрессивные намерения все сильней перекашивают хозяйство на военный лад, что вконец обесмысливает растущие затраты, поскольку глобальное оружие позволяет уничтожить мир, но не помогает, пока он сопротивляется, его покорить.

Ныне рыночной реформой объявили произвольное взвинчивание монопольных цен. Но изменить жизнь можно лишь отказавшись от прежних методов хозяйствования, восстановив стоимостные отношения. Однако такой поворот страшит не только сотни тысяч начальников на теплых местечках, но и десятки миллионов честных тружеников, привыкших к более чем скромному, но гарантированному минимуму, и не задумывавшихся о том, что советское государство пожирает родину и кормит нас объедками. Люди не брали в толк ни того, что батон на деле стоит дороже 13 копеек, ни того, что они с легкостью покупали бы этот батон по настоящей цене, если бы по-настоящему оплачивался их труд. Эту инерционную жизнь не следует объявлять виной и требовать от всего

народа покаяния. Люди всегда пассивны там, где активных не охраняет ни обычай, ни закон. Инициатива у нас всегда была наказуема, и опасение, что высовывающихся ждет новый Гулаг, если не сиюминутная расправа, не выветрится, покуда верховный орган власти вправе мгновенно пересмотреть любую статью конституции. Пора осознать, что пришла расплата за страх, за политическую индифферентность, за то, что "мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе". Испанец Франсиско Мартинес де ла Роса писал:

Ландскнехт не зря лежит в могиле, —
Ему за это заплатили.

Вот и мы проели отечество. А нас все зовут к былым самоедским порядкам, хоть легко доступных запасов сырья и людей уже не осталось.

Крушение хозяйства объясняют радикализмом Горбачева или Ельцина, на деле как раз уклонявшихся от коренных перемен. Спасение ищут в усилении государства, хоть все несчастья и пришли от гипертрофии государственности. Само собой, отмирание государства, предполагавшееся Марксом, или его упразднение, которого требовал Бакунин, не могут всерьез рассматриваться как актуальные задачи. Без государства обществу в обозримые времена не обойтись, и в этом смысле невозможно не быть государственным. Но нельзя уже не видеть, что для развития общества большинство функций, сосредотачивавшихся в руках государства, должно перейти к общественным и частным инициативам, и, прежде всего, от государства должно отделиться хозяйство. Разумеется, за государством должно оставаться и поддержание финансовой стабильности, и обеспечение независимого судопроизводства, и содержание армии, как органа внешней самозащиты, и содержание полиции, как органа поддержания порядка, и основы социальной защиты, включая помощь безработным, старикам, детям и больным, и содействие просвещению и культуре. Разумеется, все эти сферы должны быть эффективны и в этом смысле государство должно быть сильным. Спорить вроде не о чем. Но на деле спорят не об этом. Спорят о том, ограничиться ли государству своей немалой, но не безмерной сферой или по-прежнему быть неограниченным властелином всего и вся. Пока на любой шаг, не запрещенный законом, всякий раз требуется специальное соизволение очередного чиновника, вносящего к тому же в закон свои оговорки, мы остаемся во власти привычной государственной монополии. За нее-то и ратуют декламирующие о сильной государственности, о всевластии советов, ибо московские квартиры депутатов и даже тайные доходы коррумпированных бюрократов — мелочи на фоне особого положения нашей власти, коллективно присвоившей право распоряжаться номинально всенародным имуществом и конкретными судьбами ста пятидесяти миллионов его хозяев.

Наивно ожидать, что нынешние властители, вышедшие в большинстве из того социального слоя, который создал Сталин, всерьез захотят менять социальный строй. Номенклатура лишь раскололась на трезвую, сознающую, что запасы съедены, и оголтелую части. Но и самые трезвые способны думать не о новом строе, но лишь об усовершенствованиях старого, — как Горбачев о надеждах Пражской весны или Ельцин об упразднении прежней идеологии. Оба они, конечно, способствовали

общественному развитию. Но осуществление этого развития требует не одного лишь смягчения феодально-социалистического абсолютизма, а отказа от него, изменения господствующей формы собственности, и подобную перемену обычно не под силу совершить прежним господам.

Социальные перемены, начатые самым разумным русским царем, тоже встретили сопротивление правящего класса и были урезаны. Да и позднее, в 1903 году, Витте ушел в отставку из-за того, что Николай II еще отказывался от поощрения частного крестьянского землевладения. Вскоре вспыхнула революция, но Николай отверг и аграрные реформы, предложенные первой Думой. Только Столыпин, этот Дэн Сяопин самодержавия, начал ограниченную аграрную реформу, обреченную уже потому, что его здравые экономические стремления не соотносились с реакционными политическими стремлениями. Он надеялся совершить реформы, опираясь на поддержку противников реформ, первым среди которых был сам царь, и дело кончилось трагически не только для Петра Аркадьевича, но и для России. Неразрешенный аграрный вопрос стал почвой, по которой миллионы мужиков пошли потом за Лениным, не смутившимся тем, что пролетарскую революцию совершали крестьяне. Но нынешняя печать, не спешащая помянуть добрым словом ни Александра II, ни великого князя Константина Николаевича, еще в 1866 году составившего конституционный проект и активно способствовавшего крестьянской и судебной реформам, ни Витте, ни первую Думу, захлебывается от восторга не то что даже перед Столыпиным, но перед самим Николаем II, более всех мешавшим установлению назревшего буржуазного порядка и тем объективно способствовавшим установлению советского нефеодального.

Подобная опасность есть и сегодня. Если назревшие и перезревшие перемены не совершаются мирно, общество взрывается революцией, последствия которой, вопреки Марксу и Ленину, отнюдь не predeterminedены быть благими, но способны и повернуть общество вспять. Уклонение сперва Горбачева, а теперь и Ельцина, от коренных реформ чревато новой революцией, их упрямство и неторопливость могут оказаться столь же пагубны, как в свое время упрямство Николая и неторопливость Керенского. К тому же у нас еще даже не признано, что легитимность власти определяется не связью ее с предшествующей, но демократичностью народного волеизъявления. А после Февраля все-таки понимали, что конституцию свободной России надлежит создавать не Государственной думе, а Учредительному собранию, которое Ленин потому и разогнал, что понимал легитимную значимость его возможных решений. Но нам внушают, что новую конституцию должен принимать старый самодержавный съезд. Да и вроде бы альтернативное ему конституционное совещание при президенте немногим лучше, даже если его проект будет вынесен на референдум. На референдуме народ сумеет сказать лишь "да" или "нет", не входя в детали, а в конституции важны детали, оттого и надлежит ее создать и утвердить специально избранным народным представителем, не претендующим на власть.

С конституцией, то есть с преобразованием политического строя, происходит то же, что с приватизацией, то есть с преобразованием экономического строя. Провозгласили разгосударствление собственности, роздали, хоть и не сразу, ваучеры, — казалось бы, прекрасно, да только собственность по ваучерам раздавать не торопятся, уходит она боковыми

путями, референдум о собственности на землю так и не провели, хоть был удобный случай. Вот и ваучер при дикой инфляции не дотягивает до половины своей номинальной цены, которая и сама-то преступно занижена, да и вообще не может быть наперед обозначена иначе как в виде причитающейся каждому доли государственной собственности.

От характера приватизации зависят не только масштабы незаконных выгод правящего слоя. От него зависит формирование иного общественного строя, в котором каждый стал бы собственником, пусть даже одной своей рабочей силы, которую, однако, будут покупать по рыночной цене, и не станет места для подневольного труда, ни гулаговского, ни predetermined монопольной советской ценой на рабочую силу. Слова о едином экономическом пространстве, звучащие ныне часто, осмысленны лишь если в этом пространстве преодолены внеэкономические привычки, и общественное хозяйство ведется не государством, не единым всемогущим хозяином, но множеством сотрудничающих и соперничающих между собой производителей. Лишь при экономическом плюрализме развитие национального хозяйства участникам выгодно и, с одной стороны, побуждает их к соучастию, а с другой поддается сугубо экономическому регулированию.

Между тем выход из тупика, в который зашло советское государственное хозяйство, ищут в дроблении его по меньшим территориальным зонам, которыми легче править внеэкономически. Многие республики, провозгласив себя суверенными, сохранили прежние методы хозяйствования. Да и Союз ведь развалился не из-за мнимых козней в Беловежской пуще, а из-за несвершения экономических реформ, к которому прибавилось поддержание оружием покорности в Тбилиси, Вильнюсе, Баку, а в августе и в Москве. Печальный опыт несостоявшегося преобразования имперского союза в содружество равноправных все еще не учтен Российской Федерацией. Здесь стремятся закрепить старый порядок не только в обособляющихся национальных республиках, но и в сугубо административных областях, тоже объявленных субъектами федерации.

В России выделилась двадцать одна автономная республика, в соответствии с правом народа на самоопределение претендующая на суверенитет в пределах федерации. Их народам и впрямь принадлежит суверенное право решать, хотят ли они и дальше жить в общем с русским народом государстве и на каких началах. Эти автономии, конечно, должны быть полноправными субъектами Российской Федерации. Но у административных областей, расчерченных Сталиным, нет права на самоопределение, таковым обладают только все русские земли вместе, как целое. И это уже не Московское государство Ивана III, но преобладающая часть федерации — от Пскова до Владивостока.

Напрасно население Петербурга пожелало себе статус республики. Наш прекрасный город даже формально не может претендовать на отделение от остальных русских земель, только на статус "вольного города", имеющего дополнительные права. Еще нелепей вологодский и подобные ему "суверенитеты". Само собой, в условиях свободной экономики муниципальные власти должны обрести самостоятельность и решать свои дела, не спрашиваясь у центра, однако непременно в рамках единых для русского субъекта федерации законов. Не только центру надлежит отказаться от монопольной собственности на производство, но и местные власти не смеют на нее претендовать и, тем более,

препятствовать свободе экономических и других связей внутри федерации и, во всяком случае, внутри ее русского субъекта. Шедевры Третьяковки в такой же вере принадлежат жителям Тобольска, как Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире жителям Петербурга. Никаких прав на отсечение от России у административных областей нет. Другое дело, что в федеральных представительных органах огромному русскому субъекту федерации надо, конечно, отвести больше места, чем любому другому, и его посланцы должны представлять не только центр, но и непосредственно регионы.

О развале России говорят, удивительным образом имея в виду наследство империи, прежние союзные и нынешние автономные республики, но обходя сепаратизм русских областей, к тому же мелких и мелких. И, главное, совсем упускается из виду, что цель этой новой феодальной раздробленности — сохранение в большинстве областей феодально-социалистических порядков. А ведь как раз преодоление таких порядков, влияние обретшего экономическую свободу и оттого эффективно развивающегося русского субъекта федерации, побуждало бы автономные и прежние союзные республики, да и другие государства, если не всегда к прямому ассоциированию, то к взаимовыгодному равноправному сотрудничеству с Российской Федерацией. К ней бы тянулись, а не спешили от нее отделаться. Она держалась бы не кровью русских солдат, а смекалкой русских купцов. Но никто об этом не думает.

Русский патриотизм и национализм принял в наши дни особенный характер. Не счесть патриотов, безумно любящих Россию в Будапеште или Кабуле, и равнодушных к тому, что туда посылали умирать солдат из Рязани или Перми, да и в Рязани или Перми сочувствующих главным образом заботам переодевшегося старого начальства о сохранении прежнего порядка. Сложился антинациональный национализм, сложился патриотизм, готовый жертвовать своей страной во имя своей империи. Памятная атака съезда народных депутатов на Сахарова была наглядным выплеском имперского патриотизма против патриотизма в прямом смысле, против заботы о родной земле и ее людях. Этим имперским патриотизмом дышат не только откровенные фашисты, но и те, кто вчера еще произносил слова о пролетарском интернационализме, и тогда, впрочем, уже служившие прикрытием великодержавного шовинизма. А все потому, что стоят они все за одно: за абсолютизм, под каким бы знаменем он ни выступал — красным, или черно-желто-белым, или зеленым или другим, — это для них вопрос тактики, а насильники умеют сговориться.

Конечно, и мир экономической свободы полон противоборств, но в нем установились реальные социальные гарантии, позволяющие разрешать противоречия по-преимуществу без прямого насилия. К тому же, и взгляды одного народа не по всем вопросам единообразны, всякое общество социально противоречиво, и фальшивым речам о всеобщем единстве противостоит многопартийная система, в которой каждая партия отражает интересы определенных слоев, а порой даже разные стороны их общих интересов, по ходу развития сдвигающихся. Но и о партиях всерьез говорить можно только выяснив отношение избирателей к их программам, иначе это тоже показуха. Лишь соотношение партийных программ в парламенте открывает возможности для необходимых компромиссов между разными стремлениями в народе, а иначе возможен лишь сговор между разными властями, народные стремления слабо отражающими. .

Но тяга к идеологическому монополизму по-прежнему сильна. Не в том беда, что пять раз в неделю из Петербурга исходит десятиминутка ненависти, и даже не в том, что для поднятия ее популярности время от времени устраивают спектакли с изгнанием Невзорова. Коль скоро фашизм действует, надо видеть его порочное гэбистское лицо. Что же до частых правонарушений, совершаемых привыкшей к безнаказанности бригадой, то разбирать их следует в суде, — это и в самом худом случае поможет разглядеть хотя бы лицо нашего правосудия, уже не раз оправдывавшего пропаганду гитлеризма и призывы к насилию, поможет не принимать рупоры зла за его источники. Руководству телевидения надо бы лишь позаботиться о том, чтобы Невзоров не был монополистом, чтобы разные возможности получили еще хотя бы три-четыре общественные позиции, но этого оно как раз избегает.

Между тем выбор не может строиться только по бескомпромиссному принципу "за" или "против", "кто не с нами, тот против нас", идет ли речь о развязном телекомментаторе или о таких незаурядных фигурах как Горбачев или Ельцин. Чтобы самостоятельно решать свою судьбу, люди должны выбирать между четко различающимися политическими программами, предполагающими разные экономические варианты. В правомочности миллионов избирателей совершать такой выбор — залог спасения страны. Народ России не хочет безумия и бесчинств и в большинстве едва ли станет голосовать за красно-коричневых. Но все наши реакционные повороты — и свертывание НЭПа, и коллективизация, и массовые расстрелы, и союз с Гитлером, и ввод войск в чужие страны, и вытеснение лучших шестидесятников в диссидентство, и многие нелепости наших дней — определялись не волей народа, а за кулисами власти, и опасность этого не прошла. Не прошла и опасность прямого насилия рвущихся к власти.

Испытывая удовлетворение итогами референдума (лишь в одном пункте я разошелся с большинством: испортил второй бюллетень, чтобы не одобрить политику президента, но и не соединиться с его реакционными противниками), хотелось бы надеяться, что и власть не ограничится чувством удовлетворения. Дальнейшее промедление с реальными реформами может резко увеличить число готовых выйти на улицы со стальными прутьями. Опыт русских царей, медливших с реформами, забывать не следует.

ОПЫТ, КОТОРЫЙ НЕ ПРОВОДИЛИ

Британские газеты надменно пишут о провале в России демократического эксперимента. Ни одна из попавшихся мне словно бы не знает, что демократический эксперимент в России не начинался, что до 17 августа правящий слой одолевал кризис косметикой, льясь на которую Запад давал деньги. Ельцин публично вышел из партии и отрекся от коммунизма. Но компартия и после провала в августе 1991 своей попытки остановить перемены участвует в политической жизни, ни в чем из прежнего не раскаясь. Однако и сам Ельцин, и пришедшие с ним псевдолибералы, не исключая обаятельного Гайдара, смолоду занимавшего видные посты в партийной газете "Правда" и журнале "Коммунист", тоже принадлежат к коммунистической номенклатуре и, как правило, не допускают к власти не только открытых диссидентов, а даже чуравшихся

советской карьеры. Но западных наблюдателей не смутило, что за коренное, якобы, преобразование общества взялся сам правящий слой.

Он изменил фразеологию, но хозяйство не слишком изменил, экономическая свобода не пришла. Переименованные колхозы и совхозы успешно душили формально разрешенное фермерство. Структура промышленности за семь лет "демократии" осталась прежней. Страна все еще живет продажей за рубеж продукции добывающего и, отчасти, военного производства. Другими средствами существования, которые Россия, с ее природными богатствами, грамотным населением и во многих сферах развитой наукой, могла бы иметь в изобилии, так и не обзавелись. Обеспечив неприкосновенность частной собственности, можно было создать правовые условия плодотворному частному производству. Вместо этого псевдо-либералы провели "приватизацию", то есть, удержав при акционировании контрольный пакет за государством, дали менеджерам часть акций и поручили управлять хозяйством от имени государства. Собственность осталась, по существу, казенной, но доходы все больше шли менеджерам, которые в хозяйство их не вкладывали. Сохраняя советские монопольные позиции, эти псевдочастные фирмы не заинтересованы в появлении реальных частных фирм, ни русских, ни иностранных. От бывшего порядка новый отличается тем, что прежние олигархи, Маленковы и Ждановы, Кириленки и Романовы, распоряжались госсобственностью сообща, а кормились сообразно своему положению в политбюро, ЦК или обкоме, а нынешние получают для кормления каждый отдельную отрасль или крупное предприятие и обогащаются индивидуальнее и откровеннее. Но как прежних, так и нынешних, ничто не побуждает к производству нужных потребителю товаров. Доходы их не от производства, а тоже от положения да от финансовых спекуляций, и псевдо-демократия у всех на глазах шла к краху и коммунистическому реваншу. Ельцин ловко пользовался даже этим, призывая поддерживать себя как противоположность откровенным коммунистам. Показушность была очевидна любому действительному демократу в России с первых шагов Ельцина в экономике. В российской печати, хоть и тогда не чересчур свободной, можно обнаружить демократическую критику так называемых "реформ", оставшуюся в пренебрежении. Но на Западе уверяли, что Ельцин — гарантия российской демократии.

Разумеется, не все сидевшие наверху, провозглашая переход к рыночному хозяйству, держали в уме лишь спасение прежней номенклатуры и ее власти. Некоторые, вроде Егора Гайдара, возможно, верили, что служат либеральному развитию. Но следует различать, что люди делают в своем воображении и что на самом деле. Гайдаровская "либерализация цен", при том, что вся собственность оставалась в руках государства, способствовала не конкуренции производителей, ради которой нужна свобода цен, а взвинчиванию цен государственной сверхмонополией. Взвалив расплату за нерациональность хозяйствования на граждан, Гайдар спас номенклатурное государство от разорения, а тем самым и от проведения реформ.

Провозглашая рыночное хозяйство, номенклатурные псевдо-либералы не берут в толк, что такое хозяйство — плод не вообще купли-продажи, а новых отношений между людьми, наступивших в результате вытеснения принудительного труда наемным, то есть повсеместной купли-продажи рабочей силы. Нет свободного рынка рабочей силы — нет и рыночного

хозяйства. А у нас провозгласили рыночное хозяйство, не покончив с принудительным трудом даже в воображении. Какой рынок рабочей силы возможен в стране, где месяцами не платят зарплату, где порой на целый город есть одно предприятие, а сменить место жительства возможности нет? Это тоже все не тайны. Но не только российские власти, а и зарубежные наблюдатели, твердили, что в России рыночное хозяйство,

Не была тайной и чеченская война, которую Запад, в отличие от афганской, замолчал. А и за этой войной различимы незыблемые советские методы хозяйствования. Чечня, выселенная при Сталине, нищенствовала. Ее народ, вопреки местному партийному начальству, поддержал Ельцина против ГКЧП, но по имперскому навыку Ельцин предпочел убийство ста тысяч соглашению о самоуправлении, отнюдь не обязательно ведущему к разрыву и вражде. Отношение Москвы к провинциям всегда определяется мерой подчинения ей местного хозяйства, в Чечне — нефтепромыслов и, особенно, нефтепровода. Характерно, что Москва ни слова не говорит о недружественном отношении к русским в Таджикистане, где держит свои войска, но не устает твердить о недружественном отношении к русским в Эстонии и Латвии, где не знающему местного языка русскому жить все же куда легче, чем инородцу, желающему жить и работать в Москве, не зная русского языка. Западные лидеры повторяли, что Чечня — внутреннее дело России. Но и крепостное право, и ГУЛАГ, — тоже ее внутренние дела, никто, однако, на Западе не уверял, что эти дела не помеха демократии и рыночному хозяйству.

Ни демократии, ни рыночного хозяйства в России не было и нет. Государственная Дума не слишком представительный парламент, поскольку избирается в один тур относительным большинством, так что, при огромном числе партий, для избрания часто довольно 7% голосов, чем и объясняется преобладание в ней коммунистов. Президенту конституция дает больше власти, чем любому конституционному монарху, но он претендует на беспрекословное подчинение. Вопреки конституции, оговорившей обязанность президента предлагать на пост премьера трех кандидатов, прежде, чем Думу разгонять, Ельцин трижды предлагал одного и того же Кириенко, которым, надеясь стать президентом третий раз, спешил заменить Черномырдина, готового в той или иной форме заменить Ельцина. Но ни о праве трижды выдвигать одного кандидата вместо трех, ни о праве Ельцина баллотироваться в президенты третий раз, конституционный суд нашей демократии вовремя не высказался.

Кириенко, которого, как впрочем, и прежних "молодых" нет причин считать "реформатором", быстро провалился, поскольку всерьез не пытался даже смягчить кризис, хотя бы взыскав налоги с газовых и нефтяных монополий. Но объявление им неплатежеспособности, опять, как при Гайдаре, взвалившее на граждан расплату за неплатежи монополий, президент, и при увольнении неопытного премьера, не отверг, не осудил. Выход из кризиса и ему явно виделся не экономическим, а как всегда у нас, политическим, как возрождение союза с Черномырдиным, способным успешней сотрудничать с коммунистами. К несчастью для Черномырдина, аппетиты коммунистов возросли, и они уже запрашивали невозможное для Ельцина. Оставалось выбирать между разгоном Думы с назначением Черномырдина и выдвиганием еще более близкого коммунистам Лужкова, выразительно проявившего себя преследованием

чеченской и азербайджанской диаспор в Москве. За всеми этими вариантами маячили кровавые повороты.

Примаков призван, чтобы препирательства в правящем слое остались бескровны. По совокупности качеств дипломата, журналиста, разведчика, он искуснее Лужкова, Ельцина и даже Черномырдина, и не исключено, что какое-то время может еще пробалансировать меж насущной потребностью страны в радикальных реформах и нежеланием правящего слоя (и коммунистической, и псевдолиберальной его частей) провести реформы.

Но без нормальной представительной системы мирная внутренняя политика затруднительна. Даже Явлинский, по всем показателям самый авторитетный лидер либеральной оппозиции, пытаясь хотя бы отсрочить роковые решения о фактическом реванше, публично излагал свое предложение по радио "Свобода". Российская печать, не говоря о телевидении, такой свободы даже ему не дает. Надеяться приходится лишь на то, что Примаков все же проведет законные выборы, на которых судьбу страны решат избиратели. При нынешнем состоянии телевидения и печати выбирать им придется втемную, и остается уповать на здравый смысл народа, не вовсе вытравленный Зюгановым с предшественниками и Ельциным с последователями.

Иностранцам не стоит думать, что стремления граждан у нас адекватно отражаются в действиях властей, словно в России и впрямь демократия. Российская власть и российский люд не одно и то же. Власть не все время бросает на подданных бомбы и загоняет их в лагеря, но ей всегда хватает решимости не считаться с нуждами людей. Поступающую в эти трудные дни из-за рубежа благотворительность у нас облагают таможенными сборами. Против них не возражает ни кричащая о страданиях народа Дума, ни гарантирующий права народа президент, ни новый премьер. Государство хочет урвать себе даже с подаяния нищим. Таков поныне общественный порядок.

До сей поры западные державы своей помощью лишь помогали российской власти уклоняться от реформ. Этого не надо было делать раньше и, тем более, не надо сейчас. Но помогать не государству, а людям России, если можно, минуя нашу власть, помочь действительно нуждающимся и, к тому же, без пошлости, — необходимо. Российский человек может надеяться только на то, что "мудрость" власти упрется в тупик, и тогда хоть кто-то, подобно Горбачеву, предпочтет отступить, а не погубить страну. Но, чтобы этого дожидаться, людям надо выжить. А завести демократию и рыночное хозяйство они смогут, лишь одолев номенклатуру, вцепившуюся во власть и такого не желающую. Так не стоит тем, кто ей бездумно помогал, порицать народ, которому с ней не совладать, за то, что не торжествует у нас демократия.

НУЖЕН ЛИ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ?

Коммунисты говорят, что не нужен, имея, однако, в виду персонально Бориса Ельцина. Но Геннадий Зюганов сам баллотировался в президенты, явно полагая, что, займи эту должность он, из источника бедствий она тотчас обратится в залог благоденствия. Ельцин и его сторонники, даже после Чечни провозглашавшие президента гарантом конституции, рассуждали точно так же. Борис Николаевич и Геннадий Андреевич не одиноки, так у нас рассуждают многие, не только коммунисты, вчерашние

или нынешние. Неправовому сознанию чужда мысль о разделении властей как хотя бы относительной гарантии объективной справедливости. У нас "государственниками" именуются желающие сосредоточить всю власть в одних руках, и для них государственное устройство — пустая формальность, как говорится, лишь бы человек был хороший. Даже правозащитное движение играло у нас существенную роль, пока его лидером был выдающийся человек, Андрей Сахаров. Стоило ему умереть, и движение утратило значимость, если не вросло в государственную машину. Нас не смущает, что в других странах живут лучше, хотя и там не часто правят хорошие люди. Настоящие государственники пекутся о государственном устройстве, не позволяющем попавшему во власть дурному человеку во всю развернуться. Сталинисты — вопреки распространенному мнению — злостные враги государства, воплощающего стремления граждан и общественный компромисс. А мы все думаем о характере правителя, а не о системе правления, оставаясь в путях культа личности не то что Сталина, но любого правителя, вставшего выше закона и права. Между тем, чем злее правители, тем нужнее государственная система, способная помешать им творить зло.

Упразднение президентской должности опять обезличит принятие решений, то есть опять возрастет безответственность власти. Сегодня мы, по крайней мере, знаем, что войну в Чечне начал Ельцин. Если бы Грачев или Дейнекин действовали без приказа верховного главнокомандующего, приговоры военного трибунала не заставили бы себя ждать. Значит, приказ был, Шахрай с Егоровым сами его дать не могли, и главная вина на президенте. А кто начал войну в Афганистане? Рассказывают о совещании четверки членов политбюро: Брежнева, Устинова, Громыко и Андропова. Но что делали отсутствовавшие, которых больше и среди которых глава правительства? Да и в какой мере четверка была единодушна? Все это поныне государственная тайна. А что против чеченской войны сразу выступили Ковалев, Панфилова, Явлинский и другие политики и журналисты, мы знаем. Знаем также, что Зюганов и его партия, как всегда, браня Ельцина, о преступной войне внятно не заговорили, отстранения отдавшего приказ президента от власти не потребовали и сочли войну поводом для импичмента лишь в недавние месяцы. Знаем мы также, что Гайдар, что-то даже пробормотавший о нежелательности войны, с прежним усердием поддерживал Ельцина, ее затеявшего.

В эти трудные семь лет мы все же видели, кто что делал, и поскольку, при всем несовершенстве избирательной системы, зависимость власти от голоса рядового гражданина выросла, выросла и наша ответственность за происходящее. Ельцин больше всех виноват в том, что корневой системный кризис, до которого довели страну соратники и ученики Сталина, за семь лет не только не преодолен, но продолжает углубляться. Но разве избиратели, видевшие это и вторично голосовавшие за Ельцина, не делят с ним вину? Разве не делят с ним вину Зюганов и голосовавшие за него сторонники сталинского порядка, приведшего к кризису?

Они, как ни в чем не бывало, отсчитывают этот порядок от штурма Зимнего, который их противники опять именуют переворотом. А ведь принятые тотчас же декрет о земле и декларация прав народов России — непреходящее свидетельство того, что 7 ноября совершалась революция, а переворот большевики совершили 18 января, разогнав уже избранное при них Учредительное собрание. Но, главное, с 1929 по 1939 год,

совершался второй, ползучий переворот, в результате которого большевики, бравшие в Октябре власть, чтобы творить добро насильем, сами стали жертвами насилия новых товарищей по партии и почти поголовно были физически истреблены. Товарищ Зюганов и его партия — преемники не наивных революционеров 1917 года, идеализировать которых не приходится, а их палачей, добившихся насильем хоть и не счастья всего человечества или хотя бы одной России, но зажиточной жизни для номенклатуры. Вот Зюганов и его братья по номенклатуре и не в силах отречься от палачей и не случайно выгораживают призывавших к уничтожению нежелательных категорий населения по спискам.

Но три с половиной миллиона избирателей вычеркнули и Ельцина, и Зюганова. Эти три с половиной миллиона не просто не поддержали ни того, ни другого, как не явившаяся на выборы почти треть взрослого населения. Дав себе труд прийти на избирательный участок, чтобы вычеркнуть обоих, они выразили свое отношение к навязанной альтернативе, к выбору между бывшим и нынешним коммунистом. А выбирать надлежало между людьми вчерашних навыков, как Ельцин или Зюганов, и людьми иного толка, вроде Сахарова или Солженицына, тоже не одинаковыми. Новое общество создают новые люди, Кромвель не состоял при дворе короля Карла, а Дантон и даже Бонапарт при дворе короля Людовика. Ельцин не мог провести коренные реформы уже потому, что не мог преодолеть привычки первого секретаря обкома. Это не просто даже молодому здоровому человеку. Вот он и стал на посту президента не двигателем, а тормозом реформ.

Сам по себе президентский пост не виноват, без него или его подобия демократической стране не обойтись. Конечно, в Англии, Швеции, Бельгии, Голландии, Испании президентов нет, это конституционные монархии. Власть монарха там невелика. Британская королева служит примером безвластия, говорят, она царствует, но не управляет. Действительно, не управляет, однако, царствует, и это не такая малость, как нам кажется. Ритуальное участие королевы в государственных действиях, конечно, зависит не от ее желаний, а от голосования граждан и решений депутатов. Но только в том случае, если они совершились законным порядком. Королева и есть страж установившегося, приемлемого для большинства, порядка, его прочности и того, что изменения в законах будут производиться законно. Не более, но и не менее. Испанскому королю Карлосу пришлось однажды даже выйти за рамки ритуала и, когда франкисты попытались вернуть себе власть, защитить демократический порядок. В Испании демократия молода. В других европейских монархиях смешные для нас ритуальные церемонии напоминают о правопорядке пассивно. Там король — привычное воплощение законности.

Не обязательно им быть королем. Президент Германии обладает властью едва ли большей, чем английская королева, но не зря эту должность обычно занимают люди с высокой личной репутацией в стране. Не будь авторитетного президента, не имеющего власти, но ее воплощающего, какие-то группы людей, комитеты или съезды могли бы произвольно менять любые законные установления. Подобные, избираемые депутатами, президенты есть во многих странах. В Чехии — Вацлав Гавел. Может, и России завести такого?

Увы, наша страна слишком разодрана долго замалчивавшимися, а в конце восьмидесятых обнажившимися, внутренними противоречиями. Авторитет ее президента должен подтверждаться волеизъявлением всего народа, без такой опоры он не сможет, даже если хочет, обеспечить стабильность, то есть мирное разрешение постоянно возникающих противоречий, да так, чтобы решения отвечали интересам не одной социальной группы, а стали компромиссными, никому не закрывая возможности быть по-своему полезным обществу. Энгельс, в отличие от Зюганова, Макашова, Кондратенко и других нынешних коммунистов, думал, что нет избранных наций социализма. Сто с лишним лет спустя можно уже признать, что в разумном общественном устройстве, как его ни называй, не может быть избранных классов. Обществу нужны рабочие и крестьяне, хоть число их в развитых странах все сокращается, но нужны и врачи, и учителя, и ученые, и люди, пекущиеся о том, чтобы лучше и дешевле производить необходимое, делая его доступным для всех, а это, — как ни обидно, — предприниматели. Чиновники, сидят они в райкомах, совнархозах, министерствах или еще где, как мы десятилетиями видели, с этим не справляются. Власть одних чиновников, или одних рабочих, или одних предпринимателей, добра стране не приносит.

Общество, прибавившее к паровой машине компьютер, многоголово, и не может быть иным. Но это не повод ему разваливаться. Население большинства субъектов федерации, сколько можно судить, хочет не выхода из нее (как было, даже судя по горбачевскому референдуму, в ряде республик СССР), но лишь реального самоуправления. Президент, избираемый всеми гражданами, служит воплощением добровольного единения. Его власть не должна быть самодержавной, как ныне, но всевластие думы, а точнее ЦК или политбюро партии, занявшей там большинство мест, как мы знаем, не лучше. Демократия складывается в противостоянии властей. Английский парламент, четыреста лет с переменным успехом споря с королями до революции, выучился вести и свои внутренние споры. Настоящий парламент, представляющий личные предпочтения граждан в Думе и их региональные интересы в Совете федерации, нужен России не меньше, чем президент, но демократии он выучится лишь в повседневной полемике с президентом, воплотившим единение страны, которому для этого покамест требуется чуть побольше власти, чем у английской королевы. Но ему надлежит учиться демократии.

Известны два типа демократической президентской власти. При одном, как в Соединенных Штатах, президент сам и возглавляет кабинет министров. Такая власть огромна, — Гитлер, объединив свой пост рейхсканцлера (премьер-министра) с постом рейхспрезидента, стал диктатором. Но в Америке огромной президентской власти переродиться в диктатуру не дают двухпалатная представительная власть и независимая судебная. Три независимые власти там постоянно ограничивают одна другую. Во Франции функции премьера исполняет не президент, а лидер партии, получившей большинство в парламенте, и, особенно если это не партия президента, власть президента там не так велика, как в Америке. Но и там повседневны поиски компромиссов. Никакому правительству, никакому президенту демократия не дает уклониться от оглядки на людей.

Почему же у нас так не выходит? Только ли потому, что власть президента непомерно велика и часто позволяет ему ни с кем и ни с чем не считаться? Но и Государственная Дума не так слаба, от нее зависит и

утверждение премьера и, что еще важнее, утверждение бюджета. Неравенство в том, что президенту легче распустить Думу, чем Думе отстранить президента. И, прежде всего, выборы президента более легитимны нежели выборы депутатов. Однако преобладающая часть Думы добивается умаления легитимности президента, а не прироста легитимности Думы, — твердят, что стране не нужен президент, но не говорят, что стране нужна воистину представительная Дума. А все потому, что уже простое дополнение нынешней избирательной системы вторым туром голосования, проводящимся при выборах президента, но не депутатов, радикально изменит состав Думы, побуждая избирателей к предпочтению кандидатов и партий с более реалистичными и компромиссными программами. Наши политики, за вычетом очень немногих, выступают с неопределенно общими декларациями, одни положения которых противоречат другим, а главное ни слова нет о конкретных способах преодоления кризиса, да их и не найти, пока не понято и не признано, что к кризису привело.

Четко выговорить, что к нему привели бессмысленная гонка вооружений, содержание непомерной армии и военные авантюры, когда и без того хозяйство держалось, главным образом, за счет природных ресурсов, легко доступные источники которых в ходе гонки исчерпались, а разработка новых стоит дорого, — не хотят ни президент, ни Дума. Вот они и не могут ни перестроить хозяйство, ни усовершенствовать армию, а отсюда и прочие беды. Но они себе такое позволяют только потому, что наше государственное устройство не предполагает подлинного взаимного контроля властей в решении конкретных проблем, а третья власть, независимый суд, практически отсутствует. Чтобы исправить положение, надо не упразднить президентскую должность или заменять ее монаршим тронem, а, напротив, сделать воистину представительным парламент, чтобы он отражал волю большинства.

Сегодня в Думу можно попасть, собрав чуть больше пяти процентов голосов от 25% явившихся на выборы, — так получается, если баллотируется двадцать кандидатов, а их бывает и больше. Легко сосчитать, что по отношению к общему числу избирателей число голосов составляющих относительное большинство, может не превышать полтора процента избирателей округа, и манипулировать таким числом нетрудно. Вот и не удивительно, что партия, лидер которой в любых рейтингах собирает всего около 20%, в Думе господствует. Создатели такой избирательной системы воображали, что власти легко будет манипулировать полтора процентами. Но в ходе общего обнищания коммунисты, к тому же единственные, кто располагает действенным партийным аппаратом, справились с этим успешнее, а до выяснения воли более реального большинства, до второго тура, наши парламентские выборы не доходят.

Обрети мы представительную Думу, она бы куда ответственней занималась делами страны, и могла бы авторитетно говорить с президентом, да и ему бы пришлось поделить с ней решение многого, что он решает сегодня единолично, и даже не лично, а по усмотрению своей администрации. Администрация Клинтона это правительство США. А администрация Ельцина это никаким законом не предусмотренный промежуточный орган между президентом и другими ветвями власти. Но такой орган имеет вес, лишь пока другие ветви власти неавторитетны, —

не только Дума, но и Совет федерации, члены которого ныне тоже не избираются, как предполагалось и было поначалу, а занимают места по должности. Лишь пока страна не осознает, что не бывает персональной демократии, и не во власти одного человека, даже если он действительно этого бы хотел, установить в стране демократию вопреки желанию народа.

Это, быть может, главное отличие демократии от тоталитарного режима, который, не считаясь с народом, устанавливает разными способами. Не мы одни испытывали их на себе. Невозможно думать, что большинство народа хотело коллективизации и уничтожения крестьянства, составлявшего это большинство. Другое дело, что люди были разобщены, не могли себя защитить, да и не ждали такого удара. А демократия возможна лишь там, где большинство ее хочет. Предоставить людям самим решать, хотят они демократии в своей стране или, как чеховский Фирс, считают волю несчастьем, — это и есть первый шаг к демократии. Власть обязана лишь не мешать свободному волеизъявлению и обсуждению того, что есть, что было и чем сердце могло бы успокоиться, обязана лишь защищать свободу регулярного выбора от тех, кто ее отнимает. Ничего не гарантирующие гаранты демократию не спасут. Она держится не так на хороших людях, как на хороших и хорошо исполняемых законах. А для этого не единая, все равно — президентская или думская, власть должна противостоять народу, а разные власти друг другу, чтобы не просто делать как лучше, а чтобы не получалось как всегда. То есть нужен и президент, и настоящий парламент, и своевременно отвечающий обществу конституционный суд, и много еще разного. Государство начнет отмирать не скоро, в обозримом будущем без него не обойтись, оттого ему и положен непрерывный экзамен на человечность. Это трудный экзамен для государства с авторитарными традициями, и оно его сдаст лишь простясь с верой в свою непогрешимость, в непогрешимость своих чиновников. Тогда и люди, наконец, вздохнут.

СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ

Политическая мысль начинается с самоотверженности человека, который принес в жертву то, что ему хочется получить из рассуждения, и получающего то, что из него можно получить.

Аркадий Белинков

1

В феврале 1848 года, в Лондоне опубликовали Манифест коммунистической партии, Коммунистический манифест, долго потом все возраставшей части человечества казавшийся пророческой программой. Лишь на исходе минувших с тех пор ста пятидесяти лет стала отчетливой ее несостоятельность. Переубедила не так теоретическая критика, недостатка в которой и прежде не было, как практические кризисы социализма в России и зависевших от нее странах. Мало кто задумывается, чем этот социализм брал, почему захватывал власть не только силой оружия, и почему потерпел крах.

По Марксу люди живут ценностями*, создаваемыми лишь

*/ Важнейшее у Маркса понятие *der Wert* в коммунистической литературе переводилось как «стоимость», хотя слово «ценность» соответствует немецкому *der Wert* чаще. Поэтому, когда в оригинал говорит о

потребительской ценности товара, отличной от его меновой ценности, советская политэкономия говорит о «потребительской стоимости», даром что по-русски это словосочетание не имеет смысла.

физическим трудом. Но достаются они, якобы, не создавшим их рабочим, а другим классам и сословиям, поддерживающим такой несправедливый порядок силой государства. По этой логике численно растущий рабочий класс рано или поздно «экспроприирует экспроприаторов» и, взяв в свои руки управление производством, создаст общество равноправных людей, сперва социалистическое, а вскоре коммунистическое. Маркс ожидал, что это совершится одновременно во всех передовых странах, на гребне высокого технического развития, что пролетариат к тому времени будет составлять большинство, и, стало быть, его диктатура будет как бы демократией, а государство после краткого переходного периода за ненужностью отомрет. Маркс думал, что пролетарская революция, как в свое время буржуазная, силой свергнув органы насилия, станет революцией освобождения. Но ничего подобного нигде не произошло.

Между тем, Маркс не выдумал общественный рабочий класс. Класс наемных рабочих, пролетариев физического труда, действительно, существовал, и в пору сочинения Манифеста его положение было нелегким. Уже в тридцатые годы Англию охватило движение чартистов, требовавших ограничения рабочего дня и других облегчений. Переход от внеэкономического, феодального, общества к экономическому, буржуазному, перевернул отношения «хозяина» и «работника». Прежде их определяли личная, но главным образом, поземельная и судебная зависимости работника. Жизнь шла «по воле лорда и обычаю манора». Когда воля сильно переступала обычай, зрели крестьянские бунты, обильные в средневековье. Но пока до них не доходило, люди различали горизонты своей жизни, пусть ограниченные и однообразные.

С переходом от феодального общества к буржуазному, экономическому, предпринимателя и рабочего связывала лишь коммерческая сделка. Их взаимоотношения стали рыночными, главным их товаром стала рабочая сила, которую рабочий продавал, точнее сказать, сдавал во временное пользование, а предприниматель покупал, и ничто, кроме собственных интересов, не обязывало ни того, ни другого, сделку продлевать или разрывать. В отличие от самого нищего крестьянина прежней эпохи, рабочий не знал, что ждет его завтра, и не мог не заботиться о завтрашнем дне.

Марксу казалось, что в экономическом обществе у рабочего не может быть прочной защиты, поскольку рынок свободен, а вне рыночных обязанностей ни у кого нет. И он считал, что экономическое общество надо разрушить и заменить «более прогрессивным», пусть даже внеэкономическим. Чтобы не экономическая стихия, а доверенные товарищи, «свои братишки», определяли судьбу людей и общества, «делали, как лучше». Основоположник не входил в то, что научно-техническому развитию, на которое надеялся, опору дает лишь экономическая свобода. И не беспокоился, что доверенные товарищи могут злоупотребить доверием, и последствия будут для общества пагубны. Но в отличие от последовавших за ним товарищей он некоторые условия желанного ему прогресса, которыми они потом пренебрегли, оговорил жестко. Он считал возможным революционный переход к социализму и коммунизму лишь во всех развитых странах одновременно и

лишь тогда, когда рабочий класс составит большинство населения. Чего ни при нем, ни потом, нигде и никогда не было.

Впрочем, вдохновленные Марксом социал-демократические партии, и самая близкая ему Германская, занимались не так сокрушением существовавшего строя, как конкретной защитой прав и интересов рабочих. Не только в Готской, нещадно раскритикованной Марксом, но и в Эрфуртской программе немецких социал-демократов, и речи нет о диктатуре пролетариата. Да и Парижская коммуна, едва ли не единственная в XIX веке серьезная попытка опрокинуть буржуазный строй, предпринятая, к тому же, при поражении в войне, не посягала на коренное уничтожение частной собственности, основы экономических отношений.

Карл Поппер говорил, что капитализм, который имел в виду Маркс, «никогда и нигде не существовал». Дело, однако, не только в том, что, как показал Поппер, неверен оказался закон абсолютного обнищания пролетариата, провозглашенный Марксом. Неверным было уже провозглашение физического труда единственным источником ценности. Ныне заметнее, что сама природа – источник ценности, поскольку целые страны (включая нашу) живут за счет полезных ископаемых, ныне более необходимых производству, чем прежде, и обретают ценности не только потому, что эксплуатируют в шахтах и на рудниках физический труд, как объяснял Маркс, а потому, что цены ископаемых, собственности государства или даже какого-то правящего шейха, растут. Владение такими сокровищами ныне ощутимо сказывается на экономике.

А пахотная земля и прежде, вопреки Марксу, была таким сокровищем и источником ценности. Но он верил, что даже лучшее качество земли лишь повышает производительность труда, но само источником дополнительной ценности не служит, хотя очевидно, что без этого ее лучшего качества никакой дополнительный труд не создал бы дополнительной ценности. Маркс, видимо, все же ощущал в своих раздумьях о земле нескладицу. Во всяком случае, трижды переписав главу «Капитала» о земельной ренте, не счел работу завершённой.

Но самым существенным пробелом было отрицание умственного труда, как источника ценности. Техническая мысль, формировавшая промышленное оборудование, была по Марксу как бы бесплатной, обретаемой раз навсегда. Расходы на оборудование он рассматривал как *постоянный* капитал, в отличие от расходуемого на покупку рабочей силы *переменного*. Мысль, что придут дни, когда оборудование не будет стоять на заводах десятилетиями, а придется его часто и даже непрерывно обновлять, и постоянный капитал тем самым обратится тоже в переменный, расходуемый на приобретение все нового и нового оборудования, в которое заложены все новые и новые технические и научные открытия, добытые умственным трудом, не шла ему в голову, как не мог он себе представить роль, выполняемую в современном производстве компьютером.

Маркса, жившего в иную эпоху и умершего более ста лет назад, винить в этом смешно. Но пора сознавать, что его теория, вроде уповавшая на технический прогресс, на деле не предполагала размаха такого прогресса, и потому упускала из виду значимость иных, кроме физического труда, источников ценности, в наши дни коренным образом изменивших структуру производства и жизнь общества. Не случайно, вопреки надежде Маркса, пролетариат соблазнился его теорией отнюдь не в странах

буйного технического прогресса, а в отсталых, полуфеодальных. В его недооценке умственного труда и технического прогресса уже заложен Ленин, прямо сказавший: интеллигенция – это говно.

Тут наглядно проступает механистичность марксистского материализма. Еще в Манифесте он сводил классовую борьбу к гегельянскому противоборству противоположностей: «Свободный и раб, патриций и плебей...», закрывая глаза на то, что и патриций, и плебей, - оба свободны, и одновременно оба, хоть по-разному, противостоят рабу, то есть, и античное общество не было двоично. Еще многообразнее социальные противоречия в новое время. Чем дальше развивается общество, тем больше, при внешней унификации, оно дробится, выявляя и противоборства и совпадения интересов все большего числа социальных групп.

Маркс был несомненно прав, ища критерии состояния общества в мере и характере создаваемых им ценностей, пользования ими и отчуждения от них. Более кого-либо он способствовал материалистическому пониманию истории, то есть, пониманию зависимости всей жизни людей от того, каково их хозяйство. Но упрощая связи хозяйства и общества, он, к сожалению, отчасти обесценил свое великое открытие. Уже сама мечта об обществе, не знающем денег, как объективного, пусть лишь сиюминутного, воплощения ценности, неотвратимо вела, -- и в обществах советского типа привела, -- к невозможности объективного учета ценности. Подобные упрощения побуждали многих отмахиваться от материалистического понимания истории. А можно только жалеть, что ни сама теория Маркса, ни общества, сложившиеся под ее знаменами, не стали предметами материалистического понимания, служащего самопознанию общества, а не формулированию идеологии, мистифицирующей происходящее.

Это обнаружилось, однако, не сразу. Сведение социальной борьбы в экономическом обществе к противостоянию угнетателей и угнетенных, по образу и подобию обществ внеэкономических, обусловило слабый интерес к Марксу в развитых странах, особенно в Англии и США, на которые он особо надеялся, ожидая от них перехода к коммунизму мирным путем, без революции. Но и вера в царство божие на земле сперва не мешала социал-демократическим партиям других стран сосредотачиваться на борьбе за практическое улучшение жизни рабочих, о чем, кстати, задумывались уже не только либеральные, но даже и консервативные оппоненты социал-демократов, признававшие роль социальной защиты, как оплота стабильности. А революционная марксистская мифология парила над социал-демократическим реформизмом, как желанный идеал.

2

Заминка, однако, выходила не только с пролетарскими, но и с буржуазными революциями. Казалось, и многим еще кажется, что экономические отношения – маргинальная особенность западно-европейских стран. В большинстве прочих долго еще продолжалось внеэкономическое хозяйствование, не без успеха перенимавшее очевидные достижения экономического и, прежде всего, машины. Феодальные страны не очень вдумывались в общественные процессы, породившие машины и порождаемые ими. То, что паровая машина,

двигатель внутреннего сгорания или электромотор не только избавляли от потребности в рабочем скоте, но и человека в большой мере освобождали от тяжести физического труда и, в условиях свободы, повышали его производительность, было внеэкономическому хозяйству не так важно, как само удовлетворение с их помощью конкретных, особенно военных, нужд.

Русь, при Ярославе Мудром на равных входившая в круг европейских стран, к которому принадлежала искони, после монгольского ига, ожесточения феодальной реакции и установления крепостного права, заново доказывала свою принадлежность к Европе продолжавшимся при Петре насилием. То, что в Англии делали наемные рабочие, свобода которых возрастала, у нас на демидовских заводах делали крепостные, у которых возрастала несвобода. Всюду к востоку от Эльбы, и в Пруссии, и в Польше, вопреки разговорам о неуклонном прогрессе, крестьянская зависимость тоже тогда ожесточалась, кое-где перерастая в крепостную, пусть и не всюду столь полную и тяжкую, как у нас. Когда к западу от Эльбы переходили к экономическим отношениям, остальной мир не просто пребывал в прежнем феодальном состоянии, -- зачастую феодальная реакция, оснащенная достижениями технического западного прогресса, свирепствовала там еще больше. До середины XIX века самодержавие держало такой режим. Связь общего технического отставания с социальным строем у нас проступила в Крымской войне.

После нее стали шире распространяться понятия о либеральных ценностях. Но освобождение крестьян не передало землю земледельцам, что притормаживало и уродовало экономические отношения. Частичные и поздние поправки Столыпина не могли вмиг изменить сущность ситуации. А промышленность, получившая в безземельных крестьянах рынок дешевой рабочей силы, стремительно развивалась. Мировая война усугубила это противоречие, но Временное правительство и после Февраля оттягивало созыв Учредительного собрания, и главный для русского населения России аграрный вопрос оставался неразрешенным.

Тогда и прорезалось различие социал-демократов в буржуазном обществе и социал-демократов при феодальной реакции. Практически ощутив, что либеральные ценности не только не ущемляют рабочих, но как раз и позволяют им защищать свои права, люди заметили, что, вопреки Марксу, экономическое общество -- это не только буржуа и пролетарии, что его структура многофигурна*, и отдельные интересы буржуазии и, как признавал Маркс, отдельные интересы пролетариата, не идентичны интересам общества, как целого, которому экономические отношения дают простор для развития. Устанавливая свою диктатуру, то есть, выдавая свое отдельное за общее, пролетариат сам себя ущемляет. На наших глазах британские лейбористы победили, выдвинув нового лидера, отказавшегося от политики национализации, от государственного управления хозяйством, и выступившего за либеральную экономику, каковую прежде, в борьбе с лейбористами, внедряла Маргарет Тэтчер, за которую, пока она не ввела подушный налог, голосовали многие рабочие.

Совсем иначе эволюционирует социал-демократия при феодальной реакции. Ленин гениально угадал, что, опять же вопреки Марксу, в

* / Многофигурность общества аналогична многополюсности мира, подобно обществу, проигрывающего при разделении на два лагеря, уверенных, что обладают истиной в последней инстанции, и ради нее готовых стереть с лица земли другую «лагерь».

развитом буржуазном обществе пролетарская революция будет не очень-то вероятна, и решил, что она сперва совершится не в передовых, как думал Маркс, а в отсталых, феодальных странах, «в слабом звене», и не всюду разом, а даже в одной, «отдельно взятой», стране. И думал, что хотя пролетариат в этой стране в явном меньшинстве, революции все равно надлежит быть пролетарской и так ее именовать. Его не смущало, что в предисловии к «Капиталу» без обиняков сказано: «Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить --- последние декретами».

Ленин не задумывался, чьей в конечном счете станет «упреждающая» диктатура, и место мифа о захвате пролетарским большинством власти, принадлежащей буржуазии, у него занял расчет на захват пролетарским меньшинством власти, принадлежащей феодальной реакции. Кто фактически будет от лица малочисленного пролетариата брать и осуществлять власть, Ленин рассматривал, как проблему умения, дело ловкости, а не социальной политики. В его сознании демократия была не властью самого народа, а лишь властью во благо народу. Ленин и многие его соратники, вероятно, искренне желали народу блага, но социальные представления большевиков изначально были сугубо феодальными, - как народу жить, по их понятиям должен был решать, если не добрый царь, то мудрый вероучитель и стоящая за ним партия, только не сам народ.

Захватить власть большевики могли (и в Октябре захватили), лишь опираясь на нерастроченный потенциал антифеодальной (то есть, буржуазной) крестьянской революции. Дав крестьянам землю, хоть и не в собственность, но все же в пользование, большевики одним из первых декретов как бы завершали лишь отчасти свершившуюся в Феврале буржуазную революцию. Но одновременно свели на нет ее результаты. Ведь они тут же принялись насаждать «новые» и «лучшие» внеэкономические отношения, не предполагающие частной собственности, то есть, на деле осуществлять старую марксистскую утопию, да еще в волюнтаристской ленинской форме, а крестьяне все же надеялись на переход к экономическим отношениям, хоть и не вполне отчетливо их себе представляя. Уже это обусловило глубокую противоречивость революции 25 октября 1917 года, за которой в ночь на 7 (20) января 1918 года последовал и государственный переворот, разгон избранного уже при большевиках Учредительного собрания, большинство которого составляли крестьянские депутаты. Государство, именовавшееся пролетарским, но осуществлявшее с тех пор диктатуру над крестьянским большинством, уже этим подорвало всякую надежду на свое мирное отмирание в обозримое время, хоть Ленин и повторял: «когда будет социализм, не будет государства». Произошла не революция освобождения, а революция нового принуждения.

Опасаясь, что реставрация отберет землю, крестьяне поддержали большевиков в Гражданской войне, и те продолжали политику «военного коммунизма», поздней объявленного способом справиться с трудностями войны, но тогда понимавшегося как прямое движение к новому порядку. 4 декабря 1920 года, уже после Гражданской, был принят Декрет о бесплатном отпуске населению продовольствия, 17 декабря -- предметов ширпотреба, 27 января 1921 перестали взимать с рабочих и служащих плату за жилые помещения, воду, канализацию, газ, электричество. Плату

за топливо отменили еще 23 декабря. Все это говорит о стремлении организовать единый внеэкономический синдикат, управляемый государством, в котором и создаваемые ценности, и зарплаты, будут как бы общими. Тут тоже заметно, что ленинская воля создать единый синдикат отличается от надежд Маркса на преобразование капиталистических предприятий в «ассоциации трудящихся», вполне утопические, но все же во множественном числе

На продолжение «военного коммунизма» крестьянство ответило «антоновщиной» и Кронштадтским восстанием. Пришлось Ленину отступить и провозгласить Новую Экономическую Политику, то есть,

частично допустить экономические отношения. Даже и весьма стесненные, они повлекли страну отнюдь не к ленинскому идеалу, на что и надеялись так называемые «сменовеховцы», готовые мириться с диктатурой в ожидании эволюционного торжества экономических отношений, и уверявшие себя, хоть и другими словами, что «процесс пошел». Но НЭП, который уже через год Ленин призывал остановить, через несколько лет пресек Сталин, возродивший «военный коммунизм», иначе его оформив.

Как учил Ленин, он уберег единый внеэкономический государственный синдикат, где создаваемые ценности не могли быть измерены, поскольку при полной хозяйственной монополии не стало конкурентного рынка, и объективно необходимое определение ценности (стоимости) товаров было неосуществимо, да и товарами они оставались лишь условно. В этот синдикат вошло и сельское хозяйство, с заново закрепощенными на колхозной барщине крестьянами, лишенными своей земли. Было централизовано административно-политическое и директивно-хозяйственное руководство, и республики СССР, по началу обладавшие хотя бы видимостью урезанной национальной самостоятельности, составили унитарное государство, «единое и неделимое». Сократили заработную плату, создав за ее счет систему более чем скромных выплат по болезни, родам и уходом за новорожденным, заменяющую социальную защиту. Установили пенсии старикам и инвалидам, вскоре, однако, сведенные почти к нулю. Сверх того была создана жесткая карательная система, упреждавшая недовольство. По заветам Ленина Сталин очертил как жить новому внеэкономическому строю, новому феодализму.

Но не стоит обольщаться обличением Сталина лично, -- он лишь выполнял волю сложившегося к тому времени правящего класса, заполнявшего партийный, советский и карательный аппарат и считавшего себя «элитой» общества, чтобы не сказать «новым дворянством». Неверно объяснять трагедию России тем, что ее случайно возглавил дурной человек. Он был, конечно, беспощадным палачом, но поднялся не случайно, а в силу реставрации после революции внеэкономической системы, уже не способной на уступки, которые приходилось делать последним царям. Чтобы выстоять против объективной тенденции к экономическим отношениям, перед которой даже Ленин, новую систему задумавший, хотя бы временно отступал, и нужен был неуклонный палач. Сталин, казня любого члена правящего класса, берег власть и привилегии класса, как целого, не отступая даже перед здравым смыслом. Конечно, это не вело к немедленному крушению лишь благодаря огромному, тогда еще не растраченному, запасу людских и сырьевых ресурсов, которых ни Брежнев, ни Горбачев, не имели...Правящий класс изменился, но уцелел.

Неожиданное развитие российской социал-демократии побуждает вновь и вновь вдумываться в традиционные политические понятия «правое» и «левое». Они, как известно, идут от рассадки депутатов французского представительного собрания, где «правым» сторонникам реставрированной королевской власти противостояли «левые» депутаты буржуазии. Потом на левом фланге располагались мелкобуржуазные и рабочие партии, а крупная буржуазия смещалась вправо. Мы не ошибемся, сочтя «левыми» русских большевиков предреволюционной поры, но нелепо называть «левыми» Сталина и Брежнева, возрождавших феодальные порядки. Да и Ленина, разогнавшего Учредительное собрание, не назначив новых выборов, трудно так назвать. А называют потому, что общество не хочет видеть трансформацию, которую, взяв власть, претерпело коммунистическое движение. Начав с борьбы против феодальной реакции, но подавляя при этом все другие противостоявшие ей общественные слои, прежде всего крестьянство, оно само сделалось новым воплощением феодальной реакции. Любопытно, что Сталин это вполне сознавал. В автобиографических записках «Глазами человека моего поколения» К.Симонов рассказывает, как Сталин, назначая его главным редактором «Литературной газеты», говорил: «Литературная газета», как неофициальная газета, может быть в некоторых вопросах острее, левее нас». Он сознавал, что быть левее означает свободнее, откровеннее говорить о недостатках, то есть, быть либеральнее коммунистической власти. «Литгазета» при Сталине и Симонове не сильно в этом преуспела, но сам диктатор все же различал новых и старых большевиков, хоть на публике помалкивал. А ныне объявляют левыми людей, затыкавших рот народу.

В СССР жестоко отметалось не только «левое» искусство, неперенный спутник «левых» политических движений, но и все вообще требования, предъявляемые «левыми» (в том числе коммунистами) в буржуазных странах, советская власть объявляла их «буржуазными». Да и сама «левая» партия РСДРП /б/, переименованная после Октября в РКП/б/, была при Сталине физически уничтожена и заменена под именем ВКП/б/, а потом КПСС, фактически другой, крайне правой партией, составившей хребет советской тоталитарной системы. В пору дружбы СССР с гитлеровской Германией в 1939-1940 годах функционеры нашей коммунистической и немецкой национал-социалистической рабочей партии легко находили общий язык. Немецкие партнеры даже прямо говорили о близости партий, их целей и методов, а советские напирали на стремление покончить с плутократическими режимами, то есть, с западными демократиями. Нынешние коммунисты Зюганов, Анпилов или Тюлькин, жаждущие вернуться к феодально-авторитарному правлению, тоже явно «правые», не зря они заодно с шовинистами. Но советское мифологическое сознание и сегодня живо, вот их по-прежнему и зовут «левыми» не только сторонники, но и противники.

Жесткий кризис испытываемый страной с конца семидесятых годов был непосредственно вызван тем, что правящий слой внеэкономического хозяйства, полагаясь на неисчерпаемость людских и сырьевых ресурсов, между тем сокращавшихся и дорожавших, не считался с затратами, не соотносил цели с возможностями, надеясь, как привык, возместить недостающее насильем. Вместо обеспечения достаточной самообороны он стремился к военному превосходству над остальным, вместе взятым

миром, да еще ввязался в афганскую авантюру, и это вконец разорило страну. Иначе советская власть еще бы какое-то время держалась.

Но главной причиной ее обвала была все же научно-техническая революция, которая не могла в полной мере осуществиться в консервативной стране с внеэкономическим хозяйством, нормативной идеологией и крайне правым, реакционным руководством. Помешав ради ядерного оружия разгрому физики Эйнштейна и Планка, в которую, вслед за генетикой, уже целились партийцы физического факультета МГУ, руководство партии само разгромило кибернетику и затормозило развитие электроники, военное значение которых не меньше. Нет оснований подозревать Сталина в том, что он тогда, -- как и расстреливая перед тем верхушку армии, -- сознательно подрывал обороноспособность страны. Но объективные качества общественного строя сильнее, чем воля и хитрость всемогущего диктатора, и он не в состоянии перехитрить порядок, который сам насаждает и охраняет.

До 1985 года правящий слой упорствовал, не желая ничего менять, и лишь перед угрозой немедленного краха выдвинул Горбачева, провозгласившего перестройку.

3

Часто спрашивают: «Что делать?» и верят, что если задача поставлена, все образуется. Как известно, «нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». И порой в самом деле брали! Да только триумфы зачастую выходили отечеству боком, и люди опять спрашивают: «Что делать?» А надо бы глядеть, *что делается*, какова объективная жизнь, какие нужды, интересы и силы ею движут.

Люди издавна сообразуют свои цели не с реальностями, а с идеалами. Нынче говорят: «всем известно, как перейти от капитализма к социализму, но никто не знает, как перейти от социализма к капитализму». Но какие идеалы ни предпочти, реальная история идет по принципу: шел в комнату, попал в другую. Однако, мало кто задумывается над печальным опытом Маркса и Ленина, приведших явно не туда, куда обещали. Их считают злоумышленниками.

Отходя от Маркса, мифологизировавшего связи хозяйства и общества, наши реформаторы не противопоставили его мифологическим мотивам реальные. Подобно тому, как большевики, строя заводы, уверяли, что строят социализм, ныне, строя банки, уверяют, что строят капитализм. До выяснения того, как действуют заводы и банки, как и чем влияют на остальное хозяйство и каково при этом его совокупное влияние на стоимость рабочей силы, а этой стоимости на платежеспособный спрос, а этого спроса на производство и, в конечном счете, на общество, дело не доходит. Власть лишь старается сбалансировать находящуюся в обороте денежную наличность с товарными запасами, и главные ее методы – вздувание цен и невыплата зарплат.

Пустые прилавки при полных карманах выглядели, конечно, хуже, чем полные прилавки при пустых карманах, но дальше создания видимости изобилия реформы не продвинулись. Прежде государство уверяло, что заниженную цену рабочей силы оно с лихвой компенсирует добавкой из «общественных фондов» и разными льготами. Теперь оно сократило фактические зарплаты, взвинтило цены и ликвидирует льготы, приближая рыночную оплату товаров к их реальной стоимости, что было бы

прекрасно, не будь из их числа молчаливо исключен главный товар экономического общества – рабочая сила. А это, при всех формальных новациях, наш старый советский обычай, лишь практикуемый ныне откровеннее, без фиговых листков социализма.

Чтобы его преодолеть, надлежит, прежде всего, на деле отделить хозяйство от государства. Внеэкономический порядок держится государственным управлением хозяйством. Державники неистовствуют вовсе не потому, что их либеральные оппоненты, якобы, хотят упразднить государство, да в обозримой перспективе такое и невозможно. Нет сегодня речи и об отстранении государства от воздействия на экономическую жизнь, как целое. Спор лишь о том, быть ли государству собственником и распорядителем хозяйства или только внешней по отношению к нему силой, регулирующей лишь общие условия и правила ведения хозяйства. В качестве такой внешней силы государство способно объективно оценить хозяйственную ситуацию в стране и выразить интересы общества, а не только правящего слоя государственных чиновников, управляющих нашим якобы общественным хозяйством в собственных интересах.

Стремление внедрить экономические отношения всегда наткнулось на сопротивление внеэкономически правящего класса. Он сорвал даже скромную реформу Косыгина, стремившуюся как-то соотнести хозяйственный механизм с реальностью. При освобождении крестьян большинство помещиков не хотело наделять их землей и сокращать повинности. Феодально-чиновный правящий класс не хотел экономической жизни. Пока в дело не входят новые социальные силы, реформы вершат лишь в той мере, в какой они не умаляют привилегии прежних господ.

Но и формирование новых социальных сил невозможно без определенных условий, прежде всего, без либеральной хотя бы в экономике власти. При сталинско-брежневском тотальном хозяйстве новым силам неоткуда было взяться. Неудовлетворенность своей участью порождает недоверие и даже сопротивление режиму, но не конструктивную программу реформ, которой и не оказалось ни у Горбачева, ни у Ельцина. А либеральная программа давно разработана общим опытом разных народов. У ее истоков стояли еще Локк, Монтескье, Вольтер, Адам Смит, Руссо и Кант с понятиями нравственно свободной личности и ее моральной ответственности.

В число источников либерализма входят два из трех признанных источников марксизма – английская политэкономия и отчасти немецкая классическая философия, но стоявшие за либерализм французы не все были социалисты. Либерализм опирается на свободу личности, поскольку лишь гарантированная личная свобода позволяет отдельному человеку вместе с другими отстаивать групповые, классовые и национальные интересы, повседневно контролируя их соответствие личным. Свобода личности включает в себя не только право на частную собственность, но и другие права всех участников общественных отношений, в том числе наемного рабочего, как продавца своей рабочей силы. Поэтому либерализм одинаково чужд и консервативным феодальным, и фундаменталистским социалистическим силам, отвергающим, хоть и под разными знаменами, продажу рабочей силы, как основу экономических отношений, и этим, сознательно или бессознательно, защищающим принудительный труд. Само срастание феодальных и социалистических

тенденций вызывало в подневольных людях советского общества тягу к либерализму, как спасению от тоталитарной системы.

Спасение в том, что свободный труд эффективнее принудительного. Общественный строй, служа хозяйственной эффективности, развивает социальные институты, противящиеся внеэкономическому принуждению, крепящему феодализм и социализм. Мера отхода от внеэкономического принуждения и служит мерой либеральности общества. Недостаточно демократически избрать органы власти, крепостные легко проголосуют за барина, а демократическое общество предполагает волеизъявление свободных людей, то есть, либерализм, свобода, – обязательное условие демократии. Без либеральных ценностей и свободы нет демократии.

Первый постулат либерализма – множественность общества, прежде всего хозяйственная. Не так важно, противостоит ей феодал-латифундист, капиталистическая монополия или социалистический государственный синдикат. Освобождение крестьянства от феодальных зависимостей одновременно было становлением множественности независимых крестьянских хозяйств. Еще до появления наемного фабричного рабочего свободный крестьянский труд на своей земле был выражением ценности рабочей силы, хоть еще и не обособленной от ценности земли, на которой труд совершался, еще не выступавшей отдельно, как товар. Не напрасно либерализм первоначально взывал к природному человеку, свободно работающему на земле. При всей исторической наивности такого подхода в нем просматривается позднейшее осознание ценности рабочей силы.

Соответственно, сегодня первым шагом либеральных реформаторов должно стать восстановление крестьянского землевладения. Начальный переход к нему мог совершиться путем безвозмездной передачи земли крестьянам в собственность, кое-где в обмен на уже признанные колхозные паи или, если они еще не признаны, прямым выделением пахотной земли, которой, кстати, у нас на душу населения больше, чем в любой стране. Владельцами таких участков по преимуществу бы, понятно, стали нынешние деревенские жители. Лишь небольшую их часть составили бы люди, утратившие связь с землей, но способные доказать, что она была конфискована у их отцов, дедов или прадедов.

Иные новые землевладельцы захотели бы свои участки продать, и это стало предлогом не возвращать крестьянам землю. Уверяли, что иностранцы или банкиры скупают всю Россию. Между тем, нет ничего легче, чем законодательно оговорить право на покупку пахотной земли лишь за гражданами России. Сверх того, хоть в этом и нет нужды, на какой-то срок можно бы даже оговорить обязанность владельцев так или иначе лично участвовать в обработке земли, а в противном случае ее продать. Подобных оговорок достаточно, чтобы закрепить землю за отечественным крестьянством. И если земля ему еще не возвращена, то только из обоснованных опасений правящего класса, что миллионы свободных крестьян-землевладельцев, имея ее, будут, как и до 1929 года, желать реальных экономических отношений.

От аналогичного подхода выиграла бы и промышленность, где рабочая сила была бы, наконец, и в России оценена по достоинству. «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину», - поет русский рабочий в стихах Некрасова. Откуда у англичан гуманность и почему у нас не хотели «работе помочь»? Изобретатели ведь являлись и у нас. Конечно, паровая машина Ивана Ползунова была несовершенна, сам он

умер, не успев ее завершить, но почему никто не продолжил его дело? Да потому, что оно было личным самовыражением его таланта, но еще не общественной потребностью. Владельцы крепостных мужиков менее всего хотели их работе помочь. А в Англии машину Джеймса Уатта никакие крепостные мужики заменить не могли, их там просто не было.

Приходилось нанимать рабочих и платить. Машина там выступила не как воплощение мудрости или проявление гуманности, а как способ достижения преимуществ в экономических отношениях, с утверждением которых, вопреки Марксу, уровень жизни рабочих не падал, а подымался.

Причиной его роста на западе стало конкурентное частное производство, а наши реформаторы всё не дают ему никаких гарантий. Ограничились акционированием госпредприятий и допущением частных лиц в финансово-банковскую сферу, при сохранении руководящей роли за государством, то есть, за чиновником. Частное производственное предпринимательство, подобно частному крестьянскому землевладению, у нас не защищено, хоть это укрепило бы хозяйственную множественность.

Наша страна обладает и большими запасами сырья, которое, увы, как прежде продают за рубеж в сыром виде, и грамотной рабочей силой, но у нас по-прежнему нет недвусмысленных законов, обязующих власть и, прежде всего, так называемые правоохранительные органы, безвозмездно охранять частную собственность вообще и частное производство в особенности. Зато конфискационное мышление нашей власти, всегда норовящей отобрать у граждан и личные сбережения и заработки, еще никуда не ушло, и граждане России постоянно его ощущают. С заработка свыше двадцати тысяч новых рублей в год ныне взимают дополнительный налог. То есть, рабочий с неработающей женой и ребенком, получающий в месяц меньше полутора тысяч (прожиточный минимум на каждого члена семьи) представляется нашей власти богачом, у которого каждый заработанный сверх этого минимума рубль она норовит обложить повышенным налогом. Экономическая политика власти возбуждает не стремление сделать больше, чтобы честно заработать больше, а стремление не превышать минимум, оплату сверх которого отберут.

Нуждаясь в инвестициях, власть охотно берет на западе займы у правительств и международных банков, но плохо способствует созданию у нас частных иностранных предприятий. А это шло бы на пользу рабочим, которые, получая там меньше, чем западные коллеги дома, получали бы много больше, чем отечественные коллеги на госпредприятиях. Оно пошло бы на пользу и нашему государству, поскольку западные предприниматели были бы честными налогоплательщиками. Оно пошло бы на пользу стране, налаживая в ней современные предприятия. Пошло бы оно, хотя бы по началу, на пользу и отечественным инвесторам, которым западные проложили бы дорогу. Но власть не хочет независимых предпринимателей и независимых рабочих, подобно независимым крестьянам, дорожащих экономическими отношениями и обеспечивающими их либеральными ценностями.

Говорят, что последние чужды русскому менталитету. Словно проживающий в США миллион этнических русских (не говоря о других выходцах из России) прозябает на дне, а не врос в благополучные слои. Многие нынче в России, конечно, опасаются экономических отношений, но это не национальная, а социальная особенность менталитета, ведь таких отношений семьдесят лет не было вовсе, они преследовались в уголовном

порядке, да и сейчас по существу их нет. И крестьян, и рабочих, и предпринимателей у нас сознательно удерживают в круговой зависимости от государства, даром что именно она побуждает и тех, и других, и третьих требовать у государства постоянные субсидии, поскольку заработанное выплачивают не полностью.

Такие социальные структуры, как свободное крестьянство, свободный рабочий класс, свободное предпринимательство в социалистическом государственно-монопольном синдикате просто отсутствовали. Их надлежит создавать заново. Но корпус научных работников, вопреки произволу советской власти, существовал и при ней, и во имя перехода к экономическим отношениям достаточно было укрепить его социальный фундамент. Научный потенциал России, служивший, главным образом, военному производству, но не каменной стеной отделенный от гражданских приложений, мог бы стать для нашей формирующейся экономики важным источником ценностей, хотя бы в виде патентов или наукоемкой продукции для мирового рынка. Но советская уверенность, что умственный труд ценности не создает, лишь требует расходов, и тут удержала наших реформаторов от серьезных реорганизаций в пользу науки, хоть помог бы уже минимум, не чересчур радикальный.

Зато вздыхают над «утечкой умов». Но в утечке умов отъезды ученых --- не главное. Она началась с того, что умы пропадали в отечестве зазря, поскольку доступ к занятиям наукой ограничивали и беспартийностью, и социальным происхождением, и наличием репрессированных родственников, и этнической принадлежностью и многим другим. При разработке ядерного оружия Сталин, правда, пренебрег своими принципами «подбора кадров», и еврей Харитон, и беспартийный Сахаров, сыграли там важнейшие роли. Но и это не побудило навсегда «поступиться принципами». А только, опять же, либерализм, то есть уважительное отношение к личности, готовность ее ценить, а не твердить, что «незаменимых нет» и Россия без любого обойдется, повели бы к сокращению «утечки умов».

Словом, важнейшие сферы хозяйства, нуждающиеся в социальных преобразованиях, без которых экономические отношения не работают, у нас не осознаны, что и лишило рационального содержания мероприятия, проводившиеся в виде реформ.

4

Что же остается, когда марксистская фразеология отброшена, а либеральные реформы сведены к другой фразеологии? Да то и остается, чторосло под прежней фразеологией, но ей уже не под силу это объяснить и оправдать. Уважение к основоположнику, именовавшему себя гражданином мира, плохо совмещалось с идейной борьбой против отечественных граждан мира (космополитов), и много еще было конкретных несоответствий меж коммунистическими пророчествами и советской практикой. Когда над Москва-рекой, неподалеку от Воробьевых гор, уже переименованных в Ленинские, выстроили особняки для членов Политбюро, москвичи называли новый поселок «Заветы Ильича». А официально звучали призывы превратить Москву в образцовый коммунистический город. Ныне старый призыв померк, и Москву выставляют образцовым капиталистическим городом.

Может показаться, что в этом больше правды. Город застраивают по модным зарубежным образцам, на каждом углу мелкий местный бизнес и даже улицы подметают. Западные люди на эту видимость поддаются и, при всем скепсисе к происходящему в России, для Москвы делают исключение, видя в ней свидетельство реформ. Это их забота. Нам же московское исключение любопытно не как набросок будущей России, которой, увы, для такого разворота не достанет денег, но как идеал официальной власти, и не только столичной.

При всех распрях с федеральным правительством московская власть в главном с ним единомышленна. Она тоже знает, что общегосударственному синдикату уже не продохнуть, и не льстит на оправдывавшую его прежнюю идеологию. Что в Москве у власти демократы, нам доказывают от противного, то есть, заверениями, что в Москве у власти не коммунисты. Лужков и впрямь в некотором роде не меньший реформатор, чем Чубайс, с которым он постоянно полемизирует. Его идеология еще меньше сосредоточена в словах, только в поступках, из которых ее приходится вычитывать. А так-то он старается накормить и обогреть жителей и, соответственно, его облик – облик рядового москвича, не дурака и не простофили. На голове – кепочка, он играет в теннис, как президент, но в футбол тоже, -- коренные москвичи больше любят футбол.

Между тем, споры Лужкова с Чубайсом – не склока чиновников разных ведомств. У каждого своя концепция выживания правящего класса и сохранения внеэкономического порядка, вынужденного ныне, как в 1921 году, приравниваться к экономическим категориям. Лужков на подведомственном московском пространстве заменяет рушащийся общегосударственный синдикат самостоятельным московским, и, как его распорядитель, пусть по советскому обычаю прямо не числимый ни монопольным собственником, ни держателем контрольного пакета акций, вынужден спорить с федеральной властью, тяготеющей к иной модели, чтобы иными средствами удержать в руках господство над хозяйством всей России. Это спор о неизбежном при продлении внеэкономического порядка феодальном дроблении империи. О том, дробиться ли ей на обособляющиеся территории, как при распаде Киевской Руси или насаждении совнархозов, призванных вытащить страну из кризиса, в который завел еще Сталин, или все-таки держаться за подхваченную Сталиным ленинскую верховную хозяйственную власть, лишь прорубая в ней щели, чтобы не задохнуться.

Речь, однако, не об эксперименте по выбору более продуктивного варианта, а о коренных противоречиях общего и отдельного. Московский вариант возможен лишь там, где не стесняет удавка безденежья, недостаток оборотных средств, да и само хозяйство имеет, как говорят, свою специфику. Не поддадимся популярному соблазну изображать Москву городом бездельников и чиновников. Здесь работают крупные заводы и институты высокого класса, не говоря о вузах, музеях, театрах, издательствах и прочем. Лужков не лжет, уверяя, что Москва вносит в госбюджет треть, если не больше, его доходной части. Он только не признается, каким достатком она располагает и откуда он берется.

Глазом не моргнув, Лужков требует компенсации за выполнение Москвой столичных функций. А именно статус столицы дает Москве простор для быстрого обогащения, начиная с интенсивного строительства гостиниц для приезжих деловых людей. Переместись столица России по

географической справедливости, скажем, в Томск, одинаково отдаленный от Петербурга, Краснодара и Магадана, - рубежных точек России на северо-западе, юго-западе и Дальнем Востоке, или даже в нашу историческую столицу Владимир-на-Клязьме, раз уж Киев остался Украине, Москва тотчас бы лишилась этих доходов, сильно превышающих затраты на строительство и обслуживание гостиниц. Но еще существенней, что она лишилась бы и доходов, предопределенных столичным статусом не в бытовом, а в политическом ракурсе.

Зарубежные дельцы, плохо разбирающиеся в соблазнительной российской перспективе, полагают, что под боком у президента больше, чем где-либо, шансов, что их вложения не будут конфискованы или разворованы. Если простуда президента, если каждый его чих, на который, как известно, не наздравствуешься, вызывает падение российских ценных бумаг на 10%, не странно, что в Москве застревает от 70% до 85% всех денег, поступающих из-за границы.

Но и это не все. Заинтересованная в спокойствии столицы федеральная власть подкармливает ее куда более мощными внебюджетными поступлениями, чем могли бы быть бюджетные прибавки. Фирмы, держащие конторы в Москве, живя доходами от продажи сырья, добытого в дальних краях, могут платить налоги в Москве, где они отчасти перепадает и городским властям, а отечественные Кувейты, из которых это сырье черпают, пребывают по-прежнему в нищете, не имея средств даже на обновление технологии добычи.

Пользуясь такими и другими преимуществами, московские банки сильнее всех других. Даже в хозяйственных делах Питера их доля превышает долю местных, что уж говорить об остальной стране! Весь этот обильный приток денег возвращает столице привилегии, которые давала советская административная система. Не оспаривая деловитость московского мэра, стоит видеть, что привилегии Москвы и ее жителей вызваны все же не так его усердием, как статусом имперской столицы.

Столица, как и раньше, у нас не просто административный центр, но метрополия, вознесенная над империей. А империя, как многие, начиная с Карла Великого, у нас не национальная или, точнее, не ставшая национальной, какой старалась быть при Александре III, хоть Сталин тоже внушал русским, что их положение лучше, чем остальных, они, дескать, первые среди равных, и именно их язык и культуру навязывают другой половине жителей СССР. Но все знали, что уровень жизни покоренных эстонцев или литовцев не уступает уровню жизни русских даже на Кубани или на Дону, а если равнять с Орловщиной, не касаясь еще более бедных областей, выходило, что первые среди равных нередко живут чуть ли не хуже «последних среди равных». Ссылаясь на это, порой уверяют, что империи у нас и нет. Но феодальная империя держится не чисто этническими привилегиями, в ее господствующее сословие, как меньшинство, допускаются и выходцы из покоренных народов, -- татарское происхождение многих русских дворянских фамилий общеизвестно. А на территории, где правящее сословие по той или иной причине концентрируется, и, в частности, в столице, какие-то привилегии перепадает и прочим жителям. При советской власти Москва стала такой привилегированной территорией. За успехом и лучшей жизнью туда стремились из прежней столицы империи, Ленинграда, тоже удержавшего некоторые, хоть и меньшие привилегии.

Перебираясь в 1949 году из Москвы, где по окончании Университета я безуспешно обходил отделы кадров в поисках работы, в Ленинград, где получил работу отец, незадолго перед тем, как генетик, уволенный вместе с еще тридцатью коллегами из Академии Наук, я разговорился в паспортном отделе милиции со стариком, который овдовев перебирался к сыну, работавшему в закрытом институте. Но принесенные ходатайства не удовлетворили начальника паспортного стола, который, впрочем, обещал старика прописать при подаче еще какого-то ходатайства. Заходя в кабинет лишь с собственноручным заявлением, я ничего хорошего не ждал, но майор, хоть и не слишком любезный, заглянув в мой паспорт, тотчас подписал заявление и сказал, что завтра я могу получить паспорт с пропиской.

Старик меня ждал и, удовлетворив любопытство, сказал: «Это потому, что вы – москвич, а я из Казани. Москвичам везде у нас дорога!» По этой фразе он мне и запомнился. Действительно, получив прописку и став ленинградцем, я опять, как в Москве, оказался для отделов кадров прежде всего евреем, и больше года найти работу не мог. А для майора милиции, особых указаний на сей счет еще не имевшего, я был прежде всего москвичом, и в силу этого имел явное право на менее ценную ленинградскую прописку. Конечно, сегодня административная вертикаль не такая железно, и меня, возможно, не прописали бы, даром что нынче прописка теоретически отменена. Но отчасти сознательно, отчасти, не задумываясь о последствиях, Москве и ныне внеэкономически создали привилегированные условия для обогащения отнюдь не производством больших ценностей, то есть, позволили по-прежнему жить за счет других.

А при мощном денежном притоке, позволяющем жить лучше других, Москва уже не так остро нуждается в либеральных реформах, нужных для более эффективного ведения хозяйства. И в августе 1991, и в октябре 1993 можно было думать, что значительная часть москвичей склонна к демократии, Но в ходе недавних выборов городской Думы люди голосовали по списку, который без стеснения опубликовал мэр, то есть выборы фактически проходили так же, как некогда выборы в Моссовет или Верховный Совет, с тем лишь печальным отличием, что тогда выбирали «из одного», не имея другой возможности, а ныне выбор вроде немалый, и все же люди слепо следовали указанию начальства. Это не только свидетельствует об откате значительной части столичных жителей от демократических стремлений, но подтверждает, что откат совершился вследствие предоставленных Москве внеэкономических преимуществ.

Искусственное обогащение привело Москву к открыто антилиберальному курсу, не сводящемуся к грубым угрозам Лужкова той или иной иноязычной диаспоре. Лужков – не отец антилиберального курса, а его работающий сын, и не стоит обольщаться разоблачением культа его личности. Культ личности, как и в случае Сталина, -- следствие, а не причина того, что либеральные реформы захлебнулись, не свершившись.

Но московский пример привлекателен для других субъектов федерации. Они не прочь взять в собственность все, что было на их территории общегосударственным. На этом пути области, менее Москвы склонные к демократии, еще быстрее с таковой расстанутся. Но если Москва воспаряет над остальной Россией, что дарует федеральным властям покой, то другие таким путем лишь увеличивают угрозу феодальной раздробленности и конфликтов с центром, теряющим

положение советского собственника всего и вся, не дающее, однако, без либеральных реформ рычагов воздействия на хозяйство.

Разоблачители тяги к сепаратизму не различают стремление людей к самостоятельности, к частной жизнедеятельности и преодолению постоянного диктата, и стремление местных властей к неограниченному распорядительству на доставшейся территории по примеру Лужкова. Конечно, Москва увешана частными вывесками, в сфере обслуживания и в торговле частник активен, да и акционирование предприятий, если не выяснять у кого контрольный пакет, придает им вид приватизированных. Эта хозяйственная сфера подкармливается городской властью, ею управляющей. Но как раз такой сословно-групповой сепаратизм и ведет к превращению субъектов федерации в хозяйственные синдикаты по образу и подобию вчерашнего СССР. Сегодняшняя Москва, хоть без прежней откровенности, подает пример поддержания прежних порядков в обновленных формах. Между тем, бесспорное право на самостоятельность, особенно национальную, не отменяет главный принцип либерализма – отделение хозяйства от государства, и отнюдь не только от огромного и централизованного. В самой крохотной единице государства необходимо обеспечить условия для открытых экономических отношений, а успешным распорядительством, порой удававшимся даже партийным органам, отсутствие таких условий не возместить.

Беда не в том, что бывшие советские республики стали самостоятельными государствами, а субъекты Российской Федерации порой строптивы, но в том, что взаимовыгодные рыночные отношения с ними и меж ними часто пресекаются, то завышенными таможенными сборами, то налогом на добавленную стоимость, лишь недавно, слава богу, отмененным на украинской границе, а то и просто монопольным ограничением внутриобластной торговли. А страну удерживают единой либо оккупационные войска, либо общий рынок, третьего не дано.

Любители на словах постоять за российское единство тяготеют к первому, доказавшему свою пагубность, варианту. Второй для них неприемлем, поскольку предполагает либеральные нормы, то есть свободное передвижение всех товаров внутри федерации и большинства за ее пределы. Вот бы нам по примеру Европы внедрять, для начала хотя бы в исторически тяготеющем к России пространстве либеральные нормы взаимной торговли, преграждая путь преимущественно наркотикам да скверному спирту. Да и внутри федерации вряд ли разумно дробление ее русской части чуть не на семьдесят, главным образом, мелких субъектов. Объединение их, сообразно историческим традициям, скажем в двадцать и даже менее того крупных субъектов уже внутри каждого способствовало бы более активным экономическим обменам. Но, совершая роковой выбор: свободное экономическое развитие или внеэкономический «порядок», власть предпочитает последний, ведь им она и держится, даром что в ущерб стране.

Вместо заботы о реорганизации и обновлении армии, охраняющей рубежи отечества, ныне пополняют и укрепляют внутренние войска. И не удивительно, что московский мэр первым одобряет призывы пускать их в ход для нанесения «упреждающих» ударов по непокорным согражданам, предоставляя стране расхлебывать все, что воспоследует.

В общественной жизни, как и в науке, без информации и обмена мнениями, без свободы слова и печати, сознание скудеет. Власть пресекает информацию не только прямыми запретами, но и тем, что сама часто не в силах выговорить, в чем состоит ее политика, и признать, чему она служит. Пока нет голода, власть обходится без свободы печати.

Коммунисты, национал-патриоты и московские прагматики находят меж собой различия, но и при них едины в отвержении либеральных норм поведения. Однако различие либералов и псевдо-либералов, заполнивших политическую сцену, не создается. Спорят не о принципах, а о лицах, за которыми истинный предмет полемики смутно угадывается. Газеты и телевидение обсуждают не оптимальные пути хозяйствования и годное им устройство общества, а новые компроматы. Катехизис прежней идеологии заменен темными недомолвками, вуалирующими реальность.

Одним из самых скандальных было «книжное дело» Чубайса и его сотрудников, сочинивших «Историю приватизации в России». Люди, не слишком сведущие в авторском праве, выясняли, почему аванс платят до выхода тиража, и шумели о размерах гонорара, объявляя (но не считая нужным доказать), что под видом гонорара дана взятка. Самого Чубайса президент защитил и еще на какое-то время оставил в правительстве, а его менее виновных, даже если счесть подозрения за доказательства, соавторов уволили якобы по нравственным соображениям. Но если за коллективную безнравственность наказывают рядовых, а главаря лишь журят, поскольку он, дескать, занят важной работой и, вообще, придает власти импозантность, под сомнение ставится нравственность самой власти. Ничего свидетельствующего об уголовных и нравственных грехах Чубайса или Казакова или Бойко по «книжному делу» не предъявили.

Вот и задумываешься, кому оно выгодно. Говорят, каким-то финансовым группам, обделенным при очередной приватизации. Но если бы выгадали лишь частные лица, президент, приличия ради, потребовал бы более веских предлогов. А раз не потребовал, да еще Чубайса выгородил, дело, видимо, в другом, -- в нежелании выносить из избы не надуманный уголовный, а реальный политический сор, то есть, обнажать политические, а не просто корыстные, распри внутри самой власти.

Конфликт обнажился при продаже акций «Связьинвеста», полученных ОНЭКСИМ-банком мимо других покупателей, винящих теперь Чубайса в том, что будущие доходы не делили между всеми, кто помог президенту на выборах. Но Чубайс предъявил алиби, -- он отдал «Связьинвест» тому, кто заплатил больше, как оно и положено. Деталь, подрывающая алиби, в ходе скандала потерялась. А состоит она в том, что ОНЭКСИМ-банк мог заплатить больше других лишь потому, что держал деньги Таможенного комитета, распоряжаться которыми права не имел. То есть, за покупку акций государственной фирмы плачено государственными деньгами, -- в этом соль, а предпочтение того или иного из конкурентов значимо для них, но не для нас. Отдай Чубайс «Связьинвест» Березовскому, а не Потанину, или даже подели поровну меж претендентами, страна не слишком бы выиграла. Но ни Чубайс, ни Березовский, не хотели углубляться в проблему, поскольку ее рациональное обсуждение показало бы, что имеет место не продажа частным лицам государственного имущества, не так

называемая «денежная приватизация», а перераспределение имущества меж разными государственными конторами.

В действительности Чубайс виноват не в том, что у кого-то, якобы, украл или кому-то помог украсть, а в том, что его приватизация – никакая не приватизация, но лишь реорганизация общегосударственного синдиката, позволяющая его отдельным частям действовать более самостоятельно и более гибко. Это разделение всеобщей монополии, государственного синдиката, на полуавтономные части выдают за переход к капитализму. Но, право же, если бы в Штатах остались только «Дженерал электрик», «Майкрософт» и еще пяток подобных компаний, капитализм и там бы прекратился, поскольку он держится на множественном хозяйстве, на множестве средних и мелких фирм, способных вдруг, как тот же «Майкрософт», в ответ на общественную потребность быстро взлететь вверх.

Можно, конечно, заметить, что и там сегодня средние и мелкие фирмы зависят от крупных монополий и даже прямо насаждаются ими, однако эта зависимость сплошь и рядом остается частичной, и отождествлять ее с нашей, круговой, так же неправомерно, как феодальную зависимость французского виллана с абсолютной собственностью русского помещика на крепостного. К тому же, зависимость от одной монополии отнюдь не распространяется на все или большую часть средних и мелких фирм, еще балансирующих меж монополиями, полностью не подчиняясь ни одной. Не зря важнейшую роль в США продолжает играть антитрестовское законодательство. А у нас этого множества мелких и средних компаний в фундаменте экономики не существует, и капитализмом выражают так называемую «семибанкирщину». Но это не капитализм, и они не банкиры, а все те же совслужащие, хоть и с сильно выросшими доходам. Не зря Березовский еще вчера был замом секретаря Совбеза, а Потанин даже первым замом Предсовмина, то есть, сидел на месте Чубайса.

Влияние этих людей на государственные дела неоспоримо, но объясняется не просто их деньгами. ОРТ принадлежит государству на 51% и до последнего времени официально была подконтрольна Чубайсу, ведавшему СМИ, лишь 7% акций ОРТ владел Березовский, но Сергей Доренко, не смущаясь, ежедневно выгораживал Березовского и поносил Чубайса. Влияние Березовского на ОРТ явно определялось не долькой, которой он владеет, а советскими повадками.

Самый спор меж Березовским, Потаниным, Чубайсом и прочими, если и отличается от былых споров внутри советского синдиката, которые под ковром вели Жданов с Маленковым или Берия с Поскребышевым, то только тем, что части синдиката стали автономнее, и новые начальники, в отличие от старых членов Политбюро, могут полемизировать публично и выпускать на потешные бои Доренко и Сванидзе.

Созданием реальных экономических отношений Чубайс занят не больше, чем Лужков. Но Лужков и не скрывает, что стоит за советскую, по существу, политику, только не в марксистско-ленинской обертке, а под сенью храма. Чубайсу же признаться в подобном никак невозможно. Ведь обертка на нем либеральная, он и считается строителем капитализма.

Чубайс мог бы напомнить атакующим его зюгановцам и лужковцам, что он в свое время, ограничив срок действия ваучера, помешал превращению его в ценную бумагу, и тем самым реальному переходу государственного имущества в руки частных граждан. (При выпуске

ваучера было обещано, что по стоимости он превзойдет две «Волги».) Уже сама идея временной передачи в собственность и аннулирования приватизационного чека, если он в кратчайший срок не вложен в инвестиционный фонд, показывает, что понятия нашего главного приватизатора о частной собственности и государственном долге не слишком отличаются от советских.

Чубайс мог бы еще показать, что защищает общегосударственный синдикат от разъедающего сепаратизма куда надежней Лужкова, а доходы Березовского или Потанина грозят целостности России куда меньше, чем территориальные хозяйственные обособления. Но и это выявило бы поддельность его либерализма и оттолкнуло бы демократическую часть избирателей, держащих Чубайса на фоне Зюганова, Жириновского и Лужкова за либерала. Вот псевдо-либерал Чубайс и беззащитен перед своими антилиберальными оппонентами. До времени его спасает то, что уголовные поклепы своей несвязностью, как часто у нас бывает, побуждают думать, что у него не было злого умысла. Да и такие альтернативы, как бывший премьер Рыжков или Предгосплана Маслюков тоже не обольщают.

Провал Гайдара объясняли тем, что ему, дескать, не дали провести реформы. Но почему сам Гайдар не заговорил об этом первым? Почему он, напротив, поддержал сменившее его отнюдь не реформаторское правительство? Почему не указал на президента, имевшего возможность сохранить его на посту премьера, как на виновника отказа от подлинных реформ? Почему на выборах 1993 и 1995 годов не выдвинул последовательную либеральную программу, противопоставив ее политике правительства? Почему не поспешил выступить против войны в Чечне, как это немедленно сделали Ковалев, Явлинский, Панфилова и другие? Почему, наконец, его партия и сегодня поддерживает не оппозиционные либеральные предложения, а псевдолиберальную власть? Этому нет объяснения кроме того, что Гайдар, вполне либеральный в советском режиме, хотел не глубоких преобразований, но лишь рационализации государственного управления хозяйством. То же самое и Чубайс. Оба они настоящие советские люди, и коммунисты зря на них нападают.

Но если в перестроечной и постперестроечной России так и не сложилось стойкое либеральное движение, и мелькали лишь одинокие фигуры, не удивительно, что не произошло коренных перемен и хозяйство не оздоровилось. Удивительно лишь то, что это плохо сознавали, что псевдо-либералов принимали за либералов и даже анти-либералов за буржуазных реформаторов. И ведь не то, чтобы никто не замечал происходящего. Но «свободная» печать и особенно «свободное» телевидение свободно глушили и замалчивали либеральные критические голоса, широко демонстрируя зато коммунистическую критику власти. Им удалось создать впечатление, будто страна разделена лишь на стоящих у власти «либеральных реформаторов» и единственно противостоящую им непримиримую коммунистическую оппозицию, и кто не хочет возврата коммунистов, должен поддерживать псевдо-либералов, от коммунистов почти ничем уже не отличающихся. Последовательно либеральную, шедшую за Сахаровым, оппозицию псевдо-либеральной власти упорно изымали из массового сознания, а еще при Горбачеве надеялись на нее.

Экономические отношения создает не госкорпоративность и не губернаторизация собственности по Лужкову. Их создает массовая

людская инициатива, если, конечно, у нее есть твердые правовые гарантии, позволяющие строить новые отечественные и допускать иностранные производства, которые потянут за собой старые, побуждая их тоже производить современные конкурентные товары. Для этого и нужна либерализация, но не одних только цен, а всей экономической жизни, и потому не сводящаяся к дележке. Люди, недовольные псевдо-реформами Ельцина, Гайдара и Чубайса, упустивших шесть лет для создания новой экономики, и не замечавшие оппозиционной активности подлинных либералов, разочаровались в самой возможности плодотворных общественных преобразований, и это нынче главная беда российского общества, которая радует власть, выгадывающую от падения интереса к политике. На фоне массового отчаянья и рождаются надежды на некоммунистических, но отнюдь не либеральных вождей, сулящих чудеса вроде «московского», то есть, уверяющих, что харизматический лидер, станет им Лужков или кто другой, мигом распространит особенное положение в столице на счет всей страны, на всю Россию.

6

Людам хочется чуда. Особенно, когда жить день ото дня страшней, заработать на сносную жизнь трудней, а пенсия гарантирует лишь нищету. Потому и жаждут люди верить в бога, что его профессия – творить чудеса. То накормит пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч мужей, то исцелит прикоснувшегося к краю его плаща от неизлечимой болезни. Про такое сказано и в Ветхом Завете, и в Новом, и в Коране и в других священных книгах. Начальный энтузиазм строителей социализма тоже держался надеждой на чудо, на то, что чудо станет правилом, законом, словно понятия «чудо» и «закон» не противоположны.

Потребность в чуде изначально вызывалась тем, что жизнь шла среди стихий и то и дело приходилось искать спасения. За распадом первобытного общества к природным стихиям прибавился произвол внеэкономического хозяйства. Экономические отношения умили этот произвол, но ввергли в новую, экономическую, стихию, и спастись от ее угроз раз и навсегда тоже не получается. Идея Маркса, не говоря о Ленине, как выяснилось, означала возвращение к произволу. Но проблема спасения в вихрях экономической стихии остается актуальной, особенно если мы, сообразив, что дальнейший произвол погубит наше отечество, вступая в экономическую стихию думаем, как с ней совладать. На корабле, выходящем в море, должны быть шлюпки и спасательные круги. А наша власть так долго тянула с отплытием, что катастрофа началась прежде, чем она поняла, чего в море опасаться.

Возрождение экономической стихии у нас именуют переходом к рынку, однако значение слова «рынок» не прояснено. Товарный рынок работал с незапамятных времен. Иван Грозный налаживал торговлю с Британией. Русские помещики продавали европейским странам хлеб, выращенный на барщине крепостными. Да, в конце концов, и Советский Союз при Брежневле продавал нефть, а на вырученные деньги развивал военную промышленность и покупал хлеб. Мы и тогда кругом зависели от рынка. Сперва цены на нефть, не без нашего подстрекательства, подскочили, и, как видная нефтедобывающая держава, мы обогатились. Но многократный подскок цен повел к освоению новых ресурсов и энергосберегающих

технологий, и цены на нефть упали. Это и стало одной из важнейших причин нашего нынешнего кризиса. Кругом справедливо ратуют за рынок, но помалкивают, что надобен нам не просто всегдашний рынок, а рынок рабочей силы, рынок, как альтернатива насилию. Лишь с переходом от принудительного труда к наемному, то есть, к свободе, начинаются экономические отношения, и тогда объективная цена рабочей силы служит опорой социальной справедливости.

Что мы к такому рынку не пришли, видно по массовым невыплатам зарплаты. Но мало добиться ее своевременной выплаты. Положение наемного рабочего, учителя, врача, инженера, ученого, в экономическом обществе зависит от колебаний спроса и предложения, стоимости производства и цены товара. У людей в экономическом обществе меняются заработки, спрос на их профессии падает или возрастает, порой они теряют работу, а бывает, что временно, а то и навсегда, теряют трудоспособность. По опыту западных стран, раньше нас вошедших в экономическую стихию, ясно, что все это не личные беды пострадавших, как думают наши реформаторы, что напластовываясь одна на другую, эти личные беды угрожают самому существованию общества, ибо не только в отвлеченно-гуманистическом, но и в самом жестком экономическом смысле, -- если производство создают люди, то совершенствующиеся человеческие ресурсы и составляют главное достояние любой страны.

Западные страны тоже уразумели это не сразу. Экономические отношения долго там развивались наряду с продолжающимися внеэкономическими. А советская власть ни в 1939, ни в 1956, ни в 1965, ни в 1985 году не допускала существования, наряду с внеэкономическими отношениями и государственными предприятиями, экономических и частных, как допустил их Китай при Дэн Сяо-пине. И не потому не допускала, что не было в России своих Дэнов (их успешно расстреляли), и не потому, что Россия менее Китая способна к экономическим отношениям, но как раз потому, что еще более способна, и это бы еще быстрее выдало то, что теперь обнажилось в Китае, - что государственные предприятия в сравнении с частными убыточны. А значит еще быстрее стала бы неизбежна «смена вех», любые поползновения к которой правящий класс поручил беспощадно пресекать еще Ленину и Сталину.

Говорят, надо теперь пройти период первоначального накопления и дикого капитализма, словно у грабительского социалистического государства совсем уже не осталось накоплений, а нынешний дикарь не владеет компьютером и чудовищным оружием, отчего его дикость куда опасней, чем в пору первоначального накопления в старой Европе. Венцом нынешнего разрыва меж экономическим и социальным мышлением стали уверения в допустимости и чуть ли не желательности гибели миллионов, не способных приноровиться к псевдо-реформам, как бы списанные с речей Сталина и Мао о человеческих жертвоприношениях ради лучшего будущего человечества, а на деле – номенклатуры.

Все это, однако, не только аморально, но и абсурдно. Социальную защиту в СССР отождествили с социалистическим строем и доступом к бесплатным благам. Но бесплатных пирожных не бывает, все имеет свою ценность и цену, и ключ к социальной защите в том, кто и каким образом ее оплачивает. Экономическое общество выработало разные системы, помогающие наемным труженикам совладать с трудностями, непреодолимыми в одиночку. Такая защита частично окупается там

страховыми платежами самих тружеников из их заработной платы, то есть, платы за их рабочую силу, и в большой мере платежами работодателей и государства. Нельзя сказать, что социальная справедливость там торжествует вполне, но важные шаги к ней совершаются.

А во внеэкономическом обществе, где рынка рабочей силы нет, и государство-работодатель или уполномоченные им монополии платят наемному труженику произвольное жалование, недоплачивая огромные суммы, никак нельзя считать частичную выплату кому-то этих огромных общих недоплат, проявлением социальной справедливости. К тому же, наш «переходный период» начался не только с почти полного прекращения доступа рядовых людей к «бесплатным» благам, но и с резкого сокращения фактического жалования, отчего социальной справедливости стало еще меньше. Это, прежде всего, и создает в стране напряженную обстановку. А предложения самим, как на западе, оплачивать страхование социальной защиты, при сокращении зарплаты и растущих ее невыплатах, -- уже прямой цинизм.

Разумеется, сбалансировать хозяйство, сделать его рентабельным, необходимо, но проделывать это за счет наемных тружеников, которым и прежде недоплачивали, «реформаторы» стали потому, что не хотели выпустить хозяйство из государственных рук, а преодолеть его убыточность могли бы только действительно частные предприятия. Если бы власти, отделив хозяйство от государства, согласились на хозяйственную множественность и в ней конкурентную борьбу, ситуация бы поправилась быстрее и радикальней. Но государство предпочло искусственно поддерживать нерентабельное производство, не выплачивая зарплату работающим, а тратя деньги на сырье, энергию и прочее. А, разобравшись, что из прежнего впрямь необходимо сохранить, пока не объявятся самоокупающиеся конкуренты, могло бы нормально оплачивать там рабочую силу, а другие предприятия закрыть или продать, выплачивая зато потерявшим работу нормальное пособие, хотя бы за счет поступающей заграничной помощи. Нынешние трудности миллионов отнюдь не обязательное условие прощания с обанкротившимся общегосударственным синдикатом, а, напротив, подтверждение того, что государство прощаться с ним не хочет. И понятно почему: главная сфера его хозяйствования, изготовление оружия, не может быть рентабельной и, тем более, доходной, что и определило характер российского хозяйства.

7

А может, такая наша судьба? Кто говорит: не доросли, не дозрели. Кто, наоборот: идем своим путем, мы не такие, как другие, у нас своя традиция. Подобные мысли занимают нынче в головах куда больше места, чем раздумья о том, почему государственный произвол в установлении цен именуют их «либерализацией». Слова у нас издавна не соответствуют словарным значениям. Социальный и политический груз исказил их до неузнаваемости. Но не все оговаривают, в каком смысле их употребляют.

Мы не такие, как другие. Но все не такие, как другие. Англичане и французы – соседи и даже родственники, выглядят противоположностями. Их истории, отчасти общие, несхожи, и революции их несхожи. Англичане более склонны к компромиссу, а французы к логике. Однако обе страны казнили своих королей, -- такое не только у нас бывает, и обе отказались

от внеэкономических отношений. А совсем не похожие на тех и других японцы, хоть императора и не казнили, но на другом конце земли тоже завели экономические отношения. Говоря о своих особенностях, нелепо отрицать сходство с другими, ведь и у нас медведи по улицам не ходят.

Еще трудней с традицией, особенно чтимой в единственном числе. А нашей стране больше тысячи лет, и самых разных традиций у нее великое множество, найдутся примерчики на любой случай. Сталин то объяснял, что Россию били все, кому не лень, «и польские паны, и турецкие беки», то поминал великие победы Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова. Он говорил о победах и поражениях порознь, абсолютизируя то одно, то другое. Некрасов выражался точнее: « Ты и убогая, ты и обильная, Ты и могучая, ты и бессильная, Матушка-Русь».

Социализм еще до Ленина объявили отечественной традицией и возвели к крестьянской общине, у других европейских народов распавшейся раньше. А о том, что в России общину сознательно укрепляла феодальная власть, как опору помещика-крепостника, молчали, выдавая связанность крестьянской круговой порукой за национальную социалистическую избранность. Точно так же тоталитаризм нынче сводят к традициям Золотой орды или Ивана Грозного. И не то, что те совсем не при чем. Но только были и противоположные традиции. Можно начинать с Новгорода, можно вспомнить русские революционные движения, аналогичные европейскому протестантизму, можно даже вспомнить, что Иван III, как раз переставший платить Орде дань, поставил священников-реформаторов во главе важнейших московских храмов.

Конечно, традиции Орды и Ивана IV продолжал «неудобозабываемый тормоз» Николай I, а потом и Сталин. Но ведь и мечта Пушкина увидеть «рабство, падшее по манию царя», не вовсе оказалась пустой. Была в России и либеральная традиция. Сила власти и сила сопротивления до времени неравновелики, тем более, что и власть, и сопротивление не однородны и не единственной традиции следуют. Наша страна больше всего отличается от других остротой совмещения противоборствующих традиций. Великое заблуждение евразийцев в том, что, обозначив упускавшиеся прежде реальные тенденции, они закрыли глаза на те, с которыми они противоборствовали, шедшие и подспудно, и открыто, и не только на берегах Сити, или Дона или Угры.

Певцам империи интересна лишь ее внешняя жизнь, взятие Казани и Астрахани, покорение Сибири, присоединение Украины, потом Кавказа, Польши, Прибалтики, Финляндии, Средней Азии. Им не интересна собственно Русь, русская земля, ее внутренняя жизнь. Патриотизм, обращенный вовне, остается внешним, только обращенный вовнутрь сознает, что отношение к внешней жизни империи у людей неоднородно, для правящих слоев это возможность легкой наживы, а для большинства народа – тяжкое бремя. Между тем, и на Руси давно думали, как жить. Уже в переписке Грозного с Курбским, у самого начала самодержавия, дебатруется, вправе ли самодержец по прихоти казнить и миловать холопов, как именует царь сограждан.

Пушкин писал: «Мне жаль, что нет князей Пожарских, Что о других пропал и слух», но мы не задумываемся, почему не осталось ни Пожарских, ни других, почему российская аристократия истреблена. Самодержец, как плавило, слывет у нас носителем прогресса, а бояре – реакции. Пушкин как бы принимал эту схему и в черновиках поэмы

«Езерский» писал, что, когда Петра не стало, усмиренное им боярство предалось надежде вернуть былое. Но из уст этого мятежного боярства у Пушкина неожиданно звучит: «Примером нам да будет швед». А Дмитрий Михайлович Голицын еще в 1730 году хотел ввести в России Конституцию как раз по шведскому образцу.

Аристократия в России не только противодействовала прогрессивным новациям самодержцев, но и стояла за ограничение самодержавной власти, и неверно считать это злом. За продиктованными Дмитрием Голицыным условиями возведения Анны Иоанновны на престол («кондициями») стоял план создания представительной власти, выражающей интересы и аристократов, и дворянства, и посадских людей, третьего сословия, как в свое время в английском парламенте. Но молодое российское дворянство, тоже имевшее виды на новую царицу, больше полагалось на крепость самодержавия и милости самодержца. Анне Иоанновне удалось расстроить планы Голицына лишь благодаря поддержке дворянства и его лидеров, особенно Василия Татищева. Именно ему, позднее первому нашему историку, мы обязаны тем, что представительная власть возникла в России почти на два века позднее, чем могла. Еще в 1730 году Голицын стремился создать правовое государство. А право, противоположность произвола, и есть воплощение либерализма, вот как далеко восходит у нас его традиция. Хоть последний боярин и первый русский конституционалист погиб в Шлиссельбурге и забыт, русский либерализм рос не на пустом месте. Правда, и царю-освободителю Александру II не поставили памятника, сопоставимого с монументами его отцу, Николаю I, и сыну, Александру III. А его брата, Константина Николаевича, одну из важнейших, если не важнейшую либеральную фигуру царствования, и вообще помнят лишь историки.

Но конец XIX и начало XX века были ознаменованы явлением множества мыслителей и политиков, начинавших часто с увлечения марксизмом (от Ковалевского и Струве до Бердяева и Федотова), ощутивших перемену социальной картины мира, но понимавших, что новые противоречия, в отличие от прежних, преодолеть не насилие, а свобода и уважение к личности, и тут наивно надеяться на пролетарскую революцию по образу и подобию буржуазной. Таких людей появилось немало. Сочинения многих ныне извлечены на родине из забвения и опубликованы, а все говорят, что у нас только одна традиция.

Венгерский коммунист Янош Кадар однажды выговорил: «Не знаю ничего глупее лозунга «Кто не с нами, тот против нас», я выдвигаю другой лозунг: «Кто не против нас, тот с нами». Но российская советская власть даже такого минимального шага не совершила и от старого лозунга не отреклась. А после ее крушения Александр Невзоров пренебрег революционным ореолом лозунга и вбросил словечко «наши», и пошли по петербургскому телевидению десятиминутки ненависти к «ненашим». Поньше на экране регулярно кто-нибудь рассказывает, как он ненавидит, - то почему-то Галину Старовойтову, то еще кого-то.

Агрессивная ненависть давно стала новой идеологией, вроде отрекшейся от слишком сложного и уже несообразного с повседневностью марксизма-ленинизма, но, совершенно как он, противостоящей либеральным ценностям, правам и свободам отдельного человека, без которых у экономических отношений нет перспективы. Как ни назовете движение, пытающееся строить современное хозяйство на нагнетании

ненависти, - национализм, или коммунизм, или национал-коммунизм или еще как-то в этом роде, на сколько-нибудь долгий срок оно ничего, кроме тирании, нищеты и войны, предложить не может.

На западе считается, что либерализм увял. Там друг другу противостоят преимущественно социал-демократы и консерваторы, но и те, и другие, там усвоили важнейшие либеральные постулаты. Утверждают также, что уже и на западе неолибералы отказались от надежды, что рынок сам все расставит по местам, и там тоже признана регулирующая роль государства. Но признан, прежде всего, тот несомненный факт, что монополизм нарушает свободу рынка, и неолиберализм требует сегодня от государства не так ограничения рынка, как ограничения монополии на рынок. Увы, наше государство и прежде, и теперь – само монополия и «автономию» дает только монополиям. Поэтому Россия особенно нуждается в либерализме, левом по отношению к консерваторам, верящим, что порядок может оставаться неизменным, и правым по отношению к социалистам, верящим, что порядок можно изменять произвольно.

Сформулировав в 1848 году свой рецепт спасения, коммунисты не могли не выпустить особый манифест. Идею ликвидации экономических отношений, едва начавших приносить плоды, и возвращения к внеэкономическому строю им, конечно, приходилось разъяснять и доказывать. Ныне либеральному движению уже не нужны манифесты, его принципы практически служат хозяйственному процветанию и, если не разрешению, то смягчению социальных противоречий. Большинство граждан западных стран в живет лучше большинства граждан России – это самый убедительный социал-либеральный манифест.

Трагедия России в том, что и в конце XVIII века, и в 1825, и в 1881, и в 1917 и 1929 годах она от этого, диктовавшегося жизнью манифеста, под натиском правящего класса, сперва одного, потом другого, оборачивалась к книжным манифестам, еще даже не марксистским, но всегда антилиберальным, охраняющим всю власть в одном месте. А когда в очередной раз наступали тяжкие последствия, власть, не желая признавать действительные причины кризиса, пускала в ход самые невероятные объяснения. Вот и нынешний власть объясняет, чем угодно, но только не приведшими к нему собственными многолетним действием. Говорят, что это все происки «мирового империализма». Но до Рональда Рейгена «империалисты» на начатую при Брежневе ускоренную гонку вооружений отвечали слабо, хотя соотношение вооруженных сил менялось не в их пользу.

Другие говорят, что советский режим пал под ударами диссидентов. Но и это не так. Смысл диссидентства с самого начала выразил Александр Есенин-Вольпин: «Соблюдайте собственную Конституцию!» Диссидентское движение по природе своей было правозащитным, отстаивало гражданские права, а не экономические свободы, и никак не посягало на советский монопольный хозяйственный синдикат. В некотором смысле оно даже стремилось его совершенствовать, делать более честным и, тем самым, более работоспособным. Не случайно, когда в ходе перестройки гражданские права на самых наглядных участках были официально признаны, диссидентство во многом потеряло свой пафос.

Третьи говорят, что никакого кризиса и не было, а беды обрушились на Россию из-за предательства верхушки КПСС, Горбачева, Яковлева,

Ельцина и других, словно уже при Брежнев, не возвращаясь к более ранним временам, прилавки не пустовали и хлеб не покупали за рубежом. Перестройка, на которую были вынуждены пойти вожди партии была не причиной, а следствием кризиса. Даже Яковлев в бытность свою зам. заведомо пропаганды ЦК пострадал за попытку удержать партийную пропаганду в официозных рамках, удержать от открытого шовинизма, к которому партия неуклонно шла со сталинских времен. При Зюганове, не говоря о еще более откровенных, она закономерно сделала шовинизм неотъемлемой частью коммунистической доктрины. Что же до Горбачева или Ельцина, то они были верные проводники политики партии и лишь перед лицом истощения доступных ресурсов, тщетности усмирения Афганистана и растущего числа катастроф, грозивших немедленным крахом, пришли к непривычным мерам по спасению коммунистического порядка, от которого Горбачев не отрекся, а Ельцин – только на словах.

Не надо искать ведьм. Пора признать, что кризис коммунизма вызван его волюнтаристским доктринерством, нежеланием освободить могучие силы страны, способные к созданию новых ценностей, упрямым противодействием экономическому либерализму, противодействием даже в наши дни принятию твердых законов, гарантирующих свободу экономической деятельности, способной по-новому наладить производство. Шесть лет псевдо-либералы лишь саботировали экономическую свободу и защиту инвесторов, Приговор их порядку вынесен даже не тем, что неизбежно падало нерентабельное, неконкурентное и никому по сути не нужное гигантское производство, созданное прежним режимом, а тем, что параллельно не росло свободное частное производство, готовое принять рабочих и инженеров с идущих к упадку производств, а там продуктивно преобразовать и эти производства.

Но печальней всего, что псевдо-либеральный режим своей социальной политикой сделал все, чтобы в минуту падения его снова заменил прежний коммунистический или подобный ему тоталитарный режим, давно доказавший свою неспособность исправить положение российского хозяйства, а не подлинно-либеральный порядок, хотя реальные надежды на процветание России в XXI веке можно возлагать лишь на него. Поэтому политическая задача желающих ей процветания в том, чтобы перейти от псевдо-либерализма к подлинному.

ЧТО С РОССИЕЙ?

Советская угроза вынуждала Запад сохранять в холодной войне разум и твердость. Угрозу, правда, сводили к коммунистической идеологии, требующей ликвидировать предпринимательство и торговлю. Но речами о пагубности частной собственности и призывами сделать ее общественной, что на практике означало государственной, коммунистическая утопия лишь декорировала тоталитарность хозяйства. Отождествление власти и владения всегда и везде ведет к произволу, который попирает собственное население и угрожает соседям. На этом стоит любое внеэкономическое хозяйствование, и в частности, феодальное.

Еще Петр I, заимствуя опыт пионеров технического прогресса, голландцев и англичан, стал строить заводы, где вместо свободных рабочих к станкам ставили крепостных. Владельцу заводов Демидову труд крепостных не много стоил, и он мог не слишком задумываться о

рентабельности. Уверовав, что технический прогресс не требует общественного, Российская империя стала жертвой крепостнического хозяйничания, но еще сто с лишним лет после Петра держалась среди сильнейших европейских держав, и даже Наполеон с ней не совладал. Лишь после поражения в Крыму, обнажившего техническую отсталость, взялись за перестройку. Но, хоть Александр II был смелее Горбачева, упразднил крепостное право и создал здравую судебную систему, перестройка и тогда, особенно при последующих царях, была недостаточно радикальной, чтобы спасти от краха в семнадцатом году.

В XX веке, с его возросшей техникой, под знаменами социализма, национал-социализма, исламского социализма, стали возникать ново-феодалные империи, обращавшие собственные и покоренные страны в необъятные демидовские заводы. Тоталитарное хозяйство могло существовать в СССР дольше других, с одной стороны, благодаря нашим природным богатствам, а с другой, потому, что монопольность государственного работодателя позволяла до предела занижать оплату рабочей силы, — не секрет, что в СССР заработки были много ниже, чем у людей аналогичной квалификации на Западе. Не секрет и широкое применение в СССР принудительного труда заключенных и солдат.

Но природа в таких обстоятельствах истощается, население сокращается, и, чтобы иметь в достатке природные и людские ресурсы, которыми они и держатся, страны с тоталитарным хозяйством вынуждены покорять другие страны. Даже война кажется им предпочтительней отказа от тоталитарных порядков. На Западе часто воображали, что Москва, считая коммунизм величайшим благом, хотела его бескорыстно распространить по всему свету. Однако страны, жившие вполне по-советски, но недостаточно покорные Москве, как Югославия или Китай, объявлялись отступниками от социализма и агентами империализма. То есть, коммунистическая идеология лишь декорировала интересы тоталитарного хозяйства.

Обильная гонка вооружений к середине семидесятых в большой мере исчерпала легко доступные советские природные ресурсы, стоимость некоторых на мировом рынке к тому же упала, а добыча из труднее доступных источников вздорожала. Да и предел занижения фактической заработной платы за квалифицированный труд был перейден, что вело уже к не столь тщательному обращению со сложным оборудованием и авариям. Все это побуждало к переменам. Горбачев пытался облегчить груз, который внеэкономическое хозяйство на себе тащило. Он перестал удерживать силой Восточную Европу, ушел из Афганистана, допустил гласное обсуждение давно мучивших страну проблем и непреходящего с середины семидесятых кризиса. Одновременно, однако, он все больше окружал себя приверженцами прежнего порядка. В августе 1991 они Горбачева предали, и попытка сбалансировать хозяйство, оставив его внеэкономическим, провалилась. Союзные республики, которые Россия не могла уже дальше удерживать, стали самостоятельными. А Ельцин, возглавив государство, провозгласил политику экономических реформ.

Забывая историю, и на Западе и в России любят говорить, что все знают, как социализм построить, но никто не знает, как от него избавиться. А дело за тем, чтобы отделить владение от власти, как отделяют церковь от государства. С этим справились и Англия в середине XVII века, и Франция в конце XVIII, и Тайвань или Южная Корея в наши дни. Одни

революциями, другие реформами, утвердили экономическую свободу и права частного человека и коллектива людей. Для перехода от слитного с властью единого внеэкономического хозяйства к множественному экономическому понадобились коренные аграрные преобразования и всеобщее право на производственное предпринимательство без особого на каждый случай разрешения. В России ни того, ни другого все еще нет, власть и владение практически еще не разделены. Как ни бранят российское государство за слабость, оно не то что сильнее всех в стране, а, вообще, единственная в ней реальная сила, и не собирается от этого отказываться. Другое дело, есть ли у него желание и воля всерьез менять прежний порядок. Вот и спектакль остается по существу прежним, нерентабельным. Изменились лишь декорации и костюмы.

Уже не только сама Россия именуется свое хозяйство рыночным, но и на Западе его так называют. А хозяйство делает рыночным не сама по себе торговля, иначе оно процветало бы уже в Вавилоне, и даже не само по себе товарное производство, иначе русский помещик, продававший на Запад хлеб, выращиваемый крепостными, не отличался бы от американского фермера, продающего ныне хлеб России. Хозяйство становится воистину рыночным лишь при отказе от подневольного труда и переходе к продаже и покупке особого товара — рабочей силы. Говорить о ее рынке в нынешней России невозможно уже потому, что продавцам рабочей силы месяцами не платят, а они продолжают работать, то есть их явно связывает с получателем рабочей силы, которого покупателем не назовешь, нечто иное. Это привычка ощущать себя государственными крепостными, побуждающая, вопреки многолетним очевидностям, надеяться, что государство все же не даст вымереть своим «говорящим инструментам», тем более, что другой надежды у отчаявшихся и изверившихся людей, опять обманутых несостоявшимися реформами, нет.

Ельцинские псевдолибералы мыслили рыночные отношения лишь как соотношения ценностей и денег, а это отношения между людьми, хоть, конечно, посредством ценностей и денег, и они эффективны только в надлежащей социальной структуре. Она же предполагает частное производство и законную свободу торговли землей, товарами и своей рабочей силой, обеспеченные судом и органами правопорядка, а также неразорительные налоги и социальные гарантии. При старом феодализме такая структура складывалась подспудно, а тоталитарный, феодализм оставил ей лишь «теневое», противозаконное место. Вместо нормативов, допускающих, поощряющих и охраняющих частное производство в городе и в деревне, ельцинские псевдолибералы провели приватизацию в виде акционирования, то есть продавали и раздавали акции госпредприятий, сохраняя в руках государства или его ставленников контрольные пакеты. Немало добра продали за бесценок и разворовали, на что справедливо сетуют. Но это бы еще полбеда, если бы хозяйством по-прежнему не управляло государство, а так все, выходит, было зря, поскольку не возникли состязательные, конкурентные, экономические отношения.

Вот и работают в России лишь предприятия по добыче сырья, продаваемого на Запад, да сфера военного производства. Можно понять, что старое производство сдает, (оно и не было рассчитано на конкурентоспособность), и возродится лишь при капитальном обновлении. Но куда хуже, — и это главное, — что за семь с лишним лет в стране не возникло заново частное производство, способное как-то удовлетворить

ее нужды. В деревне реформы свелись к номинальному выделению колхозникам паевой доли в «общественном» хозяйстве, индивидуально воспользоваться которой реальной возможности нет. Немногие частные фермы на арендуемой земле поставлены в зависимость от переименованных колхозов и совхозов, не говоря о местных властях, и влачат убогое существование. Производить в изобилии товарный хлеб или мясо им не дают, и Россия по-прежнему покупает хлеб и мясо, хотя такого количества земли на душу населения нет ни в одной стране.

С начала 1992 года власти провозгласили свободу цен, в борьбе за снижение которых, при повышении качества, обычно и проявляется состязательная природа плюралистической экономики. Но, поскольку «свобода цен» опередила в России свободу предпринимательства, на деле это лишь позволило государству, монопольному производителю, завышать цены, не считаясь ни с чем, и за несколько месяцев они выросли в тысячи раз. Товары заполняли магазины не потому, что страна стала богаче или «возник рынок», а потому что большинство людей обнищало.

То была не «ошибка», а принципиальная позиция, утвердившаяся (не вспоминая о крепостном праве) еще когда коллективизация разоряла людей для пользы власти. Обесценив сбережения граждан и во много раз снизив заработки большинства, то есть ограбив население, государство как-то перебилося. Летом 1998 года оно повторило тот же фокус, объявив о временной неплатежеспособности по облигациям, в результате которой сбережения и заработки граждан, никаких облигаций в глаза не выдавших, опять сократились в три-четыре раза. Эти конфискации восполняли сокращение природных сырьевых даров. Не менее усердно его восполняли займы МВФ и других западных банков. Даже дойдя до банкротства, российское государство не дает гражданам жить своим трудом, а не милостями природы или западных держав, хотя грамотный народ России вполне на это способен.

Почти восемь лет поддерживая Ельцина, уклонявшегося от реальных реформ, западные державы, и прежде всего Соединенные Штаты, разделяют с ним ответственность за то, что Россия так и не перешла к рыночной экономике, которая и ей позволила бы жить по-человечески, и другие страны избавила бы от возрождения российской угрозы, неизбежной, покуда решающее слово принадлежит не миллионам продавцов и покупателей рабочей силы, а государственным хозяйственникам, одинаково ловко сидящим на своих местах и при коммунистах, и при псевдолибералах, и открытым другим пророкам тоталитарного хозяйствования от московского мэра Лужкова, строящего корпоративное государство, до национал-социалиста Баркашова.

Поддержка Ельцина и поддержка российских реформ — не только не одно и то же, но давно уже противоположности. Чтобы помочь России, — а это в интересах Запада, — следует помогать не государству, а людям, минуя российскую власть. Конечно, при реформировании прежнего нерентабельного хозяйства сотни тысяч тружеников бы пострадали, но российскими правящими кругами всерьез даже не думали о социальных гарантии, как дополнительном, осознанном в XX веке важнейшем условии рыночной экономики. Прежде считалось, что такой гарантией является социалистический строй, и от этой веры люди еще не ушли. Вместо того, чтобы давать России безвозвратные займы, идущие на увеличение государственного аппарата или празднества в честь 850-летия Москвы,

западные банки могли бы, начнись преобразования, на какой-то срок взять на себя непосредственную помощь людям, временно остающимся при этом без работы. Они могли бы также способствовать своевременной выплате зарплаты врачам и медсестрам, и этим помогли бы гражданам сохранить здоровье, а стране — сократить смертность. Такую же помощь они могли бы оказать российским учителям, чтобы страна не погрузилась в невежество. Эти субсидии и зарплаты в сравнении с западными так малы, что международные организации потратили бы на них лишь небольшую часть того, что тратят на Россию сегодня, а помогли бы несопоставимо больше. Люди бы не отчаивались, думая лишь о том, как одолеть голод и холод, но добились бы перемен. А помощь государству лишь позволяет ему жить по-прежнему, то есть тормозит реформы.

Люди России нуждаются и в политическом просвещении, в знакомстве с опытом и проблемами демократии и рыночной экономики, смысл которых в российском быту повседневно искажается. Парадоксально, что в прежние годы сквозь глушилки пробивались радиостанции, вещавшие на русском языке, работали издательства, печатавшие переводы основополагающих политических и экономических сочинений, неизвестных в России, и книги российских авторов. Не все, естественно, было одинаково хорошо, но в совокупности слушателю и читателю открывались реальные проблемы российской жизни и живущие в умах варианты их разрешения. Ныне, когда глушилки умолкли, утихли и голоса. Даже «Свободу» выселили из Мюнхена и сильно пощипали, а положение других и того хуже. Русские издательства на Западе почти исчезли. Наивно винить в этом работников радио или печати, — таков курс западных политиков, вообразивших, что они победили коммунизм, хотя они даже не поняли, в чем он заключается, не углядели, что под именем блага трудящихся в нем превыше всего чтут всевластие государства. Запад и сам сегодня поддерживает в России такое всевластие.

А у власти в современной России стоят почти исключительно коммунисты. Говорят, бывшие. Но если прежде коммунисты составляли примерно 10% населения, почему же, если верить, что настала свобода, бывшие беспартийные не составили теперь 90% или хотя 50% правителей? Дело не сводится к тому, что взявшие власть в 1991 году псевдолибералы из бывших коммунистов не удосужились запретить коммунистическую партию, виновную в хорошо известных преступлениях. Даже ее своевременный запрет, при всей его нравственной необходимости, не мог бы лишить гражданских прав и изъять из политической жизни рядовых коммунистов, не виновных персонально в конкретных преступлениях, тем более, если они поспешили выйти из партии. Но пусть даже все они теперь симпатизируют нынешним или бывшим коммунистам, что едва ли непременно так. При справедливых выборах 10% избирателей никак не составили бы большинство, да еще образуя разом и правящий слой и «непримиримую» оппозицию. В конце концов не столь велика была бы и беда, займи кто из бывших начальников важный пост. Стань даже бывший первый секретарь обкома, кандидат в политбюро КПСС, президентом России, будь это исключением из правила.

Но то-то и оно, что все его нынешние коллеги, — и премьер-министры, и председатели думы, Совета федерации, Конституционного суда, Верховного суда, генеральные прокуроры, руководители президентской администрации, Совета безопасности, министры, главы силовых органов,

помощники президента, — и прежде были его коллегами по партии и убеждениям. И так на всех уровнях власти — и законодательной, и исполнительной, и судебной. Зло не в отдельных лицах, а в подавляющем преобладании подобных лиц. Такую перенасыщенность «демократической» власти бывшими коммунистами и комсоргами можно объяснить лишь тем, что продолжается властное дирижирование «подбором и расстановкой кадров». Принадлежность к прежней номенклатуре, пусть на скромных ролях, — важнейшее условие допуска в нынешнюю номенклатуру, именуемую теперь «элитой». А немногие бывшие диссиденты, сохранившие свои убеждения, или беспартийные, уклонявшиеся от подпевания партии, там белые вороны. Да их при власти за семь лет почти и не осталось. Уже состав правящего слоя свидетельствует, что режим в своей основе не слишком изменился.

А вот коммунистическая идеология за полтора десятилетия ощутимо менялась. Маркс, недооценивая умственный труд, все же связывал победу коммунизма с техническим развитием, демократическими свободами и множественностью рабочих ассоциаций. Ленин ориентировался на победу в отсталой стране, пренебрежение демократическими свободами и единый общегосударственный синдикат. А Сталин почти поголовно ликвидировал коммунистов, бравших власть в 17 году, экспроприировал крестьянство и насаждал великодержавный имперский шовинизм.

Для Сталина Маркс и Энгельс были не столько классики теории, которой надлежит следовать, сколько враги его империи, русофобы, за что он и громил статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма» и не дал включить в русское собрание сочинений английскую брошюру Маркса «Тайная дипломатия XVIII века», где те же идеи изложены еще резче. Вещные слова: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы» — Энгельс писал конкретно о России, и Сталину, автору теории автономизации, по которой у народов России нет (и в его империи фактически не было) права на самоопределение, он в единомышленники не подходил. Но еще приходилось учитывать, что святые великомученики Маркс и Энгельс основали советское российское царство теоретически. Он не мог делать вид, что от них одно зло, как от Троцкого, организовавшего это царство практически. Что же удивляться, что зюгановский коммунизм практически неотличим от гитлеровского национал-социализма. Курбеты идеологии — не просто игра ума. Они отражали реальные катаклизмы России и трансформации ее правящего слоя.

Современное сознание не хочет знать про эти трансформации, а знать их надо не затем, чтобы искать то ли у Ленина, то ли у самого Маркса, правильный путь к раю на земле, с которого их преемники якобы свернули. Социалистическая теория Маркса, при лучших намерениях, изначально была утопией. Хозяйство и общество развивались иначе, чем он предполагал, и никакого рая, если от российской нищеты не принимать за рай нынешнюю жизнь развитых стран, искать на земле не стоит. Но надо видеть преобразование идей, чтобы понять преобразившие их сдвиги жизни, шедшей к нынешней опасной грани.

Люди привыкли отождествлять движение времени с поступательным прогрессом общественного развития. Эпоху Брежнева именуют застоем, хотя страна тогда, наращивая оружие, стремительно деформировала хозяйство, словно нарочно торопя его к кризису. Понятно, кризиса не хотели, но не сознавали, что объективные результаты не адекватны

намерениям, почему общественное развитие и бывает не только прогрессивным, но и регрессивным, и Россия показала тому пример. За полтора столетия лет она не раз оказывалась на критическом, кризисном, распутье и, казалось, могла перейти к экономическому хозяйствованию. Сперва такой переход сдерживала старая реакция, не позволявшая освободить крестьян с землей и дать хотя бы культурную автономию колониям. Неразрешенность аграрной и национальной проблем как раз и привела к власти коммунистов, размахивавших знаменем прогресса.

И тут обнаружилось, быть может, главное в истории XX века. Самозванные глашатаи прогресса при возобновлявшихся кризисах почти всякий раз способствовали отнюдь не тому, что служило бы объективному экономическому прогрессу. Для начала они разогнали Учредительное собрание, развязав четырехлетнюю гражданскую войну. Затем устроили коллективизацию, возвратившую крестьянство к крепостной зависимости. Затем подружился с немецкими национал-социалистами, и не только по их вине дружба расстроилась. Даже победив национал-социализм в жестокой войне, победители перенимали у побежденных законы и нравы. Смерть Сталина и XX съезд КПСС могли стать поворотным пунктом, но прогрессивными переменами быстро пожертвовали, чтобы удержать Венгрию. Точно так же потом ими пожертвовали, чтобы удержать Чехословакию. Та же история повторяется ныне, на самом крутом после 17 года распутье. Подняв знамя прогресса, Ельцин так и не произвел прогрессивных экономических преобразований, а, пожертвовав ими, два года воевал, чтобы удержать Чечню, и силовая политика опять кругом возобладала над демократической.

Иллюзий все меньше. Гадают, вернется ли тоталитарный режим в крайней (как побуждают думать иные действия Государственной думы) или все же в умеренной форме, будет он красного или сразу коричневого цвета. Большинство населения России едва ли и того, и другого хочет. Но ему уже трудно переломить сложившуюся ситуацию. В России, — не зря там была великая литература, — слово принимают всерьез, и не сразу спохватываются, если в одеждах прогресса выступает оголтелая реакция. Большинство растеряно и не знает, что делать. Люди обескуражены тем, что нынешние власти, под флагом демократии, ввели недемократичную избирательную систему, разными средствами свели к минимуму свободу печати и творят, что хотят. Не меньше они обескуражены тем, что Запад поддерживает власть, равнодушную к народу и усугубляющую нищету. Доверие к Западу этим сильно подорвано.

Многое упущено надолго и, возможно, безвозвратно. Но у Запада, во всяком случае, есть еще возможность увидеть вещи, как они есть.

Продолжение истории

Главной угрозой человечеству объявлен терроризм. Но террор обезличен. Убивают не Цезаря, не Линкольна, не Александра II, не Столыпина, не Кеннеди. Убивают случайных людей. Умри Цезарь естественной смертью, императором все равно стал бы Октавиан, а Столыпин, и останься жив, не предотвратил бы 1917 год. Но устранение влиятельного лица все же отчасти меняет коллизию. Индивидуальный террор отвергает концентрацию власти в конкретных руках. Массовый идет дальше, - пугая граждан, он отвергает общее волеизъявление. Сея страх массовыми казнями, диктатуры наводят тоталитарный порядок. Терроризм – это оружие, метод борьбы, а не единое социальное движение. Это преступное оружие, преступный метод борьбы, но им пользуются разные силы, растущие на разной социальной почве, и не понимая их различий и природы каждой, с терроризмом не совладать.

Феодализм отступил в XVI веке в Нидерландах, уступил в XVII в Англии, рухнул в XVIII во Франции. США от него ушли в войне за независимость. Одолевая феодальное внеэкономическое принуждение, Запад экономически окреп. Буржуазные государства стали национальными, правовыми и социальными. Мало было смекнуть, что так продуктивней. Людовик XVI об этом явно догадывался, да не мог переубедить свой двор.

Америка, не столь отягощенная феодальным наследством, опередила других. Ее ненавидят от бессилия наверстать свое отставание. Даже Франция стала антиамериканской, хоть сама – объект антизападных атак. Неодолимость американских достижений подбила арабов на 11 сентября. Европа не плясала, как палестинцы, но искала этому оправдание. Между тем, Америка дважды спасала Европу и уходила. Она даже Саддама не тронула, освободив захваченный им Кувейт. Но не арабы изобрели массовый террор. Германия и Россия практиковали его раньше, хоть по-иному. Нынешняя агрессивность арабского, да и всего «третьего» мира, – продолжение истории. Это попытка дать задний ход, вернуть мир от экономического хозяйствования к внеэкономическому. Их спор не завершили ни мировые войны, ни холодная война. Он продолжается.

Кризис советской идеологии, выросшей на Марксе, подорвал интерес к общественным процессам. «Социальное» стало синонимом «гуманитарного» и обозначает лишь помощь неимущим. Но Маркс не сводится к советскому опыту. Поняв, что техническое развитие преобразит общество, он сделал два верных, хоть и несовместимых, прогноза: развитие шло к диктатуре (ему казалось, что пролетариата), и одновременно к отмиранию государства. Он посеял иллюзию, будто диктатура пролетариата станет формой отмирания государства. Но бесчеловечные диктатуры под его портретом такого стремления не проявляли, а если вдруг либеральничали, то из-за кризисов, прежде всего, внутренних. И сбывался другой прогноз: государства, не желавшие не то что отмирать, но хотя бы соблюдать демократические нормы, повисали на своих народах неподъемным грузом и застревали в развитии.

Национальное государство

Буржуазные отношения рождались как добровольные и частные. Но феодальная власть их «регулировала». Чтобы им устоять, надо было,

если не сломать систему, то выгородить национальное государство, где не отнимают имущество. Нидерландская революция вывела северные провинции из империи Габсбургов. Причина тому не этнические свойства голландцев, а нетерпимость империи к самостоятельности подданных, на которой и держатся экономические отношения.

Буржуазные перемены в «отдельно взятой» стране, в отличие от социалистических, сперва не посягали на планету. Но проступило отличие нации от этноса. Право наций на самоопределение состояло в территориальном, а не племенном обособлении. Буржуазный национализм - территориальный и хозяйственный. Складывались этнически смешанные народы, а единые этносы растекались по разным. Полиэтническая Америка стала национальным государством, при том, что американцев объединяет не так общий язык, как общий интерес. На Западе национальная принадлежность - это гражданство, а в «третьем» мире, в России и еще недавно в Германии - это расовая, этническая или религиозная категория. Буржуазное государство спланировало граждан, не слишком интересуясь их кровью, ценив приверженность экономической свободе выше происхождения.

Империя - это вертикаль подданных, столп феодальной силы. А национальное государство - вольная горизонталь граждан. Не всегда богатых, но свободных создавать богатство. Буржуазная революция отвергла **обязанность** трудиться в силу феодальной зависимости и дала **право** работать по найму. Это и создало нужду в праве на труд, нелепую там, где люди зависимы и труд принудительный, пусть даже именуемый священной обязанностью. Белая Америка Линкольна воевала не только против бесправия завезенных африканцев, но и против белых людей, норовивших, опираясь на зависимый труд, обскакать опиравшихся на свободный. Без свободы от внеэкономического принуждения, государство, даже этнически однородное, не становится национальным. Русские помещики были той же крови, цвета и веры, что их крепостные, но в Российской империи не было национальной метрополии, в отличие от Британской или Французской, где не было крепостных. Покуда хватает рабов, государство - лишь палка в руках вертикально правящего класса, «элиты», и вся его природа - рабская, а национальную общность съедает социальный разлад, и помещики говорят по-французски.

Этнически однородным жителям малого государства, чтобы стать нацией, обрести общий интерес, помимо независимости от развалившейся империи, тоже нужна экономическая свобода, а не просто свой малый тиран. Уйти из под руки имперского силового величия - недостаточно. Нужно самим создавать свое благоденствие, а это доступно большинству лишь в экономическом мире.

Буржуазные государства тоже заводили колонии и строили империи, однако их метрополии жили иначе, нежели колонии, и в них произвол стихал. Голландская, Британская, Французская буржуазные империи отличались от феодальных Византийской, Священной Римской, Османской, Испанской, Российской, где процветали не так метрополии, как правители, «элита».

Хозяйство давно вышло за государственные границы. Глобализация - не буржуйская выдумка. Коммунисты, понося глобальную свободу экономики, затем ведь и призвали пролетариев всех стран соединяться,

чтобы регулировать хозяйство из единого имперского диктаторского центра.

Парадокс глобальности в том, что бедным странам еще нужней жить по экономическим законам, чем богатым от природы. Но к унификации враз не приладиться. Многие страны осторожно объединяют зоны своей свободы. Однако, даже Конституция Европейского Союза уже предложила отречься от самостоятельности и обратить континент в единое государство, возрождая имперские установки, которые и так норовила возродить мелочная диктатура Брюсселя, действующего как некогда Москва в соцстранах. Вот внутри Европейского союза и возникла борьба за отличие своего единства от советского и за отдельность в важных аспектах, за право не душить отдельное общим. Отдельность и дает частному преимущества перед казенным. Народы Франции и Нидерландов, вопреки своим правительствам, отвергли на референдуме унифицирующую Конституцию, а Швеция еще до того отвергла евро. Народы СССР в свое время проглядели угрозу имперской унификации. Ленин до Октября писал, что монопольное хозяйство враждебно людям, а Советский Союз строил как единую монополию, попирая отдельность.

Глобальность плодотворна при федеративности и автономизме. Страны, сопротивлявшиеся национал-социалистическому Третьему Рейху, охотно сотрудничают с либеральной Германией. Вот и надо отличать оборонительный территориальный национализм от агрессивного расово-религиозного. Неверно оба их именовать патриотизмом. Расистские идеалы порой оживают там, где эмигранты сбивают цену на труд, но нередко кто-то прямо претендует быть «первым среди равных», а это ущемляет не одни бывшие колонии. В России вертикальный монополизм не только развязал войну в Чечне, но и русские субъекты федерации лишил возможности избрать губернатора. В различии патриотизмов – территориального, сложившегося в борьбе за права и свободы, и мировоззренческого, взывающего к происхождению, расе и религии, - проступает различие буржуазного и внеэкономического, феодального, сознания.

Правовое государство

Феодальный и социалистический вертикальный порядок разрешает произволу диктатуры нарушать правила. А буржуазный – горизонталь сословий, разных работодателей и разных работников. Там, чтобы соблюдать правила, действует право. Его олицетворяют процедуры, сообразные с человеческой отдельностью и достоинством каждой личности. Добрая воля диктатуры, милость, которую она может проявить и отнять, не гарантирует свободную деятельность, на это нужна правовая защита. Люди не равны ни в усердии, ни в дарованиях, ни в достатке, но наперед неизвестно, кто на что способен, и, чтобы каждому себя выявить, надобно равенство в правах, - оно и отличает капитализм от феодализма и социализма. Права и свободы тут обеспечены не анкетой и начальственным подбором кадров, а растущим спросом на квалифицированных людей. Равенство прав еще не делают бедного богатым, но сознание проясняется.

Никакая отдельная часть общества, ни дворянство, ни номенклатура, ни даже пролетариат, - не носитель всеобщих интересов, В XX веке

научно-техническое развитие сокращало численность пролетариата, как раньше крестьянства. Но в Англии еще в XIII веке интересы уравновешивались не только силой и страхом. И хоть сила поныне сильна, научно-техническое усложнение производства вынуждает к компромиссам. Даже советский режим обошелся с дерзким А. Сахаровым не столь жестоко, как с не позволявшим себе сопоставимого Н. Вавиловым. Режим не подобрел, но осознал свою нужду в Сахарове, а не меньшую нужду в Вавиллове не признавал. Право – плод осознания нужды считаться с другими. Общественное устройство, предполагающее экономическое, а сегодня это и научно-техническое, развитие, вынуждено внимать не только единому гласу нации, ее большинству, но голосам всех своих составляющих, и приходиться к компромиссам без вооруженных схваток. Отмирание государства, если оно, вообще, возможно, могло бы состоять в сокращении насилия, в согласии ради взаимной выгоды, но никак не в диктатуре, ни, тем более, ее ожесточении.

Компромисс и составляет сущность демократии. Она тоже не уравнивает достаток граждан. Но и не выдает единогогласным голосованием, как при социализме, нужды правящего класса за нужды общества. Феодальная власть, допуская буржуазные отношения, временами шла на компромиссы, становилась конституционной. Социалистическая диктатура, не терпящая ничего частного, нигде не стала конституционной, правовой, хоть любит декларативные конституции. Правовым стало лишь буржуазное национальное государство. Экономические отношения вынуждают считаться с нуждами и интересами других социальных классов. Не то что классовая борьба нет, но она протекает в виде смены подвижных классовых компромиссов. Когда же насильственно ликвидируют сугубо экономические классы – «кулачество, как класс», - насилие рождает другие, паразитические новые классы, а главное, подрывает экономические отношения.

Правовое государство, в противоположность властной вертикали тоталитарной диктатуры, держится разделением властей, приматом представительной и независимостью судебной. Судебной, а не прокурорской и прочих, именуемых право-охранительными, на которых нет благодати олицетворять законность. Они служат ей лишь как исполнители, и законность их действий должны проверять не только назначавшие их исполнительная и представительная власти, но и независимый суд. А независимости можно ожидать лишь от органов, так или иначе, избираемых населением и ответственных перед ним. Прокуроры и министры не избраны, а назначены, и об их «независимости» в Конституции нет ни слова. Она ведет к их безответственности и самоуправству. А президент, не рискующий пресечь беззакония таких «правоохранителей», - их соучастник.

В феодальном или социалистическом, в самодержавном, авторитарном, тоталитарном государстве, защита персональных прав и презумпции невиновности - уже оппозиционная деятельность. Но без соблюдения прав каждого невозможна горизонтальная конкурентная работа миллионов работодателей и десятков миллионов работников наемного труда. Правовая модель общества, именуемая либеральной, сама по себе не снимает социальные проблемы, но, в отличие от тоталитарной, позволяет их решать и потому продуктивней. Но большинство государств мира - не либеральные.

Социальное государство

Едва ли не главная проблема всякого общества - социальные гарантии, но на них способно лишь эффективное хозяйство, а экономическое хозяйство эффективней внеэкономического. Как показал XX век, в обществе, открыто тяготеющем к феодальной реакции («правые»!) или рядящемся социалистическим («левые»!), так или иначе торжествует тоталитаризм. Без свободы экономики нет и других свобод, отпадает и социальная защита. Выбор невелик - либо отказаться от свободы и, конечно, несовершенного буржуазного порядка, либо, опираясь на него, на его нормы и процедуры, восполнять его упущения и наращивать благоденствие граждан. Ради этого государство и стало на Западе не только правовым, но и социальным. Там есть гарантии выживания при утрате работы, гарантии медицинской помощи, страховой или государственной. Где полностью, где частично, государство оплачивает образование, и часто дает жилье бездомным и субсидии бедным. Этим оно компенсирует несовершенства экономики. Но, как национальное государство противостоит империи, а правовое – тоталитарной диктатуре, социальное государство противостоит социалистическому.

Социалистическая утопия внушает, что социальные гарантии обеспечит лишь упразднение частной собственности и частного производства. Но хозяйствующая социалистическая диктатура ради эффективности производства ожесточает традиционное внеэкономическое принуждение, устраивая новые аракчеевские трудовые лагеря и, - вместо фабрик с наемным трудом, - демидовские крепостные заводы. Радикальная антибуржуазность не только крепит империю и тоталитаризм, но подменяет сбалансированные социальные гарантии патерналистскими подаяниями за счет захвата чужих земель и недр своей, как бы компенсирующими несбыточность социалистической утопии.

Маркс, самый сильный ее проповедник, понимал социализм как постбуржуазный порядок, призванный к общей выгоде сменить буржуазные отношения, сменившие некогда феодальные. Он ожидал, что диктатура пролетариата демократично выразит волю большинства, но взяв власть коммунисты уподобили ее самодержавию Ивана Грозного, считавшего подданных холопами. Начиная с Ленина, коммунисты отреклись не только от демократии, но и от постбуржуазности, как фундамента марксистской утопии, и, не смутясь несообразностью своих надежд с материалистическими представлениями Маркса, вообразили, что могут, не дожидаясь плодов буржуазного прогресса, сами продвинуть прогресс, и технический, и социальный. В XX веке такой волюнтаризм в разных формах овладел умами. Во многих странах коммунистические партии с помощью России строили социализм, всюду установив тоталитарный строй с феодальной нормой перевеса силы над правом и феодальным волюнтаризмом.

Патернализм социалистического государства, тоже уведивший от Маркса, предполагавшего, что государство, вообще, отомрет, не так помогал пострадавшим, как поддерживал (и то лишь в городе) общий ничтожный жизненный минимум. Жалкая зарплата для всех, при скрытой

безработице, вместо реальной оплаты труда и субсидий реально безработным, была не разновидностью, но альтернативой социальных гарантий. В СССР всем надлежало трудиться, «тунеядство» объявили уголовщиной, твердили: «кто не работает, тот не ест», но владевшее всем государство, делило доход от производства не по труду, а как бы «по справедливости», то есть, на деле по усмотрению.

По справедливости, то есть, по затраченной рабочей силе, социалистическое хозяйство платить и не было способно, поскольку рабочую силу не считало товаром, не оценивало, и не могло судить в какой мере возмещает ее стоимость продавшему ее труженику, которого и продавцом не числило. Государство распределяло создаваемое в пользу правящего класса, порой не заботясь даже о возмещении средств, надобных развитию той или иной сферы. Но беда была не просто в ненасытности номенклатуры или даже бесчисленных расходах на оружие, армию и карательные органы, а прежде всего в том, что, попирая даже частичные имущественные права отдельного человека, отчасти признанные традиционным феодализмом, социализм не мог быть самокупаемым и, тем паче, прибыльным.

Ощущение неизбежности разорения порой толкало хоть как-то отделить хозяйство от государства, прежде всего, от произвола исполнительной власти. Но, в силу ее советской нераздельности с законодательной и судебной, государство было разом и администратором хозяйственных процессов, и их регулятором и судьей. Попытки учесть реальность не удавались уже потому, что никто не может быть судьей в собственном деле. В Германии и Италии, где частная собственность сохранялась, государство тоже подсекало ее саморазвитие, и благосостояние жителей поддерживала внешняя экспансия. В Китае государственные предприятия поныне неспособны состязаться с частными и убыточны, - едва ли так может длиться вечно, тем паче, что там реформы задела лишь меньшую часть граждан. Самокупаемого социализма с человеческим лицом нет в природе. Отсюда и произвол - не только в хозяйстве.

Строители социализма обещали свободу, но насаждали свое господство, и вышло по Оруеллу: «свобода - это рабство». С таким социализмом, а точнее, новым феодализмом, Запад и боролся в XX веке. К его середине пала агрессивная Германская третья империя, а к концу, усилив гонку вооружений и затеяв афганскую войну, частично распалась советская империя, и берлинская стена рухнула. Как образ ушедшей угрозы, ее разобрали на сувениры. Между тем, большинство в мире по-прежнему составляли отнюдь не национальные, правовые и социальные государства, да и Россия не стала таковой. Но этому не придавала значения даже Америка, дважды спасшая мир от тоталитарного милит

Непредусмотренное продолжение

Запад охватила эйфория. Сразу пропала охота защищать Израиль. Уже мало кто задумывался, почему были схожи исходно опиравшиеся на разные идеологии советский интернационал-социализм и германский национал-социализм. Или почему, даже наведя свои порядки, оба проиграли состязание с демократией (Германия - военное, Россия - вооруженное). Или почему арабские страны, почитая Гитлера, дружили с

Москвой. 11 сентября никто не заметил, что Мухаммед Атта поднял знамя, оброненное немецким национал-социализмом и российским коммунизмом, и война продолжается.

А русские, немецкие и арабские противники атаковали Запад по схожим мотивам. Слишком многое пришлось бы им у себя менять, чтобы достичь западного уровня жизни, и менять быстрее и резче, чем в свое время Западу. Сомнения в успехе такой эволюции еще в конце XIX века породили стремление силовым штурмом под знаменем всемирной революции заставить вырвавшихся вперед отдать достигнутое, и так догнать их и перегнать. Но принудительный, по образцу феодального, труд, сменивший во многих странах после революционных побед труд, покупаемый по рыночной цене, заведомо уступал тому в производительности, не говоря уже о презрении к умственному труду и диспропорциях от монопольности хозяйства. И германский и российский социализм проиграл. Но не увяла надежда вынудить Запад кормить неконкурентный феодальный мир, поднять помощь его жителям чуть не до уровня оплаты труда на Западе. Усложнение инфраструктуры и прогресс техники внушили ново-феодальному миру, что, хоть сил для большой войны мало, зато технически изощренный враг более уязвим, и насмерть разить его террором даже легче. И обезличенный террор взял на себя роль прежних КГБ и ГеСтаПо.

Нелепо объяснять трагедии XX века порочностью немцев или русских, или свести причины преступлений коммунистов и нацистов к наивности Маркса или Ницше, к тому же нередко передернутых. Столь же нелепо ныне пенять на зловредность арабов и порочность ислама. Но если прежде Запад хоть как-то пытался понять социализм и национал-социализм, сегодня он в упор не видит, сколь подобны им движения, охватившие мир.

Холодная война с Советской Россией объявлена недоразумением, давно, к тому же, исчерпанным, и со всех сторон слышен вздор о конце истории, об эре всеобщего либерализма и политкорректности. А противостояние ново-феодальных диктатур экономическому обществу не кончилось. Это – не конфликт цивилизаций, как уверяют ныне, а социальный конфликт, коренящийся в техническом прогрессе производства, позволяющем овеществленному умственному труду теснить физический, меняя социальные и геополитические отношения. Но этот конфликт не так прост, как казалось еще в XX веке.

Русский случай

Буржуазные революции привели Запад к промышленному, а потом научно-техническому перевороту. Технический прогресс там вел к социальному прогрессу, к демократизации общества и социальным гарантиям. Но в феодальных странах, осваивавших заемные технические плоды, - особенно эффективно в России, - ими укрепляли абсолютизм, как бы наперед опровергая самую верную из мыслей еще не родившегося тогда Маркса - о взаимозависимости хозяйства и общества. Разумному царю, вроде Петра, западная техника не казалась опасной феодальному порядку, напротив, она вооружала его армии. И социальным плодом заемного прогресса стало ожесточение крепостного права. Сходным образом русские революционеры во второй половине XIX века желали не

так буржуазной революции, как социализма, похожего, однако, не столько на утопии учителей, сколько на старый феодальный абсолютизм. Миф об автоматизме социального прогресса увядал, и внеэкономический бум разыграл не в одной России.

Ныне вроде признали палку хозяйственно неэффективной, но капрал ее не выпускает. После распада СССР лишь в Прибалтике хозяйство стало буржуазным. В других республиках и в России государство еще командует хозяйством, а прочие перемены оказались косметическими. Покамест еще дозволено выезжать за границу и читать книги. Но открывшаяся было возможность публично судить о власти почти пропала. Социальное преображение не совершилось. Ельцин, как отец русской демократии, был мнимой альтернативой Зюганову, лидеру реваншистской КПРФ. При Зюганове возврата к прежнему ждали сразу, при Ельцине он пошел не спеша, но Путин его ускорил, полней подчиняя власти как бы новые формы хозяйства. Но в самих этих формах таился прежний порядок, разве что чуть упрощенный в сравнении с советским.

В СССР формальным собственником всего и вся было государство, и его именем номенклатура распоряжалась страной. В наново провозглашенной России, чтобы пробить хозяйственные тупики, имущество формально передали узкому кругу лиц, позднее названных «олигархами», но оставленных в круговой зависимости от государства. Построили, так сказать, условный капитализм, с условием беспрекословного послушания власти. Назвали это приватизацией. Став как бы частными, добывающие отрасли проявили больше гибкости и обильней пополняли карманы государства в целом, равно как и правящих лиц и самих «олигархов» по отдельности. Частное обличье собственности позволило, к тому же, валить ответственность за уровень жизни на «олигархов». Но еще важнее, что и без марксистско-ленинской идеологии и прямого правления обкомов и райкомов, правящий класс удержал контроль над хозяйством.

Он вполне контролирует собственность, числящуюся частной. «Олигархов», возомнивших себя независимыми владельцами, быстро ее лишают. Сделать это нетрудно, законы о приватизации, нарочно или нет, сочинены нескладно, что отсекает ее законность и побуждает большинство условных «владельцев» быть покорными. Будь буржуазные реформы всамделишными в полуторастамилионной стране возникли бы миллионы собственников, которых не удержать в узде. А немногочисленных «олигархов» успешно держат силовые органы, прибавившие веса даже в сравнении с былыми временами, когда все же первенствовала партия.

На всякую сколько-нибудь крупную коммерческую операцию «олигархам» нужно соизволение власти, то есть, из формально частной собственности изъята важнейшая правовая часть – право распоряжаться ею по собственному усмотрению, определяющее гибкость частного хозяйства и победы тех из конкурентов, кто точнее распоряжается. Большинство граждан даже приветствует показательные ущемления «олигархов», поскольку имущество им раздавали, параллельно обесценивая сбережения рядовых людей, которые, потеряв все, что имели, не могут согласиться с бурно растущим богатством немногих.

Олигархов называют ворами, повторяя: «Вор должен сидеть в тюрьме». Наш новоявленный капитализм именуют грабительским, и не то,

что это вовсе выдумка. Но олигархи не уносили недра земли под полой! Их наделяли чиновники, которых, коль скоро они преступили нескладные законы, скорей бы надо называть ворами. Олигархи - разве что по дешевке скупали краденное. А винят их одних, обходя государственных лиц. И всё потому, что не только капитализм у нас грабительский, но и водящее его на поводке государство.

Приватизация, понятно, нарушила советские законы, не допускающие частной собственности, но новых недвусмысленных законов не установили. Задним числом приватизацию даже объявили революцией, а революция – всегда беззаконие, но ее не узаконили и задним числом, сознательно предпочтя неопределенность. А захват советским государством заводов Путилова и Рябушинского в 1917 году тоже не соответствовал действовавшим законам, и советские декреты юридически не безупречны, но тогда уверяли, что грабят якобы награбленное. И официально утверждали, что краденая собственность отныне принадлежит народу, хотя практически ею распоряжалась номенклатура.

Твердящие ныне, что олигархи нас обокрали, забывают, что мы сообщаем, хоть и чисто номинально, владели тоже краденным. Стремись власть к законности, она искала бы наследников былых владельцев. Но не желая отказаться от созданного Октябрем государственного самодержавия, даром что без царя, новая власть заводила не реальных, а лишь условных капиталистов. Ссылки в судах на беззаконие нынешней приватизации, при умолчании о грабеже чужого имущества в 17, а потом в 29 году, показывают, что ельцинская «революция», в отличие от ленинской, для нынешней власти не легитимна. Советский порядок ей ближе.

Условный капитализм не упразднен и не ясно будет ли упразднен. Но требования послушания ожесточаются, отчего видимость частной собственности теряет смысл даже в добывающих отраслях. Возврат к советскому порядку не завершен, и сейчас хозяйство отчасти походит на национал-социалистическую Германию. Властвующим чекистам это тоже годится, лишь бы не конкурентная система, способная разорить, а государство, пока не грянул общий кризис, свою «элиту» кормит щедро. Свобода, хоть и стимулирует хозяйство, но, в отличие от несменяемой власти, никому персонально не гарантирует богатство, и «номенклатуре» это не столь выгодно, как советский или нацистский порядок.

«Номенклатура» устояла не только потому, что ее не вешали на фонарях. В Англии XVII века компромисс старого и нового правящих классов был плодотворен. Но там аристократия, входя в буржуазный мир, приняла его нормы, а наша «номенклатура» попрежнему хочет рулить, держа Потаниных и Абрамовичей как бы на оброке. Арест Ходорковского объясняют его политическими амбициями и личной мстительностью Путина. А грех Ходорковского в стремлении пересилить «условный капитализм» и быть экономически самостоятельным, самому решать, что, кому и у кого купить и продать. Это тоже политическая проблема, но она в природе предпринимательства. Сделав ЮКОС прозрачным и дав казне больше дохода, чем прежние казенные нефтедобытчики, Ходорковский надеялся сотрудничать с властью, видимо, не заметив, что она не расположена перейти от «условного капитализма» к реальному. С этим и Ельцин не спешил, отчего и оформлял приватизацию, не озаботясь ее

узаконением. Не нужно оно и Путину, еще в КГБ узнавшему, что сила круче коммерции.

Предъявлять претензии тут стоит не так Путину, который открыто воздвигал свою вертикаль, как тем, кто уверял, что Путин - жаждет экономики и права, а не просто власти. Презрение к индивидуальности и к ее независимости – вполне в традициях КГБ, где не один Путин служил, и КПСС, где не он один состоял, и этим традициям Путин верен. В том и проблема, чтобы обществу эти традиции одолеть, а не просто сменить Ельцина на Путина, а Путина на другого их приверженца.

Но хоть и признано, что купцы Алексеев (Станиславский) и Третьяков обогатили Россию театром и картинной галереей, не вспоминают, что и они и другие купцы, не обладавшие их художественными талантами и вкусом, обогатили Россию самой своей производственной и коммерческой деятельностью. Оттого и не меняется у нас ни государство, ни социальный строй, и не идет десоветизация. А если она не под силу великой России, могут ли страны не столь богатые добиться большего?

Конечно, не только Восточная Германия, влившаяся в Западную, а и Венгрия, Чехия, Польша, даже Прибалтика, в отличие от нас, перешли к буржуазному строю. Но там этот переход был частью борьбы за национальное государство, традиции которого они и при социализме защищали от Москвы. В других республиках СССР эти традиции были слабее, а в России национальное сознание еще Иван Грозный заменил имперским. Где губят социальные силы, нуждающиеся в демократии, ее и нет. Причина в насилии, а не в недостатке способностей.

В том и смысл глобализации, чтобы по возможности мирно помогать таким силам формироваться и оттеснять в своих странах господство произвола, вынуждая к компромиссам. Буржуазное хозяйство - не царствие небесное, но это единственная известная форма экономического порядка. А ему нужен либерализм, при котором люди вольны улучшать производство и свою жизнь. И в арабских странах и в большинстве других - то же самое.

Арабский случай

Арабские, как и другие феодальные и социалистические страны, конечно, хотят технического и промышленного развития, но не хотят поступаться традициями, аналогичными тем, какие Реформация и Просвещение отвергли в Европе и Америке, что и повело к расцвету техники и хозяйства. Символично, однако, что арабы атакуют Америку не дивными арабскими клинками, но американскими боингами. Хоть культурное наследие арабов, да и русских, огромно, технику они все еще заимствуют, и для этого уже не нужен Петр Великий, - рынки открыты.

После победы Антанты над Османской империей из нее искусственно нарезали нынешние арабские страны. Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Палестина, не говоря об африканских, лишь по видимости национальные государства. Там правят монархи или еще более крутые к инакомыслию социалисты. До 11 сентября местные нефтевладельцы не очень вкладывали свои огромные доходы в создание у себя прибыльных промышленных структур, предпочитая вложения в работающие структуры Запада. На Ближнем Востоке, кроме Израиля, так

и не возникли силы, заинтересованные в либеральных преобразованиях. Их не хотели ни шейхи, ни социалистические функционеры, пренебрегающие нуждами населения. Бог весть, сознавали они или стихийно ощущали, что местным «дворянам» и «номенклатуре» без тоталитарной власти не совладать со свободным предпринимателем и свободным рабочим.

Ради тоталитарных привилегий лидеры арабского мира срывали все попытки Израиля сотрудничать с Палестинской автономией, где под защитой израильских законов могли бы вырастать арабские предприниматели и рабочие, способные стать опорой первого впрямь национального арабского государства. Шейхи и социалистические функционеры других арабских стран всячески этому противились, и навязанные лидеры во главе с Арафатом беспощадно ухудшали жизнь палестинских арабов.

Но и европейцы, и американцы не углядели пользы от подобного поворота арабского и, вообще, мусульманского, да и всего полуфеодального и феодального мира, к экономическому образу жизни. Проповедуя снисходительность к террористам и заботясь лишь о поставках нефти, они проглядели возможную модель глобальной эволюции. Вот феодальный мир и счел, что можно и дальше обогащаться, опираясь на внеэкономическое принуждение, а террор – и есть его верное орудие. На Ближнем Востоке он служит разом и левому, социалистическому, и правому, фундаменталистскому, тоталитаризму, опять демонстрируя единство крайне левых и крайне правых благополучной Европе, до союза Сталина с Гитлером, не желавшей его замечать и позабывшей о нем, когда тактика, подорвавшая стратегию, ввергла двух тиранов в войну меж собой, пагубную для Германии и России, но позволившую Западной Европе освободиться.

Остальной мир либо готов уступать ближневосточному экстремизму, как некогда Европа уступала сперва Гитлеру, потом Сталину, либо готов ему противодействовать, но отождествив с ним весь арабский мир. А немалая часть тамошних жителей не склонна к экстремизму и принимает его лишь потому, что он энергичен, а другие в реальность не входят. Европа единодушно осудила англо–американские усилия убрать Саддама, крепившего свою диктатуру. Но большинство жителей Ирака, как показали выборы и референдум по конституции, охотно использует англо-американское присутствие, надеясь улучшить свое положение, и отнюдь не бойкотирует голосование. На это идет лишь явное меньшинство, терроризирующее своих сограждан. Никуда не деться от того, что устранение Саддама и шиитам, и курдам и, при всей сложности, даже суннитам помогло осмыслить свое реальное положение. Это не значит, что происходящее безупречно. Можно заметить, что при внедрении в Ирак демократии, скорее осторожничают, ради удержания целостности искусственно созданной малой империи, хотя налицо стремление и шиитов и, особенно, курдов к национальному государству, где и другие проблемы решались бы проще. Социальная проблематика и тут недооценена, а, быть может, и недопонята.

Что дальше?

Сознание не схватывает наперед, к чему ведут социальные усилия. Философия не сразу осваивает хозяйственные перемены. Западная советология не ощущала советского кризиса, не ждала Горбачева. Услыхав новые нотки, когда еще шли бесчинства в Афганистане, Запад их приветствовал. Но Сахаров говорил: «Мы окажем Горбачеву условную поддержку», что означало готовность поддержать демократические перемены, если до них дойдет. А Запад занимали не сами перемены, а пропадет ли советская военная угроза.

Ее там рассматривали, как нынче арабскую, чисто прагматически. Сила англо-саксонского прагматизма в способности действовать. Но отказ от обобщений мешает просчитать последствия. Потворство президента Клинтона Ельцину, включая геноцид в Чечне, переросло в потворство президента Буша Путину, атакующему не только Чечню, но и свободу слова и печати, и зыбкие демократические процедуры. У нас уже есть новая военная доктрина, сулящая превентивные ядерные удары и вводящая в школах общую военную подготовку. Обещано, что, хоть экономики несопоставимы, наша армия будет не слабей американской. Словно погоня за «паритетом» не ускорила распад СССР.

Запад глядит лишь на сиюминутные расклады внешней политики, пренебрегая сущностными. Такова изнанка англо-саксонского прагматизма. А при противостоянии политических структур стоит, опять же, видеть их социальную природу. Не то что вечно вести войну, горячую или холодную, со всеми тираническими режимами, но хотя бы их не поощрять и в любой коллизии предпочитать социал-либеральные порядки монархическим и социалистическим диктатурам. А Западу часто проще подкормить тоталитарный режим.

Эти режимы пользуются защитой международного права, поскольку в блюдущей его ООН большинство у диктатур, и давно пора заводить организацию демократических наций, признающую, что государства, где гражданам не дают на деле избирать власть, опасны другим. Но Запад упрямо не видит опасности в том, что арабские, да и другие страны, подобно нашей отчаявшейся России, ищут счастья на путях Петра или Ленина, приведших потом к падению Российской империи и распаду СССР. А дивится взрывам в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне.

В объяснение арабского терроризма ссылаются на войну в Ираке, словно она началась до, а не после 11 сентября, словно без удара в сердце Америки Буш мог такую войну начать. Ссылаются и на ислам, служащий террористам знаменем, хотя уже самоубийства при взрывах не в ладу с Кораном. Ислам, конечно, антибуржуазен, но не более католицизма, отступившего под натиском Реформации и Просвещения. В католической Франции, где гугеноты не возобладали, стало зато особенно активно Просвещение, приведшее к торжеству светских начал. Конечно, в исламских странах, такого не испытывавших, экономическое развитие застревало, ему мешали многие привычки, начиная с шариата и отношения к женщине. Но там, где они смягчались, как в Турции, экономические отношения брали верх. А преуспевание мусульман в западном бизнесе общеизвестно. Ислам - не идеология террора, террористы его лишь выставляют таковой, пряча свои лица, как Сталин прятал свое за портретом Маркса, которого не читал.

За террором различимо предпочтение тоталитарной системы и силового хозяйства совершенствованию обменных экономических

отношений. Тут можно начать на левом политическом фланге и говорить о разрушении «до основанья» мира насилия, можно начать на правом и говорить о традиционных ценностях. Но в итоге, торжествуют «ценности» традиционного насилия. Левый и правый тоталитаризм (у мусульман – социализм и фундаментализм) воюют друг с другом за власть, но их различия преходящи, а повадки схожи.

Российская история XX века наглядно показала как левое движение, сулившее свободу и равноправие, стало оголтело правым, переняло приемы, манеры и позиции правой царской власти и прямо черносотенцев. При этом оно поныне числится левым, а партии выступающие за экономическую свободу, как СПС, и даже за социальные гарантии, как «Яблоко», - правыми. Понимание советской жизни, где под революционными знаменами торжествовала оголтелая реакция, прояснило бы нынешние споры левых и правых в Европе и Америке, и пролило бы свет на будущее России, где режим отбросил идеологию, но не повадки.

Запад не опускается до анализа российской реальности. Дав нашей номенклатуре очухаться и снова поднять меч ВЧК-КГБ, США объявили Россию главным своим союзником. Ничему они не научились, и поддерживают авторитарную власть, уже фактически вернувшую «выборы из одного». Надеяться на поддержку Запада российской демократии не стоит. Теперь, как в 1985 году, повернуть Россию к экономическому хозяйству, сможет, видимо, лишь глубокий кризис, которого, любя свою страну, ей не пожелаешь. Но главная сфера политики - хозяйство, и главная проблема политики в том, чтобы хозяйство, как церковь, отделить от государства.

Чтобы выглядеть сильной, Россия на деле беднеет, и, чем больше набирает сил, тем делается бедней, и может гонки тоже не выдержать. Сетуют, что граждане пассивны, - и на выборы не идут, и на площади протестовать не выходят. Но потому и не идут и не выходят, что и ходили и выходили, а обернулось это ничем, и веры, что, если пойти и выйти, станет лучше, уже нет никакой. Да и кандидатов, которым можно бы довериться, наперед изымают из списков, и голосовать уже велют не за людей, а за фальшивые партии.

Мир по-прежнему расколот, хоть не так наглядно, как в дни, когда по другой стороне берлинской улицы вдоль стены шагал гэдээровский солдат. Стены нет, границы иные, но по-прежнему по одну сторону – экономическая свобода и компромиссы, а по другую - наращивающие диктаторство государства. Для большинства людей Сталин, Гитлер, холодная война, Прага, диссиденты, - уже древняя история, их помнят в плюсквамперфектуме, а они еще за дверью. На сцене продолжается пережитое, но актеры сменились и не знают, что было в старом спектакле и что впереди. События вновь непредвосхитимы, растет отчаянье, и вера в силу и в террор, - и антигосударственный и государственный.

Принятые сокращения названий

ВС – Всемирное слово

КО – Книжное обозрение

ЛГ – Литературная газета

НВ – Новое время

МН—Московские новости